

Школа добродетели

Айрис Мердок

Школа добродетели

Айрис Мердок

Аннотация
Айрис Мердок. Школа добродетели
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ БЛУДНЫЙ СЫН
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. СИГАРД
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ

Аннотация

Эдварда Бэлтрама переполняет чувство вины. Его маленький розыгрыш обернулся огромной бедой: он подсыпал в еду своему другу галлюциногенный наркотик, и юноша выпал из окна и разбился насмерть. В поисках спасения от душевных мук Эдвард обращается к медиуму и во время сеанса слышит голос, который велит ему воссоединиться с его родным отцом, знаменитым художником, ведущим затворническую жизнь…

Айрис Мердок
Школа добродетели

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ БЛУДНЫЙ СЫН

Бриджид Брофи посвящается

«Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим»[1].

Возможно, когда Эдвард Бэлтрам услышал тот таинственный и судьбоносный зов, он бормотал себе под нос не эти самые слова, хотя потом вспомнил и часто повторял именно их.

Но история началась раньше — в февральский вечер, когда Эдвард сыграл со своим другом и соучеником Марком Уилсденом дурную шутку. Он тайно подсунул приятелю сильный наркотик, под воздействием которого человек оказывался то на небесах, то в аду. Марк, высокомерно осуждавший наркотики и решительно их отвергавший, превратился в беспомощную жертву: он лежал на освещенном лампой диване в маленькой однокомнатной квартире Эдварда на третьем этаже обветшалого типового домика в

---

[1] Примечания: 1
От Луки, 15,18–19.

Кэмден-тауне[2], хихикал и болтал какую-то чушь. Сам Эдвард в тот вечер ничего не принимал, закутался в волшебный плащ трезвости и власти и смотрел на Марка сверху вниз. Он подложил наркотик в сэндвич Марка и теперь наблюдал за происходящими метаморфозами со злорадным удовольствием. Сначала он немного беспокоился, но тревога быстро исчезла: ему стало ясно, что Марка ждет чудесное приключение. Если бы он на время отправил друга в ад, то чувствовал бы себя не в своей тарелке. Но теперь лицо Марка, прекрасное в любое время, было преображено экстатическим огнем: карие глаза увеличились, полные красноречивые губы стали красными и влажными, кожа сияла, словно подсвеченная изнутри. На лбу блестели капельки пота, волосы элегантно подстриженных усов и бородки стояли торчком и сверкали, словно лицо юноши превратилось в жреческую маску, инкрустированную драгоценными камнями. Голова Марка имела удлиненную форму, как у египетского фараона. Он был похож на широколобого бога с огромными глазами. Он и был богом, он обрел дар пророчества, он переживал Прекрасное Совершенство,

[2] Примечания: 2
Кэмден-таун — район Лондона, популярный среди студентов

видение видений, аннигиляцию эго. Эдвард слышал о таких вещах. Подобные прозрения могут повлиять на всю дальнейшую жизнь человека. Марк потом будет его благодарить. Собственный опыт Эдварда был живописным и увлекательным, но не мистическим, а вот Марк, которого он любил и которым восхищался, склонялся к мистике. При виде его преображения Эдвард просто таял от радости.

Марк все время смеялся низким прерывистым смехом, порой напоминавшим рыдания, но вдруг сосредоточился. Он вытянул губы трубочкой, как часто делал, погружаясь в размышления.

— Эдвард!

— Да, Марк.

— Как все устроено.

— Да.

— Как все устроено… Все вещи сами в себе, я тебе говорю — сами в себе, в этом-то и весь… секрет.

— Да, так оно и есть.

— Нет, они не сами в себе… они… сами по себе. Все само по себе. Они суть сами. Но, видишь ли, есть… есть только одно…

— Что ОДНО?

— Все. Что угодно… оно… все вместе… боль-

шое… шершавое…

— Шершавое?

— Эдвард…

— Да.

— Нет… оно чешуйчатое, миллионы чешуек и… жабры… я его вижу… дышит… это рыба… я хочу сказать, все… оно едино… как большая рыба…

Эдвард попытался вообразить большую шершавую чешуйчатую рыбу, которая есть все. Тут маленькую комнату наполнили его собственные наркотические видения, разбуженные сочувствием к Марку, и она превратилась в глубокое озеро, где колыхались тростники, плавали трясущиеся большеглазые амебы и какие-то темные распухшие формы, обвязанные белыми лентами. Эти образы представляли и воскрешение Лазаря, и Сотворение мира.

— О, теперь она уменьшается, — сказал вдруг Марк. Он попытался приподняться, но тут же рухнул на диван. — Она уменьшается, и я вижу небо… вдалеке… о, свет… это головы ангелов, они как булавки, булавочные головки, они сверкают, все вместе, все… разъединяются, как длинный… свиток… и свет… это лазерные лучи… пики, пики… колются… господи, я так счастлив… я поднимаюсь, я лечу… и Бог… идет…

— Ты видишь Бога? На что он похож?

— Он идет… как… как лифт.

Марк какое-то время лежал молча, устремив взгляд в глубь видения и улыбаясь. Губы его двигались, он что-то бормотал, а потом торжественно поднял руку, словно благословлял Эдварда. И внезапно погрузился в глубокий спокойный сон.

Эдвард был разочарован. Он даже хотел разбудить друга, но решил, что лучше этого не делать. Такие сны длятся долго, а когда Марк проснется, все уже может кончиться.

Зазвонил телефон.

— Эдвард?

— Да.

— Это Сара.

— Привет, Сара.

— Не мог бы ты зайти ко мне? У меня депрессия. Приходи, выпьем по-быстрому.

— Гм… ну хорошо. Через пять минут.

Эдвард оглянулся на Марка. Тот был похож на спящего рыцаря с картинки или на мертвого Христа — такой красивый, безупречный и неуязвимый. Эдвард укрыл его пледом. Потом прикрыл лампу газетой, чтобы свет не бил Марку в глаза, вышел из комнаты и запер дверь.

Визит Эдварда к Саре Плоумейн (она жила

совсем рядом) в тот вечер не был чистой импровизацией. Он недавно познакомился с ней в колледже, в той же компании, куда входил и Марк. Она небрежно бросила: «Давай встретимся, я позвоню», и Эдвард несколько дней ждал ее приглашения. Сара была классная девчонка. Она выждала ровно столько, сколько нужно, прежде чем пригласить его (и это тоже было правильно) «выпить по-быстрому». Он не мог противиться столь элегантной рассудительности и чувствовал себя польщенным. Пора определиться с этой девушкой, а там они поймут, как быть дальше, спешить некуда. Момент сейчас был самый подходящий, а он верил в судьбоносные моменты. К тому же Сара сказала, что ее мать знала мать Эдварда, а любой, пусть самый слабый, сигнал с темной потерянной планеты родителей сильно тревожил и интересовал его.

Но юный (ему было двадцать) Эдвард никак не предполагал, что юная (девятнадцатилетняя) Сара, миниатюрная, темноволосая и подвижная, как русская акробатка, немедленно (и как это только она успела?) разденет его (одежды словно растворились в воздухе) и уложит на кровать в своей маленькой, похожей на пещеру комнате, освещенной горящими свечками. В китайской

вазе, стоявшей на каминной полке, курилась ароматическая палочка.

Теперь они уже оделись (может, ему все это приснилось?) и разговаривали, попивая виски. Никакой другой выпивки у Сары не было. Девушка курила; она всегда курила.

— Ты сказала, что твоя мать знала мою.

— Они вместе учились в университете. Твоя мать занималась искусством, а моя — социологией. Значит, в этом все дело?

— В чем «в этом»?

— Ты пришел поговорить о матери!

— Я и о тебе хочу поговорить.

— А мой отец учил твоего брата. Мы связаны. Это судьба.

— Сожалею о твоем отце.

Отец Сары, математик Дирк Плоумейн, недавно совершил самоубийство.

— Да. Но мы с ним не были близки. Он плохо относился к моей матери, они разошлись. И довольно давно. Твой отец плохо относился к твоей матери, да?

Эдварда уязвила эта аналогия: на его взгляд, она была неуместна, учитывая весьма раннюю стадию их знакомства. Он придерживался строгих правил в том, что касалось этикета, и ничего

не ответил Саре.

— Ты ведь сын Джесса Бэлтрама, а не Гарри Кьюно? Некоторые люди путают.

Эдварду не понравился ее тон, но он вежливо пояснил:

— Да. Но я совсем не знал Джесса. Я его видел всего раз или два, когда был совсем маленьким. Он бросил мою мать еще до моего рождения. Впрочем, он все равно был женат на какой-то другой женщине…

— Да-да, твоя мать наверняка держала тебя подальше от этого жуткого Джесса! Однако она дала тебе его имя!

— Моя мать вышла замуж за Гарри Кьюно, а потом умерла. Я всегда считал Гарри своим отцом.

— А Стюарт — твой брат? И он не сын Хлои?

— Нет, моя мать тут ни при чем. Он сын первой жены Гарри, умершей до появления Хлои. Она была новозеландкой.

По какой-то причине при упоминании Терезы Кьюно, что случалось довольно редко, люди непременно уточняли это обстоятельство.

— Значит, вы со Стюартом вовсе не братья.

— Кровного родства между нами нет, но вообще-то мы братья.

— Ты хочешь сказать, вы как братья. Я бы хоте-

ла познакомиться со Стюартом. Кое-кто говорит, что он отказался от секса, так и не попробовав!

— Значит, вот в этом дело? Ты хотела разузнать о Стюарте!

Эдвард любил своего старшего брата, но не очень ладил с ним.

— Нет-нет, я хотела узнать тебя, я изучаю тебя, разве ты не видишь? А еще у тебя есть тетушка, младшая сестренка Хлои. Светская леди, которая вышла за психиатра-шотландца. Он ее на сто лет старше, верно? Наверное, она была для тебя как мать?

— Мидж Маккаскервиль? Нет-нет, ни в коем случае.

Его очаровательная молодая тетушка совсем не годилась на роль матери. Он помнил, как страстно целовался с ней на танцах в семнадцать лет. Маргарет Маккаскервиль, урожденную Уорристон, младшую сестру матери Эдварда, всегда называли уменьшительным именем Мидж. Она взяла это имя во время своей короткой карьеры модели.

— Да, материнских качеств у нее немного, — сказала Сара. — Говорят, она здорово изменилась. Растолстела. А какие у тебя отношения с Гарри Кьюно?

— Отличные. Может, ты и с ним хочешь познакомиться? Я устрою вечеринку!

— Вот здорово! Он похож на настоящего авантюриста, искателя приключений! Я видела его портрет: прямо-таки пират, флибустьер, страшно талантливый, герой нашего времени!

— Да, вот только не очень успешный.

«Зачем я так говорю? — подумал Эдвард. — Эта умненькая девчонка решит, что я его не люблю. И будет повсюду повторять. А ведь он замечательный».

— Я тебе скажу, с кем бы мне хотелось встретиться больше всего.

— С кем?

— С твоим настоящим отцом, с Джессом Бэлтрамом. Вот кто великий человек.

— Ты сама сказала, что он жуткий.

— Я говорила с точки зрения твоей матери. Но одно другому не мешает, правда? Многие мужчины одновременно жуткие и великие!

— Боюсь, этого я тебе устроить не смогу, — сказал Эдвард.

— Художник, архитектор, скульптор, социалист и к тому же донжуан! Моя мать была знакома с ним тысячу лет назад. Она знала его жену Мэй Барнс еще до того, как та за него вышла. Они уеди-

нились в своем нелепом доме на болотах. Я знаю эту часть побережья, у моей мамы там коттедж…

— А твоя мать чем-то прославилась, да?

— Феминистскими статьями. Она страстно борется за освобождение женщин.

Эдварда задело и расстроило столь непочтительное любопытство, проявленное к его семье. Любое упоминание об этом причиняло ему боль. Теперь он критическим взглядом посмотрел на умное лицо Сары, желтоватое без косметики, на ее коротко подстриженные волосы и неровную темную челку, потрепанную кофту, грязные джинсы в обтяжку, крупные стеклянные бусы и шумные индийские браслеты, обкусанные ногти и маленькие прокуренные руки, на пальцы, то сжимавшие, то отпускавшие его колено. Предыдущая девушка Эдварда — высокая американка, только что вернувшаяся из Бостона, — была красивее, но Сара с ее цыганскими чертами казалась более привлекательной, умной, озорной, непредсказуемой и опасной. Может, это начало долгожданной серьезной любовной истории? Она раздела его с той же ловкостью, с какой женщины обращаются с вязальными спицами; ее совершенное нежное тело было отзывчивым и властным. Безусловно, она имела опыт. Хорошо

это или плохо?

Одна свечка догорела.

— А лампу мы не можем включить? — спросил Эдвард. — И зачем нам эти благовония? Мне не нравится запах.

— Что же ты сразу не сказал? — Сара вскочила на ноги, включила лампу и загасила ароматическую палочку. — Я люблю темноту. Ты когда-нибудь был на сеансе? Хочешь сходить? Это так здорово. Пойдем вместе, а?

Эдвард вдруг вспомнил о Марке Уилсдене. Как он умудрился совершенно забыть о своем друге? Нежданная любовная связь, странный сосредоточенный разговор о его семье перенесли его в какой-то иной мир. А может, наркотики влияют на память? Это была здравая мысль. Эдвард встал.

— Ты веришь в жизнь после смерти? Я — нет. Но я верю в физические явления… Ты что, Эдвард, уходишь? Я найду твое пальто.

— Я должен бежать, — сказал он.

— Ты без шарфа? Я могу тебе одолжить шерстяную шапочку. Холод ужасный. Наверное, снег пойдет, как по-твоему?

Нет, с Марком все должно быть в порядке, он наверняка еще спит. Эдвард посмотрел на ча-

сы и с удивлением и облегчением понял, что столь насыщенное событиями свидание с Сарой Плоумейн продлилось чуть более получаса. Он вышел в ясный, морозный, очень холодный вечер, глотнул свежего воздуха и с удовольствием увидел, как его дыхание превращается в клубы пара. Преодолевая короткое расстояние между жилищем Сары и собственной квартирой, Эдвард несколько раз воспарял над поблескивающим тротуаром. Когда-то ему хотелось стать танцором.

Задыхаясь, он взбежал по лестнице, достал ключ и осознал, что пьян. Ключ царапнул крашеную поверхность двери в поисках скважины, потом нашел ее. Эдвард отпер дверь и вошел в квартиру. В темной комнате с затененной лампой было до странности холодно. Эдвард сразу же увидел, что газета, которую он набросил на лампу, почернела и обгорела. Он сорвал ее и повернулся к дивану. Там было пусто. Эдвард быстро оглянулся — спрятаться здесь негде, уйти некуда. В квартире не было никого. Марк ушел. Потом Эдвард увидел стоявший у окна стул и открытое настежь окно.

Так жизнь Эдварда Бэлтрама абсолютно и бесповоротно изменилась. В полицейском участке

и во время следствия он рассказал, как забрался на стул и увидел тело Марка, лежавшее на улице в углублении перед окном подвальной комнаты. Никто не слышал и не видел падения. Он рассказал, как со стоном пронесся вниз по лестнице на тротуар, а потом по ступенькам в подвальное углубление. Тело Марка лежало там, огромное на этом маленьком пятачке, разметавшееся и изломанное, как мешок с костями. Эдвард посмотрел на свои туфли — они были заляпаны кровью. Он постучал в квартиру нижнего этажа. Жильцы вызвали полицию. Прибыла бесполезная «скорая». Кто-то отправился сообщить о случившемся матери Марка. Все спрашивали у Эдварда, что же произошло? На следствии его допросили более подробно. Да, он дал Марку наркотик. По просьбе Марка? Да. Почему он оставил Марка одного? Вышел подышать свежим воздухом. Долго ли отсутствовал? Десять минут. Наркотик, который Эдвард не решился уничтожить, нашли в его комнате. Выяснили, что как-то раз он продал немного порошка однокурснику. Мать Марка — вдова, сильная женщина, страшная в своем горе, — заявила, что ее сын ненавидел наркотики и никогда бы по своей воле не стал их принимать. Она обвинила Эдварда в убийстве.

Власти проявили к нему снисходительность. Его временно исключили из колледжа до окончания академического года. Он посетил психиатра, и врач запугал его. В итоге Эдварда выпустили при условии, что он откажется от наркотиков и согласится на регулярные психиатрические обследования. Все это организовал и обеспечил муж его тетушки Томас Маккаскервиль, тоже давший показания во время следствия. Наконец газеты потеряли интерес к Эдварду. И когда общественное внимание ослабло, он погрузился в собственный ад.

Уважаемый Эдвард Бэлтрам!

Подумайте о том, что вы сделали. Я хочу, чтобы вы думали об этом каждое мгновение, каждую секунду. Я хочу, чтобы эти мысли комком, черным шаром застряли у вас в горле и удавили вас. На следствии вы сообщили подлую, отвратительную ложь. Я знаю, что Марк никогда бы не стал принимать наркотики. Вы дали ему наркотик, а он не подозревал об этом. Вы закормили его этой дрянью до смерти, отравили его с той же неизбежностью, как если бы дали цианистый калий. Вы убийца. Вы убили его из зависти, чтобы уничтожить то прекрасное и добродетельное, чего никогда не могла бы достичь ваша низкая

душа. Вы убили моего возлюбленного сына, навсегда искалечили мою жизнь и жизнь его сестры. Вы забрали его жизнь, и мне теперь придется провести остаток дней в неизбывных страданиях. Вы отмазались от наказания, но я никогда не позволю вам забыть то, что случилось. Одному богу известно, сколько других молодых жизней вы уничтожили, продавая эту отраву. Вы должны умереть от стыда, вы должны быть наказаны, вы должны сидеть в тюрьме. Такие, как вы, должны быть изолированы от людей. Я желаю вам заплатить за содеянное всей вашей несчастной жизнью. Я надеюсь, что вы никогда не будете прощены и люди будут в ужасе отворачиваться от вас. Я молюсь, чтобы вы больше никогда не были счастливы. Единственное мое утешение в том, что вы не сможете излечиться — вы наркоман, а воздействие этой дряни необратимо. Вы погубили свой разум и навсегда останетесь идиотом, мучимым фантазиями. Жаль, что моя ненависть не способна вас убить. Я вас проклинаю, я приговариваю вас к жалкой жизни, где вас будут преследовать призраки. Когти, которые я вонзаю в вас сейчас, никогда вас не отпустят.

Дженнифер Уилсден.

Это письмо от матери Марка пришло вскоре

после следствия. Эдвард хотел ответить ей, что никакие проклятия не сравнятся с тем, что он уже чувствует и будет чувствовать. Но он ничего не написал. Второе такое же письмо пришло через неделю, потом еще одно. На дворе стоял март. Марк был мертв уже месяц.

Эдварда занимало только его несчастье, никаких других дел у него не было. Он принимал транквилизаторы и таблетки от бессонницы, выписанные семейным доктором. Он много и долго спал, он жаждал сна, бессознательного состояния, черноты, отсутствия света. Он обнаружил, что ему трудно вставать по утрам, да и смысла в этом вставании не было; он лежал в кровати до полудня, свернувшись и накрывшись с головой. Он не хотел никого видеть и ничего делать, только спать, а когда спать было невозможно, читал триллеры. Он жадно и быстро проглатывал десятки самых дешевых книжонок, какие ему удавалось достать. Это не требовало больших усилий — дойти до библиотеки или до магазина старой книги на Чаринг-Кросс-роуд. В нынешнем состоянии Эдвард вполне мог бы увлечься и порнографией, если бы знал, где ее достать. Он бродил по Сохо и заглядывал в витрины секс-шопов, рассматривал фотографии у дверей

стрип-баров. Но у него не хватало мужества или силы воли, необходимых для того, чтобы переступить порог подобного заведения. Он разглядывал обложки гаденьких журнальчиков, захватанных потными руками, а потом виновато сутулился, опасаясь, что его увидят. Он бродил по Лондону и втайне надеялся, что его собьет машина. Он стоял на станциях подземки и смотрел, как мимо с грохотом мчатся сострадательные поезда метро. В пабы и бары он не заходил. Выпивка не лезла ему в глотку, наркотики совершенно перестали интересовать — он уже не понимал, как прежде мог жаждать их. Все это осталось позади: юность, от которой он с радостью и легкостью отказался бы, как от эпизода из прошлого, да только теперь это прошлое навечно впечатано в память, и его преступление остается с ним. Нечто заляпанное кровью и тяжелое всегда, всю жизнь будет рядом с ним. Как жить после абсолютного злодейства, абсолютного провала, абсолютного позора? По Эдварду прошелся плуг, расчленивший его. Скорбь и раскаяние — слабые тени того, что он испытывал. Он вспоминал свое былое простодушие, потерянное навсегда; вспоминал, как был счастлив совсем недавно, даже не зная, что это благодать, и как бездумно перечеркнул это. Гос-

поди, почему прошлое невозможно вернуть, ведь он так горько и искренно сожалеет о случившемся? Одно мимолетное глупое и предательское действие — и вся жизнь идет насмарку. Теперь он не жил, а тупо убивал время час за часом; теперь живого времени не было, как не было будущего, и Эдвард ненавидел всех и вся. А в особенности он ненавидел Сару Плоумейн. Это она стала причиной всего случившегося, преступно соблазнив его в своей душной пещере Сивиллы. Сексуальные желания покинули его, он не мог и представить, что когда-нибудь снова почувствует вожделение. Стремление к порнографии представляло собой нечто иное, но и оно было вялым, полусонным. Воображение Эдварда угасло, он превратился в машину, одержимую навязчивой идеей, он инстинктивно боялся полицейских и людей в белых халатах. Все устремления его стали ничтожными, поскольку он и сам утратил свою подлинность и ценность. Только изредка он просыпался и на мгновение обретал прежнее «я», его счастливое «я», которое не знало, что жизнь невозвратимо сломана и закончена. Наверное, так бывало после счастливых сновидений: он на несколько секунд возвращал себе потерянное ощущение жизни, предвкушение радостного, заполненного важны-

ми делами дня. Потом мрачные воспоминания возвращались, и чернота закрывала все, ослепляя его, уничтожая пространство и время. День снова погружал его в ночь.

Было бы неверно сказать, что он ненавидел всех. Он ненавидел всех, кроме одного, кто был ему нужен, кого он любил, — кроме Марка Уилсдена, его друга, его возлюбленного. Эдвард разговаривал вслух сам с собой, снова и снова повторяя некий ритмический стон; так измученный страдалец пытается смягчить невыносимую боль.

«О мой дорогой, о мой милый, мой бедный пропавший, мой бедный мертвый, приди ко мне, прости меня, я виноват, о мой любимый, мой любимый, я так виноват, помоги мне, помоги мне, помоги мне».

Так он молился Марку. Он никогда не смог бы говорить так с живым Марком, но теперь этот язык казался единственно возможным средством обращения к мертвому — к тому образу или призраку Марка, который повсюду сопровождал его, был частью каждой мысли в камере его разума. Порой в одиночестве Эдвард представлял себе этот призрак в виде несчастного бессильного видения, плачущего за дверью, умоляющего вер-

нуть ему жизнь. Такое преобразование скорби в жалость, казалось, может с легкостью убить его на месте, и Эдвард спасался бегством, устремлялся на улицу, где незнакомые враждебные лица посторонних людей вынуждали его контролировать себя и оставаться живым. Безответная любовь к Марку росла в нем, как раковые клетки, и, когда он оставался наедине с самим собой, она выблевывалась в виде черного, нередко приправленного слезами красноречия. Вот только Эдвард не умел плакать так, как плачут девушки, проливая потоки слез. Слезы давались ему с трудом, как скупая и болезнетворная роса.

Иногда он пытался думать о том, что совершил грех, осознал свою вину и должен раскаяться; но эти идеи казались ему абстрактными и неубедительными, неспособными как-либо повлиять на пустыню его жизни. Один миг абсолютного предательства обратил против него все, его вина была громадной болью, сводившей на нет любые идеи, и он жил в этой боли, как рыба на дне темного озера. Если бы он как-то сумел почувствовать чистую боль — боль жизни, а не смерти, боль очищения, — с ее помощью он постепенно избавился бы от этого, как от пятна, которое исчезает при терпеливой и методической чистке. Однако

времени не было — он его уничтожил. Он жил в аду, а там времени не существовало. Вот если бы его обвинили в каком-нибудь конкретном преступлении и отправили в тюрьму… Мысль о тюремном заключении, пусть и длительном, представлялась привлекательной в мире, где пресеклись все естественные желания. Эдвард даже подумывал, не совершить ли ему какое-нибудь обычное преступление, чтобы оказаться в тюрьме. Но на это у него не хватало силы воли. В настоящий момент он не мог придумать ничего, даже собственную смерть.

«Как Каин, я убил возлюбленного брата своего. Возможно, я убил его намеренно, из зависти, как кто-то сказал. Откуда мне знать? Простите меня. Неужели никто не простит меня? Если бы Марк искалечился, но остался живым, в инвалидной коляске — простил бы он меня? Наверняка простил бы. Но он мертв, и убил его я».

Эдвард слышал эти мысли. Они бесконечно повторялись в его голове и звучали так громко, что он боялся, как бы их не услышал кто-то еще. Иногда он ловил себя на том, что в чьем-то присутствии начинает повторять их вслух, как заученную литанию, а когда агония достигает максимума, на его лице гуляет безумная улыбка.

«Господи, дай мне любую другую боль, только не эту. Милосердную боль, которая сотрет само деяние; пусть через миллион лет, но сотрет. Я оставил его одного, совершил бесповоротное, бесконечное, непростительное нравственное преступление, самое злостное нарушение долга. Если бы тогда не зазвонил телефон, если бы я не ушел, если бы я не запер дверь, если бы я вернулся на двадцать минут раньше, на десять минут, на одну минуту… Может, он бился в эту дверь снова и снова, звал меня, и теперь я слышу его зов в ночи, зов и плач».

Марк Уилсден был кремирован, а пепел его развеян по ветру. Это было к лучшему. Если бы его искалеченное, разбитое тело все еще существовало где-то, зарытое в землю, Эдвард должен был бы пойти и лечь там.

— Слушай, — терпеливо и не в первый раз говорил Гарри Кьюно своему пасынку Эдварду Бэлтраму, — у тебя нервный срыв, ты болен, это болезнь. Такая же, как пневмония или скарлатина. Ты получишь помощь, тебя вылечат, тебе станет лучше, ты выздоровеешь. Я тебя очень прошу, пойми мои слова. Я тебя очень прошу, будь терпелив и делай, что тебе говорят.

Эдвард сидел напротив отчима в гостиной

высокого дома в Блумсбери, куда бежала Хлоя Уорристон, будучи беременной от Джесса. Он несколько мгновений смотрел на Гарри, потом отвернулся.

«Боже мой, — думал Гарри, — мои мальчики одновременно сошли с ума. Перед ними открывались блестящие возможности, а они, похоже, вознамерились уничтожить себя: Эдвард из-за своей депрессии, а Стюарт из-за религиозной мании. Они оба влюблены в смерть».

Все знали, что Гарри Кьюно любил обоих отпрысков, но пасынка предпочитал сыну. Сам Гарри, которого Эдвард считал «не очень успешным», в свое время «страдал» оттого, что был единственным ребенком знаменитого Казимира Кьюно, популярного романиста-интеллектуала. У Гарри книги отца вызывали отвращение, но он высоко ценил его успех. Необычная фамилия, которой Гарри тоже гордился, имела провансальское происхождение. Слава Казимира потихоньку шла на убыль, но вместе с немалыми деньгами он оставил Гарри в наследство изменчивый и честолюбивый беспокойный характер и целую кучу талантов, однако Казимир научился их использовать, а вот Гарри — нет. Сара Плоумейн высказала всеобщее мнение,

назвав его «искателем приключений» и «героем нашего времени». Гарри сожалел, что пропустил войну. После бурных лет учебы в частной школе на севере Англии, где учился и его отец, он блестяще окончил университет и после смерти отца, утонувшего в море, пробовал себя в журналистике и литературе, в бизнесе и политике, и всегда — как enfant terrible. Он был разочарованным избалованным ребенком. Он опубликовал роман и несколько стихотворений, баллотировался и не прошел в парламент кандидатом от лейбористов, основал недолговечное авангардистское издательство. При этом Гарри не казался неудачником, и, хотя многие годы он прожил без каких-либо очевидных достижений, а сыновья его уже успели вырасти, он по-прежнему подавал большие надежды, словно обладал даром вечных обещаний. Всегда оставалось что-то, бесконечно откладываемое на потом, но все еще возможное. Он до сих пор выглядел молодым и красивым. Его карьера в качестве мужа и отца была столь же туманной и живописной. Он удивил друзей, женившись на застенчивой и тихой девушке с пугливыми нежными карими глазами; она была новозеландкой («девушка издалека»), а познакомились они в колледже. Когда после рождения

сына она умерла от лейкемии, Гарри утешал себя распутной жизнью. Если, как говорили некоторые, он и был плейбоем, то лишь потому, что вся его деятельность, серьезная или нет, принимала такую форму. Потом он женился на молодой леди с еще более сомнительной славой — на Хлое Уорристон, художнице, более известной в качестве любимой модели Джесса Бэлтрама. Злые языки утверждали, будто после женитьбы на тихой, заурядной и порядочной девушке, которую он полюбил, Гарри усилием воли удерживал себя в реальном мире. Когда же он сочетался браком с профессиональной «девушкой мечты», его навязчивые идеи взяли верх и он окончательно и бесповоротно оторвался от земли. «Девушка издалека» была счастливым случаем, Хлоя — судьбой. Он познакомился с ней на вечеринке в Художественном клубе и тут же «узнал» эти трагические глаза, смотрящие из-под копны каштановых волос. Он был зачарован ее репутацией. Когда они поженились, она была беременна от другого мужчины, и некоторые утверждали, будто это и привлекало Гарри более всего. Брак их был беспокойным, хотя Хлоя любила своего вовремя подвернувшегося пирата: по ее словам, она всегда представляла себе, как он прыгает на

захваченное судно с кинжалом в зубах. Но рукопашная схватка не потребовалась, поскольку Джесс определенно бросил Хлою и впоследствии не проявлял никакого интереса к своему случайному отпрыску. Не Джесс, а его многострадальная жена Мэй два-три раза просила Хлою привести Эдварда к отцу, когда Бэлтрамы приезжали в Лондон. Они к тому времени уже переехали из Челси за город. Мальчику было пять или шесть лет. Во время этих визитов Хлоя (она так и не простила изменившего ей любовника и, возможно, все еще любила его) оставляла Эдварда у дверей, и он один представал перед большим темноволосым человеком, рассматривавшим его с изумлением и любопытством, перед нервной, экспансивной мачехой и двумя враждебно косившимися на него девочками. Гарри не одобрял эти свидания, и после ранней смерти Хлои, когда Эдварду исполнилось семь, встречи прекратились. Мэй Бэлтрам отправила Эдварду пару рождественских открыток, но Гарри перехватил их и уничтожил. Эдвард не сохранил почти никаких воспоминаний об этих годах без матери, когда он принимал, как само собой разумеющееся, что Гарри — его отец, а Стюарт — брат. Он помнил Хлою очень смутно. В памяти остались ее большие печальные глаза в

те времена, когда она уже чахла от болезни, и собственное ощущение ужасной печали и неясной вины, навеянной ощущением напряженности между ней и Гарри: словно ее упреки в адрес тех, кто останется жить после ее смерти, относились и к Эдварду. Позднее, когда он начал задумываться о странностях своего сыновнего положения, он в целях самозащиты стал затуманивать ее образ. У Эдварда имелась и небольшая «дополнительная» семья в виде младшей сестры Хлои — Мидж. Она была моделью и красивейшей женщиной Лондона, а потом удивила всех, выйдя замуж за «пожилого мужчину» Томаса Маккаскервиля.

Обитая панелями гостиная в доме Гарри (который был домом и его отца, и деда) представляла собой вытянутую в длину комнату на первом этаже с окнами в обоих концах. Темно-зеленые стены — выкрашенные давным-давно, они приятным образом состарились и выцвели — теперь обрели мрачноватый оттенок, создаваемый вечерним туманом за окном. Светила одна лампа. В камине горел огонь. Гарри был крупным мужчиной, светловолосым и светлокожим, его густые, аккуратно подстриженные волосы, лишь недавно начавшие терять свой золотистый цвет, лежали короной над гладким лбом без единой

морщинки. Добрые голубые глаза смотрели с любопытством и дружелюбием. Он расположился у огня, чуть подавшись вперед и уперев локти в колени. Эдвард, высокий, худой, темнокожий, с ястребиным носом и мягкими темными прямыми волосами, ниспадавшими ему на лицо, был чуть выше отчима; он сидел, съежившись в потертом глубоком кресле. Слова Гарри не доходили и не могли дойти до него, они никак не были связаны с его страданиями и не имели к нему ни малейшего отношения. Он вел воображаемый разговор с Марком: «Знаешь, Марк, это ее болтовня о моей семье задержала меня…»

«Я должен сделать что-то, — подумал Гарри. — Мы дали ему отдохнуть, отлежаться в кровати, позволили бродить без цели и оставаться в одиночестве. Казалось, именно это ему было нужно, но он чахнет день ото дня, как умирающее животное. Если бы он только захотел чего-то!»

— Почему бы тебе не съездить куда-нибудь? Возьми с собой кого хочешь, какую-нибудь девушку. Я за все заплачу. Поезжай в Венецию. Ты однажды говорил, что хочешь в Венецию.

Эдвард медленно покачал головой, уставившись в угол комнаты. Шум улицы едва проникал через двойные стекла, за которыми были видны

нечеткие контуры деревьев.

— Томас что-нибудь сказал, он договорился о новой встрече с тобой?

— Нет.

— Черт побери, почему бы ему не сделать что-нибудь? У него есть кое-какие мысли в голове. Он такой изобретательный. Плохо, что ты предоставлен сам себе. Ты придешь сегодня на ужин?

Маккаскервили пригласили Гарри, Эдварда и Стюарта.

— Да.

— Тебе это полезно, нельзя замыкаться в себе.

— Да.

— Там будут Уилли и Урсула, — (Уилли Брайтуолтон преподавал в университете, Эдвард изучал у него французский. Его жена Урсула была семейным доктором.) — Ты принимаешь таблетки, которые прописала Урсула?

— Да.

— Эдвард, выслушай меня внимательно. Сосредоточься, возьми себя в руки, соберись. Постарайся оставить все позади. Никто тебя не обвиняет, ты ни в чем не виноват. Это был несчастный случай. Не считай себя центром мироздания — никто о тебе не думает, если тебя это беспокоит. У людей другие заботы, все уже позабыли о тебе.

Ты свободен, ты пережил это, теперь начался другой этап. Британское правосудие простило тебя и отправило домой, чтобы ты жил своей жизнью. Так неужели ты сам не можешь простить себя и жить своей жизнью? У тебя есть все преимущества. Ты молод, ты привлекателен, ты умен, ты здоров, не бросайся этим. Счастье — вот цель жизни. Твоя задача — быть счастливым, а не распространять вокруг себя скорбь и отчаяние. Не будь эгоистом. Верни себе прежнее мужество и прежний нарциссизм! Верни себе свой миф, распрямись и снова поверь в себя.

Эдвард перевел глаза на Гарри, скользнул по нему взглядом с выражением боли и легкой неприязни, потом еще глубже вдавился в кресло и опять уставился в угол комнаты.

Гарри, который лишь недавно заметил, что лица его сыновей сменили юношескую свежесть на жесткую целеустремленность мужественности, с отчаянием и душевной мукой посмотрел на Эдварда. Тот выглядел слабым, растерянным, недовольным, почти женственным.

— Ведь ты хочешь стать писателем? Ну вот тебе жизненный опыт — почему не написать об этом?

— Я не смогу. Это… Это не опыт.

— Начни вести дневник, описывай свои чувства. Потом ты мог бы этим воспользоваться.

Эдвард покачал головой. На его изменившемся лице застыло какое-то безжизненное выражение, слабость сделала его уродливым. При виде этих перемен Гарри решил, что Эдвард опасно болен.

— Ты преувеличиваешь. Попробуй посмотреть на все трезвым взглядом, в перспективе. Ты болен жалостью к самому себе, ты купаешься в чувстве вины, ты почти наслаждаешься этой ролью. Но все это не имеет особого значения. Не так уж важно, что ты делаешь, личная ответственность — это довольно вычурное понятие, вымысел. Кто ты, по-твоему, такой? Тут нет никакой глубины, Бог не следит за каждым твоим шагом. Твоя задача — вернуться к жизни и продолжить начатое. Ты должен вернуться в колледж, к работе, и бога ради, не позволяй Томасу убедить тебя, что это специфическое психологическое состояние может длиться вечно. Эдвард, ты меня слушаешь?

— Да

— Это лишь маленький эпизод твоей жизни, он практически не имеет к тебе отношения, ты сам поймешь позднее. Жизнь состоит из случайностей, и мы, конечно, натыкаемся друг на друга, встречаем коварных людей, но ты не из них.

Встряхнись! Прекрати думать только о себе — вот в чем твоя беда. Не позволяй этому событию угнездиться в твоей душе. Оно не имеет глубокого смысла, это не великая духовная драма. Забудь о нем, стряхни его с себя, словно комок грязи, или праха, или…

Молчание Эдварда расстраивало Гарри, его раздражение нарастало. Он наклонился вперед, снял уголек с каминной решетки, но тут же отбросил его. Уголек был очень горячий и обжег ему пальцы.

— Черт!

Гарри махнул рукой и принялся дуть на пальцы.

Эдвард смотрел на него, но почти без всякого интереса.

— «Придумай, как удалить из памяти следы гнездящейся печали, чтоб в сознанье стереть воспоминаний письмена»[3].

— Нет.

Первую реплику произнес Гарри Кьюно, вторую — Томас Маккаскервиль.

Действие происходило в доме Маккаскервилей в Фулеме за ужином, небольшое общество было

---

[3] Примечания: 3

Шекспир У. Макбет. Акт V, сцена 3. Перевод Б. Пастернака.

собрано ради несчастного Эдварда. Мидж Маккаскервиль находилась на кухне, Томас, Гарри и Эдвард — в гостиной. Эдвард, которого двое других время от времени быстро окидывали взглядом, снял с полки книгу, уселся в углу и сделал вид, будто читает. От выпивки он отказался. Комната во вкусе Мидж — потому как Томас не обращал внимания на среду обитания — сверкала цветами на шторах и на обоях, на восточном ковре, даже на гипсовых розетках на потолке. В кувшинах и вазах тоже стояли цветы, правда не такие яркие и более эфемерные. Но каждый из этих цветов знал свое место, и высокие жесткие букеты желтоглазых нарциссов, запах которых наполнял комнату, не затмевали собой маленьких розочек на обоях и ничуть не свидетельствовали об их неуместности. На стенах здесь и там, разнообразя растительный пейзаж, висели воздушные виды Беркшира, написанные покойным отцом Мидж (и Хлои) Клайвом Уорристоном — малоизвестным художником, последователем Пола Нэша[4]. Множество ламп освещало подготовленную сцену. Уилли Брайтуолтон, влюбленный в Мидж, помогал ей на кухне. Остальные, включая Урсулу

[4] Примечания: 4
Нэш Пол (1889–1946) — английский художник-баталист.

и Стюарта, еще не прибыли.

Гарри и Томас стояли у камина на ковре в стиле ар-деко, украшенном тюльпанами. На каминной полке теснились примулы из загородного дома Мидж и Томаса. По улице, налегая на окна, гулял восточный ветер. Шторы были плотно задернуты. Гарри и Томас стояли друг подле друга и ощущали знакомое излучение двусмысленных эмоций, обусловленных близостью. Они давно знали друг друга. Гарри отступил назад. Он выглядел стильно в своем галстуке-бабочке, его широкое и спокойное лицо с гладкой кожей («молоко и розы», как говорила Хлоя), только-только выбритое, сияло здоровьем. Томас, потомок якобитов и раввинов, был худым и голубоглазым, с узкой собачьей челюстью. Он носил жесткие прямоугольные очки с толстыми стеклами, без которых почти ничего не видел.

— Почему нет? — спросил Гарри.

— Больной должен сделать это сам.

— Да-да, конечно, можешь называть себя медиатором или божественным инструментом, чем угодно, но сделать ты что-нибудь можешь?

Гарри привык к ощущению, что Эдвард не слышит никаких обращенных к нему слов, и говорил так, будто юноши здесь и не было.

Зазвенел дверной звонок.

— Мидж откроет, — сказал Томас своим высокомерным эдинбургским голосом.

От дверей послышались женские голоса.

— Это Урсула. А Стюарт придет?

— Обещал приехать, значит, придет.

— Какие последние новости?

— Он хочет стать инспектором, наблюдающим за условно осужденными!

Стюарт Кьюно был на четыре года старше Эдварда. Недавно он напугал семью и друзей, отказавшись продолжать образование. Стюарт с отличием сдал экзамены в аспирантуру по специальности «математика» и получил предложение занять вожделенную для многих преподавательскую должность в колледже Лондона, но вдруг заявил, что покидает мир науки, чтобы заняться «социальной работой».

— А почему бы, собственно, и нет? — спросил Томас. — Против чего ты возражаешь?

— Ну, ты сам прекрасно знаешь: он рос без матери, с неврастеничной мачехой и отцом, который предпочитал его брата…

— Я не об этом спрашиваю…

— Каких бы успехов ни добивался Стюарт, Эдвард всегда был звездой. Он был самым обая-

тельным, именно на него обращали внимание…

— Я спрашиваю, в чем его идея?

— Может, какая-нибудь религиозная секта промыла ему мозги или что-то в этом роде…

— А почему бы и нет? Почему он не может бросить все и пойти служить обществу?

— Дело не в этом, а в его отношении. Он готов идти босым в холщовой робе. Если бы все сводилось к политике, я бы так не возражал…

— Но это не сводится к политике?

— Только косвенно, как сводится к политике любая помощь обездоленным.

— Некоторые математики в этом возрасте остывают к науке.

— Он все равно собирался бросить математику. Он готовил диссертацию по логике и философии. Что-то там о Буле и Фреге[5]. Мне казалось, ему это нравится.

Гарри почувствовал, как что-то холодное прикоснулось к его руке. Он опустил взгляд и увидел вазочку с оливками, поднесенную Мередитом Маккаскервилем, тринадцатилетним сыном Томаса и Мидж. У мальчика были прямые густые

---

[5] Примечания: 5

Буль Джордж (1815–1864) — британский математик и философ. Фреге Фридрих Людвиг Готлиб (1848–1925) — немецкий математик, ставший логиком и философом.

каштановые волосы, как у матери, и он аккуратно расчесывал их, чтобы они спадали на воротник и челкой на лоб, как у отца. Сегодня он надел пиджак и галстук. Мередит был немногословным, он высоко и с достоинством держал голову. Сейчас он не смотрел на Гарри, а просто совал вазочку ему в руку. Гарри привык к Мередиту и полюбил его, ему нравилась сдержанность мальчика, и он даже воображал, что между ними существует нечто вроде тайного взаимопонимания.

— Нет, Мередит, не хочу. Спасибо. Ну что, весело быть тинейджером?

— Не очень. Если хотите, есть соленый миндаль.

— Нет. Наверное, ждешь не дождешься, когда пойдешь в закрытую школу?

— Нет.

— Попробуй еще смеси, — сказал Томас.

Они пили белый портвейн с «Карпано» и «Нойли-пратом»[6], разбавленный яблочным соком. Такие вязкие аперитивы выдумывал сам Томас, и его гости пили их порой против воли.

Мередит, которого никогда не называли Мерри, был отмечен родимым пятном винного цвета

---

[6] Примечания: 6
Марки вермута.

на щеке, которое его отец называл «знаком Дионисия». Все постоянно говорили ему, какой он хорошенький. Что думал на этот счет сам Мередит, никто не знал.

Вошла Урсула Брайтуолтон. На ней была длинная жесткая вечерняя юбка из черного атласа, на ходу производившая шорох, подобный шуму от небольшой пилы, и старый, заметно потертый китайский жакет с драконами. Урсула часто говорила, что всегда одевается наскоро и во что-нибудь легкое. Ее темные седеющие волосы были довольно коротко подстрижены, а умные задумчивые глаза весело поглядывали на мир. Но ее небрежные манеры и слова мало кого обманывали. Она была красивой женщиной и выглядела именно так, как и подобает выглядеть известному и популярному практикующему врачу. Томас довольно давно знал ее профессионально (впрочем, в медицинских вопросах они не всегда сходились), а некоторое время назад Уилли заманил Эдварда в свой колледж. У Урсулы и Уилли был сын Джайлс, блестящий молодой человек чуть старше Стюарта. Он теперь жил не дома — пожинал лавры в одном американском университете, где его собирался посетить Уилли.

— Привет, Томас, привет, Гарри. Как здесь пах-

нет цветами! Может быть, открыть окно? Люди считают, что цветы для них полезны, как солнечный свет, но это большая ошибка. Добрый вечер, Мередит. Как ты вырос! Он ведь совсем взрослый, посмотрите на него! И у тебя великолепный костюм, не хватает только жилетки и цепочки для часов. С такой земляничной родинкой и именем Мередит Маккаскервиль ты покоришь мир.

Мередит с мрачным видом проигнорировал ее слова.

— Ребенок с военной выправкой, — сказала Урсула Томасу, — такой стройный и сдержанный. Ну и что он думает делать, когда вырастет?

— Он думает, — сказал Томас, — что хочет стать инженером-авиатором. Он хочет возродить дирижабли.

— Он заработает кучу денег. Как поживаешь, дорогой? — спросила она у Гарри.

— А как по-твоему, со всеми этими делами? В основном я отдыхаю, как актер.

— Ты и есть актер. Всегда им был. Жаль, что ты не занялся политикой, — было бы куда направить твои амбиции. Мидж и Уилли заняты на кухне, я им не нужна, так что я, пожалуй, выпью. У меня был жуткий день. Виски, Томас, пожалуйста, не твою сладенькую смесь. Мидж идет новое платье,

правда? Недаром она стала самой изысканно одетой женщиной Лондона.

Отправляясь за выпивкой, Томас сказал:

— Она не стала самой изысканно одетой женщиной Лондона — она заняла второе место.

— Он вечно ее принижает, — прошептала Урсула.

Мередит тем временем принес соленый миндаль и, вытянув руки, предлагал обе вазочки Эдварду. Эдвард совсем утонул в кресле в своем углу, словно претерпевал некие биологические изменения и превращался в маленькое животное. Его голова стала еще уже, шея вжалась в тощие плечи, длинные ноги подтянулись к креслу. Он с хлопком прижал книгу к груди. Скорбный рот, словно в каком-то приступе, изобразил судорожную улыбку, и Эдвард отрицательно покачал головой. Мередит опустил вазочки на ковер и легонько погладил рукав его пиджака, потом снова поднял вазочки, поставил их на стол и вышел из комнаты.

Теперь Урсула заметила Эдварда. Она вспыхнула и поднесла руку к воротнику жакета. Когда она двинулась к нему, он еще больше вжался в кресло.

— Эдвард, как дела? Ты принимаешь таблетки,

что я тебе прописала? Ты хотя бы ешь? Гарри, он ест?

— Вроде бы, — ответил Гарри.

— Эдвард, ты должен есть. Я зайду к тебе завтра поговорить. Не возражаешь?

— Спасибо, заходите, — сказал Эдвард безнадежным тоном.

— Он по-прежнему целыми днями лежит в кровати?

— Теперь поменьше.

— Он должен есть. Обязательно. Мы должны окружить его… мы должны окружить его… О дорогая!

В сопровождении Уилли Брайтуолтона появилась Мидж Маккаскервиль в длинном прямом шелковом платье с синими, розовыми и белыми полосами. На высоком волнистом воротнике узкие полосы тех же цветов располагались чаще. У платья имелось нечто вроде шлейфа, который с шуршанием скользил по ковру, напоминавшему настоящий гобелен. Мидж завела руку назад, взмахнула этим шлейфом, обнажив точеные ноги в розовых чулках, и рассмеялась. Томас уставился на нее, будто увидел в первый раз. Ее густые и длинные каштановые волосы с множеством разноцветных прядей, включая и несколько

красных, были уложены изящными космами и время от времени разлетались на манер гривы. Косметикой Мидж не злоупотребляла, но бросались в глаза ее темно-красные матовые ноготки на маленьких пальчиках. Драгоценности она надевала редко. Карие глаза светились дружелюбием и словно взывали: полюби меня, полюби меня! На лице Мидж застыло выражение почти навязчивого сочувствия. Она дружила со всеми, и это неизменное самовлюбленное воодушевление порой вызывало у людей, даже восхищавшихся ее красотой, едва заметную улыбку. У нее был идеальный нос, и в «лучшие годы» она часто фотографировалась в профиль. С тех времен, по общему мнению, Мидж несколько располнела.

Ее кавалером вызвался быть Уилли, добродушный лысоватый толстяк. Он прикрывал плешь длинным клоком редких волос, вечно съезжавшим со своего места, так что его приходилось поправлять, даже посреди застолья. Если Уилли забывался, клок неловко повисал на ухе, придавая своему хозяину немного безумный вид. В детстве Брайтуолтон стал свидетелем смерти собственного отца, убитого верблюдом во время давно запланированной и вожделенной поездки в Египет. Верблюд, видимо, принял старшего

Брайтуолтона за погонщика, который плохо с ним обращался, — сбил с ног и раздавил, рухнув на колени. После гибели отца Уилли пришлось наблюдать и расстрел верблюда. Урсула говорила, что он постоянно думает об этом, и едва ли преувеличивала. «Ему кажется, что верблюд падает коленями ему на сердце». Бессердечный и насмешливый свет превратил трагический случай в шутку: люди предупреждали друг друга, что в обществе Брайтуолтона нельзя говорить о верблюдах, но эта тема загадочным образом постоянно всплывала в его присутствии. Уилли — умный, ленивый, всегда озабоченный, всегда виноватый перед своими учениками — был специалистом по Прусту, но никак не мог завершить собственную великую книгу. Он ненавидел интеллектуальные разговоры и неизменно прерывал их, бормоча, словно во сне, свою любимую пословицу: «Что тут говорить — tout passe, tout casse, tout lasse»[7]. Недавно он вообразил, будто все от него ждут, что он возьмет Эдварда в Америку, «отвлечься от несчастий». Уилли подозревал, что именно такой план вынашивает Гарри. Взглянув на Эдварда, с которым он поздоровался

[7] Примечания: 7
Ничто не вечно под луной *(фр.)*.

раньше и теперь мог обойти стороной, он тут же начал объяснять:

— Прошу прощения у всех, но, как я уже сказал Мидж, на ужин я, к сожалению, не смогу остаться. Должен идти домой и собираться — завтра утром улетаю в Калифорнию.

— Так скоро?

— Мне нужно пораньше, это из-за Джайлса. Он настаивает. Это мой первый академический отпуск за бог знает сколько времени, я его с таким нетерпением ждал…

— Что верно, то верно, — сказала Урсула. — Он, как ребенок, не мог дождаться, когда начнутся каникулы. Уилли обожает Америку, там он чувствует себя свободным, как и многие англичане, и ужасно хочет увидеть Джайлса. Жаль, что я не могу отправиться с ним! А ему и в самом деле нужно собираться — у него ничегошеньки не готово!

Урсула снисходительно относилась к платонической страсти Уилли к Мидж. Казалось, что эта слабость мужа даже доставляла ей удовольствие.

— Тебе повезло, — сказал Гарри. — У тебя с Джайлсом никаких проблем, он идет от победы к победе. Попроси его, пусть напишет Стюарту, чтобы не делал глупостей.

— Подожди пока уходить, давай выпьем еще, — предложил Томас.

— К сожалению, Уилли уже приложился к виски на кухне, — сказала Мидж.

Уилли с сочувствием глянул на жуткую фигуру страдающего Эдварда. Ему было тяжко видеть своего ученика в беде. Отвратительную «микстуру» хозяина он всегда пил только из вежливости, а Томас — возможно, из какого-то наследственного талмудистского пуританства — сделал из этого некий ритуал. Мидж поймала взгляд Гарри и улыбнулась, потом посмотрела на Эдварда. Она подошла к нему, тихонько шурша своим полосатым платьем, опустилась на одно колено и жестом, напоминавшим жест ее сына, коснулась пиджака племянника, а затем легко положила пальцы с красными ноготками на его запястье. Эдвард вздрогнул и отдернул руку, потом вымученно улыбнулся. Мидж вздохнула и поднялась.

— Эдвард, дорогой, поднимайся и присоединяйся к нам. Выпей, — произнесла она без чувства и без надежды, что ее слова возымеют действие.

— Стюарт опаздывает, — заметил Томас.

— Наверно, он на молитвенном собрании, — сказал Гарри.

— Но ведь Стюарт не верит в Бога, — сказала

Мидж.

— Это его не остановит. И нужно отдать ему справедливость, я не думаю, что его затянули в какую-то секту. Нет, он делает это по собственному почину. Он считает, что у него долг перед человечеством. Ждет, когда все начнется, и надеется на совершение первого чуда.

— Я приготовлю для этого несколько кувшинов с водой на кухне.

— Полагаю, он, как и все они, читает много восточных книг, — сказал Уилли.

— Нет, он ничего не читает. Он не любит искусство ни в каких формах, у него нет друзей, он сидит, сражаясь с самим собой, и пытается понять, что сегодня должен делать молодой идеалист с чистым сердцем.

— Это старомодный вопрос, — отозвалась Мидж.

— Он старомодный мальчик.

— Говорили, что он хочет стать военным.

— Ну, это было сто лет назад. Чисто символически, в знак долга, послушания и жизни, полной монашеских лишений. Он хочет быть похожим на Иова: всегда виноват перед Богом, только приходится обходиться без Бога.

— Он что же, стремится к мученичеству? —

спросила Урсула.

— Похоже. Он, возможно, умрет молодым — в море, под колесами поезда или…

— Но это не самоубийство?

— Нет-нет, какая-нибудь дурацкая попытка спасти чью-то жизнь. Он как школьник, отставший в развитии.

— Стюарт всегда подумает, прежде чем рассмеяться шутке, — сказала Мидж, — а если все же рассмеется, то сделает это громко, как ребенок.

— Никаких risque[8] шуток, когда он поблизости!

— Он и вправду дал обет безбрачия? — спросил Уилли. — Как это делается?

— В его возрасте это невозможно, — заявила Мидж, — не хватит твердости. Я ему найду девушку. Он хочет привлечь к себе внимание. Это крик о помощи.

— Нет, он ко всему относится серьезно, — сказал Гарри.

— К чему «всему»? — уточнил Томас.

— К тому, что нужно быть добродетельным, идеальным!

— Ну, я полагаю, это само собой разумеется…

---

[8] Примечания: 8
Рискованных *(фр.).*

— Он может сделать что-нибудь для Эдварда? — спросил Уилли.

— Нет, он слишком занят собой. Может, он и не помнит о существовании Эдварда, к тому же они никогда особо не дружили…

— Я думаю, Стюарта изначально не туда направили, — сказала Урсула. — Как ты считаешь, Уилли? Ему нужно было заняться биологией. На самом деле с ним все в порядке, он просто переживает религиозный кризис школьного возраста. Поздновато, но он всегда опаздывает.

— Я думаю, дело в ядерной войне, — вставила Мидж. — Молодежь говорит, она просто висит над нами.

— Должна признаться, я этого не ощущаю, — заметила Урсула, — правда, я всегда занята.

— Стюарта больше занимают компьютеры, — сказал Гарри.

— Компьютеры? — переспросила Урсула. — Это же лучшие друзья человека. Они незаменимы в медицине.

— Гарри, что у тебя с рукой? — поинтересовалась Мидж. — Ты обжегся?

— Обжегся. Что ты мне посоветуешь, Урсула?

— Ничего.

— Я пытался внушить кое-какие здравые мыс-

ли Эдварду и схватил раскаленный уголь.

— На него это произвело впечатление? — спросила Мидж.

— Стюарт вчера переехал ко мне, прямо с вещами. Он отказался от гранта и от своего жилья — типичный юношеский эгоизм за чужой счет. А Эдвард, конечно, сидит дома после того дела. Теперь я готовлю еду для этих здоровых парней, и один из них — вегетарианец!

— Я люблю готовить, — сказала Мидж. — Ой, господи, сырное суфле испортится. Стюарту придется остаться без выпивки.

— Выпивки? Он не пьет, — возразил Гарри. — Если дело касается серьезных напитков, он ведет себя, как верблюд.

— Мне пора, — произнес Уилли.

Раздался звонок в дверь, и Мидж пошла открывать.

Уилли повернулся к Томасу. Лицо его раскраснелось, словно он был готов расплакаться. Урсула подошла к нему и взяла за руку. Уилли сказал Томасу:

— Мидж сегодня выглядит просто великолепно.

— Да, — кивнул Томас, — она такая теплая, она дарит жизнь.

Голос его звучал неискренне, почти иронически, но что у него на уме, никто никогда толком не понимал.

Урсула проводила Уилли к выходу, а потом вернулась.

— Не знаю, в чем тут было дело — в Мидж, виски или верблюде!

В комнату вошел Стюарт Кьюно.

Стюарт был таким же высоким, как Эдвард, но более крепкого сложения. У него было большое бледное лицо, красивые губы и золотистые светлые волосы, как когда-то у его отца, только подстриженные покороче. Светло-карие глаза казались почти желтыми, как у зверя. Кто-то однажды сравнил его с толстым белым червяком, высунувшим большую голову из яблока, но это было несправедливо. Стюарт отличался порывистыми движениями и неловкостью, как слон в посудной лавке, но при этом он производил впечатление на окружающих. Следом за ним в комнату вошел Мередит.

Стюарт, не обращая внимания на хозяев, говорил мальчику:

— Да, мы назначим день. Теперь, когда я устроился, мы можем снова начать бегать.

Стюарт и Мередит больше года вместе бегали

трусцой. Мередит несколько раз медленно и выразительно кивнул головой.

Мидж позвала всех за стол.

— Значит, ты думаешь, только религия спасет нас от грядущего гнева? — спросила Урсула у Стюарта.

Ужин подходил к концу. Мередит уже улегся спать. Подали сыр. Эдвард, на которого все оборачивались с выражением доброжелательного и заинтересованного внимания, по преимуществу хранил молчание, но время от времени был вынужден вставлять краткие реплики.

— Нет у него никакой религии, — проговорил Гарри. — Религия без Бога невозможна.

— Но он сказал, что самое важное — это будущее религии на нашей земле.

— Думаю, ему нужна униформа, — сказала Мидж.

— Я предлагаю простыню, — подхватил Гарри.

Стюарт улыбнулся.

— Ты можешь перекусить сыром, — сказала Мидж Стюарту. — Я ужасно извиняюсь, но я забыла приготовить для тебя настоящую вегетарианскую еду.

— Я очень много съел, — сказал Стюарт. Так оно и было на самом деле. Он всегда хотел есть. — Ка-

пуста великолепна, — добавил он.

— Эдвард, прошу тебя, попробуй сыр, — попросила Мидж. — Ты такой любишь.

— Но чего именно ты боишься? — спросила Урсула. — Да, есть ядерное оружие, атомные отходы и прочее, но ты, похоже, боишься самой науки.

— Разве наука сегодня не является воплощением доброй воли? — удивилась Мидж.

— Я думаю, ты ненавидишь науку, — продолжала Урсула, — и это меня расстраивает.

— Конечно, я не очень-то образованная, — сказала Мидж, — и ничего не понимаю в таких вещах.

— Не надо кокетничать! — воскликнул Гарри.

— Ты ненавидишь математику, потому что в ней будущее, — гнула свое Урсула. — Человеческую расу в конце концов прикончит молекулярная биология, но мы храним это в тайне.

— Я устал от нашего века, — сказал Гарри. — Хочу начать жить в следующем.

— Так разве наука не является воплощением доброй воли? — Мидж обратилась к Томасу. — Раньше люди думали, что все подобно машине, а теперь считается, что все случайно.

— Я не думаю, что какая-либо из этих идей имеет отношение к доброй воле, — ответил Томас.

— Лично меня привлекает идея ядерной бомбы, — сказал Гарри. — Нужно избавиться от накопившегося грязного прошлого, от старых идей и вещей, стряхнуть с себя коллективный дух. Ты как думаешь, Томас?

— Я хочу понять, чего ищет Стюарт, — настаивала Урсула. — Ты испуган, ты ненавидишь что-то и потому ведешь себя так странно.

— Стюарт считает, что мир — это творение Сатаны, — сообщил Гарри.

— Помоги ему, Томас, — призвала Мидж. — Не сиди как мумия, ты ничем не лучше Эдварда.

— Дьявол сотворил все, кроме одного — того, что он постоянно ищет, но не может найти, — отозвался Томас.

— Очень полезная старая еврейская пословица, — сказала Урсула. — А греки говорили, что Бог всегда занимается геометрией. А современные физики утверждают, что он играет в рулетку. Все зависит от наблюдателя, Вселенная — это сумма наблюдений, это произведение искусства, созданное нами…

— Квантовая физика — язык природы, — сказала Мидж.

— Кто это говорит? — спросил Томас.

— Я. Слышала по телевизору. Мы необходи-

мы миру элементарных частиц, чтобы спасти его от хаоса. Все это похоже на полное безумие. Неудивительно, что существуют террористы. Неудивительно, что нам нужна религия.

— Если бы Ньютон не верил в Бога, он мог бы открыть относительность, — заметила Урсула.

— Неужели! — откликнулся Гарри.

— Теперь машина может быть умнее человека, — сказала Мидж.

— И мудрее, и лучше, — подхватил Гарри. — Это ясно как божий день. Компьютерная эра лишь начинается. Но даже теперь машина способна видеть бесконечно больше нас, она быстрее, она различает больше деталей и связей, она может корректировать и обучать себя, приобретать новые навыки, о которых мы и понятия не имеем. Машина объективна. Мы состоим из крови и плоти, наши реакции зависят от нервных клеток, мы хилые, мы несовершенные, а компьютеры — боги. Компьютер может руководить государством лучше человека…

— А разве мы уже не пришли к этому? — спросила Мидж. — Разве там, на Даунинг-стрит, бюджет составляет не компьютер?

— Компьютеры помогут нам изменить себя, а нам определенно пора меняться! Они предлагают

нам новое видение человеческого ума — возвеличенного, очищенного и сильного. Мы можем узнавать о себе, наблюдая за ними, и улучшать себя, подражая им…

— А как по-твоему, Стюарт? — задал вопрос Томас.

— Машина не думает… — сказал Стюарт. — Машина не способна даже подражать человеческому разуму.

— Почему нет? — спросил Гарри.

— Ты хочешь сказать, она не наделена способностью синтаксического и семантического анализа? — поинтересовалась Урсула. — Разве сейчас не об этом говорят? Или ты считаешь, что она наделена разумом, но не сознанием?

— Потому что мы всегда пытаемся провести грань между добром и злом.

— Наверняка не всегда, — не согласилась Урсула, — и даже не часто.

— Кто может оценить мудрость машины — другая машина? Человеческим разумом наделены отдельные личности, и они увязли в оценочных действиях. Само восприятие включает в себя оценку.

— Но разве серьезное мышление не подразумевает объективности? — сказала Урсула. — Мы

уходим от личного.

— Серьезное мышление зависит от справедливости и правдивости думающего, от непрерывного давления его разума на…

— Это другой взгляд, — перебила Урсула. — Открытия, конечно, можно использовать правильно или неправильно, но само мышление может быть чистым, без оценки, как истинная наука, как математика, как… В любом случае это нечто идеальное и…

— Это ведь невозможно просто включить, — сказал Стюарт. — По вашим же словам, наука идеальна и частично является иллюзией. Наша вера в науку как в разум есть нечто хрупкое. Витгенштейн[9] полагал, что идея человека на Луне не только неразумна, но и запрещена всей нашей системой физики!

— Стюарт презирает эмпиризм, — заключил Гарри, — он голосует за эмоциональную жизнь.

— Ты хочешь сказать, что существуют злонамеренные ученые? — спросила Мидж. — Или что компьютеры могут взбунтоваться?

— Не совсем так, — ответил Стюарт. — Что ка-

---

[9] Примечания: 9

Витгенштейн Людвиг Йозеф Иоганн (1889–1951) — австроанглийский философ, один из основателей аналитической философии и один из самых ярких мыслителей XX века.

сается открытий, то тут дело не только в том, для чего они используются, и не в том, что человек должен быть разумным и заставлять себя судить нейтрально и объективно. Объективность — это та же самая правдивость. Вынесение справедливых суждений есть нравственная деятельность, мышление есть функция нравственности, оно осуществляется человеком и просто не может существовать без оценочной стороны. Эмпирическая наука тут не исключение…

— Ну хорошо, — сказала Урсула. — Однако исключение все же есть, и это исключение — математика, и именно поэтому ты и сдаешься! Это единственная вещь, не созданная тем, кто сотворил твой мир и постоянно пытается уничтожить математику, а я выступаю против него! Ты хочешь уничтожить ее…

— Так это все относительно? — спросила Мидж. — Я запуталась.

— Не ты, а он, — уточнил Гарри.

— Понимаете, математика — это некая диковинка, — говорил Стюарт, — хотя она тоже часть нашего мышления, более запутанная, чем думают люди посторонние. Математика впечатляет нас, нам кажется, будто она ясна и не может ошибаться, мы называем ее языком… Но она не может

быть моделью для разума. Идеальных моделей нет и быть не может, поскольку разум — это человек, а человек пронизан нравственностью и духовностью. Идея машины неуместна, «искусственный разум» — это ошибочный термин…

— Ну вот, теперь он завел про духовность! — воскликнул Гарри. — Ты хочешь все наделить нравственностью, это твоя разновидность религии. Ты хочешь загнать в угол то, что на самом деле объективно и имеет собственное место. Но наша эпоха учит как раз противоположному. Современная наука уничтожила различие между добром и злом, там нет никакой глубины. Таково послание современного мира: глубина есть только в науке. И Урсула права, математика — чистый пример. В этом-то все и дело, потому что математика повсюду, она уже сорвала банк, и биология стала математикой наших дней. Разве не так, Урсула? Язык планеты — математика…

— Ты пьян, — сказала Урсула.

— Чего ты боишься? — спросил Томас Стюарта. — Ты можешь определить?

— О, всего того, о чем мы говорили.

— Но мы говорили всякую чушь, — сказала Урсула. — Обычная застольная болтовня.

— Я боюсь, что мы можем потерять наш язык

и вместе с ним потерять наши души, наше ощущение правды и реальности, наше чувство направления, наше представление о добре и зле.

— Сейчас определенно конец эпохи, — проговорил Гарри. — Энергия, доставшаяся нам от греков и Ренессанса, полностью израсходована. Новые технологии — это жизненная сила.

— Что ты имеешь в виду, говоря о потере языка? — спросил Томас.

— Я говорю о потере языка наших ценностей, центрального человеческого языка, на котором говорят индивидуумы и который связан с реальным миром.

— Но этот мир существует всегда, — сказала Мидж, постукивая обручальным кольцом о столешницу. — Разве не так, Эдвард?

— Мы можем потерять привычное восприятие мирового порядка как чего-то окончательного, потерять нашу самость, наше сознание ответственности…

— Ничего этого нет и никогда не было, — возразил Гарри. — Это иллюзия. Мы пробуждаемся от сна, наше драгоценное индивидуальное «я» — это нечто поверхностное, это вопрос стиля, le style

c'est l'homme meme[10]. Добро и зло — понятия относительные. После банальностей люди переходят к дурацким разговорам о нравственности.

— Но такая вещь, как человеческая природа, безусловно существует, — сказала Урсула. — И она остается неизменной. Нам, женщинам, это известно, правда, Мидж?

— Женщины всегда как лакмусовая бумажка, — ответил Гарри. — Как собаки перед землетрясением — посмотрите, как они носятся, в какое безумное возбуждение впадают! Они уничтожают старый порядок, который так тебе мил. Мужчины в ужасе, и неудивительно, что ислам — самая популярная религия в мире.

— Дух без абсолюта, — сказал Томас Стюарту, — вот чего ты боишься.

— Да. Потерянный дурной дух.

— Нет сомнений, — продолжал Томас, — что реальный живой язык сохранится для немногих творческих людей. Они получат всю власть, они будут единственными личностями, а обычная толпа станет кодифицированным проявлением обобщенного технологического сознания.

— Мой дорогой Томас, именно так и обстоят

---

[10] Примечания: 10
Стиль — это тот-же человек *(фр.).*

дела сейчас! — заявил Гарри.

— Ты — циничный представитель элиты, — бросила Мидж.

— Он пытается досадить нам, — сказала Урсула.

— Ну вот вам пожалуйста, — отозвался Гарри, — женщины все переводят на личности.

— Значит, ответ — в религии, — обратилась Урсула к Стюарту, — мы с этого и начали.

— Да, это то, что удерживает в человеке стремление к добру и показывает, что добро — это самое важное, некий духовный идеал и дисциплина, способные стать — это очень трудно представить — чем-то вроде религии без бога, без сверхъестественных догматов. Мы можем не успеть поменять то, что мы имеем, на то, во что мы верим, — по крайней мере, так я думаю… но я только начинающий…

Они рассмеялись.

— Духовная дисциплина! — повторила Урсула. — Я думаю, твоя судьба — миссионерство. Я вижу все: ты станешь генералом Армии спасения… или иезуитом…

— Не могу понять, почему все так мрачно, — сказала Мидж. — Откуда это предубеждение? Столько всего замечательного происходит и бу-

дет происходить. Мы можем летать в космос, мы умеем лечить туберкулез, мы научимся лечить рак и накормим голодных. А телевидение — разве это не прекрасно?

— Нет, не прекрасно, — ответил Стюарт.

— А как насчет программ о животных…

— Это ужасное изобретение вредит даже несчастным животным. Оно разрушает наше восприятие, наше чувство реальности. Оно заполнено порнографическим дерьмом…

— Кстати, — заметила Мидж, которую стал утомлять абстрактный разговор, — мы вчера вернулись домой раньше, чем собирались, и обнаружили, что Мередит смотрит какую-то жуткую порнографию на видео. Он взял кассету у кого-то из своих приятелей! Дети в наше время смотрят ужасную грязь.

Стюарт со стуком положил нож. Его щеки покраснели.

— Как, Мередит смотрел настоящую порнографию?

— Да, настоящую, «жесткое порно». То, что я увидела, было чудовищно, абсолютный кошмар: двое мужчин, девушка и мальчик с ножом…

— Не надо рассказывать, — перебил Стюарт. — И как вы поступили?

— А как мы могли поступить? Велели выключить видик и вернуть кассету тому, у кого он ее взял. Что он и сделал на следующий день.

— Так значит, ребенок смотрел… Но ведь вы объяснили… вы сказали ему, как это плохо… вы дали ему понять?

— Мы выразили ему наше неудовольствие. Что, нужно было выпороть его? Он сказал, что все дети смотрят такое. Объяснить что-либо ребенку нелегко — как это теперь делается? Наши предки были бы шокированы, узнай они, что дети интересуются сексом. А теперь считается, что мы должны посвящать их в эти проблемы, едва они начинают говорить! Нельзя же наказывать ребенка за все подряд. Секс теперь повсюду. И вообще, дети отнюдь не невинные создания, это доказал психоанализ. Их невозможно оградить…

— Они на самом деле невинны, — сказал Стюарт, — и их можно оградить. Есть ведь и такое понятие, как душевная чистота…

— Оградить их невозможно, и я, откровенно говоря, не уверена, нужно ли это делать, — настаивала Мидж. — Мы, конечно, сказали Мередиту, что он не должен смотреть ничего подобного, но я думаю, он все равно будет. Возможно, это не так уж плохо, ребенок все равно не слишком много

понимает. Лучше пусть посмотрит теперь, пусть ему надоест, чем познакомится с этим позднее и подсядет. А он в любом случае с этим столкнется. Разве ты не согласен, Томас? Это как прививки. Переболеешь на раннем этапе и получишь иммунитет на всю жизнь.

— Ни в коем случае не согласен, — запротестовал Стюарт. — Не вижу причин, чтобы непременно столкнуться с этим позднее. Порнография — вещь не принудительная, люди могут договориться о том, что плохо, и воздерживаться от дурного. Почему мы должны исходить из того, что молодые люди непременно одержимы сексом? И почему вы принимаете как нечто само собой разумеющееся, что Мередит будет вас обманывать? То, к чему дети привыкают в раннем возрасте, может ослабить их нравственную защиту. Это просто обучение цинизму, причем не менее глубокое и действенное, чем любое другое. Это похоже не на прививку, а на заражение вирусом, от которого невозможно избавиться. Вирусом разрушающим и развращающим, а развращение детей — мерзость.

— Ты просто не понимаешь детей, — ответила Мидж. — Если бы понимал, не краснел бы и не выходил из себя!

— Я согласен с Мидж, — сказал Гарри. — В наше время нужно быть терпимым. Абсолютное осуждение — дело прошлого, нужно как-то примиряться с самим собой, и чем раньше, тем лучше. Мы не святые и не можем ими быть. Мы должны научиться принимать зло как нечто естественное. Ученые всегда были гностиками. Они говорят, что в человеческом сознании есть некая основополагающая неопределенность, и я чувствую именно это. Что касается развращения молодых, то в этом обвиняли даже Сократа! У всех нас бывают грязные мысли. Порнография — часть современного мира, она нравится всем, и она совершенно безобидна.

— Не думаю, что Стюарту это нравится, — возразила Урсула. — Интересно, нравится ли Эдварду? Что ты думаешь, Эдвард? Ты самый молодой из нас.

Эдвард резко поднялся, опрокинув кресло, поднял его и обратился к Мидж:

— Прошу прощения, но я себя неважно чувствую. Пожалуй, лучше мне уйти. Не надо меня провожать, я пойду прямо домой…

— Нет-нет, я с тобой, — сердито сказал Гарри. — Идем, Стюарт. Наше семейство направляется к дому. Ляжем сегодня спать пораньше. Не прово-

жайте нас, мы уйдем потихоньку.

— Мне тоже пора, — проговорила Урсула. — Нужно помочь Уилли собираться, у нас еще ничего не готово. Мидж поможет мне найти мое пальто, кажется, оно наверху.

Они вышли из комнаты, оставив Томаса наедине с вином.

Когда дверь за семейством Кьюно закрылась, Урсула, поднявшаяся наверх с Мидж, сказала:

— Я хотела поговорить с тобой наедине. Меня очень беспокоит Эдвард. Томас, похоже, им совсем не занимается.

Они сидели на огромной вычурной старинной кровати. Здесь, как любил говорить Томас, родились и умерли многие Маккаскервили. Мидж скинула туфли и подтянула юбку, обнажив розовые чулки. Она расстегнула невидимые пуговицы, поддерживавшие воротник ее платья.

— Я думаю, у Томаса есть какой-то план, — ответила Мидж. — У него всегда есть план.

— Ну тогда ему лучше поторопиться. С парнем что угодно может случиться. Ему нужны более сильные средства, чем те, что я ему выписываю. Ему бы лечь в клинику и показаться специалистам.

— Ты правда так считаешь? Он не ляжет в кли-

нику. Томас хочет, чтобы он вообще отказался от лекарств.

— Томас спятил. Эдварда, скорее всего, ждет период долгой депрессии. Мне знакомы подобные случаи.

— Стюарт, похоже, тоже немного не в себе. Я сочувствую Гарри. Когда оба его сына делали такие успехи…

— Что касается Стюарта и Гарри, то с ними все в порядке. Гарри — законченный гедонист, он тихо-спокойно решил, что его не должна беспокоить ни скорбь одного сына, ни эксцентричность другого.

— На самом деле Гарри не верит в неврозы, — сказала Мидж. — Он считает, что человек может взять себя в руки.

— За Стюарта я не боюсь, — продолжала Урсула. — Через год-другой он вернется, немного потрепанный жизнью, поумневший, помрачневший, и снова постучит в дверь университета. И почему бы ему не помочь несчастным беднякам? Никто, кажется, о них не думает.

— Гарри хочет, чтобы он стал кем-то вроде универсального ученого.

— Гарри — сноб. У Стюарта временное религиозное помешательство. У мальчиков оно обычно

случается в четырнадцатилетием возрасте. Он думает, что его зачали непорочно, потому что не может представить свою мать в постели с Гарри. Хлоя никогда не любила Стюарта. Классическая дурная мачеха, вот в чем его беда. А сумасбродная любовная жизнь Гарри после Хлои закончилась. Вообще-то Стюарт — крепкий орешек. Они с Гарри похожи как две капли воды. Оба воспитаны на «Газете для мальчиков» [11] — романтики, жаждущие испытаний, они одержимы мужеством, они хотят быть героями. Все очень просто. Им нужно было жить в девятнадцатом веке. Гарри мог бы стать землепроходцем, строителем империи, а Стюарт был бы бесстрашным миссионером или скандальным епископом.

— Я скорее вижу Гарри в Берлине эпохи джаза. Должна сказать, что Стюарт меня утомляет. Что ты думаешь о его лекции по порнографии?

— Мне она понравилась. Чем сейчас занят юный Мередит?

— Читает в кровати.

— Что он читает?

— «Дирижабли на водородной тяге».

---

[11] Примечания: 11

«Газета для мальчиков» издавалась с 1879 по 1967 г. Пользовалась популярностью у тинейджеров. Газета проповедовала христианские ценности.

— Молодец.

— Он не играет в эти дорогущие компьютерные игры, что ему покупает Томас.

— Хороший мальчик. Не беспокойся за него. Меня волнует Эдвард. Как бы он не вляпался еще в какую-нибудь мрачную историю — сначала влюбится в Томаса, а потом опять сломается.

— Гарри опасается, как бы он не стал гомосексуалистом из-за этой его одержимости Марком Уилсденом.

— Да. Сейчас он влюблен в Марка. Несчастный мальчик, ах, какой несчастный мальчик.

— Гарри сегодня очень нервничал и вел себя отвратительно, правда? Я думаю, Томас остался недоволен.

— Гарри всего лишь использует свой интеллект, чтобы заниматься самоистязанием. Золотой амур, разрушающий сам себя. Я не выношу этих пророков, предрекающих конец света и радующихся краху цивилизации. Они всегда выступают против женщин. Я думаю, Гарри презирает женщин. Правда, я думаю, что большинство мужчин презирают женщин. Наша бедная старая планета. Неудивительно, что Дирк Плоумейн застрелился.

— Я не знала, что он застрелился, — сказала

Мидж.

— Да, застрелился, и сделал это так стильно. У него была депрессия… Странная парочка — Гарри и Томас, они ведь как лед и пламень. Томас — кельт восточного типа, а Гарри — нечто вроде архетипа англичанина. Два человека с абсолютно разными образами мышления, но очарованные друг другом.

— Ты думаешь, они и в самом деле друг другу нравятся? Я всегда в этом сомневалась.

— Я сказала «очарованы», но да, я думаю, они обожают друг друга! Парочка эгоистов! Уилли, конечно, другой, у него иной стиль. Мне пора. А что, Томас действительно пишет книгу о своем сумасшедшем пациенте мистере Блиннете?

— Не думаю.

— Мне кажется, этот Блиннет — обычный жулик. Похоже, психиатры лишены чувства юмора, и им никогда не приходит в голову, что пациенты над ними издеваются.

— У Томаса есть чувство юмора.

— Он лишен чувства юмора в ином смысле. Он неискренний, слишком глубокий. Забавный капризный Томас. Ты знаешь, как я его люблю. К

тому же я им восхищаюсь. Quand meme[12]. Скажи ему, пусть приглядывает за Эдвардом. Я, конечно, тоже постараюсь, но Томасу легче это сделать. У него всего четыре пациента в день, а у меня — десятки.

— Даже меньше четырех. Он хочет, чтобы теперь, когда Мередит будет учиться в школе-интернате, мы больше времени проводили за городом. Любопытно: Гарри предпочитает Эдварда, а Томаса, мне кажется, больше занимает Стюарт.

— Да, — согласилась Урсула. — Томаса гораздо больше интересует кризис Стюарта, чем Эдварда. Я не хочу сказать, что он безответственный. Но здесь нужна умная и честная наука, а не какие-то там тонкости. Решение в медикаментозных средствах, все остальное — глупости. Томас отходит от науки, он предатель. Все эти разговоры о том, что любой анализ — это дилетантский анализ, ничего не стоят, но люди слушают. Его трудно считать доктором, он почти не практиковал. Он считает свое назначение жреческим, как его талмудические предки. Это подмена религии, от которой отказались его родители-модники.

---

[12] Примечания: 12
Несмотря ни на что *(фр.)*.

Мидж, я побаиваюсь за Эдварда.

— То есть опасаешься, как бы он не покончил с собой?

— Конечно. Депрессии — не шутка. Я думаю — только не проговорись Томасу, я как-то раз сказала ему об этом. — Томас не стал бы возражать против самоубийства кого-либо из его пациентов, если бы был уверен, что это сокровенное желание самоубийцы! Я же придерживаюсь старой точки зрения на медицину: наша работа — спасать жизни. Пожалуйста, смотри за Эдвардом.

— Боже мой! — отозвалась Мидж.

— У тебя будет хоть какое-то занятие. Ты же ничего не делаешь. Это плохо.

— Я хожу по магазинам, я готовлю. Да, у меня есть горничная, но она приходит только по утрам и не каждый день. Ты не права, кое-что я все же делаю!

— Ты понимаешь, о чем я. Хорошо бы тебе поучиться, ты же вечно сетуешь на свое невежество. Прослушай курс в колледже — можно найти что-нибудь по твоему вкусу. По крайней мере, не будешь целый день сидеть дома.

— Если меня примут в какой-нибудь колледж, то учиться там не стоит!

— Тогда присоединяйся к Стюарту и помогай

людям. Я не шучу!

— Иди домой, Урсула, иди, дорогая!

Они поднялись. Жесткая юбка Урсулы, теперь обильно пропитавшаяся духами Мидж, произвела суховатый звук, какой производит пила. Женщины посмотрели друг на дружку. Их наряды измялись, а лица при ярком свете были утомленными и уже не молодыми.

— Ты становишься еще красивее, когда устаешь, — сказала Урсула. — Как тебе это удается? Скажи Томасу, что односолодовое виски для нас полезнее, чем алкоголь на сахаре. Пожелай ему от меня спокойной ночи.

— Ты сама не можешь?

— Он ушел в себя. Одному богу известно, о чем он думает. Спокойной ночи, ангел.

Когда Урсула ушла, Мидж направилась в столовую, где, как она и предполагала, Томас все в той же позе сидел перед графином с кларетом. Он любил вино, но пил умеренно. Он снял очки, и лицо у него стало мягче и уязвимее. Не глядя на нее, он протянул руку.

Столовая находилась на цокольном этаже, и теперь, когда шумный разговор более не наполнял ее, стали слышны звуки проезжавших мимо машин, то набирающие высоту, то затихающие,

похожие то на порывы ветра, то на дребезжание окон. Мидж встала рядом с мужем и взяла его за руку, которая все больше покрывалась морщинами, пигментными пятнами и выглядела старше самого Томаса. Она стояла, сжимая его руку, а он потянулся к ней и погладил ее шелковое платье. Мидж отпустила его руку, обошла стол, наклонилась, подалась вперед и не без удивления (подобного тому, с каким он иногда смотрел на нее) принялась разглядывать мужа. Внешность Томаса нередко пугала ее — ей казалось, что лицо мужа меняется и она замужем сразу за несколькими мужчинами, никогда не встречавшимися друг с другом. Томас был печальным. Мидж смотрела на его голову, похожую на голову фокстерьера, на прищуренные светло-голубые глаза.

— Как аккуратно ты причесан, — сказала Мидж.

— И как неаккуратно — ты.

— Ты только что причесался?

— Нет.

— Они у тебя похожи на парик.

— Присядь на минутку, дорогая.

— Ты устал.

— Да. Присядь.

Мидж села напротив него.

— Урсула очень волнуется из-за Эдварда.

— Да

— Но ты что-нибудь сделаешь.

Томас помолчал несколько секунд, потирая глаза, а потом сказал:

— Это похоже на химическую реакцию. Эдвард должен измениться, а нам некоторое время придется наблюдать эту перемену.

— Сегодняшний вечер не очень удался, — сказала Мидж.

— Это было упражнение. Искусственное, какими нередко бывают упражнения. И формальный жест, возможно, имеющий некоторую ценность.

— Вот как… — Мидж налила себе немного кларета в стакан Гарри. — Я думаю, если бы ты и теперь продолжал делать вид, что не замечаешь Эдварда, он возненавидел бы тебя.

— Он еще не готов. Если бы я попытался загнать его в угол, он бы отверг меня, и впоследствии задача стала бы еще сложнее. Что бы я ни сказал ему сейчас, это походило бы на приказ. Люди, пережившие такое потрясение, воплощают некую мифическую драму, и обстоятельства могут подлаживаться под них почти сверхъестественным образом. Это поиски одиночества и очищения. Суть в том, что он хочет убежать — но не убежит,

не увидев перед этим меня. Это структура событий, которой нужно дать развиться.

— Хочет убежать?

— Да. Я должен рассказать об этом Гарри.

— И куда?

— Не знаю. Но когда он накопит достаточно энергии, он убежит, исчезнет. И я хочу знать, куда он направит свои стопы. Вот именно это он и скажет, когда придет ко мне перед бегством.

Гарри в черном шелковом халате сидел, а Стюарт стоял перед ним. Они только что вернулись от Маккаскервилей.

— Я в твоем возрасте был глуп, — говорил Гарри. — Я был кем-то вроде безумного экстремиста, но, к счастью, не совершил ничего необратимого. Я был романтиком, и я остался романтиком. Я развивал свою природу, я не был целиком и полностью в плену иллюзии. А ты, судя по всему, оказался в ловушке чисто теоретического представления, будто ты есть воплощение добра и святости или чего-то в этом роде. Не могу понять, где ты этого набрался. В школе ты не отличался религиозностью, а теперь приносишь ей в жертву свое драгоценное время, вместо того чтобы тратить его на изучение чего-то полезного. Почему ты не хочешь продолжать изучать что-то нуж-

ное? Ты мог бы учиться и параллельно помогать бедным. Ты бежишь от трудного к легкому — вот к чему сводится твое решение. Ты пораженец, ты — фальшивая монета. Ты бежишь из мира, так как понимаешь, что не можешь им управлять, не можешь добиться успеха. Ты бы хотел стать знаменитым профессором, выдающимся физиком, великим философом, но ты пускаешь все коту под хвост, выбрасываешь на помойку. Ты бы хотел узнать, как взорвать мир, но никогда этого не узнаешь, а потому единственный способ уничтожить его — сделать вид, будто ты от него отказываешься. Разве нет?

— Я так не думаю, — ответил Стюарт.

— Бескорыстие и скромность тебе не свойственны, ты помешан на власти, ты своего рода нравственный Гитлер. Будь ты художником в той или иной области, мне это было бы понятно. Я продолжал свои исследования, я имел успех, но в конце концов у меня остался интерес только к тому, что я мог целиком и полностью придумать сам. Вот что отличает художника — желание быть богом. Ты тоже хочешь быть богом, так что, возможно, различие между нами не так уж велико. Но ты не художник, тебе не хватает воображения, а это уже прямой путь к катастрофе.

Может, ты хочешь подвергнуться преследованиям? Но ты ведь не хочешь закончить как жалкий неврастеник?

— Конечно нет, — сказал Стюарт.

— Что касается секса, то ты не можешь от него отказаться. Тебе по силам лишь отложить его на время, а это не пройдет бесследно для твоей психики. Люди будут считать тебя импотентом, или ненормальным, или скрытым гомосексуалистом. А может, ты ждешь идеальной любви? Чистый рыцарь, который заслужит принцессу, что-то вроде девственной валькирии! Твоя религиозная фантазия — это сексуальная фантазия в ином обличье. Ты не можешь дать обет безбрачия, это против природы, это закончится болью. В итоге ты набросишься на кого-нибудь, и тебя изгложет чувство вины, все пойдет прахом. Ты похож на меня, Стюарт, ты полон секса, он у тебя из ушей лезет. Ты неискренен, ты по-настоящему не знаешь себя.

— Я знаю о сексе, — сказал Стюарт. — Я хочу сказать, знаю о сексе в моей природе. Но для меня возможна жизнь по другой схеме.

— Нет, невозможна.

— Не понимаю, почему невозможна. Таким путем идут многие — прямо из школы в семинарию,

никогда не занимаясь… всем этим вообще.

— «Всем этим»! Ты смотришь на секс как на черную яму грязи и деградации. Ты хочешь остаться невинным, не похожим на остальных. Я полагаю, это камень в мой огород — ты хочешь быть максимально непохожим на меня. Видимо, ты видишь во мне своего рода сексуального маньяка. Я не мог скрывать от тебя свою жизнь, когда ты был ребенком, я помню осуждающее выражение на твоем детском лице. Ты сохранил младенческое представление о природе вещей, которых не способен понять. Твои фантазии больно ранят меня. Ты это сознаешь?

— Слушай, па, — проговорил Стюарт. — Слушай, это вовсе не против тебя. Я понимаю, что ты имеешь в виду, когда говоришь про мое детство. Но это никак не связано с тобой, и у меня не могло возникнуть желания ранить тебя.

— Могло, подсознательно.

— Я в это не верю. Я действительно пытаюсь себя понять. Но в каком-то смысле это не имеет значения. Тут что-то другое, что-то совершенное и абсолютное…

— Но это суеверие. Ничем не лучше веры в Бога, в которого, по твоим словам, ты не веришь! Так или иначе, это непреложно может обернуться

злом или хаосом.

— К данному случаю это не имеет отношения, — не соглашался Стюарт.

— Я в восторге от твоей самоуверенности! Тебе бы нужно делать карьеру в философии. Ты хочешь, чтобы тобой восхищались и восторгались! Зачем громогласно объявлять, что ты отказываешься от секса или, скорее, что ты никогда им не занимался, если это правда? Ты не можешь утверждать, что всю жизнь проживешь без секса, потому что это ложь. Пустое претенциозное хвастовство. Почему ты не можешь хотя бы помолчать об этом?

— Я ни о чем не заявлял громогласно, — возразил Стюарт. — Это сделали другие. Я сожалею, что так получилось. Но мне задали прямой вопрос, и я на него ответил.

— Нельзя лгать. Главное, ты лжешь самому себе. Неужели ты не понимаешь, что тебе одному это не по силам? Человеческая природа нуждается в институтах. Ты говорил о людях, поступающих в семинарии. Так поступи в семинарию, стань священником, присоединись к священному воинству. Мне бы это не понравилось, но, по крайней мере, здесь был бы какой-то смысл. Иди в церковь — в любую церковь, попроси у них помощи.

— А вот этого я не могу сделать, — сказал Стюарт. — Я не могу туда пойти. Я не придерживаюсь их веры.

— Большинство из них сегодня тоже ее не придерживается. Может, ты у них наберешься здравого смысла, осадишь свою гордыню. Самому тебе это не по плечу, нужна какая-нибудь общая теория, или организация, или Бог, или другие люди. У религиозного человека должна быть цель — у тебя ее нет.

Стюарта это соображение поразило, он задумался, а потом сказал:

— Зависит от того, что ты имеешь в виду, когда говоришь «цель»…

— А все оттого, что ты понял: великим мыслителем тебе никогда не стать. Раненое честолюбие заставляет людей совершать безрассудные поступки. А может, не такие уж и безрассудные. Ты выбрал гедонизм высокого полета, ты будешь фальшивым хорошим человеком. Я знавал таких людей, они образуют тайное братство. Уход от мира, святая бедность и прочее, но они получают все материальные блага — живут за счет богатых друзей. Черт побери, ты живешь за мой счет, а это только начало. И ведь это действует: люди смотрят на таких людей как на высших существ,

почитают их, бегут к ним, подражают им, балуют их. А они, конечно же, джентльмены, они взирают на мир с высокомерной улыбкой, произносят возвышенные фразы, дают елейные советы, радуются чужим бедам, живут без забот, прекрасно проводят время, любимые и почитаемые. Они вознесены так высоко над нами, обычными грешниками. Можешь мне поверить, они наслаждаются жизнью, такова их цель. И цель у них есть, можешь не сомневаться — они ублажают себя. К тому же они умны. Боже милостивый, как они улыбаются своими эгоистичными, уязвимыми, трогательными, сочувственными улыбками!

Стюарт улыбнулся, потом рассмеялся.

— Ну что ж, приходится рисковать, — сказал он.

— Единственные человеческие слова, которые я от тебя услышал!

— Извини, что пока я живу за твой счет, но я скоро съеду.

— Господи боже мой, это не имеет никакого значения. Ну да, для меня это лишняя головная боль, но это не имеет значения. Все твои эксперименты закончатся слезами, ты растратишь драгоценные лучшие годы, потом бросишься догонять, но будет поздно. Ты горько пожалеешь. Ты ведь не

хочешь стать обычным маленьким человечком с маленьким жалованьем или каким-нибудь бродягой, в сорок лет живущим в палатке? Ты будешь никем, но уже ничего не сможешь изменить. Не думай, что сможешь! Мне бы хотелось, чтобы ты отложил решение на некоторое время. Поезжай путешествовать. Займись чем-нибудь, чтобы у тебя родились новые мысли. Посмотри мир, я все оплачу. Разве тебе не хочется съездить в Непал, посетить Киото, побывать в монастырях Таиланда?

— Нет, не хочется. А зачем?

— Так поступают молодые люди, впавшие в религиозные заблуждения. Ты даже этого не можешь? По крайней мере, увидишь что-то экзотическое, может, откроешь для себя что-нибудь новое. Ты хочешь вести грубую простую жизнь. Но долго ты ее не выдержишь. Ты сломаешься. И не исключено, что тогда ты пойдешь на любое преступление.

— Я не думаю, что твои слова разумны, — сказал Стюарт. — Сплошные эмоции.

— Твой религиозный план — просто сексуальный план. Это секс другими средствами.

— Ну пусть так, — кивнул Стюарт.

— Ты… Что ты сказал? Что «пусть так»?

— Я не возражаю, если люди станут называть это сексом. Дело в том, смогу ли я это сделать, а не в том, как оно называется.

— Ты меня с ума сводишь. Черт тебя возьми, ты же молод. Жаль, что мне не двадцать. Ты считаешь себя чистым, потому что ты молод и в хорошей физической форме. Но это заблуждение, Стюарт! Это абстракция. Я не могу опустить руки и смотреть, как ты губишь свою жизнь и отказываешься от всего, что я так люблю, но что мне уже недоступно. Молодость! Молодость! Черт побери! А ты устроил вокруг этого такой фарисейский шум.

— Я думаю, шум устроил ты, а не я.

— Ты мог принести хоть какую-то пользу, сказав что-нибудь — что угодно — несчастному Эдварду.

Стюарт вспыхнул.

— Я поговорю с ним сегодня…

— Томас как-то говорил, что тот, кто переживает мучительную боль, ищет одиночества. Он разбирается в таких вещах. Сам он к Эдварду даже не подошел. Хотя, знаешь, не говори с Эдвардом. Ты ведь наверняка думаешь, что твой долг — усугубить его чувство вины. Иди. Ложись спать.

— Па, не сердись на меня.

— Я не сержусь. Хотя и сержусь. Но это не имеет значения. Ничто не имеет значения. Уходи.

Когда Стюарт удалился, Гарри побродил по гостиной, налил себе виски, расплескав его на обитую кожей столешницу, потом подошел к камину, где потрескивал догорающий огонь, который обжег его днем. Он посмотрел на свое отражение в свете лампы. Зеркало в раме с позолоченными купидонами Казимир Кьюно подарил жене к свадьбе. Для Гарри это зеркало было связано с матерью — хрупкой, мягкой, красивой женщиной. Она, дочь кембриджского преподавателя, пожертвовала своим талантом пианистки ради тяжелого труда в качестве добровольного секретаря мужа. Она принесла эту жертву с радостью, поскольку не сомневалась в гениальности супруга, как и он сам. Ее звали Ромула. Казимир умер раньше, а мать прожила достаточно долго, чтобы познакомиться с «девушкой издалека». Однако она не успела увидеть Хлою и стать свидетельницей заката репутации Казимира. На ее рояле никто не играл — к нему не прикасались с тех пор, как на нем ребенком барабанил Эдвард. Рояль стоял в гостиной, которая все еще оставалась такой же, как ее обставил дед Гарри: сын и внук Кьюно мало что туда добавили, а «девушка

издалека» и пальцем не шевельнула.

Гарри смотрел на себя в зеркале. Как создать новое «я» вместо потерпевшего крах, поиздержавшегося нынешнего «я»? В молодости он провозгласил: «Я буду просто — жить тем, что я есть!»[13] — смелое заявление, которое он интерпретировал на свой лад; и он искренне говорил Стюарту, что его интересует только то, что можно целиком и полностью создать самому. В то же время Гарри, как заметила Урсула, был честолюбив и представлял собой нечто вроде разочарованного деспота. Его нынешнее равнодушие к политике напоминало басню про лису и «зелен виноград». Он считал себя человеком будущего, не торговцем, но пророком, воплощением самого современного сознания. Время шло. Мог ли он сохранить веру в то, что главный его труд еще впереди? Лицо, смотревшее на него из зеркала, давно утратило выражение довольства и энергичной joie de vivre[14]. Теперь это было старое, измученное, усталое лицо с печатью пьянства и греха. Он подумал: Казимир мертв,

---

[13] Примечания: 13

Шекспир У. Все хорошо, что хорошо кончается. Акт IV, сцена 3. Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

[14] Примечания: 14

Радости бытия *(фр.)*.

Ромула мертва, мать Стюарта мертва, хорошенькая Хлоя, такая живая когда-то, — и она мертва, и я тоже умру. У Гарри была страшная, постыдная тайна. Недавно втайне от всех он написал книгу, большой серьезный роман. Он вложил туда свои лучшие идеи, однако никто не хотел его издавать. Гарри под псевдонимом предлагал книгу нескольким издателям. Роман им не понравился, никто не воспринял его серьезно. Гарри Кьюно ненавидел свое поражение, оно было даже хуже публичных провалов. Предположим, люди о нем узнают. Теперь, ко всему прочему, приходилось скрывать ужасный секрет.

Он почувствовал боль в обожженной руке: на ней появился пульсирующий волдырь. Значит, сегодня не удастся уснуть. Физическая боль напомнила знакомый образ, всю жизнь преследовавший его. Гарри сам выдумал эту сцену. Его отец утонул, когда вышел на яхте в море в тихую погоду в глухом районе у побережья Шотландии. Пустая яхта в полной исправности была найдена позднее — она дрейфовала сама по себе. Казимир, вероятно, случайно выпал за борт. Его сын знал, что жизнелюбивый отец никогда бы не покончил с собой. Казимир был хорошим пловцом, и Гарри представлял себе человека, плывущего по

морю вслед за яхтой, которая движется быстрее его, удаляется и удаляется от него. Мучительные тайные ассоциации, прятавшиеся в глубинах мозга, вернули его к реальности. Гарри вспомнил спокойное бледное лицо Стюарта, его желтые глаза и то, как он говорил: «Не сердись». Все это так напоминало маленького мальчика, каким Стюарт был совсем недавно.

«Что же с ним случилось такое, — спрашивал себя Гарри, — почему это так огорчает меня? Что здесь — одержимость, или желание привлечь внимание, или особая форма бравады? Это не просто слова. У мальчика есть воля и характер, и он посильнее меня». Неужели он, Гарри, родил монстра? Стюарт осуждал его, и это причиняло ему боль.

Стюарт, простившись с Гарри, пошел наверх и постучал в дверь Эдварда. Он видел, что там горит свет. Ответа не последовало, и Стюарт вошел.

Он, конечно, встречался с Эдвардом и говорил ему какие-то слова после смерти Марка Уилсдена, но «разговора» с братом у него не было. Стюарта занимали собственные дела: отказ от дальнейших занятий наукой, переезд, приведение в порядок мыслей. Он сам не имел ни близкого друга, ни наставника. Он корил себя за то, что раньше

не вызвал Эдварда на разговор, но брат ясно дал понять: встречи со Стюартом он не желает.

Эдвард, облаченный в пижаму, сидел на кровати и читал книгу. Он очень изменился, словно стал меньше. Его сосредоточенное лицо исказилось, на лбу и вокруг глаз появились морщины, брови мрачно сошлись над переносицей, а нос заострился. При виде Стюарта он раздраженно нахмурился и вцепился в книгу — судя по всему, он преисполнился решимости поскорее выпроводить визитера.

— В чем дело? — спросил Эдвард.

— Мы можем поговорить?

— О чем?

— Ну… обо всем…

— О чем «обо всем»?

Стюарт оглядел комнату Эдварда. Книжный шкаф, французские плакаты, розовая азалия на комоде. На полу и на остальных ровных поверхностях валялась одежда Эдварда вперемежку с письмами, в том числе нераспечатанными. Стюарт сбросил рубашку и брюки Эдварда со стула рядом с кроватью и сел.

— Тебе тепло? Может, принести грелку?

— Не надо. Мне хорошо.

— Что ты читаешь?

Эдвард показал триллер в мягком переплете.

— Гарри мне много таких принес.

— Не надо бы тебе читать эту дрянь, — сказал Стюарт.

Эдвард не стал раздражаться, а ответил довольно разумно:

— Я не могу читать других книг. Ни на чем не могу сосредоточиться. — Он поправил подушки. — А что, по-твоему, я должен читать? — иронически спросил он, — Библию?

— А почему бы и нет? Каждый день понемногу. Я хочу сказать, как хороший роман… как…

Стюарт не был большим любителем художественной литературы и не сразу подобрал книгу для сравнения.

— Только не предлагай Пруста — меня вырвет, я задохнусь и умру. Правда, это не особо важно, я и так мертв. А теперь, Стюарт, уходи отсюда, будь хорошим мальчиком.

— Я немного посижу, если ты не возражаешь. Какой у тебя замечательный цветок. Это что? Похоже на маленькое дерево.

— Азалия, ее вчера принесла Мидж. И еще шоколадки. Ты ведь не любишь шоколад, да? Тогда я их выкину.

— Ты говорил с Мидж?

— Конечно нет. Ее трясло от смущения. Ей хотелось сделать доброе дело и поскорее убежать. Неудивительно. Я смердящий труп. Я разлагаюсь, молекула за молекулой.

— Не говори так, — сказал Стюарт. — Что с тобой? Что с тобой?

— Говорить со мной не имеет смысла, — ответил Эдвард. — Оставь меня в покое, а? Я — машина. Я тысячу раз в день твержу себе одно и то же, я вижу одно и то же, я повторяю одни и те же действия. Ничто не в силах мне помочь. Ничто.

Пока Эдвард произносил эти слова, на его лице появилась странная, мучительная, нездешняя улыбка, не похожая на его обычную улыбку.

Стюарта пробрала дрожь.

— Не превращай страдание в самоцель. Ты наверняка можешь что-то сделать, какой-то правильный шаг…

— Я не могу сделать шаг.

— Ты должен найти спасение…

— Ну, я его уже нашел. Это ненависть. Отличное занятие: ненавидеть всех. Ненавидеть Гарри, ненавидеть тебя. Я едва вытерпел этот жуткий ужин, эти фальшивые улыбки, лживые слова. Я ненавидел наряды женщин и их запах. Но они говорили правду: не осталось ничего глубокого,

мир превращается в чушь, все подходит к концу, все провалится в ад, сгорит и закончится, и я рад этому. Я уже там, я горю в аду. Моя душа не существует. У меня нет души — она выгорела.

— Но что это за огонь? — спросил Стюарт. — Вина? Ты чувствуешь себя виноватым?

Эдвард швырнул книгу в угол комнаты и закричал:

— Убирайся отсюда и прекрати забавляться моими мучениями! Ты играешь на моих нервах, чтобы услышать мои крики! Ты говоришь, словно ковыряешь ножом рану…

— Извини, — сказал Стюарт, — я просто хочу понять. Хочу разобраться в том, что происходит. Бесконечное отчаяние — это плохо, неправильно. Я не предлагаю тебе взять и выпрыгнуть из него, ты этого не сможешь. Это не головоломка с волшебным решением. Ты должен подумать о том, что случилось, но при ясном свете. Огонь должен гореть и дальше, но тебе нужно держаться за что-то еще. Надо найди что-нибудь хорошее — где угодно. Держи его поближе к себе, затяни его в свой огонь…

— Это единственное, чего не может дьявол, — ответил Эдвард, внезапно успокоившись. — Да. Если дьявол не может этого найти, то, уж

конечно, не могу и я. Понимаешь, все связи распались, все смыслы потеряны. Когда боль невыносима, ничего этого быть не может. Больше нет никаких путей. Ты знаешь, что я понял? Нет никакой нравственности, никакой основы, если вина способна существовать сама по себе, вне всего. Ты представить не можешь, какова эта боль. Слова не помогают, имена не помогают, вина, позор, раскаяние, смерть, ад. На том уровне, где нахожусь я, нет ни различий, ни концепций. Я просыпаюсь по утрам, слышу щебет птиц и на секунду забываюсь, но тут же возвращаюсь в жидкую черноту. Там все темно, там дьявол, мучающий меня, там все вы сегодня вечером, а его мать присылает мне письма и…

— Мать Марка?

— Да. Она пишет письма, обвиняющие меня в убийстве. Каждые два-три дня я получаю новое послание. Она была бы рада узнать, как я страдаю.

— Ты ей отвечал?

— Конечно нет. Я ее ненавижу. Я перестал читать ее злобные письма. Вон у твоих ног лежат два — я их не распечатывал. Собирался сжечь. Но я не могу их сжечь.

— Ты должен их прочесть, — сказал Стюарт.

— Чтобы наказать себя?

— Нет. Может быть, она изменилась. Может быть, она уже жалеет, что писала тебе эти письма. Горе переполняет ее. Может быть, ты стал нужен ей.

— Ты хочешь, чтобы я пожалел ее. Она проклинает меня. Я проклинаю ее.

Стюарт взял один из конвертов и протянул Эдварду. Эдвард вскрыл его, пробежал письмо глазами и передал Стюарту.

— На, читай. Вот с чем я живу.

Стюарт прочел начало письма.

Вы убили моего любимого ребенка, он верил вам, а вы убили его, вы переломали его тело, вы выпустили из него кровь. Он мертв, и все мое счастье, вся моя радость будут лежать там, в крови, с переломанными костями, и никогда уже не оживут, и я никогда не подниму голову, вы убили мою радость…

Он сунул письмо в конверт и уронил его на пол.

— Да, она, как и ты, потеряла голову от горя. Наверное, эти письма для нее что-то вроде автоматического облегчения, как слезы. Думаю, тебе следует написать ей что-нибудь. Несколько

строк. Это могло бы изменить ее жизнь.

— Написать что? Ей мои письма сто лет не нужны.

— Напиши, что ты ей сочувствуешь, что ты в отчаянии — что угодно. Тебе это тоже может быть полезно.

— Слушай, уходи, иди к черту! Ты ничего не понимаешь. Как бы там ни было, но я ведь не убийца, я не хотел этого. Или ты думаешь, что хотел? Ты не можешь понять, ты не знаешь, что значит быть там, где сейчас я…

— Эд, ты не должен продолжать в таком духе, — прервал его Стюарт. — Постарайся сделать что-нибудь. Сядь, возьми себя в руки и попытайся спокойно подумать. Дыши ровно и говори вслух, быстро говори.

— Что говорить?

— Любые слова. Произноси их как молитву, «хватит», или «помоги», или «мир»…

— Слов без чувств вверху не признают[15].

— Я в этом не уверен, — сказал Стюарт. — Ты посмотри, что сейчас произошло. Если ты сожалеешь о том, что сделал, то страдай с какой-нибудь целью. Оставь ненависть, отринь негодование,

---

[15] Примечания: 15

Шекспир У. Гамлет. Акт III, сцена 3. Перевод Б. Пастернака.

скажи «хватит» некоторым мыслям, очисти свои намерения, живи тихо в своей боли. Умиротворение — это хорошо. Протяни руку и прикоснись легонько к чему-нибудь около тебя, к чему угодно, ко всем этим невинным вещам. Даже если это кажется тебе искусственным, вроде ритуала. Ну, например, щебет птиц, который ты слышишь по утрам. Не отпускай его и после того, как вспомнишь обо всем. Просто думай: «Вот птицы поют» — и старайся не отпускать их в черноту, держи на свету. Хотя бы несколько секунд.

— Какой прок от этих секунд, они лишь оттеняют тьму.

— Найди что-нибудь хорошее где угодно и вцепись в него, как терьер. Придумай что-нибудь вроде молитвы и повторяй: «Избавь меня от зла». Скажи, что сожалеешь, попроси о помощи, и помощь придет, непременно придет. Найди какой-нибудь свет, не подвластный черноте. У тебя должно быть что-нибудь такое — стихи, отрывки из Библии, Христос, если он хоть что-то значит для тебя. Боль не уйдет, но к ней добавится что-то еще, как луч, пришедший извне, из того места…

— Это бесполезно, — отозвался Эдвард. — Ты говоришь сам с собой и отравляешь себя благочестивой риторикой. Ты живешь в каком-то пустом

пространстве. Ты не знаешь, как жесток мир и как бывает, когда ты весь погружен в безнадежную черноту и разложение. Это как рак, который скоро убьет меня.

— Или посмотри на что-нибудь, — продолжал Стюарт. — На что угодно, на любое живое явление. Например, на эту азалию…

— Слушай, иди к черту и забери с собой это треклятое растение, иначе я его уничтожу, растопчу к чертовой матери! Если не хочешь этого, лучше унеси, забери его и сам уберись. Боже мой, если бы я только мог плакать! Зачем ты приходишь и смотришь на меня?

— Я твой брат, и я тебя люблю.

— Ты мне не брат, и ты никогда меня не любил, никогда, никогда, никогда, ты — лжец. Ты всегда завидуешь, всегда подглядываешь, всегда выгадываешь… Уходи, мне невыносимо твое присутствие, оно меня душит. И забери с собой чертов цветок, или я его убью!

Теперь все лицо Эдварда покрылось морщинами, превратилось в пунцовую гримасу ненависти и ярости, как маска первобытного племени из музея.

Стюарт поднялся. Он подошел к книжному шкафу и принялся рассматривать книги Эдварда.

Вытащил Библию и положил ее на стул рядом с кроватью брата, потом поднял азалию.

— Хорошо, я ее заберу, но потом принесу назад. Не сердись на меня. Прости. Спокойной ночи, Эдвард.

Закрыв дверь, он услышал, как Библия ударилась об нее и шлепнулась на пол.

После ухода Стюарта Эдвард несколько минут лежал, в изнеможении откинувшись на подушки и тяжело дыша. Сердце его бешено и мучительно колотилось, голова раскалывалась. Потом он сел и почувствовал головокружение. Он поднялся с кровати. По-прежнему тяжело дыша и горбясь от усталости и слепой ярости, он открыл окно в темный сад и швырнул туда коробку с дорогими шоколадками, принесенную Мидж. Повернулся к азалии, но вспомнил, что ее унес Стюарт. Сырой запах весны, влажной земли и прорезающейся зелени, который прежде наполнил бы его ощущением счастья, хлынул в окно, и Эдвард с треском захлопнул раму. Он увидел Библию на полу и подобрал ее. Она была напечатана на превосходной тонкой бумаге — подарок одного из религиозных кузенов Гарри по случаю конфирмации, Эдварду тогда было четырнадцать. Да, он прошел конфирмацию в англиканской церкви и даже ощутил

тепло, когда его коснулась рука епископа. Книга при падении раскрылась, и ряд ее тонких страниц помялся и сморщился. Эдвард автоматически попытался разгладить их, но вскоре сердито закрыл книгу. Он уже собрался бросить ее на пол, где в беспорядке валялась его одежда, когда в голову ему пришла суеверная мысль. Если он когда и брал в руки Библию, то лишь для того, чтобы открыть ее наугад и прочесть абзац, на который указал его палец, — совершенно неуместный или до странности подходящий к случаю. То же самое сделал он и сейчас, открыл книгу и ткнул наугад пальцем. Он поднес страницу к лампе и прочел выбранное место: «Идет пагуба; будут искать мира и не найдут. Беда пойдет за бедою и весть за вестью, и будут просить у пророка видения, и не станет учения у священника и совета у старцев»[16]. Он рассмеялся, и этот смех был каким-то потусторонним, словно демон внутри его исходил злорадством, торжествуя свою победу. «Значит, — думал Эдвард, — все кончается, все подходит к концу, все правила, все законы, вся старая музыка цивилизации. Погибну не только я… Но я погибну первым». Он посмотрел на пу-

[16] Примечания: 16
Иезекииль, 7, 25–26.

зырек с таблетками от бессонницы. Эти штуки, конечно, безвредные, но ведь есть много других способов. Отдохновение, найди отдохновение. Он находил отдохновение в бесконечных разговорах с Марком с бесконечными объяснениями, почему он ушел, почему не вернулся, как сильно он страдает, какой болью он заплатил, как сильно он любит Марка, как тоскует по нему… Но эти разговоры были односторонними — одинокие бесплодные терзания души. Эдвард зашвырнул Библию в угол и стал искать свой триллер, раскидывая брошенную одежду. Потом неожиданно, как по волшебству, он увидел, как появилась желтая визитка, на которой большими буквами были напечатаны слова: «ХОТЯТ ЛИ МЕРТВЫЕ ГОВОРИТЬ С ТОБОЙ?» Они пронзили Эдварда, словно в него попала стрела. Он поднял карточку и снова сел на кровать. Он уставился на роковое и столь вовремя полученное послание, потом перевернул визитку. На другой стороне он прочел: «Миссис Д.М. Куэйд, медиум. СЕАНСЫ каждый вторник и четверг в 5 вечера». Дальше шел адрес — неподалеку от Фицрой-сквер. Эдвард подержал карточку, затем аккуратно положил ее рядом с лампой. Может быть, все наконец срослось.

Страшно попасть в руки Бога живого. Эти слова

пришли в голову Стюарту, когда он добрался до своей спальни. Его комната, комната его детства, расположенная прямо над спальней Эдварда, выглядела аскетически. Лишь недавно из нее были вынесены последние напоминания о том времени. Книги, поспешно перевезенные из его предыдущего жилища, стояли стопками у стены. Одежду свою он успел убрать. Стюарт зажег лампу, выключил люстру и сел на стул с прямой спинкой. Он сидел с открытыми глазами, медленно дыша, и почти сразу же погрузился в состояние полного покоя. Эту способность мгновенно достигать состояния ни от чего не зависящей умиротворенности он естественно и неожиданно обрел еще в школе. Она никоим образом не была связана с каким-то наставлением, тем более с религиозным наставлением. Возможно, поначалу это понравилось ему как способ уходить от детских несчастий, заглушать неприятные мысли — мгновенное небытие, помогающее отвлекаться от неприятностей или сводить их на нет. Позднее он оценил свой дар как нечто более позитивное: это была легкость, бегство от гравитации, умение воспарить и сверху поглядеть на мир, уход от времени, позволяющий за секунду осознать что-то великое и сложное. Перед ним открывалось

громадное пространство, а иногда и невероятная радость. Сладостный нектар. Порой это его беспокоило, но не часто. Именно такая способность, чем бы она ни являлась на самом деле, наряду с кое-какими другими вещами внушила Стюарту то, о чем его расспрашивал Гарри.

Стюарт услышал, как внизу открылось и снова захлопнулось окно Эдварда. Он вздохнул и начал думать о брате. Он уже интуитивно знал о страшных недосягаемых страданиях других людей. Но он не задумывался об испытываемом ими ужасе. Он мог представить себе мертвого Марка Уилсдена или своего учителя Плоумейна, который вышиб себе мозги. Стюарт никогда не видел Марка, он не любил Плоумейна и не знал, почему тот покончил с собой. Люди задавались вопросом: не повлияла ли эта смерть на Стюарта? Нет, она не тронула его прежде и не трогала теперь. Столь кровавые события были для него лишь грустной статистикой, словно надгробия на дороге, ведущей в открытую пустоту его будущего — пустоту, подобную смерти. Он занимал позицию ни о чем не думающего солдата, возможно, обреченного на скорую смерть. Он, конечно, мог испытывать страдания и плакать, и, если бы его долг состоял в том, чтобы хоронить мертвых,

он бы делал и это. Но существовали скорбные и жуткие вещи, которые должны оставаться для него лишь внешним фактором, словно в их отношении он сам всегда будет инструментом или исполнителем. Стюарт воображал себе доброго самаритянина, вспоминающего о своем подопечном через определенные промежутки времени и помогающего ему по мере возможности (например, посылая хозяину гостиницы еще немного денег), а в остальное время выкидывающего этого подопечного из головы. Все, что требовало драматических переживаний, глубоких размышлений или изменений, было чуждо Стюарту, так же как радостное и веселое ожидание. Он, в общем-то, не очень любил размышлять. Как сказал Гарри, ему не хватало воображения. Эти особенности делали его нынешнюю задачу устройства своей жизни до странности затруднительной и узкой проблемой. Он хотел найти себе дело, какую-нибудь простую общественную работу, нейтральную, «пустую», сродни пустоте времени, которое непрерывно текло ему навстречу и, так сказать, застило взор. Однако эта работа должна соответствовать ему, потому что он сохранил ощущение, что призван выполнить некую миссию, отвечающую его талантам — не старым, а новым талантам,

талантам его новой жизни, стоящей на пороге, и, какой бы она ни была, эта жизнь, пришло время обрести ее или потерять. Уж это-то он понимал, и драма такого масштаба (подчас казавшегося ему чрезмерным) определяла его мысли. В другой ситуации и в другое время общественные традиции и институты, возможно, поддержали бы и направили его. Теперь же, когда он был вынужден думать о себе, сама пустота мыслей, которую он так ценил, мешала ему строить планы и принимать решения.

Стюарт иногда признавался себе, что его нынешнее желание — это клетка обязанностей, пусть и правильных. И теперь он явно чувствовал, что должен «сделать что-ни-будь» с Эдвардом, и Гарри было вовсе не обязательно напоминать ему об этом. Любил ли он Эдварда? Конечно; Стюарт ничуть в этом не сомневался. Как и другой вопрос: а не испытывает ли он, вспоминая о прежних обидах, и зависти, некой радости по поводу того, что брат попал в беду? Его связь с Эдвардом была абсолютной, а что до низких мыслей и чувств, то он привык гнать их, прятать на дне и не беспокоиться об этом «подавлении». Разговор с Эдвардом ни к чему не привел. Стюарт заставил себя сделать это, потому что от-

кладывать дальше было нельзя. Никогда прежде он никому не давал таких советов, не облекал в слова и не произносил того, во что верил абсолютно. Но его вера никак не затронула Эдварда. Стюарт понимал — и тут, похоже, его одолевали сомнения, — что окрылить такие слова может лишь любовь, и только тогда они возымеют действие. Только в контексте любви мог подействовать разговор о грехе и чувстве вины — ведь именно в этом заключалась беда Эдварда, не так ли? Значит, сначала ему нужно убедить Эдварда в своей любви. Но как это сделать? Брат в его нынешнем отчаянном положении смотрел на Стюарта как на врага. Абсолютное существование Эдварда, привязанность к нему Стюарта, его благие предостережения — все это оставалось чем-то отдельным, «абстрактным» (если воспользоваться словом Гарри). Эдвард, конечно, представлял собой особый случай; с другой стороны, если в данном случае Стюарт потерпел неудачу, какое это имеет значение? Может, это испытание, разновидность вступительного экзамена, знак, которого он ждал?

«Неужели так будет всегда? — спрашивал себя Стюарт. — И если да, как это влияет на мой план?»

Он не мог четко сформулировать тревоживший его вопрос, казавшийся самой «узкой» частью его задачи. Что, если он просто не наделен талантами для избранной им миссии? Как если бы человек, начисто лишенный слуха, посвятил жизнь музыке. А вдруг выяснится, что на самом деле он вообще не может общаться с другими людьми? Ведь он общался с ними очень мало. Неужели он сейчас видел свое будущее: как он разговаривает с людьми, как дает им советы? Можно ли такому научиться, или это дается от рождения? А если бы он был немым — изменило бы это что-нибудь? Он подумал: «С Эдом я проверю себя».

Стюарт всегда чувствовал, что отец предпочитает Эдварда, и это оставило в его душе царапины ревности. Прежде это причиняло боль, но не такую сильную, как воображали Гарри или Томас. Способность Стюарта отрешаться от всего проявилась давно. «Маленький мальчик, холодный и безразличный», — говорили о нем люди. Холодность была частью его проблем. Была ли это в самом деле холодность? Иногда то же самое свойство казалось ему страстью.

Должен ли я, думал Стюарт, простить Эдварда, отпустить ему грехи? Лютер сказал, что все люди — священники. Стюарт, конечно, понимал,

что такая идея совершенно нелепа, но ему не приходило в голову назвать ее самонадеянной. Он давно знал, что цель жизни — спасение, а некоторое время назад понял, что его судьба — жить в одиночестве, как монах, в мире без Бога. Его неприятие Бога началось еще в детстве. Он был крещен, однако отказался пройти таинство конфирмации, хотя Эдвард принял эту церемонию с непонятной радостью. Бог всегда казался Стюарту чем-то жестким, ограниченным и маленьким, вроде идола, и то, что он нашел внутри себя, не могло называться этим словом. Христос был другим — он существовал, он не был сугубо мистическим персонажем. Христос был чистой сущностью, и Стюарт мог бы поцеловать его, как целуют священный камень, или святую землю, или ствол священного дерева. Он был повсюду, но в то же время оставался простым, отдельным и одиноким. Он был живым; и сам Стюарт был Христом. Эта идентификация была спонтанной и инстинктивной, она представлялась чем-то очевидным: «не я, а Христос» естественно превращалось в «не Христос, а я». Это порой ощущалось как нечто прозрачное и легкое, как близость, даже доступность добра. Его постепенное слияние со Святым Сущим (словно со временем Стюарт

мог бы забыть собственное имя) продолжалось без всякой связи с христианством. Он никогда не «ходил в церковь», хотя иногда сидел в одиночестве в разных церквях. Не оставалось сомнений, что если посвящать себя этому, то только с полной самоотдачей; что этим нужно жить и дышать постоянно, без перерывов. Истина есть нечто основополагающее, это присяга на всю жизнь. В этом была определенность, в этом был сладостный нектар, но такая самоотдача давалась каторжным трудом — обременительным, нудным, когда каждая минута чревата поражением. Как можно посвятить себя такому парадоксу? Уж во всяком случае (по крайней мере, для Стюарта), не в научном мире. Ему нужны простота и порядок, тихая размеренная частная жизнь. Он хотел нести покой и свободу для других, он хотел стать невидимым, он хотел исцелять людей, он хотел вылечить мир и создать ситуацию, где это делалось бы просто и автоматически, как нечто ожидаемое и повседневное. Он знал, какой он неловкий и заметный, как смущает людей, злит их, выводит из себя, пугает. Ему недоставало обаяния. Входя в комнату, он часто чувствовал, что разрушает ее атмосферу и разбивает ритм. Поэтому ему было важно найти такое место, где

он сумеет остаться безличным, где его неловкость покажется чем-то незначительным, само собой разумеющимся. Может, это пройдет — ведь он молод, он еще учится. К тому же никто не избежал насмешек, даже Христос.

Неприязнь к современному обществу Стюарт приобрел стараниями тех, кто хотел объяснить или истолковать его поведение, в особенности его отношение к плотской жизни. Он, безусловно, испытывал отвращение к промискуитету, вульгарному публичному сексу, отсутствию приватности, уважения и духовного начала. Он боялся будущего, боялся мира без религии, обезумевшего духа без абсолюта. Он боялся технологии, разложения человеческого языка и потери души. Но не эти реакции были главными причинами его аскетизма. Возможно, ближе к истине подошел Гарри (хотя Стюарт и смеялся над его словами, не придавая им значения), обвинявший сына в «гедонизме высокого полета». Как высоко он сумеет взлететь? Он хотел любить мир и избежать его ловушек, иметь спокойное ясное сознание и чистую совесть. В его «миссии» безбрачие занимало центральное место, но не потому, что он понаслышке или лично знал людей, ведущих беспорядочную сексуальную жизнь,

а потому, что у него имелась более позитивная концепция невинности. «Зачем начинать это?» — спрашивал себя Стюарт. Любить без осложнений — так он понимал смысл безбрачия. Многие в прошлом разделяли такую точку зрения, и хотя бы в этом он не был одинок. Он уже жалел, что ответил на прямой вопрос Джайлса Брайтуолтона и обнародовал свое решение, сделав его предметом спекуляций и шуток. Его невинность должна была быть чем-то приватным и простым, как одинокий зверь ночью в своей норе или то счастье, какое он испытывал иногда в детстве, когда лежал в постели и слышал, как внизу двигается Гарри. Такая картина могла показаться скучной или навести на мысль о задержке в развитии, но это его не останавливало. Возможно, Стюарт был несколько инфантилен, но это не имело особого значения и не являлось недостатком.

Влияние матери, «девушки издалека», было куда более сложным. В его детском воображении — да и сейчас, хотя уже не так ясно, — она представала настоящим ангелом. Стюарт почти не помнил мать, ее образ был для него чем-то между воспоминанием и сном. Эта таинственная фигура спасала его от безразличной мачехи, небрежного отца и брата, которого оба любили больше. Она

знала о любви, о том, как ему этого не хватает. Ее звали Тереза Макстон О'Нейл, она была католичкой, родилась в Данидине[17] в семье ирландских иммигрантов. Она видела огромных океанских моржей, наслаждавшихся золотистыми водорослями на краю света. Она видела альбатроса.

Объективный наблюдатель, возможно, задумался бы, почему Стюарт так яростно отвергает Бога. Он ведь не просто медитировал — он еще и преклонял колена, а иногда простирался ниц. И опять Стюарт, не желавший никаких проблем, инстинктивно решал для себя очевидные противоречия. Медитация была убежищем, покоем, очищением, наполнением, возвращением к белизне. Молитва была борьбой, размышлением, самопознанием — делом более индивидуальным, включавшим заботу о других людях и называние имен. Гарри сказал, что Стюарт хотел стать Иовом, виноватым перед Богом, предающимся возвышенной форме садомазохизма. Такое неприятие Бога на самом деле было, если воспользоваться словами Урсулы, неприятием «старой истории», чуждой существу Стюарта. Его разум отвергал эту историю, противился ей не как опас-

[17] Примечания: 17

Данидин — второй по величине город на Южном острове в Новой Зеландии.

ному искушению, но как чужеродной материи. Он, конечно, хотел быть «хорошим», а потому избегал чувства вины и раскаяния, но эти состояния *не интересовали* его. Стюарт оставался холоден к собственным грехам и неудачам, их осознание не согревало его. Он настолько не чувствовал с этой стороны никакой угрозы, что в молитве мог произнести (поскольку он пользовался словами) «dominus et deus», не вкладывая старого значения в эти страшные звуки[18]. (Возможно, было важно, что слова звучали не английские, а латинские.) Он знал, что нет никакого сверхъестественного существа, и пытался каким-либо образом связать эту концепцию с собственными абсолютами. Если у него и был «наставник», то таковым было «добро» или что-то в этом роде, однако Стюарт не находился с ним в личных взаимоотношениях. Поэтому язык его был воистину странным, когда он говорил «простите», «помогите» или советовал другим — скажем, Эдварду — искать помощи. Стюарт понимал фразу «Любовь только от Бога»; его любовь уходила в космос, как одинокий сиг-

[18] Примечания: 18

Господин и бог *(лат.);* слова из формулы «dominus et deus noster sic fieri jubet» — «так повелевает наш господин и бог»; такими словами однажды начал свое послание прокураторам император Домициан, после чего никто не смел называть его иначе.

нал, но могла и таинственным образом вернуться на землю. Он верил, что его молитва и тревога за Эдварда способны помочь Эдварду, и эта вера не предполагала, что он должен предпринять какие-то действия ради брата (хотя такая возможность не исключалась). Конечно, он не помышлял ни о какой паранормальной, телепатической форме исцеления. Он просто был уверен в том, что чем чище его любовь, тем действеннее она в непосредственном смысле, и это ставило под сомнение обычный стремительный бег времени.

«Гедонизм» Стюарта был инстинктивным стремлением к «ничто» и включал в себя желание уметь любить все, наслаждаться всем и «касаться» всего, помогать всему. Для достижения этой цели безбрачие и одиночество представлялись основными средствами. Конечно, когда Гарри сказал, что Стюарт (как он говорил и об Эдварде, но был понят иначе) влюблен в смерть, он имел в виду нечто более банальное, общее место популярной психологии. Стюарт, безусловно, искал счастья — свою собственную разновидность этого состояния, желанного, как принято считать, для всех. Его инстинкты отвергали время, однако он прекрасно понимал, что живет в мире, подвластном времени. Его жизнь опреде-

лялась целями столь великими, что его ничуть не волновал грех гордыни; он смотрел на него как на малосущественное личное дело. Еще он знал, что молод и неопытен, неуклюж и подчас глуп, что ему нужна работа. Как всем, ему нужно устраиваться, зарабатывать на жизнь. Он еще не прошел испытание. Может ли человек прожить без зла, без тени, без эго? Кто-нибудь из людей сумел так прожить? Стюарт понимал свои нынешние неудачи. Он знал, что ему придется, как и всем людям, погрузиться еще глубже в грязь и нечистоты зла. Конечно же, он не ждал — вопреки предположению Гарри — идеальной любви и невинной принцессы. Но все же, занятый земными поисками, Стюарт надеялся на что-то еще. Он полагал, что отринул суеверия. Однако, в определенном смысле, он все еще ждал знака.

Эдвард Бэлтрам пересекал Фицрой-сквер. Шел дождь.

Прошел день после проповеди Стюарта и обнаружения визитки, извещавшей о сеансе. Был четверг, половина пятого вечера. Эдвард отправлялся услышать голоса мертвых.

Эдвард не то чтобы верил в это. Но он был потрясен, когда карточка странным образом неожиданно появилась на полу его спальни.

Потом он, конечно, понял, откуда она взялась: в тот жуткий вечер Сара Плоумейн говорила об этом сеансе, что было бы забавно туда пойти. Скорее всего, она засунула визитку в карман его пиджака, а он потом ее вытащил и бросил, даже не заметив этого. Тем не менее Эдвард увидел здесь перст судьбы, а сейчас ему требовалось именно это — какое-то многозначительное указание свыше, пусть даже неясное и темное. Он подчинится приказу, будет делать то, что должен. Он чувствовал слабость и был готов принять то, что суждено. Но если мертвые и в самом деле заговорят страшными голосами, если он услышит слова матери Марка от самого Марка, если мертвый друг обвинит его в убийстве? Может быть, он сойдет с ума? Все равно, это судьба, это часть назначенного ему наказания, это шаг по дороге, которая в конце концов может вывести его к лучшей доле — или хоть куда-нибудь. Ощущение безысходности, отсутствия пространства, времени и движения было составной частью его полного и глубокого отчаяния. На самом деле он не испытывал ненависти к Гарри или брату. Он едва слушал, о чем говорил Стюарт, и с трудом припоминал его советы. Проснувшись утром после навеянных таблетками кошмаров, Эдвард

увидел дневной свет, услышал пение птиц в саду, и, когда миг забвения прошел и вернулась мучительная боль от сознания: «да, оно случилось, это случилось», — он вспомнил слова Стюарта о птицах. Брат говорил, что нужно удержать птиц, не отпускать их в черноту. Эдвард попытался сделать это и сразу же почувствовал давление огромной и непреодолимой темной силы. Он сопротивлялся ей в течение микросекунды, но потом скорбь заглушила щебет, и он вернулся к своему механическому разговору с Марком и горькому сожалению о невозможности вернуть прошлое. Господи, если бы только эта дрянь не позвонила, если бы только он вернулся раньше, если бы только… Изменить нужно было совсем немного, и жизнь его была бы теперь совершенно иной.

«Я в полном одиночестве, — думал он, — никто мне не помогает, никто не в силах мне помочь, да я и не хочу ничьей помощи. Я смотрю в будущее и понимаю, что мне лучше не жить. Ведь я еле-еле тащусь по этой земле, оставляя грязный след. Я мертвец, ходячий мертвец, люди должны это видеть. Почему они не убегают? Нет, они убегают, они чураются меня. Ни один голос до меня не доходит. Я никогда не смогу думать, никогда

не смогу работать, я конченый человек. Я лишился свободно мыслящего разума, он целиком отравлен, напитан черным ядом. Я — машина, а не человеческая душа. Моя душа мертва, моя несчастная душа мертва».

Эдвард жалел, что не может оплакать собственную душу. Он попытался, но выдавил лишь две-три слезинки — слез у него не было. Но пока он думал об этом и мысленно выражал свои чувства ясными и точными словами, ноги автоматически несли его по улице, которую он нашел по карте, чтобы не плутать по городу. Даже имя (миссис Куэйд) не выходило у него из головы, пока он шел, чеканя шаг, словно страдающий робот.

Он еще раз сверился с карточкой, хотя хорошо запомнил номер, и остановился перед высоким кирпичным типовым домом, каких было много в этой части Лондона. Некоторые обветшали, другие выглядели великолепно. Этот дом был из ветхих. Сбоку на двери была пришпилена карточка — такая же, как у него в руке, — с припиской от руки: «Первый этаж». Рядом с дверью висел колокольчик, но Эдвард не видел смысла звонить — дверь была открыта. Он посмотрел на часы: без двадцати пяти пять. Он подумал, не погулять ли ему немного, но потом решил, что

это психологически невозможно. К тому же он не взял с собой зонтик и уже промок. Эдвард вошел в дом, вытирая волосы носовым платком, и преодолел несколько ступенек, устланных потертой дорожкой. На первом этаже была единственная приоткрытая дверь, на которой он увидел записку: «Сеанс в 5 часов. Пожалуйста, входите». Эдвард вошел.

Он оказался в полутемном коридоре квартиры, куда выходило несколько закрытых дверей. Здесь стоял довольно неприятный сладковато-пыльный запах — то ли старой косметики, то ли какой-то сухой гнили. Он чувствовал, как бьется его сердце, задержал дыхание, прислушался и кашлянул. Открылась дверь, и в тусклом свете он увидел женщину, увешанную драгоценностями. Таково, по крайней мере, было его первое впечатление. Потом он разглядел ее: невысокая женщина с толстой шеей, в темном красно-синем платье, в подобии тюрбана на голове, украшенная множеством ожерелий. Одни ожерелья были короткими, они впивались в ее плоть, другие, подлиннее, свисали рядами до самого пояса. В ушах у женщины сверкали и раскачивались сережки. Ожерелья постукивали и позвякивали. Женщина заговорила.

— Вы рано, дорогой, но все равно входите, — произнесла она с едва заметным ирландским акцентом.

Эдвард последовал за ней.

Он оказался в довольно большой комнате с тремя высокими окнами. Шторы на окнах были задернуты, и дневной свет в комнату почти не проникал.

— Меня зовут миссис Куэйд.

Она включила лампочку под абажуром, и Эдвард увидел стоящие полукругом стулья, тяжелую мебель у стен, высокий диван и два затертых кресла, камин с покрытой золой решеткой, буфет с кружевной отделкой и фарфором, прикрытый шалью телевизор. Миссис Куэйд тщательнее задернула шторы и сказала:

— Вы новенький.

— Да.

— Бывали когда-нибудь на сеансе?

— Нет.

— Вам придется заплатить.

Эдвард предполагал это. Он протянул деньги — плата оказалась на удивление умеренной. Миссис Куэйд не произвела на него впечатления. Ее драгоценности в свете лампы оказались самодельной бижутерией в «народном» стиле. Эдвард

решил, что она шарлатанка.

— Я все объясню потом, когда придут остальные, — сказала миссис Куэйд. — Сегодня, думаю, народу будет немного. Садитесь вон туда.

Она вышла из комнаты и закрыла за собой дверь. Эдвард положил свой мокрый плащ под стул. Его поразил тот факт, что место ему она выбрала сама.

В темной комнате было душно и пахло так же, как в коридоре, только еще сильнее. Возможно, запах средства для полировки мебели смешался с каким-то другим, грязным и кисловатым. Шторы были из плотной мохнатой ткани, и Эдвард инстинктивно определил ее как «шениль», причем о существовании этого слова в своем словаре он и не подозревал. Шторы показались ему пыльными, и он подавил в себе желание подойти и пощупать их. В центре комнаты с потолка свисал большой старомодный круглый абажур матового стекла. В банальности этой обстановки чудилось что-то мрачное, зловещее. Вазы на грязных кружевах буфета были особенно уродливы, невыносимо уродливы. Эдвард вернулся в привычное состояние отчаяния и страха. Он прислушался к собственному дыханию, к приглушенному шуму машин на улице; в комнате, однако, по-прежнему

стояла тишина. Пыльный сладковатый запах беспокоил его и что-то напоминал. Он понял, что именно: ароматическую свечку, горевшую в полутемной комнате Сары Плоумейн, когда он лежал в ее постели, а Марк умирал.

Кто-то тихо вошел в дверь и сел неподалеку от Эдварда. Это был мужчина, который быстро огляделся и склонил голову, словно в молитве. До Эдварда доносился слабый звук его учащенного дыхания. Появилось еще несколько человек; мужчины и женщины входили так же крадучись, наклонив головы или прикрывая лица. Эдвард чувствовал себя неловко и не мог настроиться на атмосферу в комнате; его волосы еще не высохли, брюки тоже вымокли и, похоже, сели. Он замерз, и от воротника его пиджака пахло влажной шерстью. Эдвард нервничал. Было минут пять шестого, когда вошла миссис Куэйд — в том же наряде, что и прежде, только в тюрбане появились новые стекляшки. Она убавила накал единственной лампы, повернув выключатель, после чего свет приобрел красноватый оттенок и стал совсем тусклым.

Потом она произнесла скучным деловым голосом, более подходящим для медицинской сестры или социального работника, чем для вестницы

иного мира:

— Пожалуйста, подвиньте ваши стулья и образуйте небольшой круг, а пустые уберите в сторону, чтобы я была в центре, вот так.

Собравшиеся неловко проволокли стулья по ворсистому ковру, кто-то отошел подальше, кто-то придвинулся поближе. Все расселись и образовали более тесный кружок. Миссис Куэйд продолжала:

— Среди нас два новых человека. Они еще не участвовали в наших разговорах с теми, кто находится по ту сторону, и позвольте мне сказать им несколько слов. Вы все пришли сюда со своими нуждами и желаниями, бедами и страстями, в скорби по утраченным близким или в поисках наставления. Чтобы получить ответ от того, кто находится по ту сторону, необходимо ваше серьезное и тесное взаимодействие. Вы, конечно, должны хранить молчание. Прошу вас не вскрикивать и не пытаться заговорить с духами. Все общение будет происходить через меня — иного не дано. Самое главное: вы должны сосредоточиться на тех, кого вы любите, кто ушел от вас, а также на ясности и эффективности каналов связи, которые будут вам открываться. Мы рассчитываем на вашу помощь. Когда я говорю «мы», я хочу

сказать, что мы не одни, я не одна. Чтобы связаться с теми, кто живет в вечном свете, за пределами нашего мира, кто пытается поговорить с нами, оставшимися в этом темном мире, необходим дух-проводник. Мой проводник — женщина по имени Мэри Гедди. Она жила в восемнадцатом веке, служила экономкой в большом доме на западе страны. Она свяжет нас с теми, кто нам нужен. Может быть, вы услышите множество голосов — сначала Мэри Гедди, а потом и других духов, желающих поговорить с вами. А может быть, вы не услышите голосов дорогих вам людей, это зависит от самих духов. Но вы можете удостоиться помощи и получить послание от них. Иногда духи становятся видимы, но такое случается не часто. Не прикасайтесь к ним и не пытайтесь их удержать. Прошу вас оставаться на местах, пока я не объявлю, что сеанс закончен. Сидите спокойно, ничего не бойтесь, сосредоточьтесь. Сначала побудьте немного в темноте.

Эдвард внимательно слушал и воспринимал эту речь на одном уровне сознания и при этом размышлял: «А вдруг со мной произойдет что-то страшное? Такой кошмар, что он сведет меня с ума и полностью разрушит? Не лучше ли мне сейчас быстренько встать и уйти?» Он испытывал

жуткий страх, он тяжело дышал открытым ртом, каждый удар сердца болью отдавался в его груди. Но в то же время он чувствовал что-то вроде облегчения оттого, что оказался в этой ловушке и не может уйти. Теперь уже ничего нельзя сделать. И еще Эдвард думал: «Я дрожу от отчаяния и горя; я как большая гроза, разрушительная тревога в центре темной комнаты, делающая невозможным то, что здесь должно произойти; я не смогу сосредоточиться, я закричу». Он попытался подумать о Марке, увидеть Марка, умилостивить его дух. Прошло некоторое время — тишина начала действовать на него, и он закрыл глаза. Потом миссис Куэйд заговорила, и на сей раз Эдварду показалось, что у нее появился сильный западноанглийский акцент. Он казался неестественным, как у плохой актрисы. Голос, предположительно принадлежавший Мэри Гедди, сначала довольно неразборчиво произнес что-то вроде «дети» или «дети мои». Она откашлялась, и голос стал отчетливее.

— Я думаю, здесь есть некто, думающий о своей недавно скончавшейся жене. Она хочет обратиться к вам. Ее зовут Клара.

Человек рядом с Эдвардом издал звук, похожий на стон. Через мгновение голос заговорил снова.

— Клара просит меня передать, что она здорова и счастлива. Там, где она теперь, много цветов; таких цветов, как ноготки. Она говорит, не надо страдать из-за нее, потому что она счастлива и хочет, чтобы тот, кого она любит, был с ней. Больше она ничего не может сообщить о том, где находится. Она знает, что вы ее поймете, и просит посмотреть на подаренное ею кольцо. Она говорит, что вы должны следить за собой и делать все, о чем она говорила. Это долг, его нужно отдать. Она просит любить ее и верить в грядущее. Она прощается с вами.

Мужчина рядом с Эдвардом, который прятал свое лицо, снова застонал и опустил голову к коленям.

Затем последовала пауза. Эдвард вполуха слушал это скучное послание. Тепло и сонливость стали одолевать его. До смешного неестественный голос Мэри Гедди раздался снова, но сразу же умолк, и после секундной паузы зазвучал другой. Новый голос был похож на настоящий, словно какой-то человек вошел в комнату и заговорил, стоя у двери.

— Джордж, — взволнованно произнес он. Кажется, это был голос молодого мужчины. — Джордж, ты там? Джордж, это я. Ты обещал, ты

помнишь? Я сдержал мое обещание. Я всегда буду с тобой, всегда. Джордж, ты там?

Красноватый свет погас, или что-то появилось и заслонило его. Эдвард внезапно почувствовал, как пространство между ним и местом миссис Куэйд заполнилось. Но теперь хозяйки там не было. Что-то мягкое коснулось руки Эдварда, словно погладило ее, и он почувствовал на лице движение холодного воздуха вместе с какой-то субстанцией. Некая сущность, которой не было здесь раньше, образовалась внутри кольца собравшихся в почти полной темноте. Прошелестел едва слышный звук, похожий на вздох, будто откуда-то выходил воздух, и еще один слабый звук, напоминавший журчание воды. Потом раздался приглушенный всхлип или стон. Эдвард откинулся назад и на секунду закрыл глаза. Когда он открыл их, красный свет снова загорелся, в комнате все стало как прежде, а миссис Куэйд сидела на своем стуле, вытянув вперед руки. Эдвард увидел лучик света, услышал звук закрывающейся двери — кто-то вышел из комнаты. Ему показалось, что сдавленный всхлип пару секунд назад издала сама миссис Куэйд.

Она поправила свой тюрбан и положила руки на колени. Слабо посверкивали многочисленные

ожерелья. Миссис Куэйд шмыгнула носом, прикоснулась к нему платком. Пару секунд спустя она сказала уже собственным голосом:

— Возможно, сегодня не будет других посланий. Но мы подождем немного, может быть, духи пожелают сказать что-то еще. Сидите тихо и попытайтесь сосредоточиться.

Эдвард глубоко вздохнул и почти сразу же — так ему потом казалось — заснул. Он услышал голос Мэри Гедди, обращающийся к нему из каких-то темных глубин. Этот голос сказал:

— Среди нас есть некто, у кого два отца.

Эдвард сразу же насторожился, подался вперед, вглядываясь в полутьме в миссис Куэйд. А она едва слышно мурлыкала что-то себе под нос, но он не мог ее видеть, потому что между ними двигалась световая точка, похожая на золотого комара. Когда Эдвард вошел в эту комнату, он обратил внимание на подвешенный к потолку большой белый шар; он решил, что внутри шара есть электрическая лампочка. Теперь этот шар немного сместился вниз и находился над головой миссис Куэйд. Маленькое световое пятно вошло в него. Шар завибрировал, та же вибрация распространилась на всю комнату, и на глазах Эдварда из шара полилось слабое свечение, меняющее

цвет. Из светлозолотого оно превратилось в коричневое или бронзовое, а потом что-то возникло из шара или, вернее, в нем: стали появляться отверстия, напоминавшие пустые сверкающие глазницы и рот. Теперь шар напоминал сферическую бронзовую голову размером больше человеческой, откуда зазвучал низкий голос. Он говорил, немного растягивая слова:

— Приди к твоему отцу. Приди к твоему отцу.

Воцарилась вибрирующая тишина. Эдвард сжал кулаки, рот его широко раскрылся, он уставился на призрака. Потом голос отчетливо сказал:

— Эдвард.

А потом:

— Приди к твоему отцу. Приди домой, сынок.

Эдвард коротко и тихо вскрикнул, как птица. Бронзовая голова растворилась и исчезла, свет в комнате изменился, и Эдвард увидел миссис Куэйд со сложенными на коленях руками. Он не мог отрицать то, что сейчас произошло, он ясно помнил все, словно видел и слышал на самом деле, но это было нечто другое: словно его голова обрела гигантские размеры и голос вещал внутри ее. Эдвард снова издал тихий вскрик, перешедший в рыдание. Он увидел, как миссис Куэйд

наклонилась вперед и прикоснулась к лампе. Красный свет погас, в комнате стало немного светлее. Миссис Куэйд сказала:

— Сеанс окончен.

Собравшиеся вышли из транса, зашевелились; женщина подняла сумочку, мужчина кашлял, кто-то встал — представление было закончено. Дверь открылась, и люди начали выходить. Миссис Куэйд поднялась. Глубоко дыша, она протянула руки, медленно подошла к тяжелым шторам и чуть раздвинула их. Жуткий и холодный бледный свет серого дня проник в комнату. Последние из гостей уже преобразились в обычных людей, надели пальто, взяли зонты, подхватили сумки и покидали комнату с озабоченными лицами, кашляя, двигая стулья и сторонясь друг друга. Эдвард остался один с миссис Куэйд, которая замерла у окна и глядела на улицу. Он отыскал свой плащ, потерявшийся после перестановки стульев, и надел его. Плащ до сих пор не высох. Миссис Куэйд сказала вслух самой себе:

— Двойные стекла — совсем другое дело.

Потом она повернулась, заметила Эдварда и сделала движение в сторону двери, приглашая его к выходу. В неприветливом свете она казалась усталой и выглядела старше.

— Миссис Куэйд, — сказал Эдвард, — позвольте спросить у вас кое-что. Если кто-то… если голос чьего-то духа… озвучивает послание… вот как сейчас… Означает ли это, что человек мертв?

— Что?

— Означает ли это, что лицо… что этот голос принадлежит мертвому? Мертвому, а не живому?

— Откуда мне знать? — ответила миссис Куэйд раздраженным тоном. — Я всего лишь медиум. Вы ведь понимаете, что это такое. Я передаю то, что присылает мне проводник. — Потом добавила: — Это, видите ли, очень утомительно.

Она осторожно сняла тюрбан, положила его на стул и разгладила свои спутанные седые волосы.

— Но когда вы сказали: «Среди нас есть некто, у кого два отца»…

— Я ничего не говорила. Я не знаю, что сказал дух.

— Кто-то назвал мое имя. Вы ведь не знаете моего имени, правда?

— Нет, конечно, я вас никогда прежде не видела.

— Но говорят ли так живые…

— Осмелюсь сказать, что с теми, кто живет в согласии с природой, может случиться что угодно.

А теперь мне пора выпить чаю.

— Возможно, я сам вообразил это, — сказал Эдвард.

— Может быть. Извините, милый.

Эдвард двинулся прочь из комнаты, казавшейся теперь серой и безжизненной. Он вышел в открытую дверь квартиры, спустился вниз. Дождь на улице прекратился, и свет стал другим — ярким, как это нередко случается в дождливые дни, когда на мгновение сквозь тучи прорывается солнце. Эдвард увидел радугу, и все вокруг него вдруг засияло светлыми живыми красками — блестящие тротуары, одежда прохожих, башня почтового ведомства. Эдвард сделал несколько шагов, потом остановился. Что произошло? Он чувствовал мучительное возбуждение, болезненный и зловещий ужас, рвотный комок подступал к горлу. Точно ли он слышал, как странный голос назвал его имя? Да, он определенно слышал. «Приди к твоему отцу, приди домой». Это послание, видимо, предназначалось ему — человеку, у которого два отца. Что, если его звал мертвый отец?

— Ты не считаешь, что мы должны оградить Мередита от встреч со Стюартом? — спросила Мидж Маккаскервиль у мужа.

Она собиралась уходить и присела на его стол, одетая в модный черный плащ с красным шелковым шарфом.

— Почему?

— Стюарт стал таким эмоциональным и странным. Его религиозная мания может передаться Мередиту, и… ну…

— Ты хочешь сказать, он может напасть на мальчика?

— Да нет, конечно. Но я не хочу, чтобы у Мередита завязались эмоциональные отношения со Стюартом.

Томас, некоторое время назад отложивший свою ручку, снова взял ее.

— Я не вижу тут никаких проблем, а вот после нашего вмешательства они могут возникнуть.

— Жаль, что Эдвард мало общается с Мередитом, ведь мальчик любит его, хотя сейчас от этого мало проку. А вот Стюарт — он такой фальшивый и бесчеловечный. Конечно, это сложно, мы же никого не хотим оскорбить. Ты пишешь о мистере Блиннете?

— Нет.

— Он по-прежнему думает, что убил и закопал свою жену и она превратилась в ракитник? Что там у него новенького, если это не секрет?

— Нет, он всем об этом рассказывает. Старый школьный учитель из Манчестера выпускает стальные провода, которые попадают прямо в голову мистера Блиннета и передают призывы.

— Призывы?

— Они не представляют ни малейшего интереса. Что-то вроде «Ешьте больше сыра». Мистер Блиннет устал от этих призывов. Иногда учитель манипулирует проводами, делая мистеру Блиннету больно — это наказание за его безразличие к призывам. Есть провода стальные, а есть золотые. Золотые вызывают маленькие пожары в голове мистера Блиннета, которые иногда проявляются в виде пламени в его волосах.

— Ты их видел?

— Нет.

— Бедняга, — проговорила Мидж. — Не могу себе представить, на что это похоже, когда тебе в голову приходят такие мысли. Сумасшедшие такие изобретательные. Неудивительно, что поэтов считают сумасшедшими.

— Сумасшедшие ничуть не похожи на поэтов, — сказал Томас. — Их фантазии подробные и затейливые, но мертвые. Это справедливо и для мистера Блиннета, поскольку он тоже считает себя мертвым.

— А еще он считает себя мессией! Конечно же, он еврей.

— Он тихий мессия без амбиций.

— Он противный. Мередит его боится. Жаль, что он приходит к тебе, когда клиника закрыта. Он улыбается жуткой вкрадчивой улыбкой, но глаза у него пронзительные и проницательные.

— Когда я уйду из клиники, с мистером Блиннетом будут проблемы, — сказал Томас. — Мы сможем жить за городом. А Мередит будет в интернате.

— Ты не собираешься уходить из клиники, — ответила Мидж. — Я надеюсь, мистер Блиннет не дурачит тебя. Кажется, ты вообще не хочешь лечить его. Ты сегодня поздно вернешься?

— Да. А ты собираешься на ланч с этой твоей школьной подружкой из Америки?

— Да. Она отложила отъезд домой. Кстати, не забудь о концерте в школе Мередита.

— Какие цветы ты купишь сегодня?

— Ирисы и тигровые лилии.

Томас отъехал на своем кресле от стола, протянул руку, и Мидж пересела ему на колени.

— Моя любимая Мидж, желаю тебе хорошего дня.

— И тебе того же. Ты с кем-то встречаешься

сегодня утром?

— Да, с Эдвардом.

— С Эдвардом? Правда? Ты его просил прийти?

— Нет. Он позвонил.

— Значит, ты был прав.

— Да.

— Я очень сочувствую Эдварду. Мне кажется, я смогла бы ему помочь. Может, мне тоже с ним встретиться?

— Нет, еще рано. Пока, растрепа. Выглядишь лет на семнадцать.

— Так ты говорил со Стюартом? — спросил Томас.

— Это он со мной говорил, — сказал Эдвард.

— И что он сказал?

— Он сказал, чтобы я прекратил читать триллеры и принялся за Библию, что я должен смотреть на азалии…

— На азалии?

— Ну, точнее, на азалию. Мидж принесла мне азалию.

— Правда? Какая молодчина!

— И слушать птичий щебет, и сидеть тихо и дышать. Найти что-нибудь хорошее и вцепиться в него, как терьер…

— И ты последовал его советам?

— Нет, конечно. Я выкинул азалию в окно. То есть собирался выкинуть, но он ее унес.

— Он тебя не трогал?

— Трогал меня? Господи Иисусе, нет!

— Слушай, я хочу, чтобы ты отказался от таблеток, которые тебе прописала Урсула. Ты сможешь?

— Да. Я уже почти отказался. От них никакого толку.

— И если ты не возражаешь, я бы хотел посмотреть одно из писем миссис Уилсден, если ты получишь еще. Ты говорил, что уничтожил их. Наверное, писание этих писем доставляет ей удовольствие.

— Конечно же получу! Она настоящий художник. Она все время говорит одно и то же, но никогда не повторяется. Она наверняка получает удовольствие.

— Это своеобразная форма траура. Она пройдет. Глубокая скорбь подобна навязчивой мелодии.

— Мне тоже все говорят, что и у меня все пройдет. Но оно не пройдет. Оно уже столько времени со мной. Я, наверное, стал другим человеком. Моя болезнь — это я сам. Со мной все кончено. Вы знаете, если двигатель самолета в определенный момент глохнет, то ему уже не взлететь, самолет

непременно рухнет под воздействием собственной тяжести, и никакая сила его не поднимет. Это мертвый груз, обреченный на падение. Мои двигатели отказали. Я падаю. Я обречен на падение. У меня не осталось энергии. Так или иначе, но со мной все кончено.

— Ты способен говорить. Ты полон интересных мыслей.

— Это потому, что я использую вашу энергию, — ответил Эдвард. — Я уйду от вас и снова окажусь в своей черной машине. Я и теперь в ней, а наш разговор происходит автоматически, он истерический, вы его генерируете. У меня не умственная болезнь, а душевная. Я раньше и не подозревал, что это такое. Это факт. Факт, с которым я вынужден жить — с тем, что случилось, что я совершил. Люди говорят: «С какими-то вещами нужно смиряться», но я не могу с этим смириться, я могу только умереть, только никак не умираю. Каждое утро просыпаюсь в мучениях, все мое тело пронизывает боль, словно меня казнят на электрическом стуле, но я никак не могу умереть.

— Продолжай, пока тебе хватает красноречия.

— Я боюсь всего, я боюсь полиции и докторов. Я даже вас боюсь. Вы ведь не позволите им лечить

меня электрошоком?

— Об этом и речи нет. И нет никаких «их». Есть только я.

— Все равно они могут добраться до меня. Знаете, я об этом никому не говорил, но я обманул следствие. Я сказал, что у Марка был наркотик и он сам принял его. Это неправда. Я дал ему наркотик — добавил в сэндвич. Я его обманул. Он не знал, что там наркотик, он сам никогда бы этого не сделал. Он ненавидел наркотики и все время пытался заставить меня бросить их. Миссис Уилсден, конечно же, догадалась об этом. Вы думаете, я должен пойти и рассказать об этом коронеру?

— Нет, я так не думаю, — ответил Томас.

— Но я все равно рад, что сказал вам. Я знаю: все, что я вам говорю, останется между нами. Я рад, что сказал об этом.

— У человека должны быть ценности. Правда — это важно.

— Я разошелся с правдой.

— Нет, не разошелся. Только что ты это продемонстрировал. Твое представление, будто ты расстался с правдой, — это заблуждение. Несчастные люди утешаются ложью, а потом чувствуют, что все вокруг фальшиво…

— Это обо мне. Я лишен малейшей возможно-

сти действовать правильно или делать добрые дела. Эта целая система горестей — все горести, когда-либо пережитые мною, входят в эту горесть и усиливают ее. Для тех угрызений совести, что испытываю я, нет лекарства. Я потерял опору. Это как пытаться складывать цифры во сне. Вы полагаете, что я могу думать, — ничего я не могу. Вы взываете к моему интеллекту, а его нет.

— Да никуда он не делся! Он есть, не надо так беззастенчиво лгать. Попытайся систематизировать происходящее, поразмысли над несколькими концепциями. Ты обрадовался, когда рассказал мне о том, что отягощает твою совесть. Совесть у тебя есть. Ты можешь проводить различия. Ты только что говорил о скорби и о раскаянии. Можешь ты упорядочить эти ощущения? Что находится в основе? Не отвечай сразу, постарайся подумать.

Эдвард, сидевший в кресле по другую сторону стола Томаса, задумался.

— Ну вот… то, о чем я только что сказал… нет смысла говорить очевидные вещи… то, что случилось, и как вернуть случившееся назад… какой ужас я совершил… и Марк, которого я люблю… он жил и умер…

— Это немало. Продолжай стараться. Ты ис-

пользовал слово «люблю». Того, что случилось, назад не вернешь. Марк мертв, а мертвых нужно любить на особый манер, этому нужно научиться. А твой «ужас» полон других поступков и вещей, которые нужно отделить от него…

— Боже мой, вам нужен список?

— Да.

— Я отмечен, я заклеймен, люди это видят, на улице все на меня глазеют. Во мне не осталось ничего целого, одни шрамы и осколки, люди от меня шарахаются, я распространяю отчаяние и зло. Когда я шел сюда, я увидел Мередита, выходившего из дома. Он сделал вид, что не заметил меня, и перешел на другую сторону — мой вид ему невыносим, а мне это очень больно. Это позор, потеря чести, которую невозможно вернуть. Я уничтожен и очернен навсегда, а ведь я так молод. И это имеет прямое отношение к тому, что случившегося не вернешь. Если бы я не запер дверь, если бы я не бросил его одного… Господи, все это не имеет смысла. Я не достоин жизни, я так устал от тоски и от непролитых слез. Я хочу одного: чтобы меня замуровали в каменную стену, где я бы высох от голода и умер.

Эдвард договорил, широко открыл глаза и улыбнулся той нездешней, жуткой, злорадной

улыбкой, что так ужаснула Стюарта.

— У твоего бессознательного разума настоящий праздник, — сказал Томас, уже видевший такие улыбки. — Ты уверен, что не хочешь встретиться со священником? Всегда следует спрашивать себя: а не помогут ли мне остатки моей веры? Священник может выслушать твою исповедь и отпустить грехи. Эти ритуалы не обязательно должны быть связаны с догматами.

— Нет-нет, никаких священников. Значит, вы хотите, чтобы я приспособился к этому чувству вины?

— Можно и так сказать! Ведь должен же быть смысл во всем этом нагромождении мучений — из этого может родиться что-то творческое. Ты твердишь об «ужасных вещах», о «факте», о «случившемся», но в то же время продолжаешь расходовать энергию и подогревать свое негодование, воображая, будто ничего не было. Твое чувство вины, если удастся его выделить, может дать тебе место и «метод», если угодно, с помощью которого ты сумеешь уяснить сердцем и умом, что событие все-таки случилось… и вот отсюда уже можно начинать. Это место, если тебе удастся туда попасть, может изменить атмосферу, дать тебе больше воздуха и света. Любовь к

Марку могла бы стать позитивным фактором, только не стоит любить его, как живого. И ты мог бы подумать о том, как ответить миссис Уилсден, сочинить ей письмо.

— Томас, — сказал Эдвард, — вы не поняли. У меня нет сил. Эти ваши речи — сплошная поэзия, она не имеет никакого отношения к тому, что я могу сделать или даже вообразить. Я не сомневаюсь, вы изобретательны, вы умны, вы стараетесь расшевелить меня, воззвать к моему здравому смыслу и все такое. Я вам очень благодарен. Но это бессмысленно. У меня не осталось ни капли воображения. Я даже утратил все сексуальные чувства. Стюарт говорит, что он отказался от секса, но от него сексом так и пышет. А я, думаю, лишился секса навсегда. Я утратил фантазию; точнее, она полностью ушла в это. Я не способен совершать действия, которые вы перечислили, не способен проводить различия между тем и этим, держаться за что-то третье — я ничего не могу. Конечно, я хочу, чтобы меня простили, но никто не может этого сделать. Ни священник, ни миссис Уилсден, если бы она вдруг захотела. Но она не захочет, она жаждет замучить меня до смерти. И я и в самом деле испытываю смертельные муки. Я мучаю сам себя, я так страдаю,

что больше уже невозможно, но если бы я мог страдать еще сильнее, я бы…

— Не думаю, что я могу тебя простить, — сказал Томас. — Я могу сделать кое-что другое, но не это. Нам нужны священники, нам их не хватает и будет не хватать еще сильнее. Нам не хватает их силы. В будущем будут разные священники, разные призвания. Нам придется заново изобрести Бога. Тем, кому нет оправдания, придется изобрести его.

— У тех, кому нет оправдания, не хватит энергии, — сказал Эдвард. — Им не хватит духа. Я бездуховен. Бог — изобретение счастливых невинных людей. Мы знаем, что никакого Бога нет, как нет и его заменителя, о котором любят сюсюкать ослы вроде Стюарта. Ну для чего вы меня разговорили? Может быть, я вас за это возненавижу.

— Нет, не возненавидишь, дорогой Эдвард.

— Ну хорошо, но даже вы не можете понять, каково это — ежеминутно гореть в бесплодном аду. Это несчастье, кристаллизованное в виде чистого страха, потому что потом будет еще хуже, словно ждешь своей очереди у дверей пыточной. Гарри говорит, что это иррационально, а Стюарт говорит, что для меня это стало самоцелью. Так

оно и есть. Иногда я даже не могу вспомнить лицо Марка, словно он — просто имя, словно я выкинул его и оказался в аду, даже не понимая почему. Но я там, и я от этого умру.

— Ты от этого уже умираешь, — сказал Томас. — Умираешь духовно. Ты немного раньше сказал, что тебе пришлось бы переделать себя. Именно этим ты и занят, и это очень мучительно. Ты говоришь, что страдаешь и не можешь вспомнить почему. Все творение страдает так же, стонет и мучается одним миром. Ты сознательно принимаешь участие в этом страдании.

— Все творение невинно, и я прощаю его. Прощаю всех, кроме себя.

— Так ты думаешь, что в аду ты один?

— Вы хотите заинтересовать меня, заставить думать о других людях, но я не хочу излечиваться и обращать все в радость и здравый смысл с помощью вашей магии. Ваша магия недостаточно сильна, чтобы преодолеть то, что есть во мне. Она слаба, она — гаснущий факел. Со мной все кончено безвозвратно.

— Я не предлагаю тебе радость и здравый смысл. И бога ради, успокойся: конечно, с тобой все кончено безвозвратно, тебе не излечиться.

— Я думал, вы пытаетесь меня вылечить.

— Да, пытаюсь, но совсем не так, как ты думаешь. Эта боль навсегда останется в тебе. Многие люди живут с такой болью. Но так будет не всегда.

— Ну хорошо, я меняюсь, но не в лучшую сторону. Лучшей стороны нет — вот что я обнаружил. Это не то что быть… быть куколкой насекомого, это наоборот. История куколки наоборот. Прежде я имел цветные крылышки и умел летать. Теперь я почернел и лежу, дрожа, на земле. Скоро земля укроет меня, я похолодею и начну разлагаться.

— Да, прекрасный образ. А теперь послушай меня. Ты нечаянно, по собственной вине отправился в духовное путешествие, за которое многие заплатили бы немалые деньги, только им этого не дано. Твое ложное представление о себе самом сейчас ломается. Поэтому ты оказался в необычном положении, очень близком к истине, и эта близость — часть твоей боли. Ты говоришь, что у тебя не осталось энергии, что ты пользуешься моей — это не так. Твой бессознательный разум наслаждается поражением твоего гордого эго, его злонамеренное удовольствие наполняет тебя демонической энергией, которую ты расходуешь в тщетных проявлениях раздражения, злости и ненависти. То, что я назвал твоим красноречием,

потоком образного мышления, — это симптом твоего состояния. Ты ненавидишь свое раненое «я» и чувствуешь, что не можешь с ним жить, но в то же время отчаянно холишь его. Ты говоришь о своей скорби как о системе. Ты прав — это защитная система поддерживающих друг друга обманов, которые ты порождаешь инстинктивно, чтобы защитить твое прежнее эгоистичное представление о самом себе. Тебе невыносима мысль о его утрате, тебе невыносима мысль о его смерти, которую ты воспринимаешь как свою собственную. Твои бесконечные разговоры о смерти — это подмена настоящей благотворной смерти, смерти твоих заблуждений. Твоя «смерть» вымышленная, это просто ложное представление: будто каким-то образом, без всяких усилий с твоей стороны все твои беды могут исчезнуть. В твоем положении человек религиозный обратился бы к молитве, а ты должен найти собственный эквивалент молитвы. Слово «воля» редко обозначает что-то реальное, но тут необходимо усилие воли, положительной сосредоточенности. В мыслях и в самых потаенных уголках души ты должен прекратить злоупотреблять своей силой, должен перенаправить эту странную энергию — несмотря на свою двусмысленность, она дарована тебе

свыше темными богами. Я не хочу сказать: забудь вину и раскаяние. Я только говорю, что ты должен почувствовать их истинно. Истинное раскаяние ведет к плодотворной смерти «я», а не к его сохранению в качестве успешного лжеца. Признай свою ложь и отвергни ее по всем пунктам. Ты хочешь вернуть то, что случилось, ты чувствуешь гнев и ненависть, когда наталкиваешься на препятствия, и считаешь, что происходящее привело к утрате чести. Старые глубинные «естественные» желания кажутся тебе непреодолимыми. Покончи с ними, пойми, что это заблуждения и обманы. Перешагни через них, выйди в открытое и спокойное пространство, которое покажется тебе совершенно новым местом. Ты никогда прежде не был в таком месте, там ты найдешь совершенно новую личность. Ты говоришь, что живешь в агонии. Так пусть это будет боль умирания твоего прежнего лживого «я» и рождение нового, настоящего, правдивого «я». Мы все завернуты в шелковые одеяния заблуждений, и нам инстинктивно кажется, что эти заблуждения необходимы для жизни. Часто они безобидны в том смысле, что мы по-прежнему можем оставаться хорошими и счастливыми. Иногда вследствие какой-либо катастрофы, утраты или

полной потери самоуважения наши обманы становятся пагубными, и тогда мы вынуждены выбирать между болезненным признанием правды и еще более безумным и агрессивным нагромождением лжи. Я предлагаю тебе осознать твою ситуацию, обратиться к воле и молитве. Не надейся ни на что, кроме правды, ты должен увидеть вину и скорбь такими, как они есть. Примирись с отчаянием. Живи спокойно с чувством вины, с тем, что случилось, и его последствиями. Присядь, так сказать, рядом с ним и осознай страшную рану, полученную твоим самоуважением, как расставание с прежними потаенными заблуждениями, уничтоженными в результате этого события. Если ты будешь пресекать любую ложь и противиться гневу, искажающему мир, то постепенно поймешь, что твое несчастное старое раненое «я» с его яростным рыданием, ненавистью к себе и всему остальному вовсе не равно тебе. Это «я» умирает, а другое «я» смотрит на его смерть. И ты постепенно восстановишь свою жизненную энергию, во благо или во зло данную нам богами. Ты вдохнешь жизнь в твое новое «я», перестанешь быть марионеткой. Эдвард, я тебе не предлагаю ничего безумного — например, мгновенно обрести святость! Я предлагаю

то, что в самом прямом смысле ведет к твоему спасению. Я хочу, чтобы ты постарался. Я знаю, ты можешь. Ты никогда не уничтожишь память об «ужасном случае», ты никогда не восстановишься полностью. Но ты частично забудешь об этом. Возможно, будешь вспоминать об этом каждый день, но не целый день. То, что я называю твоим спасением, ты, скорее всего, забудешь, когда снова вырастет твое естественное «я». Но если ты обретешь его хотя бы частично, оно останется с тобой как свидетельство силы духа в исцелении души. Исполненный доброй воли, ты обратишься к истине и тому свету, что тебе известен, ты прекратишь вырабатывать энергию заблуждений — твою единственную жизненную силу в настоящий момент. Ты постоянно повторяешь, что живешь в аду. Это неподходящее место для души. Ты способен выйти оттуда. Если ты предпримешь минимальное серьезное усилие, то ощутишь жизнь нового существа, которым сможешь стать.

Эдвард, внимательно выслушавший длинную речь Томаса, тут же ответил:

— Спасибо. Я знаю, вы пытаетесь произвести на меня впечатление и убедить меня. Знаю, глупо и плохо быть таким невыносимо несчастным

и наполненным тем, что вы называете заблуждениями. Но я ничего не могу с этим поделать. В вашей на редкость поэтической картине не хватает одного — стимула. У меня нет стимула, он отсутствует в вашем плане моего спасения. Боже мой, как я устал.

— И я тоже, — сказал Томас. — Давай-ка отдохнем немного.

Он встал, вытянул руки в сторону, принялся разминать плечи.

В комнате словно раздался резкий звук отпущенной тетивы. Эдвард, прежде ничего вокруг не замечавший, целиком и полностью сосредоточенный на споре с Томасом и на сопротивлении воле собеседника, теперь огляделся и увидел книги, лучи солнца на узорчатом ковре, картину, написанную отцом Мидж, и Томаса, который потянулся, взъерошил свои аккуратно причесанные седые волосы, снял и протер очки. Эдвард вздохнул и поднялся с кресла, потом подошел к окну и отстраненным взглядом посмотрел на сливовое дерево с розовыми цветами, на сиреневые и белые крокусы, растущие полукругом, и на каменную львиную голову, вделанную в кирпичную стену. Он прикоснулся к плотному слою белой краски на оконной раме, погладил

пальцами полированное медное кольцо, с помощью которого поднималось окно. Томас смотрел на него.

Эдвард сказал:

— Я вспомнил. Ночью мне снился сон: красивая огромная бабочка в моей комнате, и я пытаюсь открыть окно, чтобы выпустить ее, но у меня не получается. Она села мне на руку, и я почувствовал, как она кусает меня крохотными зубками. Потом я махнул рукой, чтобы она улетела. Но она не улетела. Она свалилась на пол и лежала там неподвижно, мертвая.

— Душа — это бабочка, — пробормотал Томас. — Ее любит Эрос.

Эдвард в этот миг вспомнил точно такое же медное кольцо на окне своей комнаты и быстро отдернул руку.

Томас сказал:

— Та комната… комната, где все случилось. Хорошо бы тебе сходить туда и посмотреть на нее.

— Вы, наверное, умеете читать мысли. Я как раз подумал о той комнате. Я не смогу туда вернуться. Это что, такое лечение? Я там сойду с ума и выпрыгну из окна. Однако я собираюсь уехать на время.

— Куда?

Эдвард, прижимавший лоб к стеклу, отодвинулся от окна и откинул назад прядь своих длинных волос. Он был выше Томаса, а за последние недели исхудал как смерть. Его длинная шея торчала из расстегнутого воротника помятой синей рубашки. Он птичьим шагом направился назад к своему креслу, обходя по пути груды книг на полу, сел на подлокотник, но тут же поднялся, встал за креслом и оперся о спинку. На вопрос Томаса он не ответил.

— Вчера случилось кое-что очень странное.

— Вчера?

— Вас, кажется, удивляет, что со мной может происходить что-то еще. Меня тоже. Я ведь так никогда вам и не говорил, почему я оставил Марка в ту ночь и не вернулся раньше.

— Ты говорил, что кто-то тебе позвонил…

— Да. Это была девушка. Мы с ней занимались любовью — сразу же завалились в постель. Именно это меня и задержало.

— Понятно. — Томас, уже успевший вернуться за свой стол, встал и подошел к книжному шкафу, принялся разглядывать книги. — А эта девушка… Ты ее любишь?

— Нет. Я ее ненавижу. Она сделала меня убийцей, она — часть заговора. Ну хорошо, я не прав.

Это то, что вы называете ложью.

— Не то, что я называю ложью, а просто ложь. Ну так что случилось вчера?

— Я ходил на сеанс.

— При чем же тут девушка?

— Ни при чем. Просто она говорила о каком-то сеансе и, возможно, сунула мне в карман карточку, вот эту.

Эдвард вытащил карточку. Томас надел очки и прочел ее.

— Ну, вы видите, что там написано. Вот я и отправился туда, и медиум сказала, что есть послание для того, у кого два отца, а это явно был я.

— И?

— И послание было от моего отца. Странное, словно галлюцинация, но это не галлюцинация. В комнате стояла темнота и висела такая огромная голова, похожая на бронзовую сферу, как бы подвешенная к потолку. Она сказала: «Приди к отцу. Приди домой, сынок». И она назвала мое имя — Эдвард.

— Ты уверен?

— Да.

— Очень интересно, — сказал Томас. — И чей же это был голос?

— Низкий голос с каким-то акцентом, медлен-

ный, говорил отчетливо. Наверное, это какой-то трюк, подделка… по это не могло быть подделкой. В любом случае это знак. Но его источник, видимо, находился в моей голове. Как вы думаете, может, это все еще действует чертов наркотик? Может, это какая-то субъективная иллюзия?

— Не могу сказать.

— Но вы знаете, что это не иллюзия. Это что-то другое. Джесс Бэлтрам жив, да?

— Наверняка. Если бы он умер, об этом кричали бы все газеты: твой отец — человек знаменитый.

— Ужасно странно слышать, как вы называете его моим отцом. Я никогда не хотел увидеть его, для меня его не существует. До сего времени было так. Он никогда не участвовал в моей жизни. Гарри не хотел, чтобы я общался с этими людьми. И конечно, Хлоя его ненавидела.

— Ты его видел, когда был ребенком…

— Да, Хлоя брала меня туда два или три раза, когда они приезжали в Лондон. Он был ужасен, он как бы насмехался надо мной, большой высокий человек с копной темных волос. Его жена пыталась приласкать меня, но так фальшиво, я ее насквозь видел. А маленькие девочки стояли, как злобные куклы, вооруженные булавками. Я чувствовал, что они все хотят меня убить. Может

быть, Хлоя возила меня туда специально, чтобы я увидел, какие они отвратительные.

— Возможно, он чувствовал себя виноватым из-за того, что бросил тебя. Возможно, он даже тосковал по тебе. А женщины ревновали.

— Вы так думаете? Знаете, теперь, когда это случилось, я начал думать о нем. Не могу понять, почему у меня раньше не возникало желания отыскать его — моего настоящего отца.

— В некотором важном смысле твой настоящий отец — Гарри.

— Да-да, я знаю. Вы не скажете ему?

— Нет, конечно, не скажу.

— Потому что он… понимаете, он позвал меня. Я должен найти его.

— Найти его? И как ты это будешь делать — писать, звонить, спрашивать, можно ли тебе приехать? Я думаю, он по-прежнему живет в доме, который сам спроектировал. Этим домом в свое время очень интересовались. Как он называется?

— Сигард.

— Об этом писали во всех архитектурных журналах.

— Да. Но теперь о том доме забыли. И о нем забыли. Он вышел из моды. Люди не знают, что

он еще жив.

— Я читал, что он все еще рисует, много работает. Значит, вот куда ты собрался бежать. Я никому не скажу. Эдвард, с тобой случилось что-то новое.

— Нет, это не может быть новым. Все взаимосвязано. Я должен поехать туда… Это побуждение имеет отношение к моей душе. И к смерти. Там произойдет катастрофа, и ее причиной буду я.

После ухода Эдварда Томас некоторое время неподвижно сидел на стуле. Когда Эдвард уходил, Томас прикоснулся к нему — положил руку на плечо, потом быстро скользнул пальцами к запястью, дотронулся до кожи ниже манжета. Все это заняло одно мгновение. Томас никогда не прикасался к мистеру Блиннету — это было немыслимо. Что касается Эдварда и Стюарта, он мог бы обнимать их, только и это было немыслимо.

Он остался доволен разговором, стратегию которого тщательно спланировал заранее. Информация была представлена, идеи внедрены. Эдвард все запомнит и задумается. Томас пошел на риск — надолго оставил парня наедине с его ужасами. Но дружеская забота и опека, теперь принятые Эдвардом, прежде были бы им отвергнуты. Томас признал, что эпизод с сеансом стал

полной неожиданностью, появился словно из ниоткуда. В вопросах паранормальных явлений Томас был любопытствующим агностиком. Такие явления, конечно же, являлись порождением мозга, хотя их механизм был неясен. В каждом конкретном случае нужно было решать, какое отношение они имеют к нему, как и зачем их отличать от «обычных» иллюзий. У Томаса они не вызывали сильных эмоций. А Эдвард — тут нужно подождать и посмотреть. Психопатический эпизод иногда имеет ценность для изменения структуры сознания. Инициированный самим пациентом, такой эпизод способен стать благотворным шоком, способствующим выделению целительных гормонов. Но такие вещи могут развиваться и непредсказуемым образом. А вот «диалог» прошел вполне успешно. Эдвард был начеку, он слушал, реагировал, аргументировал, защищал свою позицию. Он следил за мыслью собеседника. «Как же они умеют быть красноречивы, — подумал Томас, — эти страдальцы, больные душой. От боли их язык превращается в язык поэтов». Он никогда раньше не слышал, чтобы Эдвард говорил так красноречиво. Какие жуткие образы страдания выдал этот мальчик: плен, машина, голод, электрический стул, умира-

ющая куколка, самолет с отказавшим двигателем, мертвая бабочка. «И против всего этого моя слабая магия, — думал Томас, — бледная и тусклая на фоне такой черноты, словно гаснущий факел». Нередко в крайних случаях, а в особенности когда задействовано чувство вины, излечить может только сильная любовь. Но доступна ли она, умна ли, обладает ли интуицией, способна ли найти выход? Бог — это вера, что самые потаенные уголки души известны и любимы, что даже туда проникают лучи света. Но врач — не Бог, он даже не священник и не мудрец, и он должен советовать страдальцу исцелять себя собственными божествами. Значит, эти божества еще нужно найти. Сколько душ, не встретив положительных сил, так и не излечиваются? «Да, — думал Томас, — они падают под воздействием силы тяжести, не в силах вынести собственный вес». Он потерял лишь одного пациента. Мальчик, бессчетное число раз обещавший убить себя, в итоге выполнил обещание. Родители обвинили Томаса. Винил ли он себя? Да. И это чувство вины почти не отличалось от скорби. Он прекрасно понимал, как работает идентификация Эдварда. Его поражение не принесло Томасу новых знаний. Те, кто помогает другим делать высокие

ставки в игре с «духовной смертью», должны осознавать и риск. Желание отомстить судьбе может обернуться против проклятого тела. Все люди разные, общее представление о «неврозе» — не более чем гипотеза. Больные порой хотя бы имеют право сыграть в эту игру самостоятельно, без медикаментозных средств или «научной» мифологии. Лечащий «миф» — это индивидуальное произведение искусства. Эдвард отчасти был прав, когда сказал, что заимствует энергию Томаса. Томас, проникая в таинство бессознательного разума другого человека, тоже питался энергией Эдварда. Если целитель идентифицирует себя с пациентом, существует опасность, что он примет чужие силы за свои. Не каждый достаточно силен, чтобы «играть». Томас больше не верил в «совместные мечтания» с пациентами, не желал принимать их фантазии и играть роль доктора в бесконечной лечебной драме, необходимой обоим: любовный роман врача и больного, играющих пьесу о разбуженном эгоизме. Он ушел от былой самонадеянности, когда он считал необходимым периодически изобретать новые названия для того, чем занимается. Однажды за обеденным столом он озадачил досужего любителя задавать вопросы словами о том, что сфера его

интересов — это смерть. Смерть в жизни, жизнь в смерти, смерть после жизни и полное исчезновение. Сказать, что самоубийца отказывается от всех обязательств, кроме обязательств перед собственной душой, — это лишь обозначение тайны, загадки. Достигнуть этого положения — само по себе экстремальный шаг. Помощник, который Томасу представлялся еще и слугой, может лишь предложить свое видение, образ данного конкретного спасения и попытаться связаться с духовными силами, необходимыми для выбора смерти, которая ведет к жизни; с открытыми во тьме глазами и со всем магнетизмом своей интуиции он должен найти и высвободить силу, скрытую в глубинах души пациента, чтобы заставить его понять смысл того, что он уже мертв. Стимул, сказал Эдвард. Да, стимул нужно найти. К людям, которые в своей обычной жизни никогда об этом и не думали, в самых разных болезнях, в самых разных формах приходит мысль о потребности в смерти, о ее необходимости. Томас вспомнил зловещий экзальтированный взгляд Эдварда, его жуткую улыбку. Это на миг выглянул демон, не имевший отношения к обычному благополучному «реальному» Эдварду. Насколько же двусмысленны такие условия! Восторженное и

искаженное болью лицо Марсия, перед которым с любовью склонился Аполлон, чтобы содрать с него шкуру[19], предвосхищает смерть и воскрешение души.

Томас вытащил из ящика стола гребешок и расчесал свои седеющие волосы, ровно распределяя их на макушке и аккуратно начесывая на лоб. Его волосы всегда были аккуратно расчесаны и светились сединой, которую можно было бы обозначить словом «серебристая». С отсутствующим видом Томас снова протер белоснежным платком стекла очков и твердо посадил их на переносицу. Сердце его все еще учащенно билось после разговора с Эдвардом. Билось за Эдварда. У нас нет мифологических судеб, наш индивидуальный «миф» полностью поглощен жизнью, он существует только в этом смысле. Как Стюарту удалось так легко обнаружить эти представления? Он сам не понимал, что знает их. Лицо Томаса, нахмурившееся от напряжения мысли, обладало причудливой, почти сентиментальной

[19] Примечания: 19

Марсий — сатир, наказанный Аполлоном за выигранное состязание. Марсий довел игру на флейте до такого совершенства, что осмелился вызвать Аполлона на состязание. Судьей был Мидас, который, будучи близким Марсию по духу и вкусам, вынес приговор в его пользу. Тогда Аполлон содрал с Марсия кожу, а Мидаса за его суд наградил ослиными ушами.

мягкостью. Лица людей порой невозможно «прочесть», если не имеешь ключа. Иногда для одного лица нужно много ключей. Есть немало способов сбора этой загадочной Gestalt[20], и наиболее убедительные выводы вполне могут оказаться ложными. В случае Томаса знание того, что он наполовину еврей, несомненно помогало. На первый взгляд он не был похож на еврея, но, если присмотреться, еврейские черты становились очевидны. Об этом свидетельствовали морщинки вокруг глаз, изгиб рта. О том же говорила и манера показывать себя цивилизованным, очень и даже чрезмерно цивилизованным. Он был евреем но материнской линии. Томас и в самом деле, как говорил Гарри, гордился своими предками. Маккаскервили — отважная, но неудачливая католическая семья — в свою более позднюю эпоху (начиная с восемнадцатого века) были продуктом Старого союза[21]. Их связи с Францией возникли во времена, предшествовавшие полосе неудач претендентов на престол. Они последо-

[20] Примечания: 20

Gestalt *(нем.)* — целостная форма или структура. Гештальт-психология — школа психологии начала XX в.

[21] Примечания: 21

Так назывался союз между Шотландией и Францией, которая поддерживала шотландский королевский дом Стюартов.

вали в ссылку за «белыми кокардами»[22] после сражения у Шерифмуира[23]. Маккаскервили сражались у Баннокберна[24], их потомки пали при Куллодене[25]. (Эти подробности Томас изредка сообщал тем, кто искренне интересовался ими.) В ссылке они заключали браки с обедневшими французскими дворянами, называвшими себя аристократами. В девятнадцатом веке торговля привела их назад в Эдинбург, а позднее деньги дали приятную возможность стать адвокатами и врачами. Отец и дед Томаса остались ревностными католиками и отдали предпочтение юриспруденции, а один из двоюродных дедушек был прокурором.

Но отец Томаса нарушил традицию, отказался от своей веры и женился на еврейской девуш-

---

[22] Примечания: 22

Эмблема якобитов. Якобиты — приверженцы изгнанного в 1688 г. «Славной революцией» английского короля Иакова II и его потомков, сторонники восстановления дома Стюартов на британском престоле.

[23] Примечания: 23

Место одной из битв в 1715 г. в ходе якобитского восстания.

[24] Примечания: 24

Деревня в Шотландии, место битвы в 1314 г. войны за независимость Шотландии против Англии.

[25] Примечания: 25

Куллоденская битва была решающим сражением якобитского восстания в 1746 г., ее исход привел к окончательному поражению якобитов, которых традиционно поддерживали французы.

ке, дочери широко известного шотландского раввина. Оба семейства пришли в ужас. Однако молодые безбожники (Рашель, мать Томаса, тоже отказалась от религии предков) процветали и со временем, после рождения долгожданного мальчика, невзирая на свой социалистический атеизм, сумели вернуть любовь и доверие обеих семей. Однако обе семейные партии встречались редко, и маленький Томас под защитой родителей стал объектом тихих сражений двух мощных кланов. К облегчению отца и матери, Томас (единственный ребенок) не проявлял ни малейшей склонности к религии какой-либо из сторон. Он и в самом деле не выказывал интереса к религии, впрочем, в этом отношении он был обманщиком. Он очень любил родителей, но из некоего чувства такта прятал от них сокровенные чувства. Эта воздержанность и стремление к скрытности, ставшие в юношеские годы главными чертами Томаса, укреплялись из-за напряжения, существовавшего между его родственниками иудейского и христианского вероисповеданий. Будучи ласковым ребенком, он чувствовал себя дома и там и здесь, но его романтическое сердце втайне склонялось к еврейству. Отец его матери, почтенный и остроумный патриарх, борода-

тый ученый, сионист, специалист по иудаизму, представлялся юному Томасу фигурой из сказки. Томас любил причудливые одеяния, расшитые шапочки и шали, длинные столы, укрытые белыми скатертями, свечи, вино и необычную пищу; по праздникам там собиралось столько людей, и он не был полностью чужим для них. Тем не менее он был чужим из-за преступления его матери, из-за этого ужасного брака, невольным и греховным порождением которого Томас и стал. Предки матери в незапамятные времена приехали из России и занялись торговлей в Эдинбурге. В доме ее родителей говорили на иврите и на идише; эти языки Томас слушал с тайной болью, прекрасно понимая, что ему на них никогда не говорить. Однако еще мальчиком он знал, что для него психологически невозможно принять одну из двух вер, чей строгий дух сопровождал его в детстве. Религия осталась для него princesse lointaine[26] или, точнее, родной землей, откуда он сослан навеки. Полузабытые песни этой родины он мог петь только глубоко в сердце, и такую судьбу он делил со многими своими предками по обеим линиям.

---

[26] Примечания: 26
Далекой принцессой *(фр.)*.

Родители Томаса страстно любили Шотландию, и он угодил им, поступив в Эдинбургский университет. Но как только того потребовало продолжение образования, он уехал на юг. Мать умерла, когда Томасу было двадцать с небольшим. Отец дожил до его позднего брака (и больно уязвил сына, сказав, что тот просто «женился на хорошенькой мордашке»), После смерти отца Томас по просьбе Мидж вместе с ней и семилетним Мередитом предпринял маленькое путешествие к собственному прошлому, и эта поездка сильно расстроила его. Они посетили кузенов Маккаскервилей, которые жили в средневековом замке и смотрели на Томаса как на забавную диковинку. Затем Томас один отправился к своему еврейскому дедушке. Тот был еще жив, хотя впал в старческий маразм и содержался в клинике; он не узнал внука и заговорил с ним на идише. С тех пор Томас больше не уезжал севернее границы[27]. Иногда ему казалось, что он ненавидит Шотландию; он не драматизировал подобные чувства, но и радости они не доставляли. С непонятным безразличием Томас наблюдал за тем, как это отчуждение передается сыну. Мередит

[27] Примечания: 27
Имеется в виду граница между Англией и Шотландией.

никогда не упоминал о Шотландии и не просил свозить его туда. В этом неразговорчивом, внимательном, сдержанном, прямо державшем спину ребенке Томас видел самого себя. В школе Мередит поддался мягкому влиянию англиканства, и его свободу в этом отношении родители не ограничивали. Мальчик знал только одного своего деда — вечно пьяного отца Мидж, художника, который недавно умер. Дед походил на бродягу, но Мередит водил с ним дружбу, вызывавшую тщательно скрываемые уколы ревности в сердце родителя.

На выбор Томасом профессии, несомненно, повлияла его странная бесприютность, а также противоречивые и сильные желания, даже страсти, по поводу того, что религия для него близка, но закрыта, как запретный плод. То же самое обстоятельство теперь пробудило в нем интерес к Стюарту Кьюно.

Однако, хотя духовно его выбор предопределила судьба, путь Томаса в психиатрию был таким, что Урсула Брайтуолтон не одобрила бы его, знай она подробности. Томас изучал литературу в Эдинбурге и хотел стать историком искусства, но в угоду своему деду Маккаскервилю получил степень доктора медицины и сделался практи-

кующим врачом, хотя ненавидел эту профессию. Он вернулся на медицинский факультет и начал изучать душевные болезни. В состоянии, близком к нервному срыву, в чем он никогда никому не признавался, Томас прослушал краткий курс дидактического психоанализа[28], якобы как часть программы обучения. Он избегал и побаивался глубокого психоанализа, а «дидактический» укрепил его скептицизм. Таким образом, он официально стал дипломированным специалистом и постарался, используя все свои немалые таланты, удивить окружающих — добился признания, уважения, а вскоре и широкой известности как психиатр. Тем не менее на волне успеха он сам себе казался дилетантом, а в плохие дни — шарлатаном. «Тут нет никакой глубины, надо лишь превратиться в эксперта по части страданий и чувства вины», — ответил он как-то раз одному из своих восторженных почитателей, умножив его восторги. Без сомнения, врачебная практика очень помогла Томасу, особенно в области диагностики и понимания того, чего не следует делать. Он разбирался в лекарствах и электрошоке гораздо больше, чем могла вообразить Урсула.

---

[28] Примечания: 28

Курс обучения психоанализу для приобретения квалификации психоаналитика.

Он знал, кого не сможет вылечить. Еще глубже он осознавал свое неверие: в отличие от коллег он вообще не верил в психоанализ как способ лечения. Томас не считал себя ученым.

Такие мысли не выходили у него из головы. По временам, занимаясь каким-нибудь конкретным пациентом, он чувствовал, что исходит из рискованных предположений. Он не понимал, как осмеливается делать то, что делает. Иногда он спрашивал себя: может быть, то, что он сопротивляется обобщениям, является следствием обычной лени? Когда его дела шли в гору, он переставал сомневаться, однако все равно считал, что применяемые им методы годятся только для него. В конкретных ситуациях возникала конкретная уверенность. Мы учимся умирать путем непрерывного разрушения наших идеальных образов, и причина этого разрушения — не ненависть к самим себе, живущая в нас, а истина, которая находится вне нас; страдания нормальны, они происходят всегда, они должны продолжаться. Когда Томас вот так экстремально удалялся от традиционных представлений о здоровье, он терял уверенность и начинал сомневаться в собственных идеях. Этот секрет он хранил как зеницу ока, больше всех своих секретов. Иногда

он не знал, правильно ли выбрал профессию. Ему и в самом деле казалось, что он помогает людям, но почему порой он требовал от пациентов большего, чем от самого себя? Может быть, лучше передать свои знания другим, а потом уйти на покой и учиться умирать? Он очень ясно видел невозможность и никчемность религиозного решения проблемы. Что касается обучения молодых коллег, то мог ли он заняться этим, когда тщательно скрывал свои методы и только при таком условии был способен работать? Похоже, что-то здесь было не так.

До недавнего времени Томас не говорил никому ни слова, но понемногу начал снимать с себя полномочия, стараясь разделаться — конечно, при соблюдении всех правил — с пациентами, отпустить их или найти им другое «место». Ему был необходим перерыв, возможно длительный. Он хотел поразмыслить, может быть, заняться писательством, покинуть Лондон, пожить за городом, больше бывать одному, и, если все это входило в категорию роскоши, его это не волновало. Томас чувствовал, что ему трудно обходиться без своих пациентов, а это было опасно. Он привязался к мистеру Блиннету, при этом не исключая гипотезы (поскольку был настроен более скептически,

чем представлялось Урсуле), что этот умный и интересный человек в ка-кой-то мере водит за нос своего психиатра. Пора что-то менять.

А теперь еще эти мальчишки в их критическом состоянии. Возможно, это тоже своего рода сигнал. Томас слепо и безоговорочно любил жену и сына; его холодность и якобы придирчивое отношение к Мидж, на которые обратила внимание Урсула, представляли собой инстинктивную попытку отвлечь зависть богов. Он гордился Мидж и не переставал чувствовать, как ему с ней повезло. Если в Мередите он видел себя, то она оставалась для него непроницаемой и блестящей, как произведение искусства, сияющей загадочными лучами. Он любил ее, восхищался ею, на особый манер жалел ее, и эта пылкая жалость пряталась в самой сердцевине любви. Он никогда не забывал замечания своего отца, но перевел его на другой язык. Два мальчика были бесплатной добавкой к его браку, частью приданого жены, двумя дополнительными сыновьями. Как отверженному и одинокому ребенку, ему не хватало семьи. Он тосковал по своим родителям, каждый день думал о них. Он любил Эдварда и Стюарта, но тайной любовью и несколько отстраненно, даже с любопытством. К собственной жене и сыну он

ничего такого не испытывал — они были абсолютом. Что касается «мальчиков», то с ними Томас испытывал удовольствие, словно глядел на игру животных, и его страх за них был сродни страху за любимого домашнего зверька. Каждый по-своему, они были заложниками смерти. Может быть, Томасу суждено спасти их? Ведь оба они сразу же стали его пациентами. Томас не собирался отпускать Стюарта, пока тот не откроет ему пару своих секретов. Он почти ждал, когда же Стюарт попадет в беду. Во всем этом он видел отголосок старого конфликта между святостью и магией — явлениями похожими, но противоположными. Стюарт словно стал для него талисманом, символом смерти, объектом поклонения и зависти, а также причиной мучительной тревоги; именно Стюарт, такой бессодержательный и для кого-то непривлекательный (например, для Гарри), вызывающий бешенство. Эдвард потерял всякую ценность, а Стюарт был переполнен ею. Томасу он казался, с одной стороны, чрезвычайно материальным, а с другой — лишенным цвета, как альбинос. Будет ли это развиваться и продолжаться? Проблемы Эдварда были проще, но насущнее. Он вознамерился уничтожить мир, как и предсказывал Томас, путем бегства из

здешней грязи в чистоту какого-то иного места, и это бегство было для него образом смерти. Его цель ужасала. Эдвард бежал в самое опасное из всех мест, и Томас не останавливал его. Неужели он отправлял любимое дитя прямым ходом в преисподнюю?

— Я думаю, ты недостаточно беспокоишься об Эдварде, — сказала Мидж.

— Что проку от моего беспокойства? — отозвался Гарри. — Я мог бы расстраиваться от этого кошмара, но зачем? Это не поможет ни мне, ни ему. Наоборот. Вы все толпитесь вокруг него и долдоните: «Ах, какой ужас!» А нужно внушить ему, что это никакой не ужас, что это обычное дело, что такое случается со всеми. Нужно оставить его в покое, а не лезть со своим вниманием. Ему пора выйти из этого состояния, нарастить целительную кожу безразличия, забыть случившееся. Если хотя бы я все забуду, это пойдет ему на пользу. Так или иначе, теперь за него взялся Томас, и он будет любить Томаса. Может быть, уже любит. Томас не станет говорить, что он тут ни при чем, он заставит Эдварда испытывать чувство вины. Боже мой, меня тошнит от этой мысли.

— У Томаса романтическое отношение к смерти. Он хочет, чтобы люди смотрели фактам в

лицо, даже если эти факты их убивают.

— Томас — вуайерист, он живет несчастьями других. Но Эдвард уцелеет. У него есть то, чего нет у нас, и он выздоровеет.

— И что же это?

— Молодость.

Мидж несколько мгновений взвешивала эту мысль. Слово было произнесено с неожиданной колючей горечью, которая все чаще проявлялась у ее любовника. Мидж вздохнула.

— А разве у нас ее нет? Да, пожалуй, нет.

— Не плачь по ней.

— Я не плачу. Просто хочу думать, что впереди у нас бесконечность.

— У нас впереди бесконечность, моя королева, моя Клеопатра. Кто живет настоящим, живет вечно.

— О, если бы!

— У нас золотое время, а не обычное невзрачное.

— Да, но мы окружены невзрачным временем.

Так оно и было на самом деле. Их большой обман, тянувшийся уже два года, походил на длинную математическую формулу, на мозаику из дней, часов и минут с меняющимися и неизменными узорами. Они словно превратились в

астрологов и психиатров. Все были в безопасности: Мередит — в школе, Томас — в клинике, куда Мидж позвонила, чтобы удостовериться, а она и Гарри — в спальне дома в Фулеме. «В нашей спальне», как говорил Гарри.

— Мы ведем невозможный образ жизни, — сказала Мидж. — Но это доказывает, что невозможный образ жизни вести возможно!

— Невозможные ситуации возможны, но не обязательны.

— Не надо меня подкалывать. Жаль, что нам нельзя не прятаться здесь.

— И мне тоже.

— Дело не в том, что я боюсь, как бы Томас не узнал…

— Я полагаю, ты поймешь, если он узнает.

— Конечно.

Они посмотрели друг на друга. Никто из них не был ни в чем уверен. Томас способен на что угодно. Возможно, и Мидж тоже. Ложь так заразительна. Иногда Гарри спрашивал себя: а вдруг Томас уже давно знает, вдруг Мидж сразу ему все рассказала и эта связь прощена и санкционирована? Может быть, они договорились об этом. Но на самом деле Гарри так не считал.

— Извини, — произнес он. — Теперь, когда в

моем доме живут два этих несчастных мальчика, находиться там нельзя. Они могут остаться навсегда. Я хочу купить для нас эту квартирку.

— Нет…

— Ты думаешь, это шаг. Ну да, это шаг. Но подумай, сколько шагов мы уже сделали.

— Это стоит кучу денег. К тому же любовное гнездышко…

— Ну да, это любовное гнездышко! А почему бы нам не завести его? К тому же я хочу готовить для тебя. То, что мы делаем, не просто небезопасно. Это очень дурной тон.

— О… дурной тон!

— Так или иначе, мы преступники, обагрившие себя кровью… Выпей виски.

— Спасибо. Не хочу.

— Ты же не хочешь, чтобы Томас догадался обо всем по твоим иудиным поцелуям!

— Прекрати! О, если бы, если бы, если бы…

— Если бы все было по-другому. Но все так, как есть. Ты должна не говорить «о, если бы», а проявить волю. Жаль, что ты не дождалась меня, а вышла за Томаса. Господи, ну почему ты не подождала!

— Жаль, что ты не заметил меня, когда умерла Хлоя.

— Ну ладно, хватит!

Гарри, уже одетый, но в расстегнутой на груди рубашке, нетерпеливо ходил по комнате со стаканом виски в руке, потом остановился у окна и принялся смотреть, как дождь умывает крыши и колпаки над дымовыми трубами. Мидж сидела на кровати и смотрела на него. На ней был пурпурно-красный шелковый халат с широченными рукавами — Гарри купил его специально для Мидж, чтобы она надевала его после занятий любовью. Он привозил халат на их свидания, а потом забирал с собой.

— Мы тогда не были готовы друг к другу, — сказала Мидж. — И все равно это могло случиться. Я не слишком ладила с Хлоей, она меня никогда не приглашала и не хотела видеть, я не жила в Лондоне. И все же мы с тобой буквально смотрели друг на друга. Конечно, вид у меня был никакой. Я тогда еще не создала себя. Тебя создали твой отец, твое детство, твоя школа, твое образование, твои деньги… мне же пришлось делать себя из ничего. Может быть, поэтому я так устала.

— Верно, — согласился Гарри, — ты была невидима. Какая-то младшая сестра из Кента. А когда Хлоя умерла, я был сам не свой. Бедная Хлоя, она, наверное, стала одним из последних людей в

нашем мире, умерших от туберкулеза. Она была… такая красивая, такая хрупкая, с огромными глазами…

— А я — здоровая и толстая.

— Не завидуй!

— Это ревность. Она была твоей женой.

— А что тебе мешает стать моей женой?

— Когда она умерла, я занималась сотворением себя.

— И твои честолюбивые устремления не простирались дальше карьеры манекенщицы!

— Не язви. Ты не знаешь, какой долгий путь мне пришлось пройти. Хлоя и отец вечно говорили мне, что я бесталанна. Но когда я стала моделью, обо мне узнала вся Англия. А Хлою не знал никто.

— Мидж, прекрати!

— Я служила в офисе…

— А потом облачилась в свою красоту, как в платье. Кто первым сказал тебе, что ты красива?

— Джесс Бэлтрам.

— Но ты никогда с ним не встречалась! — воскликнул Гарри. — Ты говорила, что Хлоя как-то раз взяла тебя в Сигард и оставила в машине!

— Нет… я с ним встречалась… — сказала Мидж. — Я тебе об этом никогда не рассказывала.

Может, и теперь не стоило. Некоторые воспоминания похожи на счастливые талисманы, о них никому нельзя рассказывать, иначе они потеряют силу.

— Расскажи, расскажи!

— Хлоя оставила меня в машине, как собачонку. Я в то время еще училась в школе. Она была натурщицей Джесса и всегда говорила, что она его ученица. Тогда это, наверное, только начиналось. Она сказала, что скоро вернется, но пропала на сто лет, и я пошла в дом. Очень странный дом.

— И ты познакомилась с Джессом?

— Хлоя сказала, что я могу остаться на ланч. Со мной вообще никто не говорил. Я сидела за длинным столом. Там были какие-то девушки и молодые мужчины — я решила, что они студенты, — и несколько детей. Я даже не поняла, кто из них миссис Бэлтрам. Все были красивые и нарядные.

— А Джесс?

— Он сидел во главе стола. У него был узкий нос, острый подбородок и копна темных волос, как петушиный гребень. Все громко говорили, на меня не обращали внимания, а я была испугана и чувствовала себя несчастной. Потом Джесс вдруг указал на меня ножом и спросил: «Кто эта

девочка?» И все замолчали.

— Ну… а потом?

— Ну, кто-то ответил, что я сестра Хлои, и Джесс еще несколько мгновений смотрел на меня. Он не улыбнулся. Потом он опять принялся за еду, и болтовня возобновилась. А после ланча мы уехали.

— И больше ты его не видела? Ты с ним говорила?

— Нет. Больше не видела.

— Но ты сказала, что он назвал тебя красивой.

— Он этого не говорил, — уточнила Мидж, — но я знаю: он так подумал. Он увидел меня в истинном свете.

— Ты заставляешь меня ревновать, — сказал Гарри. — Тот взгляд Джесса, возможно, пробудил твою сексуальность. Вот почему ты считаешь его талисманом.

— Может быть.

— Уверен, ты тогда не была красавицей. Возможно, он увидел, что ты похожа на Хлою. Поэтому он тебя заметил.

— Тебе нравится думать, будто меня как бы не было, пока ты меня не разглядел!

— Конечно. Боже мой, я столько раз мысленно спорил с этим человеком! С меня хватит.

— Я бы хотела еще раз его увидеть. Я бы хотела еще раз увидеть Сигард.

— Вряд ли кого-то из нас туда пригласят. Говорю об этом с радостью, — заявил Гарри. — Я к этому дому никогда не приближаюсь и тебе запрещаю.

Мидж улыбнулась. Ей нравилось, когда Гарри утверждал свою власть над нею.

— Он уже старик, — продолжал Гарри. — Он поздно женился. До женитьбы у него были сотни девушек. И после, наверное, не меньше.

— Вовсе не старик, он все еще работает. Я читала о нем в журнале.

— Старик, старик. Что ж, он увидел больше меня. Он смотрел на тебя только из-за Хлои.

— Я тогда была не очень похожа на нее. Сейчас — гораздо больше. Он видел будущее. Он был выдающийся, властный и подавляющий мужчина. Каждый в той комнате чувствовал его силу. Мне он показался каким-то фантастическим.

— Ты хочешь сказать — сексуальным. Я испытываю неприязнь к властным и подавляющим мужчинам. Да, верно, я никогда не думал, что ты похожа на сестру. Но теперь ты действительно иногда очень напоминаешь ее.

— Знаю, я в твоей жизни — всего лишь ее тень, замена, второй сорт, — сказала Мидж, но он не

поверил, что она всерьез.

— Не провоцируй меня! Ты на нее абсолютно не похожа, ты совершенно иная.

— Да, но, когда я была молодой, она была всем, а я — ничем.

— Ну хорошо. Зато теперь ты — все, а она — ничто. Ее больше нет ни в моем сердце, ни в моей жизни. Я не могу любить призрак, я люблю жизнь, а не смерть, плоть, а не прах. Господи боже, да я о Терезе думаю больше, чем о Хлое! Да будет земля ей пухом, она мертва, ее словно и не было никогда. Удовольствуйся этим и оставь ее в покое.

— Я так и делаю, правда, — ответила Мидж, запахивая свой шелковый халат.

Они замолчали. Оба боялись произнести какое-то лишнее слово, которое вдруг, пусть лишь на несколько мгновений (ведь времени у них так мало), разъединит их взгляды, суждения и возможные поступки. Они были здесь (Мидж в красном халате и Гарри в распахнутой рубашке, с порослью светлых волос, украшавшей его грудь) как король и королева, блистательные и величественные в ясном свете спальни, несмотря на дождливую погоду.

— Я хочу провести выходные с тобой, — сказал

Гарри. — Непременно.

— Следующий шаг.

— Это нелепо: мы любим друг друга уже два года, но ни разу не провели вместе хотя бы пару дней и ночей подряд. Когда Томас отправится на конференцию в Женеву, мы найдем отель…

— Это слишком опасно.

— К черту опасности! Я жажду тебя, я измучен этим чувством, я хочу тебя навсегда… а пока я прошу о такой малости. Ты сводишь меня с ума! Плевать на опасность.

— Нет, не плевать, — возразила Мидж. — Ты согласился, что писем мы писать не должны. Ты предложил мне выдумать старых друзей, с которыми я вроде бы хожу обедать…

— Да, но так было вначале. Два года мы приходили в себя после большого взрыва, после первого потрясения. Наши отношения развивались, пока мы не поняли, что это навсегда…

— Сейчас это навсегда, но мы можем потерять друг друга…

— Мидж, дорогая, мы не можем потерять друг друга. Если все раскроется, я увезу тебя отсюда. Я никогда не позволю тебе вернуться назад к Томасу и оставить меня — никогда! Так что выброси эту мысль из головы!

— Не сердись, — проговорила Мидж, глядя на него со страдальческим выражением лица. — Мне труднее. Мы не можем решить проблему сами, не можем планировать что-то или действовать наобум. Все решит судьба и время. Найдется выход, мы получим знак…

— Хорошо, но до тех пор, пока мы не проиграли! Я бы поторопил судьбу и время.

— Но ведь время у нас хорошее. Прекрасное время, вечное настоящее, как ты сказал. Каждый раз мы расстаемся в уверенности, что встретимся снова, и с нетерпением ждем будущего… Я счастлива оттого, что жду будущего…

— Милая моя, не уходи от темы. Ты намеренно избегаешь ее.

— Даже если у нас совсем нет будущего, а лишь настоящее, когда мы живем тихо и никому не причиняем вреда…

— Замолчи!

— Я же не говорю, что так случится. Я о том, что ни к чему торопиться.

— Ты сказала, что, когда Мередит будет учиться в интернате, мы сможем встречаться чаще. Он уезжает осенью. И он почти взрослый. Разве это не знак?

— Он отправляется в интернат, — сказала

Мидж, — а Томас думает о том, чтобы покинуть Лондон и жить за городом!

— И отказаться от пациентов, и расстаться со своей властью? Он этого никогда не сделает. И почему нас должны волновать его планы?! Мы созданы для счастья, а он — нет, он из другого племени. В нем говорит потомственный раввин с эдинбургским акцентом. Я раньше думал, что ты вышла за Томаса ради безопасности и положения в обществе А еще потому, что он пожилой. А еще потому, что тебе хотелось расквитаться с Хлоей. Теперь я вижу, что ты вышла за него ради его власти.

Мидж отмахнулась от его слов, но ничего не ответила. Теперь она успокоилась и смотрела на своего любовника большими нежными, любящими глазами.

— Мидж, любимая моя, мой ангел, я так тебя люблю. Я ни на секунду не забываю твои поцелуи, твои прикосновения, они держат меня, как сети. Я чуть не потерял сознание от желания во время этого ужина, а когда я сижу дома один и думаю о тебе, я готов рвать на себе волосы. Ты сказала «надо ждать», и мы ждали, а теперь мы должны подумать, как получить свое, как воздать должное нашей любви, соединиться по-настоящему и

быть счастливыми… Ах, это счастье, Мидж, оно возможно, оно близко, нужно только протянуть руку.

Мидж отвернулась, и на ее лице промелькнуло выражение сдерживаемого раздражения. Гарри знал его и боялся. Она пальцами разгладила щеки и лоб, чтобы успокоиться.

— Мы когда-то решили, что, если Томас все узнает, нам придется расстаться.

— Ты сказала об этом только раз, на второй день, но даже тогда в это не верила!

— Ты говорил, что это бесценный договор, и, если мы сможем иметь то, что у нас есть сейчас, и принадлежать друг другу, это уже рай.

— Я лишь хотел убедить тебя, и ты это прекрасно понимаешь.

— Я просто думала, что тебе нравится таинственность. Ты когда-то сказал: замечательно одно то, что нам все сходит с рук.

— Не помню этих слов, но если я так сказал, то я говорил как вульгарный дурак. И я никогда так не думал. Зачем ты со мной споришь? Зачем вспоминаешь эти дурные и глупые возражения…

— Возможно, я хочу, чтобы ты их отверг. Хочу услышать от тебя, что все будет хорошо.

— Моя дорогая, все будет хорошо. Доверься мне,

дай мне довести дело до конца. Ты все время говоришь об опасностях. Да, Томас может узнать о наших отношениях, поэтому мы должны быть готовы. Но теперь мы как раз вполне способны подготовиться. Пришло время набраться смелости и понять, что нам необходимо соединиться и быть вместе открыто. Потом мы оглянемся назад и увидим, что были безумцами, когда жили, как пара испуганных зверьков в норе! Ты знаешь, как мне это тяжело. Ты беспокоишься о Мередите, но с ним все будет в порядке. Он такой спокойный взрослый ребенок, и он любит меня. Я думаю, он любит меня больше, чем Томаса. Ты говорила, что я — его герой. Томас холоден как рыба, он, возможно, получит удовольствие, изображая себя жертвой! Он странный человек, таинственный и скрытный, и при таком чувстве собственной значимости чувство юмора у него явно отсутствует. К тому же он стареет, ты должна это чувствовать. Любовь старика выдохлась. Ты говоришь, что он ненавидит светскую жизнь, что хочет сидеть дома и читать книги, что он не разговаривает с тобой. Мы все время разговариваем, мы ладим друг с другом, мы существуем благодаря друг другу, мы делаем друг друга более живыми. А с ним ты никогда не ладила — только делала вид.

Ты восхищалась им, почитала его. А он никогда не воспринимал тебя как реального человека, он никогда не знал тебя. Он высокомерен, он тобою руководит, он тебя жалеет…

— Я не вынесу скандала, — произнесла Мидж, сохранявшая отсутствующий вид во время речи Гарри.

— Это ужасный ответ. Отказ от великого, идеального счастья из страха перед скандалом! В наши дни все так делают, и никаких тебе скандалов. Мы должны жить согласно нашим эмоциям. Такая любовь, как наша, самодостаточна. Поверь в нее, отдайся на ее волю. Такая любовь — редкость, чудо на земле.

— Да, я знаю, мой дорогой.

— Тогда объясни, почему ты предпочитаешь подлинному фальшивое? Это лицемерие, поддержание приличий, дань традициям — так можно убить всю настоящую любовь, какая есть в мире. Наши отношения настоящие, цельные, реальные, а то, что нам противостоит, абстрактно и ложно. Мы должны слушать свое сердце. В этом истина всего нашего существования. Секс — вот настоящее, Мидж. Ты это признала, и мы это доказали.

— Да. Ты не веришь, что мы должны стараться быть хорошими, как считает Стюарт.

— Ты шутишь. То, чего хочет Стюарт, не просто фальшиво, но и бессмысленно. Это нелепый обман. Думать о нравственности с такой обстоятельностью невозможно. Жизнь — штука цельная, и ее нужно прожить во всей полноте, а абстракции, хорошие или плохие, — это фикции. Мы должны жить в своей собственной, конкретной и осмысленной истине, и она должна включать в себя наши страстные желания, то, что удовлетворяет нас и дает нам радость. Вот что такое хорошая жизнь, не все на это способны, не всем хватает мужества. Мы способны, и у нас есть мужество.

— Я, пожалуй, оденусь, — сказала Мидж.

Она посмотрела на часы, присела в поисках туфель, потом сбросила шелковый халат и нашла нижнюю юбку. Гарри застонал. Он осторожно поставил стакан с виски на комод, а она продолжила:

— Да, я знаю. Но я… ты говорил про сети, которые держат тебя. А то, в чем живу я, называется ложью. Куда ни протяну руку, натыкаюсь на сеть лжи.

— Ну, мне ты можешь этого не рассказывать! Ты знаешь, чего хочу я — открытости, правды и тебя, полностью и навсегда! Ты говоришь, что

сейчас все замечательно. Но представь, каково оно будет без лжи. Я не желаю ждать и бояться, что о нашей связи станет известно. Я не хочу этого, мне это претит, ты заставляешь меня делать то, что противоречит моей природе. Я это ненавижу, я чувствую себя униженным и деморализованным, я хочу быть самим собой, хочу быть с тобой открыто, не таясь. А ты хочешь всего сразу — любить меня, наслаждаться со мной и мучить меня абстрактной нравственностью!

— Извини…

— А ведь ты сама как-то раз сказала: «Мой девиз: все позволено».

— Я помню. Может быть, я произнесла твой девиз, чтобы тебе было приятно.

— Ты ко мне несправедлива.

— Я знаю, у тебя есть твоя философия.

— Мидж, ты меня с ума сводишь! В чем дело? Ты сказала, что, когда ты со мной, Томас перестает существовать, а значит, тебе только и нужно, что все время быть со мной.

— Я видела дурной сон.

— Ты сказала, что это единственный настоящий, независимый, плодотворный выбор в твоей жизни. Так почему же не пойти до конца? Почему ты все время сопротивляешься? Ты знаешь, я тебя

не оставлю, ты навсегда в моем сердце, что бы ты ни делала. Так неужели это все для того, чтобы досадить мне?

— Я видела человека на белом коне. Он с таким укором посмотрел на меня, будто хотел убить взглядом. Заглянул мне в глаза, а потом умчался. Мне и раньше снился этот сон.

— Спроси у мужа, что это значит. Может, это он был на коне. Он — причина всех наших бед!

— Прежде он тебе нравился, ты им восхищался.

— Так и есть. Думаешь, мне нравится обманывать и невольно проклинать его? У тебя дар говорить вещи, одновременно смешные и мучительные.

— Не могу понять, почему ты меня любишь.

— Боже мой! Вся моя жизнь зависит от твоей любви. Я люблю тебя с такой нежностью и глубиной, будто мы счастливо женаты сто лет.

— Вот и хорошо.

— Мидж!

— Я знаю, мой дорогой. Но я не могу слышать, как ты без конца повторяешь это. Прости мое… Прости меня. Тебе пора домой. Смотри, дождь перестал. Когда ты уйдешь, я поплачу, потом наведу порядок в комнате, потом накрашу ногти,

обложусь косметикой и сделаю себе новое лицо. Дай мне твою руку, бедную обожженную руку. Я тебе не сделаю больно.

— Да что там моя бедная обожженная рука… Когда я ухожу от тебя — вот где настоящая боль. Целуй меня, целуй. Как мало в этом мире поцелуев. Накорми меня ими, или я умру от любви.

— Как ты прекрасен, мой милый зверь, моя любовь… Гарри во славе!

— Кричи: «Господь за Гарри, Англию и святого Георга!»[29]

— Ну ладно. Не знаю, смогу ли я помочь Эдварду. Очень хотелось бы.

— Оставь его в покое. У него и так неприятностей по горло, не хватает еще влюбиться в тебя!

«Господи, ну почему мы должны так страдать?» — думал Гарри.

Он шел по улице, высоко держа свою красивую светловолосую голову. От него веяло такой спокойной уверенностью и достоинством, что люди оборачивались ему вслед. Он был похож на посла.

«Почему мы не можем быть счастливы, как того заслуживаем, когда счастье так близко — рукой

---

[29] Примечания: 29
Шекспир У. Генрих V. Акт III, сцена 1.

подать? Я беззаветно люблю ее, она беззаветно любит меня, но я пребываю в аду, и она пребывает в аду. Почему все должно быть так? Она сильная, и это безумная сила, когда она обращает ее против меня. Почему я должен играть эту роль, ненавистную мне: сидеть за столом у Томаса и отводить взгляд от его жены?»

Когда Гарри спорил с Мидж, он прекрасно осознавал, что с преднамеренным и дальновидным коварством принижает Томаса. Томас, мол, стар и холоден, вечно мрачен, скучен. Гарри ястребиным глазом ловил малейшие признаки недовольства Мидж мужем, ее неприязнь к нему; Томас был причиной ее бед и препятствием на пути к счастью. Он оторвет Мидж от Томаса, ловко и терпеливо распутает узелки, привязывающие ее к чуждому миру, изобретет для нее прошлое, где Томаса не существует. Чтобы она могла порвать с мужем, ей потребуется презрение, даже ненависть к нему. По меньшей мере, эти чувства будут полезны. К этой ужасной истине Гарри пытался относиться спокойно. «Значит, я способен на жестокость, — думал он, — даже на предательство». Как часто бывало, он стал размышлять над тем, что сделал бы Томас, если бы узнал… Точнее, поправил он себя, что сделает Томас, когда узнает?

Томас немного с приветом. Кто он? Свирепый примитивный шотландец с кинжалом? Еврей-мазохист? Свирепый, мстительный, злокозненный еврей? С Мидж Гарри всегда представлял себе Томаса как слабого, доброго человека, готового смиренно, может быть, даже с облегчением принять fait accompli[30]. Мидж побаивалась мужа. Они никогда не говорили об этом, и Гарри тщательно скрывал, что сам побаивается Томаса. Непредсказуемый, опасный человек, которого — что было хуже всего — Гарри любил и которым восхищался. Иногда он думал, что это часть его наказания, что он должен смириться с такой несообразностью и воздерживаться от похвал в адрес Томаса в разговорах со своей возлюбленной. Так он двигался, словно танцор, между заверениями в том, что их тайная жизнь должна продолжаться, и предвкушением неизбежной счастливой развязки, освобождения в блаженстве и истине; между успокаивающими Мидж словами о радостях настоящего и соблазном, подстреканием, подталкиванием ее в объятия будущего. Когда он наконец раскроет карты и умчит Мидж на тройке? Когда же настанет этот

---

[30] Примечания: 30
Свершившийся факт *(фр.)*.

миг и он вынудить ее стать его женой, прибегнув к угрозе (если все остальное не даст результатов) бросить ее? Пока еще рано. Но давление необходимо поддерживать. Совместные выходные. Любовное гнездышко. Шаг за шагом, и каждый шаг неизбежен.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
СИГАРД

«Проезд только в Сигард» — неразборчивый знак указывал на разбитую проселочную дорогу, около которого рейсовый автобус высадил Эдварда Бэлтрама.

«Я должен ехать» — это был крик души Эдварда, а потом его одолели сомнения. После потрясения на сеансе и разговора с Томасом идея отъезда влекла его, казалась манящей звездой. Он думал: «Я поеду к отцу, я исповедуюсь ему, и пусть он осудит меня». Но за пару дней его энтузиазм поутих, а затея потеряла притягательность. Не то чтобы Эдвард испугался (хотя он действительно побаивался), но поездка уже казалась ему бесполезной и бессмысленной, как и все в его несчастной жизни. Зачем возиться, тащиться туда, где он ничего не значит, где его не хотят видеть, откуда его могут просто выгнать? И как ему все осуществить? Вряд ли можно явиться без приглашения, а написать письмо для него немыслимо. Он уже жалел, что рассказал Томасу о сеансе, — после этого случившееся стало более реальным. Теперь

случившееся представлялось ему частью какого-то тупого безумия, присущего его несчастной жизни; словно под кожу ему загнали комок грязного тряпья. Это были подленькие, гаденькие галлюцинации, разновидность умственной грязи, исторгнутой из души. Эдвард снова валялся в кровати, читал триллеры и бродил по Лондону, повсюду встречая лишь глаза уродливых людей и непристойные сцены. Даже собаки проявляли к нему враждебность. Они его чуяли. Поначалу он боялся, что тот сеанс будет преследовать его, предлагая новые жуткие впечатления. Но вскоре он начал забывать об этом и вернулся к привычному бесконечному воссозданию своей боли.

Но однажды утром Эдвард с изумлением получил следующее письмо:

Сигард

Мой дорогой Эдвард!

Если позволишь мне так тебя называть. Мы с мужем думали о тебе и хотели бы тебя видеть. Не мог бы ты оказать нам любезность и посетить нас? Мы будем рады, если ты приедешь хотя бы на несколько дней, чтобы возобновить знакомство. Это доставит нам огромное удовольствие. Пожалуйста, напиши, сможешь ли ты приехать в любое ближайшее время — нас

все устроит.

Искренне твоя

Мэй Бэлтрам.

P. S. Мы прочитали в газете о твоем печальном случае.

На оборотной стороне листа была нарисована карта, показывающая путь до Сигарда от автобусной остановки. Она сопровождалась замечанием:

Боюсь, после недавних дождей нам не удастся встретить тебя на машине, но дай нам знать, когда приблизительно можно тебя ожидать, и мы встретим тебя у дверей дома.

Эдвард сразу же ответил, что приедет. Он написал Томасу записку, где сообщил о своем отъезде и попросил никому не говорить об этом. Потом, не сказав ни слова Стюарту и Гарри, собрал небольшую сумку и исчез. И вот маленький душный автобус высадил его на дороге, звук двигателя замер вдали, и ландшафт в холодном свете клонящегося к вечеру пасмурного дня опустел и погрузился в тишину.

Окружающий пейзаж не казался Эдварду привлекательным. Будучи городским жителем, он инстинктивно искал «очарования сельских про-

сторов» — и не находил. Местность была слишком ровной и плоской. Недавний дождь, о котором писала миссис Бэлтрам, превратил дорогу в слякотный ручей, вьющийся между затопленных полей, где всходила какая-то зеленая поросль. Наполненная водой канава с одной стороны дороги отражала слабый свет. Наверху в огромном небе — такого бездонного неба Эдвард никогда еще не видел — восточный ветер неторопливо гнал бурые облака, их движение и меняющийся цвет контрастировали с унылой однообразной землей. В атласе, куда Эдвард наспех заглянул перед отъездом из Лондона, говорилось о близости моря, но этого не было заметно. Несколько одиноких деревьев кое-как разбавляли сей скорбный простор без единого признака человеческого жилья. Судя по схеме миссис Бэлтрам, ему предстояла прогулка на расстояние около двух миль. Как только Эдвард сошел с асфальта, его городские туфли увязли в грязи. Он зашагал вперед, борясь со встречным ветром.

Прощаясь с Эдвардом, Томас просил его писать. А еще он сказал: «Слушай, если там будет ужасно, сразу же возвращайся ко мне». Эдвард не пытался вообразить, как «там» может быть, он думал лишь о том, что должен ехать. Поздно размышлять. Его

мыслительные способности были парализованы наводящим ужас ходом времени, что сопутствует приближению критического, но неизбежного события — экзамена, приговора врача, известий с места катастрофы. Его сопровождали привычные спутники, приносившие почти облегчение: его скорбь, его рана, ставшая частью тела, тьма внутри, чувство усталости и бессмысленности действий, когда он вытаскивал ногу из хлюпающей грязи. Бодрящее ощущение своей судьбы, которое он мимолетно чувствовал в присутствии Томаса и еще некоторое время после, оставило его. «Я встану и пойду к отцу своему…» Сигард прежде казался важной частью провидения или, по меньшей мере, чем-то новым — возможно, убежищем. Письмо миссис Бэлтрам усилило руку судьбы, оно сделало затею Эдварда более реальной, но одновременно более пугающей, а потому неуместной. Но мог ли он в своей нынешней ситуации бояться чего-то еще? Не откликнуться на зов судьбы было немыслимо, и Эдвард не стал выстраивать связи между этим призывом и своим болезненным состоянием. Когда он сказал Томасу, что «все взаимосвязано», это означало лишь его одержимость единственной мыслью.

И вот теперь ему предстояла встреча с отцом

— громадной темной фигурой, спрятанной за завесой будущего, к которому он с каждым шагом подходил все ближе. Миссис Бэлтрам написала от собственного имени и от имени мужа, она пригласила Эдварда, выразила желание увидеть его. Но исходила ли она из общих соображений? Может быть, миссис Бэлтрам прочла «о том, что случилось», поддалась импульсу и написала письмо, даже не посоветовавшись с мужем или заранее решив, что он согласится? А может, она написала его из какого-то нездорового ленивого любопытства — ведь катастрофы всегда привлекают публику, во все глаза рассматривающую пострадавших. В свете туманных воспоминаний о мачехе такой вариант представлялся более вероятным. От нее можно было ожидать подобной холодности; от нее, но не от отца. Само слово «мачеха», впервые пришедшее ему на ум, звучало довольно неприятно. Что касается отца, то Эдварду не представлялось возможным, чтобы этот почтенный человек снизошел до любопытства. В его представлении отец был выше таких мелочей. Хорошо это или плохо? Хотел ли он, чтобы отец испытывал к нему какие-то чувства? А если, поглощенный своей работой, он вовсе не интересуется сыном, будет ли Эдвард разочарован?

Да, конечно. Однако такой вариант представлялся более безопасным. Впрочем, понять, что тут безопаснее, было трудно. Предположим, отец действительно хотел его увидеть и надеялся найти в нем нечто особенное. Возможно, когда газеты упомянули имя Эдварда в неприятном, даже уничижительном контексте, это стало предлогом, чтобы вспомнить о ребенке, который прежде казался потерянным навсегда? Что ж, скоро он обо всем узнает.

То, что это должно произойти очень скоро, теперь вызывало у него ужас. Эдвард медленно шел по дороге к Сигарду, каждый шаг по грязи давался ему с трудом. «Проезд только в Сигард». Ветер крепчал, и Эдвард замерз в своем плаще. Канава с водой ушла куда-то в сторону, в поросшую тростником болотистую глушь. Когда рассеивались облака, лучи вечернего солнца касались лужиц и прудов. По другую сторону на небольшом возвышении, которое и холмом-то трудно было назвать, виднелись какие-то заросли, которые Эдвард сначала принял за рощицу. Небо вскоре расчистилось, явив не синеву, а какую-то бледную зелень без света, тогда как горизонт был пронизан пылающими золотыми языками. Внимание Эдварда теперь привлек-

ло нечто, поднимавшееся в небо над леском: большая темная масса, напоминавшая быстро летящий воздушный шар. Она постоянно меняла форму, сжималась, складывалась, изменяла направление и наконец, едва слышно трепеща крыльями, прошла прямо над его головой. Наблюдая за этой исчезающей формой, он понял, как потемнело все вокруг, хотя небо еще светилось, и какая тишина повисла над землей. Он прислушался к тишине и разобрал слабый шорох вдали — возможно, журчание реки. Вдоль дороги, уже почти неразличимой, стоял ряд невысоких корявых деревьев с белесыми цветами и росли кусты шиповника, на которых еще виднелись почерневшие ягоды. Никаких признаков жилья по-прежнему не наблюдалось, и Эдвард начал думать, что пропустил нужный поворот, развилку, и сейчас направляется в бескрайнюю топь, где сгинет в темноте. Он прибавил шаг, оглядываясь и стараясь идти быстрее. Окружающий пейзаж обрел какую-то мерцающую эфемерность, Эдвард почти ничего не видел в сгустившихся сумерках. Над болотом повисли клочья тумана. Потом, словно отдернули невидимый занавес, впереди возник дом. Точнее, это было массивное сооружение, контуры которого прочерчивались на

гаснущем небе, — неопределенное строение с башней в одном конце. Поначалу Эдварду показалось, что он видит перед собой на плоской земле громаду собора или корабля. Он почти бежал, эмоции переполняли его, а время воспринималось, как край пропасти, куда он сейчас упадет, или окно, куда он вот-вот шагнет. Перед ним живо возник образ Марка, призрак, напоминающий о его проклятии; и Эдвард внезапно понял: если здесь и есть что-то страшное, так это он сам, фигура, возникающая из темноты и несущая в этот одинокий тихий дом катастрофу или мор.

Дом уже приблизился и прояснился, сумеречная дымка редела, словно наступало утро, а не вечер. Эдвард вспомнил, что когда-то давно видел фотографии Сигарда в ка-ком-то журнале или газете, но тот образ стерся его из памяти. Дом представлял собой действительно странное и очень большое сооружение. Это было длинное высокое здание с наклонной крышей, почти без окон, похожее на вокзал, с пристройкой в виде особняка в стиле восемнадцатого века. Пристройка и главное здание соединялись высокой стеной с карнизом. С другой стороны торчала башня — мощный шестиугольник из бетона с хаотично разбросанными маленькими окнами. Эдвард

почувствовал, что ноги его уже не идут по дорожной слякоти: он ступил на мощеную дорожку, по обе стороны от которой росли деревья. Они образовывали широкую аллею, не загораживая вид на дом, а обрамляя его. В середине большого здания он увидел большую открытую дверь и свет, горевший внутри. Потом около этой двери, у едва различимой в темноте стены, он заметил трех женщин, напомнивших ему барельеф или статуи.

Эдвард на миг остановился и двинулся дальше. Женщины еще несколько мгновений оставались неподвижны, а потом все вместе двинулись ему навстречу. Когда они вот так неожиданно предстали перед ним в свете, льющемся из открытых дверей, Эдвард сразу же оценил их красоту, молодость и сходство друг с другом. Они были наряжены в цветастые платья с пышными юбками до щиколоток, утянутые в талии, на их шеях блестели ожерелья, а их длинные волосы были уложены тяжелыми коронами. Они молча, как будто робея, улыбались Эдварду. Он почувствовал, что он должен заговорить первым, но сумел произнести лишь какое-то неопределенное восклицание.

— Эдвард, добро пожаловать в Сигард.

К нему протянулась рука и еще одна. Эдвард пожал обе, а потом третью.

— Просим, просим, — сказал другой голос. — На улице прохладно.

— Добро пожаловать в Сигард, — повторил третий голос.

— Надеюсь, дорога оказалась не слишком неприятной?

— Нет-нет, — ответил Эдвард. — Ничуть. Я отлично прогулялся, только там ужасно… довольно грязно, а мои туфли для этого совсем не годятся.

Позднее он вспоминал свои первые слова как наивные и глупые. Однако они помогли. Он последовал за одной из женщин в дверь, две другие вошли за ними. Кто-то прикоснулся к его плащу.

Главное здание, куда он вошел, и в самом деле напоминало вокзал или очень большой сарай с массивными пересекающимися деревянными балками под потолком. Когда дверь закрылась, Эдвард принялся искать глазами встречающую его мужскую фигуру, но не нашел. Он увидел несколько высоких окон, бросающийся в глаза гобелен, большие растения с блестящими листьями в горшках. Стены были выложены из грубоватых квадратных блоков золотисто-желтого цвета. Эдвард обратил внимания на огромную

облицованную печь — таких монстров он видел в Германии, но не в Англии. Несмотря на печь, в огромном пространстве зала стоял холод. Длинный, основательный, надежный стол был накрыт в одном конце. Помещение освещали масляные лампы, стоявшие на столе и подвешенные в дальних углах. Эдвард поставил свой чемодан и снова оказался лицом к лицу с женщинами. Они действительно были очень молоды и похожи друг на дружку.

— Я — миссис Бэлтрам. А это твои сестры, Илона и Беттина. Вот Илона, а вот — Беттина.

Две девушки улыбнулись и сделали реверанс.

Эдвард, конечно же, не забыл «отвратительных маленьких девочек», но никогда не принимал их в расчет и не думал о них. Они были размытым пятном на картине, где присутствовал отец и фигура поменьше — мачеха. Эдвард туманно представлял себе, что «девочек» с ними не будет — может, они учатся где-то или работают. Он даже не утруждал себя вопросом, сколько его сестрам лет, и среди всей заварухи совершенно о них забыл.

— Мы зовем ее матушка Мэй, — сказала одна из них.

— Пожалуйста, называй меня так и ты.

— Да… Спасибо… Вы были так добры, пригласив меня…

— Мы очень рады, что ты приехал. Ты, должно быть, устал после этой прогулки. Беттина, покажи Эдварду его комнату. А потом мы пообедаем. Ты, наверное, голоден. Да, туфли не хочешь снять? Они все в грязи. Поставь их туда — вон ящик у стены.

Неловко подпрыгивая сначала на одной, потом на другой ноге, Эдвард снял промокшие грязные туфли и поставил их в один из ящиков рядом с несколькими парами высоких сапог. Девушка по имени Беттина взяла чемодан Эдварда и никак не хотела его отдавать. Остальные рассмеялись. Он пошел за Беттиной к занавешенному дверному проему.

— Осторожнее, ступенька. Тут у нас все непросто, скоро ты сам все поймешь. Здесь темновато, мы называем эту часть Переходом. Это Селден, старый дом.

Эдвард споткнулся. Беттина взяла из ниши лампу и двинулась вперед по каменным ступенькам, леденившим ступни Эдварда сквозь носки. Девушка остановилась и подняла светильник повыше, чтобы Эдвард видел, куда идти. Впереди был темный коридор, дальше — освещенная

дверь. Через несколько секунд они оказались в просторной спальне, где на столе горела еще одна лампа. В комнате стоял странный запах.

Беттина поставила лампу и повернулась к Эдварду. Определить, сколько ей лет, он не смог — где-то между восемнадцатью и тридцатью. У нее был высокий лоб и спокойные глаза исключительно мягкого светло-серого цвета, но узкий нос с горбинкой и острый подбородок придавали лицу властность и проницательность. С этим ожерельем на шее она походила на благородную даму с портрета эпохи Возрождения или, возможно, на умного, немного женственного юношу. Цвет ее темно-рыжих волос вызывал какое-то тревожное чувство; волосы были аккуратно подобраны, но выбивавшиеся кудряшки подчеркивали прозрачную белизну и гладкость ее шеи. Беттина оперлась руками о край стола рядом с лампой, и Эдвард увидел, что под ногтями у нее грязь. Он не мог сказать, успокоил его этот небольшой изъян или нет. Под взглядом девушки он чувствовал себя слабым, незащищенным, сконфуженным и очень усталым. Эдвард тихим голосом проговорил:

— Мне нравится твое платье.

— Мы сами себе шьем. — Беттина улыбнулась

ему и растянула юбку во всю ширину. — К вечеру мы переодеваемся — надеваем все лучшее.

— Боюсь, я не взял с собой ничего особенного.

— Ну, это ерунда. Вот твоя ванная. Тут есть горячая вода, с кухни. Тут даже электричество есть. У нас свой генератор, но мы его бережем. К тому же мы все равно предпочитаем масляные лампы.

— А море отсюда далеко?

— Довольно близко, но добраться до него трудно… Ну, сам разберешься? Надеюсь, ты недолго, да? Ванну не хочешь принять?

— Нет-нет, я через минуту вернусь.

— У тебя есть какая-нибудь другая обувь?

— Да, тапочки.

— Я буду рядом, внизу у лестницы, чтобы ты не заблудился.

— Так я увижу… моего отца… за ужином?

— Ой, извини, мы забыли сказать, что его сейчас здесь нет. Будешь уходить — оставь лампу здесь, но не гаси.

Беттина взяла свою лампу и вышла, взмахнув подолом платья. Значит, встреча с отцом откладывается. Эдвард почувствовал огромное облегчение, но в то же время и недоумение вкупе с разочарованием.

Комната была пустая и довольно холодная.

Она выглядела бы как монашеская келья, не будь в ней некоторого изящества, даже величия. Стены были сложены из блоков бледно-розового мелкозернистого камня, похожего на камень стен дома-сарая, только светлее и более отшлифованного, сводчатый потолок — из какого-то материала с каменной крошкой точно такого же цвета. Пол из светлых дубовых досок, дубовые тяжелые двери и стол — круглый и чрезвычайно основательный, на прочных, простых, чуть искривленных ножках. Здесь же стояли комод и в пару ему стул с плетеным сиденьем. На полу рядом с двуспальной кроватью лежал тканый коврик темно-коричневого цвета, а над изголовьем висел складчатый белый балдахин и занавески broderie anglaise[31]. Стоявший в углу парафиновый обогреватель давал немного тепла, и потому в комнате не было очень холодно; именно от обогревателя шел тот странный запах. На гвозде, вбитом между двух каменных блоков, висела единственная в комнате картина, оплетенная паутиной. На ней была изображена юная девушка, стоявшая в реке, расставив ноги, и смотревшая на зрителя с затаенным удовольствием.

---

[31] Примечания: 31

Английская вышивка *(фр.)* — разновидность кружев, вошедшая в моду в Англии в XIX в.

На травянистом берегу лежал выписанный во всех технических подробностях велосипед, а через спицы одного из колес проползала большая змея, вперившаяся взглядом в девушку. В углу стояли инициалы — «Дж. Б.». Эдварду картина не понравилась.

Большое окно за длинными белыми шторами оказалось закрыто довольно пыльными внутренними ставнями. Эдвард снял металлическую перекладину и откинул один из ставней, а потом, приложив ладони к лицу, выглянул наружу. Там царила почти полная темнота. Но на фоне чуть более светлого неба он разглядел темные контуры — кроны деревьев на аллее неправильной формы, где он недавно шел. Он находился внутри здания, которое снаружи напоминало ему что-то вроде особняка восемнадцатого века. Эдвард закрыл ставень, задернул штору и вошел в ванную, где автоматически и безрезультатно щелкнул выключателем. В свете масляной лампы, проникавшем через открытую дверь, он увидел святилище такого же элегантного аскетизма — огромная ванна и голые стены. Рядом с раковиной находилось квадратное окно, и Эдвард выглянул из него во двор, тускло освещенный одной-единственной электрической лампочкой на

дальней стене. Двор удивил Эдварда неожиданно экзотическим видом — ему показалось, будто он смотрит на что-то нездешнее, расположенное то ли на юге, то ли в прошлом. Может быть, на двор какого-то французского замка. Но тут лампочка погасла, и он решил, что включали ее специально для него. Понимая, что не стоит задерживаться, Эдвард привел себя в порядок, расчесал свои прямые темные волосы, достал из чемодана тапочки, надел их и, прежде чем открыть дверь, постоял перед ней, сделав несколько глубоких вздохов.

Беттина ожидала Эдварда на площадке, до неловкости близко. Она повела его по Переходу, который, похоже, состоял из анфилады темных арок и альковов, а потом — через занавешенную дверь в зал. Илона и матушка Мэй (со временем он привык называть ее так) встретили его и все втроем, молча, словно пастухи — корову, проводили к длинному столу. Последовала небольшая пауза, как для молитвы, после чего они сели. Эдвард, подчиняясь жесту матушки Мэй, сел во главе стола, матушка Мэй — справа от него, Беттина — слева, а Илона — рядом с Беттиной. Матушка Мэй сказала:

— Мы не верующие, но, прежде чем сесть за стол, всегда стоим и молчим.

Эдвард пока не понимал, рассматривать ему этих женщин как врагов или нет. Может быть, отец хотел его приезда, а они под напускной вежливостью скрывали свою ревность и неприязнь. Не представляется ли он им, размышлял Эдвард, чужаком? Ведь он вполне обходился без них, пока ему было хорошо, а теперь попал в беду и бросился искать поддержки, которой не заслуживает, рассчитывая на внимание отца как на некую привилегию? Если так и есть, им будет легко отомстить ему — он чувствовал это по исходящим от них вибрациям силы. Он уже слышал слово «сестра». «У меня две сестры, — думал он, — Беттина и Илона, Илона и Беттина. Что они сделают мне? Я приехал сюда ненадолго». Но то, что происходило, что могло произойти, было больше, мрачнее и длительнее этого.

Первой заговорила Илона.

— Тебя ведь зовут Эдвард?

— Гм… да…

— То есть я хочу сказать — не Эд, не Тед, не Эдди и не Нед?

— Ха, Недди! — рассмеялась матушка Мэй.

— Нет, меня всегда называли Эдвардом.

— Тогда и мы будем тебя так называть, — решила Беттина.

— Мы приготовили для тебя маленький пир, — сказала матушка Мэй. — Всякая еда — святой дар, но сегодня особый праздник.

— Торжество, — вставила Беттина.

— Но сначала мы должны сказать, что мы вегетарианцы, — предупредила матушка Мэй. — Надеюсь, ты не возражаешь?

— Нет-нет, я и сам почти вегетарианец. Я чувствую, что должен им стать, еда мне безразлична.

— Мы надеемся, это тебе понравится, — проговорила Илона.

— То есть я, конечно, не имел в виду…

— Давай мы за тобой поухаживаем, — сказала матушка Мэй. — Понимаешь, мы тут всегда едим просто, как на пикнике. Все на столе, вон в тех мисках. Или ты хочешь сам себе положить?

— Нет-нет, пожалуйста, положите мне…

— Потом ты сам будешь это делать, — сказала Беттина. — У нас есть маленькие смешные традиции, но ты скоро всему научишься.

Илона рассмеялась, точнее, захихикала, глядя на Эдварда и закрывая рот рукой, как делали девушки-японки в его колледже.

Зачерпывая ложкой из разных мисок, матушка Мэй положила на тарелку Эдварда бобы,

приправленные маслом и травами, чечевицу в сладковатой подливе, плоскую котлетку из (как он распробовал) орехов, какое-то блюдо вроде яичницы со шпинатом, салат из незнакомых ему листьев. Все это (как он опять же распробовал) оказалось великолепно на вкус. Масло было несоленое, а рассыпчатый, толсто нарезанный хлеб — явно домашнего изготовления.

— Хочешь вина?

— Будьте добры.

Из керамического кувшина, разукрашенного синими и зелеными геометрическими фигурами, Беттина налила в его стакан красноватую жидкость.

— Вино из бузины урожая прошлого года. Мы его сами готовим.

— Мы все готовим сами, — хихикнула Илона.

Эдвард все больше склонялся к мысли, что она — младшая.

— Ну, или почти все, — сказала Беттина.

— Обычно мы не пьем вино, — заметила Илона.

— Но сегодня особый день, — проговорила с улыбкой матушка Мэй.

Вино тоже было отличное, довольно крепкое и ароматное, со сладковатым вкусом. Эдварду

казалось, что он пьет нектар. У него сразу же началось приятное головокружение. Он оглядел просторную комнату — да, это был большой средневековый сарай. Громадные балки терявшегося в тени свода переплетались в великолепной архитектурной игре, отчего у Эдварда создавалось впечатление, будто он находится на большом корабле. Высокие стены из грубого камня были голыми, если не считать гобелена напротив главной двери, на которой висели тяжелые плотные шторы. В тусклом свете Эдварду не удавалось разглядеть, что изображено на гобелене. Черный пол покрывали большие сланцевые плитки. В зале, как и в спальне, почти не было мебели, лишь несколько больших резных стульев у стены рядом с печкой, два небольших стола с горящими на них лампами и целый лес растений в громадных керамических горшках.

Теперь, когда на несколько мгновений разговор прервался, Эдвард довольно смело разглядывал своих собеседниц. Он внезапно и не без приятности ощутил себя мужчиной в компании трех женщин. Трех запретных женщин, подумал он и испытал облегчение. Это часть всего происходящего — судьбы или рока, как там оно называется. Бросалось в глаза выражение абсолютного по-

коя на лице матушки Мэй, как бывает порой у женщин. Ее красота была отмечена сияющей безмятежностью. Глядя на такие лица, трудно определить, откуда берется это спокойствие — то ли оно бессознательное, дарованное природой, то ли выработанное, как следствие мудрости, то ли маска намеренно культивируемой вечной юности. Ее рыжеватые волосы, светлее, чем у Беттины, были тщательно уложены, прямой нос выглядел не столь агрессивно, подбородок был менее острым. Широкое лицо было бледным, почти белым, серые глаза смотрели немного насмешливо и дружелюбно. Эдвард нашел красивым ее изящный, тонко очерченный рот, а потом понял, что она вся красива. Она даже более привлекательна, чем ее хорошенькие дочери. У Илоны, чьи рыжие волосы растрепались сильнее, чем у сестры, и часть их свободно спадала на спину, было детское красивое округлое личико, розовые пухлые щеки и чуть курносый нос. Она ответила на взгляд Эдварда таким же изучающим взглядом. В нем читалась озорная, хотя и застенчивая насмешливость, заставившая его быстро отвести глаза. Все три женщины обходились без косметики.

— А когда вернется мой отец? — спросил Эдвард

у Беттины.

Он вдруг осознал, что ест яблоко, хотя не помнил, как взял его.

Беттина повернулась к матушке Мэй:

— Когда вернется Джесс?

— Ой, скоро… скоро…

Эдвард почувствовал, что глаза его закрываются. Он попытался открыть их, но они снова закрылись. Он прилагал усилия, чтобы поднять веки, а три лица перед ним расплывались. Зал превратился в серую сферу, где он неловко плыл и тонул.

— Извините, бога ради, — сказал он. — Что-то я вдруг ужасно устал.

Стулья громко заскрежетали на сланцевых плитках, и этот звук отозвался болью в голове Эдварда. Он встал, ухватился за спинку стула.

— Извините, пожалуйста…

— У тебя был долгий день, а вино крепкое. Илона, ты проводишь Эдварда наверх?

Не выпуская из рук яблока и прилагая усилия, чтобы не упасть, Эдвард направился за Илоной по длинной пустой комнате к занавешенной двери. Девушка взяла лампу, которая, как и прежде, стояла в нише. Эдвард с трудом поднялся по каменным ступенькам, цепляясь за толстый канат

перил, и наконец оказался в освещенной спальне. Илона поставила свою лампу на стол, подошла к кровати и принялась аккуратно расстилать ее.

— Тут в кровати грелка — мы ее положили как раз перед твоим приходом, она, наверное, еще теплая. Хочешь, я налью погорячее?

— Нет-нет, спасибо…

— На окнах ставни, видишь? Тут есть электрические выключатели, но мы взяли за правило пользоваться электричеством только в крайних случаях, например когда сильный мороз или нужно накачать воду. В верхнем ящике комода — электрический фонарик, а в нижнем — еще одно одеяло, если будет холодно. Я сейчас выключу обогреватель. Ты знаешь, как погасить масляную лампу?

— Боюсь, что нет.

— Нужно повернуть это колесико вправо. Да, кстати, если услышишь звуки ночью, не пугайся.

— Звуки?

— Ну, совы… Совы, лисы… и полтергейст, и всякое такое…

Эдвард слабо хихикнул над ее шуткой.

— Думаю, не помру от страха. Спасибо тебе.

— Да, еще опасайся крыс.

— Нет тут никаких крыс, — произнесла Бетти-

на, стоявшая за открытой дверью. — Не валяй дурака, Илона. Как ты себя чувствуешь, Эдвард? Мы встаем довольно рано. Я тебе постучу утром.

Когда Эдвард лег в кровать, он сразу же провалился в глубокий, мирный сон. Ночью он ничего не слышал.

На следующее утро его разбудили странные глухие свистящие звуки. Он поначалу подумал, что это птичий щебет, но скоро понял — нет, что-то другое. Это была музыка. Эдвард сразу вспомнил, где находится, и вскочил с кровати, испугавшись, что проспал все на свете. Он распахнул ставни и заморгал, увидев слабый утренний свет. Звук доносился снаружи. Он поднял оконную раму. Внизу в вымощенном дворике матушка Мэй, Беттина и Илона играли на флейтах. Увидев его голову в окне, они рассмеялись и бросились прочь. Эдвард убрал голову, закрыл окно, прислонился лбом к стеклу и застонал.

Завтрак состоял из травяного чая и горячих промасленных гренков, сдобренных высушенными зернышками овса. Были и фрукты, но их Эдвард не стал есть. Он неважно себя чувствовал, прежнее отчаяние снова вернулось к нему. Женщины надели коричневые платья из домотканого

материала и деревянные бусы.

Когда завтрак закончился, все встали и матушка Мэй сказала:

— Ну, теперь мы должны заняться работой. Мы тут без дела не сидим.

— Мы трудимся не покладая рук, — подтвердила Илона. — Правда, Беттина?

— А что вы делаете? — спросил Эдвард. — Я знаю, вы сами шьете себе платья…

— Чего только мы не делаем, — ответила матушка Мэй. — Работа всегда найдется. Мы выращиваем фрукты и овощи, содержим дом в чистоте и порядке, шьем одежду, выполняем плотницкую работу. Мы немножко рисуем — так ведь? — делаем на продажу украшения и рождественские открытки… Ведь мы не богаты.

— И мы ремонтируем этот треклятый старый генератор, когда он ломается. По крайней мере, Беттина занимается этим! — добавила Илона.

— Мы следуем примеру Джесса, — сказала Беттина, — его правилам и его предприимчивости. У нас есть распорядок дня.

— Время молчания, — подхватила Илона, — время отдыха, время чтения. Как в монастыре.

— Позвольте мне помогать вам, — попросил Эдвард. — Боюсь, я мало что умею, но…

— Ты научишься, — кивнула Беттина.

— Ты ведь к нам надолго приехал, правда? — спросила Илона.

— Девочки, кто-нибудь из вас должен устроить Эдварду экскурсию по дому, — сказала матушка Мэй.

— Я, — вызвалась Илона.

— Я мою посуду, — сказала Илона.

— А я буду тебе помогать, — предложил Эдвард. — Я буду ее вытирать.

— Мы не вытираем посуду — оставляем сушиться. Работы здесь столько, что мы стараемся не делать лишнего. Например, разноска.

— Это что такое?

— Понимаешь, в доме всегда много вещей, которые нужно перенести из одного места в другое — вниз по лестнице, вверх по лестнице и так далее. Постиранное белье, тарелки, книги и всякое такое. Так вот, у нас есть «промежуточные станции», где мы оставляем вещи, которые нужно куда-то перенести, и всякий, кто проходит мимо, переносит их в следующее место. Ведь это разумно, правда? Вот, например, тарелки в большой сушилке. Одни уже высохли, другие нет. Кто-нибудь, проходя мимо, возьмет сухие для

ланча и поставит их на стол в Атриуме[32].

— В Атриуме?

— В зале. Так его Джесс называет… мы его так называем… это латинское название главного помещения в доме. А вот там ты видишь сухие простыни. Они ждут, когда кто-нибудь пойдет наверх — ведь кто-нибудь рано или поздно пойдет. Ты скоро привыкнешь и будешь знать, где что лежит. То есть, понимаешь, бессмысленно носиться по дому целый день, раскладывая все по местам.

— Понятно. Оптимизация.

— Беттина всегда говорит: бери достаточно, но не слишком много, иначе уронишь. По крайней мере, со мной такое случается.

Они находились в Переходе — пространстве за высокой голой стеной, которая, как показалось Эдварду снаружи, соединяла зал с Селденом. Изначально это был ряд аккуратных каменных стойл, расположенных между домом и сараем. Джесс, желавший сохранить как можно больше от изначальной структуры, начал переделывать их в аркаду, открытую с восточной стороны. Но другие планы, связанные с преобразованием ко-

---

[32] Примечания: 32

Атрий (атриум) — центральное помещение в древнеримском доме, внутренний двор, куда выходят двери всех основных помещений.

нюшни, заставили его превратить эту площадь в кухонное пространство, причем арки и альковы первоначального проекта оставались на виду и ласкали взгляд. Здесь была устроена просторная и красивая кухня с большой чугунной плитой для готовки, буфетная (там Эдвард чуть раньше наблюдал, как Илона моет посуду), прачечная со стиральной машиной, трапециевидные деревянные рамы для сушки белья и кладовка, где лежали тряпки, метлы, сапоги, туфли и стоял громадный холодильник. Имелась даже «электрическая комната», похожая на моторный отсек субмарины: она вся была утыкана циферблатами, щитками с предохранителями и опасными на вид оголенными проводами.

— Везде нужно менять проводку, у нас постоянно происходят замыкания. Только я боюсь, что ни один электрик не разберется в этой путанице. Отсутствие электричества не очень нас беспокоит. Мы давно живем здесь, и за это время многое изменилось. Прежде мы много развлекались, к Джессу приезжали люди, но после того, как сюда перестали ходить поезда, гостей у нас не бывает. Ну идем, я тут закончила. Покажу тебе Селден. Прихвати-ка несколько простыней. Мы никогда не гладим; глажка — это пустая трата времени.

Эдвард прихватил стопку простыней с полки в маленьком «святилище» под аркой и последовал за Илоной по коридору, а потом наверх по каменным ступеням в направлении спальни. На верху лестницы стоял шкаф, и Эдвард, как велела Илона, уложил простыни туда. Илона открыла дверь рядом со спальней, и он увидел небольшую аккуратную комнату с канапе, письменным столом, ширмой в китайском стиле и зеленоватой картиной, изображавшей младенца в виде утонувшей мыши.

— Это твоя гостиная, ну, или не совсем твоя — она для почетных гостей. Мы теперь ее не отапливаем. Большая спальня расположена за твоей.

Большая спальня была угловой комнатой, еще большей, чем комната Эдварда, с еще более красивой ванной и окнами в две стороны: одно выходило на аллею, а другое — на пригорок, поросший лесом. Эдвард видел этот лесок вчера, когда подходил к дому.

— А где море?

— Оно с другой стороны, но до него идти и идти.

— Это старый дом, восемнадцатого века…

— Да, его называют Селден-хаус. Когда Джесс его купил, тут были развалины.

Эдвард последовал за ней вниз во двор, куда выглядывал из окна предыдущим вечером.

— Эту часть — все три крыла — построил Джесс. Конечно, имитация, но выглядит неплохо. Два этих крыла довольно узкие, здесь одни проходы. Но напротив настоящий дом, он небольшой и отсюда плохо смотрится. Мы живем вон там — это наши спальни.

— Твоя наверняка самая маленькая.

— Да. Наше крыло мы называем Восточный Селден, а твое — Западный Селден.

Двор-имитация с его четырьмя фасадами восемнадцатого века, стенами из розовых камней, высокими окнами снизу и квадратными наверху, пологой черепичной крышей и в самом деле смотрелся неплохо. Двор был вымощен морской галькой, а в середине находился колодец в итальянском стиле. Эдвард заглянул в него и увидел далеко внизу сверкание воды и темные очертания собственной головы.

— Это, наверное, стоило колоссальных денег.

— В те времена Джесс был богат. Теперь это дело прошлое.

Эдвард услышал знакомый стук печатной машинки.

— А кто печатает?

— Матушка Мэй. Она составляет каталог всех работ Джесса, это большой труд. Иногда она пишет о прошлом — то, что ей запомнилось.

— Она, значит, писатель?

— Да нет, что ты! Комнаты на первом этаже с нашей стороны — мастерские. А на твоей — это все кладовки. Пойдем назад здесь, по Переходу. Правый коридор ведет к нам.

Захвати эти тарелки, ладно? Мы сейчас пройдем по Атриуму, и я тебе покажу остальное.

В зале Эдвард поставил тарелки на длинный стол, а Илона добавила к ним столовые приборы. Он посмотрел на гобелен, который теперь был хорошо виден. Улыбающаяся девочка с сачком бежала по лугу за летающей рыбкой, появившейся из темного круглого дерева, а на нее смотрел большой строгий кот.

— Мы его соткали по рисунку Джесса, — сказала Илона. — Мы сделали четыре разных гобелена. Три других купили какие-то американцы.

— Очень красиво, — отозвался Эдвард, хотя гобелен, как и картина в его комнате, вызывал у него тревожное ощущение.

Постукивая своими сандалиями по плиткам пола, Илона пересекла зал и открыла еще одну дверь.

— Тут в восемнадцатом веке были конюшни, они перпендикулярно примыкают к сараю, снаружи это выглядит ужасно красиво. Джесс сделал готические окна в конце.

— Да тут еще один дворик! — воскликнул Эдвард, выглянув из окна.

— Да, параллельно тому, что соединяет Восточный и Западный Селден. Стена с этой стороны, как ты видишь, совершенно плоская, и Джесс собирался сделать на ней роспись. Очень милый старый мощеный двор. Джесс хотел закрыть его, построив еще одну стилизацию, но так даже лучше — можно видеть болото. Правда, из-за тумана ты его сейчас не разглядишь. Тут была столовая, пока кухню не перенесли в Переход, и теперь здесь наша гостиная. Мы ее называем Затрапезная.

— Странное слово. Ты имеешь в виду — Трапезная?

— Так Джесс ее называет. Мы в ней отдыхаем.

— Очень милая комната, — сказал Эдвард, глядя на вытянутую в длину неопрятную комнату, уставленную книжными шкафами.

Деревянный пол устилали многочисленные истоптанные ковры, на них стояли низкие кресла, обитые красной потертой кожей, выцветшей

и скользкой, с удлиненными сиденьями и наклонными спинками, сделанные специально для длинноногих людей, чтобы они могли удобно развалиться. Тут были и два просевших дивана с потрепанной обивкой, и камин с обгоревшими поленьями и рядом высоких почерневших деревянных каминных полок. На верхней неустойчиво держалась длинная резная доска, а на ней между листочков и фруктов читалась надпись: «Я здесь. Не забывайте меня». Комната была бедной и без всяких претензий, стены обиты коричневыми деревянными лакированными панелями, как в старомодном будуаре, курительной комнате или кабинете пожилого преподавателя. Может быть, она воплощала идею комнаты, в которой Джесс жил, будучи школьником, и в определенном смысле принадлежала прошлому. Возможно, всесильный хозяин построил ее в качестве убежища, где он прятался от своего капризного и необычного гения. Эта комната словно опровергала реалии других частей дома.

— Она такая замечательная и необыкновенная.

— Тут, конечно, беспорядок, нужно вытереть пыль. У Джесса столько идей, но нам это нравится.

Картина в темной раме чуть покосилась на выцветших обоях с лиственным рисунком. На холсте были изображены две девушки с широко раскрытыми довольными глазами и маленькими обнаженными грудками; они стояли на коленях в каменной нише, поросшей сырым зеленым мхом, где их обнаружил испуганный мальчик. Эдварду не было нужды разглядывать подпись.

— Я никогда не видел картин Джесса, кроме одной репродукции в какой-то газете, я ее уже не помню. Пожалуй, мне не хочется на это смотреть. Они феи?

— Что?

— Они — феи?

— Не знаю, — ответила Илона нейтральным самодовольным тоном.

Так говорят ученые, когда отказываются отвечать на дурацкий вопрос дилетанта. Она поправила картину, протерла ее пальцем.

— А что за фотография у камина?

Илона сняла фотографию с низко вбитого гвоздя и протянула Эдварду.

— Джесс, конечно же.

— Господи Иисусе!

Высокий, худой, похожий на ястреба молодой человек с темными прямыми волосам, подстри-

женными под горшок, и челкой до самых бровей стоял, прислонившись к дереву, и внимательно смотрел на Эдварда ироническим взглядом. Тот чуть не уронил фотографию и поспешил вернуть ее Илоне.

— Похож на тебя, — сказала она, — только глаза побольше. — Она повесила фотографию на гвоздь. — Старая кухня — это мастерская Беттины. Она у нас плотник. Давай заглянем туда. Все комнаты смежные, коридора нет, и, если Беттина сейчас не работает, мы пройдем напрямик. Там есть еще помещения.

Илона тихо постучала в дверь в дальнем конце комнаты, потом осторожно открыла ее. Из-за ее спины Эдвард увидел Беттину — та одним коленом опиралась на стул, склонясь над чем-то, что лежало на большом деревянном столе. Беттина не обратила на них внимания, и Илона прикрыла дверь.

— Она не любит, когда ее отрывают от дела. Вон та дверь ведет в башню.

Эдвард направился туда, но Илона остановила его.

— Нет-нет, не сейчас. Мы туда не ходим, когда нет Джесса. Но я думаю, он сам с удовольствием покажет тебе башню. А вот эта дверь ведет во

двор. Здесь ужасные сквозняки.

Эдвард прошел за Илоной обратно в зал.

— Кстати, вон твои ботинки.

Она показала на ящик перед дверью, и Эдвард увидел там свою обувь. От грязи не осталось и следа, ботинки сияли чистотой.

— Они чистые!

— Я их почистила. Обувь — одна из моих обязанностей.

— Похоже, тебе достается вся грязная работа!

— Да нет. Тут грязной работы на всех хватает.

— Вы такие предприимчивые и умелые — я буду чувствовать себя бесполезным. Писание стихов может сойти за труд?

— Не думаю! У тебя только одни уличные ботинки?

— Да. Я сглупил?

— Можешь взять что-нибудь у Джесса, я тебе подберу. У вас, кажется, один размер.

— Бога ради, не беспокойся! — Эдвард быстро снял тапочки и надел ботинки. — Давай выйдем из дому. Смотри, солнце!

Они вышли из главной двери на мощеную дорожку. Влажные камни зарастали ползучим тимьяном.

Эдвард посмотрел на сестру при ярком утрен-

нем свете. В своем коричневом платье сейчас она казалась еще красивее. Ее волосы золотисто-рыжего цвета были собраны с помощью множества шпилек в нечто неустойчивое, и эта густая грива уже соскользнула ей на шею почти до плеч. Маленький курносый нос покрывали едва заметные веснушки, подбородок был маленький и круглый, кожа на пухленьких румяных щечках прозрачная, как у ребенка. Темно-серые глаза за светлыми ресницами. Встретив взгляд Эдварда, Илона отвернулась, и ее прикрытая волосами шея вспыхнула румянцем. Она неловко и безуспешно разгладила волосы, отчего одна из шпилек упала на землю. Эдвард подобрал ее и протянул Илоне. Девушка почти неслышно рассмеялась, прикрывая рот рукой.

Он вдруг спросил:

— Ты когда-нибудь видела мою мать?

Вопрос этот вовсе не обескуражил ее, и она ответила:

— Нет, в моем детстве она была легендой. Матушка Мэй говорила о ней вчера вечером.

— Вот как!

Эдвард представил себе этот разговор — три женщины сидят за столом, допивая вино из бузины. Чтобы закрыть эту тему, он сказал:

— Так что бы полезного я мог сделать?

— Ничего. Матушка Мэй сказала, что это утро у тебя должно быть свободным.

— Тогда я, пожалуй, прогуляюсь. Пойдешь со мной?

— Нет, я должна работать.

— Я дойду до моря. Оно ведь в той стороне?

— Там сейчас топь, тебе не пройти.

— Тогда я мог бы добраться до того леска.

— Тут почва глинистая и заболоченная. Боюсь, это время года не подходит для прогулок. Ты можешь пройтись по тропинке, а потом вдоль дороги, там очень красиво. Обед в два часа, не опаздывай. Мы с утра много работаем. Как ты спал?

— Отлично. Ни сов, ни лис, ни полтергейстов!

Илона, уже повернувшаяся к двери, остановилась.

— Знаешь, а полтергейсты здесь все-таки есть, это не шутка.

— Да ладно!

— Они существуют. Это не призраки, а химическое явление.

— Я слышал разные истории про них. Возможно, это не только игра воображения или обман. Они, кажется, появляются там, где живут юные

девушки?

Эдвард не успел договорить, как почувствовал смущение, но Илона ответила спокойно:

— Да, Беттина считает, что я их притягиваю. Они приходят к юным девушкам и девственницам. Беттина тоже девственница, так что неудивительно, что они здесь появляются. Но они совершенно безобидны. Так, досаждают немного, не больше.

— Мне почему-то не нравится эта идея.

Илона открыла дверь, чтобы уйти.

— Конечно, если один из них окажется в твоей постели, мало не покажется.

Илона закрыла дверь, и Эдвард минуту, а то и две прислушивался к тишине, точнее, к неясному птичьему щебету и звуку реки. Он впитывал в себя совершенно новое ощущение одиночества. Он сразу понял, что это новое одиночество, но что здесь нового, осознал далеко не сразу. Возможно, он просто не привык к загородной жизни, а еще к тому, что может жить здесь сам по себе. Он сделал несколько шагов и посмотрел вдоль аллеи, по которой шел вчера. Он уже решил, что не пойдет, как советовала сестра, в сторону шоссе. Вымощенная полоса земли, широкая перед домом, сужалась между деревьями, и на

протяжении двухсот ярдов до самой дороги ее окаймляли большие белые кремневые камни. Деревья были посажены беспорядочно, через неравные промежутки, и имели разные формы и размеры: несколько громадных тисов, три изящные удлиненные елки, голые дубы и строгие ясени в завязывающихся почках, а еще множество молодой ясеневой поросли. Несколько пней свидетельствовали о том, что прежде тут стояли вязы. Между деревьями росла трава — стриженная, но давно. Чуть дальше по обеим сторонам виднелись клочковатые кусты вероники вперемежку с тамариском. Все было влажным, и в воздухе стоял пряный запах плесени.

Эдвард не пошел по аллее. Он направился вдоль зала и голой стены, за которой располагался Переход, потом вдоль фасада Западного Селдена, мимо двери в его середине. Впереди, где тропинка делала поворот, он увидел несколько падубов, а справа — участок, засаженный овощами, две теплицы и странный заросший прямоугольник, возможно заброшенный теннисный корт. Слева стояли хозяйственные постройки, большая открытая поленница и желтый трактор. Дальше за падубами располагались фруктовый сад и рощица высоких голых тополей. Эдвард шагал

по влажным камням неправильной формы, а между ними выкидывали вверх зеленые стебли жизнестойкие одуванчики. Здесь восточный ветер задувал в полную силу, и Эдвард, обогнув Селден сзади, направился во двор с конюшнями. Из каменных конюшен — «ужасно красивых», по словам Илоны, — расчерченных кремневыми прожилками, которые напоминали маленькие лица, был сделан еще один прекрасный дом, длинный и широкий, с башней и золотым флюгером в виде лисы. Эдвард не стал здесь задерживаться, чтобы не столкнуться с матушкой Мэй или Беттиной; он побаивался первой и робел перед второй. Выйдя из поля зрения ближайших окон, он остановился, поднял голову и стал разглядывать башню. Башни всегда привлекательны, однако эта и в самом деле весьма впечатляла. Правда, Эдвард не был уверен, что она ему нравится. Ее шестиугольные стены были отлиты из бетона и покрыты беспорядочными пятнами явно случайного происхождения, что можно было счесть привлекательным. По одной из сторон почти до самого верха вился мелколистный плющ. Окна являли собой неожиданный архитектурный изыск: они без всякого ясного плана были разбросаны по стенам то в форме

щелей, то в форме квадратов, то большие, то маленькие. Каждое окно было забрано решеткой черного металла. Решетки ржавели, что и стало, несомненно, источником беспорядочных пятен. Эдвард чувствовал себя разочарованным и слегка уязвленным из-за того, что его не пустили в башню. Возможно, Джесс и правда хотел сам ее показать. А может быть, он не желал, чтобы Эдвард расхаживал тут без него.

В надежде, что никто его не заметил, Эдвард отвернулся от дома. Между бегущими по небу облаками сверкало солнце. Тропинка под ногами вела на восток среди кустов можжевельника. Море, вероятно, было в той стороне и не очень далеко. Эдвард зашагал вниз по склону и сразу же оказался на лугу, усыпанном желтыми звездчатыми цветочками. Он с удивлением смотрел на эти цветы — они обладали почти металлической яркостью и рассеивали свет над густой травой, как желтый порошок. Это явно были не лютики. Эдвард решил, что это бальзамин, наклонился и сорвал один цветок. Когда его пальцы надломили хрупкий стебелек, он испытал чувство вины. Он быстро сунул цветок в карман и поспешил вперед, к ивам. Ему показалось, что он уже видел эти цветы и луг раньше. Может быть, именно по

такому лугу нелюдимая девочка с сачком бежала за летающей рыбкой. Приблизившись к ивам, он обнаружил, что они стоят в воде, а тропинка, тоже довольно сырая, огибала их слева на более высоком уровне. Еще дальше Эдвард увидел то, что сначала принял за море, но быстро понял: это сверкающее зеркало водного потока, откуда поднимаются кусты и деревья. По воде здесь и там плыли водяные птицы, их блестящие спины были отполированы солнцем. Эдвард заметил уток, гусей, несколько совсем незнакомых птиц, а вдали — пару лебедей. Он пошел вперед, рассчитывая обойти разлив, но его со всех сторон обступали темные пруды, заросли тростника, неровные гряды глинистой земли. Тропинка исчезла, или он потерял ее и теперь шел по черной твердой поверхности, пружинившей под ногами и менее глинистой. Он попытался понять, куда идти дальше, и в это время свет переменился; солнце скрылось за облаком, вода потемнела, стала почти черной. Эдвард остановился и оглянулся назад. Сигард, все еще освещенный солнцем, был уже далеко, и отсюда было видно, что он стоит на небольшом возвышении. Когда Эдвард повернулся, напрягая глаза, он почувствовал какое-то движение: словно все вокруг него внезапно

поднялось вверх. Он не погрузился, а резко провалился вертикально вниз, земля под ним подалась, и ноги опустились в две наполненные водой ямы. Несколько секунд он стоял с глупым видом, потом сел. Под его руками и ягодицами образовались такие же ямы в предательской пружинистой земле, по которой он шел; только теперь он понял, что она представляет собой толстый почерневший слой тростника над холодной топью болота. Он выругался про себя и попытался встать. К его облегчению, вода едва доходила ему до колен, и он с превеликим трудом и осторожностью, вытаскивая ноги из вязкой топи, пошел назад, пока не оказался на твердой почве. Он промок до пояса, но теперь хотя бы снова выглянуло солнце. Там, где он думал найти тропинку, ее не оказалось. Эдвард увидел перед собой ширь затопленного луга. Зеленые стебли травы едва торчали над водой, а за ними выглядывал какой-то каменный полукруг — судя по всему, затопленный мост. Местоположение Сигарда тоже изменилось: он оказался правее, а перед ним вдруг возникли деревья, закрывшие часть Селдена. А вот лес на низкой, но предположительно сухой возвышенности был теперь ближе — похоже, там осталась ближайшая твердая земля. Эдвард шагнул на луг.

Вода доходила ему до щиколоток, но почва не проседала, и вскоре он по частично затопленному мосту пересек вышедшую из берегов речку. За мостом он обнаружил почти сухой склон и даже тропинку. Солнце пригревало, и Эдвард рассчитывал высушить свою мокрую одежду, покрытую болотной грязью. Он повернулся, приставил ладонь козырьком к глазам, но не увидел сзади ничего, кроме топи. Он подумал: вдруг, пока его не было, вернулся Джесс? А он придет с опозданием да еще весь в грязи. Эдвард посмотрел на часы, но вспомнил, что оставил их в ванной. Он решил идти вверх по склону и вскоре оказался среди деревьев.

Лес, явно созданный природой, а не человеком, представлял собой удивительное смешение самых разных пород деревьев. Тут росли дубы и ясени, буки и лиственницы, ели, дикие вишни и тисы — такие огромные, каких Эдвард никогда не видел. Лес был древний. Высокие старые деревья образовывали лабиринт колоннад, арок, сводчатых залов и укрытых куполами палат. Если бы Эдвард не доверился едва заметной тропинке, он быстро заблудился бы здесь. Пели птицы — черный дрозд и громкоголосый вьюрок. Печально каркали грачи. Время от времени солнечный свет

падал на сухую темную тропинку, пересеченную корявыми корнями, похожими на ступени, и усыпанную загадочными засохшими плодами деревьев, листьями и шишками — они превратились в древесные игрушки и эмблемы, приятно хрустевшие под ногами. Вокруг, насколько хватало глаз, лежал ветхий ковер из опавших листьев. Тропинка забирала все круче вверх, и наконец впереди показался большой просвет. Эдвард ускорил шаг и через ми-нуту-другую набрел на удивительное место.

В лесу, конечно, было много удивительного: и мшистые альковы, и проросшие сквозь мертвый папоротник примулы, и зеленые пятна травы там, куда попадали лучи солнца, и длинные упавшие стволы, голые, словно кости. Но когда Эдвард вышел на прогалину, он остановился в изумлении, как будто исследовал дворец и нечаянно открыл дверь часовни. Удлиненная овальная лужайка, простиравшаяся ярдов на двести, странным образом напоминала стадион в Дельфах. Эдварда пробрала дрожь. Птичьи голоса здесь смолкли. Трава была короткой, с тонкими стеблями, словно лужайку готовили для какой-то игры. Разлапистые ветви двух огромных тисов в дальнем конце образовали черный туннель.

Поближе, на границе открытого пространства воспаряли вверх ровными стволами ряды высоких буков. Симметрия деревьев и идеально ровная трава наводили на мысль об умысле и человеческом вмешательстве — некая старая затея, недавно обновленная. Следуя греческой аллюзии, Эдвард смотрел на эту полянку как на священное место, дромос или теменос[33]. Больше всего его поразил таинственный знак — большой вертикальный камень, стоящий на круглом каменном основании у дальнего конца прогалины в обрамлении черной арки тисов. Эдвард направился к нему по подстриженной траве, под лучами солнца, и остановился неподалеку от сооружения. Нижняя широкая часть высотой около трех футов, сделанная из темного камня, казалась куском каннелированной колонны. Вертикальный столб из более светлого серого камня, посверкивавшего серебристыми вкраплениями, был обработан грубее. Он возносился вверх, грани с неровной поверхностью сужались, постепенно образуя конус. Вместе с основанием сооружение

[33] Примечания: 33

Дромос — в Древней Греции крытый коридор, ведущий в погребальную камеру гробницы. Теменос — земельный участок, выведенный из общественного пользования и предназначенный, как в данном контексте, для святилища, капища.

было чуть выше Эдварда. Он подошел поближе и коснулся столба, погладил чуть теплый камень. Эдвард посмотрел вниз и заметил у основания цементную заливку. Возможно, это сделали недавно, чтобы укрепить конструкцию. Поверхность колонны была гладкой, отполированной, Эдварду показалось, что она сделана из мрамора. Обходя сооружение, он увидел на пьедестале что-то желтое — пучок бальзамина. Цветы едва начали вянуть. Эдвард оглянулся, посмотрел на тихую траву, на тенистый лес и черную пустоту за тисами и пошел прочь. Но через несколько шагов он поддался суеверному желанию, вернулся, вытащил из кармана сорванный ранее бальзамин и бросил его к цветкам у колонны, после чего быстро пошел прочь, но не в сторону ясеневой арки, и выбежал с прогалины.

Он не нашел тропинки, которая вывела его к этому месту, и двинулся вниз по холму, полагаясь на внутреннее чувство направления. Вскоре Эдвард дошел до подлеска, где росли молодые ясени, орешник, кусты терновника, и его шаг замедлился. Он продирался сквозь эти заросли, топтал хрупкие папоротники и мертвые листья и ощущал какую-то физическую перемену в себе. Словно струя газа или сжатого воздуха обдува-

ла его лицо, обволакивала тело. Ему казалось, что его голова раскрывается в некое огромное пространство, словно ее в буквальном смысле безболезненно раскололи и присоединили к какой-то колоссальной бледной облачной сфере наверху. Мысли понеслись, сменяя друг друга. Эдвард глядел на дом, брел через бальзаминовый луг, пробирался по болоту, шагал по лесу, но думал не столько о том, что видел и куда направлялся, сколько о Марке Уилсдене и, более отвлеченно, о Джессе. Томас Маккаскервиль говорил, что перемены «пойдут ему на пользу», но сам Эдвард не считал, что приезд в Сигард изменит его кошмарный, мучительный любовный траур по Марку. Это все должно оставаться его личным делом, неприкосновенным и тайным. Вообразить, что новая атмосфера автоматически уничтожит темное бремя Эдварда, было недостойно тяжести его переживаний. Он лишь нашел небольшое утешение в бегстве, поскольку в новом месте, неизвестном его близким, мог лелеять свои страдания. История, побудившая его приехать, казалась ему продолжением его судьбы, а мысль о Джессе в этом контексте была случайной. Теперь наступило прозрение: то, что он приехал в Сигард как паломник, неся

свое горе и свой грех в храм к святому, не было случайностью. Он никогда не думал о Джессе в таком свете; он вообще избегал думать о нем и не осознавал этого в первые часы пребывания в этом месте и рядом со здешними женщинами. Женщины, несмотря на все их поразительные качества, были второстепенными фигурами. Даже не прислужницы, нечто иное. И письмо матушки Мэй с припиской о том, что они узнали о случившемся, — тоже нечто иное. Джесс не звал к себе сына, повинуясь смутному желанию поддержать его. Между ними ничего подобного не предполагалось. Им суждена роковая встреча на перекрестке дорог. Джесс вполне мог и вовсе не знать о бедах Эдварда, но он был судьбой Эдварда и его ответом. То, что ответ может оказаться темным, представлялось чуть менее ужасным теперь, когда элемент случайности был исключен.

Спускаясь по склону холма, Эдвард видел невдалеке сквозь деревья башню конюшен и золотой флюгер в виде лисы, вращавшийся на ветру. Но его топографические неудачи еще не закончились. Неожиданно перед ним возникла река, несущая свой полноводный поток. Именно ее шум он, несомненно, и слышал вчера вечером. Река, вероятно, и стала причиной затопления луга,

а ее приток Эдвард пересек недавно по затопленному мосту. В этом месте река была глубокой, она бурлила и пенилась между крутых берегов, издавая журчащие и шипящие звуки. Теперь Эдвард понял, что его путь сюда сопровождали эти звуки. Ни перейти, ни перепрыгнуть поток было невозможно. Рассерженный и раздраженный, Эдвард ускорил шаг и пошел вдоль берега. Он боялся, что опоздает на обед, а Джесс вернулся раньше него. Силы покинули его, он стонал и громко бранился, ковыляя вперед. Он вдруг понял, что, возможно, придется бежать назад к затопленным лужкам и мосту. Потом за излучиной, где река сужалась, внезапно появился не то чтобы мост, а некое ненадежное с виду деревянное сооружение, более похожее на прогнувшийся дощатый забор или длинный плетень, перекинутый через реку. Поток воды рассерженно бурлил между его планками. Возможно, это была часть старой плотины либо шлюза или, что еще вероятнее, просто перекинутые кое-как с берега на берег ненадежные мостки. Эдвард сразу же понял, что если идти по скреплявшей планки горизонтальной поперечине, держась за некое подобие перил, то можно перебраться на другую сторону. Он соскользнул по крутому берегу вниз и взошел

на мостик, который неприятно раскачивался, словно в любой момент мог рухнуть в поток. Эдвард начал осторожно переставлять ноги, чувствуя, как вода обтекает их. Мост заканчивался, не доходя до того берега, и в этом промежутке раскачивались камыши и быстро бежала вода. Эдвард сделал широкий шаг, поскользнулся, упал, ухватился за высокую траву, а потом пополз по влажному склону, как змея. Вся его одежда спереди покрылась липкой грязью. Он поднялся на ноги и побежал по травянистой тропинке через тополиную рощицу. Скоро он увидел огород, теплицу, фруктовый сад и коричневые стены Селдена, высветленные солнечными лучами. Он замедлил шаг и стряхнул с одежды самые большие комья грязи.

— А, ты вернулся, — сказала Беттина, когда он через главную дверь вошел в Атриум. — Сними, пожалуйста, туфли. Надеюсь, прогулка была приятной. Я заглянула в твой чемодан, ты не возражаешь? Похоже, у тебя нет подходящей одежды, поэтому я подобрала тебе кое-что из старого гардероба Джесса. Я оставила все наверху. Обед через двадцать минут. Да, кстати, мы тут сами стелим себе постели.

— Спасибо. Прошу прощения… А отец прие-

хал?

— Еще нет.

В Переходе, где даже днем царил полумрак, Эдвард столкнулся с матушкой Мэй.

— Привет, Эдвард. Хорошо прогулялся? Я забыла тебе сказать, что мы отдыхаем каждый день с трех тридцати до четырех пятнадцати. На тебя это не распространяется — я говорю на случай, если ты вдруг никого из нас не найдешь.

— Спасибо. А когда появится отец?

— Называй меня матушка Мэй.

— Матушка Мэй, когда появится мой отец?

— Очень скоро. Ты не волнуйся. Мы хотим, чтобы ты чувствовал себя как дома. Обед будет минут через пятнадцать.

У лестницы в Западном Селдене он столкнулся с Илоной, которая шла по коридору из Восточного Селдена.

— Привет. Ну, как твоя прогулка? Не мог бы ты отнести эти полотенца в шкаф рядом с твоей гостиной? Скоро обед, не задерживайся.

Эдвард поднялся наверх, положил полотенца в шкаф и вернулся в свою комнату. Кровать была застелена, его немногочисленные вещи извлечены из чемодана и аккуратно разложены по ящикам. На кровати лежали два пиджака, два

свитера, плащ, шерстяной шарф, две пары вельветовых брюк, кепка и шерстяной берет. На полу стояли две пары начищенных старых кожаных ботинок. Эдвард взял в руки эти чужие вещи. От них пахло отцом. Как же так получилось, что он хранил эту потребность в сердце все прошедшие годы и только теперь узнал о ней? Не выпуская одежды из рук, он сел на кровать.

Посреди ночи Эдварда разбудил очень громкий и очень необычный звук. Впечатление было такое, будто большое количество стекла, а еще точнее, множество оловянных подносов, уставленных стаканами, сбрасывают вниз по лестничному пролету. Он неподвижно сел в темноте, потом потянулся к ночнику, понял, что никаких ночников тут нет, и сомкнул пальцы на электрическом фонаре, наличие которого проверял каждый вечер по возвращении в свою комнату. Несколько секунд он просидел неподвижно, потом вылез из кровати, пошарил лучом фонарика по комнате, подошел к двери, осторожно ее открыл, снова прислушался. Он даже подошел к лестнице и посветил вниз, хотя теперь уже был уверен — ничего он там не увидит. Ничего. Тишина. Никто не двигается. Разбилось окно? Что-то случилось в теплице? Нет. Ничего

подобного. Он быстро вернулся в свою комнату и инстинктивно щелкнул выключателем, хотя и знал, что электричества нет. Как ему не хватало этого утешительного сияния, когда он снова обшаривал спальню слабым лучом фонарика. Он не пытался зажечь масляную лампу — еще толком не научился этого делать. Эдвард провел в Сигарде уже несколько дней, и нынешние ночные странности были не первым его опытом, подтверждавшим необычность этого дома. Две ночи назад он слышал другой звук и безошибочно определил его: где-то совсем рядом по линолеуму прошлепали детские ножки в кожаной обуви. Он не знал, почему именно так идентифицировал этот звук. Он не мог вспомнить ни одного сна, который объяснил бы это впечатление, но совершенно не сомневался, что слышал (что ему не приснилось) именно бегущие ножки. И вот сегодня — звук разбивающегося стекла. Он посидел на кровати, в одной руке сжимая фонарь, а другую прижав к бешено колотящемуся сердцу. Он никому не сказал о топающих ножках. А теперь — нужно ли ему говорить об этом стекле, осколки которого все еще дребезжали в его ушах? Он как будто стыдился таких переживаний. Его часы показывали половину третьего. Тем не менее

Эдвард встал и открыл один ставень в надежде увидеть рассвет. Безлунная ночь была тихой и очень темной. Беттина научила его отличать крики совы-самки от уханья самца, и он был бы рад знакомым звукам. Но совы молчали. Не было слышно даже дождевых капель, только вязкая, бархатная тишина. Эдвард выключил фонарик. Он не хотел, чтобы его увидели снаружи. Подождал немного и положил руку на раму, которая была чуть приподнята за ставнями, чтобы закрыть ее, но тут опять послышался шум. Поначалу очень тихо, потом громче, похоже на скорбное завывание, постепенно перешедшее в настоящий визг, — оно словно родилось в вое ветре и тут же прекратилось. Эдвард резко захлопнул окно, закрыл ставни, улегся в кровать и натянул на голову одеяло.

Хотя все прошедшие дни он каждую минуту ждал появления Джесса, тот так и не вернулся. Как же он вернется и какой будет их первая встреча? На машине не проехать, на шоссе от постоянных дождей стояла непролазная грязь. Может быть, Эдвард увидит, как Джесс подходит к дому? Его высокая энергичная фигура появится вдалеке — властная фигура короля, возвращающегося в свои владения. Или он вдруг объявится вече-

ром за ужином, материализуется из ниоткуда, а пока все хранят секрет, чтобы удивить Эдварда. Или Эдварду вдруг скажут: «Давай скорее, Джесс приехал! Он в Атриуме, хочет тебя видеть. Не заставляй его ждать». А может быть, во время грозы он проберется через болота, выйдя из моря, как рыбак или морское чудовище. Мысль о встрече с отцом пугала Эдварда, а порой — время шло, хозяина все не было — уже казалась невероятной, невозможной. Но пока Эдвард ждал, привыкал к рутине бесконечной работы, прерываемой строго размеренными промежутками для отдыха, как в монастыре, где добродетельная невинная жизнь течет себе потихоньку заведенным порядком. Завтрак начинался в семь, а работа продолжалась до обеда в два часа («Джесс любит, чтобы утро было долгим»), потом снова работало половины четвертого, потом отдых до четырех пятнадцати («Спи два раза в день и получай два дня по цене одного, как говорит Джесс»), потом работа до половины седьмого («Чаепитий мы не устраиваем»), потом «досуг», потом в восемь часов ужин, после которого снова «досуг» до половины одиннадцатого, потом необходимые работы перед сном (вымыть посуду после ужина, подготовить завтрак, прибраться, запереть двери). А потом

долгожданный сон — бессознательное состояние. Эдвард уже научился выполнять ряд не требующих особого умения работ, подражая при этом спокойной деловитой сноровке, пример которой ему во всем подавали женщины. Он без конца автоматически переносил туда-сюда вещи, выучил все «промежуточные станции», куда складывали груз — тарелки, белье, одежду, инструменты, пока они не добирались до места назначения. Он скрупулезно выполнял инструкции Беттины: никогда не ходить пустым, всегда действовать двумя руками (после того как она увидела, что Эдвард перекладывает что-то и держит тарелку одной рукой), носить много, но не слишком (после того как Эдвард оплошал из-за чрезмерного усердия). Он мыл посуду, стирал белье в стиральной машине, работавшей от драгоценного генератора, копал грядки и пропалывал их, заправлял масляные лампы, поливал растения в горшках, как-то раз помог Беттине зацементировать трещины в стене конюшни, приносил дождевую воду для питья и готовки («В колодезной воде полно нитратов!»), чистил лук и картошку, нарезал листья салата очень острыми ножами, пилил и таскал дрова, топил печи, подметал плиточный пол Атриума. Он протирал пыль. Ему втайне доставлял

удовольствие тот факт, что в Сигарде, несмотря на бурную деятельность его обитателей, было ужасно грязно: почерневшие деревянные панели, облупившиеся двери, паутина, на полу обрезки овощей, в углах старые гвозди, дощечки, комки грязи. Как-то раз Илона увидела, с каким усердием он скоблит какую-то деревяшку в Переходе, и сказала ему: «Брось! У нас на такие вещи нет времени». К тому же в огромном здании (Эдвард никак не мог заставить себя думать о Сигарде как о доме), несмотря на все прилагаемые усилия и потепление, стоял необъяснимый холод. Большая немецкая изразцовая печь почти не влияла на температуру в Атриуме, а камин в Затрапезной никогда не протапливали раньше половины седьмого. Эдвард скоро привык к холоду и не пытался реанимировать обогреватель в своей комнате. Беттина обещала открыть ему секреты работы с генератором и насосом, подававшим колодезную воду — не из декоративного колодца во дворе Селдена, а из тайного домового, расположенного под полом кухни, где огромная чугунная плита, длинная и громоздкая, как носорог, непрерывно пожирала приносимые Эдвардом дрова. Кухня была единственным теплым помещением в доме. Но Беттина так пока и не удосужилась

ничему научить его. Честно говоря, он был этому рад. В городе-государстве по имени Сигард он предпочитал исполнять сравнительно безответственную роль необученного чернорабочего. К тому же Беттина вполне могла оказаться требовательным учителем. С техникой, как тут говорили, всегда что-то случается, и Эдвард не хотел, чтобы на него ложилась вина за поломки. Пока никто его ни в чем не винил, но напряженная атмосфера наводила на мысль о возможной неудаче, к которой он не был готов.

Его устраивало то, что им руководили; его устраивала постоянная занятость, когда он мог существовать, не думая, словно раб или вьючное животное. Порой, когда накатывала усталость и изнуренное тело противилось непривычным усилиям, он испытывал желанное ощущение вырождения. Ему казалось, еще немного, и он сбросит бремя сознания, превратится в животное, в четвероногое существо, которое опускает голову и смиренно подставляет спину под вьюки; что он сожмется до размеров крысы, мыши, жука, станет засохшей чешуйкой вроде тех маленьких древесных плодов, что хрустели у него под ногами на холме; что он превратится в прах и таким образом избегнет мучений жизни. Но

разве каждая частица праха не наделена проклятием памяти? Он превратится в атом, электрон, протон… И эти мысли снова приводили его к мучительной боли рефлектирующего «я». Эдвард сидел в Затрапезной во время принудительного «досуга» и страдал, исподтишка поглядывая на женщин. Они встречали его виноватый взгляд и одобрительно улыбались, но ничего не говорили. Молчание было не обязательным, но обычным состоянием. После срочных и важных «командных» работ в течение дня досуг казался нарочито бессмысленным. В руках у женщин были пяльцы, но вышивка почти не двигалась. Матушка Мэй нередко проводила время за починкой одежды, но на время отдыха откладывала работу в сторону, расслаблялась, ее красивые серые глаза пустели, губы изгибались в едва заметной улыбке. Эдвард замирал на стуле и жалел, что не может, как она, уйти в никуда. Илона задумчиво чиркала пастельным карандашом в одном из своих блокнотов. Беттина изучала книгу об африканских ремеслах. В книжном шкафу, кроме томов по архитектуре и дизайну, стояло несколько английских романов девятнадцатого века. Они покрылись пылью и никогда не покидали полок. Да и зачем женщинам эти истории насилия? Это

как наблюдать за дикарями, делающими вид, будто они умеют читать. Сам Эдвард пытался скрасить скуку писанием стихов, но ему никак не удавалось сосредоточиться, и он тайно томился этим навязанным бездельем, покрывая бумагу разными закорючками или записывая всякие глупости.

После первого утра Эдвард больше не слышал серенад под окном спальни, хотя время от времени до него (когда он работал в саду) доносился короткий далекий звук флейты — игра довольно безыскусная. Наверное, это Илона, думал он. В Затрапезной имелся проигрыватель и несколько пластинок классической музыки, но Эдвард не решался попросить, чтобы его включили. Кроме того, гостя тактично исключили из другого ритуала — утренних «упражнений». Они происходили перед завтраком на траве за конюшнями и (он исподтишка наблюдал за женщинами) больше походили на танцы.

— Это китайцы придумали, — сообщила ему Илона. — Разновидность гибких движений, медленных и ритмических.

— Это естественный ритм тела, — заявила Беттина, — а не какие-то дергания, которые большинство людей называют упражнениями.

— Мы соблюдаем правила Джесса, — сказала матушка Мэй. — Он мистик. Восточная мудрость учит единству духа и тела: внешнее есть внутреннее, а внутреннее — внешнее.

Эта информация была предоставлена ему торжественно, но приветливо и легко. Когда Эдвард сказал, что хотел бы присоединиться к ним, в ответ он услышал смех.

— Чтобы этому научиться, нужно сто лет, — ответила Илона.

А вот вина, которое они пили в день его приезда, больше не было. Однако Эдвард успевал так устать и проголодаться ко времени очередной трапезы, что не испытывал потребности в алкоголе. Еще он привык к очень простой однообразной вегетарианской пище. Несмотря на простоту, вечерняя трапеза даже в обычные дни представляла собой некую церемонию. Женщины надевали красивые платья, а Эдвард — длиннополую холщовую рубаху Джесса. Матушка Мэй выдала ему это одеяние взамен «вечернего костюма», и он чувствовал себя в нем неловко, хотя уже привык к ботинкам Джесса: они пришлись в самый раз.

Эдвард пользовался правом гулять во время дневного отдыха и даже немного дольше. Он ценил свое одиночество. Один раз он попытался

вернуться в дромос, или, как он это называл, в «священную рощу». Его интересовало, будут ли там новые подношения в виде цветов. Кто приходит туда? Но река разлилась еще шире, каменный мост почти полностью скрылся под водой, а перебираться на другой берег по деревянным перекладинам казалось слишком опасным делом. Из какой-то робости или почтительной неловкости Эдвард никому не сказал о том, что обнаружил это место. Как оно связано с Сигардом, спрашивал он себя? О ночных звуках он тоже помалкивал. И ни женщины, ни Эдвард не упоминали о «том, что с ним случилось», о чем писали в газетах и что стало поводом пригласить его сюда. Несмотря на постоянное, даже чрезмерное дружелюбие хозяек, он по-прежнему немного нервничал в их присутствии, и эта неловкость ничуть не походила на его страх перед Джессом. Кроме того, каждая из троицы тревожила Эдварда по-своему. Легче всего ему было с Илоной, но, поскольку она была самой младшей, он боялся, что исходящая от него энергия как-то повредит ей или повлияет на нее. Что касается Беттины, то она во время работы порой бывала грубовата и излишне критична, и в то же время Эдвард ощущал отзвуки каких-то сильных

эмоций — возможно, так проявлялась ее сильная, поглощенная собой натура. Матушка Мэй, как самая старшая, играла более простую роль доброй матери. Она выражала любовь к Эдварду более непосредственно: ласкала его и заботилась о нем, создавая пространство, где он объединялся с ней. Однако она ни разу не поцеловала его, как и обе ее дочери. Поцелуи, столь дешевые в студенческом мире Эдварда, в Сигарде ценились дорого. Прекрасное, тонкое, спокойное лицо матушки Мэй, на котором при дневном свете становились видны крохотные морщинки, было на удивление моложавым, но одновременно выражало уверенную и сдержанную властность. Когда вечерами женщины заплетали волосы в тяжелые косы, они напоминали трех средневековых принцесс. «Три заточенные в замке принцессы, ожидающие своих рыцарей», — с трепетом думал Эдвард. Он чувствовал, что матушка Мэй наблюдает за ним, словно ждет чего-то. Возможно, некоего суждения, которое будет вынесено совместно с Джессом. Они обсудят Эдварда, взвесят его и оценят. Королева, ожидающая короля. Изменится ли она, когда он вернется?

Эдвард испытывал удовлетворение при мысли о том, что побег полностью удался и никто

о нем не узнал. На новом месте дышалось свободнее. Он пытался расслабиться и погрузиться в странную жизнь Сигарда, которую определил как «богемное пуританство». Однако прежняя навязчивая чернота не отпускала. Когда Эдвард гулял в одиночестве — прогулки стали более скучными, потому что он не мог пересечь вышедшую из берегов реку, — когда шел по тропинке к дороге или в окрестные ровные поля, он смотрел на деревья, на цветы, на низкие белые облака, плывущие по бескрайнему небу; но так же четко, как и прежде, он видел лицо Марка, его гордо посаженную голову и огромные глаза. Перед ним снова мелькали подробности страшного вечера. В пустой соседней спальне он обнаружил небольшую картину Джесса, и она потрясла его: несколько персонажей собрались в комнате и явно пребывали в молчании; они либо ждали катастрофы, либо только что услышали о ней, и горе кристаллизовалось на этом холсте в виде чистого ужаса. Эдвард думал, глядя на сельский пейзаж и соборoподобные очертания Сигарда на горизонте: все это иллюзия, сон, пелена, нечто, прикрывающее истину; но от смерти меня спасет только обращение к истине. Спасет или преобразует смерть во что-то иное. Во что? Наверное, в

жизнь. Но хочу ли я жить любой ценой, хочу ли я спастись? И разве есть какие-то другие смерти, кроме одной-единственной, обычной, когда ты испускаешь дух и прекращаешь существование, а все обещанные превращения становятся фикцией? Стать мертвым, как мертв Марк, — в сравнении с этим ничего не значит та мысль, которую постоянно и подспудно навязывают ему три женщины: что он приехал в дом исцеления. Все это пустая магия, думал он. Раскрашенные облака, заблуждение, неверный путь. Но конечно же, жизнь, смерть и истина теперь зависят от Джесса.

— Скорее, Эдвард, скорее! Посмотри, как Беттина дразнит паука!

Эдвард бросил нарезать базилик и одуванчики на кухне и поспешил в нижний коридор Западного Селдена, откуда доносился взволнованный крик Илоны. Он последовал за ее приглашающим жестом в одну из комнат внизу.

Она называлась Упряжной в память о тех днях, когда, по словам Илоны, у девочек имелись пони, а теперь превратилась в кладовку для разбитой мебели. Эдвард пока не отваживался заходить в Восточный Селден, если его туда не звали.

У покрытого пылью подоконника Беттина

сражалась с большим черным пауком. Паук был очень толстый, с плотным туловищем и гнутыми лапками; создавалось впечатление, что его выступающие глаза сердито уставились на противника. Он явно жил в серой ворсистой занавеске с бездонной дырой в середине, висевшей в углу у окна, но Беттина не пускала его туда, отталкивая пером. Паук пробовал разные способы — то делал вид, что отступает, а потом кидался вперед, то притворялся мертвым, а потом внезапно лез по оконному стеклу. Все бесполезно. Беттина с улыбкой отбрасывала паука назад, возводила преграду или ловко подхватывала его пером и переставляла на другой конец подоконника, откуда он возвращался сердитой пробежкой.

— Только не покалечь его! — попросила Илона.

— Конечно, я его не покалечу.

Тут она чересчур резко взмахнула пером и скинула паука с подоконника. Тот звучно шмякнулся и исчез из виду под ножками перевернутого стула. Беттина отвернулась.

— Ой, он не разбился?

— Да нет же, глупая!

— Как ты думаешь, он найдет путь домой?

— Найдет. Или сделает себе новое жилище. Они

работают быстро, в отличие от некоторых.

Илона неожиданно чуть ли не истерически выкрикнула:

— Ой, бедненькая зверушка!

— Прекрати! — резко сказала Беттина.

Эдвард пришел на помощь Илоне и произнес:

— Я никогда не видел в доме столько пауков.

— Пауки в этом доме священны, — ответила Беттина.

— Они принадлежат Джессу, — подтвердила Илона, успокоившись.

— Если Эдварду не нравится паутина, мы ему поручим выловить всех пауков, какие есть доме, — сказала Беттина. — А если он покалечит хоть одного, мы его накажем!

— Я просто обожаю пауков и паутину, — поспешно заверил Эдвард.

— Ну вот и хорошо, — сказала Беттина.

Эдвард вслед за девушками вышел из комнаты и двинулся в кухню. Сцена с пауком взволновала его.

— Ах, божественный запах базилика! — воскликнула Илона, увидев плоды недавних трудов Эдварда.

— На кухне всегда пахнет базиликом, — отозвалась Беттина. — Мы выращиваем его круглый год

в теплицах и в доме.

— У нас тут разные травы, — сказала Илона, показывая на ряды связок, подвешенные к балкам. — Матушка Мэй все о них знает, она готовит лекарства. Если тебе что-то нужно, ты ей только скажи.

— Эдварду не нужны никакие лекарства, — возразила Беттина.

— Ты хорошо спишь? — спросила Илона.

— Да, — ответил он. — Только…

— Что «только»?

— Ночью я слышал необычный шум.

— Какой?

После некоторой паузы Эдвард пояснил:

— Я слышал что-то вроде завывания… какой-то рев… никак не мог понять, откуда он.

Он инстинктивно выбрал шум, объяснить который было легче всего.

— Это камышовки-барсучки, — тут же сказала Илона.

— Камышовки-барсучки?

— Да, такие птички. Они поют по ночам, но совсем не так, как соловьи. Они производят довольно резкие звуки…

— Не думаю, что…

— Или совы. Беттина умеет призывать сов,

правда, Бет? И еще она умеет производить звуки, которые слышат только животные.

— Ты никогда не жил за городом, — сказала Беттина. — В деревне по ночам полно странных звуков. Может, это лисы спаривались, но, скорее всего, это был дикий осел.

— Я никогда не слышал о диких ослах.

— Ну вот теперь слышишь. В лесу живут несколько ослов. Они удивительно кричат, в особенности весной.

— Я бы хотел их увидеть…

— Ничего не получится — они такие же осторожные, как барсуки. К тому же они опасны. Они ужасно свирепые.

— Значит, у вас тут сверхкомары и суперослы!

— Я ему говорила про москитов, — сказала Илона. — Они и в самом деле опасны, очень крупные и живучие. От них можно заболеть ужасной малярией.

— Держись подальше от болота, — посоветовала Беттина, — и от леса тоже. В это время года. Слушайте, шли бы вы оба куда-нибудь. Я должна поработать с этим стулом. Составь компанию Эдварду, Илона. Сходите к шоссе, прогуляйтесь по тропинке. До обеда еще есть время. Идите, идите. Илона такая ленивая!

— Постой, Эдвард, я должна найти мой плащ!

Они вышли из дома в ботинках и плащах, и ветер принялся задувать им в спину. Илона и Эдвард впервые отправились на прогулку вместе и чувствовали себя довольно неловко, двигаясь по аллее между рядами крупных черно-белых кремневых голышей неправильной формы.

— Мне поначалу казалось, что эти камни уродливые, — заметил Эдвард, — но теперь я думаю, что они очень красивые.

— Да. Джесс их любит. Они вдохновляют его на создание скульптур.

— Не знал, что он скульптор.

Илона ничего на это не ответила, и Эдвард добавил:

— Они с морского берега?

— Нет, их можно найти в поле, как… как сокровища, как волшебство. Разлученные друг с другом и одинокие. Кремневые голыши с берега совсем другие: они меньше, ровнее, и цвет у них коричневатый.

— А пляж тут есть?

— Очень каменистый. Раньше вдоль берега шла железная дорога, но это было давно. Теперь мы отрезаны от остального мира, и это здорово.

— Мне бы хотелось сходить на море. Туда мож-

но попасть этим путем?

Он повел рукой вправо, в сторону поля, на котором всходила молодая зелень.

— Нет, в той стороне нет ничего, да и фермер никого не пропустит. Жаль, что вид тут такой унылый. На этом поле растет рапс.

— Что-что?

— Рапс — из него масло делают. В мае у него такой прекрасный желтоватый цвет… Ты еще увидишь.

«Увижу ли?» — спросил у себя Эдвард.

— Значит, эта не ваша земля?

— Нет, у нас только часть этого болота, леса и заливных лугов. Мы ведь небогаты, ты уже знаешь. Нам приходится работать и продавать вещи. Я делаю всякие ювелирные штучки…

— Ты мне покажешь? Еще вы шьете…

— Да. А матушка Мэй ткет ковры и рисует рождественские открытки, делает подарочные коробочки и замечательную вышивку…

— А что делает Беттина?

— У нее нет особых художественных наклонностей. Она училась живописи, и руки у нее золотые. Она тебе и какую угодно мебель сделает, и керамику — один наш друг продает ее изделия в Лондоне.

— А вы ездите в Лондон?

— Ну, я бывала в Лондоне.

«Но не часто, — подумал Эдвард. — Он их тут как в тюрьме держит?»

— Я совсем не путешествовала. Джесс и матушка Мэй жили в Париже. И Беттина там была. А я нигде не была. Прежде я хотела стать танцовщицей…

— Странно, и я тоже! Я когда-нибудь свожу тебя в Париж… Вы все такие умные. А вот картины Джесса — вы их продаете?

— Сейчас мы не хотим их продавать. Ты видел только его ранние картины, но у него было несколько периодов. Сначала черно-желтый абстрактный период, потом героический экспрессионистский — мы это называем «королевским периодом», он тогда писал много больших фигур королей, животных и сражающихся людей. Затем «позднетициановский» период, когда он вернулся к своим ранним идеям, но уже по-другому: картины стали темными и как бы сумеречными, но в то же время полными света. Потом у него был тантрический период с замечательными цветами, когда он все время писал начало или конец мира. Некоторые его работы очень эротичны, ты увидишь…

— Надеюсь, ты мне покажешь. Когда он возвращается?

— Я думаю, очень скоро.

— Что это за шум?

— Электрическая пила. Это лесорубы, они валят деревья по другую сторону реки — там много леса. Мы их недолюбливаем. Они каким-то гербицидом травят весь бутень вдоль дороги и уже погубили несколько орхидей. И все же иногда они нам помогают.

Некоторое время они шли молча. В гулкой тишине звук пилы казался каким-то потусторонним.

— Знаешь, я слышал ночью и другие звуки.

— Да?

— Да. Я слышал жуткий звук, будто билось стекло. И еще — словно по дому бегают дети.

Илона надела плащ поверх своего простого будничного платья и подняла воротник, на котором лежала ее рыжеватая коса, доходившая ей почти до талии. Сверху волосы были прикрыты маленькой шерстяной синей шапочкой. В плаще она казалась совсем девчонкой — маленькая, как подросток, с пухлыми щечками, покрасневшими на холоде. Ее вполне можно было принять за четырнадцатилетнего мальчишку. Она похлопа-

ла себя по шапочке, натянула ее на уши, потом ответила:

— Звук битого стекла — это полтергейст. Один из его трюков. Он может быть очень громким. Последнее время он этим не занимался. Я думала, он нас оставил.

— Ты говоришь так, будто видела его своими глазами! А ты что-нибудь слышала?

— Нет.

— А другие звуки — детские шаги?

— Это что-то из прошлого, — сказала Илона.

— Что ты имеешь в виду?

— Ты спишь в старой части Селдена. Иногда явления из прошлого возвращаются. Это не призраки, это особые явления. Я не верю в привидений или духов умерших. Это, как и полтергейст, что-то механическое, что-то естественное, мы просто мало что о нем знаем. Может, мы улавливаем волны, исходящие от других людей, от ушедших людей. Что-то такое, что видел или слышал другой…

— Потрясающе, что ты все это принимаешь как нечто само собой разумеющееся. Может, ты телепат? Ты видишь и слышишь то, что недоступно другим?

— Я слышала полтергейст. Но ничего не ви-

дела. А вот Джесс видел. У него колоссальное чувство прошлого. Видишь там такой короб? Наш почтовый ящик. Ключ от него есть у Беттины и почтальона. Если хочешь отправить кому-то письмо, отдай ей, а она оставит его здесь, чтобы почтальон забрал.

Они добрались до дороги. Шум электрической пилы прекратился. Начался дождь.

— Я не хочу никому писать, — сказал Эдвард. — А ты не хочешь посмотреть, нет ли писем для тебя?

— Ну, я писем не получаю. Вот и дорожка. Но смотри, дождь зарядил…

— Давай вернемся.

Они развернулись, и восточный ветер ударил им в лицо. Когда впереди появился Сигард, Эдвард сказал:

— Этот дом такой странный. Иногда он кажется сделанным совершенно непостижимо… То есть я не понимаю его, и это словно делает его невидимым.

— Я тебя понимаю. Джесс хотел, чтобы его было трудно охватить взглядом.

— Может, это как-то связано с его пониманием прошлого! Илона, тебе сколько лет?

— Восемнадцать. А Беттине двадцать четыре.

— Я думал, она старше. А о тебе думал, что ты младше. Слушай, Илона…

— Что?

Эдвард смотрел на Сигард, и ему казалось, что строение сейчас исчезнет, а существует пока только благодаря ему, Эдварду. Он не мог вспомнить, что собирался сказать Илоне. Радовался он тому, что она его сестра, а не просто знакомая девушка, или огорчался? Ему очень хотелось поцеловать ее. Не отводя глаз от дома, он нащупал ее холодную руку и сжал в своих пальцах.

«Мои руки стареют, — думала Мидж Маккаскервиль, — кожа на них высохла, вздулись вены, скоро пойдут морщины». Они сидела в гостиной дома в Фулеме. В комнате было полно тюльпанов: желтых, которые она купила этим утром, и пестрых, присланных ей Урсулой. Желтые тюльпаны стояли вертикально в черных веджвудских[34] кувшинах, а пестрые, с красными и белыми полосками изящно свешивали головки из причудливых сиреневых ваз в стиле арнуво. Мидж внимательно разглядывала их. Она любила эту особую тишину, которую создавала в комнате неподвижная жизнь цветов. Потом,

---

[34] Примечания: 34

«Веджвуд» — известная фирма, производящая фарфоровые изделия.

вернувшись к своей работе — она перешивала платье, — Мидж не могла не бросить взгляд на свои руки. Она смело укоротила платье на фут; в последнее время она не надевала его. Периодически Мидж делала ревизию своей одежды и сейчас, купив два ярда довольно дорогого материала у «Либертис», намеревалась вставить два клина в юбку и расклешить ее. Ей нравилось перешивать платья. Среди вещей, доставлявших удовольствие ее сердцу, на первом месте стояли цветы, а на втором — одежда. Томас как-то сказал (в шутку, конечно): «Тебе нужно было стать ботаником или портнихой!» Но это лишний раз свидетельствовало о том, как мало он ее понимает. Цветы и одежда (хотя Мидж занималась ими, убивая время) были для нее занятиями созерцательными: они замедляли бег времени до состояния абсолютного покоя. Когда она шила или возилась с цветами, движения ее становились очень медленными, а порой она совсем замирала. Ей нравились иголки, цветные нитки и само действо вышивания. Швейной машинки у нее не было. Томас говорил, что ему нравится смотреть, как она вышивает, это его успокаивало. Теперь она глядела на свои руки — правая, державшая иголку, замерла над куском шелковой

материи с черно-красным узором. Игла так блестела, была такой острой и целенаправленной. А на ее руках лежала печать тления. Вставки из простого красного шелка отлично подошли к черно-красному материалу, и она даже подумала (но все же отвергла эту мысль), не сделать ли что-нибудь «из ряда вон», добавив их спереди и сзади. Аккуратно распоротое шелковое платье лежало у нее на коленях, как настоящий восточный ковер, усеянный маргаритками. День стоял солнечный, шторы в мелкий цветочек были раздвинуты до предела, дверь на балкон открыта. Маленькая белая чугунная лестничка с балкона вела в сад, где вовсю цвела слива. Уже начали вянуть крокусы, а время роз еще не наступило. Каменная львиная голова в кирпичной стене должна была источать воду в прудок под ней, но Томас так и не удосужился доделать это до конца. На маленькой аккуратной лужайке у стены Мидж посадила густые «старые розы», кусты с листьями красивой формы, веронику, молочай, буддлею, скумпию и японский клен.

В этот день Стюарт Кьюно собрался встретиться и поговорить с Томасом. Она знала: Томас дал Стюарту понять, что ждет его, и был доволен (хотя и пытался скрыть это), когда Стюарт позво-

нил и сообщил, что приедет. Предположительно разговор пойдет об Эдварде. Томас отменил прием пациента (не мистера Блиннета, конечно), что было для него необычно, и рано вернулся домой из клиники. Он радовался предстоящей откровенной беседе. Мидж подумала, что ее муж с нетерпением ждет этой встречи, потому что собирается вонзить когти в Стюарта. Она испытывала неприятные чувства при мысли о том, что Томас и Стюарт встретятся наедине и, возможно, будут говорить на деликатные темы. Стюарт не очень-то нравился Мидж. Она принадлежала к тем людям, кто не доверял ему и опасался его. Юноша казался ей неестественным, странным и холодным.

— Ты говорил с Мередитом об этих наушниках? — спросила Мидж у Томаса, только что вошедшего в комнату. — Урсула говорит, что они вредят слуху.

Она услышала свой голос, жалобный и неубедительный. Но уловил ли Томас эту интонацию? Похоже, нет.

— Да, я с ним говорил, — ответил Томас. — Все верно. Что ты делаешь с этим платьем?

— Укорачиваю и расширяю.

— Такое красивое платье. Ты сегодня сделала

прическу?

— Нет. Ты разве не видишь?

Томас стоял у окна, глядел в сад и улыбался. На его лицо — умное, проницательное, ироническое, лукавое и самодовольное, когда-то бывшее для Мидж таким красивым, — падали солнечные лучи.

«Он совсем не думает обо мне, — сказала себе Мидж. — Он заслуживает того, чтобы потерять меня. Он считает, что любая моя деятельность — это игра. Может, так оно и есть. Кроме одного. Кроме одного, кроме одного. О господи, как мне жалко себя… и Гарри… и Томаса…»

— Где Эдвард? — спросил Стюарт Кьюно у Томаса Маккаскервиля.

— Убежал.

— Но вы знаете куда?

— Да

— И он в порядке?

— Этого я не знаю. Что, Гарри волнуется?

— Не очень, — ответил Стюарт. — Он полагает, что вы контролируете ситуацию. Кстати, я по пути заглянул в комнату Мередита и мне не очень понравились плакаты, которые он у себя расклеил. Некоторые довольно мерзкие.

Они находились в кабинете Томаса, и Стюарт

отказался сесть в кресло, где не так давно сидел Эдвард. Он вышагивал туда-сюда, разглядывая картину Клайва Уорристона, посматривал на книги Томаса, любовался розоватой пеной цветущей сливы в саду. Стюарт, конечно, видел это и раньше, но теперь он хотел впитать все в себя и запомнить навсегда. По его виду нельзя было сказать, что он нервничает, — просто немного возбужден и переполнен эмоциями. Его светлые волосы примерно той же длины, что у длинношерстной собаки, чуть завивались и спадали на шею. Его янтарно-желтые глаза, тоже почти звериные, были влажны, как от недавнего смеха или, может быть, душевного расположения, — так иногда влажнеют собачьи глаза; его свежие губы, по-детски розовые, то надувались, то улыбались едва заметной улыбкой, словно отражали быструю игру мысли. Одет он был для теплой погоды: в мешковатые светло-коричневые брюки и синюю рубашку с открытым воротом, не очень аккуратно заправленную. На мгновение Томас увидел в нем просто жизнерадостного и здорового молодого человека. Это так бросалось в глаза (а Стюарт и в самом деле был жизнерадостным и здоровым молодым человеком), что Томас вспомнил, в какой необычной ипостаси видел недавно

своего юного друга. Ему не потребовалось много времени, чтобы понять: Стюарт искренен в своем «новом периоде». Но насколько он искренен — оставалось под вопросом.

— Значит, ты еще не решил, что хочешь делать. Я имею в виду, где ты хочешь работать?

— Жаль, что я вообще затронул эту тему, — сказал Стюарт, нахмурившись.

— Понимаешь, люди будут задавать вопросы, в том числе весьма нескромные — насчет твоей сексуальной жизни.

— Да

— Ты все еще воображаешь, что должен отвечать на все вопросы быстро и искренно. Но тебе вовсе не обязательно оглашать свои планы. Ты просто должен исполнять их.

— Мне стоило не говорить о безбрачии, — сказал Стюарт, — а просто реализовать это. Да, вы правы. И все же я не мог солгать. И не хочу уходить от вопросов.

— Ты думаешь, можно быть абсолютно правдивым? Проблемы такого рода большинство решает инстинктивно и неправильно, даже не замечая этого. Но давай все же продолжим о работе, если ты не возражаешь.

— Да нет, не возражаю. Я, конечно, могу и

не найти совсем ничего, это сейчас случается. Я думал о чем-то связанном с заключенными — например, с условно осужденными… Или социальная работа, что-нибудь с жилищными вопросами, или…

— Помогать людям не так-то просто, — сказал Томас. — Они могут ненавидеть тебя за это. Может, тебе лучше заняться какими-то интеллектуальными исследованиями? Ты всю свою жизнь учился, тебе будет недоставать этого.

— Я думаю, мне придется пройти какой-нибудь курс. Как бы там ни было, я собираюсь продолжать учебу, в этом все дело. Хотя бы одному я научился в этой жизни — умению учиться.

— Пойти в ученики к добродетели — да, это особый случай. Но я имел в виду продолжение занятий наукой, книжное учение.

— Я хочу уйти от абстрактных вещей.

— А может, тебе стоит почитать что-то о твоем новом предмете?

— О чем?

— О религии, теологии, метафизике и тому подобных вещах.

— Томас, вы шутите!

— Нет, я закидываю удочку. Значит, у тебя нет искушения написать об этом, попытаться объ-

яснить…

— Написать?! Объяснить?!

— Ну хорошо, я лишь пытаюсь прояснить ситуацию.

— Слушайте, я не возражаю против книг, совсем наоборот. Дети теперь воспитываются на компьютерах, а не на книгах, это часть проблемы. Но вы, похоже, смотрите на мое образование как на груду пожитков, как на имущество, которое не стоит тратить впустую. Я больше не хочу заниматься наукой, я хочу начать с азов.

— Ну, это непросто. Ты уверен, что это не тот случай, когда «виноград зелен» лишь потому, что ты не можешь дальше оставаться звездой?

— Я не звезда.

— В математике ты добился блестящих результатов.

— Да, но такое по силам любому. Если в определенные моменты ты способен настраиваться на определенный образ мышления, то в математике в отличие от других наук ты непременно добьешься блестящих результатов. Но это не означает, что ты можешь сделать что-то еще или что-то более глубокое. Даже Ньютон в двадцать четыре года достиг своего пика и больше ничего не сумел. Но все это ерунда. Современный мир по-

лон теорий, и они множатся на неверном уровне обобщения. Мы так поднаторели в теоретизировании, что у нас одна теория порождает другую. Эту абстрактную деятельность люди ошибочно принимают за мышление…

— Да, я понимаю. Но разве нельзя стать теоретиком, подвергающим теоретизирование уничижительной критике?

— Можно. Но меня это не интересует. Меня страстно привлекают другие вещи…

— Хорошо. И что же это за вещи? Ты воображаешь, будто сумеешь спасти мир, если докажешь, что спасение возможно?

— Все превращают это в тайну или трагедию, а на самом деле это невероятно легко. Нужно просто не включаться в систему.

— В систему?

— Вы понимаете, что я имею в виду, это обычные вещи. Разложение — вы знаете, оно происходит так быстро…

— Да. Во второй раз на корриде чувствуешь себя спокойнее. Байрон писал, что ожесточился, побывав на двух казнях.

— И целомудрие…

— Говорят, что секс — это воплощение духа, даже его суть, и противиться этому опасно. Любая

духовность опасна, особенно аскетизм.

— Вы думаете, что я сломаюсь!

— Нет, не так просто.

— Для меня это все драматизация и обман. Чтобы приносить пользу, я должен жить просто и в одиночестве. В этом нет никакой мистификации. Священники именно так живут. Я мог бы пойти в католическую школу, в семинарию, принять духовный сан…

— Да, но ты этого не сделал.

— Я жалею, что этого не случилось… Стать никому не известным приходским священником… это как раз то, что надо, та самая работа, тот самый образ жизни…

— Но почему бы тебе теперь не подумать о принятии сана? Забудь о церковных догматах, они меняются. Теологи изо всех сил стараются заманить к себе именно таких, как ты. Теологическая спасательная экспедиция уже в пути. Скоро ты услышишь звук волынок.

Стюарт рассмеялся.

— Да, но все же это для посвященных. Потребуется немало времени, чтобы слово «Бог» перестало быть чьим-то именем. Мне вообще не нужен никакой бог, даже модифицированный и модернизированный. Я должен быть уверен, что

его не спрятали во всем этом. Бог — это антирелигиозная идея. Никакого Бога нет.

— О чем нам всегда говорили восточные религии. А почему бы тебе не…

— Восток меня не интересует. Я принадлежу к западной цивилизации. Здесь дела делаются иначе.

— Некоторые говорят, что Бог ушел далеко-далеко, что трансцендентность на некоторое время замолкла.

— Это акт в пьесе. Но никакой пьесы нет.

— Скажем так: Бог — это перманентный, неизменный объект любви. Разве мы не должны представлять что-то в этом роде?

— Есть множество таких вещей, и мы не должны представлять их в виде личностей, существующих где-то далеко. Мир полон ими, если приглядеться.

— Ты имеешь в виду символы, знаки?

— Вы будете говорить на профессиональном жаргоне…

— Деревья, животные, произведения искусства?

— Послушайте, я делаю только то, что сегодня должен делать каждый, я справляюсь сам и один. Не на какой-то там драматический и героиче-

ский манер. Без этой старой сверхъестественной шелухи.

— Люди скажут, что если ты один, то это, вероятно, твоя личная фантазия, вне реальности. Без мифологии, без теологии, без институтов… И ты, я полагаю, не ищешь учителя или гуру.

— Да нет, конечно. Только вообразить себе, что где-то на краю света в пещере сидит мудрец… Это сентиментальность, мазохизм, магия.

— Ты не хочешь принять обет послушания.

— Я уже принял обет послушания, только иного рода…

— Ты посвящен.

— Это все вместе, все мое существо, вся моя жизнь. Не то, чему посвящаешь лишь часть себя, не что-то дополнительное. Надо просто быть добродетельным, жить не для себя, а для других. Быть никем, ничего не иметь, служить людям — и отдаваться целиком. В этом все и вся, оно вопиет повсюду, и оно так глубоко, что поглотило меня, но в то же время это не полностью я…

— Постой. То, о чем ты говоришь, очень похоже на Бога. Ты говоришь, его нет, а потом ты сам хочешь стать им, принимаешь на себя его качества. Может быть, в этом и заключена задача нынешнего века.

— Я не сказал, что я Бог! Я хотел сказать, что путь… что путь к…

— Кафка писал, что нет никакого пути, есть только конец, а то, что мы называем путем, — просто дуракаваляние.

— Не могли бы вы повторить?

— Нет никакого пути, есть только конец, а то, что мы называем путем, — это просто дуракаваляние.

— Я об этом подумаю. Я только хочу сказать, что я, лично я, пытаюсь или хотя бы начинаю пытаться делать нечто такое, в чем я уверен, что очевидно, что я вижу повсюду.

— Повсюду вне тебя и внутри тебя. Внутри темнота, Стюарт.

— Вы хотите сказать, первородный грех. Меня мало волнуют эти сказки о виновности. И вы, конечно же, не о бессознательном!

— Только не говори мне, что ты в него не веришь.

— Ничего такого определенного не могу сказать. Я не думал об этом. Эта идея меня не интересует.

— Возможно, ты ее интересуешь. Не презирай эту концепцию. Бессознательное — не обиталище монстров, а резервуар духовной силы.

— Духи. Магия. Нет, мне не нравится то, что

вы сейчас сказали. Это плохая идея, она вводит в заблуждение.

— Ты говоришь, чувство вины тебя не волнует. Ты полагаешь, что никогда не испытаешь его?

— Я имел в виду, что это чувство не важно, оно даже может повредить. Человек должен исправлять и улучшать мир. Зачем калечить себя, когда есть столько дел?

— Значит, ты не завидуешь Эдварду в его крайней ситуации?

— Нет, с какой стати? — удивился Стюарт.

— Это один из способов разрушения иллюзии самодовольства.

— Вы считаете меня самодовольным?

Томас задумался.

— Не уверен, — ответил он. — Твой случай путает концепцию. Я подожду, что будет дальше.

Стюарт рассмеялся.

— Мой отец говорит, что я гедонист, что я выбрал эгоизм высокой пробы!

— Если человек каждую ночь ложится спать с чистой совестью, ему можно позавидовать.

— Он имел в виду нарочитую бедность и жизнь за счет богатых друзей!

— Ты воображаешь, что хочешь вести упорядоченный однообразный альтруистический образ

жизни…

— Да скажите уже прямо — скучный образ жизни!

— Ты не считаешь, что он скучен. Часть энергии тебе дает твое хорошее мнение о самом себе. Значит, тебе захочется признания, даже драмы, радостей самоутверждения — победить и прослыть победителем.

— Вы меня провоцируете!

— Ты считаешь себя личностью исключительной.

— Тут есть нечто исключительное, но это не я. Вы думаете, что мне не хватает смирения.

— Тебе не хватает дара заурядности. Грубо говоря, у тебя слишком сильное эго. Ну разве это не ужасно? Ты не хочешь быть заурядным. Ты слишком много думаешь, чтобы быть заурядным.

— Я хочу стать невидимым. В некотором роде меня нет…

— Уже?

— У меня никогда не было ощущения собственного «я».

— Но это не означает отсутствия эгоизма, мой мальчик!

— Ну хорошо, в некотором роде это эгоизм.

— Это своеобразная безопасность. Одиночество

безопасно. Стоицизм безопасен. Никогда не удивляться, никогда ничего не иметь, а значит — не терять. Источник гордыни.

— Не думаю, что я стоик. На самом деле все гораздо хуже. Потому что я «воскормлен медом и млеком рая напоен»[35].

— Стюарт, присядь, пожалуйста. Мне не нравится, когда ты стоишь, прислонившись к окну. Мне кажется, что ты можешь выпасть. Давай-ка сюда, в центр всех вещей.

Стюарт сел в кресло напротив Томаса и уставился на него с нагловато-добродушным выражением лица. Томас помнил Стюарта еще ребенком и теперь дивился тому, что его лицо почти не изменилось, осталось гладким и сияющим, словно мальчик сохранил все свои лица, даже младенческие, и вот теперь сквозь приглаженные и наложенные друг на друга маски проглядывают острый ум и на удивление самоуверенное «я». Томасу пришлось напомнить себе, что перед ним сидит уязвимый, неопытный и, возможно, совершенно запутавшийся молодой человек. Он посмотрел на ухоженную золотистую бородку Стюарта.

---

[35] Примечания: 35

Из стихотворения «Кубла Хан» Сэмюэля Кольриджа. Перевод К. Бальмонта.

— Что это ты там говорил про мед?

— Что это замечательно. Меня переполняет счастье, когда я об этом думаю. Как если бы человек попробовал манны небесной и не захотел бы чем-то перебить этот вкус.

Томас рассмеялся. Его смех вскоре перешел в хохот, а Стюарт продолжал смотреть на него с улыбкой, с кротким интересом.

— Стюарт, ты бесподобен. Ты просто выключил себя из стадии человеческого эгоизма. Срыть гору легко, но изменить к лучшему характер человека значительно труднее. Но ты, похоже, решил, что уже сделал это одной силой мысли!

— Что плохого в мыслях? — отозвался Стюарт. — Мышление — разновидность действия. И почему меня должен беспокоить мой характер? К тому же это очень неопределенная концепция. Тут сразу подходишь к концу психологии, а в подробных моральных теориях вообще нет смысла.

— Именно это на днях сказал твой отец!

— Он имел в виду, что все это глупости. А я утверждаю, что разговоры о духовной жизни и тому подобном — материи слишком абстрактные. Тут дело не в объяснении. Многие важные вещи не имеют объяснений.

— Да-да, конечно. И умственная деятельность

— это тоже действие. Но твое мышление не есть теоретизирование, это не систематические мысли…

— Невинность — сильная идея. Чистота, святость… Идеи — это сигналы, или указатели, или убежища, или места, где ты можешь найти отдохновение… Мне трудно описать.

— Конечно. Из тебя так и сыплются метафоры. Ты молишься? Или что-то в этом роде. Медитируешь?

— Да.

— Ты умоляешь о помощи, зовешь благодать, да?

— Да.

— Ты преклоняешь колена?

— Ну… бывает иногда.

— Я не слишком бесцеремонен?

— Нет пока.

— И никто тебя этому не учил?

— Да нет, конечно же! Послушайте, Томас, это же совершенно обычные, нормальные вещи, ничего противоестественного в них нет!

— И все это естественным и безболезненным образом возникло из твоего туманного англиканского детства. В школе ты не был религиозен.

— Ну, есть и такая вещь, как взросление.

— А как насчет Иисуса?

— Что насчет Иисуса?

— Ты сказал, что тебе не нужен учитель. Но разве мимо Иисуса можно пройти?

Стюарт нахмурился.

— Он не учитель. Он, конечно же, присутствует. Но он не Бог.

— Ну хорошо. Я тебя терзаю? Или тебе нравится наш разговор?

— Вы все ставите с ног на голову. Я хочу уцепиться за этот мир напрямую, как… как художник…

— Как паук?

— Как художник. Я не воображаю себя каким-то там мудрецом, я не верю в мудрецов. И никакой программы действий нет, кроме одной: человек должен зарабатывать свой хлеб насущный, а мне очень хочется помогать людям. Это состояние души.

— А некоторые называют его затянувшимся детством. О да, благодатное ощущение взросления — счастливое чувство, свойственное некоторым юнцам. Сознательная, великолепная невинность. Хочется сохранить эту невинность навсегда, сберечь это видение благодати, ощущение всесилия и власти, не дать погаснуть этому свету… Да, это может показаться легким делом. Но, бог мой, тебя

неправильно поймут!

— Меня уже неправильно поняли!

— Да, но пока это не приносит вреда. Потом тебя возненавидят. Может, уже ненавидят. Тебя будут называть застенчивым импотентом, закомплексованным, отсталым в развитии, инфантильным… бог знает кем. Но неужели ты и в самом деле думаешь, что сумеешь прожить одной невинностью?

— Нет… Есть и кое-что еще.

— Например?

Стюарт помедлил.

— Ну скажи мне.

— «А ну-ка, канонир, забей заряд потуже, прицелься в тот корабль. Испании рабом не стану я, я — Божий раб»[36].

— Что ты несешь, Стюарт?

Стюарт произнес тихим голосом, словно открывал тайну:

— Мужество, всего лишь мужество. Готовность умереть. Звучит ужасно глупо, но эти поэтические строки в известном роде передают мою мысль.

— Любимое стихотворение всех юнцов. По

---

[36] Примечания: 36

Из стихотворения Альфреда Теннисона «Возмездие (баллада о флоте)», посвященного разгрому Великой армады.

крайней мере, так было когда-то. Твой отец наверняка его любил, и уж вне всяких сомнений — твой дедушка! Прости меня, ради бога!

— Я слишком много говорю.

— Ты говоришь прекрасно. Пожалуйста, продолжай. Поскольку мы перечисляем все самое важное, что ты скажешь о любви?

— О чем?

— О любви.

— Ах, о любви.

— Не хочу говорить вещи, которые ты называешь абстракциями или литературщиной и сентиментальщиной, но разве любовь не лежит в основе всего, что тебя заботит, твоего душевного состояния, твоего сладостного нектара?

— Я в этом не уверен, — ответил Стюарт. — Я думаю, любовь должна сама заботиться о себе. То есть она должна как бы самоуничтожиться.

— Самоуничтожиться?

— Она должна прекратить быть тем, что она есть. Поэтому она не может быть самоцелью…

— Я вижу, эта тема тебя смущает.

— Нет, просто я не могу о ней думать. Я, так сказать, хочу нырнуть в этот пруд там, где поглубже.

— Влюбиться?

— Нет, не влюбиться. Это как раз мелко.

— Но чтобы нырять поглубже, разве не нужно сначала научиться входить там, где мелко?

— Вовсе не обязательно. Но может быть, я мелю чушь. Я хочу сказать, что мне не нужны обычные отношения — близкая дружба или связи, обычно называемые любовью. Может, мне само слово не нравится, как и слово «Бог». Оно стало таким…

— Затертым?

— Вульгарным. Опошлилось.

— Если любовь не может быть самоцелью, то ты не сможешь понять, где надо «нырять». Это опасно, Стюарт. Мне нравится твоя мысль относительно Божьего раба — да-да, я знаю, ты не его имеешь в виду, — но это глубокое место, это океан. Он вздымается и порождает сам себя, он плывет и бурлит в себе и в себя, взаимопроникающий, свет внутри света и свет над светом, разбухание внутрь, затопление себя самого. Каждая часть вливается во все остальные части, пока он не закипит и не выйдет из берегов.

— И что это такое, секс? Бессознательное?

— Так описал Бога один христианский мистик.

— Он, наверное, был еретик.

— Да. Все лучшие — еретики. Есть княжества и державы, падшие ангелы, боги-животные, рас-

поясавшиеся духи, бродящие в пустоте, и все это нужно принимать в расчет. Апостол Павел это знал. Он был первым еретиком.

— Томас, пожалуйста, прекратите шутить. Я против падших ангелов, я против драм и тайн, против поисков учителей, отцов и…

— Отцов?

— Я хочу сказать, что у меня совершенно заурядный порядочный отец, и я не считаю это каким-то особым символом.

— Если уж мы заговорили об отцах, что ты скажешь о матерях? Как насчет твоей матери?

Стюарт слегка покраснел. Вид у него стал чуть не раздраженный.

— Вы хотите объяснить меня через мою мать?

— Ничего такого я не собираюсь делать. Я лишь хочу знать, что ты скажешь о ней.

— Не понимаю, почему я должен что-то говорить. Я не ваш пациент. К тому же я не знал моей матери.

— Ты думаешь о ней? Она тебе снится?

— Иногда. Но это совершенно не по вашей части, и мне бы не хотелось, чтобы вы касались этой темы.

— Хорошо, не буду.

Наступило молчание. Томас подумал, что

Стюарт сейчас встанет и уйдет. «Смогу ли я его остановить? Хочу ли?» Он опустил взгляд, поправил на столе ручки и пресс-папье, и на его лице появилась кошачья маска кроткой и отстраненной погруженности в себя. Стюарт посмотрел на Томаса и улыбнулся едва заметной улыбкой. Он поднялся с места, но снова сел и сказал:

— С моей стороны было бы неблагодарностью после этого разговора, когда вы вызывали меня на откровенность, не задать вам вопрос: вы хотите сказать мне что-то особенное?

— То есть посоветовать? Мне казалось, я тебе уже надавал советов…

— Вы, как сами признались, меня провоцировали, потому что хотели узнать, что я скажу! Давайте же, Томас! Вы задумались.

— Конечно, я о многом думаю, но я не вижу смысла на этом этапе выкладывать свои мысли. Может, позднее. Я еще сомневаюсь. Ты слишком поглощен самим собой.

— Вы хотите сказать, что я тщеславен?

— Нет, ты убедителен, красноречив, полон жизни. У тебя, похоже, две цели. Одна — быть невинным и самодостаточным, другая — помогать людям. И я думаю, не вступят ли эти цели в конфликт?

— Может быть.

Стюарт встал и вернулся на прежнее место у окна, потом посмотрел на часы.

— И еще: в тебе есть больше, что ты осознаешь. Ты не хозяин себе. Скажем так: твой враг сильнее и изобретательнее, чем ты себе представляешь.

— Опять ваша мифология, как вы любите такие картинки! Вы считаете, что я должен отправиться в ад и вернуться. Вы хотите, чтобы я пал и получил урок через грех и страдание!

Томас рассмеялся.

— Ты хочешь быть старшим братом блудного сына — тем типом, который никуда не уходил!

— Именно… Только он рассердился, когда его брат получил прощение.

— А ты сердиться не будешь.

«Пора это прекращать, — подумал Томас. — Мы устали и оба неплохо постарались, если учесть, как далеко мы могли зайти. А тут еще опасная тема. Лучше пока оставить все как есть. Но начало у нас сложилось».

Он поднялся на ноги.

— Мне пора идти, — сказал Стюарт.

Томас решил не спрашивать, куда он собрался, что будет делать, как намерен провести вечер. Его уже одолевало любопытство, касающееся

любых дел юноши и образа его жизни.

— Стюарт, — произнес Томас, — спасибо, что пришел. Мне было приятно говорить с тобой. Надеюсь, ты придешь еще, когда сочтешь нужным, и мы продолжим наш разговор.

— Нет, не думаю, что мы когда-нибудь еще будем говорить вот так. Если болтать, можно сглазить. Спасибо, вы помогли мне прояснить кое-какие вещи. Передайте, пожалуйста, Мередиту, что я жду его в субботу около десяти в обычном месте.

Томас открыл дверь, и Стюарт направился к ней, но снова закрыл ее и повернулся к Томасу.

— Я знаю, вы спрашивали меня о Христе, а я не ответил должным образом.

— Разве он не один из твоих знаков или убежищ? Один из тех вечных объектов, которые, по твоим словам, находятся повсюду?

— Да… Но еще я… я не могу принять идею воскресения — она уничтожает все, что было до этого.

— Кажется, я понимаю, — проговорил Томас.

— Мне приходится думать о нем на особый манер. Не о воскресшем, а о потерянном, разочарованном… Кто знает, о чем он думал. Он поневоле стал символом чистого злосчастья,

окончательной утраты, невинных страданий, бесполезных страданий. Всех этих глубоких, ужасных и непоправимых вещей, какие случаются с людьми.

— Да

— Есть еще одна вещь, о которой я думаю в этой связи, особенная вещь. Может, это звучит странно или кажется притянутым за уши…

Лицо Стюарта неожиданно вспыхнуло.

— Что? Продолжай.

— Мне сказал об этом один парень в колледже. Он посетил Освенцим, концентрационный лагерь, вы знаете, там сейчас что-то вроде музея. И он сказал, что самое ужасное, что он там видел, — это девичьи косы.

— Косы?

— Нацисты в этих лагерях, по крайней мере в некоторых, все утилизировали, как на фабрике…

— Например, делали абажуры из человеческой кожи.

— Да… И они срезали человеческие волосы, чтобы их использовать… Наверное, чтобы готовить парики… Там была такая экспозиция… — Стюарт помолчал, и Томасу показалось, что он вот-вот разрыдается. — Огромная гора человеческих волос, а в ней — длинные косы, девичьи косы,

аккуратно заплетенные. И я подумал… что было утро… когда какая-то девушка проснулась… заплела косу… так аккуратно заплела… и…

Пальцы Стюарта сжались в кулаки; он умолк, грудь его вздымалась.

— И ты связываешь это с Христом на кресте…

Стюарт помолчал несколько мгновений и сказал:

— Это нечто… особенное… абсолютное. — Потом он добавил: — Вы знаете, иногда я действительно ищу знаки. Или знак.

— Разве это не форма магии?

— Да. Я открыл вам свою слабость!

Стюарт улыбнулся, и эмоции, переполнявшие его несколько секунд назад, внезапно исчезли, словно их и не было.

Стюарт ушел, а Томас сел за свой стол и замер. Его разум совершал сложнейшие и интуитивные фигуры умственной акробатики. Он думал о том, какое удивительное дело — разговор. Как мы это делаем? Есть ли что-то более необычное и необъяснимое, чем человеческое сознание? В то же время мы все знаем, что это такое, знаем, что обозначает то или иное слово, и не испытываем на сей счет ни малейших сомнений. А какая удивительная и трогательная история про девичьи

косы! У нее так много значений. Какая вспышка эмоций! Он связывает это с Христом. У него и в самом деле талант к… к чему?

Вскоре Томас расслабился. Он представлял себе ежик светлых волос на удлиненной голове Стюарта, его янтарные глаза, такие наивные, доверчивые и в то же время умные. «Он умнее, чем я думал, — сказал себе Томас. — К добру ли это? И что здесь к добру?» Он представил себе мальчишескую улыбку юноши. Потом вообразил вкрадчивую улыбку мистера Блиннета, его насмешливые, иронические глаза с потаенным безумием в глубине. Потом он увидел кривую ухмылку Эдварда — улыбку его бессознательного разума, торжествующего победу над сознанием. Не разобьется ли когда-нибудь Стюарт о скалу собственной решимости? «А ну-ка, канонир, забей заряд потуже, прицелься в тот корабль…» Какой трогательный девиз, какой мальчишеский девиз! Неужели Стюарт втайне считал себя исключительной личностью, которой суждено изменить мир? Не кончит ли он свои дни в какой-нибудь клинике, считая себя Иисусом? Или в конце концов превратится в скучного типа — не божественно скучного, а запутавшегося в собственных заблуждениях и вполне заурядного?

Станет таким, как все.

«Нет, пусть ничего этого не случится!» — подумал Томас. Стюарт становился для него все более интересным, и он хотел детально зафиксировать свои наблюдения. Его опечалили слова о том, что они больше никогда не будут говорить. Он боялся чего-то в этом роде. Возможно, несмотря на свою деликатность и провидческое беспокойство, он зашел слишком далеко. Либо, что более вероятно, в планы Стюарта входил только один разговор с Томасом, но, по крайней мере, он нуждался в этом одном разговоре. Он явно пришел поговорить о себе, а не об Эдварде. Так неужели на этом все закончится? Томас раньше думал, что впереди у них немало бесед, и с нетерпением ждал их. Более того, он предполагал ту самую близкую дружбу, которая не входила в программу Стюарта.

«Конечно, это моя профессия — всюду совать свой нос, — думал Томас, — но здесь случай особый». Если Стюарта и впрямь постепенно поглотит скука, как пугал его Томас, станет ли это его успехом? Или те силы, которые он спокойно отвергает сейчас, победят и сломают его? Томас вынужден был признать, что мысль о поражении Стюарта его заинтересовала: он представил себе, как приходит ему на помощь. Темные силы

— об этом знали древние — по преимуществу двойственны, а потому враждебны нравственности, как почувствовал Стюарт. Он инстинктивно узнал их, а они, возможно, признали его. Но он никогда не станет искать их благосклонности. «Однако я стану, — думал Томас. — Я вынужден это делать, я делаю это каждый день, чтобы самые опасные вещи в мире превратить в наших благосклонных союзников». Когда спокойная решимость и рациональная нравственность терпят неудачу, разве нельзя вызвать их, алчущих всего, что связано с духом, и с помощью заклинаний превратить в друзей, прежде чем раздражение по поводу собственной неудачи вызовет у них желание обрушить всю структуру? «Я должен попробовать, — решил Томас. — Я должен сыграть в эту опасную игру, потому что я исцеляю именно так и потому что я, господи, люблю это дело! Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo»[37].

Громко щебетал крохотный вьюрок. Светило солнце. Эдвард шел по берегу реки — по другому берегу. Он провел в Сигарде уже две недели, а Джесс все еще не появился. За это время Эдвард

[37] Примечания: 37

«Если я не умилостивлю богов высших, то преисподнюю всколыхну» *(лат.). Вергилий.* Энеида, VII, 312.

ни словом не обмолвился женщинам о дромосе. Ему все время хотелось туда вернуться, но это было невозможно: река распухла так, что хлипкий деревянный мост стал непроходимым, а каменный полностью скрылся под водой. В последние дни сильно похолодало, и его ничуть не привлекала перспектива перебираться на другой берег вплавь, с одеждой в руке. Несколько раз он тайком проходил мимо теплиц и огорода по заросшей, но вполне еще видимой тропинке, ведущей к реке. Кто протоптал эту дорожку? При виде резвого потока, затопившего опасные деревянные мостки и почти опрокинувшего их, Эдвард почувствовал дрожь пополам с каким-то трепетным, почти сексуальным возбуждением. Но в тот день (уже наступило «время отдыха») волнение придало ему решимости. Увидев, что уровень воды в реке чуть спал, он поставил ногу на наклонную поверхность моста, опробовал ее на прочность и направился на другой берег. Вода журчала, обтекая его ноги. И вот теперь он был свободен — это слово пришло ему в голову, пока он перебирался на ту сторону. Нет, не полностью свободен, но все же он оказался на другой земле, где, возможно, действовали законы другой магии.

Невротические приступы вины и страха — он испытывал их, если отсутствовал дольше, чем ему разрешалось, — доказывали, что в конечном счете он пленник. Пленник, у которого самые добрые, самые душевные тюремщики — тюремщики, которые дают ему задания. Он выполнял их, чувствуя себя рабом, уставая и не испытывая потребности мыслить, и в этом находил удовлетворение. Засыпал он сразу же и спал хорошо, но мысли все же приходили к нему. Он спрашивал себя: уж не пытаются ли женщины — может быть, бессознательно — «с потом выгнать из него страдание»? Они так ничего и не спросили о Марке. Сам Эдвард не касался этой темы, а они демонстрировали полное отсутствие интереса; порой ему даже казалось, что они забыли или никогда не понимали, какая глубокая рана у него в сердце. Они как будто не замечали и того, с каким волнением и тревогой Эдвард ждет отца, как пугает его предстоящая встреча, от которой он — без всяких на то оснований — ждет исцеления. Эти женщины, матушка Мэй и его странные сестры или, скорее, девы-волшебницы, какими они представлялись ему теперь, не могли освободить его, и он не пытался открыть им душу.

Постепенно он понял, какие они разные. Они

были спокойными, как и показались на первый взгляд, запретными, священными женщинами, к тому же владеющими тайными искусствами. Они не излечили его рану, но немного смягчили ее. Иногда он спрашивал себя, не влияет ли на него пища, такая однообразная и такая чистая: яблоки, капуста, травы, рис, отруби, орехи, бобы, чечевица, овес, в особенности овес. («Тут у нас, понимаешь, овес с любой едой», — сказала Илона.) Домашнее вино больше не появлялось на столе, но матушка Мэй иногда подавала травяные вытяжки, запахом и вкусом напоминавшие цветы. Она со смехом говорила, что они пробуждают кроткие мысли и счастливые сны. Эдвард чувствовал себя поздоровевшим, набравшимся сил и теперь задавался вопросом: истинно ли, правильно ли и естественно (слово, часто повторявшееся в Сигарде) его выздоровление или же какая-то враждебная его травме, его вине, всему случившемуся магия неправедным образом отбирает у него самое драгоценное его владение? Неужели его потихоньку лишают чувства реальности? Он пребывал в убеждении, что для истинного благополучия, для того, чтобы пребывание в Сигарде не казалось кратким сном или бесполезными деморализующими каникулами,

отходом от настоящей задачи, — для этого ему необходим Джесс. Мудрость Джесса, авторитет Джесса, любовь Джесса. Ничто другое для этого не годилось. И в то же время, глубоко погружаясь в размышления, он осознавал хрупкость своей надежды. Может быть, ему следовало бы находиться в другом месте и заниматься совершенно другим делом.

Он ложился в кровать, как животное забирается на ночь в берлогу, засыпал, просыпался на секунду, слушая журчание реки или то, что принимал за далекий шум морского прибоя, потом засыпал снова, и ему снились смешные платья, звенящие и раскачивающиеся ожерелья, длинные локоны, мягко ниспадающие на плечи, и женщины. Может быть, это были матери — Хлоя, Мидж, матушка Мэй, даже Беттина, склоняющиеся над ним и сливающиеся в один образ. Ветер, так утомлявший его днем, ночью налетал ритмическими скорбными порывами, как дыхание какого-то большого существа, глубокое и ровное. Дождь не стучал по оконным стеклам, а ласково гладил их, что больше напоминало тихие шаги, не страшные, а странные, как и многое вокруг. Например, слова Илоны о «вещах из прошлого». Эдвард больше не слышал ни бьющегося стекла,

ни топающих детских ножек. Иногда до него доносились легкие царапающие звуки; возможно, их производили крысы или те, кого Илона называла мышиным народцем. Однако две ночи назад, когда он поднимался по темной лестнице Западного Селдена в свою спальню, случилось что-то необъяснимое и обескураживающее. Эдвард уже мог пройти по зданию с закрытыми глазами и предпочитал проворно двигаться в полной темноте, чем таскать с собой лампу. Когда он в бархатной ослепляющей черноте поднимался по лестнице, что-то проскользнуло мимо него. Оно не коснулось его, но он услышал слабый стрекочущий звук и почувствовал движение воздуха. В тот момент он интуитивно понял, что это нечто сферическое, размером с футбольный мяч. Оно проскользнуло мимо на высоте пояса. Эдвард бросился по лестнице к себе комнату и спешно принялся чиркать спичками, сломав несколько штук, прежде чем сумел зажечь лампу. Он стоял, напряженно прислушиваясь, но до него доносились только шум реки да уханье и гуканье сов. В свете лампы он вдруг понял, что этот эпизод напугал его меньше, чем можно было бы предполагать. Он вспомнил шутку Илоны и подумал: возможно, это полтергейст, который

днем отдыхал в его кровати, а заслышав его приближение, пустился наутек! Эдвард улыбнулся. Тем не менее он тщательно осмотрел постель, прежде чем лечь в нее.

Другой источник смутного беспокойства в последнее время стал заметно сильнее и был связан с женщинами. Эдвард с самого начала понял, что женщины не только, по сути, далеки от него в некотором особенном смысле, но и идеальны. Они спокойны, мудры, красивы, обычные человеческие недостатки им не свойственны. Эта мысль так и засела у него в голове, легко сосуществуя и с инфантильностью Илоны, и с грубоватостью Беттины. То, что они ни разу не поцеловали Эдварда, казалось вполне естественным. Матушка Мэй и Беттина вообще не прикасались к нему, а Илона иногда дотрагивалась до его рукава каким-то щенячьим жестом, лишенным эмоциональной окраски, просто чтобы поторопить его или привлечь к чему-то его внимание. Когда Эдвард понял, что на самом деле эти женщины несовершенны (да и могло ли быть иначе?), это обескуражило, даже напугало его. Они, например, боялись «лесовиков». Возможно, они поддавались этому страху во время отсутствия Джесса, когда они осознавали себя одинокими и беззащитны-

ми. Но Эдварду не нравилось думать о королеве, принцессах, девах-волшебницах всего лишь как о трех нервных женщинах. Он так и не нашел причин этого навязчивого страха, кроме того, что «лесовики» были грубы, губили драгоценные растения, а один раз, прекрасно понимая, что делают (так они сказали), срубили очень красивое старое дерево — громадный платан на земле Сигарда. Может быть, это было как-то связано со старой враждой «лесовиков» и Джесса.

Отсутствие информации о том, где находится Джесс и когда он приедет, тоже становилось тревожным. О его возвращении неизменно и с уверенностью говорили одно: «скоро». Эдвард не спросил сразу, куда и зачем уехал Джесс, а теперь не задавал этих вопросов из страха, что ему солгут. Иногда он думал, хотя и с отвращением, что Джесс может развлекаться на юге Франции с молодой любовницей и даже иметь другую семью. А также других детей. Мысль об этом с недавнего времени терзала Эдварда. У Джесса мог быть и другой сын — думать об этом было чрезвычайно мучительно; он страдал, впадал в отчаяние от того, что время шло, а ему никто ничего не объяснял, от уклончивости женщин, а в последнее время еще и от их отношений между собой

и отношения к нему, которому поначалу была свойственна этакая обнадеживающая официальность, составлявшая часть их «совершенства». Проще говоря, он почувствовал витающую в воздухе ревность. Он был единственным мужчиной между трех женщин. Никаких явных свидетельств, наводящих на вульгарную мысль, что они якобы ищут его внимания, не было, но определенное напряжение существовало. Пока что никто из них не пытался завязать с ним особые отношения, завоевать его доверие или затронуть его сердце. Единственная «особость» состояла в несомненно естественном допущении, которое и соединяло его с Илоной как двух самых молодых. «Ну-ка, дети, кыш отсюда», — сказала день назад матушка Мэй, отправляя их в кладовку за яблоками. Наверное, это лишь домыслы, но Эдвард чувствовал, что Беттине не нравится, что ее вот так относят к старшему поколению. Когда они работали вместе, он иногда замечал ее смущение, если ему случалось исполнять роль помощника водопроводчика или ученика плотника, приносить материалы или подавать инструменты. Но возможно, это было свойство ее характера, обычная застенчивость, достойная восхищения сдержанность. Его возбужденному воображению

представлялось также, что матушка Мэй, такая открытая, веселая и занятая, «пчелиная матка», как она иногда называла себя, наблюдает за ним с каким-то тайным чувством. И хотя с Илоной ему было легко, ближе от этого они не стали, да он и не представлял, как такое может случиться. Возможно, все они просто волновались за Джесса. Эдвард продолжал изучать их и теперь все явственнее видел, насколько они разные. Эти три женщины, всегда одинаково одетые (конечно, чтобы угодить Джессу) в простые коричневые платья-рубашки днем и цветастые платья с ожерельями вечером, казались очень похожими, словно были подернуты какой-то одинаковой золотистой рассеянной дымкой. Но Эдвард с его обостренными чувствами видел различия их лиц. Идеальную кожу лица матушки здесь и там бороздили крохотные, едва видимые черточки; они и морщинками не могли называться, а потому не пятнали, а только совершенствовали ее бледную спокойную красоту. Глаза у нее были светлейшего и мягчайшего серого оттенка. Лицо Беттины в сравнении с идеальным овалом материнского лица было крупнее, серые глаза — темнее; у нее был нос с горбинкой, сильный выступающий подбородок и умный рот, свидетельствующий о

склонности к рефлексии. Когда она отдыхала или сосредоточивалась на работе, она напоминала молодого аристократа с портрета эпохи Возрождения. У Илоны лицо было маленькое и свежее, оживленное и любопытное, как у зверька, глаза серовато-голубые и выразительный подвижный рот. Все три женщины имели длинные рыжевато-золотистые волосы, вьющиеся или висящие длинными прядями. Илона, чьи волосы были длиннее всех, иногда просто подвязывала их лентой у шеи и спускала на спину. Эдвард часто думал о кудрях этих женщин. Он никогда к ним не прикасался, даже к локонам Илоны. Ему казалось, что он обоняет их запах. Очень тонкий запах полевых цветов.

Пытаясь вспомнить свое предыдущее путешествие, Эдвард, уже перебравшийся через реку, поднимался по лесу. Дымчатая земля между зеленеющими кустами и деревцами, цеплявшимися за одежду, голубела от проклюнувшихся колокольчиков. Лучи солнца проникали сквозь кроны высоких дубов и буков, испещряя подлесок пятнами света. Эдвард шел и шел, пока не оказался на узенькой, усыпанной ветками тропинке. Скоро впереди он увидел просвет, а еще через несколько секунд, перешагнув через высокую траву,

прошел под аркой, образованной двумя буками, и оказался на ровной лужайке дромоса. Он стоял совершенно неподвижно, сердце его учащенно билось после подъема, он чувствовал волнение от того, что эта поляна так неожиданно возникла перед ним, и от странного властного воздействия этого места. Он тяжело дышал и водил глазами по сторонам, но пока не отваживался шевельнуть головой. Он словно ожидал встретить здесь какого-то врага или хозяина, который прогонит его прочь. Потом он вспомнил лесовиков, враждебных Сигарду. Но все было как в прошлый раз, длинное узкое пространство оставалось пустым, если не считать горизонтального столба, установленного на каннелированном пьедестале. Трава подросла, но все еще была недостаточно длинной, чтобы называть это место лесной поляной, а не искусственной лужайкой. В лесу стояла тишина, деревья в этот спокойный день были неподвижны. Эдвард посмотрел направо, потом налево и приготовился выйти из рощи на открытое пространство. Он быстро оглянулся назад — посмотреть, не идет ли кто-нибудь за ним и не оставляет ли он следов в траве. Ни враждебных существ, ни следов — только предчувствие: что-то должно произойти. Он был возбужден, немного

испуган и доволен собой, ведь ему удалось снова найти это место. Он подошел к столбу, посверкивавшему в солнечных лучах. Обошел столб и под ярким светом обнаружил резьбу на одном из торцов: прямоугольник с завитушками — буквами, а может, изображением животного. Эдвард наклонился, чтобы рассмотреть резьбу получше, и услышал звук, о каком часто пишут в приключенческих историях для мальчишек: хруст ветки под чьей-то ногой. Эдвард отпрянул от столба в темноту между большими тисовыми деревьями. Земля под тисами была твердой, жесткой и голой, лишь кое-где покрытой толстым слоем пожухлых удлиненных тисовых листьев. Деревья с соединенными кронами не давали укрытия, а потому Эдвард отступил подальше в лес, за высокие надежные буки с другой стороны рощи, и поспешно опустился в высокую траву у края лужайки. Он не хотел, чтобы его обнаружили, но очень хотел узнать, кто же так неожиданно явился сюда.

Это оказалась Илона.

Эдвард не испытал желания обнаружить себя и окликнуть ее. При мысли о том, что его застанут здесь, он ощутил чувство вины. К тому же ему хотелось посмотреть, что будет делать Илона. Она вышла на середину лужайки, украдкой

оглянулась, как и Эдвард, сняла туфли и носки и провела голой ступней по пружинистой траве. Она засунула носки в туфли и опустила их на землю, коричневые деревянные бусы положила туда же, после чего направилась к столбу. Здесь она снова остановилась и оглянулась, потом подняла голову к голубому небу, закрыв глаза от солнца. На ней было простое коричневое дневное платье, которое Эдвард находил гораздо красивее вечерних одеяний. Распущенные волосы лежали на спине, как и всегда, немного растрепанные. Она сложила руки и почтительно застыла на несколько секунд перед столбом. Потом она что-то вытащила из кармана платья, и Эдвард с удивлением разглядел кусок бечевки. Она подпоясалась бечевкой, поддернула платье, отчего юбка стала короче, потом подняла руки над головой и сцепила пальцы, как балерина. Рукава коричневого платья упали, обнажив светлую, нежную и уязвимую плоть предплечий. А потом Илона начала танцевать.

Как вспоминал позднее Эдвард, именно так все и происходило. Ничем другим это быть не могло — только танцем. Казалось, некая сверхъестественная сила, может быть ветер (но никакого ветра здесь не было), подняла Илону над зем-

лей. Она летала над травой, почти не касаясь ее. Эдвард отчетливо запомнил момент, когда увидел обе ее ступни, совершавшие медленные движения над сверкающей зеленой поверхностью травы. Потом гибкое тело пронеслось над прогалиной и вернулось к столбу. Один или два раза ему чудилось, что девушку, как опавший лист, вот-вот увлечет ветер, и она исчезнет в лесной чаще. Ее движения не выдавали ни малейшего усилия; разметав волосы вокруг головы, она порхала по воздуху. Но это, несомненно, был волевой акт, а сознательная грациозность ее тела и продуманные движения рук и длинных стройных ног под подтянутой юбкой явно были движениями танцовщицы. Она подпрыгивала и опускалась, удерживала равновесие, вращалась и крутилась, не касаясь земли. В ее манерах, в ней самой присутствовало нечто такое, что превращало это действо в представление, а не набор случайных движений: она следовала строгому хореографическому рисунку исступленного и упорядоченного самовыражения. Это был танец радости, постепенно замедлявшийся и превращавшийся в танец печали, словно она чувствовала, как слабеет вознесшее ее дуновение. Движения Илоны стали не то чтобы усталыми,

потому что точность их не пропала, но тягучими; руками и всем телом она отбрасывала что-то, как одежду, в которую ее закутали на короткое время. Ее ноги сначала коснулись травы, потом опустились в нее; танцовщица остановилась или приземлилась, раскинув руки в стороны, чтобы сохранить равновесие, а потом, уперев их в бока, замерла перед столбом.

Вид у нее был подавленный. Она начала развязывать шнурок на поясе. Узел затянулся, и она с раздражением принялась дергать за концы, бормоча себе под нос сердитые междометия. Наконец юбка обрела прежнюю длину, и Илона, засунув бечевку в карман, застыла на некоторое время, склонив голову на грудь, словно потеряла нить дальнейших действий. Потом она резко повернулась и пошла в направлении Эдварда. В это мгновение Эдвард испытал безотчетный страх — ведь он оказался свидетелем того, чего не должен был видеть. Он вжался в землю. Однако целью Илоны был вовсе не Эдвард. Она подошла к краю голого тенистого участка под большими тисами и вернулась назад с единственным цветком в руке. Снова остановилась перед столбом, внимательно разглядывая цветок. Эдвард, смотревший на девушку сквозь стебли травы, теперь с ужасом

увидел, что из глаз ее катятся сверкающие слезы и падают на землю. Илона смотрела на цветок так, будто жалела его, даже корила себя за то, что сорвала его, а потом положила свой дар на постамент темного камня и быстро отвернулась. Теперь она двигалась с суетливой поспешностью, как неуклюжая маленькая школьница: нашла свои туфли, попыталась натянуть носок, стоя на одной ноге, потеряла равновесие, резко и раздраженно села на траву. Надев носки, туфли и деревянные бусы, она торопливо встала и стремглав бросилась в лес.

Прежде чем подняться, Эдвард подождал немного, опасаясь, что она может вернуться. Нечестивый свидетель и чужак, он хотел, чтобы до его возвращения в дом впечатления об увиденном — что бы это ни было — улеглись. Затем он поднялся, вышел на поляну и принялся искать, откуда Илона сорвала цветок, и увидел гроздь звездчатых белых лесных анемонов над зарослями небольших, похожих на папоротниковые зеленых листьев. У него возникло желание сорвать цветок, но он подавил его, вернулся к столбу и посмотрел на белый анемон, лежащий на темном постаменте. Похоже, он уже начал увядать. Этот цветок напоминал тело мертвой де-

вочки. Эдвард поднял голову и нервно оглянулся. Все вокруг было мирным, пустым, тени деревьев на траве удлинились. Неподалеку запел дрозд, и Эдвард вдруг осознал, что все время, пока он был в роще, птицы помалкивали. Он посмотрел на часы и быстро побежал в лес по следам Илоны.

— Смотри!

Илона держала перед Эдвардом стакан с водой. Это было на другой день перед обедом. Они стояли под солнцем на дворе перед дверью Атриума.

Эдвард взял стакан и посмотрел через него на свет. В воде было великое множество крохотных, почти невидимых организмов самых разных форм. Одни ничего не делали, другие целеустремленно двигались, третьи оставались неподвижны, четвертые бесконечно кружились. В стакане их было полным-полно.

— Что это, Илона?

— Это всего лишь стакан нашей питьевой воды из дождевого резервуара!

— И ты хочешь сказать, что мы их пьем? Вот бедные крохи!

— Ну, мы-то воду сначала кипятим, а потому, когда мы их пьем, они уже… неживые.

Илона, не желавшая произносить слово «мертвые», уже жалела, что заговорила об этом. Она

отобрала у Эдварда стакан и вылила воду себе под ноги.

— Может, и мы такие же — крохотные существа в чьем-то стакане, — сказал Эдвард.

— Да, кстати, если ты спасаешь мотыльков из бочки с водой, то не хватай их пальцами — возьми листик и положи куда-нибудь сушиться.

— Привет, дети, — сказала матушка Мэй.

Она вернулась из теплицы с корзинкой салата. За ней появилась Беттина. Руки ее были в земле, и она держала их, расставив в стороны. Как всегда, для работы в огороде обе женщины надели фартуки.

— Присядем на минутку.

Недавно они выкатили на улицу и поставили у дверей несколько тиковых пеньков, выбеленных временем и солнцем.

— Вы все слишком много работаете, — сказал Эдвард.

— Возможно, благодаря тебе мы стали работать меньше, — с улыбкой отозвалась матушка Мэй, глядя на него мягкими лучезарными глазами.

— Я оказываю на вас разлагающее действие!

— Нет-нет, ты вестник.

— Матушка Мэй хочет сказать, что ты провозгласил у нас новую эру, — пояснила Беттина,

тоже улыбаясь, но не глядя на Эдварда.

Она счищала грязь со своих рук. Комья земли падали на землю, и она аккуратно сдвигала их ногой в кучку.

— Ах, как птицы поют, как поют! — воскликнула Илона. — Сизые голуби говорят: «О мой Бог, о мой Бог!»

— Скоро прилетят ласточки, — сказала матушка Мэй.

— А ласточки поют? — спросил Эдвард.

— Да, — ответила Илона, — они поют такие прекрасные, безумные, непонятные песни — ты их услышишь.

«Кто появится раньше, Джесс или ласточки? — подумал Эдвард. — Ах, это мучение, о боже…»

— К тому времени уже расцветут первоцветы, — сказала матушка Мэй. — Они у нас растут повсюду.

— Они редкие, — проговорила Беттина, — но не здесь.

— Беттина как-то раз отшлепала детей, когда они рвали первоцветы, — вставила Илона.

Эдвард представил себе эту сцену.

Беттина нахмурилась, а матушка Мэй произнесла:

— Должна признаться, мы тоже их рвем. Прав-

да, немного, очень немного.

— Ну, это же ваши первоцветы, — отозвался Эдвард.

— Понимаешь, дело не в этом, — сказала матушка Мэй. — Земля принадлежит всем. Но человек особенно любит то, к чему приложил руку, вот и мы так относимся к Сигарду.

— И человек имеет на это право, — добавила Беттина.

Позднее Эдвард вспомнил ее замечание.

— И летом вы ходите на море, — продолжал он.

— Прежде ходили, — ответила Илона.

— Тут есть разрушенная деревня, где жили рыбари, — сообщила матушка Мэй, — маленькая заброшенная гавань.

Эдварду понравилось словечко «рыбари».

— Мне бы хотелось посмотреть на карту этого района.

— У нас, по-моему, нет карты? — сказала Беттина.

— Вроде нет, — ответила матушка Мэй. — Ничего такого не припомню.

— Вы редко ездите в Лондон?

— Редко, — кивнула матушка Мэй. — Когда живешь в раю, зачем куда-то ездить? Для нас

Лондон — воплощение пустой, ленивой, шумной мирской суеты, а здесь наша жизнь наполнена естественными заботами.

— Мы стараемся воплощать в жизнь идеалы Джесса, — сказала Беттина.

— Джесс в молодости был пламенным социалистом. Мы все были истинными социалистами, мы хотели построить правильное общество на основе простоты.

— Мы и теперь такие, мы продолжаем работать, — подхватила Беттина.

Она подняла свою большую голову, похожую на голову изящного, холеного остроносого животного, и посмотрела на Эдварда, словно ожидала, что он будет спорить.

— Мы не устаем слушать рассказы матушки Мэй о прежних временах, — сказала Илона.

— Мы закаляем тело и дух, — продолжала матушка Мэй. — Здоровье планеты зависит от здоровья отдельной личности.

— Восточная мудрость учит, что тело важно, — сказала Илона.

— Правильно, Илона! — воскликнула Беттина.

— Мы хотели проводить регулярные праздники искусств, — сказала Илона, — чтобы выразить наши идеалы, — с музыкой, поэзией и танцами, а

в башне есть большой зал, где можно устраивать выставки…

— И почему же вы их не проводили? — спросил Эдвард.

— Это было слишком рискованно с финансовой точки зрения, — пояснила матушка Мэй.

— И потом, — добавила Беттина, — как только начинаешь устраивать что-то с участием других людей, все портится.

— Да, вы наверняка правы, — решил Эдвард. — Вы живете здесь свободной жизнью.

— Девушки — вольные существа, — проговорила, улыбаясь, матушка Мэй. — Мы с Джессом постарались, чтобы они такими выросли. Мы за творчество и покой, непрерывность и заботу. И в этом смысле, я думаю, женщины обладают особенными качествами.

Беттина улыбнулась матери.

— Матушка Мэй думает, что в сравнении с нами другие люди — варвары.

— Вы сделаете меня цивилизованным человеком! — воскликнул Эдвард.

— Ну, мы только начали, — ответила матушка Мэй. — Мы тебя научим писать красками, мы тебя научим видеть…

— Мне кажется, я уже научился лучше видеть.

Я яснее вижу Сигард, то есть само здание.

— Нужно научиться читать его.

— Увидеть в нем корабль, — сказала Беттина.

— Увидеть в нем собор, — сказала матушка Мэй.

— Увидеть в нем маленький город, — сказала Илона.

Они рассмеялись.

— Людям Сигард не нравится, — заметила Илона. — В «Архитектурном ревю» написали, что это не дом, а бедлам.

— Для вульгарного вкуса он слишком сложен и слишком прост, — сказала матушка Мэй. — Нужно научиться видеть его линии. Лучшим критикам он понравился. Нужно учиться понимать новые формы.

— «Новые архитектурные стили, изменение сердца» — это одна из поговорок Джесса, — добавила Беттина.

— Он мне кажется дворцом! — воскликнул Эдвард. — Исчезающий вид! — И от чувства беспричинной неловкости, возникавшей у него в разговоре с этими женщинами, он добавил: — Знаете, моему брату Стюарту это место понравилось бы. Оно бы его устроило от и до!

В следующее мгновение боль, как игла, пронзи-

ла его. С какой стати он так глупо, так некстати упомянул имя Стюарта? Он меньше всего хотел бы увидеть здесь брата. Здесь была территория Эдварда.

Беттина поднялась.

— Ну, кажется, все готово.

— Идемте, дети, — сказала матушка Мэй. — Илона, почему бы тебе после обеда не показать Эдварду свои побрякушки? Отдохни сегодня.

— Мне они очень нравятся, — заверил Эдвард, глядя на взволнованное лицо Илоны.

На самом деле он вовсе не был в этом уверен.

— Мой стиль сильно изменился, — сказала Илона. — Это современные вещи, которые всем нравятся. Парни их тоже носят.

Эдвард не мог себе представить, чтобы он или кто-то другой нацепил такие побрякушки — стальные, медные, алюминиевые и деревянные украшения из мастерской Илоны на первом этаже Восточного Селдена.

— И как это носят? — спросил он, поднимая длинный кусок зернистого дерева в виде вытянутой птицы.

— Прикладываешь к руке и привязываешь лентой. Или вешаешь на шею на кожаном шнурке. Шнурок можно привязать вот здесь, вокруг

птичьей ноги.

— Но тогда птица будет висеть вверх ногами.

— Разве это имеет значение?

— А ваши украшения ты тоже сделала сама?

— Да. Я прежде покупала полудрагоценные камни, но потом это стало слишком дорого. Тогда я начала сама делать камни из аралдита[38] и красить их. Я заказала венецианский бисер и смешала его со своим собственным. Но это мой старый стиль. Я делаю деревянные бусы и украшаю их резьбой. Использую все породы дерева, какие только здесь есть. А вот светлое и выцветшее — это плавник, его прибило морем к берегу. Из плоских кусков древесины получаются картины, если там есть какие-нибудь интересные пятна. Еще я делаю амулеты. Вроде такого.

Она положила в руку Эдварда маленький деревянный квадратик с вырезанным на нем подобием какого-то кельтского животного.

— Ой, мне нравится! А Джесс носит твои поделки?

— Да. Раньше я делала кованые узорные ожерелья из металла, на это уходило слишком много времени. Прежде я и глазуровку сделала, Джесс

---

[38] Примечания: 38

Аралдит — эпоксидная смола.

меня научил. Теперь я перешла на вещи попроще.

— Вот эти цепочки вовсе не кажутся простыми. И эти змеевидные браслеты.

— Ну, цепочки делать легко. Я использую алюминиевые и медные провода, они очень податливые, ты можешь закручивать их, заплетать, завинчивать в спираль сотней разных способов. А вот эти смешные украшения — из стали и никеля.

— Даже представить себе не могу, как…

— Да с помощью инструментов, глупенький! У меня есть ножовки, молотки, плоскогубцы, клещи, пинцеты, сверла, надфили…

— Да, я вижу. А это что?

— Это паяльник.

— А вот эти штуки — тоже ювелирные изделия? Наверное, их можно куда-нибудь подвесить…

— Ты будешь удивлен. Вот такие стальные треугольники очень популярны. И это квадратное ожерелье из алюминия, и этот медный ножной браслет…

— А я-то не мог понять, что это такое… Извини, Илона, я тебя перебил.

— Вообще-то это примитив, как африканские украшения. Но за него платят хорошие деньги.

Подружка мамы, Дороти, забирает наши изделия и отдает в довольно дорогие магазины. Имя Джесса, конечно, способствует продажам — мы называем это работами Джесса Бэлтрама.

— И весь этот «примитивный» бизнес — изобретение Джесса?

— Джесс — основа всего, что мы делаем, — торжественно сказала Илона.

Эдварду вдруг пришла в голову мысль: а может быть, его вообще не существует? Может, они придумали его и верят в него, как верят в Бога? А может, на их языке «Джесс» — это не имя собственное, а что-то другое? Он посмотрел на Илону, сидящую по другую сторону тяжелого, сильно исцарапанного рабочего стола. На ней был кожаный фартук, и она поигрывала паяльником. Илона улыбнулась ему. Прошло мгновение. Эдвард посмотрел на ее маленькие загорелые руки, на многочисленные инструменты, аккуратно разложенные на столе, на сверкающие варварские побрякушки.

— Ты просто замечательная, — сказал он. — Я даже представить себе не могу, как ты это делаешь. — Он подумал, что ее спальня, видимо, находится прямо над этой комнатой. — Илона, тут на холме в лесу есть такое странное место…

Вроде прогалины со столбом.

— Ах, так ты ее нашел, — отозвалась она небрежным тоном, ласково глядя на него. — Это старое место.

— Что значит «старое»?

— Не знаю. Там бывали римляне. И друиды.

— А этот камень, столб?

— Основание римское, а столб и того старше.

— И это ваше… ваша земля, я хочу сказать?

— Да. Столб упал, а Джесс его снова установил. Лесовики ему помогали. Нас осудили некоторые археологи. Но Джесс знал, что там было раньше.

— И как вы называете это место?

— Джесс называл камень Лингамским[39]. Мы так и назвали это место — Лингамское.

— А что значит «Лингамский»? — спросил Эдвард, который знал, что это такое, но хотел проверить.

— Это имя придумал Джесс. Он придумывает имена.

— Как «Затрапезная»?

Эдвард пошарил в памяти и вспомнил значе-

---

[39] Примечания: 39

Лингам — фаллический символ в культе Шивы, короткий цилиндрический столб с закругленной вершиной. Почитание Шивы в образе лингама было распространено в Индии с древних времен, особенно на юге.

ние последнего слова. По латинскому корню оно означало не «место для еды» или «место общения», а «место убийства»[40]. Еще одна ребяческая шутка, навязанная Джессом своему невинному семейству. На что указывало такое чувство юмора? Он продолжил:

— А та деревянная штуковина в Затрапезной над камином, ее ведь Джесс вырезал, да? Что означает девиз: «Я здесь. Не забывайте меня»?

— Не знаю.

— «Я здесь» — кто? Кто это говорит?

— Я думаю, это такое любовное обращение ко всем, может, средневековое. Джесс черпает вдохновение в исторических вещах.

— Илона, когда он вернется?

— Ой, очень скоро.

— И у нас будет праздник с вином?

— Да-да. А теперь я должна отдохнуть…

— Можно мне увидеть твою комнату?

— Нет, там не прибрано.

Думая об Илоне и ее комнате, Эдвард направился назад в Западный Селден, а потом вышел на воздух через маленькую дверь в Переходе

---

[40] Примечания: 40

У автора в оригинальном тексте название этой комнаты — Interfectory.

между «Селденской площадью» и «Конюшенной площадью». По заросшей утесником тропинке он направился к болоту — этим путем он шел в первый раз, давным-давно, как теперь казалось. Он пересек бальзаминовый луг, где цветы уже поникли и почти исчезли под сочной зеленой травой. Он оглянулся, как в прошлый раз, и внимательно посмотрел на дом с его неправильными формами; величественные, напоминающие собор очертания сарая и башни производили сильное впечатление; гораздо труднее было «прочесть» сочлененные дворики и хаотический, похожий на маленькую деревеньку Переход, сумбурность которого отсюда была очевидна. Эдвард попытался увидеть в нем своего рода городок, но и это было не то. Может быть, корабль в гавани, рядом с портовыми сооружениями. Он направился в ту сторону, где росли ивы. Конечно же, он ходил сюда уже несколько раз, но неизменно останавливался перед разливом, он так и не добрался пока до моря. Эдвард очень хотел увидеть море и найти маленькую гавань, где когда-то жили «рыбари». Сегодня, проходя сквозь строй ив, он увидел, что вода немного отступила, но видимость была плохая — ее затруднял низко висящий туман. Над болотом на фоне серого

облачного неба выше полосы тумана ослепительными вспышками мелькали белые голуби, когда солнечные лучи освещали их, пробиваясь сквозь тучи. Темную пружинистую почву, по которой страшно было шагать в прошлый раз, теперь во многих местах пронзили зеленые пики молодых камышей. Между ними наконец-то стали появляться островки суши, и Эдвард мог прокладывать путь по удлиненным кочкам засохшей грязи, перешагивая через канавки черной воды. Повсюду образовались небольшие прудики, где плавали красноклювые куропатки; при виде человека они быстро уплывали прочь, подавая другим сигналы тревоги своими белыми хвостами. Эдвард двигался вперед широкими шагами и думал о том, чему стал свидетелем в священной роще. Он видел танец Илоны. Но в самом ли деле она, как это запечатлелось в его памяти, плавала в воздухе? Не могло ли это быть просто оптической иллюзией? Неужели здесь, в Сигарде, он оказался в таком месте, где ему видится то, чего на самом деле нет… или здесь происходит то, чего обычно не случается? Когда он наконец встретится с Джессом, прояснится ли все это, рассеется ли туман в его представлении о женщинах — ведь в последнее время он совсем запутался.

Создавалось впечатление, будто Джесс — это пророк или священный царь, чье появление очистит царство, сделает добром то, что сейчас только кажется добром, и превратит в абсолютно священное то, что сейчас духовно двусмысленно. Может быть, сама атмосфера Сигарда внушала подобные мысли?

«Почему же я не могу добраться до моря? — думал Эдвард. — Хоть бы этот треклятый туман рассеялся». Теперь он был рядом с туманом, видел его перед собой: отдельные медленно переваливающиеся клочья смещались под действием тихого ветерка. Болотная грязь все еще была твердой, и нога уверенно ступала по ней, но пруды и канавки увеличились. Здесь и там виднелись кочки жесткой морской травы и невысокие растения так называемой восковницы — Илона показывала ему эту поросль недалеко от дома. Низкие пухлые серые тучи снова пропустили немного солнца, их бока немного просветлели в отраженном свете, возможно, идущем от моря. Солнечные лучи оживили сероватый пейзаж: красные полосы на камышах, высокие заросли ярко-зеленого мха, мясистые растения с толстыми заостренными голубоватыми листьями, оранжевый лишайник на влажном дереве, желтые

водянистые плавающие листья, розовая ряска. В одном из мелких прудов явно обитало множество головастиков. Вдали пел жаворонок. Со стороны моря доносился прерывистый крик — Эдвард решил, что это какая-то птица. Он опустился на колени на подсохшую кочку, чтобы рассмотреть головастиков, и увидел что-то в воде: там оказался мертвый скворец. Эдвард вытащил его за одно из вытянутых крыльев и положил обмякшее тельце на постель из молодого зеленеющего камыша. «Значит, птицы тоже тонут», — подумал он. Не без труда поднявшись — кочка под коленями источала влагу, — он почувствовал легкое головокружение и зажмурился на мгновение, потому что свет словно мигнул перед глазами. Эдвард ощутил холод и решил, что пора возвращаться.

И в этот момент слева он заметил нечто удивительное. Поначалу ему показалось, что там шест или тонкое дерево — предмет необычный в этой части болота. Туман смещался, медленно перекатываясь перистыми серовато-белыми клочьями, и этот предмет то появлялся, то скрывался из виду. Эдвард пригляделся, потом сделал несколько осторожных шагов, снова пригляделся. Он решил, что там человек, живое существо. Невозможно было понять, как обращена к нему эта безликая

черно-белая фигура, лицом или спиной. «Может, это Джесс? — сразу же подумал Эдвард. — Джесс высадился на берег в заброшенной гавани. Или только что вернулся домой и поспешил на болото в поисках… своего сына». Фигура была совершенно неподвижна и теперь вроде бы смотрела на него. Туман немного прояснился, и Эдвард рассмотрел фигуру в брюках и синем плаще, широко расставившую ноги. Мужчина это или женщина, понять было невозможно. Эдвард перепрыгнул через канаву мутной воды, встал на твердом островке, присмотрелся опять и увидел, что это девушка — она стояла совсем близко и глядела на него. Поначалу он решил, что это либо матушка Мэй, либо Беттина, либо Илона. В этой части мира других женщин не было. Но они никогда не носили брюк. К тому же у этой девушки были прямые и не очень длинные каштановые волосы. Эдвард смутно видел ее лицо, но она явно не походила ни на одну из сестер. Девушка, которая не была сестрой, стояла перед ним посреди туманной водной пустоты болота, засунув руки в карманы, и смотрела на него, а он смотрел на нее. В этот момент Эдвард потерял равновесие и съехал со скользкой вязкой кочки, на которой стоял. Одна его нога попала в воду. Темная земля подалась

под ним, как тесто, но потом он неловко выбрался на что-то вроде terra firma[41]. Он оглянулся еще раз, и опять, и опять, но все заволокло густым туманом и девушка исчезла.

— «Твой раб, ужели я не поспешу исполнить каждое твое желанье? Я верно прихотям твоим служу и целый день во власти ожиданья. Ты, властелин, со мной, слугою, крут: звучит «прощай», и вот опять разлука! Но не кляну томительных минут…»[42]

— Ну хватит, Гарри, — сказала Мидж. — И потом, ты всегда знаешь, где я…

— Знаю?

— И у тебя нет поводов для ревности. И ты никакой не раб. Это я раб.

Это был один из их дней. Томас уехал на конференцию в Бристоль, Мередит ушел в школу. Мидж и Гарри расположились в ничьей комнате. На Мидж был ее великолепный пурпурно-красный халат. Гарри только что появился. Галстук он уже успел снять. Он открыл заднюю дверь своим ключом. Он любил, чтобы Мидж ждала его

---

[41] Примечания: 41
Твердой земли (лат.).

[42] Примечания: 42
Шекспир У. Сонет 57. Перевод И. Фрадкина.

наверху, как плененная невеста. Кто видел, как он входит в дом? Никто. Он прошел по тенистой аллее через калитку в обнесенный стеной сад. Он прибегал к различным карнавальным уловкам. Ему это нравилось. У него был и ключ от главной двери, но в чисто символических целях.

Мидж была потрясена и испугана, потому что в этот день она упала. Утром она отправилась по магазинам и совершенно немыслимым образом, как обычно и случаются такие вещи, зацепилась носком за бордюрный камень и со всей силы грохнулась на колени, а потом растянулась, расцарапав локти и щеку о тротуар. Сумочка улетела вперед, ее содержимое рассыпалось, одна туфля соскочила с ноги. Люди бросились помогать, они собирали мелочи, вывалившиеся из сумочки, а Мидж чувствовала себя полной идиоткой с окровавленным коленом, в разодранных чулках. «Как вы? Посидите немного? Вам найти такси?» — спрашивали ее так, будто она старуха. «Спасибо, я ничего», — ответила Мидж, хотя лицо у нее горело, а в глазах стояли слезы; она пыталась прикрыть свою разбитую коленку и порванные чулки.

Она похромала прочь под сочувствующими взглядами наблюдателей. Потрясение было

связано не столько с ударом, сколько с жутким ощущением самого падения — переживание совершенной беспомощности, завершившееся тем, что она распростерлась на земле и разбилась. Что происходит, когда человек выпрыгивает с десятого этажа? Она часто думала об этом, когда слышала про самоубийства. Гарри выражал сочувствие, но недолго. Сегодня вечером, пусть и поздно, Томас вернется из Бристоля, осмотрит ее коленку, промоет ее, забинтует и вынесет какой-нибудь вердикт. Он рассмотрит ссадины на щеке и руке Мидж, ее ладони, покрасневшие и загрубевшие от соприкосновения с тротуаром. Он расспросит ее обо всем, что она чувствует. Конечно, это потому, что он — доктор, но общение с ним утешительно. Руки у нее еще горели и саднили, коленка болела и плохо сгибалась, глаза до сих пор были на мокром месте.

— Все считают, что Эдвард в Куиттерне, — сказал Гарри. Так назывался загородный дом Маккаскервилей. — Но ты говоришь, что его там нет.

— Его там нет!

— Хорошо, я тебе верю.

— Тогда почему ты так говоришь? О том, что «я говорю»…

— Мне невыносимо думать, что ты, возможно, хранишь тайны Томаса.

— Тебя, похоже, не волнует сам Эдвард.

— Конечно, волнует. Но я знаю, с ним все будет в порядке. Он похож на меня — его переполняет неугомонное любопытство, он целиком и полностью связан с миром. В отличие от Стюарта. Стюарт — это Фауст manqud[43]. Он душу продаст, чтобы стать великим ученым. Но поскольку это невозможно, поскольку он не может быть всем, он решил стать ничем. Ей-богу, он помешался на власти. Если он хочет стать encanaille[44], я его останавливать не могу, но меня выводит из себя эта его целомудренная поза. И у него ничего не получится. Он не понимает, как его будут ненавидеть. Ребенок, родившийся без рук, как-нибудь проживет, общество ему поможет, поддержит и похвалит. А Стюарт родился без… без чего-то важного… и его за это заклюют до смерти. Нет, не заклюют… может, ему именно этого и хочется… Он дурак. Его арестуют за растление детей. Я не хочу сказать, что он растлит какого-нибудь ребенка, но люди будут думать, что он это сделал.

---

[43] Примечания: 43
Неудачливый *(фр.).*

[44] Примечания: 44
Подонком общества *(фр.).*

Его будут считать опасным.

— Оставь его, с ним все обойдется. Как насчет бедного Эдварда…

— Эдвард теперь на попечении Томаса.

— Ты ревнуешь к Томасу.

— Поразительное открытие!

— Я имею в виду, ревнуешь Эдварда. Ты его и ко мне ревнуешь. Не подпускаешь ко мне.

— Ради его же блага. Ты же настоящий горшок с медом. Я не хочу, чтобы его крылышки завязли и он погиб.

— Однажды после танца Эдвард довольно страстно меня поцеловал.

— Ты уже говорила об этом несколько раз, так что можешь помолчать… Сегодня ты скажешь Томасу, что ходила с кем-то обедать? Чем ты была занята весь день, если он спросит?

— Томас знает, чем я занята целыми днями. Прибираю в гостиной, занимаюсь цветами, крашу ногти и хожу по магазинам.

— Мне нравится воображать тебя притворщицей, ленивой женщиной из гарема, скучающей проституткой, зевающей в ожидании клиента.

— Тебе нравится воображать, что у меня нет других занятий, кроме как ждать тебя.

— А разве это не так?

— Так.

— Жаль, что мы не взяли себе за правило время от времени обедать вместе.

— Еще не поздно это сделать.

— Поздно. Такие вещи выходят из моды. Ты говоришь, что ты прожженная лгунья…

— Но я бы не солгала, если бы сказала, что встречалась с тобой…

— Ты ведешь двойную жизнь. На первый взгляд все честно, а на самом деле абсолютная ложь. Когда ты со мной, Томаса не существует; когда ты с Томасом, не существует меня. Когда эта ложь складывается идеально, ты можешь воображать, что ничего не происходит, что ты невинна.

— Я действительно невинна.

— Ах, Мидж…

— Я хочу сказать, что не строю никаких козней.

— Именно. У тебя нет никакого реального плана, никакого будущего для нас. Ты понимаешь, в какое отчаяние повергаешь меня?

— Ты всегда можешь уйти…

— Ты знаешь, что не могу и не уйду… Пожалуйста, не плачь, бога ради!

— У меня болит колено.

Эти бесконечные ссоры были для них одной

из форм совместной жизни, они были насущными при отсутствии других способов связи и самовоспроизводились, поскольку ни Гарри, ни Мидж не осмеливались оставить без ответа опасное замечание, чтобы оно не обрело ужасного окончательного смысла. Эти ссоры походили на физическое соприкосновение, на борьбу, на обмен несмертельными ранами; в них не было страсти, они не напоминали секс, были лишены целеустремленности и не приносили никаких плодов, лишь изматывали нервы и разрушали, но в то же время казались необходимыми и неизбежными проявлениями любви.

— Вот это твое двоемыслие в том, что касается Томаса, и парализует все. Ты мне говорила, что не общаешься с ним, что он тебя не замечает, что он целиком занят своими пациентами. Неужели наше будущее должно зависеть от этой бесконечной лжи, которой ты его пичкаешь?

— Я должна думать не только о Томасе. Я не вынесу, если он все узнает, мне это не по силам…

— Мидж, подумай! Неужели мы должны всю оставшуюся жизнь прожить обманщиками и притворщиками? Мы, с нашей любовью. Он рано или поздно должен узнать!

— У Томаса есть такое свойство: даже если

узнает, он может сделать вид, что не возражает, но начнет думать о мести…

— И убьет нас! Ты хочешь, чтобы все восхищались тобой, чтобы и он, и я, мы оба продолжали тебя любить, как бы ты ни поступала. Тебе невыносима мысль о том, что ты утратишь уважение Томаса. Но попробуй понять, чего оно стоит. Ты вышла за Томаса, как во сне, — его положение, его власть, его величие и возраст произвели на тебя впечатление. Но ты уже выросла, Мидж, ты же теперь видишь его насквозь. И он сам себя видит насквозь. Поэтому он все время говорит об отходе от дел. Он изображает великого целителя, но в сердце своем знает, что это все пустая возня. Ты как-то сказала, что он хотел стать писателем. Люди, одержимые властью, завидуют тому, чем художники владеют на уровне инстинкта. Психоанализ привлекает неудавшихся художников.

— Но тебя-то он не привлек.

— Мидж, не пытайся меня уколоть.

— Извини. Мне снова снился тот белый всадник.

— И потом, вполне возможно, что Томас — скрытый гомосексуалист. Ты только подумай, как его очаровал этот мистер Блиннет, а теперь Стюарт и Эдвард. Он любит мальчиков, которых

может подчинить своей воле. Он куда-то упрятал Эдварда. Почему у него столько пациентов-мужчин? Если ты уйдешь от него, он будет только счастлив, он вздохнет с облегчением и начнет новую жизнь. Он для этого и был рожден. Вы оба совершили ошибку.

— Я не думаю, что Томас такой. Ты все выдумал, это твои последние измышления.

— Женщины даже не представляют, сколько гомосексуалистов среди мужчин, это тщательно хранимая тайна.

Даже у великого покорителя женщин Джесса Бэлтрама был гомосексуальный период, он сожительствовал с каким-то жалким художником, который умер от пьянства.

— У Томаса много пациенток-женщин, например жена этого политика…

— Я тебе уже сказал: если ты все время будешь со мной, Томас просто аннигилируется и перестанет существовать, будто его и не было! Я изобрету для тебя новое прошлое, и оно сведет его на нет. Ты знаешь, что это возможно. Господи, тебе бы хоть каплю мужества! Нужно лишь вынести короткий неприятный разговор с Томасом и прийти ко мне. Посмотри на меня. Не могу поверить, что ты его так боишься. Ведь это не по углям ходить.

Я знаю, ты лжешь мне о нем, как лжешь ему обо мне, с этим ничего нельзя поделать, это закон природы. И мы оба хотим тебе верить. Много ли он значит для тебя, я не могу оценить, в этом вся беда. Если ты предпочитаешь хранить это в тайне, у тебя, видимо, есть свои причины. Боже мой, ты щадишь его чувства? Но если ты меня любишь, это все ерунда. Неужели мы, в конце концов, не можем быть честными и правдивыми? Ты же знаешь, как я ненавижу лгать. Как только мы начнем говорить правду, мы станем богами. Нужно когда-то подчиниться любви, так почему не теперь? Уже два года мы могли бы быть вместе, зачем же мы бездарно их тратим — в разочарованиях и несчастье, в этих бесконечных идиотских ссорах? Ты любишь меня, а не Томаса. Томас — всего лишь привычка. Конечно, ты с ним связана, но любишь ты меня.

— Если бы мы встретились раньше…

— Прекрати это повторять. Я запрещаю тебе так говорить, это нелепо, это бездумное оскорбление нашей любви.

Мидж сидела на кровати, ее шелковый халат был плотно запахнут. Гарри стоял рядом с открытой дверью, подальше от окна, откуда задувал мягкий весенний ветерок, шевеливший штору.

Он уже снял рубашку и скинул туфли. «О чем она думает?» — спрашивал он себя.

Она думала: «Конечно, я люблю Гарри, безусловно, я люблю его, но если бы только я могла не волноваться и не заботиться о Томасе! Ну почему я должна страдать, когда я всего лишь хочу быть счастливой? Если бы я могла не так сильно беспокоиться! Я больше не питаю чувств к Томасу — стало темно, а в темноте чувства съеживаются, как маленький зверек, оставленный умирать. Ты приходишь каждый день в надежде, что он умер, а он еще бьется в конвульсиях, еще дышит. Боже мой, я не должна так думать. Я должна развязаться с Томасом, освободиться от него, потихоньку, терпеливо, тщательно развязать все узелки, разрезать все путы. Я должна сотворить огромную пустоту на его месте, чтобы в моем сознании он превратился в зомби, и тогда не будет так больно. Я должна решиться, я решусь, я решилась».

А Гарри думал: «Потихоньку, понемногу, вода камень точит, она уже начинает помогать мне, пытается помочь. Еще немного раздражения и недоверия, негодования и страха — она должна научиться ненавидеть его. Она должна увидеть в нем препятствие к достижению счастья. И тогда она придет ко мне. Но сейчас надо сделать ка-

кой-нибудь новый шаг. Я ее понемногу вытолкну на дорогу. Конечно, она уже решилась, и я хочу, чтобы она уступила собственному желанию. Но мне нужно ускорить ход вещей, и она хочет этого от меня. Может быть, послать анонимное письмо Томасу, чтобы подстегнуть события?»

— Мидж, не надо чувствовать себя виноватой — я же не чувствую. Есть то, что должен решать я один. И то, что должны решать мы вместе. Я болен любовью к тебе. Пожалей меня. Нам нужно больше бывать вместе, или я умру. Я нашел маленькую квартирку в Челси, в одном из этих громадных домов, где никто никого не знает. Там мы будем в гораздо большей безопасности, чем здесь. Квартира будет нашей, и я смогу готовить для тебя, мне так этого хочется…

Мидж подняла голову, отбросила назад густые волосы, чуть распустила полы халата, потом разворошила кровать, бездумно дергая белье. Лицо ее сморщилось в испуганной тревожной гримасе.

— Гарри, не надо, я не согласна. Я не пойду…

— Почему нет? Ты пойдешь… непременно. Я еще не купил эту квартиру! И мне нужно провести выходные с тобой, всего две ночи. Господи Иисусе, как же мало я прошу, а ты не хочешь мне

этого дать!

— Дорогой, только не квартира, я еще не готова…

— Хорошо, тогда выходные.

— Одну ночь…

— Мидж, ты, сама того не сознавая, ведешь себя низко. Ты сказала, что Томас с пятницы до понедельника будет в Женеве, а Мередит со школьным товарищем едет в Уэльс…

— Одна ночь… в этот раз… ты прекрасно понимаешь…

— Я люблю тебя, мое сердце снова и снова сжимается из-за тебя. Видимо, я должен понять, даже если не понимаю! Ты моя, не так ли?

— Да, мой любимый, и я не хочу мучить и расстраивать тебя. Ты ведь знаешь, я говорю эти ужасные вещи, чтобы избавиться от них, чтобы ты мог отбросить их и уничтожить.

— Значит, такие аргументы я допускаю! — Гарри встал на колени и поймал ее руки в свои. Халат Мидж распахнулся. — О, моя королева…

Он принялся целовать ее плененные руки, переворачивая ладони то вверх, то вниз, а Мидж пристально смотрела на его склоненную голову, его сверкающие волосы. Она испустила жалобный вздох.

— Что случилось, моя Клеопатра?

— Иногда мне кажется, что мы — обреченные любовники…

— Замолчи.

— Иногда кажется, что мы играем в пьесе… в замечательной пьесе… или жизнь стала огромной, как миф…

— Вот что значит возвышенное самосознание. Там, где мы, все цвета ярче. Когда мы вместе, мы — король и королева. Каким изумительным становится секс, как все необыкновенно, какое полное притяжение между людьми; как нам повезло. Моя любовь, моя чудная любовь, когда ты в моих объятиях, блаженство разрывает нас на части, словно в последний день под звук ангельской трубы разворачивается небесный свиток. Так вот, теперь в нашей жизни настал именно такой момент, наступило наше время — мы должны изменить самих себя, преобразовать это блаженство в вечное счастье и чистую радость, как пресуществляются хлеб и вино. Колокол зазвонит для нас, моя дорогая, небеса раскроются для нас… Это так близко теперь, рукой подать…

— Гарри, ты ведь любишь меня, правда? Ты всегда будешь меня любить, это не просто приключение?

— Господи милостивый, неужели я еще не убедил тебя в этом! Я хочу, чтобы ты стала моей женой, я хочу быть твоим мужем, я хочу быть отцом Мередита, я буду любить вас и заботиться о вас вечно.

— Томас как-то говорил, что ты хотел разрушить себя…

— Не цитируй Томаса! Разрушитель — это он. «Найди миф своей жизни — и я уничтожу его для тебя» — вот его девиз!

— Да, Томас может быть опасен для нас.

— Нет-нет, ерунда. Я помню, Томас однажды говорил, что его любимые литературные герои — Ахилл и мистер Найтли![45] Он может воображать себя Ахиллом, но на самом деле он — слабая версия мистера Найтли. Он, конечно, джентльмен. Так что не тревожься. Ахилл — это я!

— «Молвит Твид, звеня струей: «Тилл, не схожи мы с тобой…»»

— Что?

— Это стишок о двух реках, его Томас часто повторял. «Молвит Твид, звеня струей: «Тилл, не схожи мы с тобой. Ты так медленно течешь…» Отвечает Тилл: «И что ж? Но зато, где одного то-

---

[45] Примечания: 45
Персонаж романа Джейн Остин «Эмма».

пишь ты в волнах своих, я топлю двоих»»[46].

— Да, я помню. Томас, кажется, воображал, будто он Тилл. Но он никакой не Тилл. Хватит спорить. Иди ко мне!

Мидж встала и запахнула халат.

— Мне нужно в ванную.

Гарри расстегивал брюки. Шторы на окнах шевелились. Гарри думал: «Я люблю ее, она любит меня, но мы оба страдаем. Как это несправедливо. Нас затянуло в машину и теперь перемалывает в шестернях — это зло. Но снаружи, за дверьми, свобода, счастье, красота». Его измучил тон Мидж и собственная жажда любви, исполненная печали. Он снова увидел, как удаляется пустая лодка, уплывает сама по себе.

Мидж вышла из комнаты и по площадке направилась к ванной, но вдруг остановилась.

На верху лестницы она увидела чью-то фигуру. Это был Мередит — неподвижный, прямой, застывший, как солдат. Глаза его были широко распахнуты, рот приоткрыт.

Из спальни через открытую дверь отчетливо донесся голос Гарри:

---

[46] Примечания: 46

Народное шотландское стихотворение, использованное Редьярдом Киплингом в переработанном виде в качестве эпиграфа к рассказу «В наводнение» (перевод Н. Лебедева).

— Поторопись, дорогая, я жду не дождусь!

Мидж вспыхнула, глядя на сына. Она подняла палец и поднесла его к губам.

Беттина починила трактор, а теперь и автомобиль. Старый «гумбер» выполз из гаража и почти сел на землю перед домом, раздавив под колесами подушечки сладко пахнущего тимьяна. День только начинался, и солнце ярко светило. Джесс все не возвращался домой.

Эдварду сказали, что сегодня особенный день, хотя и не праздничный. В этот день месяца матушка Мэй и Беттина отправляются в город (зимой на автобусе, а летом на машине), чтобы закупить нужные в хозяйстве вещи, которые они не могли сделать сами. Насколько понял Эдвард, Илона обычно ездила с ними, но сегодня она должна остаться и составить ему компанию. Приглядывать за ним? Что, интересно, он мог такого натворить? Взять в город Эдварда никто и не предлагал. Может, они боялись, что он убежит?

У оставшихся в поместье было много дел. Эдвард собирался прополоть грядки в огороде, потом напилить дрова, потом, если будет время, начать красить теплицы. Илоне предстояло убраться в Переходе, а в Затрапезной ее ждала куча белья, нуждающегося в починке.

— Не забудьте купить мне зубную щетку, — сказала Илона. — Я хочу синенькую.

— Будет тебе синенькая. Ну, матушка Мэй, залезай.

— Ведите себя хорошо, дети, — напутствовала их матушка Мэй, садясь в машину.

— Смотри, смотри! — воскликнула Илона, когда машина тронулась. — Ласточка!

«Гумбер» тяжело развернулся и покатил к дороге. Эдвард и Илона помахали ему вслед, а затем повернулись к дому. Эдвард испытывал странное чувство свободы вкупе с каким-то беспокойством. Разделяет ли это ощущение Илона? — спрашивал он себя. На несколько секунд они неловко остановились у дверей, потом Эдвард сказал:

— Ну, я, пожалуй, займусь прополкой.

Он никому не рассказал о вчерашней встрече с девушкой-призраком.

Илона без слов прошла в дом, а Эдвард взял в одном из сараев за падубами тяпку и отправился в огород, где без всякого энтузиазма принялся молотить по сорнякам, бойко разраставшимся между рядками худосочной моркови и лука. Затянувшееся пребывание в Сигарде уже вызывало у него сильное физическое ощущение тревоги. Не превращались ли длинные каникулы в этом доме

с тремя женщинами в некую клоунаду? Несмотря на беспокойство об отце, он чувствовал себя здесь как дома. Однако он не излечился, а просто воспринимал все происходящее как отсрочку того, чем оно было чревато. Магия Сигарда действовала успокаивающе, она заставляла забыть о смерти Марка, уничтожала ее. Это место, эти сестры, их мать — все было сном, оковы которого Эдварду предстояло сбросить с себя. Само время становилось бременем, разновидностью непрерывной нравственной муки. Но он, конечно же, ждал Джесса, в этом и заключалось все дело, а до возвращения Джесса ни о каком отъезде речи быть не могло. Но разве необъяснимое отсутствие Джесса не свидетельствовало о его безразличии к Эдварду? Ведь он наверняка знал о приезде сына. Можно было подыскать множество неприятных объяснений его отсутствия: любовница на юге Франции, другая семья, наркомания, пристрастие к азартным играм или алкоголю. А может, Джесс попал в тюрьму и тут был какой-то скелет в шкафу. Эдвард перестал махать тяпкой; солнце припекало, и даже от небольших усилий капли пота потекли у него по вискам и щекам. Он вытер пот рукой и посмотрел в сторону тополиной рощи — деревья теперь покрылись молодыми

дрожащими листочками цвета vin rose[47]. Потом он увидел, как чуть подальше, за кустами, мелькнуло коричневое платье. Это была Илона, ее фигурка только что исчезла на тропинке, ведущей к реке. Значит, Илона решила пренебречь своими обязанностями, а куда она направилась, Эдвард знал точно. Он бросил тяпку и пустился к тому месту рядом со старым теннисным кортом, откуда была видна тропинка. Илона шла быстрым шагом и уже почти скрылась из виду. Он не стал ее окликать, и желания пойти следом у него не возникло. Он боялся спугнуть Илону и испортить свое яркое воспоминание о ее танце в священной роще.

Он постоял некоторое время, размышляя о той девушке на болоте. Увидит ли он ее еще раз? Может, надо вернуться и посмотреть, нет ли ее там? Кто она такая? Она явно была какой-то туристкой, сезон отпусков уже начался. Но вот что странно: за все время своего пребывания в Сигарде Эдвард не видел ни одного чужого, даже тех лесовиков. Потом еще более сильное чувство вытеснило все остальные, и почти виноватый румянец залил его щеки, потому что он вдруг понял: впервые он

---

[47] Примечания: 47
Розового вина *(фр.)*.

остался в Сигарде один!

Эдвард быстро развернулся и направился назад к дому. Он еще не знал, что собирается совершить, но не сомневался, что должен извлечь выгоду из этого глотка свободы, сделать что-то незаконное, найти что-то скрытое.

«Я пойду в Затрапезную и попытаюсь найти карту, — решил он. — Они говорили, что никакой карты местности у них нет, но я уверен, что есть».

Войдя в Атриум, Эдвард остановился на секунду, прислушался. Конечно, он ничего не услышал, но его пробрала дрожь, исходящая, казалось, от самого дома. Он снял сапоги, надел домашние тапочки и зашлепал по плиточному полу в направлении Затрапезной. Осторожно открыв дверь, он вошел в объятую тишиной комнату. «Я здесь. Не забывайте меня». На цыпочках прошел он через комнату и открыл дверь в мастерскую Беттины. Он фактически ни разу не был здесь — останавливался в дверях, выслушивал ее поручения или брал какие-то вещи, чтобы отнести куда нужно. Он с восхищением рассматривал большой деревянный верстак, гораздо более внушительный, чем в комнате Илоны, и деревянные панели на стенах, напоминавшие произведения

современного искусства; на вбитых в них крючках висели самые разные инструменты. Другой выставкой художественных предметов был большой старый буфет, где стояли ряды емкостей с разными красками — как раз отсюда

Эдвард получил сегодня утром немного белой краски для теплиц. Здешние окна по стандартам Сигарда были на удивление чистыми и поражали отсутствием пауков. Он быстрым шагом прошел по комнате и открыл следующую дверь. Там было темно из-за паутины, обволакивавшей рамы, и пусто, если не считать большого ткацкого станка. Эдвард подошел к нему и попытался сдвинуть с места, наклонить, столкнуть, но тот не поддавался — похоже, станок закрепили на полу. Потом он обратил внимание на густой слой пыли и смазанные длинные следы, оставленные на дереве его любопытными пальцами. Он быстро шагнул назад и принялся без особого результата затирать следы, потом вытер руки о штаны. Станок был покрыт пылью, за ним явно давно никто не работал. Но по словам женщин выходило, что они используют его. А их платья — Эдвард обратил внимание, какие они залатанные и заштопанные, — их замечательные тканые платья были старыми. Он торопливо вышел из комнаты,

тщательно закрыл за собой дверь и поспешил в Затрапезную.

Здесь по-прежнему царила жуткая обвиняющая тишина, и Эдвард замер, озираясь вокруг. Потом он принялся открывать ящики в поисках неизвестно чего — ах да, он же хотел найти карту. И он в самом деле нашел ее. Карта оказалась очень старой, поскольку железная дорога на ней была нанесена, а шоссе нет. Он уложил карту на место — вдруг еще понадобится — и продолжил поиски других сокровищ. Он взял фотографию Джесса, так похожего на самого Эдварда, и некоторое время разглядывал ее. Орлиный нос, прямые пряди темных волос, форма и даже выражение тонкого лица — все как у него; только глаза другие: у Эдварда удлиненные и узкие, у Джесса большие и на удивление круглые. «Конечно, теперь он выглядит иначе», — подумал Эдвард. Молодой Джесс насмешливо смотрел на него, словно говорил: «Да, юноша, ты был зачат прошлой ночью. Ну и ночка была! Если у тебя будет хоть одна такая ночь, можешь считать себя счастливчиком!» Эдвард положил фотографию на место, потом посмотрел на дверь, ведущую в башню. После первого дня он почти не думал о башне. Женщины (очевидно, по распоряжению

Джесса) решительно не желали впускать туда гостя. Он подозревал, что им тоже запрещено туда подниматься. Эдвард почти не сомневался: Джесс не хочет, чтобы он видел башню в отсутствие хозяина. Ну и что? Эдвард снова прислушался, потом попробовал открыть дверь, но она была заперта. Что ж, к запертым дверям должны быть ключи. Где же они спрятаны? В карманах, в сумочках, в ящиках, на крюках, на полках, у кого-то на поясе — они должны быть где-то. Возможно, рядом с дверью, которую открывают. Он снова принялся обыскивать ящики, засовывая внутрь руку с вытянутыми пальцами. Но ключа нигде не было. Эдвард встал на стул и обшарил полку над дверью, откуда смел облако пыли. Потом он оглянулся. Обитая темным дубом каминная полка изобиловала тайниками. Он засунул руку за дощечку с надписью «Я здесь». Ключ и в самом деле лежал там. Дрожа от волнения, Эдвард подошел к двери и не без труда — рука его дрожала — вставил ключ в скважину. Ключ вошел свободно. Эдвард повернул его. Дверь открылась.

Он чуть не упал в обморок от чувства вины и волнения. Он добежал до Атриума, чтобы убедиться, что там никого нет, потом понесся назад, помедлив на пороге. А если матушка Мэй и Бетти-

на вернутся рано? А если его застанет Илона? Но Илона никому не скажет. К тому же он уже здесь, на пороге, в башне, в большой шестиугольной нижней комнате. Эдвард не знал, как поступить с дверью, брать ли с собой ключ. Он не осмелился ее закрыть и оставил ключ в скважине. Дверь он подпер стулом с плетеным сиденьем. Мысль о том, что можно оказаться запертым внутри, подспудно тревожила Эдварда. Простор нижнего этажа явно предназначался для того, чтобы быть художественной галереей, «выставочным залом», о котором говорила Илона.

Но в первую очередь внимание привлекала необычная конструкция потолка: он был в одних местах выше, в других — ниже. Эдвард вскоре понял, что это сделано из-за окон, расположенных на разных уровнях. Потолок поднимался, образуя впадины и углубления, чтобы впускать вниз верхний свет и вместить окна для освещения верхнего этажа. Эдвард вспомнил асимметричное расположение окон, снаружи кажущееся хаотическим. «Кубистический» или «кессонированный»[48] потолок, выкрашенный в серо-голубой и красный цвета, пугал и одновременно привлекал.

[48] Примечания: 48

Кессон (*фр.* caisson) — квадратное или многоугольное углубление на потолке или внутренней поверхности арки или свода.

Стены были белыми, деревянный пол выкрашен серой краской. Эхо разносилось гулко, и, хотя Эдвард шел осторожно, его шаги производили шум, от которого мурашки бежали по коже. Помещение казалось заброшенным и довольно влажным, а экспонаты «выставки» — пыльными и неухоженными. Тут были маленькие скульптуры из дерева и камня, несколько бронзовых, на непросвещенный взгляд Эдварда — довольно старомодных. Кое-какие из обнаженных женских фигур некогда могли считаться смелыми. Были тут и сплетенные в объятиях пары — люди друг с другом и с животными, включая довольно интересную скульптуру Леды под лебедем в круглой нише; но если Илона говорила об этой эротике, вряд ли теперь она могла кого-то поразить. Картины выглядели поинтереснее. Эдвард обошел абстрактные полотна: желтейшие из желтых и чернейшие из черных брызги с редкими пугающими всплесками синевы и зелени. Картины героического, или «королевского», периода он нашел более привлекательными, в особенности огромные головы королей, бородатые, с круглыми глазами, ярко и густо намалеванные, явно автопортреты, и большие гротескные женские головы, скорбные, печальные или мстительные.

Иногда бородатый король изображался лицом к лицу с огромным хищным монстром, свирепым или трогательно печальным. Порой эти двое были тесно сплетены — они падали или боролись, сражались или обнимались. На других картинах совет сидящих королей противостоял великолепному дракону — он то ли был захвачен ими в плен, то ли сам пленил их. Были тут и большие эпические полотна с буйными красками, батальные сцены с яркими флагами и геральдическими одеждами, в которых женщины и собакоголовые мужчины вступали в смертельную схватку на ножах. Другие сражения переходили в любовные объятия или убийства в мрачных комнатах. «Позднетициановский» стиль характеризовался обилием спокойного света вроде люминесцентного бежевого в квадратных крапинках лучащегося кремового и синего. На этих полотнах изображались сумеречные залы или леса, где развертывались квазиклассические сцены насилия: женщины наблюдают за собаками, пожирающими человека, или девочка смотрит, как змея хватает свою жертву, или женщин преследуют животные-гуманоиды, или юноша глядит, как кричащая девочка превращается в дерево. Здесь Эдвард разобрал сильно изменив-

шиеся ранние мотивы: змея, появляющаяся из колеса, страшный сфинкс, возникающий из щели в камне, крылатая голова, пойманная в сеть, утонувшие животные, наводящие ужас подростки, равнодушные или испуганные свидетели, уродливые люди, пораженные безнадежностью или страхом. Порой из окон или дверей за этими персонажами наблюдали прекрасные дети — бессердечные, возможно, бездушные, державшие в руках различные эмблемы, флаги или цветы. Иногда эти дети поворачивались к зрителю, зажав между большим и указательным пальцами какой-нибудь двусмысленный талисман. Более поздние «тантрические» картины отличались чрезвычайно яркими и насыщенными синими и золотыми тонами. В море красок плавали, росли, уменьшались или взрывались овальные яйца. Ни одной христианской темы Эдвард здесь не увидел, как не нашел узнаваемых портретов обитателей Сигарда, если только скорбящие женские головы не отражали их черт. Полотна произвели на него сильное впечатление. Эротическая сила картин была такова, что Эдвард почувствовал слабость в коленях.

Убегая от этих образов, он направился к богато украшенной винтовой лестнице, поднялся

по ней на второй этаж. Здесь, как и внизу, не было перегородок, но общее шестиугольное пространство было разделено на несколько разных уровней, соответствующих расположению окон и форме потолка нижней комнаты. Сойдя с лестницы, Эдвард оказался в помещении, похожем на бывшую детскую: его взгляд повсюду натыкался на запылившиеся игрушки — куклы, звери, марионетки, игрушечная мебель, необычные кукольные дома, крохотные ножницы, маленькие ручки. Эдвард спешил мимо этого хлама вверх по ступенькам в студию художника (на сей счет у него сомнений не было) и думал, что со стороны Джесса очень странно позволять детям играть там, где он работает. Но потом он понял, что игрушки эти, конечно, принадлежали Джессу, а «детская» была его комнатой, вспоможением для его фантазии и его искусства. Оглянувшись, Эдвард заметил несколько австрало-азиатских и африканских масок у стены и маленьких раскрашенных фигурок индийских богов. Студия, где стоял большой письменный стол, выглядела обнадеживающе обычной, в ней не было ничего экстраординарного — мольберт, холсты в рамах, кувшины с кисточками, тюбики с краской, палитра. Мольберт стоял без холста, а на полу валялись

наброски, сделанные ручкой или карандашом. На этом уровне игра с потолком носила другой характер — два круто наклоненных кессона вмещали в себя все окна, расположенные выше средней высоты комнаты. На окнах (их было шесть) висели разные шторы и жалюзи, чтобы изменять свет. Эдвард сразу же решил, что в одно из окон можно увидеть море. Он потерял ориентацию и пересек комнату. Перед ним открылся великолепный вид на сушу вдоль проселка, к асфальтовой дороге, а поодаль виднелась церковь (Эдвард и не подозревал о ее существовании), освещенная солнцем. Но когда он подошел к окну на противоположной стороне, он опять увидел туман и разглядел пейзаж только до того места, куда сумел дойти пешком. За зарослями ив все тонуло во мгле.

Он повернулся, чтобы посмотреть рисунки, разбросанные на полу. Они казались довольно старыми и выцветшими. Главным образом там были ню; Эдвард поднял один, изображавший обнаженную женщину с длинными спутанными волосами и большими печальными глазами. «Кто эта женщина? — думал Эдвард. — Может быть, матушка Мэй?» Он понял, что никогда не думал о матушке Мэй как о натурщице Джесса, эта мысль

казалась ему совершенно неподобающей. Но изображенная женщина ничем не напоминала матушку Мэй. И вдруг ему пришло в голову, а через секунду он проникся уверенностью, что это его мать. Лист выпал из его рук. Внимательно рассмотрев разбросанные рисунки, Эдвард решил, что все они сделаны с одной и той же женщины. Он подобрал еще один лист и, глядя на грустное лицо, внезапно испытал необычное чувство вины и печали. Он никогда не знал своей матери, никогда не размышлял о ней, она никогда не появлялась в его снах. Хлоя была женой Гарри. Он никогда не думал о ней как о любовнице Джесса. С инстинктивным желанием не причинять себе боли, не впадать в меланхолию, он давно изгнал из своего сознания призрак Хлои. Гарри хотел, чтобы Эдвард не хандрил и не чувствовал себя ущемленным, а был счастливым, каким всегда старался быть он сам. Гарри всегда был добр к нему, любовь Гарри всегда защищала его. Эдвард сказал себе: «Гарри был мне отцом и матерью. Кем же тогда была Хлоя и кем был Джесс?» Сможет ли он поговорить с Джессом о Хлое? Возможно ли, что Джесс вытащил эти старые рисунки, узнав о приезде Эдварда? Эдвард положил выцветшие листы на пол, отвернулся и подумал: «Боже мой,

неужели мне мало моих бед?»

Теперь он принялся рассматривать большой письменный стол. Ему было неловко — впервые он осознавал, что ведет себя неподобающе и делает именно то, чего не хотел Джесс: вторгается в частную жизнь Джесса, читает его письма, а то и того хуже — разглядывает его незаконченные работы. На столе царил беспорядок, вперемешку валялись листы бумаги, блокноты, стояли бутылочки с чернилами, коробочки с ручками, карандашами, мелками. Эдвард обратил внимание, что стол, как и ткацкий станок, покрыт толстым слоем пыли. Пыль лежала на столе, и на мольберте, и стуле рядом с ним, и палитре, и на рисунках, разбросанных по полу. На торцах рам, стоявших у стены, ее накопилась целая гора. Краски на палитре засохли и обесцветились. Студия была заброшена, в ней давно никто не работал. Эдвард решил отдохнуть, нашел еще один стул у стены, снял с него эскиз и сел. Ему стало нехорошо от страха и недоумения. Значит, Джесса не просто здесь нет — его нет давно. Значит, Джесс ушел от них и женщины боялись сказать ему об этом? Джесс не был ни долгожданным отцом, ни исцелителем, ни героем-священником, ни щедрым всемогущим королем — он был просто

дьяволом, как и внушали Эдварду с самого детства. В любом случае, его здесь не было, Эдварда обманули, одурачили. Сигард перестал быть домом Джесса, дворец опустел. Джесс посмеялся над женщинами, а теперь и над ним, Эдвардом, отправившимся за тридевять земель в напрасное паломничество, на которое возлагал немалые надежды. На самом деле Джесс находился где-то в другом месте, в каком-то ином доме, с другими женщинами, возможно, с другими детьми. В Сигарде остался лишь его призрак. Но зачем им понадобился этот обман? Тут Эдварду пришло в голову, что три женщины безумны. Возможно ли такое? Или он сам сошел с ума? Он сидел, сжимая в руках блокнот. Открыл его и увидел рисунок — красивое, спокойное, ничуть не зловещее изображение девушки, полностью одетой. Девушка стояла у открытого окна. Она немного напоминала Илону. Именно в этот момент Эдвард понял, что сумасшедшим может быть он сам. Заброшенная студия вовсе не означала, что Джесса в Сигарде нет. Он просто перенес мастерскую в другое место — в помещение наверху, где света больше и где он чувствовал себя иначе. Возможно, он решил начать новый период, изменить жизнь. Эдвард вскочил, положил блокнот

обратно на стул и направился к лестнице, ведущей наверх.

Когда его голова оказалась выше поверхности пола следующего этажа, он увидел, что там и в самом деле все другое. Пространство было перегорожено, а то, что открылось взгляду Эдварда, напоминало прихожую. На полу лежал ковер, а за отворенной дверью располагалась ванная. Между двумя закрытыми дверьми стоял столик. Ковер был чистый, пыль со стола стерта. Эдвард открыл дверь в кухню и другую — в гостиную. Взялся за ручку следующей двери, но она не поддалась. Эдвард потолкал ее, подергал, потом увидел ключ в скважине. Он повернул его и распахнул дверь. Его взгляду открылась спальня. Кровать стояла напротив двери, а на постели в подушках приподнялся бородатый человек, смотревший прямо на Эдварда темными круглыми глазами.

Потом Эдвард думал, что в тот миг глубокого потрясения он понял все. Он и в самом деле многое понял сразу. Он вошел в комнату, закрыл за собой дверь. Человек на кровати внимательно смотрел на него, двигая губами. На лице его отразились сильные эмоции, которые, как решил Эдвард позднее или тогда же, представляли собой смесь вины и раскаяния, извиняющейся вежливости и

глубокой скорби. Эдвард, раздираемый чувствами, подошел к кровати и остановился. Красные губы шевелились, однако не выговорили ничего. Большие глаза умоляли Эдварда услышать, ответить. Наконец раздался звук, сопровождаемый умоляющим выражением лица, который казался каким-то вопросом. Эдвард понял, что это было. Старик пытался произнести его имя, и он ответил:

— Эдвард. Да, я Эдвард, я ваш сын.

Беспомощные губы шевельнулись, пытаясь изобразить улыбку, к нему протянулась трясущаяся рука. Эдвард взял слабую белую руку в свои ладони. Потом встал на колени рядом с кроватью и уронил голову на одеяло. Он почувствовал, как другая рука прикоснулась к его волосам, и разрыдался.

— Пожалуйста, Эдвард, попытайся понять.

— Почему вы мне не сказали…

— Мы хотели, чтобы ты почувствовал себя здесь как дома, чтобы тебе было с нами спокойно и мирно, чтобы ты увидел Сигард, понял, что он символизирует…

— Мы хотели, чтобы тебе понравился дом, — сказала Беттина, — чтобы ты сначала прижился здесь.

— Мы хотели, чтобы ты стал нашим, — говорила Илона. — Мы боялись, что ты убежишь.

— Но почему?

— Если бы мы сразу все рассказали, — ответила матушка Мэй, — для тебя это могло оказаться непосильным грузом. Мы боялись, что ты уедешь, возненавидишь это место и никогда не узнаешь, каким хорошим может оно быть для тебя.

— Ты правда сам нашел ключ? — спросила Беттина. — Ты уверен, что тебя не впустила Илона?

— Конечно сам! Илона уже сказала, что никуда меня не впускала.

— Илона не всегда говорит правду, — отозвалась Беттина.

Они сидели в зале за одним концом длинного стола рядом с лесом растений в горшках. Эдвард недолго пробыл у отца. Джесс больше не произнес ни слова. Эдвард еще стоял на коленях, когда в комнату ворвалась матушка Мэй с лицом, искаженным гримасой гнева. Она приказала ему немедленно убираться из этой комнаты.

— И мы не хотели, чтобы ты видел его таким, — продолжала матушка Мэй. Она уже успокоилась, лицо ее стало мягким, просветленным. — Мы хотели, чтобы он немного восстановился.

— Вы что же, хотели вырядить его, как какого-

нибудь идола, и показать мне его через дверь?

— Нет-нет, — возразила Беттина. — Дело в том, что он не всегда такой, как сегодня…

— А мы очень не хотели, чтобы ты видел его таким, — подхватила матушка Мэй.

— Иногда он приходит в себя.

— Так что мы говорили правду, — заверила Илона. — Он уехал, но должен вернуться.

— У него всю жизнь случаются такие приступы, — сказала матушка Мэй. — Сколько я его знаю.

— Вы хотите сказать, что временами он становится сам не свой?

— Нет, — покачала головой Беттина, — матушка Мэй имеет в виду… это трудно объяснить…

— Он знает, как можно отдохнуть от жизни, — сказала Илона, — так что его жизнь продолжается.

— Иногда, — сказала Беттина, — он разговаривает вполне нормально. Он сам выходит на воздух, гуляет…

— И вы ему позволяете?

— Он может выходить и гулять где угодно.

— Но он же болен, за ним нужен присмотр…

— Он порой прикидывается, — ответила Беттина. — Трудно сказать, насколько он болен в

самом деле.

— Джесс был победителем мира, — сказала матушка Мэй, — он был…

— Он таким и остается, — поправила Беттина.

— Он остается великим художником, великим скульптором, великим архитектором, великим любовником, первоклассным лицедеем, великим человеком. Никем иным ни для нас, ни для себя он быть не может.

— Но он больной и старый…

— У него целы все зубы, — сказала Илона, — и его волосы не поседели.

— Вы не хотите согласиться, что он стар, что он не такой, как прежде, — начал Эдвард, — но наверняка…

— Он не старый, — перебила матушка Мэй. — Или, если уж на то пошло, он и старый, и не старый.

— Ты сам увидишь, — сказала Илона.

— Как он заболел — с ним случился удар или что?

— У него был удар? — спросила Илона у матушки Мэй.

— Господи боже, ты что, не знаешь?

— У болезней обычные имена… — проговорила матушка Мэй.

— Но ведь что-то произошло, он стал другим, беспомощным — когда?

— Это случилось во вторник, — ответила Илона. — Я запомнила, потому что…

— Когда, сколько лет назад?

— Некоторое время назад.

— Но когда именно? Не то чтобы это имеет значение, но…

— Это не имеет значения, — сказала матушка Мэй, — он всегда был не от мира сего.

— Ну хорошо, он лицедей, но ведь это болезнь. Что говорит доктор?

— У нас нет доктора, — ответила Беттина.

— Он был сам себе доктором, — сказала матушка Мэй. — Но естественно, ничего не смог сделать. Его состояние отчасти вызвано им самим и находится за пределами понимания…

— Но его наверняка можно вылечить! По-моему, у него либо удар, либо что-то с сердцем, кровь не поступает в мозг, хотя я в этом мало понимаю. Но я уверен, ему можно помочь, есть лекарства. Его нужно отвезти в Лондон, к специалисту. Они все время находят новые средства… Давайте я отвезу его в Лондон.

— Ты и в самом деле ничего не понимаешь, — покачала головой матушка Мэй.

Эдвард разглядывал три лица перед ним. Женщины опять стали такими похожими и в своей озабоченности казались постаревшими. Ему представилось, что их тонкие цветущие лица покрылись морщинками, иссохли, как слишком долго пролежавшие в кладовке яблоки, позолотели и размягчились. Сколько им лет? Илона не всегда говорит правду.

— Никакие доктора ему не нужны, — сказала Беттина. — Матушка Мэй — лучший из докторов. Ему идет на пользу то, что она ему дает, он от этого успокаивается.

— Ты хочешь сказать, она пичкает его наркотиками?!

— Любую пищу можно назвать наркотиком, — отозвалась матушка Мэй.

На ее лице застыло необыкновенное, лучезарное, почти гипнотическое выражение сосредоточенности и вкрадчивости.

— Он не всегда спокоен, — сказала Илона. — Порой он кричит.

— Значит, вот что я слышал ночью. Ты говорила, что это дикие ослы…

— Тут есть дикие ослы, — сообщила Беттина.

— Он, конечно, иногда раздражается и сердится, — сказала матушка Мэй, — и нам приходится

его ограничивать. Один раз пришлось позвать на помощь лесовиков.

— Не может быть! — воскликнул Эдвард.

— Да-да, — подтвердила Беттина. — Он стал уничтожать свои работы. Нам пришлось его остановить.

— У нас сто лет ушло на то, чтобы поместить его наверху, — добавила Илона.

— Не понимаю, — сказал Эдвард. — Слушайте, может, нам выпить? Я имею в виду алкоголь, это ваше вино.

— Как насчет обеда? — спросила Илона.

— Илона, пойди-ка принеси немного вина, — велела матушка Мэй. — И хлеба захвати.

Илона вышла.

— Вы хотите сказать, что заперли его, как пленника?

— То ты говоришь, что он болен и нуждается в уходе, а теперь — что он пленник!

— Конечно же, никакой он не пленник, — сказала Беттина. — Мы тебе говорили. Иногда он может выйти на прогулку. Если он хочет, то может уйти. Он не хочет. С какой стати? Здесь его дом.

— Но сам-то он что думает? Он не хотел бы съездить в Лондон на лечение?

— Нет, не хотел бы.

— Я могу понять ваше желание, чтобы он выглядел… более внятным… более презентабельным, когда я с ним встречусь… — начал Эдвард.

— Мы ждали, — оборвала его матушка Мэй. — Ждали, когда он вернется. Он всегда возвращается.

— Но вы ошибались. Вы не поняли меня. Вы думали, что я сдамся, что я убегу от него, оставлю вас. Конечно, я… разочарован… Извините, дурацкое слово для такого случая. Мне так хотелось, чтобы он…

Появилась Илона с подносом, на котором стояли бутылка вина и стаканы, лежали яблоки и хлеб. Эдвард схватил бутылку — пробки в ней не было — и разлил вино по четырем стаканам.

Илона принялась разворачивать что-то принесенное под мышкой. Это оказалась ткань с какими-то длинными концами.

— Это что? — спросил Эдвард.

— Смирительная рубашка. Вот смотри, пользуются ею так.

Она принялась надевать рубашку на себя.

— Как ты можешь?! Прекрати!

Беттина вскочила, выдернула рубашку из рук Илоны и зашвырнула в угол по плиточному

полу.

— Беттина, пожалуйста… — призвала матушка Мэй.

Илона покраснела и, плотно сжав губы, отошла в сторону; она села за стол подальше от остальных и закрыла лицо руками. Беттина тоже села. Эдвард подтолкнул стакан с вином к Илоне и сказал:

— Вы думали, я не вынесу правды, но это не так. Я хочу его узнать, я хочу за ним ухаживать. У нас с ним будут настоящие отношения. Для этого я и приехал сюда. Он мой отец.

— Уход за ним — нелегкое бремя, лучше оставить это нам, — ответила матушка Мэй. — И пожалуйста, не ходи к нему пока. Он от этого слишком возбуждается и забывается.

— Он был рад видеть меня.

— Он не узнал тебя, — сказала Беттина.

— Нет, узнал!

— Мы тебе скажем, когда его можно будет увидеть, — сказала матушка Мэй. — Думаю, скоро. Пожалуйста, прояви благоразумие и делай то, о чем мы просим. Мы знаем, что для него лучше.

— Я уверен, он хочет меня видеть, и уверен, что смогу ему помочь. Не могли бы вы хотя бы спросить у него? Как ты думаешь, Илона?

Илона, которая только что пила вино, разразилась слезами.

— Илона, замолчи, бога ради! — воскликнула Беттина.

— Почему вы пригласили меня сюда? — спросил Эдвард.

— Мы тебя пожалели, — сказала матушка Мэй. — Только и всего.

— А почему ты приехал? — задала вопрос Беттина.

— Я приехал к нему. Я был в отчаянии и думал, что он поговорит со мной, исцелит меня. Я думал, он меня защитит. Я думал, он будет мудрым и сильным. А теперь… это так ужасно… вы стыдитесь его…

— Это невыносимо!

Беттина шарахнула стаканом об стол и вышла из зала.

Громко хлопнула дверь в Переходе. Илона, продолжавшая рыдать, последовала за ней. Матушка Мэй не смотрела на дочерей — ее глаза были устремлены на Эдварда.

Эдвард глядел в ее спокойное внимательное лицо, излучавшее сочувствие и энергию. После двух стаканов вина он чувствовал себя пьяным, одиноким и слабым. Черная боль вернулась к

нему.

— На что я вам здесь нужен? — спросил он. — Мне пора уезжать?

Матушка Мэй протянула руку через столешницу и погладила его запястье.

— Мы позвали тебя сюда ради нашего блага. И ты не оставишь нас. Ведь не оставишь, правда?

Ночью Эдварда разбудил громкий грохот, от которого осталось послезвучие — высокий звон. Он сел в темноте, спрашивая себя, не гром ли это. Потом встал и, распахнув ставни, выглянул из окна на тихое звездное ночное небо. Снова закрыл ставни, подошел к двери и прислушался, не открывая ее. Потом он решил, что лучше ему подпереть дверь стулом, тщетно принялся искать его и обнаружил, что стул уже подпирает дверь — он, видимо, поставил его туда, перед тем как лечь спать. Эдвард не помнил, как ложился в кровать. Он снова лег и тут же уснул; ему приснился кошмарный сон о черном горбатом чудовище, вылезающем из острова. Когда он проснулся снова, занимался серый неприятный рассвет, а разбудил его странный шум, похожий на шум работающего мотора. По крайней мере, так ему показалось — звучал резкий, пронзительный сбивчивый беспорядочный ритмический рокот,

который на мгновение стихал и начинался снова, стихал и начинался. Эдвард снова поплелся к окну и открыл ставни. Прямо у окна пела ласточка, сидевшая на проводах, подводивших «ненадежное» электричество. Эдвард хлопнул ставнем, и птица улетела.

Он вернулся к кровати, сел и тут вспомнил громкий звук, а затем и сон. Потом вспомнил события вчерашнего дня. Он здорово напился. После того как Беттина и Илона ушли спать, под взглядом матушки Мэй он выпил еще вина. Пожелав ей спокойной ночи (или он ушел, не попрощавшись?), он пошел по Переходу в надежде найти Илону, но унылые комнаты оказались пусты. Прежде чем улечься в постель, он предпринял попытку помыть посуду и подмести каменный пол в кухне, всегда покрытый картофельными очистками и луковой шелухой, оставшимися после торопливого хозяйничанья женщин. Он вспомнил свой последний взгляд на матушку Мэй — она в одиночестве сидела за столом перед нетронутым стаканом вина, хлебом и яблоками. Ели они что-нибудь? Он забыл. Эдвард в самом деле чувствовал себя очень странно и подумал, что здесь даже в вино подмешивают наркотики. Он оделся и посмотрел в окно на рассвет, который из

серого превратился в золотистый. Это спокойное золото обнажало все вокруг. Могучие деревья снаружи — темные тисы, дубы с занимавшимися почками — стояли неподвижно и торжественно, словно всю ночь предавались размышлениям. Что-то в этом свете вызвало у Эдварда мучительную боль, он подумал о Марке и почувствовал, что приехал сюда умереть. Потом его одолело желание увидеть отца, не скоро, а сегодня, сейчас — пока они не изобрели способ помешать ему. Эдвард посмотрел на часы. Женщины, видимо, еще спали. Он должен немедленно идти к отцу.

Эдвард открыл дверь. Ключ все еще торчал в скважине, но замок не заперли. Дверь внизу, тоже с ключом, была даже приоткрыта. Тут царил беспорядок — явно после потрясений предыдущего вечера. Бутылка и стаканы, хлеб и яблоки еще оставались на столе в Атриуме.

Джесс сидел и как будто ждал его. Никаких признаков удивления Эдвард не увидел — Джесс кивнул несколько раз большой головой, приоткрыл очень красные губы и уставился на Эдварда внимательными темными, довольно выпуклыми круглыми глазами. Эти глаза имели какой-то желеобразный вид и казались совершенно темными, рыжевато-коричневыми и совсем без

белков. Они смотрели мягко, по-коровьи, но были огромными, как глаза дерева. Нос его был орлиный, с большой горбинкой. У него и в самом деле остались свои волосы и зубы, как сказала Илона; темные волосы, хотя и с начинающимися залысинами, вырастали в буйную гриву и длинными локонами падали на плечи. Они были шелковистыми и абсолютно прямыми, как и слегка подстриженная борода. Седины Эдвард не заметил. Джесс наконец сумел кивнуть и изобразить некое подобие улыбки, а руки его чуть подергивались на простыне, словно он ударял по клавишам рояля. Кисти были крупные, с удлиненными пальцами, покрытые длинными темными волосами, растущими до самых ногтей. На одном пальце среди всклокоченных волос виднелся большой золотой перстень с красным камнем. Эдвард обратил внимание, что манжеты бледно-желтой пижамы сильно обтрепались, а на одном рукаве зияла прореха. Кровать пребывала в беспорядке, одеяло с одной стороны свесилось на пол.

Впоследствии Эдвард вспоминал, что рядом с Джессом он сразу избавился от жуткого страха, который он чувствовал, пока бежал по дому. Он словно точно знал — или слышал наставляющий

голос, — что нужно делать. Он ничего не сказал, но подошел к кровати и начал приводить ее в порядок. Поднял одеяло, разгладил простыни, иногда случайно прикасаясь к руке больного. Потом подвинул стул к кровати и уставился на отца. Эдвард вдруг почувствовал себя почетным гостем, незаменимым служителем, призванным сюда. Он рассматривал большую голову, теперь такую близкую, видел квадратики и шестиугольники морщин на коже отца. Он почувствовал резкий запах, дух мочи, пота, старости. Конечно, на самом деле отец был не так уж стар. Но все-таки, несмотря на темную буйную гриву, он казался старым.

Джесс сутулил плечи и наклонял голову набок с видом эксцентричной задумчивости, почти игривости. Эдвард взял его левую руку, ту, что с перстнем, уверенно наклонил голову и поцеловал ее. Затем отпустил руку.

— Отец, — сказал Эдвард.

— Джесс.

— Хорошо…

— Скажи… Джесс…

— Джесс. Да, Джесс.

Эдвард почувствовал желание разрыдаться, но понимал, что должен контролировать себя,

сохранять ясную голову, как тот, кто должен доставить послание или кому сообщили важную новость. Он не ждал, что Джесс заговорит. С другой стороны, он не ждал, что отец будет молчать. Все происходящее было неизбежным.

Джесс что-то произнес.

— Повтори.

— Ты… не… приезжал…

Во второй раз слова прозвучали довольно отчетливо. Эдвард не знал, что ответить.

— Извини… я не знал…

— Ты мне был… нужен… я писал…

— Я не получал от тебя писем.

— Значит… они не отправляли… я писал… кажется… я забыл…

— Но я все же приехал, — сказал Эдвард. — Я здесь, и я останусь здесь. Я так рад…

Он подумал: «Я хотел рассказать ему о Марке, но это, конечно же, невозможно. Это не имеет значения. Я должен помогать ему говорить, я должен сделать все, чтобы это продолжалось».

— Они… те, кто внизу… эти… эти…

— Твоя жена и дочери?..

— Нет-нет… эти… какое слово…

— Женщины?

— Женщины… только представь… забыть это…

Теперь, несмотря на запинающуюся речь Джесса, Эдвард обратил внимание на необычный голос Джесса, его манеру говорить чуть с растяжкой, его произношение. Он родился в Строке-на-Тренте[49] и до сего дня сохранил тамошний акцент. Это было так удивительно, так несовременно, так ужасно трогательно.

— Знаешь… это… почти конец…

— Нет, Джесс, нет. Тебе станет лучше, ты снова будешь рисовать. Ты ведь еще рисуешь?

— Нет… не могу сосредоточиться… бог с ним… с рисованием… я хочу, чтобы ты получил…

— Доктор тебя подлечит…

— Слушай… ты получишь все это… дом… картины… это… это… все…

— Давай я отвезу тебя в Лондон. Мы покажем тебя хорошему врачу.

— Мое завещание… я спрятал его… вон туда…

Джесс махнул в сторону стены, к которой был прикреплен какой-то металлический прибор, может быть старый радиатор.

— Я очень хочу тебе помочь, — сказал Эдвард, — привезти тебе все, что ты хочешь.

— Я бы хотел… да…

---

[49] Примечания: 49
Город в Центральной Англии.

— Скажи мне, чего ты хочешь.

— Немного…

— Немного чего?

— Немного… баб.

Джесс произнес это, и на его лице появилось лукавое, хитроватое выражение. Он хихикнул.

— Черт возьми! — воскликнул Эдвард.

— Я знаю… я уже не могу… ты можешь… я хотел увидеть тебя… в юности… И еще одно…

— Да

— Ты похож на…

— На кого?

— На… меня…

Эдвард не сразу понял смысл сказанного. Он подавил удивленный вздох.

— Конечно…

— Не возражай. Я хотел… убедиться…

— Как же иначе? — ответил Эдвард. — Ты же мой отец. Перед небесами, перед богами, нет ничего определеннее этого.

— Я в тебе… вижу себя… молодого. Я любил ее… сильно любил…

— Мою мать?

— Да. Она ведь умерла, да?

— Да.

— Я так и думал. Много времени прошло… все

смешалось… со мной никто не говорит…

— Я буду с тобой говорить.

— Раньше Илона… говорила… но она не приходит… больше…

— Я ей скажу, чтобы приходила.

— Им все равно.

— Джесс, им не все равно. И мне не все равно. Я тебя люблю.

— О… любовь… я это помню! Но теперь все это вернулось. Я пил… и видел…

— Что видел?

— Видел… Шекспир…

— Видел паука?[50]

— Да. Он всегда… на дне чашки… смотрит на меня. Но пауки — хорошие твари… не убивай… их…

— Не буду.

— И знаешь… я много думаю… и не могу им

---

[50] Примечания: 50

Аллюзия с «Зимней сказкой» Шекспира. Леонт, герой «Зимней сказки», использует метафору с пауком, лежащим на дне чаши с вином, чтобы объяснить собственные переживания; паук — это отравленное знание, не дающее покоя Леонту, знание, что его жена неверна ему.

Если в чашу попадет
Паук, мы можем выпить и от яду
Не заболеем, ибо в нас сознанье
Отравлено не будет… если ж нам
Покажут эту мерзость, скажут, что
Мы пили, стиснет судорога горло
И грудь… я пил — и видел паука…
(Перевод Т. Щепкиной-Куперник.)

сказать… это так ужасно… эти твари… не лягушки, другие…

— Жабы…

— Да. Приглядывай за ними. Они особенные. Они забираются по плющу… ко мне… сюда. И эти высокие… высокие растения… деревья. Не позволяй им спиливать их… тополя.

— Хорошо. Я уверен, они и не собираются.

— О… что они могут? Когда они решили, что я… умираю… они ко мне не подходили…

— Я уверен, они…

— Они надеялись, что все… кончится…

— Джесс, ты…

— Они стыдятся… для женщин… я… ну, ты понимаешь… мешок с дерьмом… убрать поскорее. Тогда они приберутся в комнате… откроют окна…

— А море у тебя из окна видно? — спросил Эдвард. — Можно мне посмотреть? Вчера был туман.

— Иди посмотри. И скажи мне. Я забыл.

Эдвард резко поднялся на ноги и подошел к окну. Он увидел море в лучах солнца.

— Что ты видишь?

— Я вижу море! — воскликнул Эдвард. — Его освещает солнце, оно темно-синее и все перели-

вается, как витражное стекло, и оно так близко, а на нем такая красивая яхта с белым парусом и… О, как же я рад! Хочешь посмотреть? Я тебе помогу.

— Нет… не хочу… я увижу… что-нибудь другое. Твои слова… лучше.

Эдвард подошел к кровати и сел. Он взял руку отца с большим перстнем.

— Это тоже тебе… перстень. Ты будешь его носить… когда меня не станет.

— Джесс, мне нравится говорить с тобой. Я хотел рассказать тебе кое-что… но лучше потом…

— Хорошо… как-нибудь…

— Слушай, ты ведь можешь ходить, да? Они сказали, что можешь.

— Иногда… могу… далеко могу уйти.

— Я бы прогулялся с тобой, если ты не против.

— Они меня прикончат.

— Что?

— Отравят меня… я думаю… не беспокойся…

— Ты шутишь! Теперь я с тобой, я буду заботиться о тебе.

— Ты останешься…

— Да-да, останусь.

— Бедный Джесс, ах бедный Джесс…

— Не надо.

— Бедный Джесс, бедное дитя…

— Джесс, прекрати, или я расплачусь! Понимаешь, они вовсе не против тебя, ты заблуждаешься!

Ужасная жалость к искалеченному болезнью чудовищу пронзила Эдварда, но еще сильнее был страх, что отец заметит это чувство.

— Я знаю… что я знаю. Существуют страшные наказания… за преступления против богов… и я тебе когда-нибудь расскажу… они боятся меня… это не… ни…

— Нелепо… ничтожно… низко… непотребно?

— Странно, как слова убегают… теряются… они здесь и их нет… он в черном ящике… скоро и я там буду… я забыл, как он называется…

Джесс начал стягивать с себя пижаму.

Теперь жалость Эдварда была неотличима от страха; может быть, она все время была такой. Он инстинктивно сделал движение, чтобы помешать Джессу раздеваться, но тут же принялся помогать ему вытаскивать слабые руки из рукавов. Перстень зацепился за дыру и увеличил ее.

Вид Джесса изменился, морщины на лице как будто разгладились, уменьшились и напоминали волосяную сеточку, натянутую на молодое лицо — спокойное, безмятежное и просветлевшее. Густые заросли длинных прямых волос, спадавших

на грудь и похожих на шерсть животного, были темными, но чуть подернутыми сединой.

— Не беспокойся… оно еще не пришло для меня… время уходить. Оставь меня пока… Эдвард… но возвращайся…

— Да, да…

— Скажи Илоне…

— Что?

— Нет… ничего… она хорошая девочка… скажи ей это. Я хочу, чтобы ты женился на Илоне.

— Она же моя сестра!

— Ах да… конечно… я забыл.

— Откуда он узнал про тополя? — спросила матушка Мэй у Беттины.

Эдвард спустился с башни и обнаружил, что три женщины, словно какой-то мрачный совет, ждут его за завтраком. Даже Илона выглядела торжественно. Однако сегодня утром, проголодавшиеся после вчерашнего, они поглощали отруби, овсянку, картофельные оладьи с соевой заправкой, овсяные гренки и яблоки.

— Он потихоньку подкрадывается и подслушивает, — сказала Беттина.

— Спускается по всем этим лестницам?

— Он умеет подкрадываться, как жаба.

— Он сказал, что жабы заползают по плющу в

его комнату.

— Я думаю, он сам спускается и поднимается по плющу!

— Мы тебя просили не ходить к нему, — упрекнула Эдварда матушка Мэй. — Почему ты не можешь подождать?

— Он мой отец.

— Может, он уже никогда не поправится, — сказала Илона. — Так чего ждать?

— А вы и вправду собираетесь спилить эти прекрасные тополя?

— Да, — ответила матушка Мэй.

— Мы должны жить, — сказала Беттина. — Мы должны есть, платить налоги, покупать еду, бензин и…

— Ты себе представляешь, — спросила матушка Мэй, — сколько стоит содержание такого огромного дома, настоящего дворца?

— Да, но неужели нет других способов? Он попросил меня: «Не позволяй им спилить тополя».

— Мы уже слышали.

— Я люблю эти тополя, — сказала Илона. — По-моему, это ужасно — срубать деревья…

— Тебе лучше помолчать, — оборвала ее Беттина. — Тебе не приходится принимать решения!

— Вы мне не позволяете принимать решения!

— Замолчи, Илона!

— Илона, не сердись на нас, — сказала матушка Мэй.

— А картину какую-нибудь нельзя продать? — предложил Эдвард. — Или несколько картин?

— Они не хотят продавать картины, пока он жив, — ответила Илона. — Картины подскочат в цене, когда он умрет.

— Верно, тогда они будут стоить больше, — подтвердила матушка Мэй, — так что продавать их сейчас неразумно. Смешно проявлять чувства к деревьям. Их посадили как раз для того, чтобы они приносили доход.

— Но разве его желание, чтобы они остались, не закрывает вопрос? Он специально просил меня об этом…

— Ты только не думай, — сказала матушка Мэй, — что ты некий особенный посланник или толкователь пожеланий Джесса. Он говорит много чепухи и через секунду все забывает. Ты здесь новичок, чужак. Для тебя внове эта сложная и давняя ситуация. Ты влезаешь в дело, в котором ничего не понимаешь. Это не твоя вина. Но ты должен понять это и подчиниться нам. Ты наш гость.

— Я не могу понять вашего отношения к

Джессу.

— Мы ничего не собираемся тебе объяснять! — заявила Беттина.

— Он сказал, что ты к нему не приходишь, — сказал Эдвард Илоне.

— Мы ее не пускаем, — отозвалась Беттина.

— Почему?

— Он вожделеет к ней.

— О господи…

— Я хочу его увидеть, — сказала Илона. — Очень хочу… я пойду к нему с Эдвардом…

— Никуда ты не пойдешь, — ответила Беттина.

— Он совсем беспомощный, — сказал Эдвард, — я не понимаю…

— Он не такой беспомощный, как ты думаешь, — возразила Беттина. — Иногда он прикидывается, чтобы мы потеряли бдительность.

— Вы сказали, что он выходит на улицу, и вы не возражаете, позволяете ему…

— Он может ходить куда угодно.

Илона вытерла слезу.

— Да, он и в самом деле достоин сочувствия, — сказала матушка Мэй, — его переполняет бессильный гнев. У желания покорить мир нет никаких здравых пределов.

— Он был богом и провел нас, когда стал ре-

бенком. Такое трудно простить, — подхватила Беттина. — Он лишился дара речи и стал пленником безмолвия, поэтому он плачет от злости. Столько всего знать и не иметь возможности сказать.

— Поэтому он впадает в сон, похожий на транс, — добавила матушка Мэй. — Это случается, когда он больше не в силах сознавать себя.

— Он и вправду впадает в бессознательное состояние, — подтвердила Илона. — Ты сам увидишь.

— Его душа витает где-то, — продолжала матушка Мэй. — У него всегда была эта способность, но теперь он пользуется ею чаще.

— Иногда мы думаем, что он умер, — сказала Илона, — только на самом деле он жив. Нижняя челюсть у него отпадает и…

— Прекрати, бога ради! — воскликнул Эдвард.

— В один прекрасный день он решит умереть, — сказала Беттина, — как больное старое животное, которое ищет место или выбрало его уже давным-давно…

— Но он вовсе не стар! — не соглашался Эдвард.

— Он более стар, чем ты думаешь, — сказала матушка Мэй. — Для него время течет по-другому.

Конечно, его обаяние остается при нем. Он и тебя очаровал. Он попытается использовать тебя…

— Он болен, и ему можно помочь…

— Ты это все время повторяешь. А можешь ты представить его в больничной палате?

— Разве мы должны относиться к нему как к больной собаке, которую ведут к ветеринару? — спросила Беттина.

— Ты его не знаешь, — уговаривала матушка Мэй, — не знаешь его силы, понятия не имеешь о его величии.

— Вы хотите сказать, что он по-прежнему всему задает тон?

— В каком-то важном смысле — да.

— Вы противоречите сами себе, — сказал Эдвард. — Вы меня запутываете и делаете это намеренно.

— Мы бы обманывали тебя, если бы делали вид, что все просто, — ответила матушка Мэй.

— Он был нашим богом, — сказала Беттина. — Потом он превратился в жестокого и безумного бога, и нам пришлось ограничить его.

— Они морили его голодом, — произнесла Илона.

— Илона, прекрати врать! — возмутилась Беттина.

— Естественно, он иногда сердится на нас, — сказала матушка Мэй. — Мы представляемся ему враждебной силой, мы символизируем сокращение его мира, потерю его таланта, его зависимость от других. Мы тебе говорили, что как-то раз он попытался уничтожить свои картины и разбить скульптуры.

— Разве у него нет права уничтожать собственные работы? — спросил Эдвард.

— Нет, — ответила Беттина. — Ты сам подумай.

— Он превосходный лицедей, — сказала матушка Мэй. — Он бессчетное число раз воссоздавал себя. А мы, принимая в этом участие, помимо прочего должны быть хранителями его работ. Мы несем ответственность перед потомством.

— Вам нужны деньги, ведь в этом проблема? — сказал Эдвард. — Почему бы вам не показывать Джесса туристам? Он здесь самый интересный экспонат. Они бы немало заплатили, чтобы увидеть его погруженным в транс!

— Пожалуйста, давай обойдемся без оскорблений, — остановила его матушка Мэй. — Никому из нас это не принесет пользы.

— Вы его прячете, потому что он превратился в развалину, перестал быть великим романтическим гением, а вы повсюду рассылаете ложные

известия о нем. Я читал в газетах, что он продолжает писать картины. А теперь вы хотите, чтобы я стал вашим сообщником!

— Давай-ка, Эдвард, прекратим это, — призвала Беттина. — Мы уже достаточно наговорили.

— Вы пригласили меня сюда… — начал Эдвард.

— Мы пригласили тебя сюда, — сказала матушка Мэй, — потому что прочли, что один молодой человек убит и в его смерти обвиняют тебя.

— Вы это прочли? Никто никогда меня не обвинял.

— Может, мы неправильно поняли то, что там написано, — проговорила Беттина, — но мы хотели сделать для тебя доброе дело.

— Ты хочешь сказать, что ваше приглашение никак не связано с Джессом?

— Нет, конечно, никак не связано, — сказала матушка Мэй.

Последовала пауза. Три женщины смотрели на Эдварда. Он поднялся и пошел прочь от стола. Его сандалии — сандалии Джесса, великоватые для Эдварда, — легонько, но отчетливо шлепали по плиточному полу.

Дойдя до перехода, он понял, что Илона следует за ним. Он пошел дальше и уже собирался подняться по лестнице, но передумал и направился в

Упряжную, о которой думал теперь как о паучьей комнате. Илона тоже шагнула туда, закрыла за собой дверь и, захлебываясь, принялась говорить.

— Конечно, это связано с Джессом, но мне трудно объяснить. Я думаю, матушка Мэй хотела перемен, любых перемен…

— Я наверняка нарушил здешнюю экологию.

— Она хотела, чтобы у нас появился новый человек. Они всегда хотели сына, а не нас, девочек. Но ты появился слишком поздно, тебя не было, когда это было нужно, а ко всему прочему, у тебя другая мать, и все перемешалось…

— Вот уж что верно, то верно.

— А мы с Беттиной прожили здесь слишком долго, мы не в силах ей помочь, мы как кошки, обитающие в доме. Матушка Мэй в чем-то похожа на Пенелопу, она хочет, чтобы Одиссей уехал, снова уплыл в свои странствия…

— Он не может уехать…

— Не знаю. А если может? Он…

— Но ты можешь уехать.

— Я хотела выучиться на балерину, но он мне не позволил, он хотел, чтобы я оставалась здесь. У Беттины был молодой человек или вроде того, и она хотела уехать в университет. Но Джесс пресек все это, и вот так получилось, что мы остались

здесь, мы всего лишь плохие художницы и никудышные танцовщицы…

— Да перестань. Ты делаешь украшения…

— Это хлам, ты сам знаешь. Тебе не понравилось…

— И у Беттины золотые руки.

— Она ремонтирует вещи, матушка Мэй готовит… Беттина ревнует, потому что ты предпочитаешь меня…

— Илона, не будь такой глупенькой! Джесс просил передать, что любит тебя. Он сказал, ты была хорошей девочкой, он просил меня сказать тебе об этом.

— Хорошая девочка — это ничто. Здесь когда-то обитало настоящее величие, и мы автоматически делаем вид, будто оно все еще здесь. Мы, похоже, уже ни на что не способны, мы даже на флейте не можем играть.

— Но в то утро вы мне играли.

— Это единственная мелодия, которую мы можем хоть как-то воспроизвести.

— Раньше вы ткали.

— Вот именно: раньше. Это история. Давным-давно здесь происходило что-то, некое спасение путем труда, вне религии, вне Бога, в этом был смысл всего: социализм и магия, выход за пре-

делы добра и зла, природы и свободы. Трагедия в том, что все это было так прекрасно, но дух ушел, испортился. Может, это знание всегда было слишком глубоким и тлетворным, или мы потерпели поражение, *мы* потерпели поражение — он был слишком велик для нас. Но именно это делало Джесса таким живым и полным сил, таким необыкновенным, словно он собирался жить вечно. Так было прежде, я помню. А теперь нам приходится делать вид, будто мы счастливы, как монахини никогда не признаются, что совершили ошибку и монастырь для них превратился в тюрьму.

— Почему же ты не уедешь отсюда? — спросил Эдвард.

— Ну как я могу уехать? Если ты не можешь, как могу я?

«Значит, я не могу уехать», — размышлял позднее Эдвард, стоя в одиночестве посреди своей комнаты и глядя на неприбранную постель. Солнце посветило недолго и скрылось, морской ветер стучался в окна; воздух в доме был влажным, и одежда прилипала к телу. Из кармана торчал свернутый в трубочку лист бумаги. Эдвард вытащил его и развернул. Это был рисунок Джесса, изображавший Илону; Эдвард вспомнил,

что подобрал его утром в студии. Илоне на рисунке было лет двенадцать — четырнадцать. Она выглядела удивленной и радостной; возможно, в те времена они все жили счастливо и верили в волшебство Джесса. Волосы Илоны были причесаны, как теперь: одна центральная прядь зачесана назад и подколота, остальные свободно висят по бокам. Цветы на ее широком платье с открытым воротом были лишь намечены, но не прорисованы; этот рисунок напомнил Эдварду, что нынешние дневные платья девушек очень похожи на форменные. Даже тканые вечерние платья казались ему искусственными, как музейные экспонаты. Он подумал: «Женщины без мужчин — они прихорашиваются для меня, но из этого ничего не получается. У них нет вкуса, они не могут избавиться от небрежения своей внешностью, от неряшливости, постепенно ставшей привычкой». На рисунке характерное движение Илоны, ее стремление вперед, было передано несколькими линиями, обозначавшими свободные складки на платье. Нынешняя Илона выглядела трогательной и необыкновенной на этом простом беглом наброске. Эдвард разгладил рисунок и спрятал его в ящик.

«А почему я не могу уехать? — думал он. — Что

меня здесь держит? Джесс, любовь к нему, жалость, долг. Боже мой, я обещал ему, что останусь. И я по-настоящему никому не могу доверять. Я даже не знаю, сколько лет этим женщинам и кто из них кто. Они как девы-волшебницы. Сегодня во время разговора Беттина казалась старой; может быть, мать — это она. Илона тоже выглядела старой, когда только что беседовала со мной. Такая усталая, покрытая морщинами. А Джесс — он и вправду хотел, чтобы я приехал, и просил их привезти меня? Понимает ли он на самом деле, кто я такой? Действительно ли он думал обо мне или же, не утратив своего умения очаровывать людей, просто выдумал все это? Для чего я здесь — чтобы помочь, чтобы высвободить его разум, разговаривая с ним, чтобы стать его опекуном в последние дни? Что привело меня сюда — они, он, судьба? Ах, как я разочарую их всех! Что здесь такое — святилище, где непорочные женщины ухаживают за раненым чудовищем, искалеченным мистическим минотавром? Или же меня заманили в ловушку, составили заговор, чтобы уничтожить меня? Я не могу уехать отсюда. Когда Джесс сказал, что хочет увидеть мою юность, разве он не ненавидел меня за то, что я такой молодой и живой? Он способен на гнев и нена-

висть… возможно, и на вожделение. Может быть, женщины заманили меня сюда, чтобы наказать, чтобы сообща как-то отомстить Хлое? Я — идеальная жертва, утонченный, порядочный, молодой, сын плохой матери. Или по какой-то причине, которую я так никогда и не узнаю, я должен принять участие в заключительном акте драмы? Эта драма лишь косвенно относится ко мне, но я в ней буду уничтожен. Боже мой, как они пугают меня, все они. Джесс сказал, что они травят его. Они могут отравить и меня в любой момент. Я постоянно пью их травяные настои. Может, они медленно лишают меня разума, навязывают галлюцинации вроде электропровода в Переходе в виде вылезшей из стены птичьей ноги. Я думал, что сошел с ума, потому что влюблен в Марка и не могу жить без него. Не из-за этого ли я приехал сюда? Чтобы с помощью магии избавиться от своего прежнего ненавистного «я» и обрести новое? Я был влюблен в Марка… а теперь я влюблен в Джесса. Может, это и есть мое лекарство, мое исцеление, мое желанное отпущение? В одном я могу быть уверен: за преступление против богов полагается страшное наказание».

Мидж Маккаскервиль сидела у окна своей спальни в Куиттерне, загородном доме Мак-

каскервилей. День клонился к вечеру, а она ненавидела это время. Колено у нее потеряло подвижность, горело и болело, руки были исцарапаны, и она все время прикладывала их к щекам, чтобы почувствовать, насколько они ободраны. Слезы стояли в глазах Мидж, и она скоро дала им волю, вспомнив о своем падении и о том, как день назад на концерте в школе у Мередита ее до слез тронули высокие поющие мальчишеские голоса. Среди них не было голоса Мередита — он притворился, что не умеет петь. «Я все время плачу в последние дни», — подумала Мидж, потирая больную коленку.

Она встала и прошлась по комнате, потрогала тюбики и флакончики с косметикой, аккуратно, словно инструменты, разложенные на туалетном столике. После обеда она собиралась всерьез заняться цветами, но потом решила, что это бессмысленно. «Боже мой, — подумала она, — какую ужасную тревогу я чувствую и ничего не могу с собой поделать, во всем моем теле эта ползучая тревожная боль». У нее возникло знакомое ощущение: потребность сделать что-то очень странное, чтобы сохранить здравомыслие. «Я хочу что-нибудь сделать, — думала Мидж, — сломать что-нибудь, прыгнуть в реку, выпрыгнуть

из окна. Это как желание сбросить с себя что-то, какое-то очищение. Но как я могу очиститься? Что бы я ни сделала, в итоге будет зло. И тут еще Томас, вовремя взялся за прополку. Сил нет смотреть, как он старательно наклоняется, а потом складывает сорняки в аккуратную кучку, корнями в одну сторону — он такой педант. И он хочет развести костер, а у него в подобной ситуации всегда такой возбужденный и глупый вид. Он обо мне совершенно не думает. Но он же психолог. Разве он может не понимать, какой поток сознания рождается у меня в голове?»

Мидж в то утро проснулась рано от безумного, невыносимого пения птиц и сразу же вспомнила о выходных с Гарри, на чем он так настаивал и что теперь казалось невозможным. Желание быть с Гарри, в его объятиях, просто почувствовать благодатное облегчение и счастье от его присутствия снова загорелось в сердце Мидж, заставило ее подняться и опять пройтись по комнате. Только рядом с Гарри она становилась собранной и спокойной. Так значит, Томас был источником ее несчастий? Значит, она должна набраться сил, чтобы возненавидеть мужа и соединиться с любовником? Может, так оно и есть. Наконец-то вырваться на свободу из клетки боли

и лжи! Она посмотрела в зеркало на туалетном столике — на свои прекрасные волосы, на свое искаженное лицо — и на мгновение широко раскрыла глаза, придав лицу прежнее прелестное живое выражение, означавшее: «Посмотри, как я хороша!» И неужели это она — та самая, кем все восхищались и кого обожали, теперь, очень скоро, должна принести столько горя, вызвать такой скандал и хаос? Она отвернулась от зеркала.

— Ты себе места не находишь в последние дни, — сказал ей в это утро Мередит.

Что видел Мередит? Что он слышал и что понял? Наверное, ничего, убедила себя Мидж. Воспоминание о той сцене постепенно стиралось. После «разоблачения» Мередит исчез, словно его и не было. Гарри она ничего не сказала.

Куиттерн был небольшим миленьким домом — два строения красного кирпича, соединенные вместе; возможно, когда-то это были коттеджи лесников, поскольку стояли они в середине леса. Цивилизация (благодаря удобному сообщению с Лондоном) приблизилась к ним, но не успела загадить окрестности. Маккаскервили жили в Куиттерне уже двенадцать лет. Их предшественник заменил соломенную крышу на черепичную, оборудовал гравийный подъезд и окружил дом

площадкой, покрытой округлой морской галькой, которая во влажном виде становилась черной и блестящей, а в сухом — крапчатой и серой. Томас упростил сад, где раньше были розовые клумбы и два длинных газона по краям. Теперь здесь осталась простая лужайка, а на ней — великолепный бук, и единственная клумба неподалеку от длинной живой изгороди, которую не подстригали. Более дикая часть сада, переходившая в лес, была полна буйно разросшихся кустов рододендронов, готовых распуститься сиреневатыми цветами; среди кустов то здесь, то там виднелись веллингтонии, макрокарпы да несколько стройных березок. В лесу, когда-то столь поразившем Мидж, росли высокие стройные дубы и каштаны, попадались большие дикие вишни; в нескольких местах, где кроны деревьев были не очень густы и солнечный свет доходил до земли, встречались папоротники. Из коричневатых прошлогодних зарослей пробивались молодые побеги, кое-где уже зацвели колокольчики. Когда-то все это показалось Мидж настоящим раем, но теперь этот маленький уголок дикой природы перестал доставлять ей удовольствие. Лес пугал ее, казался враждебным, камни наводили тоску. Она предпочла бы асфальт вокруг дома и хотела бы (что

немыслимо для Томаса) спилить, выкорчевать с корнем бук. Темное, чуждое здесь дерево излучало меланхолию, стучалось в окно ванной своими плакучими ветвями. А подальше в лесу, где заканчивалась территория Маккаскервилей, некая семья, носящая фамилию Шафто, построила жуткий современный особняк и теннисный корт. Мидж слышала звуки падающих деревьев и далекие враждебные голоса. Томас и Мередит намеревались подружиться с соседями, но Мидж воспротивилась. Томас постоянно повторял, что хочет оставить дела и поселиться в Куиттерне. Он сказал, что Мередиту можно было бы завести здесь собаку. При мысли о собаке слезы наконец хлынули из глаз Мидж.

Томас развел костер, и ветер задувал дым в кухню. Мидж вышла на улицу. Груда сорняков, выполотых Томасом, и зимний мусор были влажными, и Томас плеснул керосину, чтобы горело получше; пламя заполыхало вовсю. Мидж отступила от жара.

— Не подходите близко! — крикнул Томас ей и Мередиту, только что появившемуся из леса.

Мередит, за последнюю неделю как будто выросший на несколько дюймов, стоял, засунув руки в карманы. На его лице застыла чуть вы-

сокомерная улыбочка — любовь в сочетании с ребяческим кривлянием. Совсем недавно он устроил бы пляски вокруг костра, носился бы по лесу в поисках чего-то, что можно бросить в огонь. Теперь же в этом качестве выступал Томас. Краснолицый, в старом потрепанном костюме и кепке, вооруженный вилами, он ходил вокруг костра, собирал в кучки вывалившиеся оттуда горящие веточки и закидывал их назад в огонь. Столб серого пепла, поднимающийся от пламени, набрал высоту и понемногу стал распадаться — пепел падал на шапку Томаса, на его одежду и очки, сияющее потное лицо. «Что он сжигает? — думала Мидж. — Что он уничтожает с таким свирепым энтузиазмом?» Она сморщилась при виде того, с какой силой он налегает на вилы. Что случится, если… Если что? Если привычные мягкость, внимание, естественное взаимопонимание и вежливость, соединявшие ее и Томаса, когда-нибудь дадут трещину? Он был таким мягким и учтивым, таким заботливым и добрым. «И почему я не могу быть с ним счастлива? — спрашивала себя Мидж. — Разве не в этом суть проблемы? Я не то что несчастлива — я в отчаянии, в аду, и все вокруг не так, и я сама не своя. Я должна быть счастлива, такова моя при-

рода, мое право. Это и бесит меня, доводит почти до безумия — ощущение того, что мое счастье так близко, рукой подать, а я просто… почему-то… не могу… до него дотянуться…»

— Ну как наша бедная коленка? — спросил Томас.

— Лучше.

— Дай я посмотрю.

Они сидели под выглянувшим ненадолго солнышком; их садовые стулья с просевшими сиденьями стояли чуть наклонно на неровных камнях.

Мидж подняла голую расцарапанную ногу. Томас, конечно же, возился с ее раной, продезинфицировал ее, посочувствовал жене. Теперь он поверх очков смотрел на ранку таким взглядом, который особенно раздражал ее. Томас ласково положил руку на матовую гладкую кожу над ссадиной.

— Она вся горит, — сказала Мидж. — Может, забинтовать?

— Нет, оставь так, у тебя все чисто. Бедняжка, какое ужасное падение.

— Это было так нелепо.

— Ты у меня глупенькая — нельзя ходить в туфлях на высоких каблуках. Они хороши только

для гостиных!

— Да… Ну ладно, пусть так…

— Ты хорошо себя чувствуешь? В смысле, вообще.

— Да, конечно.

— Еще не конец твоего периода?

— Нет, я в порядке.

— Ты иногда выглядишь такой…

— Какой?

— Отсутствующей.

— Может, я теряю свою индивидуальность. Впрочем, у меня всегда ее было немного.

— Переоцененный товар. Я тебя не раздражаю? Иногда мне кажется, я тебя теряю.

— Нет-нет. Просто мы подчас разговариваем как чужие. Интересно, у других тоже такое случается?

— Забудь о других. У нас своя собственная манера разговаривать.

— Интересно, как разговаривали Гарри и Хлоя?

Она вдруг не смогла воспротивиться желанию произнести его имя.

— Ах, эти двое…

— Ты говоришь о них так презрительно.

— Да нет, господь с тобой. Жизни других людей

и fortiori[51] их браки есть тайна великая.

— Даже для тебя?

— В особенности для меня. Все простые объяснения я давно исчерпал.

— Но Гарри…

— Гарри мог бы стать фашистом…

— Он тебе представляется грубым?

— Я хотел сказать, что на самом деле он романтик. Я полагаю, фашисты тоже были романтиками, но он порядочный романтик. Разочарованный вождь. Конечно, он страдал оттого, что у него знаменитый отец. Это как верблюд для Уилли. Он был романтически влюблен в Хлою, и я уверен, они оба вовсю играли в эту игру. Я не говорю об этом цинично. В жизни так много актерства — это может стать катастрофой, но иногда это способ сдерживания ситуации, которая в противном случае была бы совершенно неподконтрольна тебе.

— Значит, они были счастливы?

— Да, на свой беспокойный манер. Ты так не думаешь?

— Да, пожалуй… Хлоя определенно была романтиком. Она теперь где-то далеко от нас, бедная

---

[51] Примечания: 51
Особенно *(лат.)*

девочка.

— Бедная, потому что умерла молодой?

— Она никогда никого не любила по-настоящему, кроме Джесса Бэлтрама. В конечном счете после такого мужчины все другие должны казаться бледными тенями. Она так и не оправилась после того, как он ее бросил.

— Но ты, конечно, Джесса никогда не видела, да? Мне раньше хотелось изучить этого человека.

— Он, естественно, был благодарен Гарри.

— Что ж, Гарри женился на женщине, беременной от другого мужчины.

— Это типично для него, — сказала Мидж. — Он такой щедрый… настоящий рыцарь… необузданный… возможно, глуповатый.

— Склонный к саморазрушению, — отозвался Томас. — Он женился на ее раскаянии, стыде, мстительности и ненависти к себе. Его привлекают такие запахи.

— Ну, это уж слишком психологично. Она была по-своему привлекательна, этакая трагическая королева. А почему он выбрал ту, другую?

— Потому что она была невинная пустышка. В ее чистых, ясных любящих глазах он видел бескрайние моря Антарктики и летающего кругами

альбатроса.

— Очень романтично. Это смешно, но я всегда считала Эдварда сыном Гарри. Это Стюарт похож на безотцовщину.

— Непорочное зачатие. Безгрешная отсутствующая мать, мать-девственница. Это способ избавиться от отца.

— Ты думаешь, этим все и объясняется?

— Нет.

— И Стюарт в самом деле станет надзирать за условно осужденными — таково, кажется, его последнее решение? Превратить всех преступников в Стюартов? Не могу его понять.

— Я тоже. У него какой-то метафизический порыв. Есть люди, способные делать только что-то одно, но им нужно попробовать все. Он похож на композитора, который должен изобрести для себя всю гармонию. Стюарт видит машину жизни, ожесточающую людей, — секс, алкоголь, честолюбие, гордыня, корыстолюбие, изнеженность — и представляет себе это в виде одной большой ловушки. Его простой план состоит в том, чтобы не попасть в нее. Вот почему ему нужно попробовать все.

— У него будет нервный срыв. Он наделает дел. А в итоге станет психопатом.

— Хорошенькие девушки любят психопатов.

— Я бы хотела, чтобы он оставил Мередита в покое. Прошлой ночью мне опять приснился этот сон о белом всаднике. Он поворачивается и смотрит на меня. А может, белая только лошадь… Ты сказал, что это символ смерти.

— В этом нет ничего страшного. Жизнь — тоже символ смерти. Это исследование умирания.

— Я знаю, смерть тебя ужасно интересует. Мне бы хотелось, чтобы Эдвард проявлял больше интереса к Мередиту. А как там Эдвард? Где он? Все думают, что он здесь. Где ты его спрятал?

— Он отправился в паломничество, чтобы пройти испытание, сугубо личное испытание. С ним все будет в порядке.

— Тебе нужно было стать не ученым, а каким-нибудь романтическим поэтом. Я хочу увидеть Эдварда. Хочу утешить его.

— Пойдем прогуляемся?

— А не пора ли выпить?

— Нет, еще рано.

— Я слишком устала.

— Тебе нужно какое-то занятие.

— Ты это все время повторяешь. И что же я, по-твоему, должна делать?

— Почему бы тебе не начать собирать коло-

кольчики?

— Ты эльф, а не человек!

Пока они разговаривали, по траве между громадными рододендронами к ним подошел Мередит. Ноги его промокли после прогулки по лесу и оставляли отметины на круглых сухих камнях. Да, он вырос, подумала Мидж, он стал старше. Так он должен выглядеть в двадцать лет, когда станет студентом и у него появятся девушки. Ужасно. Мередит, загорелый, в чистой белой рубахе, распахнутой на шее, встал за стулом Томаса. Он расчесал свои аккуратно подстриженные волосы прямыми прядями и подровнял челку. Мальчик смотрел в глаза матери холодными пустоватыми голубыми глазами.

Томас носовым платком счищал пепел костра со своих очков.

И тут Мередит с совершенно серьезным лицом, не отрывая взгляда от Мидж, приложил палец к губам.

Томас надел очки и теперь смотрел в сад. Внезапно он вскочил на ноги и побежал по траве и по камням с криком:

— Смотрите, смотрите!

Мидж, чье лицо вспыхнуло от потрясения при виде этого унизительного жеста, побежала за

мужем. Мередит неторопливо двинулся за ними.

Воздушный шар в сине-желтую полоску безмолвно, медленно и довольно низко плыл над верхушками деревьев. Ясно различались корзина и люди в ней.

— Смотрите! — снова возбужденно воскликнул Томас, пробегая мимо костра.

Мидж подняла взгляд на прекрасный шар. Счастье. Вот что это. Вот чего у нее никогда не будет. Такое прекрасное, такое близкое и такое недоступное. А Мередит так жестоко, так больно обидел ее. Сквозь слезы она смотрела на летящий шар, на ясное синее небо. Люди в корзине шара махали им. Томас принялся махать в ответ, а Мидж и Мередит не стали. Мередит смотрел на мать. Мидж отвернулась и пошла в дом.

— Ну, мы тебя убедили? — спросила матушка Мэй.

— Да, — сказал Эдвард.

Джесс лежал на спине с открытыми глазами, медленно и глубоко дыша. Его красные губы чуть приоткрылись, словно он собирался что-то сказать. Полные руки и плечи над простыней были обнажены — руки белые и волосатые, плечи белые и безволосые. Его глаза, казавшиеся совершенно круглыми, почти вылезли из орбит

и словно лежали на поверхности лица. Но глаза эти ничего не видели, а если и видели, то что-то далекое, находящееся в другом месте. Они были подернуты дымкой и покрыты сеточкой лопнувших сосудов. Руки Джесса были вытянуты и лежали на одеяле — ладони близко друг к другу, пальцы почти соприкасаются. Матушка Мэй потрогала его руку, чуть ущипнула дряблую плоть, подняла ее, отпустила — рука безвольно упала назад. Спокойное лицо ничуть не изменилось. Эдвард вздрогнул.

— И как долго он останется таким? — спросил он.

— Трудно сказать, — ответила Беттина, стоявшая по другую сторону кровати. — Может, несколько часов или несколько дней, а то и недель.

— И вы не пытаетесь его разбудить?

— Конечно нет!

— Мы не позволяем Илоне видеть его, — сказала матушка Мэй. — Это ее огорчает. То есть она знает, что такое случается, но, пожалуйста, не говори ей об этом.

— Хорошо.

«Уж не накачали ли его наркотиками, — думал Эдвард, — чтобы не дать мне разговаривать с

ним?» Все предположения казались одинаково безумными.

— Пойду закончу свои дела, — сказал он и зашагал вниз по винтовой лестнице, оставив двух женщин около Джесса.

Однако он не пошел в Переход, где, как ему было известно, находилась Илона. День клонился к вечеру, и на столе в зале еще лежала посуда после обеда, которую Эдвард должен был отнести куда положено. Но он не прикоснулся к ней. Заведенный порядок в Сигарде за последние день или два начал тихо и незаметно рушиться. По крайней мере, это касалось Эдварда, а Илона, по словам Беттины, стала «еще рассеяннее, чем обычно». Блюдца формально споласкивались, а не мылись, стираное белье не достигало места назначения, картофельная кожура валялась на кухонном полу, но что самое странное — появились две бутылки вина. Они стояли, бесстыдно откупоренные, на полке рядом со стеклянной горкой. За обедом без всяких слов каждый выпил по стакану. В чем дело, какой праздник наступил?

Поскольку говорить с Джессом было пока невозможно, Эдвард решил отправиться на далекую прогулку. Джесс впал в транс предыдущим вечером — вечером того дня, когда Эдвард с утра

разговаривал с ним. Однако женщины только теперь уступили недоверчивым вопросам и дали Эдварду возможность взглянуть на заколдованного мертвеца. Дверь в башню в течение вечера и утра была заперта, а ключа он нигде не нашел. Теперь ему хотелось выбраться из этого дома, уйти подальше, если получится, добраться до моря. Он помедлил в Затрапезной, открыл ящик, достал карту, разложил ее на столе и принялся рассматривать более тщательно. Четко обозначенная железная дорога пересекала шоссе в двух или трех милях за поворотом на Сигард, а потом, петляя, уходила к морю. За тем местом, где она пересекала шоссе, находились две станции. Та, что вдали от моря, называлась Смилден-Холт, а другая, уже на берегу, носила имя Эфтхевен и явно была обиталищем прежних «рыбарей». Un petit chemin de fer d'interet local[52], автоматически сказал про себя Эдвард. Перед самым Эфтхевеном дорога около мили шла строго вдоль кромки берега. Значит, ему нужно найти эту дорогу и двигаться по ней. По заброшенной железной дороге обычно можно пройти, по насыпи или в низине, она не растворяется в окружающей при-

[52] Примечания: 52

Маленькая железная дорога местного значения *(фр.).* Аллюзия с образом из романа М. Пруста «Под сенью девушек в цвету».

роде. Эдвард сложил карту, сунул ее в карман, как недавно портрет Илоны, и отправился в Атриум.

Илона стояла у стола — убирала остатки обеда, так долго остававшиеся нетронутыми.

— Ты видел его? — спросила она.

— Да.

Эдвард не хотел встречаться с Илоной, он чувствовал себя неловко после вчерашней ее вспышки в Упряжной. К тому же ему отчаянно хотелось побыть одному. К его облегчению, Илона не стала развивать тему (возможно, болезненную для нее) пребывающего в трансе Джесса.

— Ты куда?

— Погулять.

— Ты на меня сердишься?

— Нет. Илона, дорогая моя, конечно нет. Просто… слишком уж много всего.

— Ты от нас уедешь?

— Нет. Ты же сама сказала, что я не могу.

— Ну, это только слова. Не бросай нас. По крайней мере, пока не бросай. Не бросай меня.

— Не брошу.

— У меня есть кое-что для тебя.

— Что?

— Всего лишь немного хорошего чая, вроде того, что ты пил недавно.

Чаепития были не в обычаях Сигарда, но Эдварду в качестве угощения иногда наливали горячего травяного чая.

Илона оставила чашку с блюдцем на столе и ушла с полным подносом.

Эдвард понюхал смесь и уже собрался сделать глоток, но засомневался. Поведение Илоны показалось ему странноватым: она говорила неестественным, но настойчивым тоном, словно очень хотела, чтобы он выпил этот чай. Предположим… А что предположим? Эдвард быстро повернулся и вылил содержимое чашки в горшок с каким-то растением — высоким, гладким, с длинными висячими ветками.

Вернулась Илона.

— Ну как тебе чай? Ой, да ты уже все выпил.

— Да. А разве что-то не так?

— Знаешь, что это было такое?

— Что?

— Приворотное зелье.

— Не говори глупостей!

— Правда-правда. Джесс, перед тем как заболел, собрал много этой травы. Если ты выпил зелье, ты должен полюбить первого, кого увидишь. Но можешь не волноваться — первой ты увидел меня. А меня ты уже любишь… и я твоя сестра.

— Отлично. Хорошая шутка! Ну, я пошел прогуляться.

— Ведь ты любишь меня, правда?

— Да, Илона, люблю.

— И пока не уедешь?

— Не уеду.

Илона нагрузила поднос посудой и ушла.

Эдвард заглянул в чашку, которую все еще держал в руке. На донышке осталось немного жидкости. Он смотрел на нее несколько мгновений, чувствуя непреодолимое желание выпить остатки, — и выпил.

Эдвард облачился в плащ, тихонько закрыл за собой дверь и пошел по тропинке. Дойдя до шоссе, он повернул направо. На дороге не было никого, ни одна машина не обогнала его. Ровный пейзаж под низкими серебристо-серыми облаками имел мрачный и скорбный вид, словно ему наскучило безделье. Влажный ветер не стихал, дул упорно, сгибая маленькие деревья, уже и без того склонившиеся в его направлении. За низкой и чахлой живой изгородью из боярышника Эдвард видел влажно-зеленые побеги, разнообразившие серовато-грязную краску земли. Дождь недавно прекратился, и почва дороги отливала синевой в приглушенном свете, исходящем от толпящих-

ся вверху облаков. Ботинки Эдварда (Джесса) производили при ходьбе липкий звук. В дополнение ко всему, вдали щебетали какие-то птицы, а другие испускали тревожные низкие крики. Но одиночество влияло на состояние Эдварда, и ему казалось, что он идет в тишине. В его голову вернулись мысли о Марке, и он попытался сосредоточиться на событиях предыдущего вечера. «Что я сделал, что я делал?» — спрашивал он себя. Но это было слишком сложно, и, хотя он знал, что одни воспоминания можно вытеснить другими, усталость не позволяла ему сделать это. Он чувствовал, как его мысли приближаются к некой критической и воистину очистительной точке, но потом, минуя ее, возвращаются к тому, что уже стало скучным и знакомым; и он подумал: для чего эта церемония? Потом он вдруг представил себе Гарри, о котором в Сигарде практически не вспоминал. Образ Гарри стал четким, живым и объемным, и что-то шевельнулось в сердце Эдварда — благодарность, любовь. Он услышал голос Гарри: «Послушай, у тебя нервный срыв, ты болен, ты выздоровеешь». Добрый старый Гарри, рассудительный, красивый, сильный, настоящий — его отец. Однако Гарри не был его отцом, не исцелил его и не мог это сделать. А Джесс? Что

мог сделать для него Джесс? Скорее он, Эдвард, мог что-то сделать для Джесса; что-то непонятное и, возможно, ужасное. Он был привязан к Джессу, он любил его. И он только что сказал Илоне, что любит ее. У него появились новые обязанности.

Эдварда так увлекли эти мысли, двигавшиеся, как неторопливые облака в небесах, излучавшие неяркий живой свет, что он чуть не пропустил железную дорогу. Вернее, он прошел мимо нее, но потом в его памяти всплыл длинный белый шлагбаум, только что показавшийся перед его глазами. Он вернулся шагов на двадцать назад и снова увидел этот шлагбаум. Его ворота по обеим сторонам дороги просели на петлях и поросли куманикой, но определенно свидетельствовали о том, что здесь был железнодорожный переезд. А за ними, как и представлял себе Эдвард, шла железная дорога, призрак железной дороги. Она поросла травой, но отчетливо выделялась среди полей и уходила в обе стороны, теряясь в подернутой туманом плоской дали. Приминая ботинками куманику, Эдвард перебрался через ворота, и его ноги утонули в мокрой траве. Правда, трава была не очень высокой — возможно, ее скосили в прошлом году — и идти по ней не составляло труда. Поодаль от шоссе железная дорога прохо-

дила между двумя невысокими насыпями, а на них густыми зарослями цвели бледные светящиеся примулы. Между толпящимися облаками на мгновение образовался просвет и выглянуло солнце, высветив во всех подробностях траву, склонившуюся к земле под тяжестью серебряных капель воды, и бархатные лепестки примулы. Эдварду казалось, что сердце его сейчас вырвется из груди от какой-то громадной непостижимой боли.

«Как я могу воображать, — подумал он, — что я исцелюсь или найду путь к выздоровлению, когда на самом деле я безумен, я сошел с ума, я иду по дороге безумия, меня переполняют эмоции и боль? Неужели так будет всегда, всю мою жизнь, когда я буду оставаться один и видеть что-нибудь прекрасное, невинное и доброе? И я чувствую не просто боль, а ужасное раскаяние, негодование, разрушающую ненависть».

Солнце заволокло тучами. Узкая тропинка, поросшая травой, вела от путей вверх на низкую насыпь, и Эдвард взобрался туда. Господи, если бы только увидеть море — он бы с криком побежал туда. Но и с вершины насыпи он ничего не увидел, только поля, разделенные тоненькими линиями невысоких кривых деревьев, и поросшую

аккуратным леском возвышенность, которую и холмом трудно было назвать. Возможно, море лежало прямо за ней. Эдвард оглянулся. Вокруг простирались усердно обработанные поля, но никаких других следов человеческой жизни — ни самих людей, ни домов, на даже маленькой сараюшки, придавшей бы масштаб и теплоту этой плоской земле, подернутой туманной дымкой. Он замедлил шаг среди высокой травы.

В этот момент он и увидел девушку. Она возникла неожиданно, словно вышла из какой-то складки в пространстве, — неподвижная фигурка ярдах в четырехстах от Эдварда; она стояла вполоборота и явно не замечала его присутствия. Эдвард тоже замер. Он сразу же узнал ее — он видел ее раньше, на болоте за домом, бог знает как давно; и он вдруг понял, что за прошедшее время успел совершенно забыть о ней. И вот она опять предстала перед ним в синем плаще, с коротко подстриженными каштановыми волосами, освещенная выглянувшим солнцем и четко обрисованная, как персонаж сновидения. Эдвард, уперев руки в бедра, очень осторожно присел в мокрую траву и продолжил наблюдение. Он не мог избавиться от чувства, что появление девушки теперь, именно теперь, когда он забыл

ее и увидел снова, имеет некий сокровенный смысл. Может быть, спрашивал он себя, благодаря каким-то особенностям ландшафта она со своего места видит море? Девушка повернулась еще немного в сторону от него, поднесла руку к груди, потом к шее, и этот жест показался ему печальным, даже испуганным. А потом она просто исчезла. Эдвард не сразу понял, что девушка, похоже, спустилась с насыпи на уровень железнодорожных путей, еще более низкий, чем тот, откуда она недавно появилась, словно призрак.

Эдвард поспешно встал на ноги и спустился с насыпи на низкую траву путей; его плащ и брюки промокли. Он почувствовал дыхание одиночества, повеявшее на него со стороны девушки, и испугался. Он хотел броситься за ней, но не отваживался. Он тяжело дышал, заставляя себя ждать, а боль, которую он почувствовал раньше, искрами распространялась по всему его телу. Он медленно пошел дальше, потом ускорил шаг, но никого не увидел. Минут через десять впереди появился коттедж. Колея, по которой шел Эдвард, плавно поднималась вверх, и после поворота перед ним неожиданно возникло это сооружение — оно стояло за кустами боярышника и бузины, на некотором возвышении относительно

путей. Поначалу оно показалось заброшенным, даже разрушенным. Большой разлапистый тис, наполовину оплетенный плющом, полностью перекрывал часть дома, а из крыши прорастали какие-то стебли. Когда Эдвард всходил по пологому склону, перед ним возникла тропинка, протоптанная в высокой траве, а еще через несколько мгновений он ощутил под ногами что-то твердое — камень или бетон. Он понял, что маленькое каменное здание — это станция и он добрался до платформы Смилден-Холт. Он осторожно приближался к дому и теперь уже видел занавески на окнах, расчищенную площадку перед дверью, невысокий забор и калитку со щитком на ней, где значилось: «Железнодорожный коттедж». Эдвард помедлил, вдыхая атмосферу призрачной станции. Он знал, что должен подойти к дверям домика и постучать. Ему было страшно, и он надеялся, что в доме никого не окажется. Эдвард открыл калитку, подошел к двери и постучал.

Дверь мгновенно распахнулась, и он увидел высокую, агрессивную на вид женщину с властным блестящим лицом. Она смотрела на Эдварда сквозь толстые очки, увеличивающие глаза.

— Да?

— Извините, что беспокою, — проговорил Эдвард. — Я хочу пройти к морю. Вы не скажете, как туда побыстрее добраться?

Прежде чем высокая женщина успела ответить, раздался крик, и из-за ее спины — а точнее, из-под руки, которая была вытянута и удерживала дверь, — неожиданно появилась другая женщина, ростом поменьше. Она пригнулась, как обезьянка. Выскочила из дверей и метнулась вперед, вынудив Эдварда отступить. Это была Сара Плоумейн.

— Эдвард!

— Сара!

— Элспет, это Эдвард. Эдвард Бэлтрам!

— Вот оно что, — холодным властным голосом произнесла высокая женщина.

— Эдвард, как ты, черт побери, узнал, что я здесь?

— Я не знал, что ты здесь, — ответил он.

— А, так ты наверняка там, точно там, а мы и не знали…

— Зайдем-ка в дом, — сказала высокая женщина.

— Нет, он не может, не должен…

— Ты все равно громко прокричала его имя.

— Эдвард, это моя мама — Элспет Макран.

Она оставила девичью фамилию. Знаешь, она писатель, ты наверняка встречал ее писанину, женская либеральная журналистика, феминизм и всякое такое, и еще она сочинила роман…

— Бога ради, Сара, прекрати кричать и выдавать бессмысленную информацию. Пусть он войдет в дом. Лучше ему войти, если уж он здесь и мы не можем ничего с этим поделать.

— Ну хорошо, я войду первой и…

Сара снова стрелой пронеслась мимо матери.

Элспет Макран отступила в дом и через секунду поманила Эдварда внутрь.

В доме было темно, пахло печным и сигаретным дымом. Эдвард не сразу, но разглядел большой очаг, где горели несколько поленьев, книжный шкаф с потрепанными книгами, поблескивавшие фарфоровые украшения, сухую траву в больших кувшинах, очень потертые ковры и накрытый на троих стол с красной скатертью. Судя по тарелкам, он прервал ранний ужин.

— Извините, что побеспокоил вас, — повторил Эдвард.

— Не валяйте дурака, — сказала Элспет Макран, — не говорите глупости. Сядь, Сара, и прекрати трепать языком.

— Но где мне сесть… я хочу сказать…

— Где хочешь.

Сара села, взяла кусок хлеба с маслом, потом положила его на стол. Элспет Макран стояла спиной к очагу и смотрела на Эдварда своими сверкающими увеличенными глазами. На ней была синяя юбка в клетку и потертый твидовый жакет, а вельветовые брюки, заправленные в высокие носки, казались бриджами. Когда ее лицо не выражало сильных эмоций (что случалось довольно редко), оно могло показаться привлекательным, даже красивым.

— Значит, вы Эдвард Бэлтрам.

— Так ты и вправду приехал в Сигард? — спросила Сара.

Она примостилась на краешке стула, ее короткая юбка задралась, обнажая тощие голые ноги; пятки у нее были маленькие и грязные. Маленькое подвижное лицо горело от возбуждения, рот был приоткрыт, губы непроизвольно исказились в ухмылке.

— Да.

— Но почему? Каким образом?

— Почему бы нет? Меня пригласили, написали письмо. А вот ты… почему ты здесь? Я понятия не имел…

— Объяснение очень простое, — сказала Элспет

Макран. — Я знала вашу мать, Хлою Уорристон.

— Здесь было любовное гнездышко Джесса и Хлои, — сообщила Сара. — Может, тебя и зачали здесь, в этой спальне!

— Этот дом принадлежал Джессу?

— Нет, — ответила Элспет Макран, — он был заброшен, когда железная дорога прекратила существование, и Джесс им пользовался. Потом, когда он бросил Хлою, она короткое время жила здесь со мной.

— С вами?

— Я была близкой подругой Хлои. Она так страдала, и я приехала к ней. Потом она вышла за этого негодяя Гарри Кьюно.

— Он не негодяй.

— Хлоя была очень невезучая девушка. Мне понравилось это место, и, когда железная дорога выставила дом на продажу, я его купила.

— Она его купила, чтобы досадить Джессу, — вставила Сара. — Она ненавидит Джесса.

— Так вы знаете моего отца, — проговорил Эдвард.

— Я его никогда не видела, — сказала Элспет Макран, — но немало наслышана о нем, и меня удивляет, что вы находитесь в его доме.

— Он мой отец, — ответил Эдвард, — и я его

люблю.

— Это просто ерунда, — отрезала Элспет Макран.

— Мама ненавидит мужчин, — сообщила Сара. — Ничего личного.

— Прежде вы его никогда не видели, а теперь он превратился в косноязычного идиота.

— Женщине нужна рыба, как мужчине — велосипед[53], — сказала Сара.

— Он не идиот, — возразил Эдвард.

— И потом, я слышала, что он умирает из-за отсутствия медицинской помощи.

— Эдвард, присядь, пожалуйста, — сказала Сара. — Можно ему сесть, мама? Или ты думаешь, что ему лучше уйти? Сядь там.

Она показала на стул у стола. Эдвард сел за стол и обратился к Саре:

— Ты мне никогда не говорила…

— Об этом доме? Говорила. Но ты не обратил внимания.

— Похоже, «обращать внимание» — не самая сильная сторона Эдварда, — заметила мать Сары.

— Да, теперь я вспомнил, только ты не говорила, что это так близко…

---

[53] Примечания: 53

Вероятно, Сара хотела сказать: «Женщине нужен мужчина, как рыбе — велосипед».

— А с чего я должна была это говорить? Я и представить себе не могла, что ты заявишься в Сигард. А этот коттедж всегда был тайным местом, Элспет не хотела, чтобы о нем знали.

— И почему же они пригласили вас? — поинтересовалась Элспет. — Кто вам написал?

— Матушка Мэй… то есть миссис Бэлтрам…

— «Матушка Мэй»!

— Так мы ее называем.

— Вы хотите сказать — вы и эти придурочные девчонки.

— Они мои сестры и…

— Я хочу их увидеть, — сказала Сара, — я хочу увидеть их всех, я сгораю от любопытства. Ты можешь пригласить меня на чай?

— Я запрещаю тебе перешагивать порог их проклятого дома, — сказала Элспет. — Это место заражено злом и безумием. Вы наверняка должны это чувствовать, или вы уже тоже рехнулись?

— Там не зло, — сказал Эдвард. — Там странное место. Вы его не знаете и не можете понять. Там есть что-то доброе и невинное.

— А что говорилось в письме?

— В письме миссис Бэлтрам? Мне бы хотелось, чтобы вы перестали задавать мне вопросы.

— Что говорилось в письме?

— Она просила меня приехать. Она писала, что прочла в газете о моем печальном случае…

— Она именно так и написала? Это забавно! Вы, наверное, были сильно не в себе, когда приняли такое приглашение. Я уж не говорю о том, что Джесс относился к вашей матери так, словно она — грязь под ногами. И для чего, по-вашему, они вас пригласили?

— Они сочувствуют мне. Ну а как вы думаете, для чего?

Элспет Макран улыбнулась, обнажив белейшие протезы.

— Не знаю. Но можете не сомневаться — не ради вашего блага. Вы, надеюсь, не считаете, что это идея старого идиота? Он давно потерял разум.

— Не нужно быть такой агрессивной, ма, — сказала Сара. — А то доведешь бедного Эдварда до слез.

— Не доведет, — сказал Эдвард. — Ну, я, пожалуй, пойду. Я только хотел узнать, как пройти к морю.

— Как пройти к морю!

— Я думаю, если идти по железной дороге…

Элспет и Сара посмотрели друг на друга. Сара вскочила на ноги.

— Позвать ее?

— Зови, — разрешила Элспет. — Она все равно слышала наш разговор. Так пусть теперь посмотрит на него. Вдруг ей поможет, если она увидит того…

Сара открыла дверь. Девушка, которую Эдвард видел сегодня уже дважды, вошла в комнату. Эдвард встал.

— Это Бренда Уилсден, — сказала Элспет. — Сестра Марка.

— Ее все зовут Брауни, — добавила Сара. — Брауни, это Эдвард Бэлтрам.

Сестра Марка (Эдвард сразу же увидел сходство) ничего не сказала. Ее глаза внимательно смотрели на Эдварда, бледное мрачное лицо можно было вполне принять за мальчишеское, точно так же, как лицо Марка — за девичье. Удлиненная голова, большие карие глаза, густые каштановые волосы, доходившие почти до плеч, подчеркивали ее «египетские» черты, как у ее брата. Впрочем, она была не такая стройная и красивая. Одетая в мешковатое платье, руки она держала у груди, как при предыдущем своем появлении. Пока она смотрела на Эдварда, ее лицо как-то тянулось вперед, словно выглядывало сквозь прозрачную кисейную маску. Она стояла, как раскрашенная статуя, и с ее появлением вся комната замерла.

Эта мучительная немая сцена длилась несколько мгновений, а потом Эдвард внезапно заговорил, извергая неожиданные для самого себя слова:

— Я дал ему эту дрянь. Он не знал, он ненавидел наркотики. Я дал ему наркотик в сэндвиче, я оставался с ним, а потом вышел всего на двадцать минут…

— Больше чем на двадцать, — уточнила Сара.

— Когда я оставил его, он крепко спал, и я думал…

— Да замолчите! — сказала Элспет Макран.

Он умолк, и все замерли, затаив дыхание. Когда Эдвард потом вспоминал эту жуткую сцену, она представлялась ему одной из картин Джесса, где в воздухе висели роковые предчувствия, страх, ожидание катастрофы. Наконец сестра Марка развернулась и исчезла за дверью, откуда только что вышла.

— Иди к ней! — велела Элспет Саре, и та послушалась.

Дверь за ней закрылась.

— Вам бы лучше убраться отсюда, — сказала Элспет Эдварду. — И зачем вы тут объявились? Она вполне могла бы обойтись без этого. Не хочу показаться невежливой, но вас тут не очень

любят. Не хотела бы я оказаться на вашем месте. Бегите лучше к своей матушке Мэй.

Эдвард постоял секунду-другую, а потом вышел на воздух и с удивлением оглядел окружающий пейзаж — тот же, что и прежде, но залитый солнечным светом, безмолвный, пустой. Солнце высвечивало вдали мягкую светлую зелень наклонного поля. Он прошел немного по платформе в ту сторону, откуда пришел, потом остановился, переполненный острой болью и сильными эмоциями, от которых он чуть не падал на землю. Потом повернулся и посмотрел на коттедж, маленький станционный дом, такой аккуратный рядом с большим тисом. Эдвард увидел гладко отшлифованный камень, вернулся назад и остановился у маленького квадратного окна, почти перекрытого тисом. Он заглянул внутрь. Сестра Марка сидела на стуле, опустив голову на грудь, и казалась теперь похожей на манекен или металлическую чушку. Сара стояла перед ней на коленях и нагибала голову почти до пола, чтобы заглянуть в спрятанное лицо.

Эдвард почувствовал, что его вот-вот стошнит. Он быстро пошел прочь по платформе и вниз по склону на заросшие травой пути. Он автоматически шагал назад, в сторону дороги. Голова у него

кружилась. Солнце появлялось и пропадало, а воздух был полон каких-то крохотных черных насекомых.

Он шел уже несколько минут, когда вдруг услышал, как кто-то зовет его, и остановился.

Сара босиком бежала за ним по мокрой траве. Она остановилась в нескольких ярдах от Эдварда и взглянула ему в глаза с возбужденным и враждебным выражением, как у загнанного в угол животного.

— Что? — спросил Эдвард необычным хрипловатым голосом.

— Ты пришел. Ты шпионил за нами.

— Я и не знал, что ты знакома с сестрой Марка, — ответил он.

Сара захлебывалась словами:

— Я знала ее немного, я немного знала и Марка, ты был не единственный. Она была в Америке, когда ты… когда он умер. Потом она вернулась, и я пришла к ней, а моя мать пришла к ее матери. Мы хотели помочь. Мы пригласили ее сюда. А тут надо же было подвернуться тебе.

— Я не знал… — сказал Эдвард.

— Так вот, больше не приходи и никогда не пытайся увидеть Брауни. Она не хочет слышать твои извинения. Она ненавидит тебя, как нена-

видит тебя ее мать. Они никогда не оправятся от этого удара. Не преследуй ее и не пиши ей. Единственное, что ты можешь для нее сделать, — это поступить порядочно и не показываться ей на глаза.

— Хорошо, — произнес Эдвард.

Он развернулся и, не оглядываясь, пошел вдоль путей.

Я бы хотела встретиться и поговорить о смерти моего брата. Завтра в пять часов я буду на болоте, где ряд ив растет вдоль реки. Там еще есть дикая вишня, перевешивающаяся на другой берег.

Бренда Уилсден.

Эдвард смял письмо в руке и сунул в карман. Это случилось на следующий день после его посещения Железнодорожного коттеджа. Человек, передавший письмо, с любопытством глядел на адресата. Ростом он не уступал Эдварду, носил бороду и баки, на голове его росла грива неухоженных жестких волос, и из-под этой гривы внимательно смотрело красное лицо с крупными чертами. Седины в волосах не было видно, но он был немолод, кожу вокруг глаз бороздили глубокие морщины. Лицо и волосы да и весь

он целиком был покрыт мелкой волокнистой пылью, осевшей в складках морщин. Посыльный был одет в красную рубаху, на шее повязан красный платок, а на талии затянут широкий кожаный ремень со старой медной пряжкой, отшлифованной до блеска. Когда этот человек вдруг безмолвно возник перед Эдвардом в огороде, тот сразу понял, что видит одного из лесовиков.

— Спасибо, — сказал Эдвард.

Человек стоял близко и глазел с нескрываемым любопытством. Эдвард чувствовал запах его пота и слышал его дыхание.

— Он теперь как студень, что ли?

— Кто?

— Студень, желе. Ну, хозяин здешний там, наверху. Да?

— Ничего подобного, — ответил Эдвард. — Он болен, но не до такой степени.

— Прежде все девки были его. Теперь-то этому конец.

— Спасибо, что принесли письмо.

— Как вас зовут?

— Эдвард Бэлтрам.

— Сын, значит.

— Эти чертовы бабы. Они вас на куски разрежут. Вы бы лучше сматывались, пока они не

начали. Вы — его сын.

Эдвард презрительно махнул рукой и отвернулся.

— Все девки были его, — повторил ему вслед лесовик. — Теперь-то дряхлый стал, бедный старый пакостник.

Эдвард быстро зашагал в дом. Незадолго перед этим прошел дождь, но теперь воздух был теплый, солнце светило ярко, небо, полное света, аркой накрывало плоскую землю. Эдвард остановился в зале и вытащил смятое письмо, но не посмотрел на него. В Сигарде он, конечно, никому не сказал о своем посещении Железнодорожного коттеджа. Он немного разгладил письмо, снова сунул его в карман и медленно пошел по Переходу.

Илона и Беттина стояли на кухне у исцарапанного деревянного стола.

— Ты принес любисток? — спросила Беттина.

— Нет. Извини, я забыл.

— Спишь на ходу. Ладно, бог с ним. Нарежь-ка эту траву. Сделаешь?

— Все умирает, — сказала Илона.

— А ты, Илона, пойди и принеси пару луковиц.

— Ласточки умирают, они больше не возвращаются.

— Я сегодня видел одну, — отозвался Эдвард,

нарезая траву.

— К нам они больше не возвращаются, а раньше гнездились под крышей конюшни. Наши ласточки все умерли.

— Илона, и не забудь корзинку, дубина ты стоеросовая!

— Ладно уж, — ответила Илона и вышла.

— Ты осторожнее с этой штукой, она такая острая.

В кухне стоял сильный приятный запах пекущегося хлеба, навевающий сон. Беттина рядом с Эдвардом разминала вареную картошку, делала из нее шарики и раскатывала на кружке рассыпанной муки. Эдвард смотрел, как ее сильные коричневатые пальцы в муке разминают одну за другой вареные картофелины. Краем глаза он видел длинную прядь рыжеватых волос, свисавшую по ее плечу до груди и касавшуюся руки. Рукав коричневого рабочего платья был испачкан в том месте, где Беттина закатала его до локтя. Ее руки покрывал золотистый пушок, совпадающий по цвету с бросающимися в глаза длинными тонкими волосками над ее верхней губой. Работая, она покашливала и шмыгала носом, не замечая этого. Эдвард вспомнил лесовика и подумал с недоумением: почему никто из них не пришел

сюда и не изнасиловал этих женщин? Почему этого не случилось до сих пор? Размеренный ход двуручного ножа в форме ятагана производил гипнотизирующее действие, и Эдвард продолжал совершать им однообразные движения туда-сюда, увеличивая пахучую зеленую горку нарубленной душицы и петрушки. Он отпустил одну ручку, подвинул поросший листьями стебелек поближе к себе и вдруг почувствовал острую боль в одном из пальцев. Зеленые листики мгновенно окрасились кровью.

— Ах ты дурачина! — воскликнула Беттина. — Сунь руку под кран, иначе весь стол испачкаешь.

Кровь лилась из пальца фонтаном — ранка, похоже, была глубокой. Эдвард включил холодную воду и смотрел, как кровь и вода смешиваются в старой, покрытой пятнами фарфоровой раковине. Беттина уже отскребала кровь со стола, потом сунула испачканные листики в дуршлаг.

— Не мешай. — Она промыла зелень струей воды. — Пожалуйста, не изгваздай кровью эту скатерть.

— Ну и что же я должен делать? — спросил Эдвард. — Кровь-то не останавливается.

Он был готов расплакаться. Порез был болезненный и казался темным и жутким, как колотая

штыковая рана во время атаки. Он все еще чувствовал острое лезвие в своей плоти.

— Держи его над раковиной. Я принесу бинт.

Эдвард пустил воду на полную, стараясь смывать кровь с такой скоростью, чтобы можно было разглядеть ранку во всей ее глубине. «Ну вот, я ранен, и теперь это произойдет», — думал он. Но он никак не мог сообразить, связано это «теперь» с Беттиной, или с Джессом, или с *ней.* Он резко опустился на стул, натянул на палец рукав и стал смотреть, как расплывается по материи красное пятно.

Снова появились коричневатые руки Беттины — она принялась обматывать его палец белым змеистым бинтом. Красное пятно проступало на нем снова и снова.

Он сразу же понял, что бинт Беттины — ошибка. Она извлекла его из старой пыльной побитой жестянки с надписью «Первая помощь», которая, судя по виду, вполне могла быть выпущена во времена Первой мировой. В Сигарде даже лекарства не покупали. Кусок старой и явно грязной тряпки пропитался кровью и просто прилип к ранке. Палец (к счастью, на левой руке) не гнулся, горел и пульсировал от боли. На следующее утро Эдвард предпринял попытку снять бинт, но эта

процедура показалась ему слишком болезненной, а потом и бесполезной. Он не знал, нужно ли дезинфицировать такой глубокий порез, не следует ли наложить швы. А вдруг начнется гангрена, потребуется ампутация? Возможно, он должен обратиться к врачу, вот только где его взять? В любом случае, в тот день он никуда не смог пойти. Вчера поздно вечером он слышал, как женщины спорили о чем-то в Восточном Селдене. Они говорили очень эмоционально, возвышая голоса. Он хотел подкрасться поближе и подслушать, но не осмелился. За завтраком ему сказали, что Джесс все еще «отсутствует», пребывает в трансе, и посетить его невозможно. Раньше Эдвард планировал настоять на встрече с ним, может быть, попытаться его разбудить. Но теперь вместо этого он стоял у реки, около ряда ив, и смотрел на дикую вишню.

В том, как сестра Марка описала это место, было что-то странное, немного пугающее, словно после рассказа о смерти брата поэтическое описание пейзажа казалось неуместным. Назначенное место Эдвард легко узнал, потому что других ив здесь не росло и заканчивались они прямо у реки, которая была скрыта паводком, когда он приходил сюда в первый раз. Теперь в этой части

болота стало сравнительно сухо, и шагать между мелкими прудиками не составляло труда. Но чуть дальше за ивами снова разливались воды, простирающиеся до горизонта, где моря не было видно, хотя день стоял ясный и довольно солнечный. Деревьев там было немного, и маленькая дикая вишня, только-только начавшая цвести, стала хорошим ориентиром. Река цвета темного пива, более широкая в этом месте, резво текла между крутых берегов, а в излучинах образовывала водовороты и маленькие закрытые спокойные заводи. Эдварда переполняли эмоции, и он сразу огляделся вокруг, однако никого не увидел. Конечно, он пришел рано. Возможно, она решила не приходить, потому что это слишком тяжело, потому что ненависть ее слишком велика. Ведь Сара сказала, что девушка ненавидит его. Эдвард подумал о письмах ее матери. Как невыносима, видимо, такая ненависть, а цель у нее наверняка одна — убийство того, кто ее вызывает. Эдвард посмотрел на свой распухший палец и почерневший бинт, сел на берегу на травяной коврик, и его сердце тоже пронзила боль.

И тут же над самой водой, словно небольшой взрыв, мелькнула синяя вспышка. Эдвард дернул головой и уставился на реку, но ничего не увидел

— лишь темный поток воды и светящиеся белые цветы маленькой вишни, склонившейся над рекой, где она отражалась в спокойной воде. Эдвард моргнул. Потом из ниоткуда внезапно возникла птица — зимородок, сидевший на склоненной к воде ветке. Зимородок тут же вспорхнул, очень быстро скользнул над песчаным берегом и нырнул — словно серебряная стрела вонзилась в спокойную воду излучины, — а потом вернулся на свою ветку. Эдвард увидел сильный клюв птицы и рыбку, мгновенно исчезнувшую в нем. Эдвард тихо глядел на неподвижного зимородка, освещенного солнцем; маленькая птичка с яркими синими крылышками и коричневатой грудкой сидела над вишневыми цветами.

Вдруг рядом появилась тень, и Эдвард вскочил на ноги. Девушка пришла в своем синем плаще и высоких сапогах, только теперь на ней были не брюки, как в первую встречу, а бесформенное платье — то же, что в коттедже, довольно потрепанное, в синий цветочек. Она смотрела на Эдварда холодными карими глазами, более темными, чем глаза Марка, и ее каштановые волосы тоже были темнее, чем у брата. Тем не менее ее бледная чистая кожа, широкий лоб, задумчивый рот и живое внимательное выражение лица

сильно напоминали Марка, словно его лицо растянули в маску большего размера, откуда все еще проглядывал он сам. Перед мысленным взглядом Эдварда, вытесняя девушку, возникло вдохновенное божественное лицо опьяненного Марка. Потом девушка заговорила, не глядя на него:

— Тут зимородок.

Эдвард повернулся, синяя вспышка мелькнула и исчезла за изгибом реки.

— Да, — сказал он. — Он… он такой красивый.

Девушка села у реки, свесив ноги в сапожках над крутым берегом, ее каблуки погрузились в мягкую песчаную землю. Эдвард — продолжать стоять теперь было нелепо — сел рядом с ней, откинув длинные ноги в сторону. Трава была сырая, к тому же с востока начал задувать холодный ветерок. Она принялась стаскивать плащ. Эдвард смотрел, подавляя в себе желание помочь ей. Но, почувствовав прохладу ветра или сочтя это действие слишком затруднительным, сестра Марка решила остаться в плаще, снова закуталась в него, застегнула пуговицы и нахмурилась. В профиль, когда она закинула назад свои густые волосы и вытянула губы, она тоже оказалась похожа на Марка. Но она была не так красива и явно старше брата, а дальше будет становиться

все старше и старше.

Она молчала, глядя в водный поток, и Эдвард чувствовал ее легкое дыхание. Он боялся, что она расплачется. То черное болезненное слабое чувство, которое перебил зимородок, снова вернулось к нему, и он поспешно заговорил:

— Мисс Уилсден, с вашей стороны было очень мило…

— Слушай, — девушка повернула к нему свое строгое лицо с сухими глазами, — меня зовут Брауни, меня все так называют. И пожалуйста, давай так, чтобы без лишних эмоций.

Она говорила твердым, резким, не допускавшим возражений тоном, и этим напомнила Эдварду феминисток, подружек Сары. Он посмотрел на нее и подумал о ней как о Брауни.

— Ты хотела поговорить о Марке… — сказал он.

— Нет. Вообще-то я хотела, чтобы ты поговорил со мной о Марке. А это другое дело. Мне с тобой не нужно говорить.

— Извини…

— Извини, я не хотела быть грубой. Я хочу, чтобы ты точно мне рассказал, что случилось в тот вечер. Я никак не могу понять. Я должна осмыслить все это. Я не успела на похороны и на

следствие, я была на каникулах, и меня не смогли найти… а здесь люди наговорили мне разного и… и… со всякими домыслами… Так вот, не мог бы ты, если у тебя есть такое желание, просто рассказать мне, что случилось.

— Ты младше или старше Марка?

— Старше.

— В тот вечер… понимаешь…

— Слушай, давай без тягомотины, расскажи мне суть. Я тебя не задержу.

— Марк был в моей комнате, и я дал ему…

— В котором часу? Я знаю, был вечер, но который час?

— Около шести. Я дал ему сэндвич, сунув туда наркотик…

— Он не знал…

— Я тебе хотел рассказать. Он не знал, он не одобрял наркотики.

— Но ты одобряешь.

— Одобрял. Он принял наркотик и… отключился.

— Я ненавижу и презираю наркотики, я к ним никогда не прикасалась, мы с Марком в этом были похожи. Продолжай. Хотя постой. Ты сам что-нибудь принял?

— Нет. Я собирался… приглядывать за ним…

— Так почему же не доглядел?

— Мне позвонила Сара. Сара Плоумейн…

— Да

— И я отправился к ней и пробыл у нее не больше получаса. А когда вернулся… окно было открыто и… он был… мертв.

Последовала короткая пауза. Эдвард, только что ясно увидевший перед собой Марка: тот лежал на диване, такой красивый, расслабленный, улыбающийся, белокурый, в помятой рубашке, — теперь, когда Брауни чуть шевельнулась, посмотрел на жуткое солнце, безлюдный берег, опасную реку.

Брауни, только что глядевшая в сторону, повернулась, тяжело дыша, переставила ноги и своим деловитым тоном спросила:

— Ты можешь описать, каким он был в этом… этом состоянии… он тебе что-нибудь говорил?

— Ну, приход у него был классный.

Брауни произвела какой-то звук.

— То есть я хочу сказать… извини… он видел хорошие вещи… он был счастлив… он смеялся… а потом он сказал…

— Что?

— Что все вещи сами по себе… и все стало… одной большой рыбой… и что Бог опускается…

как лифт. Я знаю, это похоже на бред, но он так говорил…

— Да-да. Я знаю, как действуют наркотики. Что еще он говорил?

— Больше я ничего не помню. Что-то насчет лучей света… и полета…

— Полета?

— Он говорил, что летит.

— И ты оставил его.

— Да. Понимаешь, он уснул…

— Почему ты пошел к Саре? Она тебя пригласила?

— Да. Я думаю, она говорила тебе.

— Я хочу, чтобы ты описал… сказал мне, почему пошел к ней. Это кажется странным. Ты в нее влюблен?

— Нет.

— У вас был роман?

— Нет. Но в тот вечер… в тот вечер мы занимались любовью.

— Уложились в полчаса?

— Да… ну, может, немного больше…

— В коттедже ты говорил про двадцать минут. Вы все еще любовники?

— Нет. Я с тех пор ее не видел, только вчера… У меня не было желания становиться ее любов-

ником, ни малейшего, это все произошло как-то случайно — то, что мы оказались в постели. Я не собирался, это была ее идея…

— Я не понимаю, почему ты оставил Марка. Тебе не было никакой нужды идти к Саре. Судя по твоим словам, ты даже не хотел к ней идти.

— Я думаю, я как бы… она привлекала меня… немного… пригласила меня выпить…

— И ты подумал, почему бы не пойти?

— Я хотел только… всего на десять минут… да и Марк уснул… и я запер дверь…

— Ты был пьян?

— Нет.

— Но ты знал, как это опасно… как это действует… знал, что нельзя оставлять человека в таком состоянии.

— Да, знал.

— Так почему же ты ушел?

Эдвард шевельнул ногами, впечатывая их в берег и посылая вниз, в воду, струи песка. Голос его сорвался почти на крик.

— Я не знаю! Как я могу сказать, почему я ушел? Я ведь не знал, что случится, я не знал, что погублю свою жизнь…

— Твою жизнь?

— Я не знал, что он проснется и выйдет в окно,

я был счастлив, я радовался, что он видит такие хорошие, такие замечательные вещи! Он спал, он был красивый и спокойный, как спящий бог, и вечер был великолепный, я решил, что будет забавно заглянуть к Саре — на десять минут. Я ведь не думал, представить себе не мог…

— Ладно, хорошо…

— Твоя мать писала мне совершенно жуткие письма, говорила, что я убийца. Понимаешь, на следствии я не сказал, что подсунул Марку наркотики без его ведома, а потому, наверное, люди решили, что он сам их принял и что он вообще баловался наркотиками. Твоя мать, видимо, знала, что это не так… и она писала мне ужасные письма, много писем — о том, что я преступник, что она желает мне смерти, что ненавидит меня и будет ненавидеть всегда… Ты, наверное, тоже меня ненавидишь, Сара мне сказала. Но если бы ты только знала, как я несчастен, как все в моей жизни сломано и черно…

— А почему ты здесь, в Сигарде? Это тоже кажется странным.

— Они меня пригласили. Я не знал, куда себя деть, я с ума сходил от горя и чувства вины… и я губил себя… А это сулило перемену. И один психиатр посоветовал мне поехать.

— Психиатр? Кто?

— Томас Маккаскервиль. И я хотел увидеть отца, я его до этого видел, когда был совсем ребенком. Я думал, он мне чем-нибудь поможет… Все это навалилось как-то сразу, все смешалось… Но если бы ты только знала, как я страдаю и буду страдать всегда…

— Это правда, что твой отец умирает из-за отсутствия медицинской помощи?

— Нет, конечно же, нет. Понимаешь, это трудно объяснить… там у них все так странно… Ты и вправду хочешь знать?

— Нет.

Снова наступило молчание, потом Брауни глубоко вздохнула и произнесла:

— Ну что ж…

Она пошаркала ногами, неловко встала на колени и медленно поднялась. Эдвард вскочил на ноги вслед за ней и сказал:

— Спасибо.

Она уже собралась идти, направилась к ивам, но остановилась и, не глядя на Эдварда, проговорила:

— Я попрошу мать, чтобы не писала больше тебе. Может, она уже перестала.

— Не знаю. Письма приходят в Лондон в дом

моего отца, то есть отчима… Слушай, я знаю, ты винишь меня, жутко меня ненавидишь, но…

— Я тебя не ненавижу, это смешно. Наверное, я тебя виню, если это что-то значит. Мне нужно подумать. Но это уже мое дело. Мне не кажется, что ты должен уничтожить себя или погубить свою жизнь… и мне не кажется, что ты можешь это сделать или пожелать. Марку это не поможет… и мне тоже. Ты учишься в университете, да?

— Учился.

— Возвращайся, продолжай работу, в будущем ты сможешь помочь другим людям. Прекрати думать о себе и винить себя. По крайней мере, я так советую. Спасибо, что пришел.

Брауни пошла прочь.

— Пожалуйста, побудь со мной еще немного, — попросил Эдвард.

— Я должна идти.

— Пожалуйста, побудь со мной, я должен с тобой поговорить, ты мне нужна, не уходи, пожалуйста, пожалуйста, не уходи от меня.

Он протянул руку и легонько коснулся рукава ее синего плаща около манжета.

Брауни метнулась прочь, словно собиралась припустить бегом, потом повернулась к Эдварду; слезы внезапно хлынули из ее глаз. Сквозь рыда-

ния, душившие ее, она выговорила:

— Вот и все, мне придется прожить жизнь без него… всю мою жизнь, а она только начинается…

— Боже мой… — произнес Эдвард, беспомощно стоя рядом с ней, и руки его бессильно упали.

Брауни вытащила платок, быстро привела себя в порядок, вытерла лицо, и через несколько секунд пронесшаяся буря казалась миражом. Она заговорила почти спокойным, хотя и хриплова-тым голосом:

— Извини. Я должна идти.

— Брауни, ты только скажи… Господи боже, что ты можешь сказать… Пообещай, что еще встретишься со мной! Я встану на колени, ты мне нужна, ты — единственная, кто может спасти меня из этого ада! Пожалуйста, пожалуйста, обещай, что еще встретишься со мной… когда-нибудь… скоро… Просто скажи, что мы можем встретиться еще, я тебя умоляю, я тебя прошу!

— Ну ладно, хорошо. Только…

— Слава богу.

Внезапно лицо Брауни снова изменилось; она смотрела куда-то мимо Эдварда в направлении реки, губы у нее чуть приоткрылись. Эдвард повернулся.

На другом берегу реки неподалеку от дикой вишни стоял бородатый человек, широко расставив ноги, и смотрел в их сторону. Эдвард подумал, что это опять лесовик, но тут же понял — это Джесс. Джесс узнал Эдварда, махнул ему, потом повернулся и пошел вдоль берега по кочковатой траве.

— Извини, это мой отец, — сказал Эдвард Брауни.

— Что? Я могу помочь?

— Нет-нет. Я тебе все объясню потом, если позволишь. Ты ведь сказала, что мы еще встретимся. Я так рад этому. А тут я справлюсь. Спасибо. Спасибо тебе.

Она повернулась и пошла вдоль выстроившихся в ряд ив.

Джесс за это время успел уйти довольно далеко вверх по течению. Его удаляющаяся спина была видна за зарослями бузины. Эдвард побежал во весь дух.

— Постой! Подожди меня! — закричал он.

«Я переберусь на тот берег вплавь», — подумал он.

Джесс остановился и повернулся. На нем была довольно потрепанная рубашка, что-то вроде бриджей, носки и ботинки. Он стоял, улыбаясь

Эдварду. Эдвард понял теперь удивленное выражение на лице Брауни — Джесс, хотя и был одет, выглядел крайне странно. Голова его, которую теперь он хорошо видел, была очень крупная, глаза тоже громадные и круглые, а бриджи создавали впечатление косматых ляжек. Эдвард окликнул его:

— Джесс, подожди меня. Я переплыву к тебе.

Джесс снова беззаботно махнул и начал спускаться по откосу. Потом на глазах Эдварда он вошел в воду и двинулся через реку. Он шаг за шагом осторожно и упорно продвигался вперед, вода бурлила вокруг его ног, порой захлестывая до колен. Ошеломленный Эдвард побежал вниз, где берег не очень круто опускался к небольшому пляжу у воды, и протянул руку. Джесс отказался от предложенной помощи и вышел на берег с победной, как у ребенка, улыбкой. И тут Эдвард разглядел под поверхностью быстро бегущей воды проложенные для перехода камни, которым он не решился бы доверить себя.

— Ах, Джесс, я так рад тебя видеть, — сказал Эдвард. — Это же опасно, ты мог упасть. Я отведу тебя домой. Ты не должен ходить тут один… пойдем, пожалуйста, вместе домой.

Он боялся, что Джесс будет возражать, но тот

позволил Эдварду взять его под руку, и они вдвоем неторопливо пошли к Сигарду, чьи причудливые нескладные формы высвечивались солнцем, уже клонившимся к закату.

Они дошли до зеленого лужка, где Эдвард прежде видел желтые цветы, и тут Джесс внезапно остановился и вознамерился сесть на мокрую траву.

— Джесс, давай пройдем еще немного. Дальше по тропинке будет суше.

— Я хочу здесь.

— А куда ты шел, когда я тебя увидел?

— Искал цветы… как они называются… первоцветы. Ни одного не нашел.

Эдвард легонько потянул его за собой, и они дошли до тропинки, где Джесс сразу же сел, а потом и лег между двумя кустами можжевельника. Эдвард присел рядом с ним. Он снял свой плащ, свернул его подкладкой внутрь и подложил под голову Джессу, который чуть приподнялся, чтобы Эдвард мог засунуть эту «подушку» ему под затылок.

— Джесс, как ты себя чувствуешь, нормально?

— Нет, конечно. Ты понюхай, как пахнет. Я помню этот запах — можжевельник. Похож на… на… кокос.

— Правда? Ну да, похож.

— Что это была за девица?

Эдвард удивился, что Джесс запомнил девушку, но ответил:

— Ее зовут Бренда Уиледен…

— Никогда не любил имя Бренда.

— Ее все называют Брауни.

— Вот это лучше, это хорошо…

Джесс лежал, расслабившись и глядя на Эдварда, его огромная косматая голова от собственной тяжести наклонилась набок, скрещенные руки лежали на груди, ноги в заляпанных грязью и плохо зашнурованных ботинках тоже были скрещены. Эдвард снова обратил внимание на перстень с большим красным камнем: широкий золотой поясок глубоко вдавливался в палец.

— Твоя девушка?

— Нет, — ответил Эдвард.

— У тебя есть девушки?

— Нет.

— А были?

— Да.

— О чем ты говорил с этой Брауни?

— Мы говорили о ее брате. Я дал ему плохой наркотик, он выпал из окна и расшибся насмерть. Это моя вина. Она хотела, чтобы я рассказал, как

все случилось.

За этими словами последовало молчание, и Эдвард спрашивал себя, какие слова найдет для него Джесс. Он не смотрел на отца, пока говорил, но теперь повернулся и взглянул на эту голову, лежавшую на валике из плаща. Светящиеся умом темные круглые глаза встретили его взгляд.

— Забавно, — произнес Джесс. — Ты выглядел очень хорошо с этой девушкой… на солнышке. А говорили о таких делах.

— Я приехал, чтобы рассказать тебе об этом, — сказал Эдвард. — Мне от этого так плохо, что иногда хочется умереть.

— Ты не умрешь. Нет-нет. Умру я, а не ты.

— Ты не должен умереть, — ответил Эдвард, — я тебе не позволю. Джесс, дай я отвезу тебя в Лондон, покажем тебя врачу — он поможет. Ты ведь не стар. Пожалуйста, поедем в Лондон…

Джесс улыбнулся, губы его обнажились, окруженные космами темных прямых волос. Эти волосы отливали глянцем, как какое-то сильное, уверенное в своей жизнестойкости растение.

— Нет-нет, все происходит здесь.

— Что происходит?

— Жизнь и смерть, добро и зло. Я за этим в Лондон не поеду.

Эдвард подумал: «Да, конечно, то, что я предлагаю, невозможно. Я не очень понимаю почему, но это невозможно».

Джесс продолжил говорить, удивляя Эдварда своей способностью не упускать нить беседы.

— Значит, ты мне хотел рассказать… о том парне, что выпал из окна?

— Да.

— Зачем?

— Я думал, ты мне поможешь, вытащишь меня из этого… ада. Как-то так… прости.

— А эта девушка, его сестра, простила тебя?

— Не знаю, — сказал Эдвард.

— Тогда я прощаю тебя.

— Ах, Джесс…

Эдвард прикоснулся к тыльной стороне его ладони, потом проворно наклонился и поцеловал руку отца. У длинных волос был соленый вкус.

Джесс, по-прежнему глядевший на Эдварда и никак не ответивший на это выражение почтения, продолжал:

— А я теперь не вижу молодых девушек… кроме Илоны… а ее давно не было…

— Они ее не пускают. Она тебя любит.

— О, я знаю, знаю…

— И я тоже тебя люблю, Джесс. Я тебя очень

люблю. Я должен тебе сказать. Ты мог бы сделать для меня все, мог бы создать меня заново…

Когда эти слова сорвались у него с языка, Эдвард почувствовал страх, словно слова были маленькими животными, которые выпрыгнули из его рта и теперь скакали вокруг. Его гипнотизировали большие выпуклые темно-красные глаза Джесса, в глубинах которых он, казалось, видел глубокие моря и подводных существ.

— Ах да… я забыл это все.

— Что?

— То, что знал когда-то… о добре и зле, о тех… обо всех тех вещах… у людей вообще-то их нет, они с ними не сталкиваются… совсем не сталкиваются в жизни, большинство людей… только немногие… хотят этого… этой борьбы, ты понимаешь… думают, что хотят… добро… должно иметь… зло… тоже ненастоящее… конечно… все в чем-то другом… это танец… понимаешь… миру нужна сила… все время кругом да кругом… это все сила и… энергия… которая иногда… поднимает свою красивую голову… как дракон… вот в чем суть всего… я думаю… теперь в тени… не могу вспомнить… не имеет значения… что мне нужно… так хорошо выспаться… чтобы все это… приснилось снова. — В этот миг глаза Джесса закрылись, он

засыпал или впадал в свой транс. Однако он снова открыл глаза и сказал: — Прекрасный, как огонь.

— Кто это, кто?

— Он. Я когда-то был. Не имеет значения. Теперь все очень близко. Но ты будешь жить. С тобой все будет… хорошо. Ты носишь мои ботинки.

— Да. Я с собой ничего не взял, а у этих точно мой размер. Надеюсь, ты не возражаешь.

— Ты носишь мои ботинки. Ну да, ты ни при чем, тебя это не коснется, когда придет. Может, духам нужен хозяин… в конечном счете… если только… еще не слишком… поздно. Я когда-то разбирался в таких вещах. Я когда-то разбирался во всем. Не имеет значения. Может, я умру от этого в конце, в самом конце.

— В конце чего?

— Старости. Я свою работу сделал. Я подумаю обо всем этом… когда усну. Помоги мне встать, мой дорогой мальчик. Темнеет.

Эдвард отвел глаза от лица Джесса и заметил, что действительно стемнело. Очертания Сигарда, неосвещенная башня, тусклый свет в высоких окнах Атриума выделялись на фоне краснеющего неба. Эдвард повернулся в другую сторону, к морю, и увидел, что у неба темно-синий ясный цвет, словно в лазурь плеснули чернила ночи.

Поднять Джесса оказалось непросто. Он вдруг необыкновенно потяжелел, конечности его болтались, как груженные свинцом мешки. Наконец он встал на ноги и медленно пошел к дому, тяжело опираясь на Эдварда. Когда они подошли к конюшенному двору, там маячила какая-то фигура. Это была матушка Мэй.

— Я его нашел… — начал Эдвард.

Матушка Мэй выкинула вперед сильную руку, просунула ее между Эдвардом и Джессом и разделила их. Ее грубая рука задела больной палец Эдварда, о котором он успел забыть и который теперь пронизала боль. Он отошел назад, позволив матушке Мэй принять на себя вес Джесса и повести его дальше — она старалась как можно быстрее провести его по неровным камням.

— Да иди же ты! — услышал ее голос Эдвард, когда она проталкивала Джесса в дверь Затрапезной.

Когда он вошел в комнату, противоположная дверь в башню уже была закрыта.

Эдвард вышел через главную дверь во влажную теплую темноту. Беззвездное небо, видимо, затянули тучи, но ветер стих. Эдвард вдохнул запах сосен. Он двинулся вдоль фасада дома к Селдену. Они уже отужинали. За ужином пили вино.

Эскапада Джесса не обсуждалась. Упоминание о ней Эдварда было погашено отвлекающими комментариями:

— Ой, он иногда выкидывает фортели.

— Он, бывает, уходит довольно далеко.

— В один прекрасный день он вообще уйдет.

Илоне, попытавшейся что-то сказать, быстро заткнули рот, и она заплакала. Она сидела за столом, и слезы капали в тарелку. Эдвард уже не в первый раз видел такое. Он подумал, что они пытаются превратить ее в маленькую девочку. Но он не выразил ей сочувствия. На слезы Илоны не обращали внимания. И тут он задал себе вопрос: а не хотят ли они, чтобы Джесс ушел, потерялся, исчез? Мог ли он обрести ясность мышления и силу, чтобы самостоятельно уехать в Лондон или Париж, о чем они не раз говорили? Сегодня он вышел из дома, надев ботинки. Двери явно не были заперты, и никто якобы не видел, как он удалился.

Теперь Эдвард оказался в полной темноте. Свет масляных ламп сквозь высокие окна Атриума сюда не доходил, его глушил мрак, похожий на черную бархатную материю или мягкое чернильное вещество, заполнявшее пространство и касавшееся лицо, как эктоплазма. Его ноги,

чувствовавшие себя неуверенно без подсказки органов чувств, шагали медленно, опасливо, и вскоре он потерял ориентацию. Внезапно он наткнулся на что-то — сначала ударился коленкой, потом всем телом. Эдвард вскрикнул от испуга.

Пошарив рукой в темноте, он понял, что это ствол падуба; по его представлениям, дерево должно было находиться далеко впереди. Он провел ладонью по грубой коре, потом поднял голову, оглянулся и чуть отступил назад. Он ничего не видел. Он потерял всякое представление о пространстве вокруг. Ночное небо, деревья, образующие арки своими кронами, вполне могли быть стенами маленькой черной неосвещенной комнаты, подземного узилища, в середине которого он и стоял. Эдвард снова протянул руку, но ничего не нащупал. Потом вдруг что-то ухватило его за горло, и он испугался, пошатнулся, хрипло вдохнул. Поднес руки к лицу. Его ноги, внезапно лишившиеся сил, подогнулись в коленях, он опустился на корточки, потерял равновесие и чуть не растянулся на земле, как от удара. Одна его ладонь и колено уперлись в землю, он восстановил равновесие и поднялся, широко расставив ноги, тяжело дыша. Чувство, которое чуть не свалило его с ног, было страхом,

чистым безотчетным страхом, какого он не испытывал никогда прежде. Голос отказал ему. Эдвард едва сдерживался, чтобы не броситься наутек, потому что понимал: через секунду он упадет. Тогда большими энергичными шагами, широко открыв глаза навстречу черноте, он направился — как ему казалось — к дому. Прошло несколько долгих мгновений, прежде чем он увидел освещенные окна и бледный мазок ниже, где свет проливался из открытых дверей зала. Эдвард сдвинулся чуть вправо, вытянул вперед руку, чтобы дотронуться до камней стены, и ощутил их неровную поверхность. Когда он приблизился к двери, кто-то вышел из нее и сразу же исчез в темноте. Это была Беттина. Эдвард поспешил внутрь и на свету остановился, чтобы перевести дыхание. Он стоял и дышал, когда услышал у себя за спиной странный высокий крик.

«Это просто сова», — сказал он себе, но поспешил закрыть дверь и отойти от нее подальше.

Стол после ужина еще не убрали. За ним в одиночестве сидела матушка Мэй. Эдвард увидел перед ней винную бутылку и наполовину пустой стакан. Он сел напротив, подвинул масляную лампу так, чтобы свет падал на лицо женщины. Сегодня оно было спокойное и молодое, как в пер-

вый раз, когда он увидел ее. Кожа в свете лампы казалась абсолютно гладкой и излучала золотистое сияние. Волосы, отливавшие рыжиной и золотом, были собраны сзади в большой пучок и подчеркивали пристальный мягкий взгляд ее больших светящихся глаз, сонно смотревших на Эдварда.

За стенами дома в пугающей темноте теперь раздавались другие звуки — протяжные жалобные крики и визг.

— Скажите, бога ради, что там такое?

— Совы, конечно.

— Я никогда не слышал подобных звуков.

— Они спариваются. Есть много разновидностей сов, и все они кричат по-разному. Я хотела предупредить тебя, что не стоит выходить по вечерам: если окажешься рядом с совиным гнездом, сова может выклевать тебе глаза.

— Но почему они вдруг раскричались?

— Беттина их зовет. Она умеет подражать крикам птиц. Она может производить высокие звуки, недоступные человеческому уху. Это ее природный дар. У Джесса был такой же.

Эдвард сидел некоторое время, прислушиваясь к какофонии воплей.

— А где Илона?

— Пошла спать.

Эдвард хотел найти ее и утешить, но теперь было поздно. Он жалел, что не сделал этого за столом. Он нашел пустой стакан и налил себе вина. Вино было превосходное — ароматное, со сложным сладким вкусом.

— Что это?

— Вино из одуванчиков.

— Я и не знал, что из одуванчиков можно делать вино.

— Вино можно делать из чего угодно.

— Я такого прежде не пробовал. Вкусное.

— Что у тебя с пальцем?

— Нож сорвался, когда траву резал. Смотрите.

Эдвард начал разматывать темный, пропитанный кровью бинт. Он прекрасно понимал, что делает агрессивный жест — дерзкий поступок, демонстрация, имеющая целью вызвать жалость, страх, отвращение. Бинт прилип к ранке. Резкая боль стрельнула в руку и плечо. Эдвард сорвал бинт, чувствуя, как рвется плоть, словно ему срезают полпальца. Он вскрикнул, потом уставился на большую кровоточащую рану, откуда тут же полилась кровь — резвые ярко-красные капли сочились из глубокого пореза, текли по руке, падали на стол.

— Держи. — Матушка Мэй протянула ему салфетку. — Постой. Я что-нибудь принесу.

Она вернулась с тазом, над которым поднимался пар, тряпицами, полотенцем и маленькой коробочкой. Эдвард держал руку над тазом, а матушка Мэй, сжав его запястье, промыла порез, остановила кровотечение, потом покрыла рану компрессом из листьев, прижала пальцем, положила сверху кусочек материи и легко обвязала нитью.

— Это остановит кровь и залечит ранку. И прилипать не будет.

— Спасибо. А что это?

— Окопник.

Она тщательно очистила стол другой тряпочкой и протерла его, потом поставила таз на пол.

Эдвард тихо сидел за столом, вдыхая ароматный запах трав из таза. Он слушал тишину. Совиный концерт закончился. Беттина была где-то вне дома, стояла или брела в полной темноте. Он еще чувствовал крепкие, успокаивающие пальцы матушки Мэй у себя на запястье. Вокруг лампы кружили какие-то белые мотыльки.

— Я хочу отвезти Джесса в Лондон, — сказал Эдвард.

— Он с тобой не поедет.

— Почему бы вам всем не поехать?

— Это невозможно.

— Вы что, умрете, если покинете этот дом?

— Нет. Но я очень быстро постарею.

Матушка Мэй смотрела на него большими мягкими ясными глазами. Она подлила вина в его стакан, потом — в свой.

— Вы все, кроме Джесса, вечно молодые, а он…

— Ну, он никогда не умрет, с ним просто произойдет метаморфоза!

— Я хочу помочь ему. Ведь он хотел меня видеть, правда?

— Ты, наверное, воображаешь, что был долгожданным мальчиком… Возможно, твоя мать внушила это тебе. Но не очаровывайся им. Ты понимаешь, что он безумен? У него галлюцинации, и он что угодно может наговорить. Он развалина, злобный старик.

— Никакой он не злобный.

— Чистое зло никогда не кажется злом. Оно проявляется, если к нему примешивается добро. А Джесс — воплощение зла. Он открыл дверь зла и заглянул внутрь.

— Что за чушь! Вы хотите сказать, что он бегал за женщинами?

— Когда-то он был моей истиной. А если твоя

истина оказывается ложной…

— Я думаю, он просто надоел вам, потому что болен, а больные люди — это так неудобно!

— Он предал нас, став нашим ребенком.

— Как вы можете так говорить? Конечно, вы любите его, я люблю его… Или вы ревнуете, потому что он любит меня?

— Ой ли? Ты — безупречный чужак, ты не запятнан, как запятнаны мы, знавшие его таким, каким он был прежде. За это знание он не может простить нас. Ты свежий и неиспорченный, ты никогда против его воли под дикие крики не поднимал его туда по лестнице. Однако будь осторожен. Он может одним мизинцем искалечить тебя на всю жизнь.

— Я уже искалечен на всю жизнь.

— То, что ты называешь страданием, — ерунда. Ты еще не страдал по-настоящему.

— Насколько я понимаю, вас возмущает то, что у него были другие женщины. Но я уверен, он никогда никому не хотел причинить боль.

— Если ты не знаешь ничего, кроме собственных желаний, тебе не нужно специально подготавливать убийство — ты просто убиваешь, не думая. Неужели тебе все равно, что твоя собственная мать сошла с ума от горя? Конечно, он

бегал за женщинами. И за мужчинами. Ты единственный его незаконнорожденный ребенок, о котором нам известно. Но может быть, есть еще десятки других.

Эдварду эта мысль не понравилась.

— Если я был долгожданным мальчиком… то почему вы не позвали меня раньше?

— Ты не очень-то умен, Эдвард. Конечно, Хлоя оберегала тебя, как тигрица, она не позволяла нам приближаться к тебе, да и Кьюно нас бы не подпустил. Но дело было не только в этом. Неужели ты не понимаешь, как сложно и опасно все это? Джесс не хотел, чтобы ты рождался. Он хотел, чтобы Хлоя сделала аборт.

Эдварда ошеломила мысль о том, как близок он был к небытию.

— Вы хотите сказать, он выгнал ее из-за меня? Или она бросила его из-за меня?

— Тогда это было дело десятое. А когда ты появился, он сделал вид, что тебя нет. Он устал от Хлои, а тебя вышвырнул вместе с ней. А потом если и упоминал тебя, то лишь для того, чтобы поддразнить нас. И напугать.

— Как это — напугать? Значит, вы втроем, видимо, были против меня?

— Конечно.

— Но вы написали мне! Ведь это вы написали. Наверное, для того, чтобы угодить ему.

— Нет, просто ради перемены.

— Ради перемены?

— Мы… словно уснули… это было плохо… это и есть плохо. Нам требовалась какая-то встряска, катализатор, и мы поняли, что любая перемена будет к лучшему.

— И как, я стал катализатором?

— Пока нет.

— Илона сказала, что я тут все взбаламутил.

— Илона не понимает ситуации.

— Но каких перемен вы хотите?

— Ты, похоже, ничего не понимаешь.

Он подумал: «Может, они хотят, чтобы Джесс умер? Но такого от меня им не дождаться. Они сумасшедшие, а не он». Эдвард почувствовал, как разбегаются мысли, и испугался, уж не влияет ли вино на его мозг.

— Я уверен, вы вовсе не думаете того, что говорите о Джессе, — сказал он. — Конечно, меня воспитывала моя несчастная мать, внушавшая мне, что он дьявол…

— Твоя несчастная мать была сучкой и шлюхой, — спокойно сказала матушка Мэй. — Она спала со всеми подряд. Джесс даже не был уверен,

что ты его сын, пока не увидел тебя.

— Боже мой, — отозвался Эдвард, — вы что же, говорили с ним об этом?

— Неужели ты думаешь, что ты единственный, с кем он говорит?

— Значит, вы пригласили меня сюда, потому что хотели посмотреть на меня?

— Я тебе сказала, почему мы тебя пригласили. Ты подумай.

— И что же я должен думать? Вы говорите такие странные, противоречивые вещи. Я уверен, что у меня настоящие отношения с настоящим Джессом. И вы ошибаетесь, когда говорите о моей матери. К тому же моя мать — это мое дело.

— Она была моим делом, когда пыталась разрушить мой брак. Она думала, что может забрать у меня Джесса. Конечно, у нее ничего не получилось. Он прошел по ней, как Джаггернаут, как проходил по другим несчастным заблудшим душам — я слышала, как хрустят их кости. У нее была ужасная жизнь. Неудивительно, что она совершила самоубийство.

— Никакого самоубийства она не совершала.

— Я ненавидела твою мать. Я молилась, чтобы она умерла. Ненависть убивает. Возможно, это я стала причиной ее смерти.

— Она умерла от какого-то вируса.

— Таинственный вирус. Вирус ненависти.

— Вы не должны ненавидеть людей.

— У меня лицо Горгоны.

Матушка Мэй продолжала смотреть на него своим спокойным, ясным, бестрепетным взором.

— Вы хорошо это скрываете, — сказал Эдвард.

Но на мгновение ему показалось, что из глубины ее глаз выглядывает что-то черное, и он испугался.

— В письме вы написали, — продолжил Эдвард, — что жалеете меня из-за… того, что случилось… из-за моего несчастья… о котором вы читали. Но никто у меня так ничего и не спросил. Единственный, с кем я обо всем говорил, это Джесс.

— Ты не упоминал об этом, и мы не стали.

— Возможно, вам неинтересно.

— Мы хотели, чтобы ты рассказал нам сам в свое время.

— Я думаю, вы вообще забыли об этом!

— У нас у всех в жизни есть ужасы, с которыми приходится жить. Мы должны закалить наши сердца перед злом, которое мы причинили другим, простить себя и забыть наши поступки, как сделали бы жертвы, будь они праведниками.

— А мы разве не должны быть праведниками?

— Это всегда дело будущего.

— Это все, что вы можете мне сказать?

— У нас свои беды, у тебя — свои. Мужчинам приходится убивать своих отцов. Жизнь должна продолжаться.

— Что вы хотите этим сказать?

— Только то, что тебе пора повзрослеть, Эдвард. Мы все в руках судьбы. Этот твой брат, сын Кьюно…

— Стюарт…

— Вот он знает, что делать. Он отказался от секса?

— Он сумасшедший.

— Или добродетельный. Но так или иначе, он человек крайностей. А это как раз то, что нужно теперь, — крайности.

— Вы разочаровались во мне.

— Нет…

— Возможно, вы хотели, чтобы я потерпел неудачу, чтобы иллюзии Джесса на мой счет рассеялись, и для этого меня пригласили.

— Нет. Ты просто удивляешь меня. Ты хорошая пара Илоне.

Эдвард испытывал искушение рассказать ей о Брауни и Элспет Макран, но это было слиш-

ком опасно. К тому же он чувствовал странную сонливость. На лице матушки Мэй, гладком и спокойном, теперь появилась едва заметная улыбка, оно расплывалось, увеличивалось в размерах и плавно покачивалось, как на ветру. Вокруг лампы кружилось кольцо белых мотыльков.

— Вы меня опоили, вы добавили в это вино наркотик, у меня галлюцинации…

— Ты сам одурманил себя, Эдвард. Прежде чем приехать сюда, ты одурманил себя на всю жизнь. Я в таких вещах разбираюсь. Действие веществ, которые ты принимал, никогда не проходит, никогда не оставляет тебя. Тебе это известно? Так ты и друга убил, помнишь?

— Не… говорите так…

— Ох, все эти твои беды. Ты ничего не знаешь, ничего не видишь. Вопрос сейчас в том, способен ли ты мне помочь. Что ты можешь сделать для меня в этот момент жизни… или мне убить себя на твоих глазах? Насколько ты любишь меня? Можешь ли ты помочь мне, можешь ли любить меня, достаточно ли сильна твоя любовь?

С улицы вошла Беттина, закрыла за собой дверь. Волосы у нее были распущены.

— Флиртуешь с матушкой Мэй? — спросила она Эдварда. — Давай, пора. Ложись спать, — сказала

она матушке Мэй.

Эдвард поднялся на ноги и нетвердой походкой двинулся по залу. Он оглянулся, но не увидел ничего, кроме лампы, чей свет пробивался сквозь облачко мотыльков.

Стэнфорд

Мой дорогой Стюарт!

Папа, который приехал сюда, рассказал мне, что ты собираешься все бросить. Меня это встревожило. Ты не должен так делать. Конечно, папа может преувеличивать. Из-за своих старых проблем (тебе они известны) он предпочитает думать, что у каждого есть странные мании и каждый втайне пребывает in extremis[54]. Может, он чего-то недопонял. Может, тебя просто все достало — это случается с каждым время от времени. Мыслить — значит пребывать в аду. Но если это серьезно, позволь мне попросить тебя не делать этого. Это дурная идея, это отвлеченная идея. Не хочу рассуждать о выборе между моральными ценностями и дурным бизнесом. Не то чтобы это не имело отношения к делу, как раз очень даже имеет, и для всех нас, но говорить об этом невозможно, по крайней мере в письме это

---

[54] Примечания: 54

В чрезвычайных условиях *(лат.)*.

неуместно. Точнее, когда говоришь глаза в глаза, легче избежать неверных формулировок. (А ты, к несчастью, за сто тысяч миль.) Я подозреваю, что добро определить трудно, а приходит оно бесконечно медленно (если приходит вообще) и складывается из миллионов едва заметных шажков. Оно не может быть «программой», верно? Даже если человек уходит в монастырь — и то не может. Платон сказал, что оно дано как божественный дар. Это, конечно, не означает, что добро — вопрос везения. Просто нужно работать и совершенствоваться. Я даже не уверен, что желание добра имеет большое значение. (Сказать, что такое желание является положительным препятствием, было бы слишком заумно!) Что я хочу сказать (я уже подошел к этому)? Я хочу сказать, что ты будешь несчастен, придешь в отчаяние, почувствуешь свою бесполезность; ты ведь интеллектуал, и ты должен мыслить. Тебе все осточертеет. А если ты все бросишь сейчас, будет не так-то просто (оцени ситуацию на рынке труда) вернуться. Так что не делай этого. Если хочешь стать «социальным работником», почему бы тебе не попробовать преподавать в университете? Это то самое и есть. Сегодня ребяткам каждый день нужно пустышку в рот

совать. И потом, подумай-ка вот над чем: мир самым жутким образом сходит сума (я столько всего вижу тут), и через десять лет нам понадобятся порядочные люди, чтобы расставить их на влиятельные посты. (Ради тебя я не использую слово «власть».) Я не имею в виду только политику в узком смысле. Возможно, время узких политиков уже прошло.

А я тут тем временем живу по-королевски, во всяком случае гедонистом (каковым не являюсь). В Америке это просто. (Ну да, конечно, если ты не беден, если ты не черный и т. п.) Откровенно говоря, я счастлив. Или был бы счастлив, если бы не некоторые (надеюсь, решаемые) проблемы в области любви и секса. (Избежать этого не удается — даже тебе!). Проблемы новые, а не старые. (О вещах для тебя неприятных я, конечно, говорить не буду.) Тут все красивы — мужчины, женщины, высокие, сильные, чистые, здоровые, ясноглазые. Слушай, почему бы тебе не приехать ко мне? Мы бы обо всем поговорили. Приезжай, посмотри на земных богов, прежде чем отвернуться от рода человеческого. Приезжай, посмотри на меня.

Это только весточка. Письмо я напишу потом.

Твой Джайлс.

Стюарт Кьюно, сидевший в зале Британского музея, где выставлен фриз Парфенона, с улыбкой прочел это письмо своего друга Джайлса Брайтуолтона и сунул в карман. Он ждал Мередита Маккаскервиля. Они бегали вместе. Сегодня они собирались прогуляться. Им нужно было многое сказать друг другу. Тем не менее самым главным в общении Стюарта с парнем было молчание.

Стюарт и Мередит встречались в разных примечательных местах — иногда в художественной галерее, иногда в парке, часто в Британском музее. Это было похоже на тайные свидания, хотя, конечно, никакой тайны они из этого не делали. Через весь Лондон они добирались до места, двигаясь из разных далеких точек, пересекали пространство и время, сближались, пока наконец не находили друг друга. Эти встречи (почему-то всегда неожиданные и странные) начались довольно давно, с тех самых дней, когда Стюарт был «взрослым дядей», а Мередит рядом с ним резвился и играл, как щенок. Все это ушло, в самой сути их взаимопонимания произошли безболезненные и счастливые перемены. Теперь Стюарт ждал встречи со сдержанным, полным достоинства, самостоятельным, стройным и высоким мальчиком, с его лаконичной замкнутостью, с

его тайной.

Но сейчас, хотя Мередит должен был вот-вот появиться, Стюарт размышлял над письмом Джайлса; в конце концов он решил, что слова друга просто не имеют к нему никакого отношения. Нет, он не будет страдать, если перестанет чувствовать себя интеллектуалом или ученым. Он сбросил с себя это бремя, испытав громадное облегчение, и ни в коем случае не расценивал свой поступок как трусость. (Хотя Джайлс не обвинял его в трусости — это делал Гарри.) Что касается влиятельного поста в будущем и власти во благо, то Стюарт думал (с осторожностью касаясь этой темы), что на выбранном пути он, скорее всего, сам добьется большей власти. Значит, такова была его цель? Нет. Гарри сказал, что у религиозного человека должна быть цель. (Не имело смысла спорить с Гарри о значении слова «религиозный».) Стюарт мог сформулировать свою цель только в негативном и чрезвычайно общем плане. Он хотел не быть плохим. Он хотел быть хорошим. Разве это странно? Неужели он считал себя исключительным? Сейчас, в самом начале жизни, нужно быть серьезным и оставаться в одиночестве — не в том смысле, в каком одиноки безбрачные священники, а в том, в ка-

ком одинок каждый в самом конце. Что с ним случилось, почему он вдруг перевернул свою жизнь с ног на голову? Это был вопрос извне, от другого человека. Ничего не случилось — просто так было. Он отказался от своих талантов, как отказывается монах. Монахом он не стал, но послушание принял. Неужели думать об этом — или думать вообще — было неправильно? Он не мог заставить себя не думать. Но нередко он позволял своим мыслям подниматься, как дым, и уноситься по ветру. Джайлс писал, что это не может быть программой. Гарри сказал, что все это сексуальные фантазии. Кто-то сказал, что нет пути, есть только конец, а то, что мы называем путем, это только дуракаваляние.

«Но конечно, — думал Стюарт, — мой путь — это путь любви и страсти, он отменяет время и создает его, создает свою собственную необходимость и собственный темп. Нужно только не упускать ничего. Я смогу заново сориентироваться на ходу». Он не хотел называть это ни вызывающим у него отвращение словом «Бог», ни неловким сухим старым словом «религия». Он не отвергал религию, как отвергал Бога, но в его личном языке этого слова не было. Это была насущная страсть, насущная любовь, такая слож-

ная, что ее привлекало только то, что свято. Что за устройство; как трудно и в то же время легко все это. Бог, если воспользоваться словами Томаса, был удобным, постоянным, не подвластным порче объектом любви, автоматически очищающим желание. Но так же должно происходить и без Бога. Разве не может человек чувствовать такую же любовь ко всему в мире? Где-то в глубине его слабости скрывалось желание увидеть некий знак, чтобы воссиял не оставляющий сомнений свет. Но разве этот свет не освещал все, в том числе и зло? Можно ли оставаться безучастным созерцателем зла? Даже страдания созерцать нелегко — таинственные ужасные неприкосновенные страдания других людей. Страдания Эдварда. Страдания животных. Страдания всей планеты, отягощенной бременем невзгод, несправедливостей, неутолимой скорби. Все творение стонало и мучилось в несчастье и грехе. Здесь нет решения; даже если наступит конец света, нет ни святого старца в пещере, ни работника в поле либо офисе, который знает ответ. Это негативные вещи, деградация мышления. Взломать дверь святости и знания каким-нибудь тонким, но очень чистым инструментом — разве не это было когда-то его целью? Откуда, черт побери, берутся такие идеи?

И такие образы — хирургические, сексуальные? Что это, безумие или экстаз? Избавление от этих амбиций и формул сопровождалось отрадным ощущением, словно открываешь глаза в полной темноте. Встань на колени, и пусть темнота поглотит тебя, встань на колени и попроси прощения за грех бытия. Кто-то сказал, что Бог — это кипение в темноте, огромное темное кипение постоянно воссоздающего себя бытия. Что-то в этом роде видел и Ките. Мистический Христос, идущий по кипящему морю. Христос в чистилище. Ангелы, обнимающие кающихся грешников на картине Боттичелли.

Как часто случалось в последнее время, Стюарт испытывал особое чувство: он почти засыпал, но в то же время остро ощущал реальность. В такие моменты он видел фрагменты странных образов, такие живые и нагруженные смыслом. Это были самые разные вещи, за которые (как он вспомнил теперь) он рекомендовал держаться Эдварду: талисманы, святые дары, священные предметы, присутствующие в темных углах сознания, как в храме или на алтаре. Эдвард наверняка знал эти вещи. Перед мысленным взглядом Стюарта возник образ бога, а может, просто камень на влажном уступе скалы рядом с фонтаном или

водопадом. Он не помнил ничего подобного прежде; может быть, ему это приснилось. Что такое эта идея «святости», которую он признал как нечто всеобщее и важное? Может быть, это опасно — сомнительный лик добра или пустая личина секса? И где пропадает Эдвард, не пора ли ему вернуться из того безопасного убежища, куда его отправил волшебник Томас? Стюарт очень хотел увидеть Эдварда, помочь ему, понять, как это сделать. Сначала от Стюарта не было никакой пользы брату — а вдруг теперь ситуация изменится? Но способен ли он вообще помочь кому-нибудь? Иногда он чувствовал себя абсолютно одиноким, словно желание добра отрезало его от людей. Изменится ли все это, когда он найдет работу? «Работа» — старое грубое определение этого понятия. Стюарт любил Эдварда, он любил Гарри. Он любил Мередита. Его ничуть не пугали сексуальные чувства по отношению к этому мальчику. У него были более или менее неопределенные сексуальные влечения к самым разным вещам и людям: к школьным учителям, девушкам, которых он видел в поездах, к математическим проблемам, к священным объектам, к идее воплощать добро. Секс примешивался ко всему. Странно ли это? Может, он чрезмерно

сексуален, что бы это ни значило? С инстинктивными поверхностными аспектами желаний, характерных для ранней юности, он разбирался сам, не чувствуя вины и легко подавляя склонность к эротическим фантазиям.

Он стал оглядывать окружающее пространство, которого только что не замечал, словно его и не существовало. Не осененный благодатью классического образования, если не считать элементарной латыни, Стюарт имел довольно туманное представление о греках, но при этом увлеченно соотносил себя с ними. Довольно невежественно, как любитель, он внимательно изучил фриз Парфенона. Ему нравились молодые всадники. Он всегда представлял себя всадником, хотя ни разу в жизни не сидел в седле. По странной, причудливой ассоциации (такие ассоциации называются мозаичными, и они интересовали Стюарта в нем самом) он соединял представление о скачке со смертью своего деда, о которой Гарри, не имея намерений напугать мальчика, рассказал ему когда-то: беспомощный пловец, белый призрачный парус яхты, неторопливо исчезающей вдали. Может быть, эта связь образовалась через греков: нечто опасное и героическое, страшно одинокое и печальное, четко прорисованное в ясном свете.

Стюарт всегда представлял себе, что дед погиб рано утром, когда небо было прохладное и ясное, а море — спокойное.

Процессия на фризе Парфенона в своей неподвижности была удивительно целеустремленной: фигуры идущих людей, поднявшиеся на дыбы лошади, раскачивающиеся в седлах всадники — все неподвижно рвались вперед, влекомые тайной. Нет, они не были невинны; эти беззаботные молодые люди были слишком красивы. Боги, такие расслабленные, так спокойно и уверенно сидящие в седле, тоже не были невинны. Беспорочными оставались только звери, лошади и жертвенные животные, поднимающие свои изящные, ничего не подозревающие головы к небу, да один-единственный маленький мальчик, слуга или грум, даже моложе Мередита. Не невинный, но и не воплощение зла. Это были образы судьбы. И по контрасту Стюарт вдруг вспомнил заплетенные девичьи косы, разделенные на затылке; громадные курганы таких кос. Заплела ли она эти косы в день смерти, когда она уже знала, что ей суждено умереть? Волосы можно заплетать в любой, самый ужасный день — это как бриться перед казнью. Все дело в деталях, именно детали невыносимы.

Но вот появился Мередит, материализовался перед строем всадников: мальчик с военной выправкой, аккуратный, торжественный, подтянутый и щеголеватый в своей темной одежде.

— В музее была выставка для слепых, — сказал Мередит.

Они гуляли — бесцельно, или путь выбирал мальчик, — пересекли Тоттенхэм-Корт-роуд, вышли за пределами Блумсбери — как района, так и идеи. Музей, конечно, был иным, он был дворцом света и мудрости, он огромным лайнером плыл по темному морю. Стюарту не нравились красивые мрачные улицы, полные воспоминаний обо всех этих всезнайках, людях, которые покровительствовали его деду и прадеду, перед которыми даже Гарри снимал шляпу. Ах, как негодовал Стюарт, думая об этой почтительности! С другой стороны улицы располагался Северный Сохо, источавший, конечно, грех, но переполненный людьми, толкущимися на этих грязных улицах.

— Там была выставка для слепых — скульптуры животных, которые можно трогать, всякие древности, греческие, египетские и китайские. Красивые животные. Любой мог прийти и взять в руки. Я трогал и гладил их, и еще много людей, но только не слепые — их там не было. Мне хотелось

бы увидеть, как слепые изучают эти скульптуры. Но их там не было. Будь я слепым, я бы тоже не пришел. Я бы не стал ходить на выставки для слепых. Я бы стеснялся… мне бы гордость не позволила, это стыдно…

— Стыдиться тут нечего, — сказал Стюарт.

Но он понимал, о чем говорит Мередит. Как бы поступил он, будь он слепым?

— Люди глазеют на калек и ничего не могут с собой поделать. Я бы прятался.

— Нет, не прятался бы, — возразил Стюарт. — Ты был бы другим. Более смелым.

— Ты считаешь, что мужество — это производная от обстоятельств? — спросил Мередит своим хрипловатым мальчишеским шотландским голосом.

— Отчасти. Но мужество — это не какая-то вещь в себе, это часть твоего отношения к миру. Если с тобой случается что-то ужасное, если ты слеп, ты не можешь заранее знать, насколько смелым ты будешь или что сделаешь…

— Можно потерпеть поражение.

— Да. Но человек всегда терпит поражение, к поражению ведет бесконечно много путей. Наше мужество и наше желание быть добрыми каждый день подвергаются испытаниям… —

Стюарт хотел добавить «каждое мгновение», но воздержался.

— Но у тебя ведь не бывает поражений, да? Я не видел, чтобы ты терпел поражения. Ты единственный из всех знакомых мне людей, к кому грязь совсем не прилипает.

Стюарт не знал, что на это ответить.

— Грязь есть и во мне, но ты ее не видишь, — сказал Стюарт.

И подумал при этом: «Да, я верю, что я не такой, как другие. Что это за идея? Хорошая она или плохая?» А еще он подумал: «Я не должен разочаровать Мередита».

— Ну а если она не видна, в этом-то все и дело, разве нет? Мысли не имеют значения.

— Еще как имеют! — воскликнул Стюарт. — Очень большое значение. От них зависит, легко или трудно тебе действовать. И они имеют значение сами по себе…

— Потому что их видит Бог? Я не верю в Бога. И ты тоже.

— Они имеют значение. Они существуют. А лучше бы их не было, плохих мыслей.

— Я не представляю, как избавиться от плохих мыслей — они сами приходят. У меня бывают ужасные мысли. Ты и представить себе не мо-

жешь!

Стюарт подавил желание спросить, что это за мысли. Мальчик просто хотел ошеломить его, создать маленькую эмоциональную драму. В их отношениях с Мередитом Стюарт все острее чувствовал такие «авансы». В любом случае нечистые мысли лучше не произносить вслух. Стюарт не хотел размышлять о дурных мыслях Мередита, он даже боялся услышать их.

— Раньше люди молились, — сказал он, — чтобы избавиться от таких мыслей. Я говорил тебе об этом. Ты должен каждый вечер садиться и сидеть тихо-спокойно, чтобы они гасли в тебе. Ты увидишь, что они нереальны, основаны на ложных идеях и эгоизме.

— Я не понимаю, как они могут быть нереальны, если они есть. Ты думаешь, я говорю про мысли о сексе. Некоторые люди утверждают, что это здоровые мысли.

— Ты сказал, что они ужасны. Человеку самому приходится судить свои мысли. Это вовсе не трудно. Во всяком случае, ты можешь попробовать. Если спокойно посидеть, это помогает: твой мозг отдаляется от всего и успокаивается, ты вспоминаешь о хороших вещах.

— О хороших вещах. А такие есть?

— Мередит, ты прекрасно знаешь, что есть. Самые разные.

— Я знаю? Я думаю, что все в мире покрыто какой-то серой пылью. Во всяком случае, я не могу понять твою точку зрения, если нет Бога. Правда ли, что, если бы Ньютон не верил в Бога, он открыл бы теорию относительности?

— Кто это тебе внушил?

— Урсула. Она сказала это за обедом. Тебя не было, а я подслушивал у двери, я всегда подслушиваю.

— Я так не думаю…

— Ты имеешь в виду, что подслушивать у двери нехорошо?

— Помолчи. Я так не думаю. Математика…

— Сильнее Бога?

— Это мощная самозарождающаяся сила. Вряд ли представление о том, что все связано с Богом, помешало бы Ньютону, будь он способен воспринять относительность. Просто он не мог сделать такое открытие из-за общего интеллектуального контекста.

— Так ты поэтому бросил математику?

— Потому что она сильнее Бога? Нет.

— И мне тоже следует бросить математику, историю, латинский?

— Нет, конечно. О чем ты говоришь? Ты должен учиться не покладая рук!

— Я не понимаю… ну ладно… Я все равно не смогу найти работу… Вообще-то, конечно, найду, потому что отец как-нибудь исхитрится. Хорошо быть частью истеблишмента. Папа мне сказал, что тебе не нравятся плакаты у меня в спальне, и я их снял.

— Хорошо.

— Те, что с девушками и обезьяной на горшке.

— Не могу понять, что ты увидел в этом дерьме. И это так несправедливо по отношению к бедным животным — оскорблять их нашей человеческой вульгарностью.

— На той выставке были прекрасные животные. Значит, в этом все дело — в вульгарности?

— Я надеюсь, ты больше не смотрел те грязные порнографические фильмы.

— Папа запретил мне. Я ему пообещал, что не буду.

— Но ты их смотрел?

— Да. И другие тоже. И я не думаю, что папа по-настоящему против.

— Я против.

— Но ты мне не запрещал смотреть на греческую вазу в музее, где сатиры преследуют нимф.

— Это произведение искусства.

— Я не вижу разницы.

— Ваза прекрасна и…

— На самом деле тебе не понравилось, когда я стал смотреть, и ты меня увел оттуда.

— Никуда я тебя не уводил.

— Значит, дело в вульгарности, а не том, плохо это или хорошо. Важно, красиво ли это, а что это по сути, не главное.

— Нет, плохо или хорошо — это как сама вещь… ну, скажем… как она подана… с какой идеей… — Стюарт не сумел объяснить ясно. — И потом, все взаимосвязано. Ты ведь не только смотрел эту мерзость, но и солгал отцу.

— Это хуже?

— Это чревато. Не начинай лгать, Мередит. Просто не привыкай ко лжи.

— Ой, а я уже начал. Я продвинулся на этом пути. А он все равно мне не поверил. Он не ждет, что я буду говорить правду.

— Я уверен, что ждет. Не говори так о своем отце.

— Извини. Тебе я, конечно, не лгу.

— Я рад.

— Но отчасти это потому, что тебя я могу предвидеть. Я знаю, что ты скажешь. Я знаю, что на

самом деле ты не рассердишься.

— Я бы на твоем месте не был в этом уверен, — ответил Стюарт. — Но боже мой, победа невозможна!

Он рассмеялся и взглянул на мальчика, на его аккуратные светлые волосы, растрепанные ветром, тяжелые и шелковистые, ровно подстриженную челку, чуть выделявшееся родимое пятно, похожее на синяк. Мередит смотрел на него сосредоточенным, проницательным взглядом, видимо не очень понимая, что означает восклицание Стюарта. Он пнул смятую жестянку от кока-колы, отправив ее в груду гниющей капусты, запах которой перемешивался с пряными ароматами из маленькой греческой лавочки. Показалась башня Почтамта. Они шли по многолюдному тротуару, останавливались, соприкасались плечами, слушали разговоры прохожих на разных языках и чувствовали свое уединение в гуще человеческого потока. Мередит остановился у витрины.

— Эй, ты только глянь!

Стюарт видел, что это за магазин и какие фотографии выставлены в витрине.

— Идем, Мередит!

Они двинулись дальше.

— Ты смотрел, — сказал Мередит. — Я видел, что ты смотрел. Тебе было интересно.

Стюарт и в самом деле посмотрел, он и прежде смотрел на витрины таких магазинов, но продолжалось это считанные секунды. Обескураживающее открытие состояло в том, что он мгновенно определял, какие фотографии для него интересны.

— Это моя проблема, — ответил Стюарт. — Вернее, это никакая не проблема.

Теперь он шагал по тротуару и осознавал себя, преграждавших ему дорогу людей, враждебные взгляды, какофонию звуков; он казался себе ходячей колонной из плоти — высокий плотный мужчина с бледным сосредоточенным лицом, маленьким ртом и желтыми звериными глазами, большое неловкое животное, которое обходит встречных, создает препятствие на их пути.

— Все эти разговоры о добре и зле, — сказал Мередит, — это твоя тема. Другие люди не озабочиваются этим. Они думают, тут не о чем говорить. Не считают, что это главное в жизни.

— А как думаешь ты, Мередит?

— О, я не в счет. Мое мнение не имеет значения.

— Потому что ты ребенок?

— Потому что ничто не имеет значения.

— Некоторые вещи действительно не важны, — ответил Стюарт. — А другие имеют огромное значение. Ты еще об этом узнаешь. Да ты уже знаешь.

— Хочешь я тебе скажу, откуда я знаю, что ничто не имеет значения?

— Ну?

— Потому что у моей матери тайный роман. Так что все позволено.

— Что?

— Она мне сказала, чтобы я не говорил отцу, и я ничего не сказал. Так что, как видишь, все позволено и ничто не имеет значения. Что и требовалось доказать.

— Это невозможно, — сказал Стюарт.

Он посмотрел на мальчика. Лицо Мередита было искажено выражением, какого Стюарт никогда прежде не видел. Он повторил:

— Мередит, это невозможно.

Гарри Кьюно неожиданно проснулся от — как ему показалось — яркого света, бьющего в лицо. Он сел в кровати и решил, что это свет луны, пробившийся сквозь щель в шторах. Но потом он понял, что никакой луны нет. Посидев неподвижно, он проникся убеждением, что его

разбудил яркий луч электрического фонарика, который скользнул по его закрытым глазам. Гарри пронзил жуткий страх. Он немного подождал в темной комнате — ни звука, ни света. Потом раздался слабый звук, мягкий глухой звук, а затем щелчок — похоже, внизу в доме. Он поднялся с кровати и, дрожа, остановился рядом с ней. Звук повторился. Теперь он вроде бы исходил из сада. Крохотными шажками Гарри подошел к окну, чуть раздвинул шторы и посмотрел вниз. В саду едва брезжил тусклый неясный свет, близилось утро, и он заметил две фигуры. Они делали что-то очень странное, согнувшись над землей. С ужасом Гарри понял, что они копают и уже успели выкопать довольно длинную и глубокую яму на газоне. Он снова услышал тихое клацанье — лопаты стукнулись друг о дружку. Он напрягал глаза, чтобы сквозь завесу сумерек получше разглядеть, что происходит. Эти ужасные враждебные пришельцы напугали его. Что нужно в его саду в предрассветный час этим незнакомым людям в белесых одеяниях, с длинными, едва различимыми на фоне их одежды бородами? Это были старики. И вдруг Гарри понял, что они делают: они копают ему могилу. В тот же миг он узнал сутулую бородатую пару — там были его

отец и Томас Маккаскервиль.

Конечно, это был сон, и Гарри принялся размышлять о нем, усевшись в красивое маленькое кресло, купленное недавно в антикварном магазине. Он находился в маленькой квартирке, той самой, куда собирался привести Мидж, в «любовном гнездышке»; она возражала против этой покупки, но теперь она сюда непременно придет. Так же непременно она поедет с ним в следующие выходные в маленькое путешествие (такое короткое, маленькое, постоянно подчеркивал он), которое должно совпасть с конференцией Томаса в Женеве и с короткими каникулами Мередита, отправлявшегося к школьному приятелю в Уэльс. Гарри еще не сообщил возлюбленной о приобретении этой квартирки. Он пока даже толком не обставил ее, но хотел, чтобы для Мидж квартирка выглядела привлекательной и неодолимо соблазнительной. Он избрал тактику «поспешать не торопясь». Мидж появится в конце недели, и они впервые будут вместе абсолютно одни, и не в его или ее доме, наполненном враждебными призраками, а в их собственном пристанище, новом, приготовленном специально для них, в этом прообразе общего дома, полного и окончательного соединения. Это изменит Мидж, как ее

изменяла каждая маленькая уступка (а их набралось уже немало), каждое мгновение на долгом, но неминуемом превращении из женщины Томаса в женщину Гарри. Талант Гарри как бога преображения сделал ее другой, наделил новой сутью, атом за атомом превратил в более молодую, красивую, живую. Теперь она согласится на квартирку, и это будет естественным желанием. Гарри знал, что Мидж, хотя и влюблена в него по уши, еще не испытывала потребности в нем — той жуткой, мучительной потребности, какую испытывал он. Она этого не чувствовала; вероятно, она восприняла его порабощение как нечто само собой разумеющееся. Может быть, надо немного напугать ее? Такая тактика может принести свои плоды. Она была нужна ему, как наркоману нужна очередная доза, без нее он нервничал и стенал от тоски. Ее все еще удерживали, не позволяя сделать решительный шаг, тонкие нити малодушных условностей и остаточной бездумной привязанности к мужу. При мысли об этой остаточной привязанности Гарри сжал пальцы в кулаки и прикусил губу. Это тоже необходимо преобразовать, медленно превратить в безразличие, а лучше в неприязнь, ненависть. Недавно она сказала, что может пред-

ставить себе Томаса (а не его, Гарри) счастливым без нее. Это был прогресс. Он ненавидел Томаса и старался внушить Мидж то же чувство. Отчасти уже внушил. Нужно довести эту ненависть до совершенства. Не то чтобы Гарри желал такой ненависти, выращивая ее в себе ради нее самой, чтобы использовать как трофей или украшение для Мидж. Но ненависть была необходимой деталью механизма или частью химии перемены, расползающимся пятном или рычагом. И в этом смысле можно было сказать, что Гарри ненавидел Томаса, не испытывая к нему никакой личной вражды.

«А потом, — думал он, — мы купим дом во Франции или в Италии». Он представил это настолько реально, настолько ярко ощутил теплый, пряный, опьяняющий запах счастья, что инстинктивно сделал нетерпеливое движение. Зачем тогда эта квартира, это кресло, эти шторы, этот телевизор, даже эта кастрюля, которые он купил с таким удовольствием, когда они могли прямо сейчас, очень скоро, отправиться во Францию? Медлительность Мидж сводила его с ума. Неужели и теперь она ни на что не решится? Он должен тщательно продумывать каждый шаг на этом пути, чтобы не случилось осечек. Вода камень

точит. Потом он вспомнил свой жуткий сон, и его пробрала дрожь. Вроде бы в последнее время он не думал об отце — о своем красивом, счастливом, любящем отце — и не видел его во сне как враждебную фигуру. Как могло его глубинное подсознание так ярко создать или изобрести этот древний призрак? Как он мог узнать такое существо? Может ли привидение быть злобным, разве оно не должно завидовать живым и питать отвращение к ним? «Из меня получится злобное привидение», — подумал Гарри. Или мертвые могут становиться мстительными духами и вредить тем, кто их пережил? Но сон, конечно, был не о его отце. Это был пугающий и яркий образ Томаса, опасного и старого, столь ужасным манером принявшего внешность отца. Что ж, он сделал это на свой страх и риск; пусть отцы поостерегутся. Но насколько безумен человеческий мозг, насколько он изобретателен, склонен к драматизации, злобен и глубок! Да, опасности есть, явные и скрытые, но он готов обнажить меч и защитить любимую женщину.

Теперь Гарри чувствовал себя (и осознавал это), как в прошлом, когда он верил в свои силы и свою звезду, когда играл в крикет за свой университет, когда баллотировался в парламент, когда

женился на Хлое, зная, чьего сына она носит. Все это, независимо от результата, были поступки героические. Что касается «девушки издалека», то это было другое: не то чтобы ошибка, но нечто естественное, часть обыденной жизни. Если бы она не умерла, был бы он сегодня другим человеком? Или ушел бы от нее давным-давно? Он ханжески выкинул из головы эту дурную мысль, вытеснив ее образ с помощью образа своей матери. Ромула (он всегда мысленно называл ее по имени) любила Терезу. Они были тихие женщины. Хлоя была частью истинной материи жизни Гарри, и еще более принадлежала этой материи Мидж. Тереза умерла, и Хлоя умерла. Мидж была жива, она была самой жизнью; она возвращала ему молодость, и он становился юным, как юный рыцарь, и с теми же чистыми помыслами. Вчера вечером Гарри сделал нечто очень странное. Он обыскал свой стол, прошелся по всем старым сундукам и ящикам в поисках писем от двух своих жен, а потом поспешно, даже не просматривая, уничтожил их все, поджигая спичками в пустом камине кабинета. Потом тщательно собрал хрупкий пепел, все еще хранивший следы двух разных рук, ссыпал его в мешок, а мешок отправил в мусорное ведро. Он не считал, что

совершил преступление. Прошлое стерто, и это делало настоящее и будущее более ясными. Мидж заслуживала всего — всего пространства, всего времени, если только он мог ей это дать. Это было его истинным долгом. Недавно он переделал свое завещание, оставив достаточно средств мальчикам, а все, включая и дом, отписал Мидж. Таким образом он взял под контроль будущее. Гарри всегда чувствовал близость смерти; а вдруг они с Мидж поедут вместе на машине и он погибнет в автокатастрофе? Ведь ей будет больно читать эти письма, так зачем эта дополнительная боль? Он избавил ее от такого огорчения; он хотел даже из могилы нежно и преданно заботиться о ней. При мысли о том, что Мидж вернется домой и не найдет этих писем, у него чуть слезы не брызнули из глаз.

Мысль о собственной смерти напомнила ему про сон, и теперь он вспомнил еще одну деталь. Во сне он был молодым, очень молодым человеком, неженатым и непристроенным, а старики выглядели древними, как друиды, словно принадлежали к иной расе. А потому, решил Гарри, они копали собственную могилу, а он наблюдал за ними сверху. Они принадлежат прошлому, он глядел на них и чувствовал, что видит прошлое.

Это старость против молодости: они с Мидж молоды, а Томас стар. Невозможно поверить, что Томас ненамного старше его — ведь Томасу девяносто, а Гарри вечно двадцать пять.

«Нет, — подумал он, — я не могу позволить моей любимой состариться с этим человеком. Томас уже принадлежит смерти, как мой отец, мой несчастный утонувший отец. Они призраки — дунь, и исчезнут. Я стою высоко над ними. Мне нужно лишь протянуть руку и взять женщину».

На раннем этапе взаимной любви человек чувствует в себе способность существовать за счет чистого блаженства, питаться им, как святыми дарами. Позднее этого оказывается недостаточно. Даже если ангел сойдет с небес и начнет заверять его, что Мидж будет любить его вечно, этого недостаточно. Он должен полностью и абсолютно владеть ею. Дверь закрыта, щеколда задвинута. О счастье, о боже…

Гарри вскочил на ноги. Сила и энергия страсти почти подняли его над землей. Он включил телевизор, потом поспешил на кухню, неловко ударился о раковину. Он стоял, глядя на новую кастрюлю, на чайник, ножи, вилки, и улыбался при мысли о том, как это понравится Мидж. Он вспоминал, как делал эти покупки, и пред-

ставлял себе, как она будет выговаривать ему за неправильный выбор. Гарри повернул кран и увеличивал силу струи, пока шумный яростный поток горячей парящей воды не забарабанил по раковине изо всех сил, и вскоре сушилка, окно и его костюм покрылись водяными брызгами. Он сунул руку под горячую воду, почувствовал ее напор и тут же выдернул. Вода оживила болезненный ожог от уголька, полученный во время спора с Эдвардом. Гарри быстро выключил горячую воду, включил холодную, подставил под нее больную руку, а потом завернул ее в полотенце и тут же вздрогнул от ужаса, услышав у себя за спиной голос Томаса Маккаскервиля.

«Черт возьми, — подумал он, — это же телевизор! Даже здесь мне не отделаться от Томаса. Но какой странный случай! Нужно еще об этом подумать — тут возможны любопытные варианты. Двое могут творить магию».

Он вернулся в маленькую гостиную, нянча больную РУКУ-

Томас, крупным планом, с важным видом смотрел в камеру, и яркий свет показывал подробности его внешности, незаметные в обычной жизни. Гарри смотрел на крупное, напоминавшее морду фокстерьера лицо, на котором отражались

энергия, воля и интеллект, холодные светло-голубые глаза, увеличенные толстыми очками, аккуратную челку светлых волос. Подстриженная борода немного напоминала бороду раввина. Гарри подумал, что никогда еще не видел Томаса так ясно. Он выбрасывал слова, словно гранулы высокого нравоучительного шотландского голоса, и на его губах закипали капли слюны.

— И потому мы должны жить со смертью и рассматривать ее как вдохновение и право, последнее драгоценное владение, принадлежащее нам, поскольку ничего другого нет на этой сцене, где все — суета сует. Так называемая жажда смерти не есть нечто негативное, а один из наших чистейших инстинктов. Каждая религия требует от нас умереть для этого мира. Смерть, согласно восточной мудрости, — это образ разрушения эго. То, что мы видим в ней, сводит мир в небытие, а то, что видит мир, есть небытие. Нирвана, прекращение всех эгоистичных желаний, освобождение от мучительного вращающегося колеса иллюзорных страстей, представляется как небытие, прах и пепел, каковыми видится все материальное и плотское в свете вечности, сияющей не во временной «вечности», но в «сегодня» с его справедливостью к каждому мгновению

наших беспутных бессвязных жизней. Смерть — это смерть эго, и в этом смысле она является естественным правом, провозглашенным теми, кто решает умереть в этом мире путем разрушения тела, этого узилища души. Таким образом, разрушение тела есть образ раскрепощения души. А освобождение души есть цель истинной психологии. Смерть — единственная и лучшая имеющаяся у нас картина более полной, более хорошей жизни, к которой мы стремимся, которой мы жаждем в нашей темноте, не понимая этого. Смерть — это центр жизни. Мы должны выучить, что мы уже мертвы, душа должна выучить это теперь, здесь, в настоящем, кроме которого у нас ничего нет; усвоить урок полной свободы. Мы должны услышать голос пленной души, всех пленных душ, заходящихся в крике в наш век совершенных технологий: мы умеем излечивать телесные недуги и посылать по воздуху изображения, но постоянно мучаем наши мысли и желания образами сладкой жизни, полной жизни, dolce vita[55], жизни на манер богов; мы жаждем красоты и юности, свободного секса, власти и обаяния богатства; хотим иметь загорелое

[55] Примечания: 55
Сладкой жизни *(ит.).*

тело, стоять на солнечном пляже в набегающих ласковых волнах. Разве это не есть картина счастья? Так мы ежедневно и ежечасно предаемся заблуждению, впадаем в неудовлетворение и полнимся тщеславными разрушительными желаниями. И именно от этого освобождает нас опыт смерти, подготовка к смерти в жизни, подготовка, которую мы не должны отодвигать на беспомощную старость. Иначе, когда придет наше время, мы не сможем извлечь для себя выгоду. Время смерти — сейчас.

— Да заткнись ты, старый идиот, — сказал Гарри, выключая телевизор.

Томас был аннигилирован, его крупное, ярко освещенное лицо померкло и исчезло, его четкий высокий голос смолк.

— Взял бы и убил себя, старый придурок! Так ведь нет, ты будешь жить, процветать и жиреть на чужом желании умереть.

Гарри постоял немного в середине комнаты рядом с красивым креслом. Он подумал: «Да, как забавно, точно так и есть. Так оно и будет. Именно там мы с Мидж и окажемся — на солнечном берегу, ощущая ногами ласковые набегающие волны, и у нас будут молодые загорелые тела. Мы будем держать в руках стаканы с вином. За спи-

ной у нас будет бар и простой хороший ресторан, где мы будем завтракать, сидя в пятнистой тени под виноградными лозами. А за ресторанчиком — маленький город с множеством площадей и фонтанов. Там есть художественная галерея и небольшой отель с видом на собор. И мы будем там, — думал Гарри, — да, мы будем там, а Томас будет мертв. Он исчезнет из наших мыслей и нашего бытия, словно умер давным-давно».

Потом Гарри подумал, что, возможно, к тому времени Томас умрет в буквальном смысле. Что за чушь он нес! Он действительно походил на сумасшедшего. Фанатик. Может, он и вправду собирается покончить с собой. Он готовит нас к своему уходу.

При мысли об этом Гарри испытал мимолетный укол восхищения. Потом он вспомнил о своем отце. А не совершил ли он самоубийство? Нет-нет. «Мы никогда себя не убивали, — сказал себе Гарри, — мы принадлежим к другой расе. Пусть они уходят с нашей дороги». И он подумал о Мидж и о том, как все будет, как они станут жить вместе в маленьком южном городке.

Эдвард был болен, болен по-настоящему. Он болел уже два дня. Он метался в лихорадке, потел на мятых простынях, его прямые темные волосы

прилипли ко лбу. Все тело ломило, невозможно было найти удобное положение. Он чувствовал слабость и страх, его одолевали галлюцинации, терзало беспокойство. Он думал о том, что его могла вызвать Брауни, а он не имел сил прийти. А вдруг *они* перехватили записку Брауни, ничего ему не сказав? А вдруг Джесс ждал его? А если Джесс умирает?

После эпизода на болоте, когда Джесс появился таким странным образом, а Эдвард говорил с Брауни, Эдвард видел отца еще раз. Могло ли это быть совпадением? И могло ли это быть чем-то иным? Эдвард повсюду видел тайный смысл, знамения, ловушки. На следующее утро он навестил Джесса — умиротворенного, сонного, окунувшегося в некое философское спокойствие, хотя слов ему явно не хватало. Эдвард посидел рядом с его кроватью и почти все время молчал, а Джесс бормотал что-то бессвязное. Он осознавал присутствие сына, но не глядел на него.

— Вы хорошо смотрелись на солнце, ты и эта Брауни… хорошо быть молодым, я тоже был молод, я помню… и Илона танцевала… я слышу это как музыку, как музыку. Не волнуйся, они простили тебя, они все простили тебя. Темнеет… я усну, и мне все это снова приснится… нет, это не

прекратится, оно никогда не прекращается… кругами и кругами… где Илона, они ее посадили на цепь, как собачонку? Кажется, я слышу, как она плачет. Я никого не проклинаю, помни об этом. Но эта сила… сила… танец… это так мучительно.

После этого Эдвард заболел. Днем у него поднялась температура. Вечером матушка Мэй дала ему снотворное. Ему снились жуткие сны, а на следующий день его состояние не улучшилось.

Теперь настал новый день, и у его кровати собрался консилиум.

— Я думаю, это малярия, — предположила Беттина. — Наверное, когда он гулял по болоту, его покусали комары.

— Может, у него ангина, — сказала матушка Мэй.

— А ты термометр не можешь найти? У нас где-то был. Пусть Илона поищет.

— Да я уже обыскалась, — отозвалась Илона. — Всю ванную перевернула, и Затрапезную тоже…

— Это действует та дрянь, которую вы подмешивали мне в еду и питье, — произнес Эдвард, не поднимая головы с подушки. — От нее мне плохо. Вам нужно, чтобы я болел и не мог встречаться с ним…

— Не говори глупостей, — сказала Беттина.

— Это еда для фей, для людей она не годится…

— Это самая здоровая диета в мире, вот и весь сказ! — проговорила матушка Мэй.

— Ты знаешь, что мы тебе не повредим, — сказала Илона, — мы тебя любим.

— Да, Илона, — начал Эдвард, — я хочу тебя спросить кое о чем…

Но он не смог вспомнить, о чем хотел спросить.

Когда он остался один, он вспомнил. На самом ли деле ноги Илоны отрывались от земли во время танца в дромосе? Может быть, он уже тогда страдал каким-то нарушением восприятия? Неужели его систематически опаивали наркотиками, возможно ли такое? И как он станет спрашивать Илону о ее голых ногах, касавшихся стеблей травы, а потом воспарявших над ними? Такой вопрос показался бы безумным, а точнее, дерзким, невежливым. Если Илона умела плавать по воздуху, разве это не было ее личным делом, ее тайной?

Ближе к сумеркам Эдвард поднялся и поплелся в туалет. Облегчившись, он посмотрел в окно через дворик на другую сторону Селдена — на Восточный Селден, где жили женщины. Женская часть. Он увидел горящую лампу в комнате Ило-

ны, и ему в голову пришла мысль сходить к ней. Почему нет? Потому что это невозможно. Как ни вглядывался, он ничего не разглядел в ее комнате — небо было еще слишком светлым, темнеющий синий воздух всему придавал живость, но в то же время и нечеткость, смутность; а может, это все его больные глаза. Эдвард медленно поплелся назад и сел на кровать. Он думал о Брауни. Ему снились кошмарные сны о ней, но он никак не мог их вспомнить. Теперь все зависело от Брауни. Конечно, и от Джесса тоже, но зависимость от Джесса была неопределенной. Брауни стала более актуальной. Может, его болезнь вызвана отсутствием Брауни. Как называется это состояние, когда ты не можешь жить дальше без другого человека? Любовь.

Неужели он влюбился в Брауни? Ах, его томление было таким сильным! Эдвард чувствовал, как внутри у него все переворачивается, словно кто-то пытается вытащить наружу внутренности. Он наклонился вперед, превозмогая боль и держась за живот, затаил дыхание и подумал: «Я не могу ждать, пока она меня позовет. Вдруг она вообще не позовет? Я пойду к ней завтра, я буду ее искать, пока не найду. А может быть, и сегодня».

Эдвард встал и принялся медленно натягивать

на себя одежду. Он мог стоять и даже думать. Он медленно подошел к окну, посмотрел на дорожку перед домом, на деревья у подъезда, на белые кремневые камни около него и подумал: «Господи, как давно я здесь!» В живом вечернем свете высокие тисы обрели монументальность, ясени уже покрылись пушком, молодые дубовые листочки отливали зеленовато-желтым, и все они замерли в тихом вечернем безветрии. Эдвард отметил эти подробности, словно это важно, словно потом его будут допрашивать об этом. Он облокотился о подоконник и прислонился к стеклу, чтобы охладить лоб. И тут он увидел нечто удивительное.

Перед домом тихо появился высокий человек. Он возник в безлюдном пространстве, ожидавшем его; остановился, словно утверждал свою власть над этим местом. Он вышел откуда-то из-за деревьев и остановился на краю лужайки. Несколько мгновений Эдвард лихорадочно перебирал свои последние фантазии и решил: это Джесс. Конечно, это Джесс, спустившийся вечером в свои владения, как и представлял себе Эдвард поначалу, пока Джесс отсутствовал столь таинственно и бесконечно долго. Высокая фигура, король, вернувшийся в свое королевство без

объявления, конфиденциально. Но потом Эдвард подумал: «Джесс здесь, и это никак не может быть он. Это кто-то другой и, боже мой, мне неизвестный… Нет, не может быть, это же Стюарт!»

Эдвард стрелой выскочил из комнаты, пронесся по каменным ступеням, едва касаясь их, добежал до двери Западного Селдена и, немного повозившись, открыл ее — после его появления в доме дверь обычно не запирали. Моргая, он вышел наружу, в теплый бескрайний вечер, неожиданно светлый, и поковылял дальше по неровным камням дорожки.

Человек выступил вперед. Яркий темный свет озарил внушительную фигуру Стюарта, его большое бледное лицо и янтарные глаза, его голову с коротко подстриженными светлыми волосами. В одной руке он держал шапку, а в другой — маленький чемодан, который теперь поставил на землю.

— Эдвард, старина, ты здоров?

— Ну да, конечно, черт побери, — ответил Эдвард. — А с чего это мне болеть? Ты какого дьявола здесь оказался?

— Похоже, ты все же болен. Может, тебе лучше присесть? Давай войдем и… Какое странное место. Мы-то все гадали, куда ты пропал.

— Идем, — сказал Эдвард.

Он был в ужасе от необъяснимого появления брата, и первым его позывом было спрятать незваного гостя, а потом — избавиться от него.

Эдвард нетвердыми шагами опять двинулся по камням. Несколько мгновений он сопротивлялся, а потом уступил сильной руке Стюарта, поддержавшей его. Через открытую дверь они вошли в Селден, в полутьме кое-как поднялись по лестнице в комнату Эдварда. Эдвард зажег лампу и неловким движением задернул шторы, потом сел на кровать, подавляя почти непреодолимое желание лечь. Стюарт остался стоять.

— Но каким образом, — произнес Эдвард, стараясь удержать голову, которая страшно заболела, — каким образом ты узнал? Зачем ты приехал?

— Она мне написала…

— Кто тебе написал?

— Миссис Бэлтрам. Она написала, что ты здесь, что ты не в себе, болен и что… я нужен тебе. И я, конечно же, сразу приехал.

— Ты кому-нибудь говорил?

— Нет. Отец уехал, а…

— Миссис Бэлтрам… — Эдвард не сразу сообразил, кто это. — Ах да, матушка Мэй. Но она не

должна писать тебе, она не могла… и ты мне не нужен… ты последний человек, который мне нужен…

— Вот ее письмо.

Стюарт протянул Эдварду листок, наклоняя его к свету.

Уважаемый мистер Кьюно!

Мой пасынок Эдвард, ваш брат, находится у нас. Он в расстроенных чувствах, ему нехорошо, и ваше присутствие пошло бы ему на пользу, если у вас найдется время посетить нас здесь, где вы будете приняты как желанный гость.

Искренне ваша

Мэй Бэлтрам.

— Я бы позвонил, — сказал Стюарт, — да в телефонной книге нет номера. Слушай, может, тебе лучше лечь? У тебя что, грипп?

— Да. Но… — Эдвард посмотрел на дату письма. — Я не был болен, когда она его написала… а это доказывает, что… или уже был? Господи Иисусе, не могу вспомнить…

— Я подумал, я решил, что ты звал меня…

— Нет! На кой черт ты мне сдался! Здесь и так все катится в тартарары, а тут еще и ты!

— Извини, — проговорил Стюарт. Он сел на стул

с плетеным сиденьем и оглядел комнату, сводчатый потолок, кровать под балдахином, картину Джесса, изображающую девушку в реке. — Милая комнатка. Мне нравится потолок. Ну, поскольку я уже здесь, не лучше ли мне взяться за дело и помочь? Я умею, ты же знаешь. Думаю, у меня получится.

— Ничего у тебя не получится, — ответил Эдвард. — Ты — последняя соломинка. Пожалуйста, уходи отсюда, уезжай домой. Сейчас.

— Сейчас нет автобусов. Я посмотрел расписание — они не ходят после…

— Остановишь какую-нибудь машину, тебя подвезут.

— Эдвард, ляг, пожалуйста. Ты болен. Я не могу уехать и оставить тебя. Может, мне пойти и представиться миссис Бэлтрам? Кажется, не очень вежливо сидеть здесь и болтать с тобой, не поздоровавшись с хозяйкой.

— «Не очень вежливо», «болтать». Боже мой!

В этот момент дверь открылась, и снаружи хлынул свет. Вошла Беттина с лампой в руке. Помимо этого, она зажгла лампу в нише на лестнице, и теперь та светила за ее спиной, просвечивала сквозь юбку. На Беттине было вечернее лилово-белое платье и множество ожерелий, сверкавших

и тихо звеневших. Темно-рыжие волосы она заплела в одну большую косу, лежавшую спереди на плече. Волосы были убраны назад, обнажая ее резкую орлиную красоту. Она вошла в комнату, одной рукой сделала приглашающий жест Стюарту, который тут же встал; Беттина сделала реверанс.

— Миссис Бэлтрам?

— Нет, я Беттина.

— А я Стюарт.

— Да, мы знаем. Добро пожаловать в Сигард.

— Она — одна из сестер, моих сестер… — грубовато сказал Эдвард.

— Давай я покажу тебе твою комнату? А ужин ждет нас внизу.

— Его комнату? Где? — спросил Эдвард.

Все это напоминало отвратительный издевательский фарс.

Стюарт взял свой чемодан и последовал за Беттиной. Эдвард пошел следом и увидел, что Беттина открыла дверь большой угловой спальни. Из бокового окна был виден склон холма и лес, темный на темнеющем рыжеватом небе. Беттина поставила лампу, закрыла ставни на обоих окнах и задернула шторы, а потом зажгла лампу, стоявшую на столе.

— Мы пользуемся этими лампами. Выключить ее можно, повернув вот это колесико вправо. Электричество мы бережем для более важных вещей — для морозилки, например, и накачивания воды. Вот ванная, вот горячая вода. В ящике есть электрический фонарик. Я потом приду и выключу обогреватель. Ужин через полчаса, если тебя устраивает.

— Спасибо, — сказал Стюарт, — огромное спасибо.

— Я приду за тобой, — пообещала Беттина. — Эдвард, ты что делаешь? Ты должен лежать в кровати.

— Я тоже спущусь, — сказал Эдвард. — Покажу ему дорогу.

Мысль о том, что Стюарт будет сидеть внизу с женщинами, что они будут сидеть вчетвером, есть, пить и говорить об Эдварде, была абсолютно невыносима. Появление Стюарта не только оскорбительно — оно нарушало законы природы. Это непростительное вторжение на чужую территорию вызывало у Эдварда желание встать и завыть, как животное. От ревности, злости и потрясения ему стало нехорошо. Стюарта ждали. Может быть, они видели в окно, как он приближается, и поспешили включить обогреватель.

Или его целый день не выключали.

Он бросился к себе комнату, а Стюарт остался разглядывать картину Джесса, изображавшую сидящих молча людей, парализованных катастрофой. Эдвард автоматически снял куртку и натянул длинную рубаху цвета овсянки, которую надевал к обеду.

За открытой дверью не было слышно почти никаких звуков, и вдруг в комнате появилась Илона. Она тоже заплела волосы — на школьный манер, в две косы с лентой.

— А, Илона… Приехал Стюарт.

— Я знаю. Я пришла дать тебе… сказать…

Илона внезапно обняла его. Потом он почувствовал что-то холодное на коже. Она повесила ему на шею цепочку.

— Я сделала это для тебя.

Эдвард ухватил ее за складки платья.

— Спасибо… но…

— Пусть это будет на тебе сегодня вечером. Ради меня. Я пришла сказать тебе…

— Что?

— Пусть тебя ничто не пугает. Запомни: я твоя сестра, и я тебя люблю.

— Мне так нехорошо, — пожаловался Эдвард.

Но она уже ушла.

— Эдвард нам сказал, как вам понравилось это место, — сказала матушка Мэй. — Позвольте угостить вас нашей особой пищей. Мы, видите ли, вегетарианцы. У нас тщательно сбалансированная диета, лучшая диета в мире, мы часто докучаем этим Эдварду, правда, Эдвард? Мы всегда так едим — как на пикнике. Для простоты. Позвольте?

— Да, пожалуйста.

Матушка Мэй тоже заплела волосы в косу и уложила ее на затылке. В свете лампы ее лицо было видно в туманных подробностях: доброжелательное и внимательное, мягкий взгляд, уверенная линия рта, выражение дружелюбное, спокойное и внимательное. Эдвард еще не видел ее такой довольной и светящейся. Ее стройную моложавую шею охватывала нить голубых бус, которых он не видел прежде.

Стюарт оглядывал высокий потолок с деревянными стропилами, неровные каменные стены, гобелен. Эдвард собирался отвести взгляд, чтобы не встретиться глазами с братом, но тот неожиданно посмотрел прямо на него. Знаком, понятным одному Эдварду, Стюарт давал понять, что все это забавно. «Боже мой!» — подумал Эдвард. Он почти застонал от отвращения, но успел

перевести это в покашливание.

— Замечательно, что вы оба здесь, — сказала матушка Мэй, одаривая их обоих любящим взглядом.

Она чуть не рассмеялась от радости. Ее довольный вид казался простым и трогательным.

— Хотите вина? Мы сами его делаем.

— Мы все делаем сами, — добавила Илона.

— Обычно мы не пьем, — сказал Эдвард. — Но сегодня особый день.

Он внезапно остро почувствовал, что на нем длинная нелепая одежда и цепочка Илоны на шее, хотя и понимал, что Стюарт никогда не позволит себе насмешек на этот счет. Может, брат просто пытался приободрить его. Но и это Эдварду не понравилось.

— Нет, я не хочу вина, спасибо, — сказал Стюарт.

— Фруктовый сок? Илона, передай кувшин. Это смесь, Эдвард ее любит. Яблоки с бузиной.

— За приезд Стюарта! — провозгласила Беттина, поднимая стакан.

— А где мистер Бэлтрам? — спросил Стюарт. — Я имею в виду не Эдварда, хотя он тоже мистер Бэлтрам. Я говорю… об отце Эдварда…

— Его здесь сейчас нет, — ответила матушка

Мэй.

— Сегодня тут только мы, — сказала Беттина.

— Вы очень добры, — отозвался Стюарт. — Но… Эдвард… тебе и правда лучше? Может, стоит…

— Да, мне лучше… спасибо, что приехал, но оставаться здесь тебе не нужно.

— Нет-нет, вы должны остаться, — возразила матушка Мэй. — Вы нужны нам! Теперь вы оба здесь!

Голос ее звучал весело.

— Вы оба никогда не уедете, — проговорила Илона.

— Нам нужен нравственный самурай, — со смехом сказала Беттина.

— Я знаю, что вы — идеалист, — сказала матушка Мэй. — Но если серьезно, вы можете нам помочь…

Откуда-то из глубин дома со стороны Перехода раздался странный звук. Он постепенно усиливался, словно одновременно дергали струны и бренчали на множестве музыкальных инструментов. Звук нарастал, будто настраивался оркестр. А потом резко оборвался, и наступила тишина.

— Это для него, — произнесла Беттина, посмотрев на Стюарта сияющим взором.

— Духи приветствуют тебя! — воскликнула Илона и захихикала, прикрывая рот руками.

— Звук арфы, — сказала матушка Мэй. — Не знаю, что это может означать.

Стюарт сидел совершенно неподвижно и едва дышал, погруженный в себя.

Матушка Мэй задержала на нем взгляд, потом посмотрела на Эдварда. Эдвард увидел, что ее глаза спрашивают что-то у него, рассмотрел в них какую-то одобрительную искорку, но отверг этот вопрос и отвернулся. Потом она тихо (низким легким шепотом, каким хороший актер обращается к галерке; кажется, его не слышит никто, кроме того, к кому он обращен) сказала:

— Эдвард, мой дорогой, ты себя неважно чувствуешь. Не лучше ли тебе вернуться в кровать?

— Хорошо, — громко ответил Эдвард и резко поднялся, отодвинув назад стул, заскрежетавший по плиткам.

Почти сразу же встал и Стюарт.

— Я, пожалуй, тоже лягу, если вы не против. Я привык рано ложиться.

«Он старается ублажить меня», — подумал Эдвард, уже успевший пройти полпути до двери. Однако у двери в Переход он затормозил и прислушался. Матушка Мэй остановила Стюарта

— она спрашивала, когда тот обычно встает, поддразнивала его. Потом Беттина принялась говорить о завтраке. Потом они все рассмеялись.

Эдвард пошел медленнее. Ноги его подгибались, во рту он чувствовал горечь. В Переходе было темно, но он теперь знал его наизусть. Лампа в нише у каменных ступенек Селдена испускала тусклый свет. Потом у него за спиной возник новый свет, послышались шаги. Это была Илона. Она принесла лампу и поставила на одну из полок в коридоре. Лампа, чтобы осветить путь Стюарту. Эдвард ускорил шаг, почти перешел на бег.

— Эдвард… постой… не сердись.

— Я и не сержусь. Я тебе уже сказал. Я просто болен.

— Не болей. Ты помнишь, что я тебе сказала?

— Да, Илона.

— Ты мой единственный.

— Как это… ужасно… — сказал Эдвард.

Он сделал еще несколько шагов по каменным ступенькам, остановился на повороте и посмотрел вниз на сестру с ее дурацкими косичками, ленточками, пухлыми щечками и маленьким востроносым птичьим личиком. Ему показалось, что она готова заплакать.

— Ну ладно, ладно, — сказал он и побежал наверх в свою комнату.

Он зажег лампу, закрыл ставни и в безумной спешке начал раздеваться. Стащил с себя длиннополую рубаху и обнаружил, что цепочка Илоны все еще болтается у него на шее, сорвал ее — она была до странности теплой, даже горячей. Ему удалось кое-как напялить пижаму. Цель его состояла в том, чтобы успеть прикинуться спящим, когда войдет Стюарт. Эдвард залез в кровать и замер, потом принялся массировать ноющие ноги, ощущая, как пот покрывает все тело, скатывается по груди.

«Может быть, с ее стороны это все же проявление доброты, — думал он. — Может, она и в самом деле хочет помочь. Она любит меня, они все меня любят, они мне так нужны, а я вел себя отвратительно». Какие, черт побери, изощренные, хитроумные мысли рождаются в голове матушки Мэй — матери, жены, мачехи — и как разобраться в мыслях такой женщины? «Возможно, все ради Беттины, — подумал он. — Наверное, именно это и имела в виду Илона. Она хотела сказать мне, что не собирается влюбляться в Стюарта. Но Стюарт мог бы жениться на любой из них, а у меня такой возможности нет». Потом он решил:

нет, это чистое безумие. Затем перед ним возник образ Брауни, словно Эдвард долго вслепую продвигался к нему сквозь многолюдную фантасмагорию и наконец нашел. Эдвард воззвал к ней: «Помоги мне, Брауни, помоги мне!» Потом он вспомнил, что забыл выключить лампу. Когда он поднимался с кровати, в комнату вошел Стюарт.

— Эд, ты болен. Как ты себя чувствуешь? У тебя температура?

— Да нет, с какой стати?

Стюарт сел на кровать. Эдвард, уже успевший забраться под одеяло, отодвинул ноги к другому краю. Он натянул простыню до самой шеи и над нею уставился на Стюарта.

— Странно тут как-то все, — сказал Стюарт. — Что ты об этом думаешь?

— Ничего, — ответил Эдвард. — Думать об этом невозможно. Просто оно такое, и все.

— Что это был за странный шум?

— Да что-то там у них на кухне свалилось.

— Ясно. Они шутили. Какие-то нелепые шутки. Когда появится твой отец?

— Мой… ах, Джесс… он здесь. Он тоже болен. Он в другой части дома.

— Понятно. Это был такой facon de parler[56].

— Да, — кивнул Эдвард и повторил смешную фразу: — Facon de parler.

— Я бы хотел с ним познакомиться. Какой он?

— Довольно приятный, — сказал Эдвард, исчезая под простыней.

Он видел добрые коровьи глаза Стюарта, с тревогой смотревшие на него.

— Эд, ты знаешь, я тебя люблю и попытаюсь тебе помочь. Но если ты возражаешь, я завтра уеду. Все это… ради тебя…

— Отлично, — ответил Эдвард, — правда, я думал, ты любишь всех подряд.

— Не говори гадостей. Не надо меня дразнить.

— Дразнить тебя! Ты лампу сможешь выключить?

— Нужно повернуть колесико.

— Да. Выключи, пожалуйста, а потом и сам уходи.

— Хорошо. Но помни… — Рука Стюарта принялась шарить по простыне, пытаясь нащупать ногу Эдварда, но тот поджал ее под себя. — Доброй ночи.

Благодатная темнота опустилась на него. Стю-

---

[56] Примечания: 56
Оборот речи *(фр.)*.

арт тихо вышел из комнаты. Эдвард снова улегся в свою пропотевшую постель, начал ворочаться и крутиться; он чувствовал, что это может продолжаться всю ночь. Он подумал о людях, которых мучают в клетках, где они не могут ни сидеть, ни стоять. Ему не хватало снотворного, выданного вчера матушкой Мэй. Сегодня про это забыли.

Присутствие Стюарта делало Сигард невыносимым, оно уничтожало все. Теперь Стюарт станет долгожданным мальчиком, его будут любить женщины, он будет сидеть и разговаривать с Джессом. Возможно, его разговоры с Джессом окажутся более глубокими, чем разговоры Эдварда. Стюарт поймет, внутренним чутьем постигнет мысли Джесса, он приручит его, очарует, будет улыбаться ему своей доброй естественной мальчишеской улыбкой. Не поэтому ли матушка Мэй в мудрости своей вызвала его? Эдвард потерпел неудачу, а Стюарт добьется успеха. Сегодня вечером два человека сказали Эдварду, что любят его, а он ничего не мог поделать ни с одной, ни с другой любовью. Это были бесполезные игрушки.

«Завтра, — решил он, — я уйду отсюда. Я пойду к Брауни».

В конце концов он уснул, и ему приснился Марк. Марк сидел на кровати, держал его за руку

и улыбался.

— Извините, — сказал Гарри, — я смотрю, вы почти закончили. Не возражаете, если мы пока присядем за ваш столик?

Он с Мидж зашли в дорогой, хваленый, тщательно выбранный ресторан в небольшом городке — Гарри заказал там столик. Но они припозднились, столик оказался занят, Мидж устала и хотела сесть, а метрдотель был не очень расторопен.

Человек, к которому обратился Гарри, с любопытством посмотрел на него. На нем был коричневый костюм из легкого твида с рисунком в елочку, жилет с карманом для часов, где явно лежали часы, и галстук, похожий на галстук уэльской гвардии[57]. Его вежливый голос прозвучал совсем не так вежливо, как того ожидал Гарри.

— Дело в том, что… вообще-то… я вовсе не «почти закончил», — задумчиво сказал он.

Гарри спиной чувствовал Мидж, стоявшую у дверей переполненного зала; она постукивала ногой об пол, и на нее глазели люди, сидевшие за соседними столиками. Она обернула шарф

---

[57] Примечания: 57

Имеется в виду галстук уэльских гвардейцев в красно-синюю наклонную полоску.

вокруг головы, чтобы как-то спрятать некогда знаменитое лицо, но преуспела лишь в том, что стала выглядеть подозрительно.

— И тем не менее не позволите ли нам присесть? Тут нет ни одного свободного столика, а моя жена очень устала. Понимаете, мы заказывали столик, но опоздали, а этот чертов ресторан не стал держать наш заказ.

Слово «жена» далось ему очень легко. Гарри и Мидж уже провели вместе два дня и две ночи их долгожданного и воистину замечательного уикэнда, а теперь возвращались в Лондон. Поначалу Гарри разделял тревогу Мидж, которая боялась встретить кого-нибудь знакомого. Теперь ему было на это наплевать. Он выигрывал большую игру. Слово «чертов» означало инстинктивный призыв к тому, с кем он разговаривал.

Человек, перед которым стояла тарелка с кусочками сыра и почти пустая чашка кофе, посмотрел на Гарри с видом отстраненного и недоброжелательного любопытства. Он никуда не спешил.

— Мне не очень понятно, с какой стати вы должны садиться за мой столик. Если человек обедает в одиночестве, то он хочет — по крайней мере, я этого хочу — обедать в одиночестве.

«Эксцентричный интеллектуал, черт бы его

подрал», — подумал Гарри.

— Я вас очень хорошо понимаю, — сказал он, — и в обычной ситуации я бы не стал просить о таком одолжении, но, поскольку нас подвели, а метрдотель не собирается нам помогать, я решил, что должен сам позаботиться об этом. В одиночестве здесь сидите только вы, и поскольку вы закончили…

— Но я не закончил.

— Почти закончили, то я решил, вы не будете возражать, если мы присядем и посмотрим меню.

— Вы могли бы пойти в бар, — ответил человек.

— В баре не протолкнуться. — В голосе Гарри послышалось раздражение. — Сесть там негде, и моя жена не любит бары.

— Извините, если это покажется невежливым, — сказал человек, — но я не понимаю, почему должен соглашаться на ваше предложение. Я ценю мой столик и мое одиночество. И не понимаю, какое значение имеет то, что только я в этом ресторане ем в одиночестве.

— При том, что нас двое, а вы один.

— Аргумент, основанный исключительно на числах, ничуть не лучше аргумента, основанного

на силе.

— Мы вам не помешаем.

— Вы уже это делаете.

— За столиком достаточно места.

— В физическом смысле — может быть, — ответил человек. — Но психологически тут нет ни единого лишнего сантиметра. Это дорогой ресторан. Мы платим за его маленькие удобства, например за возможность в одиночестве и тишине доесть свой обед.

Люди за соседними столиками, только что глазевшие на Мидж, перенесли свое внимание на Гарри. На лицах появились улыбки. Разговоры стихли.

Метрдотель тоже обратил внимание на этот инцидент. Он подошел и обратился к человеку за столиком безлично-пренебрежительным голосом:

— Вы закончили, сэр?

Метрдотель вовсе не был на стороне Гарри, его презрение к клиентам было объективным.

— Нет, не закончил, — ответил человек. — Я, пожалуй, выпью еще ликера. Принесите, пожалуйста, карту вин.

Гарри повернулся и направился к двери. Мидж к этому времени уже вышла из зала и теперь

ждала в баре. Увидев Гарри, она повернулась и устремилась к выходу из отеля, а оттуда — к парковке. Гарри догнал ее у машины. Она плакала. Он открыл дверь машины, и Мидж села.

— Ну почему это должно было случиться?!

Гарри вырулил с парковки и поехал наобум по дороге.

— Ты же просила меня сделать что-нибудь!

— Все на нас смотрели.

— Не плачь, Мидж.

— Мои нервы на пределе.

— Это потому, что мы возвращаемся домой, в Лондон.

— Все вели себя по-свински, все глазели на нас.

— Мы найдем другой ресторан, тут должно быть что-нибудь сносное.

— Нет, я не хочу в ресторан. И уже поздно, нас нигде не примут.

— Мы могли бы поесть сэндвичи в пабе.

— Ты же знаешь, я ненавижу пабы. Я больше не хочу, чтобы на меня глазели. Я чувствую, что все против нас.

— Может быть, — ответил Гарри, — но мы все равно победим. Чего бы ты хотела? Мы должны поесть.

— Давай устроим пикник, я уже предлагала

тебе раньше, но ты был против. Я не слишком хочу есть.

— А я хочу, — сказал Гарри. — Голоден как волк. Столько часов за рулем.

— Ну тогда купи что-нибудь, что сам выберешь. И бутылку вина.

— Две бутылки. Хорошо.

Гарри ненавидел пикники.

— И нам нет нужды торопиться, — сказала Мидж, чьи глаза уже высохли. — Мой дорогой, мне очень жаль…

— Мне тоже. Но этот эпизод ничего не испортил, правда?

— Конечно нет!

— Мы были так счастливы. Мы будем счастливы.

— Мы и сейчас счастливы.

— А это самое главное, правда?

— Я уже пришла в себя. Смотри, вон там большой продовольственный магазин — ты купишь что-нибудь, а я подожду в машине.

Гарри отправился в магазин. Он чувствовал, что теперь должен уступить. Ресторан предложил он. Но их погубила, став причиной опоздания, другая его идея — показать Мидж школу, в которой он учился. Спартанская частная школа Гарри,

где учился также и Казимир, располагалась в уединенном и очень красивом месте на окраине маленького городка; она стояла особняком за изысканной формы каменными стенами, среди больших шелковистых холмов с пасущимися овцами и узкими петляющими дорогами. Светило солнце. Поездка была замечательной, но они заблудились. Мидж совсем не умела читать карты. Когда они наконец добрались до школы, Гарри захотел зайти внутрь и показать Мидж свою спальню и свой класс, спортивный зал, игровые площадки, помнившие его победы. В школе было время каникул. Здания практически опустели, на кроватях кое-где лежали чемоданы, некоторые родители со своими чадами бродили по саду. Гарри провел ошеломленную Мидж по этим комнатам и коридорам, насыщенным — мрачно, густо, плотно — нечистыми подростковыми желаниями; он постоянно возвращался сюда в снах. Утомленный воспоминаниями, он слишком долго продержал там Мидж и, возможно, наскучил ей, а в конечном счете они опоздали на ланч. Теперь он чувствовал свою вину и был готов согласиться на пикник — она уже предлагала его несколько раз, а Гарри неизменно ловко уклонялся.

Он вернулся в машину с пакетом провизии и двумя бутылками вина.

— А штопор у нас есть? — спросила Мидж, в отсутствие Гарри изучавшая карту.

Штопора у них не было. Не было у них и консервного ножа, вилок, обычных ножей, ложек, пластиковых чашек и тарелок, даже бумажных салфеток. Гарри совершил еще один круг по городу в поисках всех этих вещей, смертельно проголодался и был на взводе.

— Гарри… — проговорила Мидж, когда они выезжали из города.

По ее тону он понял, что она собирается просить об одолжении, и попытался скрыть свою злость.

— Да, моя дорогая, моя любимая?

— Ты знаешь, я тут разглядывала карту, и, оказывается, дорога проходит совсем рядом с Сигардом.

— С чем? А, с тем местом, где жил Джесс.

— Живет. Неужели ты забыл это название?

— Нет, просто давно вытравил его из сознания.

— Ты не против, если мы…

— Против!

— Я не говорю о визите к ним. Я хотела бы лишь проехать мимо и посмотреть на башню. Тут всюду равнина, и ее будет видно за несколько миль.

Я бы хотела еще раз увидеть эту местность.

— Нет, Мидж.

— Почему? Твои места мы посещали, провели там несколько часов. Почему мы не можем проехать по этой местности? Нам вовсе не обязательно приближаться к дому, да я этого и не хочу. Но я хочу посмотреть округу.

— Зачем?

— Просто хочу, и все! Ты сегодня утром сказал, что любовники делятся друг с другом своим прошлым. Так вот, я хочу дать тебе кусочек моего прошлого.

— Ты никак не можешь забыть, как Джесс посмотрел на тебя и спросил: «Кто эта девочка?»

— Не говори глупостей. Ну хорошо, не могу. Господи, да ты ревнуешь!

— Конечно ревную. Это смешно, но я могу умереть от ревности. Однако я не собираюсь это делать. Ты понимаешь, как я страдаю каждый день, каждое мгновение оттого, что ты остаешься с Томасом? А теперь ты возвращаешься к нему, к своему мужу. Мидж, мы должны решить. Слушай, у меня есть квартира для нас.

— Квартира?

— Да, там нам никто не может помешать, там нет никакого Томаса, там я могу готовить для

тебя. Мы проведем там сегодняшнюю ночь. Томас вернется только завтра. Мередит все еще в Уэльсе.

— Я обещала ему позвонить.

— Ты можешь позвонить ему оттуда.

— Гарри… очень прошу, будь осторожнее.

— Не буду я осторожнее, я сыт по горло осторожностью. Боже мой, как глупо — я умоляю тебя приезжать в эту маленькую квартирку в промежутках твоей жизни с Томасом. Мидж, мы бесконечно любим друг друга. Да или нет?

— Тогда наберись мужества, мой ангел, моя дорогая. Оно так близко теперь, наше счастье: всего один шаг, и мы счастливы навсегда. Мы должны перестать притворяться. Скандал как раз в том, что мы пока несчастливы. Ты говоришь, что ненавидишь лгать, что тебе досаждает, когда люди на тебя глазеют, когда я называю тебя женой. Хорошо, давай прекратим это, очистим все и очистимся сами. Пожалуйста, дорогая, любимая! Если скажешь — я остановлю машину и упаду на колени. Мидж, ты знаешь, это должно произойти. Прекрати откладывать решение — ты же знаешь, это все равно случится.

Он остановил машину. Во внезапной тишине солнце нагревало поле влажной мягкой зеленой

травы, бока сонных черно-белых коров и синий дорожный знак. За деревьями виднелась церковная башня. Издалека доносился собачий лай.

— Да, — сказала Мидж.

— Ну так не будь такой мрачной и холодной!

— Тебе легко говорить, а мне приходится резать по живому.

— По какому живому? Томас не будет сильно возражать, ты сама прекрасно знаешь. А Мередит наш.

— Да. Я люблю тебя. И это должно случиться.

— Значит, решено.

Гарри завел машину. Он не хотел сейчас еще сильнее нажимать на нее. Он осторожно, на ощупь искал путь в лабиринте ее эмоций, ее мучительной потаенной боли. Он подумал: «Сегодняшнюю ночь она проведет со мной в новой квартире». А вслух сказал:

— Сердечко мое, мы поедем, куда ты пожелаешь. Покажи мне карту. Где это место?

Мидж показала:

— Я думаю, где-то здесь.

— Это миль тридцать от шоссе. Я бы не сказал, что это близко.

— А я бы сказала.

— Будь здесь прямая дорога… Ты только посмот-

ри, как петляют эти проселки. Ну да бог с ним, мы поедем и посмотрим издалека.

— Мне просто хочется снова увидеть эту равнину — она очень необычная и особенная.

— Занятно, ты сегодня похожа на Хлою. Наверное, дело в здешнем воздухе!

— Там мы бы могли и поесть на воздухе.

— Ну, мы проголодаемся задолго до этого!

Правда, Гарри уже не хотел есть. Он ехал и улыбался.

Он насытился словами, когда Мидж согласилась с ним.

В этот самый момент Эдвард Бэлтрам стал свидетелем чуда. (Второго за день.) Он держал в руках письмо, только что переданное одним из лесовиков — тем самым, которого он уже видел. Утро Эдвард провел в кровати, с удовольствием отдавшись болезни. Для посетителей, приходивших по отдельности: Стюарт, матушка Мэй, Беттина, Илона, — он изображал тяжелобольного. На обед он не спускался. Матушка Мэй принесла ему вкусный суп без названия. Потом он потихоньку встал, оделся и разобрал вещи, отделил свою одежду от того, что ему дали здесь. Эдвард не знал, что делать с цепочкой Илоны, и положил ее в носок. Посмотрел на свой чемодан,

казавшийся теперь чужим и старым, но не стал складывать туда вещи. Сел на кровать. Он лишь тешил себя мыслью покинуть Сигард, потому что не мог оставить Джесса. Ему снова пришло в голову похитить Джесса и отвезти его в Лондон, но он понятия не имел, как это осуществить.

Эдвард спустился в Атриум. Рядом с растениями в горшках стояла семейная группа — Стюарт, матушка Мэй, Беттина и Илона. Все смотрели на гобелен, а Беттина объясняла Стюарту его сюжет:

— Рыба символизирует дух, убегающий из своей родной стихии…

«Какая чушь», — подумал Эдвард.

Они замерли, увидев его.

— Как ты себя чувствуешь, старина? — спросил Стюарт.

— Немного получше. Я, пожалуй, посижу почитаю в Затрапезной.

Он подумал, что эти четверо смотрят на него многозначительными взглядами. Впрочем, трое — все, кроме Беттины. Расшифровать ее взгляд было невозможно. До появления Эдварда они явно беседовали о нем.

Стюарт и матушка Мэй одновременно заговорили.

— Извините…

— Нет-нет, сначала вы!

— Джессу сегодня тоже не по себе, — сообщила матушка Мэй. — Мы решили, что лучше тебе его пока не видеть. Не хватало ему от тебя заразиться.

— Может, у него та же болезнь, — заметила Илона.

— Впрочем, сейчас он никого не принимает, — сказала матушка Мэй и добавила: — Уже некоторое время не принимает. Мы считаем, так для него лучше.

— Гораздо лучше, я не сомневаюсь, — произнес Стюарт, глядя на Эдварда.

«Кретин тупоголовый», — подумал Эдвард.

Но он был рад узнать, что Стюарт не видел Джесса. Эдвард направился в Затрапезную. Пока он не захлопнул за собой дверь, все молча смотрели на него. Потом он услышал голос Беттины.

Он для отвода глаз сказал им, что собирается почитать, а на самом деле намеревался выскользнуть через заднюю дверь и прогуляться в одиночестве. Тем не менее он остановился, оглядел запущенную комнату, так неуклюже наполненную прошлым. Это прошлое казалось еще более далеким и чуждым, потому что было

довольно недавним — молодость Джесса и его расцвет. «Я здесь...» Эдвард автоматически подергал ручку двери, ведущей в башню, — та была заперта, а утруждаться поисками ключа (которого наверняка не было на его прежнем месте) он не стал. Он подошел к камину и посмотрел на свою фотографию в обличье Джесса. Ему захотелось плакать. Потом принялся без особого внимания рассматривать книги в шкафу — прежде он этого не делал. Ему пришло в голову, что со дня его прибытия в Сигард он не открыл ни одной книги и даже мыслей о чтении у него не возникало. Пробегая взглядом по корешкам, он вдруг увидел имя Пруста. Перед ним стоял том «A la recherche»[58] на французском. Он вытащил его, открыл и на титуле увидел подпись Джесса — этакую лихую закорючку. Его почему-то удивило, что Джесс знает французский. Сердце его забилось по-другому, иначе, когда он наугад открыл книгу.

«S'il pleuvait, bien que le mauvais temps n'effrayat pas Albertine, qu'on voyait parfois dans son caoutchouc, filer en bicyclette sous les averses, nous passions la journde dans le casino ou il m'eut paru

[58] Примечания: 58
«В поисках утраченного времени».

ces joursla impossible de ne pas aller»[59].

Это предложение так потрясло Эдварда, что ноги его чуть не подкосились. Это была совершенно заурядная фраза из повествования, описывающего привычную жизнь в Бальбеке, ничуть не драматичная и не исполненная скрытого смысла, — обычная… но Эдвард словно читал весомые строки Священного Писания или кульминационную часть великой поэмы. Эти существительные bicyclette, averses, caoutchouc, эти глаголы, эти грамматические времена, это nous, это impossible, Альбертина filant под дождем… Эдварда переполняли чувства, и он сел в одно из длинных низких кресел, обитых скользкой кожей. Французское предложение пришло к нему с необыкновенной свежестью, как дыхание чистого воздуха к заключенному, как внезапно раздавшийся звук музыкального инструмента. Весть о других местах, о другом мире… о свободе. Читая, он ощущал нечто вроде живительных угрызений совести и обретал ка-кую-то новую силу. И он жил там. Он был там.

---

[59] Примечания: 59

«Не боявшаяся ненастья Альбертина нередко под ливнем катила в непромокаемом плаще на велосипеде, и все же обычно, если шел дождь, мы проводили весь день в казино, куда я считал невозможным не пойти в такую погоду» *(фр.). (Пруст М.* Под сенью девушек в цвету.)

Эдвард вдруг вспомнил, как кто-то говорил об Уилли Брайтуолтоне, будто тот верит в спасение через Пруста; и на миг старая убогая фигура Уилли предстала перед ним в тусклом свете, как посланник и символ чего-то лучшего. Лучшего, чем что? Он смог подняться, смог пересилить себя и выйти. Всегда можно найти *другое* место, и доказательство этому — то самое место, где он теперь находился; а неожиданное чувство, от которого мгновение назад он чуть не упал в обморок, было светлой радостью.

Эдвард медленно поднялся. У него больше не было желания читать книгу, и он поставил ее в шкаф. Все это принадлежало будущему. Как и собирался, он пошел к двери, а потом двинулся вдоль тыльной стороны дома. После дождей солнце сияло над болотом, и поднимался парок. Небо вдали было ясным. Взобравшись повыше, он сумеет увидеть море. Эдвард вдруг подумал, что море он увидел только раз после своего прибытия — во время второго визита к Джессу; он тогда разглядел лодку с белым парусом. В другие дни либо стоял туман, либо низко висели тучи. Сегодня море наверняка видно с верхнего этажа в Восточном Селдене, да только Восточный Селден для Эдварда недоступен. Он подумал, не попробо-

вать ли еще раз перебраться через болото, потом решил направиться к реке, перейти на другой берег, что теперь, наверное, удастся без особого труда, и подняться к дромосу. Он прошел мимо падубов, мимо теплиц и огорода. Наконец он увидел тополиную рощу, сверкавшую золотыми листиками. Фруктовый сад лишь начал цвести, тугие белые бутоны окаймлялись красным. Именно здесь Эдвард и встретил лесовика, сунувшего ему послание от Брауни. Человек вручил записку и не уходил, пока Эдварда не осенило: он ждет вознаграждения. Второпях протягивая деньги, Эдвард подумал, что за это письмо готов дать гораздо больше — только попроси.

Железнодорожный коттедж
Дорогой Эдвард!

Я думала о нашем разговоре. Боюсь, я могла показаться тебе довольно суровой и враждебной. Для меня было очень важно выслушать правду о том, что случилось, узнать точно все подробности, чтобы я могла добавить их к общей массе этого жуткого происшествия и увидеть его, осознать в той степени, в какой только возможно. Конечно, это тоже тайна, и с этим нужно жить как с тайной. Для меня было бы невыразимо больно не узнать все о событиях того вечера, не

у слышать это от тебя, твоими собственными словами. Ты можешь представить, что я слышала разные рассказы и измышления. Надеюсь, ты поймешь. Когда мы с тобой беседовали, я думала о себе, и ты мог счесть меня очень эгоистичной, решить, будто я не понимаю, насколько ужасно все это было для тебя. По крайней мере, теперь я знаю, что вы с Марком были хорошими друзьями, а потому испытываю к тебе особые чувства — добрые чувства. Хорошо, что ты так откровенно ответил на мои вопросы. Это было непросто, но ведь ты, наверное, почувствовал и облегчение. Ты сказал, что я нужна тебе, и я думаю, что нам нужно поговорить еще раз. Откровенно говоря, я хочу спросить тебя кое о чем. Но на самом деле я понятия не имею, что ты чувствуешь в связи со всем этим… Отчасти могу представить, как тебе трудно — не только потому, что тебя обвиняли другие, но и потому, что ты сам себя винишь. Несмотря на те слова у реки, ты, возможно, на самом деле больше не хочешь меня видеть, чтобы не вспоминать случившегося и не чувствовать себя виноватым от одного сознания, что я — это я. Ты сказал, что моя мать писала тебе жуткие письма. Я очень сожалею об этом. Пожалуйста, не обвиняй ее. Пойми, ей

тоже требуется помощь. Ей необходимо прекратить ненавидеть тебя, эта ненависть поедает ее. Возможно, помогая мне, ты поможешь и ей. Я пока не очень понимаю, каким образом, но это вполне реально. Иногда я впадаю в отчаяние. Этой запиской сообщаю тебе, что завтра (во вторник) утром я буду в коттедже одна. Все уехали в Лондон, и я тоже уезжаю дневным поездом. Если захочешь прийти утром (не слишком поздно), ты застанешь меня. Но если не захочешь или не сможешь прийти, я тебя пойму.

С наилучшими пожеланиями,
твоя Брауни Уилсден.

Дочитав письмо до конца, Эдвард чуть не сошел с ума. Его переполняли сильнейшие эмоции, к которым примешивалось столько боли и радости, что во второй раз за день, но в гораздо более сильной степени он ощутил себя больным и на грани обморока. Он зажал письмо в руке, побежал мимо фруктового сада к тополям и прижался головой к гладкой коре дерева. Он стонал и смеялся. Он бросился на землю и принялся кататься по ней, потом лег на спину и сквозь сверкающие, трепещущие листья уставился на голубое небо. Потом сел и, тяжело дыша, перечитал это замечательное письмо. Оно походило

на приказ об отсрочке смертного приговора. Но в то же самое время Эдвард вспоминал случившееся, чувствовал свою вину, глубоко осознавал свое преступление. Ужас ожесточенного отчаяния, до сих пор не отпускавший его, ничуть не ослабевал, не смягчался. То, что прежде казалось ему искуплением, на деле было заблуждением, воздействием магии. Но вот теперь все было настоящее. Ощущение того, что он вернулся к реальности, было таким сильным — как быстрое преображение, — что у него закружилась голова. Он наконец услышал чистый подлинный голос, хороший голос, властно с ним заговоривший. Но он не должен (это крайне важно) ожидать слишком многого; напротив, он должен быть готов — для себя — к чему угодно. Он должен принять сухую педантичную точность письма Брауни как закон или юридический документ, где говорится только то, что сказано. Эдвард упрекал себя, но не упиваться этим письмом было выше его сил. Одно предложение нравилось ему больше всего, и он перечитывал его бесконечно: «Иногда я впадаю в отчаяние». Разве здесь не слышалась (ну хоть немного!) мольба о помощи? «Как я могу быть таким эгоистом и позволять этой мысли радовать меня?!» — спрашивал он себя. А еще он

подумал: «Я переложу это на ее плечи, и она со всем разберется». И еще он подумал (и эта мысль начала вытеснять все прочие боли и размышления): «Завтра я снова увижу ее».

— Левое колесо еще крутится, — сказала Мидж.

Машина самым смешным образом завязла на травянистой обочине одной из узких дорожек, среди которых они опять потерялись, съехав с шоссе. Земля не выглядела особенно влажной или глинистой, когда Гарри в раздражении сдал назад, чтобы развернуться в обратном направлении, но тут выяснилось, что в траве была неглубокая канавка. Они провозились целый час, пытаясь сдвинуть автомобиль с места — подкладывали под колеса газеты, камни, ветки, даже один из старых пиджаков Гарри. Машина отказывалась двигаться. Мидж была на грани изнеможения, лицо ее раскраснелось от напряжения — она подсовывала что-то под колеса, толкала машину, пока Гарри газовал, все глубже увязая, помогала ему откидывать в сторону землю, напоминавшую тесто. День уже клонился к вечеру, небо заволокло тучами, и все вокруг потемнело.

Пикник прошел великолепно. Они свернули на равнину, намереваясь доехать до моря. Однако

выяснилось, что Мидж не очень ясно представляет себе местонахождение Сигарда, так что не имело смысла искать его в этом бескрайнем просторе, где они тут же потеряли ориентацию. Оставалась возможность, что они увидят башню издалека, но пока этого не случилось. Они поели на небольшой возвышенности, сидя на сухой, ощипанной овцами траве и созерцая церковь, опознать которую без путеводителя было невозможно. Гарри купил сэндвичи, салями, пирог со свининой, помидоры, сыр, пирожные, яблоки, бананы и сливовый кекс. Они съели большую часть купленной еды и выпили две бутылки испанского вина, разливая его по стаканам, купленным в том же магазине, что и штопор. Потом они немного повалялись на травке в объятиях друг друга. Они еще никогда не занимались любовью на природе, а когда сделали это, преисполнились гордости и счастья. Местность казалась совершенно безлюдной. Потом они уснули, а проснувшись, двинулись в сторону моря, но вскоре выяснилось, что у них совершенно противоположные представления о том, где оно находится. Гарри, гордившийся своим чувством направления, был вынужден ехать наобум, полагаясь на редкие дорожные указатели. Потом они

повернули вместе с дорогой, которая перешла в проселок, и решили развернуться в обратном направлении. Вернее, попытались развернуться, вследствие чего забуксовали на поросшей травой обочине, на вид такой твердой и надежной. К счастью, им не нужно было спешить в Лондон, поскольку ни

Томаса, ни Мередита не было дома. Гарри даже подумал, что случайное разоблачение теперь может пройти совершенно безболезненно. Но на него действовало растущее беспокойство Мидж, ее страх выбивал его из колеи, а все происходящее становилось утомительным. Небо тем временем темнело, и рассчитывать на чью-либо помощь не приходилось.

— Пожалуй, я пойду и поищу кого-нибудь, — предложил Гарри.

— Да, но в какую сторону идти?

— Не знаю! Мы понятия не имеем, где находимся. И на кой черт мы поперлись в эти богом забытые равнины? Я в жизни не видел такого бессмысленного пейзажа.

— Я тебе говорила, что тут болота, топи, или как уж они называются. Ты напрасно так раздражаешься… если бы ты сдавал назад осторожнее…

— Если бы мы остались на шоссе, теперь были

бы уже дома, в нашей квартире, и пили виски! У меня полный холодильник выпивки.

— Не расстраивайся! Мне очень жаль.

— Оставайся здесь. Будет холодно — залезай в машину.

— Нет-нет, я пойду с тобой. Мне одной будет страшно.

— Еще не стемнело. Ты устанешь, и мне придется идти медленнее. Посмотри на свои туфли! Ты не помнишь, нам по пути не попадалась мастерская?

— Нет. Кажется, была ферма — то того, как мы свернули на дорогу, по которой выехали сюда. Но ведь эта дорога должна куда-то вести.

— К какому-нибудь сараю. Я его вижу. По крайней мере, когда стемнеет, мы увидим огни.

— Ах, Гарри… неужели так долго? Нам понадобится трактор?

— Да нет, обычной машины будет достаточно. У меня в багажнике буксир.

— Пожалуйста, возьми меня с собой, пожалуйста!

— Ну хорошо, только накинь плащ, не то замерзнешь. А пока давай выпьем виски — тут у меня в бардачке есть.

Стоя рядом с машиной, они на скорую руку

выпили виски, а потом отправились в путь. Сначала Мидж держала Гарри под руку, но потом он стряхнул ее руку и ускорил шаг. Мидж чувствовала себя несчастной, немного пьяной, и ей было страшно. Страх перед тем, что их роман откроется, боязнь ошибки, скандала, того, что она станет объектом нападок и осуждения, что о них напишут в газетах, страх перед Томасом, сочувствие к нему — все это не оставляло ее, хотя она ответила «да» на вопрос Гарри. Да, время придет, но пока еще не наступило, и Мидж не могла себе представить, как это может произойти. Она воображала некую волшебную трансформацию, быструю перемену декораций, после которой вдруг само собой окажется, что она уже оставила Томаса и счастливо живет с Гарри… и Мередитом. Она не желала думать о том, что известно Мередиту, и предпочла поверить, будто он ничего не понял. Но как же произойдет это преображение? Ну, как-то произойдет, и все, потому что не может не произойти. Гарри был прав.

— Смотри, коттедж. Я вижу свет.

Они брели уже довольно долго, и Мидж несколько раз заявляла (а Гарри возражал), что они не смогут найти обратную дорогу к машине. Коттедж находился на порядочном расстоянии от

них, и они сошли со щебенчатой дороги и двинулись по заросшей травой тропинке. Один раз Мидж соскользнула с неожиданного пригорка, и они потеряли из виду зовущие огни и очертания крыши на фоне гаснущего неба, где уже зажигались звезды. Наконец они добрались. Перед ними возникла маленькая калитка в невысоком заборе.

— Иди ты, — сказала Мидж, прикрывая шарфом лицо.

Гарри поднял воротник плаща и поправил кепку, с помощью которой, к удовольствию Мидж, пытался изменить свою внешность. Он подошел к двери и постучал.

Элспет Макран открыла дверь.

— Слушаю вас?

— Извините, что беспокою, — начал Гарри, — но у нас машина завязла тут неподалеку, и я подумал, не позволите ли вы позвонить с вашего телефона в ближайший автосервис?

— У нас нет телефона.

— А может быть, вы вытащите нас на вашей машине? Буксир у меня есть…

— У нас нет машины.

Сара, появившаяся из-за спины матери, спросила:

— А где ваша машина? Мы могли бы подтолкнуть ее.

— Боюсь, это неблизко — нам пришлось долго добираться до вас. Тут поблизости нет автосервиса или кого-нибудь с машиной, кто мог бы нас вытащить?

— Автосервиса нет. У наших ближайших и единственных соседей есть машина, но они люди не слишком общительные, и я сомневаюсь, что вы найдете к ним дорогу…

— Я их провожу, — предложила Сара.

— Не хотите войти? — предложила Элспет. — Это ваша…

Она сделала неопределенный жест в сторону фигуры у калитки.

— Это моя жена. Вы очень добры, но…

— А как вас зовут? — поинтересовалась Элспет.

— Бентли, — ответил Гарри. — Мистер и миссис Бентли. Нам бы не хотелось вас затруднять. Если бы вы показали нам направление…

— Я их провожу, — повторила Сара. — Сами они никогда не найдут. Свалятся куда-нибудь в топь. Подождите секунду, я надену сапоги.

— Возьми-ка фонарь, — сказала Элспет Саре. — Туман сгущается.

— Нет, правда, нам не хотелось бы вас затруд-

нять… — проговорил Гарри.

— Так вам нужна помощь или нет? Решайте.

— Тут недалеко, — сказала Сара. — Мы пойдем напрямик. Брауни еще в ванной — скажи ей, что я вернусь. Смотрите, у меня два фонаря. Пока, ма, скоро вернусь.

— Сара, не заходи в дом! — крикнула им вслед Элспет.

Сара вышла через калитку, Гарри за ней. Мидж стояла в стороне.

— Привет! Мистер Бентли, держите фонарь и светите мне вслед. Тут недалеко, но местами тропинка очень коварная, к тому же туман сгущается.

Небо успело потемнеть, а звезды скрылись за облаками. Громадные серые клубы тумана, подсвеченные фонариками, медленно перекатывались перед ними, обволакивали их, ухудшали видимость. Гарри взял Мидж за руку и потащил за собой, лучом фонарика высвечивая заляпанные грязью сапоги и драный низ джинсов Сары. Мидж ковыляла, выбирая, куда поставить ноги, ее туфли на высоких каблуках увязали во влажной траве, такой яркой в лучах фонарей. Задувал холодный ветерок, начал накрапывать дождь. Мидж тихонько, незаметно начала лить слезы.

— Мы почти пришли, — сообщила наконец Сара, — только поднимемся по склону. Миссис Бентли, давайте руку. Ну вот, отлично. Мы поднялись. Смотрите под ноги. Здесь не очень ровно. Тут где-то есть дверь, извините, темно — не могу найти. А, вот она. Звонка, кажется, нет, — Сара постучала в дверь кулаком и крикнула: — Эй, кто-нибудь!

В ответ тишина. Она постучала еще.

Беттина приоткрыла дверь на цепочке и спросила:

— Кто там?

— Это я, Сара, из Железнодорожного коттеджа. Тут со мной двое людей, у них машина завязла. Они просят их вытянуть.

Беттина закрыла дверь, потом открыла ее пошире и выглянула наружу.

— Это мистер и миссис Бентли, — сказала Сара, — им нужна помощь с машиной, они тут уже бог знает сколько времени кругами ходят.

— Извините, пожалуйста, что приходится вас беспокоить, — проговорил Гарри, — но мы увязли в грязи, и если бы вы на своей машине нас вытащили…

— У них и трактор есть, — услужливо вставила Сара, пытаясь заглянуть внутрь.

— Вам лучше войти, — сказала Беттина. Она еще шире открыла дверь, и Гарри вошел, а следом за ним Мидж. Беттина встала в проходе перед Сарой и сказала ей: — Спасибо. Доброй ночи. — И закрыла дверь.

— Огромное спасибо! — крикнул Гарри Саре, а потом обратился к Беттине: — Может быть, вы позволите позвонить…

— У нас нет телефона.

— Надеюсь, мы не слишком вас беспокоим…

— Конечно, беспокоите, — отозвалась Беттина, — но мы должны вам помочь. Присядьте на минутку. — Она выдвинула два стула с прямыми спинками и поставила их рядом с дверью. — В туалет не хотите?

— Нет, спасибо, — поблагодарил Гарри. — Извини, Мидж. Тебе не надо?

Мидж села и уронила сумочку на плитки пола. Гарри присел рядом с ней. Они в изумлении рассматривали большое темное открытое пространство, напоминавшее зал железнодорожного вокзала. Мидж не узнала этой комнаты — она видела ее очень давно, в летний солнечный день, когда это помещение было наполнено яркими платьями и веселыми людьми.

В Атриуме было тихо и пусто, если не считать

удаляющейся фигуры Беттины; ее раскачивающиеся юбки почти касались пола. Атриум освещала единственная лампа у дверей Перехода. Ужин — в последние дни режим нарушился, и ужины задерживались — еще не начался, хотя стол был накрыт и часть блюд уже стояла на нем «на манер пикника», как называла это матушка Мэй. Гарри и Мидж сидели на неудобных стульях у двери почти в темноте.

— Странное место, — заметил Гарри тихим голосом. — Они впустили нас в какой-то сарай. Слава богу, у них есть трактор.

Вдали хлопнула дверь, потом появилась Беттина с лампой в сопровождении матушки Мэй. Беттина говорила матери:

— Это мистер и миссис Бентли, у них машина завязла, я думаю, им нужен трактор. Помнишь, когда в последний раз такое случилось, нам пришлось использовать его. Надо же, чтобы такое случилось именно вечером!

— Да… — пробормотала матушка Мэй.

Гарри встал.

Свет лампы приблизился к ним.

Мидж тоже поднялась. Она уже узнала матушку Мэй. Потом она узнала и помещение. Шарф упал ей на плечи, и матушка Мэй узнала ее.

Она вполголоса сказала Беттине:

— Выйди на минуту и никого сюда не пускай.

Беттина передала матери лампу и пошла назад к Переходу.

Мидж направилась к двери, но открыть замок у нее не получилось.

— В чем дело? — спросил ее Гарри.

— Это Сигард, — ответила Мидж.

Гарри отодвинулся подальше от света.

Матушка Мэй дрожала от возбуждения, ее глаза, ее мягкие серые глаза широко раскрылись и засияли, губы увлажнились. Лампа подрагивала, словно вот-вот упадет. Матушка Мэй закинула голову назад и свободной рукой пригладила волосы, ненароком выбив несколько шпилек, отчего длинная прядь упала ей на спину. Поставила лампу на пол. Она тяжело дышала и думала, думала.

Мидж, тоже задыхаясь, вернулась от двери. Несколько мгновений вид у нее был совершенно безумный, как у загнанного животного, готового броситься наутек или напасть на преследователя. Потом она замерла, окаменела, уставившись перед собой неподвижным взглядом и приоткрыв рот. Гарри тоже задумался. Все трое обдумывали ситуацию.

Матушка Мэй сказала Мидж:

— Прошу вас, присядьте. Вы, должно быть, устали.

Мидж не стала садиться — она отвернулась, глубоко дыша. С нарочитой неторопливостью она сняла с шеи шарф, встряхнула его и сунула в карман.

Матушка Мэй, похоже, надумала, что следует делать, и вполголоса произнесла:

— Миссис Маккаскервиль… — Она повернулась к Гарри. — Мистер…

— Уэстон, — сказал Гарри с улыбкой, отклоняясь от света лампы. — Молодая дама, проводившая нас сюда, не расслышала. У меня автомобиль «бентли». Я подвозил миссис Маккаскервиль назад в Лондон, когда с нами случилась эта неприятность. Я так понял, у вас нет телефона? Какая жалость. Мы хотели позвонить мужу миссис Маккаскервиль и моей жене — сказать, что задерживаемся. Но если нет телефона, может быть, вы будете так добры и вытащите нас? Мы не хотим портить ваш вечер…

Гарри исходил из того, что его не узнали. Дальнейшая ложь позволяла получить некоторые выгоды, а если она раскроется, они мало что проиграют. В любом случае ему ужас как не хотелось называть свое имя в этом доме.

— Может, выпьете чашечку чая, съедите что-нибудь? — с улыбкой спросила матушка Мэй у Мидж.

— Думаю, нам лучше сразу же заняться машиной. Как вы считаете? — обратился Гарри к Мидж.

Она кивнула и тоже улыбнулась:

— Извините, бога ради, что беспокоим вас. Я понятия не имела, что вы тут живете. Такое странное совпадение. Я рада еще раз увидеть этот дом. Надеюсь, ваш муж здоров?

— Приболел немножко.

— Очень жаль. Передайте ему привет.

— Непременно. Сейчас позову Беттину. Она уже, наверное, приготовила машину.

Матушка Мэй подняла лампу, поставила ее на стол и вышла из комнаты.

— Что будем делать? — спросила Мидж у Гарри.

— Держись понаглее. Все это не имеет значения. Эти люди не имеют значения. Они ничего не расскажут, да им и некому рассказывать. Сумасшедшая деревенщина, они живут за границей мира.

— Она видела, как я пыталась открыть дверь…

— Ну, это естественное потрясение! Она и сама-

то была ошарашена.

— Она и тебя узнает. У видит где-нибудь твое фото или тебя самого…

— Не думаю. Тут довольно темно, а она так потрясена встречей с тобой, что на меня почти и не смотрит. Как бы там ни было, я, черт побери, не собираюсь сообщать ей мое имя.

— И машина у тебя не «бентли», и…

— Ну и что с того? Мы должны попытаться. Как только нас вытащат, мы исчезнем из их жизни, как сон. Они ни о чем не догадаются. Будут немного озадачены, может, решат, что это забавный случай, но никогда ничего не узнают. Они все забудут. С какой стати им помнить?

— Ты не понимаешь, — сказала Мидж, — она запомнит. Она заинтересована, заинтригована, она играет с нами. Она не допустит, чтобы нам это сошло с рук.

— Что сошло с рук? Я просто подвожу тебя до Лондона!

— Она наверняка узнает тебя…

— Я буду держаться подальше от света, выйду за дверь. Ты только не волнуйся — через двадцать минут все это закончится.

— Мы никогда не найдем машину.

— Да прекрати канючить, ну-ка, сделай отваж-

ное лицо.

Дверь на улицу внезапно открылась, и вошли Эдвард и Стюарт. Мидж вскрикнула. Они с Гарри торопливо отделились друг от друга и отошли назад. В тот же миг из Перехода появилась матушка Мэй, за ней шли Беттина и Илона. Три женщины остановились, наблюдая за сценой от двери.

Эдвард бросился вперед.

— Гарри, Мидж, вот здорово, что вы меня нашли! Но как вы узнали? Что, и Томас здесь? Это он вам сказал, где я? Я приболел, но мне уже лучше. А Стюарт приехал только вчера. Матушка Мэй, смотрите, кто приехал!

— Ну и кто же у нас здесь?

— Это моя тетушка Мидж Маккаскервиль и мой отчим Гарри Кьюно. Вы знакомы? Ну что я спрашиваю — конечно, вы знакомы. Это миссис Бэлтрам. Мы ее называем матушкой Мэй. А это мои сестры — Беттина и Илона.

Беттина рассмеялась.

— Сначала они были мистер и миссис Бентли, потом он превратился в мистера Уэстона. Какой-то вечер загадок!

Матушка Мэй, раньше не узнавшая Гарри, теперь настолько овладела ситуацией, что сумела скрыть удивление и мгновенно охвативший ее

восторг. Улыбаясь, она повернулась к Беттине и громко сказала:

— Помолчи! — Потом она обратилась к Мидж и Гарри: — Как бы там ни было, добро пожаловать. И теперь, когда все инкогнито открылись, я не могу просто так отпустить вас. Вы должны остаться и поужинать с нами.

Илона пояснила Эдварду:

— Их машина завязла, мы должны их вытащить.

— Но сначала они поужинают с нами, — сказала Беттина. — Их нельзя спасать, не покормив, это неправильно! Илона, принеси еще тарелки, стаканы и вино.

Илона побежала по плиточному полу.

— Да-да, вы должны остаться, — проговорил Эдвард, глядя на Гарри. Он как будто не слышал или не обратил внимание на замечание Беттины. — Пища тут вегетарианская, но это все равно настоящий ужин, вы увидите. И у меня есть две вот такие замечательные сестры. Значит, Томас вам рассказал! А мне он обещал держать это в тайне. Наверное, он решил, что я засиделся. Вы приехали за мной? Я пока еще не могу вернуться. Сочувствую вам — надо же, завязли. Ну да ничего, мы вас вытащим.

Вернулась Илона и принялась расставлять дополнительные приборы.

При появлении молодых людей Гарри и Мидж застыли, словно вросли в пол. Потом они посмотрели друг на друга. Мидж вытащила из кармана шарф, повязала его на голову, чуть сдвинула назад.

Стюарт неподвижно стоял у двери со сжатыми кулаками. Потом он осторожно, опустив глаза, обошел эту пару, которая чуть подалась назад, и как-то неловко то ли кивнул, то ли поклонился им. Прошел по залу, словно направлялся в Затрапезную, затем передумал, развернулся и сел за стол. Когда Илона начала расставлять дополнительные стаканы, Стюарт улыбнулся ей и сказал:

— Спасибо.

Он смущенно посмотрел на отца, потом отвел взгляд.

Гарри произнес:

— Привет, Стюарт. Мы не останемся.

Мидж взглянула на Стюарта и издала странный долгий стон, похожий на протяжный звериный вой. Она села на стул и сказала Гарри:

— Идем немедленно. Мы найдем машину.

— Не глупи, — ответил он.

Матушка Мэй рассмеялась.

Эдвард начал понимать, что здесь что-то не так, и даже догадывался, что именно. Он подбежал к матушке Мэй.

— Все в порядке, все хорошо… Но я думаю, они не хотят оставаться на ужин, они хотят уйти. Я сделаю несколько сэндвичей… Илона сделает… я отвезу их на вашей машине… я их вытащу, все сделаю сам… Беттина, дай мне ключи. — Он бросился к Беттине.

— Ты никогда не найдешь дороги, — отозвалась Беттина. — И сам завязнешь. Ездить по этим дорогам непросто. К тому же там туман. Я выведу машину или трактор, если все этого хотят. Сначала попробуем на машине — в тракторе место только для двоих. Если планы переменятся, я надеюсь, мне дадут знать.

Она вышла из комнаты.

Эдвард, дергая себя за прядь волос, сказал:

— Так… так… черт… — Он подошел к Стюарту и тронул его за плечо. — Ты как, Стюарт?

Стюарт улыбнулся ему и принялся двигать приборы на столе, выкладывая из них разные фигуры.

Эдвард подошел к Илоне и спросил:

— Ты можешь приготовить несколько сэндвичей?

— Через минуту, — ответила Илона. — Я побуду тут.

Она встала у гобелена, чтобы видеть всю сцену.

Матушка Мэй отошла к столу и села рядом со Стюартом, оставив Гарри и Мидж у двери.

— Кажется, я слышу мотор, — сказал Гарри. — Мы подождем на улице.

Он двинулся к двери.

Вошла Беттина со словами:

— Не могу найти ключ.

Матушка Мэй вместе с Беттиной снова направились к Переходу.

Эдвард попросил Гарри и Мидж:

— Слушайте, ну пожалуйста, останьтесь, а? Присядьте, перекусите, выпейте вина.

— Нет, спасибо, — ответил Гарри. — Мы и правда должны идти.

— Илона, так сделаешь сэндвичи? — спросил Эдвард. — Или хотя бы хлеб с чем-нибудь?

Илону словно парализовало. Она прижималась спиной к гобелену и тяжело дышала, прижимая руку к груди.

— Тогда я сам!

Эдвард ринулся к Переходу, но перед ним возникла матушка Мэй, и он вернулся назад.

— Мы нашли ключи, — сообщила матушка Мэй и рассмеялась, словно не могла больше сдерживаться; так смеется человек, увидевший что-то очень смешное посреди какой-то торжественной или величественной сцены. Она обратилась к паре у двери: — Слушайте, ну присядьте. Если не хотите за стол, то устраивайтесь там, у двери.

— Спасибо. Мы подождем на улице, — сказал Гарри.

Он подошел к двери и предпринял еще одну безуспешную попытку открыть ее. Никто не шевельнулся, чтобы помочь. Тогда он вернулся и сел на один из стульев. Мидж, теребя в руках сумочку, оставалась на ногах. И тут в комнате появился Джесс.

Поначалу никто его не заметил. Дверь в Затрапезную располагалась в тени, а вошел он беззвучно. Он опирался на палку, которая ударилась об пол и произвела едва слышный стук.

Илона, первой увидевшая его, воскликнула:

— Джесс! — и бросилась к нему.

Не глядя на дочь, он оперся о ее плечо и окинул взором комнату. Вид у Джесса с его огромной головой был впечатляющий. Он походил на пророка, поддерживаемого учеником. На нем были темные брюки и расстегнутая белая рубашка.

Его темная борода и шевелюра были расчесаны, красные губы влажны, большие выступающие круглые глаза сверкали, и он был босой. Нахмурившись, Джесс оглядел полутемную комнату, куда снаружи просочился туман.

Вперед выступила матушка Мэй. Она заговорила так, будто совершенно обычная вечеринка была нарушена появлением сумасшедшего.

— Прошу вас извинить его. Идем!

Она оттолкнула Илону, отчего ноги Джесса чуть подогнулись, и попыталась развернуть его, но он воспротивился, повернулся вполоборота и посмотрел через плечо своими яркими красновато-карими глазами. Он смотрел в сторону стола, потом вдруг отпихнул матушку Мэй и шагнул вперед, набычившись и сверкая глазами. Звенящим голосом он произнес:

— У вас тут мертвец, мертвое тело сидит за столом, я его вижу!

Он ткнул палкой в сторону Стюарта.

Стюарт поднялся.

Джесс продолжил, еще больше возвысив голос. Он говорил не истерически, а властно и взволнованно:

— Этот человек мертв, уберите его. Я его проклинаю. Уберите это белое, оно мертвое. Белое,

уберите его отсюда!

С улицы вошла Беттина в плаще, она направилась к Джессу, но остановилась рядом с матушкой Мэй и обратилась к ней, а та резко сказала Джессу:

— Прекрати это! Прекрати немедленно. Идем, ты должен лечь в постель!

Джесс замахнулся на нее палкой, и она отступила.

— Мужчинам придется нам помочь, — проговорила Беттина. — Это тот же случай, когда нам пришлось вызывать лесовиков.

Стюарт чуть подался назад, не отводя глаз от Джесса, словно придворный, который пятится, выходя от королевской особы. Он наткнулся на стул.

Джесс, не обращая более внимания на Стюарта, направился в центр комнаты. Он внимательно рассматривал людей, глядевших на него. Наконец он остановился, затрясся, выронил палку, издал низкий воющий звук, а потом вполголоса пробормотал:

— Неужели никто не полюбит меня, неужели никто не поможет мне, неужели никто не поможет мне, неужели никто не подойдет ко мне?

Матушка Мэй, Беттина и Илона попытались

подойти к нему, но он внезапно замахал руками, и они поспешно ретировались.

Мидж сдернула шарф и уронила на пол. Она сняла свой плащ и медленно направилась к Джессу, поворачиваясь к лампе, чтобы тот мог разглядеть ее лицо. Мидж остановилась перед ним, положила руки ему на плечи и сказала:

— Я люблю тебя, я помогу тебе. Дорогой Джесс, все хорошо, все хорошо.

Джесс вздрогнул, ссутулился, рот его приоткрылся. Он задрожал, уставившись на нее. Она обнимала его за плечи, чуть поддерживая. Наконец Джесс почти прошептал:

— Хлоя… мне сказали, что ты умерла… никто не говорит мне правду… и вот… я ждал, что ты вернешься ко мне… я так долго ждал.

Он обнял ее. Мидж заплакала. Ее рыдания смолкли, лишь когда Джесс начал ее целовать. Они застыли в страстном поцелуе с закрытыми глазами, ничего не видя и не слыша, сжимая друг друга в объятиях. Это был жадный, хищный поцелуй, словно голодный не мог насытиться.

Матушка Мэй брезгливо, но без особых эмоций произнесла:

— Боже мой, какая мерзость!

Она ухватила Мидж за локоть, чтобы оттащить

ее от Джесса, но эти двое неразрывно сплелись друг с другом. Матушка Мэй и Беттина глядели на них с гневным спокойствием.

— Мы как-нибудь можем сдвинуть их с места? — спросила Беттина. — Или, по крайней мере, убрать его отсюда. Пусть она сделает это.

Матушка Мэй спросила пронзительным громким голосом:

— Миссис Маккаскервиль, не могли бы вы помочь нам вернуть его в кровать? Он серьезно болен.

Она с силой подтолкнула Мидж в спину. Босые ноги Джесса заскользили вперед по плиткам, оказались между ног Мидж, а когда она отступила, не в силах выдержать его вес, Джесс всей своей массой тяжело рухнул на пол и растянулся во весь рост. Он лежал с открытыми глазами, тяжело дыша. Мидж сердито дернулась, уворачиваясь от руки матушки Мэй.

Матушка Мэй позвала:

— Эдвард!

Эдвард, по-прежнему стоявший в другом конце зала, подбежал, опустился на колени и подсунул свою руку под руку Джесса. Матушка Мэй стала помогать ему с другой стороны, а Джесс, внезапно вернувшийся к жизни, начал сучить ногами и

позволил поднять себя. Он не противился, когда его повели к двери Затрапезной, и остановился лишь на мгновение, чтобы показать на свою палку, лежавшую на полу. Матушка Мэй подняла ее. Джесс не оглядывался. Его держали под руки Эдвард и матушка Мэй. Через мгновение дверь за ними закрылась и Джесс исчез из виду.

Гарри, на протяжении всей этой драматический сцены сидевший на месте, поднялся. Он посмотрел на Мидж, которая в слезах замерла рядом с дверью и спрятала лицо за носовым платком, потом подошел к столу, опустился на стул и налил себе стакан вина. Стюарт, стоявший чуть поодаль, тоже сел. Он положил одну руку на стол, но дрожь так пробирала его тело, что ножи и вилки начали позванивать. Он убрал руку, соединил ее с другой и так сидел, дрожа и глядя на свои сцепленные руки. Гарри с любопытством глянул на него.

— Извини, сынок, за эту нелепую сцену. — Гарри вдруг подумал, что никогда прежде не называл Стюарта «сынок».

— Не переживай, — пробормотал Стюарт. — Я хочу сказать, ничего…

— Да уж, ничего. Вот такая, понимаешь, история.

— Мередит мне говорил, но я не поверил.

— Что?

— Он сказал, что она… он не сказал, с кем…

— Мередит?! Боже милостивый.

Гарри чуть не спросил, знает ли Томас, но подумал, что ему совершенно наплевать на Томаса. Так или иначе, скоро Томасу все станет известно. Браку Мидж пришел конец. «Это катастрофа, на которую я надеялся. Жаль, что я не сказал об этом Томасу еще сто лет назад, как хотел. Сказал бы ему все в глаза и не попал бы в такую унизительную историю, когда тебя застукали, как мальчишку. Это черт знает что, я не выбирал этого, но что случилось, то случилось, и слава богу, теперь она моя. Жаль Стюарта, но ему так или иначе предстояло обо всем узнать. А Мередит… конечно, это отвратительно… Но мне нужно сохранить ясную голову и быть предельно жестким».

— Машина готова, — сообщила Беттина, обращаясь к Гарри. — Вам, наверное, лучше уехать. В туалет не хотите? Миссис Маккаскервиль, вы не… Нет? Хорошо.

Мидж перестала плакать, но стояла спиной к комнате, словно не замечая Беттины. Она держалась за спинку стула и, казалось, целиком ушла в себя.

— А как насчет сэндвичей? — спросила Беттина у Гарри. — Илона, ты не могла бы приготовить несколько… Илона…

Илона не шелохнулась. Она отодвинула от стола один из стульев, поставила его у гобелена и теперь сидела, свесив голову вниз и спрятав лицо в ладонях.

— Нет, благодарю, — сказал Гарри. — Идем, Мидж. До свидания, Стюарт. Пожалуйста, поблагодари миссис Бэлтрам…

— Если с машиной не получится, мне придется вернуться за трактором, но я думаю, вы не захотите присоединиться ко мне… Илона, тебе лучше пойти спать.

Беттина подняла с пола плащ Мидж, ее сумочку и шарф, положила на стул рядом с ней. Гарри подал Мидж плащ, и она покорно продела руки в рукава. Он видел ее распухшее от слез лицо, на котором, однако, появилось странное свирепое выражение.

— Илона, иди спать. Немедленно! — повторила Беттина.

Илона поднялась и, ни на кого не глядя, побежала в Переход. Дверь со стуком захлопнулась за ней.

Стюарт вскочил на ноги, словно этот шум раз-

будил его.

— Вы не могли бы подождать минуту? — спросил он. — Я хочу поехать с вами, если вы не возражаете. Я только возьму вещи, это быстро.

Он побежал следом за Илоной.

Мидж с перекошенным лицом повернулась к Гарри.

— Мы не можем его взять. Не можем!

Гарри холодно ответил:

— Не понимаю, почему нет. Какое это теперь может иметь значение? Он уже все знает. Мередит ему сказал.

— Мередит сказал Стюарту? Нет, не может быть… Я тебе разве не говорила… Мередит видел…

— Он видел нас… что он видел? Черт… Я говорил, не надо встречаться в твоем доме!

— Это не моя вина!

— Вот и пожалуйста. Думаю, Томас тоже знает. Нас раскрыли, слава богу. Можно больше не прятаться, Мидж.

— Вы будете его ждать? — спросила Беттина, которая стояла рядом и слышала их диалог.

— Не обязательно, что Томас знает. Я уверена, он ничего не знает…

— Ну, скоро узнает!

— Ни Стюарт, ни Мередит не скажут ему.

— Это еще почему?

— Я не хочу, чтобы это случилось сейчас…

— Но, Мидж, это уже случилось!

— Еще нет… я пока не знаю… не так…

— Вы его будете ждать? — опять спросила Беттина.

— Мы не можем взять Стюарта, я этого не допущу, — заявила Мидж, топнув ногой.

— Да, мы его дождемся, — ответил Гарри Беттине, а потом обратился к Мидж: — Слушай, он мой сын…

— И ты это говоришь сейчас? Мне…

— Он, похоже, здесь не слишком желанный гость, и я его не оставлю в этой дыре…

— Ты хочешь взять его, чтобы скомпрометировать меня еще больше. Чтобы был свидетель, чтобы все уничтожить…

— Ты называешь это уничтожением, а я — освобождением! Неужели ты не понимаешь, что все это не имеет значения?

— Он нас ненавидит, он принесет нам несчастье.

Появился Стюарт с плащом и чемоданом.

— Извините, что заставил вас ждать, — извиняющимся тоном произнес он.

— Ну тогда пошли, — сказала Беттина и повела их на лужайку перед домом, освещенную фонарем, а оттуда к машине.

— Значит, это была не Хлоя, — сказал Джесс тихо, мечтательно.

Он лежал на своей кровати, в рубашке, и держал за руку Эдварда.

Около кровати стояла матушка Мэй, в руках у нее был стакан с коричневатой жидкостью.

— Нет, мой милый, — ответил Эдвард.

Такое обращение внезапно показалось ему естественным. Конечно, Джесс был его отцом. Но чувства переполнили его до краев, и Джесс стал гораздо большим: учителем, драгоценным королем, божественным любовником, странным, таинственным, бесконечно любимым объектом, предметом религиозных поисков, алмазом в пещере. Как будто в этой внезапной вялой тишине Джесс легко, почти неощутимо разделился на множество сущностей. Эдварду казалось, что его сердце разорвется от почтения и любви.

— Но ты не беспокойся, не печалься. Это была сестра Хлои. Хлоя умерла. Она умерла давно.

— Конечно, — сказал Джесс. — Я помню. Она так… так похожа на Хлою.

Он был умиротворен, говорил яснее, спокойнее,

разумнее, чем когда-либо прежде. Эта перемена наполнила Эдварда надеждой и радостью.

— Да, сегодня она была похожа на Хлою. На ее фотографии.

— Ты совсем не помнишь мать?

— Смутно помню… плохо…

— Я ее вижу перед собой так ясно. Я ее очень любил.

Эдвард услышал, как завелась машина. Потом ее звук стих, удалился по дороге и перешел в тишину.

— Не надо грустить, мой дорогой, дорогой, дорогой Джесс, — сказал Эдвард. — Это так важно — чтобы ты не грустил. Я с тобой. Я буду ухаживать за тобой. Я нашел тебя, чтобы быть с тобой всегда. Я тебя люблю.

— Они уехали, — сообщила матушка Мэй.

Эдвард стал целовать руки Джесса. Джесс едва заметно улыбнулся, словно это тронуло и смутило его.

— А теперь уходи, — велела матушка Мэй. — Оставь нас, Эдвард. Я хочу, чтобы Джесс отдохнул. Я с ним посижу. Он испытал шок. И всем нам устроил встряску.

— Увидимся завтра, — сказал Эдвард.

Его одолевали такие странные эмоции: он чув-

ствовал себя бесконечно влюбленным. Мысль о том, что он должен оставить Джесса, была мучительна. Эдвард встал.

— Дорогой Джесс, дорогой, милый, добрый Джесс, думай обо мне ночью. А я буду думать о тебе.

— Я увижу тебя во сне… Эдвард…

— До завтра.

— Да, до завтра.

Матушка Мэй открыла дверь, и Эдвард выбежал из комнаты.

Атриум был пуст, накрытый стол остался нетронутым, если не считать пустого стакана Гарри. Эдвард поспешил в Переход и бегом поднялся по лестнице в Западный Селден, а там — в угловую спальню, постучал в дверь, вошел. Стюарта там не было. Потом он увидел, что комната прибрана, все вещи брата исчезли. Стюарт исчез. Это стало для Эдварда неприятным сюрпризом, выбившим его из колеи. Стюарт был нужен ему сейчас, он хотел поговорить с ним о том, что случилось, хотел узнать, что Стюарт думает об этом, и понять, что должен думать он сам. Эдвард почувствовал страх и одиночество. Он вернулся в свою комнату, зажег лампу и сел на кровать. Значит, Стюарт уехал. Вообще-то это не так уж плохо. Сигард

был местом и проблемой Эдварда, и Стюарт тут не помощник, он опасен. Эдвард не мог понять, голоден ли он. Может быть, стоит спуститься на кухню и найти что-то съестное? Но ему не хватило силы воли. Он чувствовал, что все еще болен и чрезвычайно, огорчительно возбужден. И теперь ему ничего не оставалось, как только отправляться спать.

Или у него все же был выбор? Он вошел в темную ванную и выглянул в окно. В Восточном Селдене было темно, лишь за прикрытым ставнями окном в спальне Илоны горела лампа. Илона была там. Одна. Матушка Мэй осталась с Джессом. Беттина уехала в машине. Стюарт тоже уехал.

«Я должен поговорить с кем-нибудь, — думал Эдвард, — мне все равно не уснуть. Что, черт возьми, случилось сегодня вечером, что это значит, как может повлиять на меня, должен ли я сделать с этим что-нибудь? Почему они появились, не я ли тому причиной, обвинят ли они в этом меня, чем они занимались, что надумает Томас? Нужен ли я Гарри, нужен ли я Мидж, не следовало ли мне уехать с ними, должен ли я уехать завтра? Но я не могу уехать, я должен остаться».

От этих мыслей вся его прошлая жизнь смешалась. Мидж и Гарри вместе — что это могло

значить? Может, это просто случайность и ничего особенного за этим не стоит. Тем не менее почему они оказались здесь? Может быть, они приехали, чтобы забрать его? Ничего подобного они не говорили. Или говорили? Он никак не мог вспомнить. А еще Джесс назвал Стюарта «мертвецом» и «белым телом». И Джесс решил, что Мидж — это Хлоя, а Мидж поцеловала Джесса. Это был какой-то кошмар. Воспоминание о Мидж и Джессе, застывших в страстном объятии, сильно огорчало его. Этот образ останется с ним, как мрачная икона.

«Я должен увидеть Илону, — подумал Эдвард. — И сейчас для этого самый подходящий момент».

Он взял лампу в ванную и посмотрел на себя в зеркало. Ему пора было побриться, и он не успел остановить себя — подспудный тщеславный порыв побудил его потянуться к бритве. Эдвард причесался, пригладил длинную темную прядь и, поразмыслив, снял пиджак. Поправил рубашку, расстегнул еще одну пуговицу. Ему показалось, что так он будет выглядеть старше, более поджарым и хищным. Он прищурился и на своих длинных ногах поспешил из ванной вниз по лестнице.

В коридоре между зданиями стояла темнота,

хоть глаза выколи, и даже в дальнем конце света не было видно, но Эдвард часто заглядывал сюда днем и теперь уверенно пошел вперед. Ближе к концу он дотронулся до стены и на ощупь нашел поворот на лестницу, которая, как он полагал, должна быть симметрична той лестнице, что вела в его спальню. Он не ошибся. Его нога нащупала первую ступеньку, и он бесшумно двинулся дальше, наверх. Наверху возникло знакомое ощущение близости света, а через мгновение его привыкшие к темноте глаза уловили едва заметное световое пятно под дверью комнаты Илоны. Тишина, царившая здесь, обескураживала Эдварда. Вытянув вперед руки, он на цыпочках подкрался к двери и прислушался. Ни звука. Он тихонько постучал. Потом еще раз. Прислушался к собственному учащенному дыханию, осторожно повернул ручку и открыл дверь.

Илона спала. Догоравшая лампа стояла на столике рядом с ее низкой кроватью. Девушка лежала на спине на красновато-коричневой поверхности, которую Эдвард сначала принял за простыню или плед, но потом сообразил, что это ее распущенные волосы. Ленты, которые она вплела в косы сегодня вечером, затерялись среди ее прядей. Голова Илоны, немного повернутая

набок и запрокинутая, покоилась на вывернутой руке — такая поза могла бы выражать страдание, если бы сон не наложил на эту фигуру печать умиротворения. Другая рука лежала на смятом одеяле, ладонь была раскрыта в жесте смирения или покорности. Губы Илоны приоткрылись, а ее тихое дыхание звучало едва слышно. Он обратил внимание на ее длинные ресницы — светлые, днем они были не так заметны. Во сне лицо Илоны утратило бойкость, щеки чуть ввалились, рот утратил живость, стал мягким, как у ребенка. Простыня и одеяло съехали вниз, обнажив нежную кожу ее уязвимой длинной шеи, закругленный вышитый воротник голубой ночной рубашки, под которой проступали маленькие груди. Она казалась такой беззащитной, такой хрупкой и слабой, что трудно было себе представить, как она живет в этом мире.

Эдвард закрыл дверь и подошел к кровати. Несколько мгновений он стоял над ней, огромный, как его собственная тень. Он чувствовал изумление, а затем глубокую боль какого-то стыдливого смирения и новый, не похожий на прежний, целомудренный страх. Его присутствие казалось опасным для нее, и он спрашивал себя, не следует ли ему осторожно уйти. Кровать, стоявшая у

стены, была маленькой, низкой и узкой — диванчик, а не великолепная высокая кровать вроде той, на которой спал он. Илона словно лежала на подушке и лоскуте цветной материи, брошенных на пол. Эдвард перевел дыхание и очень осторожно опустился на колено рядом с ней. Теперь он захотел приблизиться к ней, почувствовать, если возможно, ее дыхание. Его открытые взволнованные губы приблизились к губам Илоны. Он замер, потом откинулся назад, опустился на оба колена и сел, касаясь ягодицами пяток. Он испытывал возбуждение, в котором смешались сила и нежность, осознание их уединения, дома вокруг них, погруженного во тьму и тишину, темной облачной ночи за полуоткрытыми ставнями.

И тут Илона проснулась. Эдвард увидел, как вспорхнули ее ресницы, открылись, закрылись и снова открылись веки. Кошачьим проворным движением она села и прижалась к стене. Эдвард быстро отодвинулся от кровати. На лице уставившейся на него Илоны отразился звериный страх.

— Илона… дорогая… это всего лишь я… не бойся… прости меня…

Испуганным движением она натянула ночную рубашку по самый подбородок, потом откинула одеяло и спустила свои стройные ноги на пол.

Эдвард поднялся и отступил назад. Она поспешно засунула босые ноги в тапочки, потянулась за красным халатом, лежавшим в ногах кровати, и стала неловко натягивать его. Все это время лицо ее искажала гримаса страха пополам с раздражением. Она застегнула халат негнущимися, непослушными пальцами и только после этого встала.

— Ты не должен здесь находиться, — прошептала она Эдварду. — Немедленно уходи.

Эдвард тоже встал и ответил тихо, но не шепотом:

— Слушай, Илона, не волнуйся. Твоя мать с Джессом, она сказала, что посидит с ним, а Беттина уехала с остальными в машине. Стюарт тоже уехал. Здесь мы одни.

— Они могут появиться в любую минуту. Как ты мог такое сделать?! Ты же знаешь, что нельзя.

— Ничего я не знаю! — воскликнул Эдвард. Это была ложь: он прекрасно знал, что здесь запретная территория. — И почему мы должны жить по правилам, кто эти правила сочинил? Я твой брат. У меня что, нет никаких прав?

«Нет, никаких», — сказал он сам себе.

— Чего ты хочешь?

— Я хочу с тобой поговорить, посидеть минутку.

Я долго не задержусь. Пожалуйста, Илона. Я так расстроен и потерян. Помоги мне, позволь просто поговорить с тобой. Я обещаю, что скоро уйду. Мы услышим, когда подъедет машина и Беттина войдет через переднюю дверь. Если матушка Мэй не с Джессом, то она наверняка ждет Беттину в Атриуме. Они ничего не скажут.

Эти абсолютно нелепые аргументы немного успокоили Илону, хотя, скорее всего, она мало что поняла из его слов. Она села на кровать, а Эдвард, скрестив ноги, опустился на пол неподалеку от нее. Илона аккуратно подобрала волосы и закинула их за спину. Она повернула к Эдварду лицо, на котором застыла маска отчаяния, и сказала:

— Ты не уезжаешь?

— Нет. С чего ты взяла?

— С того, что случилось сегодня.

— А что такое случилось сегодня? Вдруг из ниоткуда материализовались мой отчим и моя тетушка. Беттина говорит, что они представились как мистер и миссис Бентли.

— Я не понимаю. Это была сестра Хлои, и она замужем за…

— За Томасом Маккаскервилем.

— А этот мужчина был мужем Хлои?

— Да, Гарри Кьюно.

— У них сломалась машина.

— Да. Но они явно были вместе тайком. А сюда они попали, наверное, случайно, забрели в темноте. Если случайности вообще бывают.

— Я решила, что они приехали за тобой.

— И я тоже, но, когда подумал, понял, что это не так. Да нечего брать в голову. Я хочу сказать — тебе нечего брать это в голову. Я во всей этой неразберихе чувствую одно: ни на кого нельзя положиться, и это только начало.

— Джесс поцеловал ее… я ничего подобного не видела… он целовал ее так…

— Да. Целовал. Ты видела?

Эдвард ощутил какую-то странную боль, выворачивавшую его наизнанку, словно его мать и в самом деле присутствовала при этой сцене, словно ее несчастный и беспомощный призрак в лице Мидж пытался поцеловать Джесса, прикоснуться к неверному возлюбленному, обнять его. Эдвард даже теперь не хотел задумываться о том, что означает расхожая фраза, будто любовник «плохо обошелся» с его матерью. Он не имел ни малейшего желания думать обо всем этом. Этот поцелуй был ужасным. Но и волнующим. Он был волнующим на ужасный манер. Все это каким-то образом взаимосвязано, связано с ним, а через

него — с Илоной, Брауни… Брауни. Завтра.

— Илона, позволь, я тебе кое-что скажу. Ты ведь знаешь про Марка Уилсдена, да?

— Это твой друг, который выпал из окна.

— Да. Так тебе матушка Мэй сказала?

— Да, и мы читали в газете.

— У вас здесь не бывает газет…

— Дороти прислала нам вырезку — подруга матушки Мэй.

— Так вот. Я нашел его сестру. Она здесь…

— Здесь?

— Да. Она в Железнодорожном коттедже, где живут Сара Плоумейн и ее мать.

— Ты там был?

— Да. Только никому не говори.

— Но ты знаешь этих людей — они ведь ужасны, правда?

— Я когда-то знал Сару. Но слушай, что я тебе скажу. Я собираюсь встретиться с сестрой Марка еще раз завтра утром. Для меня это ужасно важно. Она была добра ко мне, она мне может помочь. Никто другой сделать это не в состоянии…

— А я тебе не могу помочь?

— Ах, Илона, конечно, ты мне помогаешь, но ты должна понять, тут особый случай…

— Я тебе не нужна. Ты идешь к ней.

— Илона, не будь глупенькой…

— Ты нас оставляешь…

Илона закрыла лицо руками и горько зарыдала. Слезы ручьем текли сквозь ее пальцы, скатывались по щекам на шею, на расшитый воротник ночной рубашки и на халат, отчего цвет его становился темнее. Она плакала, издавая какие-то короткие скулящие звуки.

— Илона, не плачь, пожалуйста, не плачь, я этого не вынесу!

Эдвард вскочил и сел рядом с девушкой на кровать, обнял ее за плечи. Он ощутил ее худобу и миниатюрность, хрупкость ее костей. Илона съежилась, подалась в сторону, сбросила с плеча его руку. Он ощущал запах влажной шерсти и теплый аромат ее тела, только пробудившегося ото сна.

— Прекрати, пожалуйста, моя дорогая…

Илона повернулась и принялась искать под подушкой платок, нашла его, вытерла лицо, промокнула шею. Продолжая шмыгать носом и хныкать, она сказала:

— Ты возьмешь меня с собой в Лондон? Можно, я поживу у тебя дома? Совсем недолго. Я найду работу. Пожалуйста, позволь мне поехать с тобой в Лондон. Я не хочу здесь оставаться. Я здесь умру.

Эдвард чувствовал болезненную жалость и любовь к Илоне, в то же время понимая, что все это невозможно. Он не мог взять Илону в Лондон и держать ее в своей комнате, как домашнего зверька. Она бы зачахла там. И какую работу может она найти, для какой работы она вообще годится?

— Но ты должна оставаться с Джессом, — сказал он.

— Они не дают мне видеться с Джессом, не позволяют приближаться к нему. Они ревнуют А сегодня… он меня даже не заметил.

Она поплакала еще, потом принялась выжимать платок, глядя, как влага капает на коврик перед кроватью.

— Так или иначе, но я тоже должен оставаться с Джессом, — произнес Эдвард с инстинктивной горячностью, хотя и безрадостно. — И с чего ты взяла, что я уезжаю?

— Ты уезжаешь. Тебе придется уехать. Ты не сможешь этого вынести. Они перестанут пускать тебя к нему. Ты будешь вынужден уехать, ты поедешь за ней. Ты забудешь меня. Я никому не нужна.

Слезы хлынули снова, словно ливень, льющийся из бесконечного источника. Эдвард никогда

не видел, чтобы девушки так плакали. Он никогда не видел столько слез. Потом он вообразил, будто в младенчестве видел, как плачет его мать. Столько женских слез!

— Илона, не надо. Ты моя сестра, я люблю тебя. Я тебе говорил об этом, не забывай.

— Тогда ты возьмешь меня в Лондон?

— Понимаешь, это довольно трудно…

Он задумался. «Не могу себе этого представить — она умрет, если покинет Сигард, и потом…»

Илона резко перестала плакать, поднялась на ноги, бросила мокрый платок в угол, открыла ящик и вытащила большой квадратный белый носовой платок, аккуратно развернула его, вытерла руки и сунула в карман халата. После чего спокойным ровным голосом, не глядя на Эдварда, сказала:

— Все понятно, я тебе не нужна. Это была глупая надежда. Мне не остается ничего другого — только утопиться.

— Илона, не говори таких глупостей! Я тебе сказал, я никуда не уезжаю! А если и уеду, то обязательно буду приезжать к тебе. А потом, когда дела в Лондоне немного образуются, не вижу причин, почему бы тебе не приехать ко мне в гости…

— «В гости»! Нет, ты не понимаешь, ты не знаешь, чего я хочу и как сильно я хочу, сколько я думала, что твой приезд все изменит и даст мне надежду… Но какое это имеет значение? Пожалуйста, уходи, я хочу спать, а тебя не должны видеть здесь, не то они меня обвинят.

Эдвард услышал глухой рокот, потом громкий, безошибочно узнаваемый звук — машина возвращалась домой. Он вскочил на ноги.

— Машина. Я должен идти. Илона, я буду заботиться о тебе всю жизнь. Я тебе обещаю… дорогая, дорогая Илона, верь мне…

— Иди скорее. Я должна выключить свет.

Она выключила лампу, когда он еще не успел дойти до двери.

Эдвард открыл глаза и увидел дневной свет. Он забыл закрыть ставни. Он лежал на спине, расслабившись, наполовину проснувшись, а потом вспомнил удивительные события вчерашнего вечера: приезд Гарри и Мидж в качестве «мистера и миссис Бентли», появление Джесса, проклятие Джесса в адрес Стюарта и то, как Джесс держал Мидж в объятиях и целовал ее. Он думал, что перед ним Хлоя. Как странно. Приснилось все это Эдварду или было на самом деле? А потом он говорил с Илоной, и она так много плакала. А еще

он свалился с каменной лестницы в темноте и ушиб ногу. Потом он стоял в Переходе, пытаясь расслышать, о чем говорят Беттина и матушка Мэй в зале. Около двери слова их можно было разобрать, но это вызвало у него отвращение и он похромал в Западный Селден. А теперь… как это ужасно, и что он должен со всем этим делать? Эдвард приподнялся, скинул с себя простыню и одеяло, сел на кровати, потирая больную ногу. Он осмотрел порезанный палец, который затягивался после того, как матушка Мэй приложила к ранке листик. Потом, словно вспышка, в мозгу у него пронеслось: Брауни. Сегодня.

Эдвард посмотрел на часы. Было уже поздно, завтрак закончился, он проспал. А если он не успеет вовремя, если она уже уйдет, если она решит, что он не хочет ее видеть, если он потеряет ее навсегда? Он стал одеваться с неловкой поспешностью. Вдруг они задержат его? Вдруг Илона от отчаяния и ревности сказала остальным, куда он собирается? Одевшись, Эдвард подошел к окну — посмотреть, нет ли кого внизу. Он намеревался выскользнуть из дома прямо через двери Западного Селдена. За дверью висел густой туман, его ровная поверхность находилась в нескольких футах над землей. Впечатление

было такое, будто паводок окружил дом. А если он заблудится? Господи, ведь он же не знает дороги в Железнодорожный коттедж — он случайно нашел его! Нужно найти место, где старые железнодорожные пути пересекают дорогу. Но в тот раз он чуть не прошел мимо и в таком чертовом тумане вполне может пройти мимо опять. К тому же тот путь, судя по всему, обходной, и наверняка есть прямой ход к железной дороге. Нужно посмотреть на карту. Но он оставил ее в ящике в Затрапезной.

Эдвард стоял, мучимый тревогой и нерешительностью, потом надел пиджак. Ему было нехорошо, голова слегка кружилась, мысли путались, все время хотелось моргать, словно туман попал в глаза. Он зашел в ванную, не зная, стоит бриться ради Брауни или нет. Посмотрел на себя в зеркало. Вид у него был еще тот. Эдвард нетерпеливо побрился, двигая бритвой с болезненной медлительностью, словно что-то держало его за руку. Он решил надеть галстук, но ему не удавалось завязать узел, и он бросил его.

Причесался, сунул расческу в карман. Он все еще не решил, стоит ли ему рискнуть и идти за картой.

Открыв дверь своей спальни, Эдвард прислу-

шался. Белое безмолвие тумана проникло в дом. Не было слышно ни звука. Он подошел к лестнице, потом бросился назад за плащом, после чего спустился до самого Перехода и снова прислушался. На кухне никого не было. Он осторожно открыл дверь Атриума: большой зал был пуст, на столе — остатки завтрака. Подойдя поближе, Эдвард увидел хлеб, джем, кувшин с фруктовым соком и вдруг почувствовал, что голоден как волк. Вчера он не ужинал. Он быстро оторвал кусок хлеба и выпил два стакана фруктового сока, у которого был хмельной привкус, как у вина. Возможно, это и было вино. Эдвард сделал себе сэндвич с вареньем и сунул его в карман. Несколько мгновений он чувствовал себя совсем больным, ему казалось, что ноги его не касаются земли. Он подавил желание сесть за стол и опустить голову на руки. Подошел к Затрапезной и заглянул в пустую комнату. Через мгновение в его кармане лежала карта, и он на цыпочках крался по плиточному полу к главной двери, когда в дом снаружи вошла матушка Мэй. Она отодвинулась в сторону, когда Эдвард стрелой метнулся к двери. Он слышал, как она окликнула его по имени, но уже бежал, не оглядываясь, по лужайке.

Он хотел поскорее оказаться подальше от

дома и найти какое-нибудь место, где можно остановиться и сориентироваться по карте. Он направлялся к деревьям налево за теплицами и фруктовым садом, чтобы тополиная роща оказалась между домом и ним, и воображал, как Беттина и матушка Мэй бегут следом и зовут его. Он по пояс погрузился в белый туман, словно половина человека спасалась бегством. За тополями Эдвард замедлил шаг и прислушался. Никаких признаков погони не было. Он развернул карту, которая тут же начала складываться в его руках, словно он держал несколько кое-как сшитых между собой маленьких книг. Он встал на колени — трава была влажной от тумана и росы — и разложил карту, потом второпях сложил, чтобы видеть только то, что ему нужно. От проезда к железнодорожным путям вела тропинка, но Эдвард в прошлый раз не заметил ее; возможно, она заросла или была засажена «нехорошим фермером», о котором говорила Илона. Идти по дороге надежнее. С помощью карты можно было хотя бы оценить расстояние. Он пошел параллельно дорожке по кочковатой земле, поросшей травой, утесником, кустами бузины и орешника. Ему показалось, что до него доносится шум автомобильного мотора. Потом он отчетливо услышал

журчание реки. Эдвард продирался через заросли полегшего папоротника, среди которых уже пробивались упругие молодые побеги, похожие на маленькие зеленые прогулочные трости. Потом он увидел берег реки и знакомую тропинку. Туман рассеивался, поднимался от земли и таял в воздухе, и Эдвард смутно видел склон невысокого холма, деревья на другой стороне. Судя по карте, если идти вдоль берега, то добраться до дороги можно скорее, хотя это будет дальше от места назначения. С другой стороны, он опасался идти открыто, а на шоссе мог бы пуститься бегом. Почему все вдруг стало таким трудным?

Эдвард решил, что лучше все же вернуться на дорогу. Посмотрев на часы, он понял, что потратил немало времени, сверяясь с картой и шагая по кочковатой земле. Время уходило, и нужно было торопиться. Чуть не плача, он подумал: «Мне нехорошо, я так странно себя чувствую. Какая-то лихорадка, горячка, голова болит, хочется лечь и заснуть. Может, все дело в солнце? Я вижу его как золотой шар, плывущий сквозь туман, но я не должен на него смотреть. Уже все заволокло туманом, да? Ведь это туман, а не мои глаза? Не нужно мне было пить этот сок. Для чего он стоял там в маленьком кувшине? Неужели

они оставили его специально для меня? Они не хотели меня выпускать. Я не должен смотреть на солнце. Я хочу присесть и отдохнуть, но я не должен этого делать, я должен добраться до Брауни, а если я этого не сделаю, то больше никогда ее не увижу».

Он решил еще немного пройти по тропинке, только нужно было торопиться. Заросли крапивы казались похожими на зеленое кресло, и ему вдруг пришло в голову, что он попал в одну из картин Джесса! Лист коснулся его руки, прочертив зудящую линию. Эдвард остановился, широко расставил ноги, чтобы сохранить равновесие, и посмотрел на реку. Он был совсем рядом с «мостом», где вода перекатывалась через переброшенную с берега на берег ограду, образующую ненадежный переход. У него под ногами росли грозди первоцветов, а ближе к воде цвели желтые ирисы; по плавучим водорослям бегали трясогузки. Он почувствовал желание перебраться на другой берег. Неужели перст судьбы указал ему этот путь, запрограммировал его на выбор этой тропинки? Бурая вода текла целеустремленно, ровным потоком и не так быстро, как прежде; она обтекала деревянные планки, перекатывалась через них спокойно, без пены, издавая мягкий

журчащий шепоток. Вода была прозрачная, как тонированное стекло. Эдвард посмотрел на сочные зеленые побеги тростника, оценил расстояние между берегом и лежачей оградой.

Потом он увидел нечто удивительное, нечто ужасное. Он увидел Джесса. Джесс был внизу в воде, под ним, — смотрел оттуда вверх. «Он сошел с ума, сошел с ума, — подумал Эдвард, и его потрясение было таким сильным, что он отошел от края, словно получил сокрушительный удар. — Джесс увидел меня и спрятался там, в реке, он решил меня испугать». Он подошел и взглянул снова. Теперь картина изменилась. Он все еще видел Джесса, но теперь он понял, что тот находится под водой. Эдвард рассмотрел его лицо, открытые глаза, какое-то подобие улыбки; черные волосы и борода, увлеченные силой течения, шевелились в воде, четко была видна одна рука с рубиновым перстнем. За головой Джесса было что-то вроде черного бугорка, оплетенного стеблями мертвого тростника. Вода здесь казалась спокойной, похожей на бурый студень, и глаза Джесса смотрели на Эдварда, как глаза какого-то морского чудовища. «Боже мой, — подумал он, — это галлюцинация. Вроде тех ночных сновидений, когда меня опоили. Они

накачали меня».

Он встал на колени и опустил руку в воду. Стоило ему взбаламутить ровную поверхность, как видение исчезло, но несколько мгновений он чувствовал пальцами перстень, что-то мягкое и холодное, твердый поясок. Потом и это ощущение исчезло. Эдвард встал и снова уставился вниз, наклонив голову вперед, чуть не падая в реку. Он видел бурую воду, раскачивающиеся молодые тростники — и ничего больше. Теперь вода пенилась и закручивалась, и он уже не видел сквозь нее. «Джесс не сошел с ума, — подумал Эдвард. — Это я свихнулся». Он отошел от воды и побежал вдоль берега.

Потом он перестал бежать и зашагал дальше. Тропинка оборвалась у моста. Высокая трава замедляла движения, и Эдвард был вынужден остановиться. Он развернулся и пошел назад. Рот у него был открыт, дыхание вырывалось короткими взволнованными стонами. Он снова остановился над тем местом и заглянул в реку, в воду, к которой вернулась ее буровато-стеклянистая прозрачность. Под водой ничего не было. Он сел и соскользнул вниз по берегу, зарывшись каблуками в глинистую поверхность, остановился по колено в воде. Он снова посмотрел в воду,

зачерпнул ее руками и принялся ходить вдоль берега, пробуя ногами дно, погружаясь в поток почти по пояс. Выбрался наверх и, продираясь сквозь траву, пробежал вдоль берега по течению, заглядывая в тростники, шаря глазами среди длинных колеблющихся в воде растений. Потом он оставил это занятие и быстрым шагом направился по траве к дороге.

Добравшись до нее, Эдвард все еще тяжело дышал от страха и потрясения. «Это ужасно, это отвратительно, — думал он. — Неужели я и дальше буду таким? Я разрушаюсь?» А еще он думал: «Да нет, они не травят меня, это мои собственные проблемы. Это тот ужасный наркотик, что я принимал, он навсегда останется в моей крови, навсегда. Какое жуткое видение. Я погибаю. Вот до чего я дошел, вот куда меня несет. А я-то думал, что выздоравливаю. Думал, что мне лучше. Но наказание, конечно же, следует автоматически». И еще: «Что сможет поделать с этим Брауни? Я не должен ей говорить, хватит с нее моих прежних бед, она и так предостаточно наслушалась, она узнает и придет в ужас, ничего, кроме отвращения, я у нее не вызову. Ах, Брауни, бедная, бедная Брауни». Когда он добрался до коттеджа, она ждала его, стоя у двери.

— Эдвард, что с тобой? Ты болен?

— Нет. Да. Думаю, у меня малярия.

— Малярия?

— Да, тут на болоте малярийные комары.

— Ты весь мокрый и в грязи.

— Я провалился в лужу. Ужасно глупо. Боялся опоздать.

— Сядь. Хочешь чего-нибудь? Кофе? Шерри?

— Нет, ничего не надо, я через минуту буду в порядке.

Эдвард сел на низенький стул. Голова у него кружилась, черное облако витало над ним, над самой его головой.

— Я не должен досаждать тебе, Брауни, — сказал он. — Не хочу тебе мешать. Ты должна собираться.

— Я уже собралась. Идти до автобуса всего ничего. Выпей-ка чего-нибудь. Я и сама выпью.

— Хорошо. Шерри.

У шерри, темного и довольно сладкого, был великолепный вкус, напоминавший божественный нектар. Эдварду стало чуточку получше.

— Спасибо. Я пришел в себя. Нет, конечно, это не малярия. У меня был грипп, а теперь я почти поправился.

— Ты весь дрожишь. Я включу обогреватель.

Вот так.

— Ах, Брауни, Брауни…

Они посмотрели друг на друга.

В темной комнате, где все было покрыто то ли печной гарью, то ли налетом времени, Брауни казалась старше и тусклее: волосы не так блестели, на лице лежала печать усталости или грусти. Она надела юбку цвета морской волны и коричневую кофту, поверх которой совсем не к месту торчал воротничок синей блузки. Бледное лицо было чрезмерно крупным и голым, не защищенным ни косметикой, ни красивой прической, ни обаянием. Она замерла, тяжело расставив ноги, сцепив перед собой руки, и глядела на Эдварда. Брауни стояла неподвижно, и Эдвард попытался тоже встать.

— Нет-нет, сиди. Хочешь, затоплю печь?

— Нет, пожалуйста, не надо…

— Я вчера не топила. А сегодня утром холодновато. В доме сразу становится сыро.

Она подтащила к себе стул с прямой спинкой и села, возвышаясь над Эдвардом, а он чувствовал себя неловким и слабым на своем стуле пониже с провалившимся сиденьем и деревянными подлокотниками. Ноги его были неловко вытянуты вперед, а над его брюками от жара обогревателя,

который Брауни поставила рядом с ним, поднимался парок. Эдвард хотел найти стул повыше, но не отваживался ни на это, ни на то, чтобы попросить еще шерри.

— Спасибо, что согласилась встретиться со мной…

— Ну что ты…

— Ты сказала, что хочешь спросить меня еще о чем-то.

— Да. Вообще-то о двух вещах… Ты уж извини меня за этот… допрос, что ли… но я чувствую, что должна прояснить все, пока у меня есть возможность видеть тебя.

— Да… конечно… — Для Эдварда это прозвучало так, словно очень скоро их встречи закончатся, и навсегда.

— Может, такой вопрос тебе покажется сумасшедшим… но… слушай, ты мне правду сказал в прошлый раз, что дал ему наркотик, а он не знал об этом?

— Да. Боже мой, если ты мне не веришь, мне конец!

— Нет, я знаю, но мне необходимо выбросить из головы одну мысль. Сам он у тебя ничего не просил?

— Нет!

— Тем не менее у него могли быть… какие-то основания… для того, чтобы выпрыгнуть в окно.

— Не понимаю, — сказал Эдвард.

Ему снова стало нехорошо, чернота вернулась, невыносимое отчаяние смыкалось вокруг.

— Я хочу сказать, ты уверен, что это не самоубийство?

— Самоубийство? Нет! Конечно же нет!

— Он не горевал, ничего ужасного с ним не случилось, его девушка не уходила от него, или…

— Нет!

— То есть, насколько тебе известно, он был абсолютно счастлив и в полном порядке?

— Да, он был в порядке, абсолютно счастлив, все у него шло великолепно. Боже, извини меня…

Брауни вздохнула. Она смотрела на яркое мерцающее окошко обогревателя, приподняв уголок юбки и бессознательно теребя ткань пальцами.

— Хорошо… ладно… еще одно… Извини, что спрашиваю, но у тебя не было гомосексуальных отношений с Марком?

Этот вопрос непонятной болью отозвался в сердце Эдварда. Ему впервые показалось, что такое могло произойти в их долгом совместном будущем, которое теперь уничтожено.

— Нет, не было. Я его любил. Но не так.

— А он любил тебя?

— Да. Я думаю. Я уверен.

— Но не так.

— Не так.

«Могу ли я быть уверен?» — подумал Эдвард. Господи, как ему стало больно, когда речь вдруг зашла о том, что могло бы быть. Новая пытка и новые кровоточащие язвы.

— Понимаешь, — произнесла Брауни своим холодным печальным голосом, — люди разное говорят. Кто-то мне сказал, что между вами якобы были гомосексуальные отношения и ты после ссоры от ревности выкинул его в окно.

Эдвард вскрикнул. Ему наконец удалось подняться со стула и встать перед ней.

— Нет! Это неправда. Это не может быть правдой. Боже мой! Кто сказал такое?

— Ты не знаешь этого человека. Он размышлял и высказывал предположения. Это всех так сильно интересовало. Ужасная непонятная трагедия всегда привлекает людей.

— Но ты ведь так не думаешь?

— Нет, не думаю. Правда не думаю. И никогда не думала. Но я должна была спросить, чтобы избавиться от этой мысли. Теперь ее нет.

— Она ушла от тебя ко мне. Теперь я буду посто-

янно думать, что люди так считают.

Эдвард тут же пожалел об этих словах. Если у нее была какая-то ужасная мысль, разве он не должен принять на себя это бремя и радоваться тому, что взял ее боль на себя? А сказанные только что слова означали, что его больше волновала собственная репутация, чем смерть Марка.

— Черт возьми, — сказал он, — мне очень, очень жаль, что тебе пришлось выслушивать такие ужасные предположения и спекуляции.

Он подошел к окну, потом вернулся назад. Ему хотелось рыдать и рвать на себе волосы.

Брауни, ссутулившаяся на своем стуле, чуть нахмурилась, глядя на него. Она скрестила ноги, одернула юбку и вздохнула.

— Ну вот и все. Я верю всему, что ты говоришь.

— Да. Едва ли может быть хуже. Я имею в виду то, что случилось на самом деле. Я обманул его и бросил, а значит — убил.

— Пожалуйста, не говори так. Неужели ты не видишь, мне легче, если я могу… могу понять тебя и сочувствовать…

— Ты хочешь сказать, если можешь простить меня.

— Да, если угодно, пусть так.

— И ты прощаешь?

— Да, — ответила она глухим скорбным голосом.

«А каким еще голосом могла она это сказать?» — подумал Эдвард. Брауни и так дала ему слишком много, так неужели он будет рыдать и жаловаться, если она не дала ему еще больше? Сегодня она не была похожа на Марка. Возможно, она была похожа на свою мать.

— Ты справедливый судья, — сказал он. — Спасибо… итак, со мной покончено, теперь меня можно отправить на помойку. А как насчет твоей матери? Ты говорила, вдруг я смогу помочь ей.

— Она по-прежнему тебя ненавидит.

— Кто-то мне сказал, что ненависть убивает. Может быть, ее ненависть убьет меня. А может, так оно и к лучшему — свершившееся правосудие.

— Ты говоришь ужасные вещи. Ненависть убивает того, кто ненавидит. Моя несчастная мать почти помешалась на этом.

— Вот еще одно мое преступление.

— Последствия какого-то поступка могут долго напоминать о себе.

— И что мне с этим делать?

— Ничего. Я думала, ты как-нибудь сможешь ей помочь, но сейчас я этого не вижу. Скажем так:

пусть тебя это не заботит.

Он вдруг понял: «Она ненавидит меня. Брауни меня ненавидит. Но это невозможно, это убийственно».

— А если я встречусь с ней? Или напишу ей?

— Нет. Я передам ей кое-что из того, что ты мне рассказал… все, что необходимо…

— Могу я сделать для тебя что-нибудь еще?

— Нет. Ты был очень терпелив.

— Терпелив! Боже милостивый!

Брауни встала и стала тереть руками лицо, разглаживая свой крупный белый лоб, потом завела за уши тусклые волосы и зевнула.

Эдвард отступил от нее. Брюки у него все еще были мокрые, нагревшиеся, но мокрые. Брауни выключила обогреватель. Они направились к двери, но остановились. Брауни поправила воротничок своей блузки. Эдвард вдруг понял, что за все время их разговора так толком и не взглянул на нее. Секунду они смотрели друг на друга, потом отвели глаза.

— Ну, до свидания и спасибо, — сказала она.

Эдвард отчаянно пытался изобрести что-нибудь для продолжения разговора, но тщетно. Он почувствовал что-то мокрое у себя на боку, залез в карман пиджака и извлек оттуда приготовлен-

ный наспех сэндвич с джемом, превратившийся в красноватое месиво.

— Что это? — спросила Брауни.

— Сэндвич с джемом. Я о нем совершенно забыл. Наверное, раздавил об стул. Я его сунул в карман… не успел позавтракать…

Они могли бы рассмеяться, но не стали. Брауни слабо улыбнулась.

— Можно его куда-нибудь выбросить?

Он держал сэндвич в руке.

— Давай мне.

Брауни взяла сэндвич и с силой швырнула его в очаг, в золу, а потом вытерла руки о юбку.

У Эдварда слезы стояли в глазах. Черный отчаянный страх заполнил его почти целиком.

— Хочешь, я приготовлю тебе сэндвич? Хотя нет… я же выбросила всю еду.

— Ничего страшного. Я поем… там…

— Ну тогда — до свидания. Спасибо, что пришел.

Они снова замерли на мгновение и посмотрели друг на друга. Потом каждый из них сделал маленький шажок вперед и, подчиняясь необъяснимому таинственному порыву, властно притягивающему одного человека к другому, сжали друг друга в объятиях. Они замерли, об-

нявшись — с силой, со страстью, закрыв глаза; ее голова лежала у него на плече, его лицо зарылось в ее волосы. Потом они расцепились, Эдвард неуклюже поцеловал ее в щеку, быстро — в губы и отпрянул.

Теперь Брауни изменилась. Она разрумянилась, и на ее лице, встревоженном и собранном, появилось мягкое, почти извиняющееся выражение, а плавный жест рукой напоминал о поклоне. Она выглядела страдающей, растроганной, помолодевшей, почти застенчивой. Эдвард чувствовал, что и на его лице появилось такое же выражение. Как подданный, напугавший своего принца, он испытывал желание пасть на колени и поцеловать край ее юбки.

Брауни отвернулась и очень тихим голосом сказала, не глядя на него:

— Не уходи пока.

Она направилась к выцветшему красноватому дивану у окна, затененного подвешенными стеблями каких-то засушенных растений. Эдвард подошел и сел рядом с ней. Он взял ее руку и, наклонив голову, провел костяшками ее пальцев по своему лбу. Его переполняли эмоции, ему казалось, что он раздваивается, раздираемый противоречивыми чувствами: физическим же-

ланием — с одной стороны, и сентиментальным смирением — с другой. Он подтянул ее руку к своим волосам, не осмеливаясь поднять глаза.

— Я могу уехать и другим автобусом, — сказала она.

— Ах, Брауни, — проговорил он, — помоги мне. Люби меня. Я люблю тебя.

— Кажется, я тоже тебя люблю.

Эдвард поднял голову и заглянул в темные карие глаза, еще темнее, чем его. Они были такие яркие, нежные и преданные. Он прикоснулся пальцем к ее щеке, потом к губам и произнес:

— Ты жалеешь меня. Тебя охватило прекрасное, чудесное чувство жалости. Я тебе так благодарен. Я целую твои ноги.

Он шевельнулся, словно собирался сделать это, но она удержала его.

— Эдвард… как странно… кроме нас самих, нам никто не может помочь.

— Боже милостивый, ты так добра… так… так милосердна, так драгоценна… я не могу найти подходящего слова… ты как великая королева… у тебя есть то единственное, что необходимо… как волшебный бриллиант…

— Но ты согласен, что мы можем помочь друг другу? Хотя бы в этом мы принадлежим друг

другу. Не исчезай.

— Да, мы можем помочь друг другу. Ты определенно можешь помочь мне. Мой милый ангел… это не сон?

— Нет, я уверена. Я чувствую такое… такое…

— Не называй этого чувства. Я тебя люблю. Мне это позволено.

Эдвард взял обе руки Брауни и стал целовать их, прикладывая к своим щекам и ощущая поцелуи, как слезы.

Это жест вдруг напомнил ему, как он целовал руки Джесса, когда видел отца в последний раз. Матушка Мэй сказала ему: «А теперь уходи», Джесс же сказал: «Я увижу тебя во сне» и «Завтра». И вот «завтра» настало. Он только что видел — и на несколько мгновений забыл — этот ужас. Эдвард резко сел, в глазах его загорелись отчаяние и страх. Вдруг это было на самом деле и Джесс умер, утонул, а он его не спас? Внезапно Эдвард почувствовал, что самое важное для него — это лететь стрелой в Сигард и убедиться, что Джесс жив. Пока он не уверен в этом, все, даже чудесная Брауни, будет темным и порченым. Если с Джессом все в порядке, а Брауни будет милосердна и будет любить его, он имеет шанс исцелиться. «Вот это и есть настоящее», — подумал Эдвард.

В отличие от того, что делали с ним женщины в Сигарде. Пребывание в их доме представлялось ему теперь каким-то жутким фарсом.

— Что случилось? — спросила Брауни. — Ты так же выглядел, когда появился. Ты болен.

— Нет. Но я вспомнил кое-что важное. Я должен вернуться в Сигард.

— Сейчас? А подождать нельзя? Я чувствую… может, между нами никогда больше не будет такого. Я боюсь. Не уходи!

— Брауни, я должен. Это ужасно важно, иначе я бы не… Я не хочу уходить. И мы, конечно, будем вместе… мне так жаль…

Она убрала руки и встала. Чары распались.

— Ну хорошо. Должен так должен. Я тебя не держу. Вижу, как это важно для тебя.

— Мне ужасно жаль. Ты будешь здесь?

— Если ты уходишь, я пойду на автобус. Еще успею.

— Но мы встретимся…

— Да, конечно. До моего возвращения в Америку. Не беспокойся, Эдвард. У нас была хорошая встреча. Возможно, за эти несколько минут мы сделали все, что нужно. Не думай больше о том, что случилось, оставь его как есть.

— Брауни, мне… мне очень жаль, что я не могу

объяснить… я должен…

— Да-да, пожалуйста, уходи.

— Спасибо, и… ох.

Эдвард бросился к двери, потом сделал шаг к Брауни, но все-таки выбежал наружу. Оказавшись под открытым небом, он вдруг увидел — довольно близко, за деревьями — верхушку башни Сигарда. Он сумеет добраться туда быстро и, возможно, вернется, прежде чем Брауни уйдет к своему автобусу. Может быть, попросит ее подождать? Дверь за ним закрылась. Нет, нельзя. Он все делал не так; все, что он делал, было обречено. На нем лежит проклятие, и снять это проклятие могут только два человека, Джесс и Брауни, но они пока этого не сделали. Эдвард побежал — сначала по заросшим травой железнодорожным путям, потом по насыпи и по скользкому влажному полю, перебрался через невысокую полуразрушенную каменную стену. Туман рассеялся, и солнце светило ему в глаза. Башня исчезла из виду, но Эдвард бежал дальше, уверенный в выбранном направлении. Однако он пробежал мимо тропинки, по которой Сара провела «мистера и миссис Бентли», когда луч фонарика освещал ее ноги. Скоро он обнаружил, что с трудом перебирается через осклизлую кана-

ву, заросшую куманикой.

Наконец он добрался до Сигарда, влетел в Атриум. Первой, кого он там увидел, была матушка Мэй. Она сидела за столом, нарезала ножницами листья салата на длинные ленточки и укладывала их в большую деревянную миску.

— Привет, Эдвард. Что это тебя укусило?

— Как Джесс?

— В порядке. Он спит.

Эдвард повернулся и пошел к Переходу.

— Эдвард!

— Да… извините…

— Подойди сюда. Присядь.

Он подошел и сел за стол напротив нее. Матушка Мэй посмотрела на него спокойными удлиненными серыми глазами. Потом она протянула руку, взяла Эдварда за пальцы и потянула к себе, распрямляя его плечо и предплечье. Он смотрел на движение своей руки, словно это был какой-то механизм. Потом поднял взгляд на красивую голову матушки Мэй, на замысловато уложенную массу ее рыжевато-золотистых волос, мягкое лицо и насмешливую линию рта. Он почувствовал, что она легонько сжала его руку.

— Ах, Эдвард…

— Извините, — сказал Эдвард. — Я ужасен. Я

знаю, что подвел вас всех. Вы так замечательно относитесь ко мне. Но я не могу принести то, что вам нужно.

— Принести что?

— Перемены. Я — это всего лишь я.

Пожатие руки матушки Мэй напомнило Эдварду о том странном разговоре, когда она спросила его: «Можешь ли ты мне помочь, можешь ли ты меня любить, может ли твоя любовь быть достаточно сильной?» Он забыл подробности. Он тогда был пьян, и матушка Мэй тоже. Смущалась ли она, вспоминая об этом? Сейчас никакого смущения не было, она была полна сил. Эдвард ухватил ее руку, впился глазами в ее лицо.

— Но мы изменили тебя. Не отказывайся же от нас. Мы тебе нужны, ты нужен нам. Теперь это твой дом.

Она говорила настойчиво, властно.

— Да, я думаю, так оно и есть, — ответил Эдвард.

Все остальное лежало в руинах. Лежало? А как же иначе? Он не мог позволить себе отбросить Сигард. Но сейчас ему не хотелось думать об этом, ему хотелось побыть одному.

Матушка Мэй отпустила его.

— Куда ты ходил сегодня утром?

— Так, прогулялся. По дороге.

— Ты неважно выглядишь. У тебя лихорадка. Тебе нужно лежать в постели.

— Нет-нет…

— Иди и ложись. Я принесу тебе бульон.

— Нет, я не лягу в постель!

Эдвард вскочил на ноги. Его желание одиночества было таким страстным, что он был готов отшвырнуть в сторону любого, кто встанет у него на пути. Он поспешил прочь к двери Перехода. Закрывая дверь, он оглянулся и увидел, что матушка Мэй пристально смотрит ему вслед. Она сказала:

— Ну хорошо. Обед через полчаса.

Эдвард припустил бегом.

Наверху, сидя на своей кровати, он вспомнил, что Сара говорила о Брауни: «Я пошла к ней…» От этого воспоминания ему стало нехорошо. Сара, как любопытная всезнающая собачка, побежала к Брауни, чтобы все разузнать и стать свидетелем ее отчаяния, взять на себя миссию по ее утешению. Конечно, это несправедливо с его стороны, но ему было невмоготу представлять себе Сару вместе с Брауни: как она держит Брауни за руку или говорит о нем. Слава богу, Джесс жив, так зачем же он испортил все с Брауни? Эту проклятую

галлюцинацию явно послал сам дьявол. Если бы Эдвард остался с ней, если бы не убежал позорно, между ними могло случиться что угодно. Они вдруг вошли в такую чудную колею. Она сказала, что он нужен ей, что они предназначены друг другу, она была готова отдаться ему. Господи Иисусе, они могли бы лечь в постель! Это было бы событие, чудо, исцеление, нечто идеальное. Если бы с Эдвардом случилось это идеальное событие, оно привязало бы к нему Брауни навсегда. Он жаждал ее с такой страстью, с такой силой… но он разочаровал ее, расхолодил. Она даже могла подумать, что ему неуютно в ее объятиях, что он испытывает неприязнь к ней и придумал повод улизнуть. Черт возьми! Теперь она уехала в Лондон, бог знает куда, а он даже не спросил ее адреса. Но Эдвард все равно не мог прийти в дом ее матери. «Я тоже поеду в Лондон, — подумал он, — найду ее и все исправлю. Я поеду в Лондон и возьму с собой Джесса и Илону». Но чем больше он размышлял об этом, тем яснее понимал, что это невозможно. Угрызения совести болезненно терзали его — из-за Марка, из-за Брауни, из-за утраты счастья навсегда: утраты, утраты, утраты. Он спустился к обеду.

Обед вышел до странности фальшивым. Эдвард

явственно чувствовал, что стал здесь чужим, превратился в преступника. Илона молчала, избегая его взгляда. Беттина и матушка Мэй посматривали на него и по очереди подшучивали над ним, отпуская банальные замечания. Между шутками воцарялось молчание. Вина на столе не было. Эдварда поразило, что никто ни словом не обмолвился о вчерашнем вечере. Не прозвучало даже самых естественных слов вроде: «Ну и странное дело! Представить только — он решил, будто перед ним Хлоя!» Но они, конечно, именно этого и не хотели говорить. Эдвард, желая поддразнить их, как бы вскользь сказал Беттине:

— Так что, они уехали вчера без проблем?

— О да.

— И Стюарт с ними?

— Да.

— Машину трудно было вытянуть?

— Нет, она сразу поддалась.

— Стюарт тут не задержался, да?

— Не задержался.

— И как он вам показался?

— Боюсь, я его почти не видела.

Эдвард сдался. После обеда он поднялся к себе. Теперь у него появилось время подумать, и он стал размышлять об обстоятельствах отъезда бра-

та. Он посмотрел, не оставил ли ему брат записку, потом прошел в комнату Стюарта и поискал там. Ничего. Эдвард сел на стул и уставился на изображенную Джессом катастрофу — на людей, сидевших на стульях. И вдруг как будто отравленная стрела пронзила его. В самом ли деле Джесс жив? Не лучше ли сходить и убедиться?

Эдвард бегом спустился вниз и вышел из дверей Западного Селдена. Он обошел Селден вокруг, потом через конюшенный двор добрался до двери Затрапезной. Он дернул ручку двери, ведущей в башню, — она оказалась не заперта. Оставив дверь широко открытой, он побежал вверх по спиральной лестнице. Тяжело дыша, он добрался до двери Джесса, легонько постучал и распахнул ее. Комната оказалась пуста. Как и ванная. Джесса не было.

— Но вы видели, как он уходил?

— Нет.

Эдвард обыскал башню, пробежал по остальной части дома. Он даже заглянул в Восточный Селден, открыл там все двери — тоже пусто. Он обежал вокруг дома. Потом он поднял крик и собрал трех женщин в Затрапезной.

Матушка Мэй и Беттина сидели на диване, бессознательно приняв одинаковые позы: они

положили руки с раздвинутыми пальцами на колени. Их коричневые длинные рабочие платья ниспадали почти до пола. Илона стояла у очага. Она волновалась, переступала с ноги на ногу, трогала свое лицо, приглаживала волосы. Эдвард, снедаемый мучительной тревогой, ходил по комнате.

— Кто видел его последним?

— Наверное, я, — ответила матушка Мэй, глядя на Беттину. — Ты ведь туда не входила?

— Нет.

— И когда это было?

— Я не помню точно, — сказала матушка Мэй. — Довольно рано…

— И он спал?

— Да.

— Вы уверены?

— Нет. Он иногда притворяется спящим, чтобы не разговаривать.

— Что вы имеете в виду под «довольно рано»? Это было после того, как я ушел?

— Нет, раньше. Незадолго до завтрака.

— До завтрака? Но потом вы видели его?

— Нет.

— Значит, когда я спросил вас, как Джесс, а вы ответили, что он спит, вы видели его за час

до этого?

— Да. Я решила его не беспокоить.

Эдвард закрыл глаза и застонал.

— И никто не заметил, как он спускался?

— Нет. Мы тебе уже говорили.

— А почему вы оставили дверь незапертой?

— Эдвард, — сказала матушка Мэй, — мы тебе объясняли: Джесс прекрасно гуляет сам, он часто уходит из дома. Вот и вчера вечером он спустился из башни. Ты же как-то раз столкнулся с ним у реки. Он в последнее время чувствует себя гораздо лучше, ты, наверное, сам заметил. Мы не всегда запираем его. Если бы двери были всегда заперты, он бы совсем обезумел. Обычно мы закрываем их на ключ по ночам, но и то не всегда. Случается, забываем. Это не так уж важно.

— Значит, обе двери были открыты.

— Да, судя по всему.

— И во время завтрака вы туда не поднимались?

— Нет.

— Почему?

— Эдвард, он больной человек. Он провел ночь очень неспокойно. Какое-то время я оставалась с ним и почти не спала. Я заглянула к нему рано утром и решила — пусть себе спит дальше. У него

нет строго определенного времени для еды! Я собиралась посмотреть, как он, когда ты начал кричать на нас.

— Что с тобой случилось? — спросила Беттина. — Зачем ты устроил такой шум? Никуда он не денется. Почему ты в таком состоянии?

— Вы не считаете, что нужно заявить в полицию?

— В полицию? Ты с ума сошел?

— Вы же говорите, что он не в себе, — сказал Эдвард. — За ним нужно приглядывать.

— Мы уже не первый год приглядываем за ним, — ответила матушка Мэй.

— Может, он уехал в Лондон, — предположила вдруг Илона.

— Совершенно невероятно, — возразила матушка Мэй. — Да никуда он не денется, вернется. Эдвард, прекрати. Ты сам себя заводишь. Ступай отдохни. Я же сказала, тебе нужно полежать. Опять подскочит температура, если не будешь себя беречь. Забудь о Джессе на время. А когда вспомнишь — он уже будет тут. Он не заключенный. Было бы так, ты бы первый возмутился.

Беттина встала и сказала Эдварду:

— Я думаю, ты все еще не можешь прийти в себя после вчерашнего вечера.

— Да. Он расстроился.

— Он был доволен собой! — сказала матушка Мэй.

Она поднялась и вышла через дверь в направлении башни.

Беттина, смерив Эдварда любопытным взглядом, удалилась в мастерскую.

— Ты правда думаешь, что он уехал в Лондон?

Илона по-прежнему избегала его взгляда. Она пожала плечами, развела руками и устремилась в Атриум.

Эдвард направился во двор и снова стал ходить вокруг дома расширяющимися кругами. Он заходил в теплицы, гаражи, в кладовку, заглядывал в полусгнившие сараи, где лежали ржавые садовые инструменты и поломанные деревянные тачки. Он представлял себе, как находит Джесса в одном из сараев: отец будет сидеть там и лукаво улыбаться. Солнце грело все сильнее, и неумолчное пение птиц сплетало в воздухе почти ощутимую сеть. Тяжело дыша, Эдвард побежал через тополиную рощу к реке и вдоль берега до самого дощатого моста. Здесь он посмотрел в воду и попытался вспомнить, что видел. Образ в его памяти уже начал разлагаться, смешиваться с другими, стираться, как это происходит со снами.

Единственным ясным впечатлением оставалось прикосновение к чему-то твердому — к перстню Джесса. Эдвард наклонился над водой и увидел собственное отражение. Может, именно это он и видел, а остальное — игра воображения? Он сунул руку в холодную бурую воду. Его ищущие пальцы прикоснулись к чему-то — к камню, чуть выступавшему на дне. Возможно, он и в тот раз наткнулся на него. Эдвард побрел вдоль берега вниз по течению, внимательно осматривая заросли камыша. Он обошел бальзаминовое поле, где завязывались глянцевитые бутоны лютиков, похожие на жесткие желтые камушки. Дошел до самых ив, перебрался на другой берег по каменному мостику и двинулся вверх по травянистому склону в направлении леса. Он оказался в тени деревьев, где лучи солнца высвечивали золото прошлогодних листьев. Птичий щебет здесь не смолкал и почти оглушал, так что вскоре Эдвард перестал его слышать. Он добрался до тропинки, похожей на лестницу из корней деревьев, и пошел вверх, ступая по похожим на крошечные жертвенные изображения божков коричневатым плодам дубов, ясеней и берез, потрескивавшим под ногами. Он замедлил шаг, когда впереди открылся просвет дромоса. Осторожно пройдя

между двумя деревьями, Эдвард оказался в открытом пространстве, увидел то, что предполагал увидеть, и, как в прошлый раз, присел на колени в высокой траве на кромке поляны. Илона была уже здесь, на противоположной от него стороне поляны у пары огромных тисов. Она тоже искала Джесса. Некоторое время Илона стояла неподвижно, спиной к нему. Потом она развернулась и направилась к Лингамскому камню, села на его основание и обхватила голову руками. Эдвард не стал подходить туда. Сейчас он боялся заговаривать с ней. Некоторое время он наблюдал за девушкой, затем встал и пошел вниз по тропинке к мосту. Перейдя на другой берег, он принялся бродить по болоту, выкрикивая:

— Джесс! Джесс!

— Он трансформировал себя, — сказала матушка Мэй. — Он и раньше принимал другие формы, чтобы обновить свои силы. Сейчас он в лесу, в трансе. Превратился во что-то маленькое и коричневое, окуклился и незаметно пульсирует новой жизнью. Может быть, ты наступил на него, шагая по тропинке.

— Не надо так шутить, — отозвался Эдвард.

— Он сделался невидимым, вошел в другое измерение, пребывает в трансе, преображается.

Он знает силу трав. Он пошел в лес, как собака, чтобы найти и съесть траву, которая омолаживает и исцеляет.

— Джесс вполне мог отправиться в Лондон, — заметила Беттина. — Он уже делал так однажды, чтобы встретиться со своими дружками-художниками. Он мог поехать в наш старый дом в Челси, ведь иногда ему кажется, что он все еще там.

— Он уехал к той женщине, — сказала матушка Мэй. — К Хлое.

— К Хлое?

— Я говорю о той, другой Хлое — о твоей тетушке. Миссис Бентли.

— Вы шутите!

— Ты видел Джесса далеко не в лучшем состоянии, но порой он приходит в себя, а иногда становится настоящим маньяком. Он хитрый, он полжизни играет роль…

— Вы хотите сказать, он прикидывается беспомощным?

— Да. Он непредсказуем. Мы же тебе говорили, он ни с того ни с сего может отправиться куда-нибудь. Вот подожди, он появится и удивится, с чего это мы паникуем… Вернее, ты паникуешь, мы-то знаем, что к чему!

— Он скажет, что отсутствовал совсем недолго, — добавила Беттина. — У него иное ощущение времени.

— Но где он теперь? Не выпал же он из времени совсем. Значит, где-то он должен быть. Ночью под открытым небом можно замерзнуть.

— Последние ночи были очень теплые, — сказала матушка Мэй.

— И мы ничего не можем сделать?

— А что нам еще делать? Ты обыскал все вокруг, мы попросили лесовиков посмотреть…

— Можно было бы спросить людей из автобуса, — предложила Беттина.

— Я это уже сделал, — сказал Эдвард. — Остановил автобус на дороге и спросил водителя. Он ответил, что, если бы Джесс сел в его автобус, он услышал бы об этом на автовокзале. Конечно, Джесс мог просто проголосовать или пойти пешком в…

— Да прекрати ты! — воскликнула матушка Мэй. — Он скоро объявится. Все очень просто. Такое уже было раньше.

Эдвард, конечно, не говорил женщинам о своем видении. Это было слишком ужасно. Он чувствовал, что никому не сможет рассказать об этом, даже если Джесс вернется. А он по какой-то

причине верил, что Джесс вернется. Иное было совершенно невыносимым. Но если Джесс и в самом деле был там — под водой? Вдруг он пошел к тому странному месту или уже возвращался оттуда и свалился в воду? Может быть, Эдвард увидел его, когда он еще не утонул, а только упал и его еще можно было спасти? Эдвард представил себе эту сцену, как он стоит в воде и держит тяжелую голову Джесса. Смог бы он вытащить его сам, услышал бы кто-нибудь его призыв о помощи? Что толку в этих мучительных вопросах? Случилось так, что он убедил себя, решил, что он видит нечто нереальное, ушел прочь. Правда, потом он вернулся и ничего не нашел. Но это ничего не доказывало. Тело Джесса или даже живого Джесса могло унести течение через мгновение после того, как Эдвард его видел. Но это совершенно невероятно. Вода не справится так легко с большим тяжелым телом, а Эдвард почти сразу же тщательно обследовал реку. Если бы он не был так навязчиво одержим Брауни, не жаждал встречи с ней! Неужели Джесс умер, потому что Эдвард спешил на свидание к девушке? Опять повторилась история с Марком. Если он позволит своим мыслям улететь в этом направлении, его настигнет безумие.

Эдвард больше не предлагал обратиться в полицию, и причина тому была вполне эгоистическая. Если сюда заявится полиция, ему придется помогать им и рассказать о том, что он видел. И о том, что он принял увиденное за игру воображения. Эдвард вообразил, какой тяжелый разговор за этим последует и как всплывет его жуткое прошлое — наркотики, смерть Марка и все остальное. Его непременно отвезут в участок и начнут допрашивать снова и снова. Закончится это больницей, психиатром, сумасшедшим домом и электрошоком.

Разумеется, он побывал в Железнодорожном коттедже — ведь Джесс мог отправиться и туда. Эдвард разбил камнем одно из окон и забрался внутрь. Он обыскал весь коттедж, даже чердак. Что он предполагал найти? Обшарил кровати, включая и двуспальную, на которой, если верить Элспет Макран, он был зачат; кровать, на которой (если бы он не убежал в тот жуткий день) они могли бы заняться любовью с Брауни. Но нет! Как он мог вообразить такое — она бы ни за что вот так вдруг не легла с ним в постель. Он убедил себя, что это невозможно. Ему нужно было хоть как-то утешить себя.

Со времени исчезновения Джесса прошло уже

четыре дня. Даже погода теперь стояла необычная, солнечная и безветренная, а по ночам сияла золотисто-желтая луна. Перед появлением луны небеса мерцали звездной пылью, смутными кометами, падающими звездами. А когда луна восходила, птицы начинали свои концерты. Беттина сказала, что это не соловьи, а камышовки, они громко распевают в болоте. Перед рассветом ласточки разражались безумными песнями под самым окном Эдварда. Он решил уехать, оставить Сигард, вернуться в Лондон. Он даже собрал вещи, завернул набросок портрета Илоны в один носок, а ее цепочку — в другой. Но каждый день он откладывал отъезд, потому что думал: к вечеру Джесс вернется домой. Он стоял у окна своей спальни, как в первые дни своего пребывания здесь, и смотрел на подъездную дорожку — вот сейчас появится отец. «О отец… отец! — безмолвно стонал он по ночам, слушая сладкозвучные голоса птиц. — О мой обретенный и потерянный отец, вернись ко мне!» У него зрело желание вернуться в Лондон, хотя бы на время уехать из Сигарда. Ведь Джесс действительно мог отправиться в Лондон, и тогда он, Эдвард, найдет его там. Он вспоминал ответ Джесса на предложение поехать в Лондон показаться доктору: «Я ***за этим***

не поеду». Значит, он мог бы поехать не *за этим*, а с какими-то другими целями. Здесь Эдвард уже обыскал всю округу, а в Лондоне он предпримет какие-то другие действия — встретится с людьми, поговорит с кем-нибудь. Он почти скучал по Гарри, Стюарту и Томасу, он вспоминал «мистера и миссис Бентли» и задавался вопросом, что с ними случилось. Еще он спрашивал себя: а не мог ли Джесс отправиться в Лондон за «Хлоей»?

Было около десяти утра. За последние четыре дня повседневная жизнь Сигарда почти вошла в прежнее русло, словно все искали отдохновения в бытовой рутине. Вина больше не пили. В промежутках между поисками Джесса Эдвард мыл посуду, подметал полы, чистил овощи, таскал дрова, переносил с места на место тарелки и белье. Он даже молча помог Беттине снять источенные древесным червем старые гнилые полки во влажных нишах Перехода и заменить их на новые, сделанные ею. Вскоре он увидел, что Илона красит эти полки. Его почему-то изумляло, что жизнь продолжается. Но, с другой стороны, что еще они могли делать? Эдвард и Илона избегали друг друга. С двумя другими женщинами он спорил, но не с ней. Когда такие споры начинались, Илона уходила. Эдвард не искал ее, потому что не

хотел слышать о том, чего она страшится. А еще ему было мучительно больно оттого, что он собирался оставить ее здесь; он не знал, как сказать ей об этом, но не мог сбежать, не поговорив с ней. Конечно, невозможно было взять ее с собой, как бы она этого ни хотела. Даже мысль о том, чтобы вернуться за ней, казалась теперь нереальной. «Но я должен сообщить ей, что уезжаю, — думал Эдвард. — Я не могу просто так улизнуть. К тому же она должна дать мне знать, когда вернется Джесс, ни на кого другого рассчитывать нельзя». Так значит, он все-таки уезжает?

Он вышел из кухни и направился наверх в свою комнату, захватив простыни, оставленные у прачечной, чтобы положить их в шкаф для проветривания на площадке. Он выглянул в окно и посмотрел, не идет ли Джесс, потом быстро снял ботинки и носки Джесса, к которым привык за последнее время, и его пуловер. Надел собственные вещи, а эти аккуратно сложил. Свои пожитки Эдвард засунул в маленький чемодан, прикрыв его плащом, после чего спустился вниз на поиски Илоны.

Он нашел ее в Атриуме — Илона накрывала стол к обеду. Она посмотрела на него и опустилась на стул. Он сел рядом.

— Я знаю, что ты собираешься сказать.

— Я уезжаю.

— Да.

— Прости меня, Илона.

— Что ж, прощай.

— Ты дашь мне знать о Джессе?

— Я не знаю, где ты живешь. Я ничего о тебе не знаю.

Эдвард написал свой адрес на клочке бумаги.

— Ты мне сообщишь, если… когда Джесс вернется?

— Да.

Последовало молчание. Илона сидела неподвижно, сцепив руки, уставившись в столешницу.

— Помни… — Он хотел сказать: «Что я люблю тебя», но сказал только: — Меня.

Илона произнесла:

— Ты уезжаешь. Значит, тебе все равно.

— Нет, не все равно. Я уезжаю только для того, чтобы найти его в Лондоне!

— Ты не вернешься.

— Конечно вернусь. Я вернусь, чтобы увидеть Джесса. Чтобы увидеть тебя.

— Может, меня здесь и не будет.

«О черт!» — подумал Эдвард. Он встал и вос-

кликнул:

— Не говори глупостей! Конечно, мы еще встретимся. Черт побери, ты ведь моя сестра!

Он попытался взять ее за пальцы, но ухватил запястье, а потом повернулся и поспешил прочь. Вдруг что-то упало ему на руку, а когда он попытался сбросить это, вцепилось в рукав. Это оказалась ветка одного из растений — того самого, в горшок которого он вылил приворотное зелье Илоны. Освободившись, Эдвард пообещал:

— Я тебе напишу.

Дверь Перехода захлопнулась за ним.

Думая о бегстве, он неизменно воображал, как крадется на цыпочках ночью или в тумане, а сначала отправляется на разведку, чтобы ни с кем не столкнуться случайно. Теперь же ему было плевать на предосторожности. Эдвард взял свои вещи, бегом спустился по лестнице, вышел из дверей Селдена, пересек, не оглядываясь, лужайку и пошел по дороге. Он никого не встретил, никто его не окликнул. Выйдя на открытое пространство, он увидел, что небо перечерчено косяками перелетных гусей.

Как только он вышел на шоссе, появился грузовик, и Эдвард поднял руку. Скоро он сидел рядом с водителем и разговаривал о футболе.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ

— Я никому не скажу, — пообещал Стюарт Мидж.

Он вернулся в свою прежнюю квартиру около реки, рядом с Фулем-Палас-роуд. Мидж появилась у него совершенно неожиданно.

Возвращение в Лондон оказалось тихим кошмаром. Как только буксир натянулся, машина выкатилась на дорогу. Мидж запрыгнула на переднее пассажирское сиденье. Гарри отстегнул трос и бросил в багажник. Ни он, ни Мидж ни слова не сказали Беттине. Стюарт поблагодарил ее и быстро забрался на заднее сиденье — он вполне допускал, что отец, прогревавший двигатель, может уехать и без него. Они, конечно, заблудились на проселочных дорогах. Гарри остановил машину, включил свет в салоне и молча принялся изучать карту. Стюарт, сидевший за его спиной, видел холодный бесстрастный профиль Мидж: она неподвижно смотрела вперед. Их трясло на ухабах, а Мидж с Гарри сидели настолько далеко друг от друга, насколько позволяло пространство

машины. Выбравшись наконец на шоссе, Гарри взял постоянную скорость восемьдесят миль. В Лондоне он подъехал к дому Томаса, где Мидж вышла и принялась вытаскивать из багажника свой чемодан. Стюарт выскочил из машины, чтобы помочь ей. Когда Гарри отъехал, Мидж все еще искала свой ключ. В Блумсбери Стюарт последовал за отцом в холл. По пути они не произнесли ни слова. Гарри прошел в гостиную, включил весь свет, какой только можно, и достал бутылку виски. Не глядя на сына, он сказал:

— Тебе лучше найти какое-то другое жилье.

На следующий день Стюарт покинул дом.

Мидж, которая не спрашивала у него, собирается ли он кому что-то говорить, оглядела маленькую комнату.

— Это, значит, твоя монашеская келья? Ты здесь молишься?

— Что-то вроде.

— Ты счастлив?

— Я не знаю.

— Значит, ты не считаешь своим долгом говорить о нас Томасу?

— Нет, но…

— Что «но»?

— Я думаю, вы сами должны ему сказать.

— Ты думаешь, я должна прекратить встречаться с твоим отцом?

— Я этого не знаю. Я говорю о лжи.

— Ах, о лжи…

— Она влияет на других людей.

— На кого, например?

— На Мередита.

— Что ты имеешь в виду?

— Он мне сказал, что у вас роман, но не сказал с кем. И еще сказал, что вы просили его не говорить Томасу.

— Я его не просила. — Помолчав, Мидж добавила: — Впрочем, наверное, просила. Я приложила палец к губам. Вот так.

Она подняла палец.

— Это плохо сказывается на Мередите. Ребенок получит ужасную душевную травму. Вы втянули его в это.

— Ты думаешь, я его развращаю?

— Это одна из причин, почему вы должны все открыть Томасу, а не лгать и не прятаться. Независимо от того, что вы с моим отцом решили делать дальше.

— Ты все это ненавидишь. Ты ненавидишь меня за то, что я втянула твоего отца в историю.

— Нет, просто мне такое не нравится.

— Ты завидуешь людям, способным вести нормальную жизнь, любить и получать удовольствия.

— Я так не думаю. Мне не нравится видеть моего отца в подобной роли.

— Ты ему об этом сказал?

— Нет. Мы вообще не говорили об этом.

— Но он попросил тебя уехать из дома. Значит, в качестве мачехи я тебя не очень устраиваю.

— Никогда об этом не думал, — ответил Стюарт. — То есть никогда не думал о вас в этом качестве.

— Ты не думаешь, что я выйду замуж за твоего отца? А почему нет?

— Если выйдете, я увижу вас в этом новом свете. Извините, я не хочу говорить об этом. Это обман.

— Ты полагаешь, что Томас не знает.

— Он явно ничего не знал. А теперь знает?

— Нет.

— Но вы ему скажете.

— Только если ты нас вынудишь.

— Я вас ни к чему не вынуждаю.

— О нет, вынуждаешь — ты оказываешь на нас давление. Всей своей силой. Словно какие-то лучи.

— Почему вы пришли ко мне?

— Я не могла не прийти.

— Мой отец вас просил?

— Нет. Он не знает. Еще один обман.

— Но он вам рассказал, где меня найти?

— Нет. Адрес я узнала в твоем колледже.

— Так почему вы пришли?

— Потому что ты был там. Потому что ты видел нас. Потому что ты ехал с нами в машине. Потому что ты знаешь. Ты мне являешься в кошмарах.

— Извините. Наверное, мне не нужно было ехать с вами в машине. Но я лишь хотел убраться оттуда.

— Тебя напугал Джесс. Он показал на тебя тростью и назвал трупом. Вот ты и убежал.

— Я чувствовал, что от меня там никакой пользы. Возможно, только вред.

— Я понимаю, что он имел в виду. Ты сидел на заднем сиденье и смотрел на нас, и это было так, словно с нами едет не человеческое существо. Ты сел в машину, чтобы нас наказать, засвидетельствовать наше грехопадение.

— Вряд ли.

— А то ты не знаешь. Я думаю, в тебе есть какая-то жестокость. Ты отрицаешь все. Как смерть. Что ты ответил Мередиту?

— Когда он говорил мне о вас? Сказал, что это

невозможно.

— Почему невозможно?

— Я не думал, что вы способны на такое. Или что вы способны вовлечь в это невинное дитя.

— Ты полагаешь, что я развращаю Мередита. А я думаю, это делаешь ты. Тебе нужны эмоциональные отношения с ним, ты хочешь, чтобы он был в твоей власти, и ты облачаешь это в одежды нравственности, словно ты сам — учитель или пример высокой морали. Но ты ничего не знаешь о детях. И о себе. Ты не знаешь, что люди — сложные и таинственные существа. Ты тупой инструмент, ты жесток, гордыня сделала тебя жестоким. Твои отношения с Мередитом закончатся ужасной, мучительной драмой. Я советую тебе перестать встречаться с ним… Или ты слишком влюблен?

— Я не влюблен, — сказал Стюарт.

— А если я попрошу тебя немедленно прекратить ваши встречи?

— Надеюсь, вы не сделаете этого.

— А если я… ладно, оставим… Ты так себя настроил. Тебе надо вернуться в реальный мир.

— Думаю, это следует сделать вам. Ваш роман с моим отцом — это что-то вроде сна. Вы можете превратить его в реальность, если расскажете обо всем мужу. Тогда, возможно, вы сумеете понять,

что делать дальше.

— Ты ничего не знаешь. Ты ничего не чувствуешь. Полюбить — значит вдохнуть в себя новую жизнь. А ты, кажется, выбрал смерть.

— Я думаю, вам следует вдохнуть в себя жизнь, осознав, как сильно вы любите Томаса и Мередита.

— Для чего ты поехал в Сигард? Это что-то вроде заговора? Ты все испортил своим появлением, своим существованием, тем, что ты — это ты. Кто ты вообще такой? Чем ты занят, все время валяешься в постели? Делаешь вид, что собираешься совершить что-то великое, но ты и пальцем о палец не ударил. Ты просто испуганный невежественный мальчишка, боящийся реальной жизни. Так отправляйся в монастырь и укройся там!

Мидж, сидевшая на кровати Стюарта, поднялась и собралась уходить. Плащ она не снимала. Она даже шляпу не сняла и только теперь о ней вспомнила: сняла и снова надела.

Стюарт на протяжении всего разговора стоял. Теперь он отодвинулся и повернулся спиной к двери.

— Погодите. Скажите мне правду, зачем вы приходили. Не могу поверить, что вам так нужно

было высказать мне все это… и выставить себя передо мной в таком свете…

— Ах, какие замечательные слова! Ты понимаешь, что постоянно обижаешь других людей? Я пришла, потому что… ах, ты причинил столько боли мне и Гарри. Вряд ли он когда-нибудь сможет тебя простить.

— Вы хотите сказать, это потому что я поехал с вами в машине?

— Потому что ты оказался в Сигарде и увидел нас в том положении.

— Когда вы выдавали себя за мистера и миссис Бентли?

— Ну конечно, ты все-все запомнил. Не упустил ни малейшей детали.

— Это просто совпадение.

— Я тебе не верю. Я пришла к тебе, потому что думала: может быть, если я посмотрю на тебя и скажу тебе, сколько вреда ты нам причинил… сколько боли принес, я смогу забыть об этом, избавиться от моих ночных кошмаров. Но я вижу, ты не понимаешь. Ты стал персонажем из страшного сна, жутким призраком. Я хотела увидеть, какой ты на самом деле — ленивый, глупый, неуклюжий дурак…

Стюарт отошел в сторону и открыл дверь.

— Мне жаль, — пробормотал он. — Очень жаль. Я все понимаю. Пожалуйста, я не хочу, чтобы у вас были кошмары по ночам.

Мидж прошла мимо него, и ее каблучки застучали по лестнице.

Стюарт сел на кровать. Он и в самом деле понимал, и ему было тяжело. Ему была ненавистна мысль о том, что для кого-нибудь он может стать призраком из кошмара. Его очень расстроили слова Мидж о Мередите. Он попытался отвлечься от мыслей о проблемах отца и о Мидж в роли мачехи. Стюарт потер руками лицо и решил, что ему нужно побриться.

Он переселился сюда несколько дней назад и уже успел почувствовать, насколько был защищен у отца, в доме своего детства. Будучи студентом, Стюарт жил в разных местах, включая и эту самую комнату, где обосновался теперь. Но тогда все было иначе, тогда у него была простая обычная цель. Потом все согласились, что это хорошая идея — жить независимо на студенческое пособие, не дома, но все же рядом. Теперь, хотя он и не предполагал, что изгнан навсегда, обстоятельства вынужденного бегства тревожили его. Стюарт испытывал особое чувство одиночества; может быть, это была часть процесса взросления,

еще не пройденного им, как считали разные люди. Томас предупреждал Стюарта, что его поймут неправильно. Сейчас Стюарт осознал, как его воодушевляло и поддерживало собственное решение и сколько еще предстояло решить. Он вспомнил письмо Джайлса Брайтуолтона, его умное насмешливое лицо. Сможет Стюарт когда-нибудь объяснить все Джайлсу?

Возможно, ему придется выслушать и упреки Эдварда. Не подвел ли он Эдварда, когда (как сказала Мидж) испугался и убежал? Должен ли он был остаться с Эдвардом и с этими женщинами? Стюарт покинул Сигард, потому что атмосфера дома навевала на него ужас. У него возникло ощущение, что он дышит воздухом *лжи* и скоро пропитается им, как тамошние обитатели, а теперь и Эдвард. Он сказал Мидж, что от него там нет никакой пользы. Но не было ли это лишь интуитивным впечатлением, основанным на его спутанных и слишком эмоциональных реакциях? Что касается Мидж, то не наговорил ли он ей слишком много — хотя и так мало — вещей, которых не следовало говорить? Он пришел к выводу, что не в силах ничего сделать для Мидж и задушевный разговор с нею невозможен.

Стюарт сидел прямо на своем стуле, чуть раз-

двинув ноги и сложив руки. Он еще не решил, идти ли ему на подготовительные курсы для будущей работы. Он договорился о встрече с консультантом по выбору карьеры. Важно не ошибиться (если такое возможно) и начать с правильной позиции. Сэкономленных от учебного гранта денег хватит на какое-то время. Надо быть терпеливым; он дождется знака, видения. Что ж, он был очень терпелив — это нетрудно — и не чувствовал себя виноватым из-за этого ожидания. Мидж спросила, чем он занят целыми днями. Он сидел и думал. Он сидел и не думал. Он гулял. Он хорошо спал по ночам. Теперь он начал думать о Мередите. Он заставил Мередита раствориться. Мышцы его лица расслабились, мозг постепенно освободился от мыслей и заполнился тихой абсолютной темнотой.

Мидж спешила вперед, оглядываясь через плечо в поисках такси, потом шагнула на мостовую. Он боялась снова упасть и была уверена, что упадет. Ее коленка еще болела. Сюда она приехала на такси, но теперь на этих убогих улочках не видела ни одного. Даже автобусную остановку она не могла найти. Спрашивать дорогу у прохожих не хотелось, потому что лицо ее было заплакано. Собирался дождь.

Мидж не видела Гарри со дня их молчаливого возвращения из Сигарда, и это терзало ее. Она позвонила ему из дома, как только решила, что он уже доехал. Когда Гарри взял трубку, голос у него был довольно пьяный; он сообщил, что Стюарт дома, и посоветовал ложиться в постель. Мидж позвонила на следующее утро, но на звонок никто не ответил. Потом неожиданно рано вернулся Томас. Он сказал, что решил устроить небольшой отдых и хочет поехать в Куиттерн. Мидж написала Гарри из Куиттерна. Письмо далось ей нелегко. Мидж нечасто писала письма и не могла или не решалась понять, почему подбирает слова с таким трудом. Послание получилось туманным и несвязным, хотя она знала, что Гарри ненавидит подобные вещи. Она всегда сетовала, что никогда в жизни не писала настоящих любовных писем. Она начала осознавать, какое воздействие произвела на Гарри встреча со Стюартом, его ужасное присутствие. «Теперь Гарри станет давить на меня, — думала она, — ускорять ход событий, а я еще не готова. Он даже может, не предупредив меня, рассказать обо всем Томасу. Он может явиться к Томасу». Эти мысли вызывали у Мидж желание остаться в Куиттерне. Написанное письмо оказалось не так-то просто

отослать. Наконец ей удалось отправиться «на прогулку в лес», откуда она побежала к далекому почтовому ящику. Мередит видел, как она пишет письмо, и вызвался отправить его.

В Лондон Мидж вернулась вчера вечером и, как только Томас ушел в клинику, позвонила Гарри. Трубку снял Эдвард, который сразу спросил у нее: «А Джесс не с вами?» Он сказал, что Гарри ушел рано утром «к издателю, или юристу, или еще кому-то». Еще Эдвард сообщил ей, что Стюарт не живет дома, а нового адреса брата он не знает. Мысль о визите к Стюарту, с недавнего времени смутно присутствовавшая в сознании, кристаллизовалась, когда Мидж поняла, что это утро у нее ничем не занято. Возникшая потребность «сделать с этим что-нибудь» не давала ей покоя. Она не могла усидеть дома. Ее отчаянные слова, объяснявшие Стюарту, для чего ей потребовалось увидеть его, были вполне искренними. Конечно, Мидж хотела увериться, что он не проболтался. Она думала: «Одно его слово уничтожит нас». Но гораздо важнее было избавиться от навязчивого образа, потому что Стюарт в отвратительной роли соглядатая и судьи вошел в ее плоть. Она должна была победить его, выразить свое презрение к тому, что он думает, сделать это презрение

действенным и реальным.

Мидж и в самом деле преследовали сны, ночные кошмары. Она видела белое обвиняющее лицо Стюарта — такое, как тогда, когда он смотрел на нее, сидевшую на стуле у двери в той ужасной комнате, осмеянную и униженную. Иногда в этих снах проносившийся мимо белый всадник оборачивался, и Мидж узнавала в нем Стюарта.

Но в ее снах был еще и Джесс. Он являлся в виде морского чудовища, покрытого колючками и шерстью, как морской лев, как морж, как кит. Джесс, снова молодой, приближался к ней и говорил: «Я тебя люблю, выходи за меня». И Мидж думала во сне: «А почему нет? Я молода и свободна, я не замужем». Вопрос Эдварда глубоко задел ее, всколыхнул ее чувства. Она и сейчас, идя по улице, чувствовала горячие, влажные поцелуи Джесса на своих губах. «Он здесь, — думала она, — и я еще увижу его».

— Извините, не знаете ли вы, случайно, где сейчас находится Джесс Бэлтрам? Мне сказали, что он в Лондоне, и я подумал, что он мог зайти в Королевский колледж.

— Джесс Бэлтрам в городе?

— Я не уверен. Мне так кажется.

— Здесь его не было. Так вы видели Джесса

Бэлтрама, да?

— Джесс, этот старый мошенник! Неужели он снова объявился?

— Нет, я просто подумал, что кто-то из вас его встречал.

— Но если вы его увидите, скажите, пусть заходит! Он найдет здесь немало старых друзей.

— И врагов!

— Вы художник?

— Нет, просто…

— Я решил, что вы один из его учеников.

— Он слишком молод, чтобы быть учеником Джесса. Я учился в последнем классе Джесса, а этот молодой человек — сущее дитя!

— Хотите выпить?

— Нет, спасибо. А вы не подскажете, у кого еще мне спросить?

— Вы что, книгу о нем пишете?

— Нет.

— Давно пора написать о нем нормальную книгу.

— Но вам нравятся его картины? Тут у нас есть пара его работ.

— Вернее, была! Они теперь где-то в хранилище!

— Любой, у кого есть пара его работ, сидит на

золотом мешке.

— Попробуйте узнать в его галерее.

— Да, загляните туда. Это на Корк-стрит.

— Нет, там лицензия уже закончилась и парень переехал в Илинг. Его зовут Барнсуэлл. Поищите в телефонной книге.

— Джесс к этому сукину сыну теперь и на милю не подойдет.

— Но знать-то он может.

— Ну и ну. Я думал, Джесс никогда не вернется в Лондон.

— А вы через его загородный дом не пытались выяснить?

— Их нет в телефонной книге…

— Постойте-ка. Вы на него ужасно похожи. Вы не его ли сын?

— Сын.

— Я и не знал, что у Джесса есть сын.

— Подумать только!

— Нет, вы теперь так не уйдете. Вы должны с нами выпить!

— Неужели вы не художник? Вы обязательно должны быть художником!

— Нет, я не умею рисовать…

— А вы пробовали?

— Нет, но…

— Я вас научу.

— Спасибо, но мне пора…

— Извините, вы мистер Барнсуэлл?

— Что вам угодно?

— Кажется, вы раньше продавали картины Джесса Бэлтрама.

— Это кто вам сказал?

— Так мне сказали в Королевском колледже искусств.

— Как вы меня нашли?

— По телефонной книге.

— Вы дилер?

— Нет.

— Что же вам тогда надо?

— Я ищу Джесса.

— У меня его нет. Надеюсь, он мертв. Зачем он вам нужен?

— Я его друг.

— Он вам должен?

— Нет.

— Может, вы один из крутых парней, которые выбивают долги?

— Нет.

— Жаль. А то бы я напустил вас на него, если бы знал, где его найти. Он мне должен кучу денег.

— Может, вы знаете…

— Я так полагаю, он все еще гниет за городом в этом уродливом страшилище, что он построил на болоте. Поезжайте туда.

— Я думаю, он в Лондоне.

— Я ему отправил немало писем. Он ни на одно не ответил.

— Сколько он вам должен?

— Я заплатил ему за несколько картин, которые он так и не написал.

— Я уверен, он…

— Я его взял, когда никто и имени его не слышал. Я сделал ему репутацию.

— Я уверен, он не хотел ничего…

— Он уничтожил мой бизнес. Раньше я работал на Корк-стрит. А теперь? Посмотрите на эту дыру.

— Мне очень жаль…

— У меня все еще есть несколько его работ. Вы не хотите купить?

— Нет, на самом деле…

— Они не очень дорогие. Как только он умрет, цена подскочит. Вы могли бы сделать неплохое вложение средств.

— Нет, я…

— Да послушайте, это прекрасное вложение. Мне чертовски нужны деньги.

— Нет, спасибо… я думал, может…

— Ну, если не хотите разбогатеть… как вам угодно.

— Я подумал, а вдруг вам случайно известен его старый адрес в Челси?

— На Флад-стрит? Еще бы не известен! Я там дневал и ночевал.

— Не могли бы вы мне его дать?

— Да. При условии, что вы мне сообщите, если найдете его.

— Хорошо.

— А вам что от него надо? Впрочем, все равно не скажете. Вот вам адрес.

— Спасибо…

— Если увидите его, можете столкнуть в Темзу. Его картины сильно подскочат в цене, когда старый мерзавец сдохнет. С нетерпением жду этого дня.

— Простите, не могли бы вы…

— Заходите.

— Я только хотел…

— Да заходите. Положите сюда ваш плащ. Проходите в гостиную. Гостиная здесь. Раньше она была наверху.

— Спасибо. Извините, что беспокою вас…

— Надеюсь, вы не возражаете против сухого

шерри? Сладкое я не выношу.

— Нет, хорошо, спасибо. Это ведь дом сто пятьдесят восемь по Флад-стрит?

— Да, конечно. Садитесь на диван.

— Спасибо…

— Как вы узнали мой адрес?

— Мне его дал мистер Барнсуэлл из Илинга.

— Я не знаю никого в Илинге. И если на то пошло, никакого Барнсуэлла я тоже не знаю.

— Вы, наверное, приняли меня за кого-то другого.

— Как я могу вас принять за кого-то другого? Меня вполне устраивает, что вы — это вы. Зачем вам быть кем-то другим?

— Мне это совершенно не нужно, но…

— Вы учитесь?

— Да, в Лондоне…

— И на чем специализируетесь?

— Французский…

— Вы наверняка в восторге от Пруста.

— Да…

— Я тоже собираюсь поступить в колледж в Лондоне. Собираюсь изучать психологию. Вам сколько лет?

— Двадцать.

— Слушайте, и мне двадцать. Какое совпаде-

ние! Вас как зовут?

— Эдвард.

— А меня Виктория. Вам нравится мое имя?

— Да… послушайте…

— Если у вас короткая фамилия, то имя должно быть длинным. Моя фамилия Ганн. А ваша?

— Слушайте, я должен вам сказать…

— Вы знаете, что этот дом принадлежит мне?

— Вы, наверное, богаты.

— Мой папа богат. Этот дом — его подарок. Это как-то связано с налогами. Выпейте еще.

— Слушайте, Виктория, я пытаюсь узнать, где можно найти человека по имени Джесс Бэлтрам.

— Никогда о ней не слышала.

— Это не она, а он. Он раньше жил здесь.

— Сочувствую. Он пропал в тумане прошлого.

— Может, кто-то другой знает?

— Папа совсем недавно купил этот дом. Здесь ужасные обои — мы бы, конечно, такие не наклеили. А прежние хозяева уехали. На этой территории царствую я. Вы мой первый гость!

— А где ваш папа?

— В Филадельфии. Зарабатывает еще больше денег. Я буду жить здесь совсем одна, не считая Сталки.

— Вот как. А кто такой Сталки?

— Мой серенький котик. Он еще на карантине. Я по нему ужасно скучаю.

— Не могли бы вы дать мне…

— Он весь серенький, только белое пятно спереди. Он такой умный. Он думает, что он человек.

— Не могли бы вы дать мне адрес прежних хозяев дома?

— Они оставили банковский адрес. Их фамилия — что-то вроде Смит. Адрес у меня где-то наверху.

— Если бы вы…

— Вам так нужен этот Бэлтрам?

— Он мой отец.

— И как он пропал?

— Это длинная история.

— Извините. Вы, наверное, решили, что я чокнутая.

— Вы очень милая. Но вам не следовало меня впускать. Я мог оказаться насильником.

— Ну, насильник насильнику рознь. Поцелуйте меня, Эдвард.

Эдвард с ума сходил от раскаяния и горя. Он ходил по этим адресам, питаемый надеждой. Он все еще воображал, как будет замечательно, когда он найдет Джесса. Он молился: «Дай мне, пожалуйста, найти Джесса, только дай мне

найти его, и все будет хорошо». Он представлял, как расскажет Джессу о своих приключениях, как тот будет смеяться. В этих видениях Джесс являлся сильным, здоровым, помолодевшим, излучавшим энергию и красоту. Он и в самом деле пережил метаморфозу, принял новую форму и вернул свои прежние силы. Иногда Эдвард чувствовал, что так оно и должно быть, что Джесс не только жив, но и находится где-то поблизости. Он словно дразнил сына своим отсутствием; может быть, даже наблюдал за ним. На улице Эдвард все время видел его двойников, иногда преследовал их. Один раз он выскочил из автобуса и бросился назад, увидев из окна Джесса среди прохожих. Эта надежда давала ему занятие и программу на каждый день. Он с утра отправлялся на поиски, а возвращался поздно. Эдвард избегал Гарри. Ему представлялось, что Гарри винил его за то, что произошло в Сигарде, хотя, конечно, ни слова об этом между ними не было сказано.

Вернувшись домой, он нашел целую груду писем, в основном от миссис Уилсден. Он просмотрел каждое, убедился, что они были по-прежнему исполнены ненависти, и выбросил, не читая. Было еще два письма от Сары Плоумейн. Она жаловалась на разную чепуху. Их он тоже читать

не стал. Стюарт оставил ему записку со своим адресом, а Томас прислал письмо с просьбой зайти. Эдвард чувствовал, что не готов встречаться ни с одним из этих менторов. Он хотел сначала найти Джесса и освободиться от этого ужаса. Если он и в самом деле, не во сне и не в бреду, видел Джесса в реке, то он повинен в убийстве. Во второй раз. Он бросил Джесса, убежав к женщине, как бросил Марка. Сходство этих предательств не могло быть случайным, и страдания от двух преступлений смешивались в мозгу Эдварда, усиливая друг друга. Он пытался заглушить боль: говорил себе, что если он и правда видел Джесса под водой, то наверняка тот уже утонул, умер, и его нельзя было спасти. У Джесса был такой умиротворенный, такой отрешенный вид, словно он обрел покой; совсем не похоже на тонущего, который задыхается и борется за жизнь. Но если он не был мертв, а лишь погрузился в один из своих трансов? Что, если он только что свалился в воду, а когда Эдвард отвернулся, его унес поток и он утонул? Удивительное спокойствие, написанное на лице Джесса, укрепляло Эдварда в первоначальном мнении, что образ был иллюзией, и он цеплялся за эту мысль. Ведь он уже решил, что ему все пригрезилось, и разве это не доказано? Увы,

ничто, кроме самого Джесса, не могло служить доказательством, а без доказательств Эдвард был обречен на вечные мучения. Возможно, это наказание за то, что он сделал с Марком? Прежде он хотел наказания, но только не такого. Он искал искупительной кары, а не усугубления вины. Иногда его утешала лишь мысль о том, что у него всегда остается возможность самоубийства.

А еще Эдвард разрывался между желанием рассказать кому-нибудь о случившемся и пониманием: признайся он хоть одному человеку, и мир изменится. Ему могут предъявить обвинение. Ему недостаточно собственных обвинений или сторонние обвинители будут менее мстительны? Тайна и одиночество сводили его с ума, но мысль о том, что кто-то еще будет знать об этом, была невыносима, словно вместе с унижением его настигнет не только вечная боль, но и окончательная потеря чести. Боже милостивый, ведь он так молод, но уже обречен на долгие страдания! Он не хотел, чтобы всю оставшуюся жизнь его жалели. Он не хотел дать кому-то власть над собой, раскрыв тайну своего второго преступления. Никому нельзя доверять. Сообщить в полицию он не мог, потому что его бы осудили за безнравственное и преступное сокрытие смер-

ти человека. Он не мог говорить об этом ни со Стюартом, ни с Гарри, ни с Мидж, ни с Урсулой, ни с Уилли. Эдвард подумал, не побеседовать ли ему с Томасом. Но Томаса его история наверняка так заинтересует и очарует, что он углубится в нее и сплетет что-то еще, что-то большее, что-то (сколько бы Томас ни хранил молчание) публичное. Эдвард не мог допустить, чтобы этот ужас принадлежал кому-то другому. Если Джесс так никогда и не объявится, у него оставалась только одна возможность не погибнуть: жить с этим и надеяться, что все как-то рассосется само собой. Если же он откроется кому-то, он вновь оживит то, что случилось.

Конечно, он думал — постоянно думал — и о Брауни. Ей он тоже ничего не хотел говорить, хотя это, по меньшей мере, могло бы объяснить причину его хамского бегства. Если бы Эдвард признался, связь между ними укрепилась бы. Но ему не следует перебарщивать с откровениями. Возможно, Брауни простила его за то, что он сделал с Марком; он, наверное, так никогда и не узнает об этом. Но как его можно было простить? В любом случае, Брауни обнимала его. А если бы он рассказал о происшествии с Джессом, она отвернулась бы от него, как от проклятого

и отверженного. Но при всей путанице мыслей в его несчастной голове он тосковал по Брауни, представлял себе, как она сидит на стуле, а он кладет голову ей на колени, как она нежно гладит его волосы. Временами он страстно желал ее, обнимал ее в своих неспокойных снах, пил ее поцелуи. Но эти желания были для него мукой, как образы недостижимого рая. Эдвард не знал, где искать Брауни, а его главная задача заключалась в том, чтобы найти Джесса. Он не мог пойти в дом миссис Уилсден. Он думал, не написать ли Брауни на домашний адрес, но не стал делать этого — вдруг письмо перехватит ее мать. И что он скажет об их последней встрече? А если он напишет, то будет мучиться в ожидании ответа или того хуже — получит холодный и вежливый ответ. Нет, лучше подождать и придержать надежду на поводке. Чувства Брауни и ее доброе отношение, возможно, были вызваны мимолетным порывом, и теперь она хотела бы поскорее забыть о них, а также избавиться от воспоминаний о том, что она помогла человеку, убившему ее брата. Тем не менее оставалась надежда под маской веры, и Эдвард не сомневался, что Брауни не бросит его и что скоро они каким-то образом соединятся. Как только он найдет Джесса, он примется за поиски

Брауни.

Беспокойство творит странные вещи со временем. Каждый день начинался с ощущения, что сегодня что-то прояснится, и конец тревог всегда казался близким. И все же иногда Эдвард спрашивал себя: а если его особая судьба в том, чтобы до конца дней искать отца? Илона обещала ему «дать знать», но сдержит ли она обещание? Может быть, она сердится на него, может быть, она чувствует, что он предал ее, отказал в любви, в которой признался раньше. Эта мысль пронзала Эдварда новой болью, сопровождаемой чувством вины и печали. И вообще, спрашивал он себя, как она может написать, где достанет марку, как отправит письмо? А если он сам напишет, то получит ли Илона письмо, или *они* перехватят его? Эдвард уже раскаивался, что не сообщил матушке Мэй и Беттине о своем отъезде, не поблагодарил их за доброту. Он должен был вести себя любезно и вежливо, а не бежать, как вор, будто он считает их врагами. Побег мог навести их на мысль, что Эдвард в отчаянии, и вызвать подозрения. Но в чем они могли бы его подозревать? Еще более жуткие и темные мысли стали рождаться в голове Эдварда после того, как он перебирал в памяти события того страшного дня. Когда он выходил

в дверь, матушка Мэй пыталась остановить его, она крикнула: «Эдвард!» Знала ли она, что Джесс ушел из дома? Может быть, они надеялись, что наконец-то… что он ушел умирать? Может быть, они боялись, что Эдвард найдет Джесса раньше, чем тот успеет… И где была Беттина? Не она ли в тот самый момент топила Джесса, удерживая под водой его голову, как топят большую собаку? Когда Эдвард вернулся, матушка Мэй ответила на его вопрос о Джессе: «Он в порядке. Он спит». Может быть, она имела в виду, что он мертв? После всего случившегося они, возможно, желали ему смерти, потому что его существование стало для них кошмаром. Мысли эти были так мучительны, что Эдвард попытался избавиться от них. Он их ненавидел и страшился еще и потому, что они рождали искушение поверить в них, чтобы скинуть с себя груз вины. Если дела обстояли именно так, Джесс был обречен. Эдвард испытывал огромную жалость к отцу, а жалость была едва ли не хуже всего остального. Именно из-за этих кошмарных мыслей Эдвард решил еще раз посетить миссис Куэйд, словно это были явления одного порядка. Но он потерял карточку с ее адресом, а в телефонной книге ее фамилии не обнаружилось. И хотя он часто бродил по

улицам рядом с Фицрой-сквер, он никак не мог вспомнить ее дом.

— Слушай, — сказал Гарри, — давай не будем ходить вокруг да около. Я не против того, чтобы ты рассказала все Томасу. Я очень хочу, чтобы ты рассказала ему, если это приведет к разводу и твоему немедленному переезду ко мне.

Ты должна соединить все в одно, высказать в одном предложении. Я тебе постоянно это предлагаю, а ты вечно увиливаешь. Я знаю, ты боишься ему говорить. Если хочешь, скажу я. Конечно мы не можем полагаться на благоразумие обоих мальчишек! Это лишний раз подчеркивает изначальную нелепость ситуации. Когда мы влюбились друг в друга, я хотел сразу же разобраться с Томасом. Ты сказала, что не уверена. Но теперь ты уверена и все равно никак не хочешь принять решения… Ты сводишь меня с ума!

— Прости…

— А все, что произошло в том жутком доме, куда тебя так тянуло… это твоя вина…

— Если бы ты не разозлился и не заехал в канаву…

— Хорошо, я тоже виноват, как мы уже говорили. Я знаю, что эта встреча, да еще в присутствии Стюарта — будь там один Эдвард, дело было бы

не так плохо, — стала жутким потрясением. А теперь ты прониклась чувством вины! Очень глупо винить себя, когда твой якобы грех раскрылся. Позволю себе высказать мнение, что ничего необычного тут нет.

— Я все время чувствовала себя виноватой.

— Да, но теперь ты делаешь из этого нечто из ряда вон, и я не могу понять почему! Мидж, твой брак закончился. Он никогда не был тем, что тебе нужно.

Гарри и Мидж сидели за столом друг против друга в маленькой квартирке, в «любовном гнездышке», которое прежде так приятно занимало время и мысли Гарри, которое предназначалось в подарок Мидж и должно было стать для нее приятным сюрпризом. Они сидели вдвоем в маленькой гостиной. Они еще не побывали в спальне. Мидж лишь вчера вернулась в Лондон. Гарри с утра не было дома — он разговаривал о переиздании своего романа с проявившим некоторый интерес издателем. Его расстроило и выбило из колеи исчезновение Мидж; он считал, что она вполне могла и не ехать в Куиттерн. Но для ее короткого отсутствия имелись иные основания — не напрасно же Гарри так долго изучал Мидж. Он понимал, как ужасно она должна себя

чувствовать после фарса, разыгравшегося в Сигарде. Он, конечно, тоже чувствовал себя ужасно, но для него случившееся уже ушло в прошлое, за исключением той части, что касалась его стратегии на ближайшее время. Это потрясение должно было заставить Мидж спрятаться, успокоить раненую совесть, восстановить утраченное лицо, переосмыслить происшествие в какой-то не столь катастрофической перспективе. А Гарри было нужно другое — еще больше хаоса, больше насилия, последний прорыв по трупам. В такой ситуации он бы сумел справиться с Мидж: немножко растревожить ее, а потом принудить к действию. Поэтому он решил, что не будет беды, если она приедет в Лондон и обнаружит, что он вовсе не сидит дома в ожидании ее звонка. Воздержание не шло на пользу Гарри, его душа жаждала общества Мидж, и даже теперь, когда они спорили, он чувствовал, как сильно и ритмично бьется сердце, до краев наполняясь блаженством от присутствия возлюбленной, от того, что они вдвоем в нужном месте. Мидж сегодня выглядела усталой, обеспокоенной, постаревшей. Гарри знал, что ее печальная трогательная красота преобразится, стоит ему сделать определенные движения, которые он намеренно придерживал на потом.

Как всегда, Мидж выглядела элегантной дамой: на ней был очень простой и очень дорогой темно-серый плащ, юбка в едва заметную черную клетку, синяя шелковая блуза, открытая на шее, и узенький темно-зеленый шелковый шарф. Сколько времени потратила она, подбирая этот наряд сегодня утром? Наверное, целую вечность. Чулки она надела черные, с ажурным геометрическим рисунком, черные туфельки на высоком каблуке сияли так, будто никогда не касались земли. Мидж подбирала юбку, закидывала ногу на ногу и оглядывала комнату. Гарри надеялся, что она начнет строить планы на эту квартиру и быстро примет ее как их собственную, как их первый дом, временный, но подходящий для этого важного промежуточного момента их жизни.

— Какие сюда повесить шторы, — спросил он, — простые или с цветочками и всякой всячиной?

— Простые, — ответила Мидж. — Если у нас будут картины. Мне нравится этот коричневый коврик и обои. Мы могли бы купить какую-нибудь миленькую дорожку.

— Ах, Мидж, я так рад, что ты говоришь это. Значит, ты веришь в это место! Дорогая, только поверь, и мы будем у себя дома, в безопасной гавани. На самом деле этот ужасный случай при-

нес пользу, он дал нам некий толчок. Значит, мы должны двигаться вперед. Это вызов, и он означает жизнь, он означает силу, он призывает: avanti[60]. Мы должны наступать, высоко подняв знамя! Ах, Мидж, ну что с тобой? У тебя такой подавленный, угрюмый вид.

Мидж пригладила массу своих многоцветных волос (парикмахер высоко взбил их), откинула пряди со лба и встряхнула головой. Уголки ее рта опустились.

— Понимаешь, ведь случилось много ужасного, — сказала она.

— В Куиттерне? Томас догадался? Я рад!

— Нет, Томас ни о чем не догадывается… и это так странно… это важно…

— Боже милостивый, уж не хочешь ли ты сказать, что это трогательно?!

— Он очень умный, он хорошо разбирается в людях, а сейчас ничего не видит. Просто не видит. Он верит мне. Он слеп.

— Что же тогда случилось ужасного? Ну конечно, Сигард и все остальное, однако это не имеет никакого значения. События вынуждают нас сделать то, что мы давно собирались.

---

[60] Примечания: 60
Вперед *(ит.)*.

— Понимаешь, мне кажется, я должна была съездить в Сигард.

— Ну конечно, тебя загипнотизировала аура Джесса! Не будь такой наивной дурочкой, моя дорогая. Не смешивай прошлое и будущее. Извини, продолжай, я тебя перебил. Ты хотела что-то сказать?

— Я думаю, это было связано с Джессом…

— Ты никак не можешь забыть того мгновения, когда он спросил: «Кто эта девочка?» И ты спрашивала себя… не мог ли он предпочесть тебя Хлое.

— Да, — сказала Мидж, откидывая назад голову. — Откуда ты знаешь? Ну да… но я не об этом…

— Ты победила Хлою! Я знаю, это было одной из целей твоей жизни. Хлоя мертва — и Джесс целует тебя. К тому же ты и меня держишь на крючке. Больше тебе у бедной девочки нечего забрать.

— Это было что-то совершенно необычное…

— Хотя он стар, выжил из ума и принял тебя за Хлою!

— Тебе это трудно представить… но одно только прикосновение этого человека… я уж не говорю…

— Он схватил тебя, обнял, он практически съел

тебя! Может, мне пора забрать тебя у него?

— Я больше не хочу его видеть. Одного раза хватило.

— Рад это слышать. Что-то вывело тебя из равновесия. Значит, это Джесс. Ну конечно, я все прекрасно понимаю. Тебе нужно время, чтобы прийти в себя. Но, моя дорогая девочка, давай не будем больше терять время. Мы стали взрослее, мы стали сильнее, мир принадлежит нам. В сравнении с нами все это — ничто.

— Джесс был чудом…

— Да, хорошо, но…

— Он был прекрасным миражом, не связанным с реальной жизнью…

— Хорошо.

— Вот только он каким-то образом… не могу подобрать слов… он как-то… вымел все прошлое…

— Ты имеешь в виду твою одержимость Хлоей?

— Не только это. Ощущение было такое, будто он прикоснулся ко мне, а потом оттолкнул… словно ударяешь что-то, и оно улетает по касательной…

— Он выстрелил тобой, как из лука! Прекрасно, теперь мы оба парим в небесах!

— Меня беспокоит не Джесс. Меня беспокоит

Стюарт.

— Да. То, что он в курсе, очень досадно. Он может решить, что должен пойти и рассказать про нас, поскольку считает, что так правильно. И это достаточно веская причина, чтобы нам самим пойти к Томасу, пока Стюарт не сделал это первым. Мидж, дорогая, сосредоточься. Ты только подумай, как мы будем себя чувствовать, если Стюарт нас опередит! Как злосчастные маленькие преступники, как подлые мелкие лжецы, мошенники, которых поймали за руку. Мы утратим инициативу. Хотя бы это всегда принадлежало нам — мы сами определяли правила игры. Ты права, Стюарт — наша проблема. Но ты не хочешь ее решить!

— Стюарт ничего не скажет Томасу.

— Откуда ты знаешь?

— Он сам мне сказал.

— Он сам тебе сказал?

— Да, я ходила к нему сегодня утром, и он мне это сказал.

— Ты встретила его в моем доме, когда пришла ко мне, и?..

— Нет, я пошла туда, где он живет. Я хотела поговорить с ним…

Гарри вскочил, опрокинув стул, Мидж пода-

лась назад, прижав спинку своего стула к стене. В маленькой квартирке почти не было мебели, стены и окна оставались голыми. Только простой темно-коричневый ковер, одобренный Мидж, как-то украшал интерьер. В комнате царил запах свежей краски.

— Ты пошла встретиться со Стюартом, поговорить с ним… и не сказала мне? О чем говорить? Ты умоляла его не выдавать нас?!

— Нет, не умоляла… я хотела знать… но не только это…

— Что еще, бога ради?

— Я хотела увидеть его…

— Ты хочешь сказать — уничтожить его взглядом?

— Да. А еще поговорить. Он мне снился. Вернее, мне снился белый всадник, смотревший на меня. Томас сказал, что это смерть. И когда я взглянула на этого всадника, то сразу поняла, что он — Стюарт.

— Хорошо, он страшный призрак, пусть. Но ты, Мидж, ты сошла с ума. Ты понимаешь, что ты делаешь со мной, когда так спокойно сообщаешь, что отправилась к Стюарту и говорила с ним? После всего того, чему он стал свидетелем, после того как он молча сидел в машине, когда нам так

хотелось остаться вдвоем…

— Поэтому я и хотела увидеть его.

— Чтобы сообщить ему, как ты расстроена! Зачем ты позоришься перед ним? Мидж, я ушам своим не верю! Надеюсь, ты посоветовала ему не соваться в чужие дела?!

— Да, но речь шла о другом.

— Ты просила его не говорить Томасу, ты унижалась перед ним…

— Нет, я ни о чем его не просила. Он сам сказал, что не скажет Томасу. Он сказал, что, по его мнению, это должна сделать я.

— Признайся и попроси у Томаса прощения за минутную слабость!

— Он ничего не говорил про нас. То есть он никак не комментировал то, что случилось. Он говорил о лжи и о Мередите. Я тебе говорила, что Мередит видел нас. По крайней мере, он видел меня, а тебя — слышал. Я попросила его помалкивать. Стюарт сказал, что это развращение малолетних.

— Мередит узнал… Да, это ужасная ситуация.

Мидж сидела на стуле, напряженно выпрямив спину и сложив руки — так сидят в ожидании приема в больнице или суде. Она говорила быстро, монотонно, тихим голосом, словно желала

как можно скорее все рассказать. Она смотрела вниз, на ноги Гарри, и время от времени ее пробирала дрожь.

Гарри понимал, что вовлекать в историю Мередита опасно и отвратительно, но сейчас это его не страшило. Это было частью проблемы, решение которой должно быть и будет в его власти. Несколько мгновений он стоял недвижимо, потом пнул свой упавший стул, убирая его с дороги, и принялся ходить взад-вперед по ограниченному пространству комнаты.

— Ну хорошо, — проговорил он. — Я понимаю, это ужасно, и мне жаль. Жаль тебя и себя. Мы вполне могли бы обойтись без этого. Но поскольку все уже случилось — и с Мередитом, и прочее, — давай соединим все это вместе, как аргументы в пользу того, чтобы сделать важнейший для нас шаг сейчас, сегодня. Ты останешься здесь, а я пойду к Томасу. Где он сейчас — в клинике?

— Не знаю.

— Нет, знаешь. Стюарт прав, хватит лгать. Я пойду к Томасу и скажу ему, что ты хочешь развестись.

— Нет-нет… сейчас я не могу, не так… Гарри, не надо… Пожалуйста, не ходи! — У Мидж почти автоматически полились слезы. Она немного

наклонилась вперед, оперлась локтем о колено, положив подбородок на ладонь, и впала в некую тихую, размеренную, почти беззвучную истерику. — Ох… ох… ох…

Гарри остановился и посмотрел на нее. Его широкое гладкое лицо было спокойно. Он взъерошил свои светлые волосы, чуть прикусил губу, задумался, а потом тихо сказал:

— Мидж, мы должны сделать это сейчас. Сейчас самое время. Ты хотела дождаться нужного момента. Вот он и пришел. Разве не так? Разве не так?

Мидж прекратила скулить и вздохнула — глубоко, удрученно и даже раздраженно. Она порылась в сумочке, вытащила оттуда платок. Копна ее волос упала вперед, обнажив белую шею.

— Гарри, — пробормотала она, — пойдем в спальню.

Мидж использовала этот эвфемизм, если хотела заняться любовью, и никогда не выражалась прямо.

— Ты пытаешься отвлечь меня, — сказал Гарри, но внезапно почувствовал, что очень устал и что его переполняет желание.

Зачем они тратят силы на споры? Боже милостивый, ну почему они сами делают себя

несчастными?

— Гарри, не мучай меня.

— Ну ладно. Но мы скоро исправим это, и все будет хорошо. Дорогая, любимая, любовь моя, единственная, не плачь! Я никому не дам тебя в обиду до конца света, ты это знаешь. Я тебя люблю.

— Господи… я так устала…

— И я тоже. Идем. Хватит ругаться. Подними голову. Будь умницей. И бога ради, не подходи больше к Стюарту. Ну, я вижу, ты и сама не собираешься это делать.

Он открыл дверь спальни. Почти всю комнату занимала просторная двуспальная кровать под хлопковым покрывалом с массой мелких цветов.

Мидж подняла глаза, протерла их и сказала сонным голосом:

— Понимаешь, я, наверное, должна встретиться с ним еще раз.

Гарри повернулся.

— О чем ты, черт побери? Зачем? В этом нет никакого смысла. Ты прекрасно знаешь, что мне эта идея отвратительна.

— Но я должна с ним встретиться еще раз. Для меня его мысли невыносимы. Я хочу, чтобы он перестал мучить меня.

— Мидж, не убивай меня такой чепухой. Вспомни, кто он есть.

Мидж зевнула, лицо у нее сморщилось, как у котенка.

Гарри шагнул к ней и легонько подтолкнул вперед.

— Ты устала и немножко спятила. Все было слишком ужасно. Сейчас тебе станет лучше. Я позабочусь о тебе. Иди сюда, иди к Гарри, войди в глубокую воду.

Нотридж-хаус
Ист-Фонсетт
Саффолк
Уважаемый мистер Бэлтрам!

Благодарю Вас за письмо, которое переслал мне банк. Очень жаль, что нас не было на Флад-стрит и мы не могли принять Вас там! Когда наши дети выросли, мы переехали за город. Как Вам, возможно, известно, мы купили дом на Флад-стрит у Вашего отца, с которым в то время был шапочно знаком мой покойный отец, занимавшийся промышленным дизайном. До этого мы жили в Хэмпстеде, но дети всегда хотели жить поближе к реке; я думаю, дети всегда хотят жить поближе к Темзе. Не знаю почему. Я помню, что видела Джесса (если мне позволительно

так его называть — мы всегда вспоминаем его немного фамильярно) несколько раз, и он показался мне фигурой очень впечатляющей. После переезда мы два-три раза приглашали его с женой в гости, но они так и не появились. (Может быть, они боялись, что мы разорили дом. Он и вправду стал другим внутри.) Мы купили два его рисунка — довольно странных, но неплохих. Мне очень жаль, что Вы потеряли связь с отцом, это и в самом деле весьма печально. Боюсь, я не могу помочь Вам в этом деле — мы, в сущности, мало знали Джесса и не имели связей с его окружением. Я полагаю, что в «очевидных» местах вы его уже искали — в Королевском колледже, у дилеров. Наверное, у него было несколько любимых пабов, но, боюсь, я мало в этом понимаю! Вы спрашиваете о его друзьях. Я помню, что в этом контексте упоминали только одного человека — художника Макса Пойнта. Мой отец говорил, что в прежние времена тот был особым (если вы меня понимаете) другом Джесса. Отец просил меня не болтать об этом, поскольку в те дни люди предпочитали не выпячивать подобные вещи, но теперь, думаю, это не имеет значения. К тому же он, наверно, уже умер, тот бедняга. Он жил на одной из барж на Темзе, в конце Чейн-уок, и эта баржа называ-

лась «Фортавентура» — забавное название для маленькой баржи, которая всю жизнь простояла на приколе. К сожалению, больше ничем не могу Вам помочь. Если вспомню что-то еще, непременно напишу. Надеюсь, Вы уже нашли вашего отца. Как я уже сказала, нам очень жаль, что мы не встретились с Вами. Один милый американец, заработавший кучу денег на зубной пасте или ка-ком-то другом гигиеническом средстве, купил наш дом. Но Вы, скорее всего, уже знаете об этом. Было бы приятно познакомиться с Вами. Вы, наверное, тоже художник. Жаль, что я не художник, — у тису всех такая счастливая жизнь. Может быть, мы когда-нибудь увидимся. Дайте мне знать, если я могу быть Вам полезна. Муж и дочери присоединяются к моим наилучшим пожеланиям.

Искренне Ваша
(миссис) Джулия Карсон — Смит.

С этим неожиданным письмом в кармане Эдвард ступил с пристани на узкие и ненадежные мостки, соединявшие тесно стоящие разнородные жилые баржи, большие и маленькие. Спросить было не у кого. Начался прилив, и сборище барж поднялось — они покачивались, подергивались, легонько стукались друг о друга на сверкающей

воде, подернутой рябью из-за резвого восточного ветерка. Северный свет имел резкий серебристый оттенок. Суда, пришвартованные в три или четыре ряда по обеим сторонам пристани, казались заброшенными. Эдвард прошел по берегу, внимательно разглядывая названия. Никакой «Фортавентуры» здесь не обнаружилось. На суденышки в последнем ряду можно было попасть только по баржам, пришвартованным между ними и берегом, и Эдвард принялся отважно перепрыгивать с одной палубы на другую. Эта деревушка плавучих домов поражала разнообразием форм и размеров, а также бросающимися в глаза различиями в имущественном положении владельцев. Одни баржи, потрепанные и ветхие, с обшарпанными бортами, выглядели так, словно вот-вот пойдут ко дну и никогда больше не увидят света дня. На других были нанесены свежие и яркие традиционные изображения птиц и цветов или более современные рисунки, абстрактные либо фантастические. Заглядывая внутрь, Эдвард видел то скромную постель на голом полу, то настоящие плавучие гостиные с обитой бархатом мебелью, книжными шкафами и картинами на стенах. Тут и там ему попадались на глаза свернувшиеся калачиком коты,

чье присутствие говорило об устоявшемся быте. Названия встречались и вполне традиционные, и экзотические. Эдвард, чьи шаги по мосткам гулким эхом разносились вокруг, становился все печальнее, потому что понимал, какое удовольствие доставила бы ему эта экскурсия, если бы не рок, ожидавший его впереди. Он вышел из дома без плаща, и морской ветер, гулявший по реке и покрывавший воду черными линиями ряби, пронизывал его насквозь. Эдвард почти сдался, когда увидел белый спасательный круг на безымянной, как ему показалось сначала, барже (не все здешние «дома» имели названия). На круге весьма замысловатыми буквами было выведено: «Фортавентура». Эдвард спрыгнул с довольно высокой палубы соседней баржи, приземлился с глухим стуком и встал, взволнованно ожидая, не появится ли кто-нибудь теперь из каюты. Никто не появился. Возможно, там никого не было. После письма миссис Карсон-Смит Эдвард смутно вспомнил, что когда-то слышал имя Макса Пойнта — кажется, в связи со смертью этого человека. Он пришел на баржи, чтобы хоть чем-то заполнить время. Он хотел заняться каким-нибудь делом, связанным с его горем и исчезновением Джесса, а еще его заинтересовало название бар-

жи. Эдвард подошел к выцветшей синей двери, ведущей в каюту, и постучал. Ответа не последовало, и он повернул расшатанную облезлую медную ручку. Дверь открылась в темноту.

Эдвард всмотрелся внутрь, увидел длинную узкую комнату с частично раздвинутыми шторами. Он моргнул, потом вошел и чуть не свалился с невидимых ступенек. Потом выпрямился, вдыхая запах сырого дерева. Из дальнего конца комнаты сипловатый голос медленно произнес:

— Ну… и кто… там?

— Извините, что беспокою вас, — ответил Эдвард. — Но я ищу мистера Пойнта. Мистера Макса Пойнта.

— Я… он… и есть.

Теперь глаза Эдварда попривыкли к тусклому свету, и он увидел сидящего за столом человека. Тот казался очень старым, морщинистым, худым, даже изнуренным, лицо у него было маленькое, костлявое, красное, нос короткий и курносый, на голове сияла плешь. На столе стояли стакан и бутылка виски.

Эдвард сделал шаг вперед. К запаху плесени теперь примешивался запах нестираного белья, пота и алкоголя. Нога Эдварда зацепилась за дыру в потертом ковре. Узкое пространство каюты еще

сильнее сужалось из-за большого числа картин и холстов разных размеров, стоявших вдоль стен, оставляя открытым лишь узкий проход посредине. Некоторые холсты были повреждены диагональными разрезами. Эдвард подошел к столу.

Макс Пойнт, сутуло сидевший за столом, посмотрел на него своими водянистыми полузакрытыми глазами.

— Выпейте. Вот стакан. Садитесь. Так в чем дело?

— Пожалуйста, извините меня… Я хотел спросить…

— Выпейте.

— Нет, спасибо, я только…

— Так в чем же дело? Я прежде был художником. А теперь гожусь только для одного — сдохнуть. Сижу тут один, никто не приходит. Нет, вру, заходит одна женщина, бог ее знает, кто она, из социальной службы. Приносит мне еду, а то бы я с голоду помер. Как попугай. Попугай в клетке — старый сосед помер, а потом и попугай его с голодухи сдох тут рядом, на одной из барж. Сколько недель покойник там пролежал, и попугай висел вниз головой на своем насесте… Я тоже не одну неделю пролежу, прежде чем меня найдут,

а ждать уже недолго. Вы, наверное, думаете, что попугай должен кричать, помирая с голоду, да? Глупая птица. Пока старик был жив, она рта не закрывала, а когда помер, ей и сказать стало нечего, своих слов у нее не нашлось. Вот ведь бедняга. Но женщина приходит, я вам уже сказал, еду приносит… хотя у меня одна еда — виски… но есть приходится, чтобы пить, да? Выхожу иногда… пенсию получать… выпивку купить… жизненные необходимости, да? Сортир засорился, приходится наружу выходить — зима ли, лето ли, дерьмо падает в грязь, река уносит. Река приносит, река уносит, скоро и меня она унесет… река… она все уносит… в конце концов…

Баржа тихонько покачивалась, почти незаметно и ритмично, как люлька, которую качает сильная любящая рука. Неравномерный плеск воды, ударявшей о борт, создавал тихий музыкальный контрапункт. За столом стоял мольберт с холстом и табуретка, где лежала палитра с размазанными на ней красками, шпатель и кисти.

— Вы пишете картину? — спросил Эдвард.

— Вы что, издеваетесь надо мной… нечего смеяться… все смеются… вернее, смеялись, теперь-то меня все забыли. Я забытый человек. Знаете, сколько стоит эта картина? Годы. Я уж и забыл

сколько. Пять, десять. Краска десять лет как засохла. Засохла и затвердела, как я. Чтобы писать, нужно со-сре-до-то-чить-ся, а вот этого я как раз и не могу. Ясно? Но вы-то что здесь делаете? Кто вы такой? Выпейте. Сядьте, бога ради, я вас не вижу.

Эдвард сел. Тошнота подступала к горлу, и он был немного испуган, но в то же время чувствовал такую жалость к Максу Пойнту, что хотел обнять его. Может быть, эти странные чувства овладели им из-за ритмического движения баржи.

— Я пришел спросить у вас про Джесса Бэлтрама.

— Он умер.

Быстрота, с какой был дан этот ответ, потрясла Эдварда.

— Я так не думаю… он где-то в Лондоне…

— Он умер. Уж вы мне поверьте. Будь он жив, то непременно вернулся бы. — Из глаз Макса Пойнта потекли слезы, прокладывая себе путь в бороздках красного морщинистого лица. — Последний его портрет, что я с него написал, был сделан с паршивенькой фотографии. Я писал его снова и снова, и с каждым разом Джесс становился старше. Но он так и не вернулся. А теперь умер. — Он ухватил себя за кончик носа, оттягивая его еще выше. Вдруг он резко выпрямился,

расплескав виски на разбросанные по столу бумаги, и уставился на Эдварда. — Да кто вы такой, черт побери? Ну-ка, посмотрим.

Он протянул руку и включил лампу. Мгновение спустя он снова заговорил, но совсем другим голосом, более ясным и высоким, словно внезапно помолодел:

— Джесс, так ты все же вернулся. Вернулся к старине Максу, единственному, кто по-настоящему тебя любил. Никого другого у меня и не было. Я знал, что ты вернешься… эта сучка Мэй Барнс умерла… Джесс, мы снова будем вместе, как ты говорил, а я надеялся… Ведь это любовь, да, ты умираешь без надежды… Ты меня простил, я простил тебя… Ты настоящий художник, а я всего лишь паршивый содомит, мы на этот счет никогда не спорили, правда… Единственное, что есть во мне хорошего, — это ты… И ты был здесь, все эти годы здесь, на этой гнилой вонючей барже… Боже милостивый, как часто я видел тебя здесь, а тебя не было… А теперь это и в самом деле ты, да, это правда, ведь правда, друг, мой дорогой… Прикоснись ко мне, обними меня, сделай меня снова молодым, спаси меня, мой старый волшебник, мой король, моя любовь…

Макс Пойнт потянулся вперед и ухватил Эд-

варда за локоть своей костистой подагрической рукой. Эдвард и сквозь материю почувствовал его ногти. Он оттолкнул от стола свой стул и вырвал руку.

— Извините. Извините, но я не Джесс, я ищу моего отца. Извините, бога ради, я знаю, что похож на него…

— Джесс, не обманывай меня снова… не бросай меня опять, ради всего святого. Я умру, если ты…

— Я не Джесс! — воскликнул Эдвард и отпрыгнул в сторону от несчастной костлявой руки, тянущейся к нему через стол.

— Ты не Джесс; а кто же тогда?

— Я его сын.

— Ты лжешь. У него нет сына. Ты пришел мучить меня.

— Нет… пожалуйста… я хочу вам помочь… позвольте мне вам помочь.

— Грязный демон, призрак, я тебя знаю! Ты уже заглядывал сюда, прикидывался Джессом. Но меня ты не проведешь. Джесс мертв, и это ты его убил, ты, дьявол. Ты его убил и надел его кожу. Я знаю ваши повадки — ты надел его лицо, а под ним у тебя нет лица, только грязь, кровь и дрянь. Я чувствовал, как ты подкрадывался ко мне ночью, прижимался ко мне, грязный злоб-

ный призрак… А Джесс мертв, мой прекрасный Джесс мертв… Уходи от меня. Я тебя убью!

Макс Пойнт вскочил со стула и схватил шпатель с табуретки за своей спиной. Эдвард увидел, как сверкнуло лезвие, повернулся и бросился прочь, к свету полуоткрытой двери. Поднимаясь по ступеням, он оглянулся через плечо и увидел, как Макс Пойнт метнул нож в одно из полотен.

— Значит, он принял тебя за Джесса, — сказал Томас.

— Да. А потом сказал, что я — дьявол, прикидывающийся Джессом. И что Джесс мертв, а я убил его.

Эдвард в конечном итоге все-таки решил пойти к Томасу. Потребность поговорить хоть с кем-нибудь была слишком сильна, а Томас оставался единственным человеком, кому он мог открыться. Эдвард рассказал ему о Сигарде, но, конечно, умолчал о Гарри с Мидж и о Стюарте. Он не хотел, чтобы Томас пригласил к себе Стюарта и начал допрашивать его. И без того хватало неразберихи. Только когда Эдвард принял решение поговорить с Томасом, мысль о тайном романе отчима с женой Томаса выкристаллизовалась в его голове и прочно осела там. Это странное приключение в Сигарде, появление «мистера и миссис

Бентли», вторжение Джесса, поцелуй Джесса и Мидж — все это Эдвард вспоминал как сон, как фантасмагорическую прелюдию к случившемуся на следующий день. Он не считал своим долгом сообщать о том, чему стал свидетелем, и не знал, известно ли Томасу о романе его жены. Эдварда больше заботили собственные проблемы и печали. Все остальное было непонятным и отвратительным пятном на краю картины. Недавно он почувствовал грусть оттого, что не может радоваться баржам, а сейчас немного переживал из-за того, что не может больше болеть за своего любимого отчима и за Мидж, к которой питал когда-то детские романтические чувства, и что драма, разыгравшаяся так близко, не интересует его. Чужая боль нередко утешает черствые сердца, если только не перехлестывает через край. О Томасе Эдвард не беспокоился. Томас был сильным человеком, он сумеет о себе позаботиться в любых обстоятельствах. Подумав об этом, Эдвард испытал мимолетный страх за Гарри — страх за того, кто (пусть и не в прямом смысле слова) все же был его отцом.

«Есть вещи, о которых лучше не думать», — решил он.

— И он назвал меня призраком. Надо же — я не

только видел призрака, но и был таковым!

— Значит, тебе кажется, что он сказал: «Джесс мертв, он утонул»?

— Нет, думаю, это я выдумал, присочинил позже… я не могу больше доверять собственным мыслям и памяти. Он сказал, что ему снился лже-Джесс весь в крови и грязи.

— Давай-ка оставим Макса Пойнта…

— Это так ужасно, — сказал Эдвард. — Все его бросили. Можем мы что-нибудь сделать для него? Он совсем один, он пьет и когда-нибудь допьется до смерти.

— Что поделаешь, если он так хочет. Людям нравится так жить, и остановить их крайне трудно.

— Нужно, чтобы они не давали ему алкоголя.

— И он будет счастлив? И кто такие эти «они»? Ты, например?

— Я ничего не могу. Я имел в виду кого-нибудь из социальных работников. Он сказал, что какая-то женщина приносит ему еду…

— Тогда она, наверное, знает ситуацию.

— Но я все же чувствую… вы бы не могли к нему сходить?

— Нет. Но я позвоню в местную социальную службу. — Томас сделал пометку в своем блокноте. — А теперь о тебе. О человеке, который

собирается расцветать на несчастьях.

— Томас, не надо так шутить.

— Я абсолютно серьезен.

— Стюарт сказал: пусть оно горит, но брось туда что-нибудь хорошее.

— Он хотел, чтобы ты, страдая, не прятал голову в песок, как страус, а нашел в своей собственной душе истину и надежду. Я хочу того же.

— Он впал в религию, а вы — ученый; от обоих мало проку, когда человек в аду.

Томас помолчал, внимательно глядя на Эдварда.

— Похоже, ты придаешь слишком большое значение тому, что Пойнт принял тебя за призрака. Давай-ка вернемся к тому, что ты увидел, как тебе показалось. Сейчас эта картина не стала для тебя более ясной? Мы говорим уже два часа.

— Я попусту трачу ваше время.

— Замолчи и продолжай.

— Нет. Я думал, что если мне удастся рассказать вам от этом, то вы сможете задать мне вопросы и я, по крайней мере, вспомню что-то очень важное. Это не могло быть взаправду… но ведь я прикоснулся к перстню… кажется, его глаза были открыты… я выпил тот сок, а в нем наверняка был наркотик.

— И ты сказал, что почувствовал себя неважно. Тебя лихорадило? Ты не сказал об этом Брауни. Как по-твоему, о чем это говорит? Ты верил, что увиденное тобой — иллюзия, или нет?

— Томас, не запутывайте меня, так я не могу думать. Не знаю… Я уже решил, что это было что-то ужасное…

— Ты пришел в выводу, что он, возможно, пребывал в трансе и в твоих силах было спасти его?

— Я не знаю… Я чувствовал, что никогда не смогу заставить себя кому-то рассказать об этом и тем самым оказаться в его власти. Узнай об этом кто-то один, узнали бы и все. Это стало бы последним ударом судьбы, я был бы заклеймен. А в особенности нельзя было говорить Брауни. Я бы не вынес, если бы она стала считать меня больным, прокаженным, сеющим повсюду смерть. Она бы поняла, что несчастье с Марком — не случайность. Она была так добра ко мне, потому что считала это событием исключительным. Если б я рассказал ей о втором таком же происшествии, я бы все испортил.

— Ты и так все испортил.

— Да… я убежал, как будто спешил на другое свидание!

— Ты еще встретишься с ней. Но сосредоточься.

Судя по тому, что ты рассказал о доме, ты был в очень беспокойном состоянии, под сильным психологическим давлением. Безумный мудрец, которого держат взаперти его жена и дочери, так ты говоришь. Мысль о смерти Джесса, видимо, постоянно преследовала тебя. А еще — по твоим же словам — мысль о том, что они страстно желают его смерти и, возможно, замышляют его убийство.

— Мне не стоило этого говорить. Я никогда так не думал и сейчас не думаю, я не настолько сумасшедший. Господи, если бы я сумел его найти! Я даже не уверен, что Илона сообщит мне, когда он вернется домой, что ей позволят это сделать. Господи, если бы я только знал, что он жив… тогда я смог бы вернуться к Марку, туда, откуда все и началось.

— Ты об этом говоришь так, словно это цель твоей жизни.

— Так оно и есть.

— Ну, поживем — увидим. Я не могу разложить по полочкам твою проблему с Джессом. К сожалению. Вряд ли это произошло на самом деле, слишком невероятно. Скорее всего, у тебя была какая-то галлюцинация, однако невероятное случается каждый день. Мы должны подождать. А

пока у меня есть для тебя предложение. Я думаю, ты на время должен вернуться в свое прежнее жилье.

— Вы хотите сказать — в ту комнату?

— Да. Попробуй, на несколько дней. Похоже, ты уверил себя, что должен опять пройти через это, пережить заново. Это твое задание. Если ты этого не сделаешь, то так оно и останется. Конечно, тебе будет тяжко… но ты, наверное, часто вспоминаешь то, что случилось.

— Постоянно.

— Ну так вот, вернись туда, постарайся побороть это в себе и увидеть по-настоящему.

— Но комнату наверняка сдали.

— Она свободна. Я звонил туда сегодня утром, когда узнал, что ты собираешься прийти.

— Господи… Томас…

— По крайней мере, обдумай это. Ты не жалеешь, что говорил со мной?

— Нет. Вам я доверяю абсолютно.

— Хорошо. Кстати, я так и не спросил у тебя, когда ты видел Джесса в последний раз перед этой сценой на реке.

— Накануне вечером, когда… — Эдвард покраснел и прикусил губу, потом неуверенно договорил: — Когда он внезапно спустился, а мы

сидели за ужином.

— И что случилось?

— Ничего. Он посмотрел на нас, а потом пошел назад.

— И больше ничего? Правда?

— Больше ничего.

Томас, глядя на Томаса через увеличивающие очки, произнес:

— Гм.

Через секунду-другую Эдвард спросил:

— Вы не думаете, что я сумасшедший?

— Нет. А ты?

— У меня бывают безумные мысли. Я вам не говорил… когда я поднимался по холму в то странное место со столбом… там на земле валялось много мелкого коричневого мусора…

— Мелкого коричневого мусора?

— Да. Естественный мусор — желуди, буковые орешки, каштановые скорлупки, разные обломки, очень хрупкие. Я наступал на них, а они хрустели и ломались. И я подумал, что женщины каким-то образом внедрили это в мою голову… что один из этих обломков… был Джессом… а я наступил и уничтожил его. Потом я начал думать… может, это мне приснилось… что каждый из них был Джессом. Тысячи, миллионы, бессчетное

число Джессов. Разве не безумие?

— Это прекрасно, — пробормотал Томас.

— Понимаете, они казались мне маленькими талисманами, божками, ну, вы понимаете, что я имею в виду. А я наступал на них ногами…

— Да-да, ты далеко зашел. Душа реагирует, она посылает целительные образы. Ее способность воспроизводить новые сущности безгранична. Возможно, в каждый пылинке праха таится бессчетное множество образов Джесса. Тебе не приходило в голову, что, если ты уничтожишь нескольких из них, ничего не изменится, поскольку их очень много?

— Мне приходило в голову, что я уничтожил моего единственного.

— Семя умирает ради жизни. Не бойся своих мыслей — они сигналы жизни. Приходи ко мне снова, не откладывай надолго. А теперь мне пора в клинику.

Эдвард встал. Почти два часа он изучал лицо Томаса, словно собирался написать его портрет, следил за подвижным еврейским ртом, рассматривал ровную светло-русую челку, заглядывал в глубокие колодцы очков. Он вздохнул и отвернулся, закрыл на мгновение глаза, потом открыл их и оглядел комнату, освещенную солнцем. Лу-

чи высвечивали пылинки в воздухе, крапчатый камень, лежавший на стопке бумаги для записей, книги в шкафу и красную человеческую фигурку, которую Эдвард не замечал раньше, на картине Клайва Уорристона, где был изображен пейзаж с мельницей.

Спускаясь по лестнице, он увидел Мередита, пересекающего холл. Мередит поманил его пальцем, и Эдвард последовал за мальчиком в гостиную. Полуденное солнце пробивалось сквозь полузакрытые шторы с ползучим цветочным узором, ласкало сиянием другие крохотные цветы на обоях, цветочный рисунок на ковре под ногами, розы и ирисы, стоящие в вазах. Пахло розами и летом. При виде этого знакомого интерьера Эдвард ощутил резкую боль: это была женская комната, такая знакомая комната. Здесь он лелеял свою детскую любовь к Мидж, здесь не было скорби и страха, и Мидж даже теперь заполняла ее цветами. Эдвард ни разу не заходил сюда после того званого обеда, когда сидел в углу и делал вид, будто читает, а Мередит приблизился и прикоснулся к его рукаву.

— Вот и Эдвард, — сказал Мередит.

— Вот и Мередит.

«Он подрос, повзрослел, — подумал Эдвард. —

Он способен на иронию, на насмешки. Как он узнал? Что ему известно? Не смотрит ли он на меня, как на врага?»

— Ты был у папы? — улыбаясь, спросил Мередит.

— Да.

— Он знает все, кроме одного, а то единственное, что он ищет, прямо у него под носом.

— Это похоже на иносказание.

— Это сюрприз, вроде тех, что дарят на Рождество. А что известно тебе, Эдвард?

— Прекрати, Мередит, — сказал Эдвард. — Не забывай, что тебе только тринадцать.

— А кто сказал, что в тринадцать нельзя сойти с ума? Ты вот так можешь?

Мередит внезапно сделал стойку на руках: его голова вдруг оказалась внизу, модные брюки и длиннющие ноги подскочили вверх, светло-каштановые волосы упали вниз, ботинки со стуком соединились. Эдвард увидел его побелевшие от нагрузки пальцы, растопыренные на ковре. Потом локти Мередита разошлись в стороны, голова медленно опустилась и коснулась пола. Он замер в такой позе на мгновение, а затем, резко взмахнув руками и ногами, вернулся в нормальное положение. Его глаза были устремлены на

Эдварда, лицо покраснело и помрачнело.

— Уходи, — сказал он. — У меня боль в сердце[61].

Он снова сделал стойку. Выражение его перевернутого лица невозможно было разобрать, а глаза снизу уставились на Эдварда. Эдвард удалился, тихо закрыв дверь гостиной, а потом и входную дверь.

«Для чего я так мучаю его, — думал Томас, — почему я все время подвергаю его опасности? А если он вернется в ту комнату и выпрыгнет из окна?»

Он посидел некоторое время, сжимая в руке расческу, И которую автоматически вытащил из ящика письменного стола вместе с белоснежным носовым платком. Затем начал очень аккуратно причесываться, нащупывая макушку и разглаживая свои шелковистые волосы сверху вниз, помогая себе другой рукой. После этого он вытащил волосы из расчески, бросил их в корзинку для мусора, убрал расческу и протер платком стекла очков. Он поправил вещи на своем рабочем столе, выровнял стопку бумаги для заметок и крапчатый камень, привезенный из Шотландии, разложил аккуратным рядком хорошо заточен-

---

[61] Примечания: 61
Слова из известной песни Джерри Ли Льюиса «Love made a fool of te».

ные карандаши. Томас часто писал карандашами, любил их затачивать и использовать разные цвета.)

«Нет, такое вряд ли случится, — продолжал размышлять он. — Но все-таки мне нужно оставить практику, пора на пенсию. Я в самом деле должен остановиться».

Он откинулся на спинку стула. Томас не всегда говорил правду, и ему не нужно было идти в клинику. Сегодня у него был библиотечный день.

Томас стал думать о менопаузе и о мифах, созданных вокруг нее. Многие пациентки настаивали на том, что их нервные кризисы связаны с этим периодом, а если у них не было кризиса, то они старались спровоцировать его. На самом же деле, думал Томас, никакой «типичной» менопаузы не существует, сколько женщин — столько и менопауз. Популяризация науки принесла проблемы, без которых вполне можно было обойтись: взволнованные школьницы считают дни до экзамена, а женщины средних лет, начитавшись журналов в очереди к парикмахеру, с беспокойством ожидают нервного срыва. Встречались, конечно, и серьезные случаи. На этот счет Томас и Урсула Брайтуолтон были единодушны. Он спрашивал себя, думает ли об

этом Мидж и беспокоит ли ее такая перспектива. Возможно, стоит ли поговорить с ней — в общих чертах, конечно? Такова уж была особенность их брака — они не говорили на подобные темы. Пуританская скромность Томаса, обусловленная и католическими, и иудейскими корнями, исключала прямые разговоры о сексе. У некоторых пар словесная откровенность, даже грубость, была частью их интимной жизни. Но в отношениях Томаса и Мидж сохранялась стыдливость, которую он ценил. Как врач, Томас заботился о телесном здоровье жены и говорил о том, что ей необходимо, но беседы о сексе они не вели. Он всей душой любил Мидж, испытывал к ней благородную сдержанную страсть и не переставал думать о том, как ему повезло с супругой. Его патриархальное отношение к браку как к некоему абсолюту за всю долгую историю их совместной жизни ни разу не было поколеблено, и постоянство их связи он воспринимал как нечто само собой разумеющееся. Его ничуть не беспокоили ее обеды с друзьями-мужчинами в те времена, когда она еще была моделью, — о тех обедах Мидж сочиняла для мужа шутливые (и не лишенные язвительности) рассказы. Их совместная жизнь была упорядоченной и церемонной. В самом

начале Мидж приспосабливала свои привычки к привычкам Томаса, не оспаривая его авторитета. Со временем различие в возрасте как будто стерлось. «Оно наверняка проявится снова, — думал Томас, — но опасный период уже позади».

В последнее время Мидж стала необычно беспокойной и импульсивной. У них всегда были некие безмолвные обоюдные сигналы, побуждавшие заняться любовью. С годами их количество уменьшалось, а в последнее время интимные отношения полностью прекратились — временно, конечно же. Томас, которому такая ситуация была явно не по душе, ничего не говорил Мидж. Он спрашивал себя, стоит ли поговорить с женой или по-прежнему полагаться на эти телепатические призывы, неизменно сближавшие их и даривше счастье в прошлом. Он вспомнил давние слова Урсулы: Томасу, сказала она, следовало бы жениться на какой-нибудь хлопотливой шотландке, которая не выходила бы из кухни, а Мидж нужно было выйти замуж за богатого промышленника с яхтой и завести салон, куда являлись бы богатые и знаменитые. Конечно, это была шутка и еще одно ложное обобщение, как и другое заявление Урсулы, назвавшей Томаса диктатором и хвастуном. Мы счастливы,

думал он, мы знаем, что такое «жить хорошо». Одним из подтверждений этого был Мередит. Томас, который мастерски вел беседы со своими пациентами, умел выведывать и убеждать, дома терял эти качества. Допросов жене или сыну он не устраивал никогда. Он редко терял терпение с Мередитом, редко ругал его, но если отец был недоволен, Мередит знал это и знал отчего. Его умный взгляд уже в самые ранние его годы встречался со взглядом отца в безмолвном согласии. Иногда, когда они были вместе (Томас писал, а Мередит читал), они вдруг поднимали головы и серьезно смотрели друг на друга. Улыбались они потом, наедине с собой.

Томас отодвинул мысли о жене в область подсознания и подумал о мистере Блиннете. Мистер Блиннет продолжал удивлять его. Иногда Томас ловил себя на том, что вспоминает теорию Урсулы, утверждавшей, что мистер Блиннет — проходимец. Но какой у него мотив? Если ему просто нравится год за годом тратить деньги, обманывая своего врача, разве это не свидетельствует о его ненормальном состоянии? К Томасу мистер Блиннет пришел после безрезультатного медикаментозного лечения в больнице, отказавшись от шоковой терапии. Он явно вел

нормальную жизнь, имел неплохой доход, которым распоряжался по своему усмотрению, ездил на дорогой машине. Он не был обременен никакими семейными узами, никогда не был женат. В нем все было нормально, кроме его сумасшествия. (Томас вел несколько таких больных, но мистер Блиннет оказался самым замечательным из них.) Его преследовали пугающие галлюцинации: его поражали лазерные лучи, к нему в мозг погружались телепатические зонды, он становился жертвой инопланетян, вооруженных лучевыми пушками, и собачьих стай, гнавшихся за ним по улице. Больше всего боялся он собак. Еще одна его постоянная галлюцинация — мертвая женщина, прорастающая деревом. Иногда мистер Блиннет называл ее своей женой; по его словам, он нечаянно убил ее и — в разных вариациях — закопал в поле, утопил в озере, сжег в духовке, расчленил и разбросал в море. Вчера он принес Томасу длинное стихотворение, посвященное этому. Мистер Блиннет часто писал стихи, банальные и безумные; фантазии сумасшедших обычно на удивление неизобретательны. Его последнее стихотворение (он был помешан на ассонансах) начиналось так: «И вот она стареет в своей могиле под деревом, и вот она

холодеет в своей земляной юбке, но она вырастает из своих одежд плесневелых, пускает ростки из своих лохмотьев, я нашел ее над землей, как зеленый курган...» — и так далее в том же роде, бесформенно и неубедительно. Может быть, мистер Блиннет во время ремиссии становился маньяком-убийцей? Нет, на такого одержимого он не походил. Или он вообще не был сумасшедшим? А вдруг мистер Блиннет, здравомыслящий человек, совершил преступление, после чего стал ловко изображать из себя безумца, чтобы воспользоваться этим в суде, если закон все-таки настигнет его? Весьма изобретательно. Но не слишком ли это долгий обман? Мистер Блиннет, похоже, сотворен из того же прочнейшего материала, что и секретные агенты. Он и в самом деле напоминал секретного агента, какими их изображают в кино, когда наружность человека абсолютно не соответствует его истинной сути, проблески которой способен различить лишь очень искушенный глаз. Спокойное красивое лицо мистера Блиннета напоминало лицо мудреца или святого, но его глаза (Томас порой ловил на себе его взгляд) смотрели внимательно, даже иронично. Невзирая на все страдания с прорастающими трупами и лазерными лучами, мистер

Блиннет нередко был не прочь отпустить какую-нибудь загадочную шутку. Если все это являлось фарсом, то почему представление продолжалось так долго, как ему это удавалось? Конечно, он любил Томаса. А Томас любил его.

Мысли Томаса вернулись к Эдварду. Эдвард хотел, чтобы Томас сказал ему, был ли галлюцинацией образ Джесса в реке. Томас не мог этого сделать. Он лишь склонялся к тому, что это галлюцинация. Будь там настоящий утопленник, Эдвард воспринял бы его по-другому и вопроса о галлюцинации не возникло бы. Важно то, что Эдвард сразу определил увиденное именно так. Но стоит ли гадать и размышлять впустую? Время все расставит на места. Сейчас лучше дать Эдварду отмучиться, а в итоге он сам почувствует, что сделал все возможное. Придет пора, он устанет, вернется и без сознания упадет к ногам Томаса. Тогда начнется новая фаза — исцеление. Молодость Эдварда, его простая и здравая натура, его инстинктивное стремление к счастью возьмут верх. Но подгонять этот процесс до срока нельзя.

Томас почувствовал усталость. Последние несколько часов он был сосредоточен на Эдварде. Теперь нужно забыть его и подумать о своей книге.

«Я должен остановиться, — думал Томас. — Чудо, что меня до сих пор никто не вывел на чистую воду. Но это может случиться в любой момент. Я жажду свободы. До сего дня я жил мастерством и разумом, а с этого момента пусть меня ведет по жизни желание. Я не могу и дальше пользоваться своим хитроумным искусством, своей властью, чтобы гнуть и корежить жизни людей, как мастер бонсай поступает с растениями. Это должно закончиться, пока не случилось что-то непоправимое, пока я не потерял самое ценное — мою репутацию, мою… честь. То, что утратил и теперь ищет несчастный Эдвард. Ведь у меня не будет авторитета и целителя».

Потом он подумал:

«Как бы мне хотелось обсудить некоторые из этих проблем со Стюартом! Возможно ли такое? Может быть, позднее. Но сначала я должен оставить все это, проститься с ним. Мы будем жить в Куиттерне, я буду думать, писать. С магией пора покончить. Да, Тезей должен оставить Ариадну, Эней должен бросить Дидону, Афины должны быть спасены, Рим должен быть основан. Просперо топит свои книги и освобождает Ариэля, а герцог женится на Изабелле. Аполлон усмиряет фурий».

Томас посидел немного, а потом произнес вслух, хотя и вполголоса:

— И сдирает кожу с Марсия.

— Я хочу, чтобы ты научил меня медитировать, — сказала Мидж.

— Я не знаю как, — ответил Стюарт. — Я просто делаю это. Конечно, есть разные способы, практики, но этим нужно очень долго заниматься. Я их сам для себя изобретаю, может быть, они неправильные. Вы должны обратиться к кому-то другому.

— Ты хочешь выпроводить меня.

— Нет. Просто не могу вам помочь.

— Ты должен мне помочь. Ведь ты же хочешь нести добро в мир. Или ты отказываешься, потому что тут примешано личное?

Стюарт немного подумал и ответил:

— Сомневаюсь, что я вообще способен вам помочь, но тем не менее… поскольку все это связано с моим отцом… я считаю, что нам лучше не разговаривать.

— А с кем еще я могу разговаривать? У тебя же есть особый долг, особые обязательства. Ты — единственный, кто может понять все это. Ты должен помочь мне разобраться, никто другой не сможет. Я хочу рассказать тебе все о себе и о

ситуации… и тогда я смогу принять правильное решение. Разве ты не хочешь, чтобы я сделала это?

— Да, но…

— Неужели тебя даже не интересно?

Стюарт задумался.

— Нет, интересно. Но интерес такого рода — низкий, отвратительный инстинкт, и я не могу идти на поводу у него.

— Ты считаешь, что нехорошо представлять себе страдания других людей?

— Ничего хорошего из того, что вы мне расскажете, не получится.

— Откуда ты знаешь, почему ты так уверен, почему не попробовать, чего ты боишься?

— Я предвижу все отрицательные последствия, каких, вероятно, не видите вы. Мы с вами вообще не должны говорить об этом…

— Как ты можешь быть таким холодным и бессердечным?

— Вы придумали этот разговор как средство, как способ отложить признание Томасу.

— Ты намекаешь, что, если я сама не признаюсь Томасу, это сделаешь ты?

— Нет. Я ему ничего не скажу.

— Никогда?

— Это бессмысленный вопрос, поскольку Томас так или иначе скоро все узнает. Отец вполне может ему сказать. Но лучше вам сделать это самой. Секрет открылся, перестал принадлежать только вам двоим, и, скорее всего, он начнет распространяться…

— Я думаю, Эдвард способен рассказать Томасу. Или эти дьяволицы из Сигарда начнут сплетничать. Но… это не имеет значения… у меня есть ощущение, что он уже знает…

— Вы так думаете?

— Нет, он не знает, но ты же говоришь, что это неизбежно, и тут никуда не денешься… Я хочу понять, что я совершила. Об этом я и хочу поговорить с тобой… и обо всем, что это значит. Как я могу судить? Мне нужен ты, нужна твоя помощь, я прошу тебя помочь мне. Я хочу исповедаться, хочу выплеснуть все перед тобой.

— Я понимаю. Но такой «выплеск» вам как раз и не поможет. Если рассказать все мне, не будет никакой пользы. Это просто отвлекающий маневр, еще один эмоциональный опыт, способ протянуть… продолжить… ваши отношения… Идите к Томасу. Если вы хотите, чтобы все было ясно и по-настоящему, откройтесь ему. Вы жили словно во сне…

по крайней мере, мне так кажется. Пока не поговорите с Томасом, вы не поймете, чем занимаетесь. Как только вы ему все расскажете, вы станете другим человеком.

— Вот этого я и боюсь.

— Этого боится только часть вас. На самом деле вы хотите стать другим человеком, прекратить обман…

— Ты, похоже, думаешь, что женщина не может любить никого, кроме своего мужа. Ты считаешь, что всякая другая любовь ничего не стоит. Но именно эта любовь, возможно, самое ценное, что есть в мире. И так происходит всегда. Ты хочешь разлучить меня с твоим отцом. Тебе отвратительна наша связь. Неужели ты не можешь быть объективным?

— Да, меня от этого тошнит, — ответил Стюарт, — но дело не в этом. Дело в том, что нужно говорить правду. Если человек лжет, а тем более — лжет постоянно, он постепенно теряет связи с реальным миром. Теряет способность понимать. На мой взгляд, хотя мой взгляд и не имеет значения, ваша связь с моим отцом — это неправильно. Нужно думать о Мередите и…

— Не надо быть низким, не надо быть грубым и невоспитанным! Ты злопамятен… ты не понима-

ешь, как ты смеешь…

— Ну хорошо, не смею. Я прошу прощения за то, что сказал вам, будто ваши отношения с моим отцом — это неправильно. Ложь — это неправильно. Только когда все делается в открытую, вы можете понять, что сделано и что делать дальше. Рассказывать об этом мне не нужно, это только ради острых ощущений. Вы хотите отвлечься, как ходят в кино, чтобы забыть о неприятностях. Это фантазия.

— Ты называешь фантазией мое желание открыться тебе?

— Да. Это невозможно и этого не будет. Истина возникнет только с Томасом, а не со мной. А *это* — лишь создание некой эмоциональной атмосферы, что-то вроде беспокойной псевдосвязи…

— Понятно… ты боишься эмоциональных отношений со мной. Ты чувствуешь, что тебе грозит опасность?

— Нет, я чувствую, что опасность грозит вам.

— Ты себе льстишь. Ты думаешь, я могу влюбиться в тебя?

— Нет, конечно нет! Я хочу сказать, что для вас это станет своеобразным наркотиком — бесконечные разговоры с кем-то. С кем угодно.

— Это похоже на психоанализ!

— Это не принесет вам пользы. Просто продолжение сна, неправды, откладывание на потом того, что необходимо сделать сейчас.

— Ты думаешь, я доставлю тебе беспокойство.

— Нет!

— Ты сам сказал про беспокойную связь.

— Пожалуйста, давайте не будем спорить в такой манере…

— Я не спорю, споришь ты. Я ищу помощи. Ты воздвиг вокруг себя нечто удивительное, нечто вроде вакуума… Что же ты теперь сокрушаешься, что в него устремляются люди со своими болями? Неужели таково твое представление о святости — отталкивать страждущих? Или ты вознесся слишком высоко?

— Все дело в том, что это… что вы…

— Я — что? Такая особенная? Может, это искушение?

— Нет. Вы знаете, что я имею в виду. Давайте прекратим разговор, сплошная путаница и хаос.

— Ты ненавидишь хаос. Там, где есть люди, всегда хаос.

— Послушайте, это связано с моим отцом. Я не могу обсуждать его… его…

— Приключения.

— С вами. Это неприлично.

— Мне нравится твой словарь.

— Ему бы это… не понравилось. И совершенно справедливо. Это достаточная причина для того, чтобы я попросил вас уйти.

— Я бы хотела узнать и другие причины.

— Вам нужна нервная эмоциональная сцена, игра на нервах, а это ни к чему.

— Ты так стараешься не повредить отцу, почему же ты тогда поехал с нами в машине?

— Это было ошибкой, — сказал Стюарт. — Я сожалею. Мне хотелось поскорее оттуда уехать.

— Ошибки не остаются без последствий. Ах, Стюарт, помоги мне немного, любая малость мне поможет! Не будь таким жестоким. Мне нужно то, что ты способен дать. Мне нужно некое отпущение… нет, прощающее понимание, сострадание…

— Я испытываю к вам сочувствие.

— Это уже кое-что.

— Но я не могу вам помочь. Пожалуйста, не просите у меня ничего, здесь неподходящее место.

— Значит, ты не в силах помочь тому, кто сходит с ума от отчаяния?

Стюарт подумал.

— В таком контексте — нет.

— Ты… ты настоящий дьявол. Ты с этой твоей

«ошибкой»…

— Я не хочу совершать других. Здесь.

— Уже поздно. Ты боишься, как бы одна-единственная оплошность не запятнала тебя. Ты должен быть идеальным — и пусть погибнет весь мир. Что ж, по крайней мере, я начинаю лучше тебя понимать!

Они сидели в маленькой комнате Стюарта, он — на кровати, она — на стуле. Говорили вполголоса. Косые бледные солнечные лучи проникали сюда через грязное окно, которое Стюарт закрыл, когда неожиданно появилась Мидж. Стены в комнате были бледно-зеленые, с разводами; край сверкающего новизной линолеума задрался и мешал открываться дверям, а по цвету он тоже был зеленым, но более ярким. В комнате имелась раковина, рядом с ней висело тонкое белое полотенце. На маленьком столе были разбросаны бумаги, брошюрки, незаполненные бланки. В пыли под кроватью виднелся наполовину разобранный чемодан, его сломанная крышка валялась на полу. Стенные панели подернулись тонким слоем пыли. В комнате стоял холод, пахло нестираным бельем и сыростью.

Стюарт мерз, ему было неловко. Перед появлением Мидж он брился, энергично плеща себе

в лицо холодной водой, его волосы промокли, а рубашка была расстегнута. Он попытался застегнуть пуговицы, но спутал петли, а опускать глаза и исправлять положение ему не хотелось — Мидж с места в карьер напустилась на него, и приходилось прилагать усилия, чтобы сосредоточиться. Он смотрел на Мидж своими желтыми звериными глазами, взгляд которых он умел делать холодным и невыразительным.

Мидж сбросила плащ на пол. Она оделась строго — коричневая юбка, белая блузка, почти без косметики и без драгоценностей, но аккуратный кожаный пояс и туфли каким-то образом, словно изысканная подпись, свидетельствовали о высоком качестве искусно подобранного костюма. Она сидела в изящной позе, чуть повернувшись, бессознательно поддернув юбку. Во время разговора ее маленькие руки с ярко-красными ногтями нервно двигались по кромке юбки, по коленям, потом устремлялись к шее, к волосам, словно два маленьких испуганных зверька. Хотя ее талию уже нельзя было назвать осиной, выглядела Мидж собранной, элегантной, молодой, натянутой, как струна, как юный солдат в безукоризненной форме. Она поминутно откидывала назад густую гриву ярких волос и нервно

подергивала пряди.

— Стюарт, неужели ты не понимаешь, о чем я тебе говорю, в чем смысл всей этой сцены? Не понимаешь, что это значит, когда один человек непременно должен видеть другого, когда больше всего в мире он хочет говорить с ним, быть с ним? Я тебя люблю. Я влюбилась в тебя.

Это была правда. Мидж потом поняла, что это случилось в машине, когда они возвращались из Сигарда и она так ясно поняла, что не хочет, не может прикасаться к Гарри. Она почувствовала, как медленно меняется ее тело: его охватил ужасный холод, а потом оно постепенно стало отходить, отогреваясь в лучах, идущих сзади. Сначала она сидела недвижно, испытывая целый букет эмоций — страх, отчаяние, гнев, смущение, раскаяние. Она хотела, чтобы Стюарт исчез, умер, никогда не появился на свет, чтобы его ужасная совесть, его знание испарились без следа. Она ощущала его крупное белое тело, тяжело расположившееся так близко за ее спиной, на заднем сиденье машины. Она воспринимала его как зараженный труп, грозящий смертельной болезнью, отвратительный, опасный. Через какое-то время внутри Мидж осталась лишь усталость, и она сдалась безнадежному тихому чувству, охва-

тывающему человека, когда он «хлебнул через край». Затем тепло потекло по ее телу, и она, даже не изменив позы, расслабилась и позволила себе отогреться. Это было желание — ни на кого не направленное, новое. Как такое могло случиться? Какое-то физическое явление, феномен, словно ее тело претерпевало трансформацию, словно под воздействием излучения изменялись его атомы. Мидж почувствовала умиротворение, она была готова уснуть, но в то же время ощущала напряжение жизни. Она понимала — или позднее поняла, — что Стюарт каким-то образом воздействует на нее, что его близость влияет на нее. Что это означало? С ней никогда ничего подобного не случалось. Все это, как и она сама, как ее изменившееся «я», было абсолютно новым. У Мидж возникло искушение повернуться, но это было невозможно. Она сидела, глядя вперед широко открытыми удивленными глазами, чувствовала сбоку присутствие Гарри, его нервные движения, глубоко дышала и размышляла о том, что так неотвратимо происходило в салоне машины. Это было нечто совершенно безличное, какая-то космическая химическая реакция, в которой Стюарт выступал как чистая сила, а она — как чистая материя. Это ощущение обезличенности,

неотвратимой объективности происходящего было столь острым, что в тот момент Мидж и в голову не пришло задуматься: а разделяет ли его Стюарт?

Потом она вернулась в Лондон. Томас увез ее в Куиттерн, и она была рада уехать, отдохнуть, разобраться в том, что с ней случилось. Конечно, нужно поехать к Стюарту и сказать ему, но сначала надо просто увидеть его, побыть в его присутствии. Это было ясно. Но теперь она начала видеть и все остальное. Неужели опасная близость Стюарта непоправимо разрушила ее любовь к Гарри, их прекрасное взаимное влечение, которое она так лелеяла, которое наполняло ее дух и возвеличивало ее тело, которое в течение почти двух лет определяло ее тщательно расписанную жизнь? Нет, конечно, она не могла разлюбить Гарри, конечно, она продолжала любить его, но эта любовь изменилась. Одна в Куиттерне с мужем и сыном, изолированная на этом отрезке пространства и времени, она погрузилась в полусонное состояние и пыталась не думать о случившемся или о том, что будет делать дальше. Она просто наслаждалась своим чувством к Стюарту, холила его, утверждала. Стюарт словно уже был отдан ей, как вещь, как тема

для бесконечных размышлений. Она восстанавливала все воспоминания о нем, начиная с его детства, она медитировала над ним, она собирала его. Она испытала облегчение (и одновременно обиду), когда вернулась в Лондон и обнаружила, что Гарри вышел из дома, а не ждет ее, любя и волнуясь, у телефона. Она не собиралась встречаться со Стюартом в то утро, не предусматривала этого, но отсутствие Гарри она приняла как сигнал. К тому моменту Мидж уже начала понимать, в какой ужасной ситуации оказалась. Ее болезненно растрогала маленькая квартирка Гарри, его привычные уговоры и его полное неведение. Старые укоренившиеся привычки любви и преданности победили просившиеся наружу откровения. Разве могла она забыть о своей любви к Гарри, разве не оставался он для нее совершенством? В душе Мидж мучительно соединились любовь и жалость к любовнику, хотя при этом, даже разговаривая с ним, она планировала новую встречу со Стюартом и думала о том, скоро ли это произойдет и с каким выражением лица она явится к Стюарту в следующий раз. Она позволила Гарри любить себя, и это было трогательно и странно, словно он сейчас был молод и желанен, и мысли Мидж перетекли в сон еще до того, как все

закончилось. Она обещала Гарри позвонить на следующий день, чтобы договориться о чем-то, но не позвонила, а вместо этого пошла к Стюарту.

— Не говорите глупостей! — воскликнул Стюарт — Уходите домой.

Она поднялась со стула, бросилась к кровати и села рядом с ним. На мгновение ее нога, прикрытая тканью юбки, прикоснулась к нему, и Мидж почувствовала тепло его крепкого тела под рубашкой. Стюарт вскочил и отступил к окну, опрокинув на ходу стол и сбросив на пол бумаги.

— Мидж, не говорите таких абсурдных нелепостей…

— Стюарт, послушай меня, не торопись с ответом. Я знаю, это может показаться безумием, я знаю, это неожиданно, но это нечто настоящее. Не отвергай меня с ходу, подумай… Я знаю, ты хочешь жить особой жизнью, без секса, никогда не жениться, я это уважаю, мне это нравится. Я только хочу иногда бывать с тобой, я только хочу, чтобы ты принял мою любовь и воспринимал меня как друга или служанку. Я могу быть полезна для тебя. Ты хочешь творить добро, нести его людям — и я тоже. Моя жизнь была никчемной, бесполезной, полной тщеславия, вот почему ты так важен для меня. Если ты понимаешь это,

ты должен позволить мне быть с тобой… Я могу стать твоей помощницей, твоим секретарем, я буду готовить тебе, делать что угодно. Пожалуйста, пойми, о какой малости я прошу. Я всего лишь хочу быть вместе с тобой, не отвергай меня, не отсылай прочь раз и навсегда, я просто хочу подарить тебе мою любовь…

— Прекратите, — прервал ее Стюарт. — На самом деле вы не верите в это и не чувствуете ничего подобного. Вы даже не понимаете, что говорите, это бред… У вас нервный срыв, это последствия шока, который вы испытали, когда вдруг увидели меня и Эдварда в том доме. Вы, естественно, рассердились, а это особый способ отомстить мне. Завтра вы сами поймете это, и ваши чувства изменятся. Я, конечно, желаю вам добра и надеюсь, что вы примете правильное решение и будете счастливы, но то, что вы сейчас сказали, — это сущий бред. Вы не в себе. Идите домой и отдохните. Пожалуйста, уходите. Я открою вам дверь.

Мидж соскользнула с кровати и оказалась у двери раньше Стюарта, не дав ему отпереть ее.

— Ты убил мою любовь к Гарри. Она прошла. Ты доволен? Теперь я одна, я твоя, и ты должен принять ответственность за меня, ты должен

знать, что я чувствую, ты должен принять и признать меня, я должна существовать для тебя и быть в твоей жизни, это должно случиться. Это дело твоих рук, ты спровоцировал это. У тебя тоже есть чувства, и я ощущаю их. Все началось в машине — я чувствовала, как ты притягиваешь меня, ты наверняка захотел меня тогда.

— Простите, — сказал Стюарт. — Я не хотел вас ни тогда, ни в какое-либо другое время, у меня нет никаких таких чувств. Пожалуйста, не заблуждайтесь на этот счет. А теперь идите домой, примите аспирин и ложитесь в кровать. Я ничего не могу для вас сделать. Даже то, что я слушаю ваш бред, вредит вам.

— Ты тронут, ты возбужден, я тебе небезразлична. Я одна не могу быть причиной этого — такого сильного и безмерного. Влюбиться — это чудо, возобновление жизни, и ты должен что-то чувствовать. Ты заставил меня влюбиться в тебя. Я теперь должна сказать им всем — Гарри, Томасу, Мередиту…

— Мидж, пожалуйста, пожалуйста, перестаньте лгать и приносить горе людям. Все это ложь. Того, о чем вы говорите, нет, и меня там нет. Хотите изменить свою жизнь — возвращайтесь к Томасу, хотите чуда и обновления — ищите их там.

Если вы прекратите лгать и отправитесь домой, то увидите, что именно там вы по-настоящему счастливы. Вы не обретете счастье ценой обмана. Я не верю тому, что вы сейчас говорили о вашей любви к моему отцу, но если обстоятельства все-таки меняются, это хороший знак. Вы почувствуете, что освободились…

— Освободилась! Не издевайся надо мной. Ты не видишь, как я страдаю? Да есть в тебе что-то человеческое или нет? Нет… Ты не видишь, не понимаешь… Я тебе напишу, я все объясню.

— Пожалуйста, не пишите, я не буду читать ваших писем и не отвечу. Пожалуйста, не начинайте ничего…

— Не начинать?! Да все уже началось! У тебя ключ к моему желанию. Только ты можешь утолить мою боль. Пожалуйста, прикоснись ко мне, твое прикосновение исцелит… не отказывай мне в этом, не отталкивай меня… возьми мою руку, умоляю тебя! Если ты этого не сделаешь, она засохнет и отвалится… я вся горю, все мое тело горит… бога ради, спаси меня, утешь меня, прикоснись ко мне…

С этими словами Мидж протянула к нему руку. Ее рука замерла перед его расстегнутой рубашкой, повисла, как неподвижная парящая птица.

Стюарт взял ее горячую ладонь и почувствовал, как пальцы Мидж сжали его пальцы, как ее ногти впились в его кожу, словно на него спустилась теплая хищная птица и обняла крыльями. Он закрыл глаза, чтобы не видеть ее раскрасневшегося возбужденного лица, влажных губ и глаз. Он быстро выдернул руку и отступил. Слезы хлынули из глаз Мидж, они текли, падали ей на блузку, скатывались между грудей.

— Простите, — произнес Стюарт.

Он нажал ручку, открыл дверь, отодвинул в сторону Мидж и ринулся вниз по лестнице. Оказавшись на улице, он пошел вперед широким быстрым шагом, пока не оказался там, где были кусты, несколько деревьев и скамейка. Он сел и окинул взглядом улицу. Он хотел увидеть, как выйдет Мидж.

Минут через пять она появилась, посмотрела направо, потом налево. Стюарт не понял, заметила она его или нет. Мидж направилась в противоположную от него сторону. Когда она наконец исчезла из виду, он немного подождал и неторопливо вернулся в свое обиталище.

Эдвард поднял раму окна до упора вверх, поставил рядом стул и взобрался на него. Он посмотрел под углом вниз, затем наклонился и, держась за

стенки, высунулся наружу. Он увидел мостовую, решетку, темный прямоугольник выемки перед окном подвала. В тот вечер в подвальной квартире горел свет. Почему там ничего не услышали? Может, они были в задней комнате с включенным телевизором? Теперь был день и светило солнце. Подоконник находился на уровне чуть выше коленей Эдварда. Он всегда воображал себе, как Марк выходит из окна; вероятно, ему хотелось, чтобы в последний миг Марк чувствовал себя счастливым и всемогущим. Ему хотелось думать, что Марк гуляет где-то по воздуху. Выйти наружу не составляло труда, нужно было только нагнуться, ступить на карниз, потом, уже за окном, выпрямиться, наклониться вперед и шагнуть… Что Марк чувствовал тогда? А когда он понял… Успел ли он понять?.. Зачем ломать голову, пытаясь вообразить, что было на уме у Марка? Человек может прыгнуть в пустоту. Или съежиться и броситься головой вперед. Кричал ли он, пока падал? Как он не попал на решетку? Он улыбнулся, сделал шаг и поплыл, как Питер Пэн. Первый спектакль, который Эдвард видел в театре, был про Питера Пэна. Это до сих пор оставалось для него самым ярким театральным впечатлением: появление Питера в окошке дет-

ской на верхнем этаже дома, когда он из темноты ночи посмотрел на спящих детей — нездешний, отверженный, озорной. Ни один призрак, являвшийся впоследствии потрясенному воображению Эдварда, не был так ужасен, как тот летающий мальчик. Эдвард вдруг почувствовал, что у него закружилась голова. Он поспешно спустился со стула и подумал: «Что, если сегодня, когда я усну, Марк прилетит сквозь тьму, сядет на подоконник и тихо поднимет раму окна…»

Эдварду стало так плохо от испуга, тоски и знакомого отчаяния, что он сел — не на стул, а на кровать, на ту самую, на которой лежал Марк в тот вечер, расслабленный и счастливый, болтая милую чушь и улыбаясь Эдварду. Он согнулся от боли, теперь превратившейся в ужасающий любовный импульс, в мучительное «если бы только». Если бы только все это было дурным сном! Если бы Марк мог прийти к нему сейчас живой, а не мертвый; не призрак, а смеющийся, счастливый, красивый, отпускающий дурацкие шутки по-французски. Господи боже, как же они были счастливы и не знали этого. В раю, в неведении. Ах, любовь, она лепит и придает форму, она освещает собой, разглаживает и обнимает, она так уверена в реальности своего объекта,

что способна создать его из ничего. Но если ее объект есть ничто? Можно ли любить пустоту? Чтобы отвлечь себя другой разновидностью отчаяния, Эдвард вытащил из кармана несколько писем от матери Марка — он нашел их дома и еще не открывал. Он взял письма с собой, потому что чувствовал, что должен их прочесть, но до сих пор не набрался мужества; еще он не хотел оставлять их в доме Гарри, чтобы ни у кого не возникло искушения прочитать послания и увидеть всю его черноту, его вечный позор и стыд. Эдвард говорил себе, что миссис Уилсден выжила из ума, что ей нужна помощь, что она нуждается в сочувствии, но ее ненависть — как, видимо, ей того и хотелось — все равно разила его стрелами смертельных, мучительных обвинений. Тон и стиль писем миссис Уилсден немного изменились, но содержание оставалось почти тем же.

Почему вы вторглись в мою жизнь, почему я должна все время думать о вас, почему мысли мои черны из-за вашего ненавистного образа? Я в аду, и скорбь моя никогда не закончится. До самого последнего дня я каждое мгновение буду думать об этой смерти, воображать ее, проживать ее, эту бессмысленную невольную смерть, эту кражу целой жизни, прекрасной чудной жиз-

ни, полной радости, оставившей дыру в мире, кровоточащую рану. Я видела его тело, переломанное и искореженное вами. Вы оставили его в прошлом, оставили и забыли, как и в тот вечер. Я надеюсь, вы вывалитесь в окно. Если бы моя ненависть могла убить вас… Еще лучше будет, если вы потеряете то, что любите больше всего, и почувствуете то, что чувствую я, окажетесь там, где пребываю я.

— Да я уже там! — громко выкрикнул Эдвард, комкая письмо.

Он пробежал другие письма — не стал читать их внимательно, просто хотел убедиться, что никакого чуда не произошло и ни одно из писем не начиналось словами: «Дорогой Эдвард, моя ненависть к вам иссякла, сошла на нет, я понимаю, что и вы страдали, вы мучились достаточно, и я вас прощаю». Такого письма не было, ему было не суждено прочесть целительные слова.

Эдвард послушался совета Томаса и вернулся в эту страшную комнату. Он взял чемодан, рюкзак с книгами и переехал, хотя был уверен, что не сможет здесь работать; правда, он пока не понимал, как вообще когда-нибудь где-нибудь сможет работать. Хозяйка обрадовалась возвращению прежнего жильца. Она назвала комнату Эдварда

«мертвой» и рассказала, что никак не может сдать ее, поскольку люди считают это место несчастливым. Говорили даже, что здесь водятся призраки. Эдвард переехал туда по воле Томаса и потому, что это действие означало некий шаг, часть «работы», заменившей ему ту, другую работу, которую он не будет больше делать никогда; а еще он прощался с Гарри, выразившим ясное желание, чтобы пасынок покинул его дом. Конечно, ничего подобного между ними не было сказано словами. Но, глядя на раздраженного и измученного Гарри, Эдвард испытывал неловкость и чувствовал вину за то, что стал свидетелем унижения отчима в Сигарде. Однако теперь он сидел на кровати, уронив на пол скомканное письмо, и думал, что совершил ужасную ошибку, когда переехал сюда и оказался в одиночестве. Он здесь умрет или сойдет с ума ночью, сражаясь с призраком, тянущим его к окну.

Все смешалось, скорбь и страх теснились в его сердце. О Джессе не было известий, Илона так и не написала. Эдвард не нашел следов Джесса в Лондоне и не знал, где еще его искать. Таким образом, и это занятие, заполнявшее его время, исчерпало себя. Он по-прежнему хотел сходить к миссис Куэйд, медиуму. Он смутно надеялся, что

она сумеет ему помочь, но не мог отыскать ее дом. Возможно, она куда-то переехала, и он никогда не увидит ее. Или все это было лишь сном? Самое плохое, что Эдвард не имел никакой возможности найти Брауни. Он почти желал, чтобы она уехала в Америку и кто-нибудь сообщил ему об этом. Пойти в дом ее матери он не мог, а на письмо, отправленное в кембриджский колледж, ответа не было. Значит, Брауни не хочет его видеть, она получила от него все, что ей требовалось, и больше не пойдет на поводу у своей невольной жалости. Наверное, она решила, что жалость при отсутствии каких-либо других чувств — это жестоко по отношению к нему. Вполне возможно, она сожалела о той странной вспышке эмоций. Ведь Эдвард покинул ее так внезапно, так грубо, даже адреса не спросил. Может быть, она решила, что ее общество причиняет ему слишком много страданий. Эдвард подумал, что теперь ему не остается ничего, кроме страдания. Неужели Томас имел в виду именно это? Понимал ли он, что делает, или пробовал наобум разные способы, как берут и встряхивают сломанную машинку — вдруг заработает? Ведь Томас не был богом.

Эдвард решил выдержать здесь одну ночь, от силы две, а потом переехать. Только куда? Отпра-

виться к друзьям он не мог — у него не осталось друзей, ему было стыдно появляться перед ними. Придется искать жилье или снимать номер в дешевой гостинице. Надо будет заходить домой, ведь он ждал писем от Брауни или от Илоны, но не осмеливался верить, что долгожданные вести когда-нибудь придут. Эдвард осознавал, что рано или поздно он будет вынужден вернуться в Сигард. Иногда надежда возрождалась, и он представлял себе Джесса живым, в Сигарде, где тот и находился все это время. Эдвард воображал, как женщины смеются и приветливо встречают его, радуются его приезду, как в первый раз. Но все чаще возвращение в Сигард казалось ему ужасным, как окончательный уход во тьму.

Эдвард сидел на кровати, дрожа, и пытался либо заплакать, либо собраться и сделать что-то обыденное — например, пойти и поесть где-нибудь. В этот момент к нему пришел Стюарт.

— Привет, Эд, ты в порядке?

— Глупый вопрос.

— Почему ты вернулся сюда?

— Томас посоветовал.

— Ах так? Понятно.

— А мне непонятно. Я тут схожу с ума.

— Значит, хорошо, что я пришел.

— Как там Гарри? А, ты ведь тоже не живешь дома.

— Он очень мрачен, я к нему заходил.

— Представляю, как тебе тяжело. Словом перекинуться не с кем.

— Да. Он мне сказал, что ты здесь. Я принес то растение обратно, в твою комнату.

— Какое растение? Ах да, спасибо.

— Меня беспокоит Мидж. У нее плохи дела.

— Как по-твоему, долго это уже продолжается?

— Ты имеешь в виду…

— «Мистера и миссис Бентли».

— Не знаю. Думаешь, Томас знает?

— Трудно представить, что он знает.

— Почему?

— Он бы сделал что-нибудь.

Они помолчали несколько мгновений, представляя себе, что бы мог сделать Томас.

— Не уверен, — сказал Стюарт. — Может, он выжидает.

— Когда это закончится? Нет. О черт! Мне на это наплевать. Я в таком отчаянии, что готов покончить с собой.

Стюарт подошел к окну, закрыл его, отодвинул стул подальше оттуда и сел.

— Нет, на такое я бы не пошел. Я не склонен

к самоубийству. А жаль, тогда бы все наконец кончилось. Боже мой, как же все несчастливы! Ну почему люди не могут жить счастливо? Да, я думаю, ты счастлив. И почему бы нет? Ты невинен.

Стюарт подумал и ответил:

— Наверное, в глубине души я, может быть, и счастлив, хотя я не уверен, что это подходящее слово… Но на другом уровне я ужасно обеспокоен.

— «Обеспокоен»! Боже мой, хотел бы я быть обеспокоенным!

Стюарт встал, снял черный плащ и шарф своего теперь уже бывшего колледжа, швырнул их на пол и снова сел. На нем был темный вельветовый пиджак, под пиджаком — рубашка с расстегнутым воротом, не очень чистая и помятая. Его короткие светлые волосы взъерошились. Он сидел, расставив ноги, и казался крупным и сильным, почти монументальным по контрасту с братом, худым и скрюченным. Эдвард ссутулился, переплел ноги и все время беспокойно двигал руками: то поднимал их, чтобы откинуть со лба пряди темных волос, то опускал и снова сцеплял, заламывая пальцы.

— Эд, я бы хотел, чтобы ты сходил к Мидж. Она любит тебя.

— Ты пришел, чтобы сказать мне это?

— Не только. Ты мог бы помочь ей и…

— И таким образом, сострадая другому, помочь самому себе. Я знаю. Ничего из этого не выйдет. Я всех ненавижу. Нет, тебя я не ненавижу, ты — исключение. Господи, ты мой брат. Но что толку, если я встречусь с Мидж? Ты ее видел, ты нанес ей визит, купил букетик цветов? Нет. От меня никакой пользы. Я болен, у меня нет личности, я раздавлен, я тряпка, клочок смятой бумаги, кусок дерьма в сточной канаве. Я не существую, Мидж просто не заметит меня.

— Ты существуешь.

— Если и существую, то благодаря тебе. Томас тоже умеет это делать. А все остальное время я — лишь скулящая тень. Так чего ты от меня хотел? Чтобы я отвлек внимание Мидж от Гарри, заставил ее в себя влюбиться?

Стюарт испуганно посмотрел на него.

— Ты думаешь, это возможно?

— Мидж необузданная. Она может внезапно возненавидеть Гарри за то, что случилось в Сигарде. Она на что угодно способна. Она даже признаться Томасу может. Но я не знаю. Мне ходить к ней бесполезно, моя собственная треклятая душа не на месте. Вот хоть на это посмотреть…

Эдвард подобрал с пола несколько писем миссис Уилсден и швырнул их к ногам Стюарта.

Стюарт пробежал глазами одно письмо, потом другое.

— Бедняжка, как ей тяжело, как ужасно она страдает.

— Я знал, что ты так скажешь. А куда деть меня?

— Я хочу сказать, как ужасно страдать через ненависть. Но она придет в себя, увидит все в другом свете и будет страдать иначе. Хотя для тебя это неважно до тех пор, пока ты не желаешь ей дурного и не ненавидишь ее в ответ.

— Что ты имеешь в виду, почему неважно?

— Ну, это не дает тебе никакой информации о том, что происходит на самом деле. Ты должен думать об этом по-своему, независимо от нее. Она — не голос Бога, или правосудия, или чего-то еще в этом роде. Она не может прикоснуться к тебе или как-то тебе повредить. Она несчастный человек, неадекватно реагирующий на происходящее. Ты, конечно, связан с ней, тебе придется думать о ней, жалеть ее, помогать ей по возможности… вы соединены навсегда. Но это не значит, что она твой судья. Ты ведь не испытываешь к ней ненависти?

— Нет, конечно, но… — Ответ Стюарта сбил Эдварда с толку. Он чувствовал, что не удовлетворен этим ответом. — То, что она пишет… эти угрозы, эти проклятия…

— Она не может проклясть тебя, Эд. Такого рода силы не существует. Разрушительная сила целиком находится в твоем мозгу. Ты ведь не думаешь, что она придет к тебе с пистолетом?

— Нет, не думаю. Но ненависть способна убивать. Она заставляет меня ненавидеть себя самого. Я мог бы решить, что таково ее желание, и случайно попасть под автобус. Я мог бы стать своим собственным проклятием.

Стюарт нахмурился и посмотрел на него.

— Тебе не нужно жить одному. Это очередная блестящая идея Томаса, но он не всегда прав. Он смотрит на вещи драматически. А я не вижу тут ни драмы, ни загадки. Нет никаких загадок.

— Нет, есть. Моя загадка. Моя собственная.

— Возвращайся скорее домой или переезжай ко мне. Правда, я хочу съехать оттуда, но мы могли бы найти что-то на двоих. Страдание стало для тебя самоцелью. Хватит, вернись и отдохни, успокойся. Ты же все время заводишь себя, ты уже прошел все это…

— Нет, не прошел… пока еще… может быть,

никогда…

Эдварду вдруг пришло в голову, что Стюарт не знает об исчезновении Джесса. Он подавил желание рассказать ему обо всем. Он хотел спросить Стюарта, не видел ли тот Джесса с Мидж, но такой вопрос показался бы безумным. Если бы Стюарт видел Джесса в Лондоне, он сам сказал бы об этом. Мидж, конечно, стала бы отрицать, что Джесс был с ней, но он мог находиться у нее тайно. Лучше Эдварду пойти к ней и выяснить это самому.

— Может быть, я все-таки схожу к Мидж, — сказал он.

— Хорошо. Это хоть как-то займет тебя.

— А ты-то чем занят, если уж об этом зашла речь? Ты уже решил, как распорядиться своей жизнью?

— Пока нет. Возможно, я пойду на курсы для учителей. Я мог бы получить грант.

— Будешь учить шестиклассников математике? Ты вернешься туда же, откуда начал!

— Нет, не так. Мне придется узнать много нового…

— Ты сумасшедший!

Раздался стук в дверь. Эдвард испуганно вздрогнул и сказал:

— Войдите.

На пороге появилась девушка. Это была Брауни.

Эдвард и Стюарт смотрели на нее. Эдвард едва сдержал радостный крик.

— Привет, — проговорил он. — Это мой брат, Стюарт Кьюно. Он как раз уходит. — Потом обернулся к Стюарту: — Это студентка… моя знакомая… Бетти… гм…

Брауни сделала шаг вперед. Стюарт протиснулся мимо нее. Они посмотрели друг на друга, Стюарт слегка поклонился и вышел. Звук его тяжелых шагов замер на лестнице.

Брауни и Эдвард стояли как вкопанные. Эдвард подавил желание броситься к ней, а теперь стоял и не знал, что сказать. Он сделал рукой неопределенный приглашающий жест и произнес:

— Как ты меня нашла?

— Я подумала, что ты можешь быть здесь.

«Почему это она так решила?» — спросил он себя.

— Садись, пожалуйста.

«Мы за тысячу миль друг от друга, — думал он. — Вся та близость, легкость исчезли».

— Почему ты не сказал ему, кто я на самом деле?

— Потому что мне невыносимо думать, что кто-нибудь узнает о нашем знакомстве.

Мысль о том, что Стюарт мог об этом узнать, была ему нестерпима. Почему? Потому что Стюарт стал бы думать об этом, питать надежды, размышлять о будущем. Но этого не должен делать никто, даже Эдвард. Слишком многое поставлено на карту. Если он потеряет Брауни, если она уйдет, если она отвергнет или возненавидит его — это никого не касается. Эдвард бы не пережил, если бы кто-то узнал, что он потерял Брауни. Все, что касается ее и Джесса, должно быть тайной, скрытой от всех.

— Почему? — спросила Брауни. Она подошла к окну и выглянула на улицу, но открывать его не стала.

— Ты знаешь, что это за комната?

— Да.

— Ты уже была здесь?

— Нет.

Брауни отошла от окна и села на стул, освобожденный Стюартом. Свою сумочку она поставила на пол рядом. На ней была коричневатая клетчатая юбка и свободный шерстяной джемпер поверх полосатой рубашки. Она одернула юбку и натянула джемпер пониже. Эдвард снова опу-

стился на кровать.

— Ах, Брауни, я так рад видеть тебя, мне так хотелось встретиться с тобой…

— Но почему ты хочешь скрыть это от других?

Эдвард чуть было не ответил: «На тот случай, если я потеряю тебя», — но эти слова были слишком самонадеянными. Как он может *не* потерять ее? Или иначе — как он может потерять то, чего у него никогда не было?

— Я не хочу, — сказал он. — То, что мы знаем друг друга, для меня драгоценно, и я не хочу, чтобы пошли какие-нибудь слухи.

— Да, я понимаю, — отозвалась она, немного подумав. — Так ты, значит, здесь живешь?

Эдварду пришла в голову кошмарная мысль: а вдруг она думает, будто он просто вернулся в свою старую комнату, словно это самой собой разумелось и ему все равно? Тщательно выбирая слова, он проговорил:

— Я решил, что не должен прятаться от этого. Что я должен… я не останусь здесь надолго… ровно настолько, чтобы…

Он сбился.

Брауни смотрела на него. Лицо у нее было тяжелое, вытянутое, усталое, губы тонкие, уголки рта опущены. Вокруг глаз собрались морщинки,

кожа потеряла цвет, и казалось, будто Брауни недавно плакала. Волосы у нее были подстрижены короче, чем раньше, и неровно; возможно, она сама на скорую руку сделала это. Ее большое лицо с выступающим голым лбом выглядело обнаженным и уязвимым, напряженным, почти уродливым. У нее был вид умной взрослой женщины, никоим образом не связанной с кем-то вроде Эдварда. Холодные карие глаза Брауни вопросительно посмотрели на него, потом она безжалостно отвела взгляд.

Эдварда снова охватило болезненное ощущение бытия, жуткой ирреальности, о которой он говорил Стюарту.

«Она уйдет, — подумал он, — а мы толком ни о чем и не поговорим. Но теперь она уйдет навсегда».

— Брауни… пожалуйста, прошу тебя…

— Я понимаю. Извини. Я в каком-то шоковом состоянии.

— Прости меня. У видеть эту комнату… Ты должна была это сделать. Я не могу не взывать к тебе. Ах, если бы ты только знала, какими кошмарами забита моя голова! В ней полно пауков.

Брауни посмотрела на него мягко.

— Пауки — милые животные. От них нет ни-

какого вреда.

— Мои пауки ядовитые.

— Я знаю. Это я ради красного словца. Потерпи. Моя мать продолжает тебе писать?

— Да.

— Так же, как прежде?

— Да.

«Боже мой, — подумал Эдвард, — она не должна видеть эти письма. Она может попросить показать их и увидит в них мой образ — кошмарный, черный».

Но писем нигде не было. Вероятно, их забрал Стюарт.

— Моя мать ужасно страдает, она не в своем уме.

— Я… да… извини… я бы хотел… ты живешь с ней?

— Нет, я остановилась у друзей. У Сары Плоумейн. В доме ее матери.

— Ах, Сара.

Воспоминание о Саре было для Эдварда мучительным, нежелательным, а мысль о том, что Брауни дружит с ней и разговаривает, была абсолютно невыносима. Эдвард вспомнил увиденное мельком через окно: Сара стоит на коленях перед Брауни и утешает ее. Он хотел встать на колени,

утешить ее и получить утешение. Но расстояние между ними казалось непреодолимым, а такая поза — невозможной.

— Понимаешь, — сказала Брауни, — моей матери, кажется, невыносимо даже смотреть на меня. Она ненавидит меня, потому что я жива, а Марк мертв… Она всегда больше любила его.

— О боже!

«Неужели это никогда не кончится? — подумал Эдвард. — Неужели я вечно буду пожинать плоды того, что случилось?»

— Она, конечно, преодолеет это. На самом деле она меня любит. Любовь победит, ненависть уйдет. Она и тебя перестанет ненавидеть. Пусть тебя не огорчает… эта ненависть.

Слово «огорчает» упало перед Эдвардом, как монетка. Слова для ответа не приходили ему в голову, он только тряс головой, медленно и глупо, словно безмолвно наблюдал за чем-то. Он чувствовал себя прокаженным, отчаяние сделало его неприкасаемым, отупило его. Брауни не могла дать ему жизни, которой он жаждал, на которую надеялся. Он чувствовал (как случается с людьми, неожиданно подвергшимися смертельной опасности), что должен немедленно сделать что-то, предпринять какие-то усилия для собственного

спасения. Он боялся, что Брауни в любой момент может встать и попрощаться с ним, а он не сумеет ее остановить. По крайней мере, он должен поддерживать разговор, чтобы прижать ее разум, как целительную пиявку, к своему больному разуму.

— Мне бы хотелось сделать что-то для твоей матери, — сказал он. — Но что я могу? Может быть, сделать что-то втайне, чтобы она не узнала… Черт, это чушь какая-то, да? Я должен думать о том, как мне сделать что-нибудь для других.

Он на секунду вспомнил о Мидж.

— Ты учишься, читаешь книги? — спросила Брауни.

— Нет.

— Не пора ли? Ты ведь специализируешься во французском, да?

— Да… как и Марк…

— Возвращайся к работе. Это лучшее, что можно придумать.

— А ты что учила в Кембридже?

— Русский. Я пишу диссертацию по Лескову.

— Ты молодец, знаешь русский.

— Ты тоже можешь его выучить. Это нетрудно. Красивый язык.

После нескольких секунд молчания Брауни взяла свою сумочку.

— Знаешь, не беспокойся о моей матери…

Это было предисловием к ее уходу.

— Брауни, сядь рядом со мной. Подойди.

Она подошла и села рядом с ним на кровать. Они неловко пристроились рядом, нащупывая руки друг друга и заглядывая друг другу в глаза. Потом с неожиданной ловкостью Эдвард закинул свои длинные ноги на кровать и опрокинулся на спину, увлекая Брауни за собой. Сначала он страшно боялся, что она будет сопротивляться, но никакого сопротивления не было. Брауни выронила сумочку и неуклюже вытянулась рядом с ним. Они лежали лицом к лицу, грудь к груди, ее тяжелые туфли ударяли по его щиколоткам. Эдвард сел на мгновение, снял свои туфли, потом — ее. Брауни не двигалась, лишь ее теплые ноги помогли ему. Она наполовину зарылась лицом в тяжелое покрывало. Он лежал на спине, лаская ее волосы, затем положил руку ей на плечо. По расслабившемуся телу Эдварда прошла благодатная волна облегчения и бесконечно нежного желания, в котором было и утешение, и благоговение, и благодарность. Он прижал губы к ее щеке, не поцеловал, а просто прикоснулся. Ее щека была жаркой и влажной.

— Брауни, я тебя люблю.

— Эдвард… дорогой Эдвард… — приглушенным голосом произнесла она.

— Ты нужна мне, я тебя люблю, и я нужен тебе.

Она чуть оттолкнула его от себя и повернула голову, чтобы посмотреть на него. Их лица внезапно стали огромными, раскрасневшимися, странными, они изменились от чувств вперемешку с ее слезами.

— Да, мы нужны друг другу… но это из-за Марка.

— Мы связаны. Ты меня любишь. Скажи, что любишь.

— Да. Но все из-за Марка.

— Это чудо. Ты меня не ненавидишь, ты меня любишь.

— Да, но…

— Ты три раза сказала «но». Не убивай меня теперь, когда сказала, что любишь меня. Просто люби меня и подари мне жизнь. Моя дорогая, моя радость, моя Брауни, ты выйдешь за меня?

— Зачем вы пришли сюда? — воскликнула Элспет Макран. — Ей мало бед без вашей назойливости?

— Уходи, Стюарт. Придешь ко мне — побеседуем, — сказала Урсула Брайтуолтон.

— Извините. Я хотел поговорить с миссис

Уилсден наедине, — ответил Стюарт. — Я могу прийти в другой раз.

Миссис Уилсден сидела за столом в затененной комнате, рядом с ней расположилась Элспет Макран. На столе стоял чайник. Когда Сара ввела Стюарта, Урсула уже встала.

— Ты почему его впустила? — спросила у дочери Элспет Макран.

— Я только что пришла, — сказала Сара. — Он сказал, что хочет увидеть миссис Уилсден. Я не знала, что вы все здесь.

— Ты идиотка! — заявила Элспет Макран. — И погаси свою сигарету.

— Он просто вошел вслед за мной…

— Я ухожу, — сказал Стюарт. — Наверное, мне лучше зайти завтра.

— Нет, вы не можете прийти завтра, — возразила миссис Уилсден. — Вы пришли что-то сказать — говорите. Останьтесь, — велела она Урсуле и Элспет.

— Конечно. Мы никуда не уходим, — согласилась Элспет.

— Ты пришел в качестве посланника? — спросила Урсула.

— Скажите ему, пусть сядет.

— Сядь, Стюарт.

Стюарт сел у двери рядом с лампой, единственным источником света в комнате. Шторы, за которыми догорало предзакатное небо, были задернуты. В том конце комнаты стоял стол. Урсула снова опустилась на стул напротив миссис Уилсден. Сара присела на корточки около камина. Лампа высвечивала светлые волосы Стюарта и чуть поблескивала в его прищуренных глазах. Он, смущаясь, разглядывал три фигуры за столом.

— Да, можете считать меня чем-то вроде посланника, — проговорил Стюарт. — Но никто не знает, что я пришел к вам, никто не просил меня об этом. Я просто подумал…

— Вы подумали, что возьмете и придете, — сказала Элспет.

— Да. Это связано с письмами.

— С какими письмами?

— Миссис Уилсден пишет письма Эдварду…

— Не могли бы вы обращаться ко мне? — напомнила миссис Уилсден.

— Извините… Меня, конечно же… беспокоит Эдвард.

— Бедный Эдвард! — произнесла Элспет.

— Я хотел сказать вам… миссис Уилсден… что мой брат…

— Он вам не брат, — вставила Элспет Макран.

— Что мой брат очень страдает. Его не отпускает ужасная боль, он очень несчастен, он чувствует себя таким виноватым…

— Мы рады об этом узнать! — сказала Элспет.

— Конечно, я не извиняю то, что случилось…

— Это не «случилось». Он сотворил это своими руками, — ответила миссис Уилсден.

— Я хотел вам сказать две вещи, — продолжал Стюарт.

— Стюарт, давай покороче, — посоветовала Урсула, — шевели мозгами.

— Во-первых, если вы хотите знать, что он глубоко сожалеет и ужасно страдает, то это так. А во-вторых… я хотел попросить вас… пожалуйста… не пишите ему… этих писем…

— Он показывал вам письма? — спросила миссис Уилсден.

— Понимаете, он показал мне несколько…

— Значит, он показывает их людям, чтобы его жалели! — сказала Элспет.

— Что вы пишете ему, Дженни? — задала вопрос Урсула.

— Он мне их только показал, — сказал Стюарт, — и он не искал никакой жалости. Он чувствует себя хуже некуда. Я подумал, что… сказано уже достаточно… и не могли бы вы… если бы вы

написали ему… ну, например, что знаете, как он сожалеет. Он на грани.

— Вы хотите сказать, что он готов покончить с собой? — уточнила миссис Уилсден. — Пусть. С какой стати я буду его останавливать?

— Он не собирается кончать с собой, но он почти сошел с ума от горя.

— Что мне до его горя? У меня свое собственное…

— Он молод…

— Как и мой сын.

— Я знаю, — говорил Стюарт, — что вам очень трудно забыть о ненависти, но я чувствую, что вам следует попытаться… может быть… потому…

— Нет, это в самом деле невероятно! — вскричала Элспет. — Вы со мной согласны, Урсула? Этот щенок явился сюда читать проповеди Дженнифер!

— Продолжайте, — сказала миссис Уилсден.

— Вам эти горькие обвинительные письма не приносят никакой пользы, — уговаривал Стюарт. — Я знаю, вам невозможно прийти в себя после случившегося…

— Стюарт… — произнесла Урсула.

— Но если бы вы попытались… сделать какой-то жест в сторону Эдварда, показать, что вы

знаете, как он переживает свою вину, как ему стыдно… Какой-нибудь милосердный жест, что угодно, несколько строчек, записочку… Если вам это по силам, если вы напишете, что поможете ему полнее осознать произошедшее, увидеть все в истинном свете… вы тем самым поможете и себе избавиться от невыносимого отчаяния. Вы будете чувствовать себя по-новому. Извините, я не очень внятно выражаюсь.

— Вы, значит, хотите, чтобы я избавила его от чувства вины? Чтобы он больше не мучился и думал, что случившееся — лишь несущественная ошибка?

— Нет, я не это имею в виду. Он с этим никогда бы не согласился. Но безысходное разрушительное чувство вины или безграничной ненависти — это что-то вроде… бессмысленной дурной черноты… она уничтожает жизнь, которая должна… обновиться… жизнь людей, совершивших страшное преступление или страшно искалеченных.

— Это его чернота, — ответила миссис Уилсден. — Пусть он в ней утонет. Как вы могли прийти ко мне и сетовать, что ваш брат несчастен? Вы хотите, чтобы я помогла ему вообразить, будто все это сон?

— Я не против, пусть он будет несчастен, — ска-

зал Стюарт. — Вернее, я против, но суть не в этом. Он будет всю жизнь чувствовать свою вину или, по крайней мере, свою ответственность. Он будет помнить случившееся всегда, каждый день. Я не хочу, чтобы ему что-то снилось, он и так погрузился в ужасный сон, где царят вина, страх и ненависть. Ваши письма усугубляют все, а я хочу, чтобы он проснулся и увидел жизнь в истинном свете. Если бы вы проявили хоть капельку доброты, это помогло бы Эдварду проснуться, это стало бы чем-то вроде электрошока. Он бы снова увидел мир, смог жить в нем и переделать себя. А сейчас он находится в мире фантазий.

— Вы отвратительный, самодовольный, глупый болтун, — заявила Элспет. — Мы наслышаны о вас. Вы делаете вид, что отказались от секса, и изображаете из себя святого. Неужели вы сами не понимаете, что вы мошенник? На самом деле вам доставляют удовольствие жестокость и власть. Жестокость — вот что вы делаете сейчас с нашим другом. Убирайтесь отсюда!

Стюарт не шелохнулся. Он смотрел на миссис Уилсден.

— Пожалуйста, простите меня за то, что я пришел и говорю вам все это.

— Вы переоцениваете мою способность лечить

электрошоком убийц, — сказала миссис Уилсден. — Он продавал наркотики.

— Он никогда не продавал наркотики! — возразил Стюарт, хотя и не был в этом уверен.

— Я не хочу говорить с вами, — сказала миссис Уилсден. — Вы производите впечатление ужасного и отвратительного человека. Вы несете беду и боль, и я сочувствую людям, над которыми вы получите власть. Вы пришли сюда, чтобы шантажировать женщину. Так вот, вам это не удалось. Вы хотите, чтобы я простила этого мальчика, этого человека. Я не желаю прощать его.

— Я не понимаю почему, — сказал Стюарт.

— Он принес мне ужасное горе, уничтожил мою жизнь, мою радость. И он сделал это преднамеренно. Меня удивляет, что вам хватило наглости прийти сюда и мучить меня, произнося его имя. Вы не только наглец, вы жестокий садист, как сказала Элспет. А теперь, пожалуйста, покиньте мой дом.

— Извините, — отозвался Стюарт. — Я не хотел ничего плохого.

Он встал, зацепившись за лампу.

Сара вскочила с пола и включила в комнате верхний свет. На улице совсем стемнело. Стюарт увидел трех женщин, сидевших в ряд, как судьи:

Элспет Макран в толстых очках на длинном носу, напоминавшем птичий клюв, изящная Урсула в наряде, похожем на униформу, с яркими внимательными глазами, и миссис Уилсден, которая выглядела моложе, чем две другие; у нее было изможденное лицо с высоким лбом и масса спутанных светло-каштановых волос.

Сара выпустила его из комнаты, и Стюарт вышел в коридор, где остановился в смущении. Сара широко распахнула дверь на улицу, и тут оказалось, что вечер выдался на удивление светлый. Стюарт проковылял по ступенькам и ступил на тротуар. Несколько мгновений спустя он осознал, что рядом с ним бежит кто-то, похожий на маленького оборванца. Это была Сара — в джинсах, с коротко подстриженными волосами. Ее маленькое цыганское лицо землистого цвета сердито смотрело на Стюарта. Она ухватила его за рукав, и Стюарт остановился.

— Как ты мог прийти и мучить эту несчастную женщину!

— Извини, — сказал Стюарт. — Я хотел, чтобы она прекратила писать эти письма. Они не приносят добра ни ей, ни Эдварду.

— Боже мой, ты просто глупец! Слушай, передай Эдварду, чтобы он не морочил голову Брауни

Уилсден. Он встречался с ней. Что у него на уме? Я ничего не сказала миссис Уиледен. Если она узнает, она этого не переживет. Как ты можешь быть таким бесчувственным? Как он может быть такой скотиной? Он только повредит Брауни. Она ужасно несчастлива, мать настроена против нее, а он все совсем испортит, он ее с ума сведет. А от меня ему скажи…

— Да?

Стюарт серьезно глядел на нее сверху вниз.

— Бог с ним. Я рада, что он чувствует себя виноватым из-за Марка. Но как насчет меня? Почему он не чувствует вины из-за меня? Мне тоже есть что вспомнить о том вечере. Он ушел, я ему написала, а он не ответил. Он преступник, черт бы его подрал! Скажи ему, что я всю жизнь буду его ненавидеть. Скажи ему, пусть не попадается мне на глаза! Никто никогда не обращался со мной по-человечески. С детства — сплошная пустыня и одиночество, мне нигде нет места, я всюду чужая, я как будто не существую, я всем безразлична! Люди ведут себя как хищники, им на всех наплевать. Я раньше хотела познакомиться с тобой, потому что ты отличался от других, говорил что-то особенное. Я и к Эдварду подъехала из-за тебя. Но ты ужасный! Ты грубый

и самодовольный, от тебя будет одно зло, и вот что я тебе скажу: женщины всегда будут питать к тебе отвращение. Они издалека поймут, кто ты такой, и возненавидят тебя. Скажи Эдварду, чтобы он прекратил вмешиваться… Господи, я знаю, ты думаешь, будто я ревную…

— Нет, — ответил Стюарт.

— Если миссис Уилсден узнает, что он видится с Брауни, это ее убьет. Неужели он не может сделать хоть что-то хорошее? А ты какого вероисповедания?

— Вообще-то никакого, — сказал Стюарт.

— Человек либо имеет вероисповедание, либо нет. Ты ни во что не веришь. Это значит, что ты веришь в себя. У тебя есть шрамы на теле?

— Нет…

— Ты мне приснился. Но это было раньше, когда я думала, что ты хороший человек или что-то в этом роде. Ну и жулик! Прощай навсегда. Скажи Эдварду… а, ничего не говори… пошел он в задницу!

Сара отпустила рукав Стюарта, который сжимала так, словно была подвешена на нем, и заспешила прочь. Ее маленькие ступни, торчащие из узких джинсов, были голые и грязные. Они дошла до дома и исчезла внутри. Стюарт

услышал, как захлопнулась дверь, и двинулся дальше.

Несколько минут спустя рядом с ним притормозил автомобиль. Машина остановилась, чуть обогнав его, Урсула выглянула из нее и открыла пассажирскую дверь.

Стюарт сел в машину.

— Отвезти тебя домой к Гарри?

— Нет, я теперь там не живу.

— А где?

— Слушайте, не надо подвозить меня…

— Где?

Он назвал адрес, и они поехали.

— Как Эдвард?

— Плохо.

— Как я поняла из слов Элспет, он объявился в ее коттедже. И он жил в доме Бэлтрамов. Туда его, конечно, отправил Томас. Представляю, как это ему помогло. Говорят, старик умирает там, потому что ему не оказывают медицинскую помощь.

Стюарт ничего не ответил. Он не хотел рассказывать Урсуле о своем визите в Сигард. Эта поездка до сих пор вызывала у него чувство неловкости, почти стыда.

— Я встречусь с Эдвардом и снова посажу его на таблетки. Он наверняка их или потерял, или

забросил куда подальше. Я полагаю, он-то живет у Гарри?

— Нет, — сказал Стюарт, — он на своем старом месте, в своей старой комнате, где все и случилось.

— И это тоже идея Томаса? Просто вижу его фирменную этикетку.

— Кажется, да. Гарри мне сказал только, что Эдвард переехал, когда я к нему заглянул.

— Ты поссорился с Гарри?

— Нет.

— Все очень странно себя ведут в последнее время. Я единственный здравый человек. Я была на конференции в Калифорнии, так мне казалось, что там все сумасшедшие. Но стоит мне на минуту оставить вас без присмотра… Ты-то как? Джайлс тебе пишет? Уилли просил его написать тебе.

— Да, он прислал замечательное письмо.

— На которое ты не ответил. Но я спросила, как ты?

— В порядке…

— Позволь-ка мне дать тебе совет, мою юный Стюарт. Не жди, не сиди сложа руки, думая о добре и о том, как бы тебе получше его сотворить. Ты просто возьми да сотвори. Пойди волонтером к несчастным, к больным. Я тебе могу дать адреса.

Сейчас у меня нет ни минуты, но ты ведь мне позвонишь?

— Да. Спасибо, Урсула. Боюсь, я сегодня все испортил.

— Ты определенно веришь в шоковую терапию.

— Я сожалею…

— Не надо сожалеть. Это даже оригинально, если кто понимает. Вокруг нее все на цыпочках ходили, такая перемена может пойти ей на пользу. Никто не знает, что делать с таким горем. Человеческий мозг — большая загадка. Только люди вроде Томаса делают вид, будто понимают его, и уж можешь мне поверить, они опасны для других. То, что Томас еще никого не убил, — чистая случайность. Он идет на поводу у фантазий Эдварда! И это называется «терапия». То же самое и с этим старым психом Блиннетом. Чужие сны очаровывают Томаса, он утратил ощущение реальности. Но я вижу, как он теряет свою хватку, теряет уверенность, а это жизненно важно. Такие люди могут функционировать, только если они ни капли не сомневаются и мнят себя богами. Ты можешь дать мне адрес Эдварда?

Урсула высадила Стюарта у его жилища, и он постоял немного на улице, размышляя, не зайти

ли в кафе, где он иногда ужинал. Прогулка ему бы не помешала. Он чувствовал себя расстроенным, усталым и голодным. Но все же он решил, что лучше остаться дома и приготовить что-нибудь на газовой горелке. Там ему никто не помешает. Он был рад повидать Урсулу, хотя и не испытывал никакого желания поговорить с ней начистоту, на что она намекала. Он стал подниматься по лестнице, радуясь возможности остаться в одиночестве. Но неприятности еще не закончились.

Дверь в его комнату оказалась открыта. Он вошел и в сумеречном вечернем свете увидел кого-то посредине комнаты. Мужчина, нет, мальчик. Это был Мередит.

— Слушай, я жду тебя сто лет.

— Извини, меня не было…

— Конечно не было, я заметил! Я был у твоего отца. Он не очень-то обрадовался моему приходу. Дал мне твой адрес и захлопнул дверь.

— Я рад, что ты пришел. Я мог бы угостить тебя ужином, но… Что случилось?

— Когда?

— Ты зачем пришел? Просто повидаться со мной? Надеюсь, ничего плохого не случилось.

— Конечно, я пришел не просто повидаться. У нас ведь с тобой так не принято, да? Мы не

заходим друг к другу — мы назначаем встречи. Мы не встречаемся дома — мы встречаемся в таинственных общественных местах, благородных заведениях вроде Британского музея или Национальной галереи.

— Кока-колы хочешь?

— Нет. Я не в состоянии.

Стюарт сел на кровать. Мередит стоял у окна.

— Ну и почему же ты не в состоянии? Расскажи мне.

— Это связано с тобой.

— Мне очень жаль это слышать…

— И моей матерью. Ты знаешь, я тебе говорил про ее роман, а ты ответил, что это невозможно. Так вот, это не невозможно, и роман у нее с твоим отцом. Ты знал?

— Да.

— Значит, ты мне солгал.

— Тогда я еще не знал, — ответил Стюарт. — Мне стало известно позднее. А твой отец в курсе?

— Не думаю. Он живет в собственном мире. Они с мистером Блиннетом сидят вместе на облаке и играют на арфе. Но дело не в этом, не в твоем отце. Дело в тебе.

— Это каким же образом?

— Моя мать расстроена из-за тебя, а я не пони-

маю, как это может быть. Скажи мне.

— Я думаю, она расстроена, потому что я узнал о ее романе с моим отцом. Совершенно случайно.

— Но что ты ей сделал? Ты ее как будто заколдовал!

— Что она тебе сказала?

— Ну, всякое разное… Что все это твоя вина. Она говорила так, будто ты ее соблазнял! Я ничего не понял.

— Но… почему она вдруг заговорила с тобой?

— Это я начал. Наверное, зря. Но меня это так сильно задело, из головы не выходило, просто невыносимо. Наверное, я хотел услышать от нее, что ничего такого нет, хотя оно и есть. Это какой-то ад, и он никуда не делся. Ты был прав, все невозможно, и только невозможное возможно. Мне и присниться не могло, чтобы она… невероятно… и так ужасно. Меня как отрезало от нее… и от моего отца, потому что он не знает…

— И что ты ей сказал?

— Сказал, что знаю, что это ужасно. И почувствовал, что сделал что-то страшное для своей матери. Она была такая несчастная и какая-то… раздавленная… я очень себя ругаю. Потом она стала говорить как безумная… я испугался до смерти, что она спятила… а потом она велела мне

больше не встречаться с тобой.

— Так и сказала?

— Да, но это еще ничего. Она это и раньше так говорила, а я отвечал: «Не говори глупостей», и она брала свои слова назад. Но тут она сказала, словно это все твоя вина, что ты подчинил ее себе. Ты ее никак не сглазил или что-нибудь?

— Нет, — ответил Стюарт. — Мередит, пожалуйста, успокойся. Я всего лишь посоветовал твоей матери все рассказать мужу и прекратить отношения с моим…

— В том-то все и дело! Но она ведь влюблена в него, да? Или в тебя. Я уже не знаю. Может, вы оба на нее глаз положили.

— Мередит, прекрати. Ты прекрасно знаешь, что я бы никогда…

— Откуда я знаю? На самом деле я ничего о тебе не знаю. Иногда мне кажется, что ты даже не существуешь, как существуют другие люди. Ты особенный парень. Ты двусмысленный, ты неоднозначный, как кто-то сказал. Моя мать говорит, что ты немного сумасшедший, она так раньше говорила. Вообще-то все так говорят. Она предостерегала меня от дружбы с тобой. Она сказала, что это плохо кончится. Она сказала, что ты выработал во мне зависимость от тебя, что ты отвадил

меня от других людей, что ты хочешь повелевать мной. Я теперь стал старше и понимаю кое-что. Я тебя больше не должен видеть, я не хочу тебя видеть. Ты испытываешь ко мне чувства…

— Замолчи! — велел Стюарт. — Ты сам не веришь в эту чушь. Я не сделал твоей матери ничего дурного. Я сказал ей то, что думаю. Она спросила, что я думаю, и я сказал.

— Она приходила к тебе.

— Да. Я бы ничего никому не рассказал. И у меня, конечно, нет ни малейших намерений говорить твоему отцу. Просто я надеюсь и верю, что обман скоро закончится. И я не питаю к тебе никаких особых чувств, я тебя просто люблю. Ты уже достаточно вырос, чтобы понимать такую терминологию. Мередит, здесь нет ничего дурного. Не позволяй другим людям…

— Она думает, что ты на меня глаз положил. Я знаю о таких вещах.

— Мередит, ты говоришь жуткие глупости. Мы свободные личности, а не истории болезней. Мы знакомы сто лет и всегда доверяли друг другу, ты знаешь, что я не…

— Я не хочу тебя, все пошло наперекосяк, стало кошмаром. И в этом ты виноват.

— Я очень сочувствую твоей матери.

— Она приходила к тебе. Я тебя ненавижу…

— Прекрати истерику и не кричи!

— Ты привязал меня к себе, ты хотел контролировать меня!

— Я, может быть, хотел влиять на тебя, но…

— Я больше не хочу тебя видеть. Никогда!

— Мередит, погоди…

Слезы ручьями полились из глаз Мередита, и он бросился к двери. Стюарт попытался остановить его, ухватил за талию, потом за фалды плаща, но тот вырвался и выскользнул из комнаты. Стюарт побежал по лестнице на улицу, но быстроногий мальчишка уже исчез в сгущающейся вечерней мгле. Стюарт побежал за ним, но скоро сдался. Он медленно вернулся к дому, поднялся по лестнице к себе в комнату и закрыл дверь. Потом он сел на пол, прислонившись спиной к кровати, и стал смотреть, как комната погружается в темноту.

— Не может быть, чтобы эти ведьмы из Сигарда все погубили. Или на тебя нашло временное помешательство, потому что Джесс поцеловал тебя и отправил куда-то по касательной, как ты сказала? Ну хорошо, это я могу себе представить: ты вдруг решила, что вроде как влюбилась в него. Ты ведь говорила, что всю жизнь вспоминала его, ревновала к Хлое и…

— Дело не в этом, я тебе уже сказала.

— Ты потрясена, это выбило тебя из колеи, но ты поправишься…

— Это никак не связано с Джессом или… вообще ни с чем не связано…

— Это невозможно, — заявил Гарри. — Нет таких вещей, которые ни с чем не связаны. Но я не могу поверить и не поверю, что ты можешь вообразить, будто влюблена в Стюарта. Что угодно, только не это.

Они сидели дома у Мидж, но не наверху, в «их» комнате, а в цветочной гостиной. Томас, слава богу, на весь день ушел в клинику. Они расположились друг против друга, разделенные несколькими футами пространства, и лица обоих были искажены ужасом нового знания, словно ураган отбросил их назад и сорвал все маски. Они поедали друг друга глазами, как безумцы, кусали губы, а время от времени их сотрясала дрожь. Мидж была без косметики, не считая пудры на кончике носа. Гарри надел темно-красный галстук-бабочку и черный кожаный пиджак, которые — как сказала ему как-то Мидж — придавали ему вид молодого сорвиголовы.

— Ты не можешь его любить, — продолжал Гарри. — Это чушь, я в это никогда не поверю. Что это

за чушь? Ты что, хочешь лечь с ним в постель?

— Не знаю… наверное, да…

— Если не знаешь и «наверное», то ты не влюблена.

— Это не похоже на обычное чувство, когда хочешь заняться любовью…

— Желание заняться любовью — это не «обычное чувство». Во всяком случае, когда мы хотим заняться любовью.

— Он такой далекий, такой странный, и я не могу себе представить… я хочу быть с ним, прикасаться к нему, разговаривать с ним…

— Мидж, ты понимаешь, что несешь? Ты понимаешь, о ком ты говоришь и с кем? Это идиотская шутка. Я не верю, что ты хочешь сделать мне больно, но, судя по всему, так оно и есть.

— Ты должен понять, что я говорю серьезно, — сказала Мидж. — Что же делать, если тебе больно? Но ведь я говорю правду. Ты раньше утверждал, будто я боюсь смотреть правде в глаза и не люблю говорить прямо. Так вот, теперь я говорю прямо, и это подтверждает, что я серьезна. Только крайние обстоятельства могли заставить меня поступить вот так.

— Или нервный срыв. Я думаю, ты в буквальном смысле слова сошла с ума. Сложности нашей люб-

ви лишили тебя разума. Тебе нужно попросить у Урсулы какие-нибудь таблетки! Ты поправишься. Только постарайся за это время не свести с ума и меня. Ты изобрела именно то, что бьет по мне сильнее всего.

— Я ничего не изобретала.

— Ты подумай, кто он — тот, на ком ты, по твоим словам, зациклилась!

— А кто он? Ах, он твой сын, да.

— Так ты забыла? Ты думаешь, это не имеет значения?

— Да… но… я не воспринимаю его как чьего-то сына, он сам по себе.

— Ты что, слабоумная? Я-то существую, посмотри на меня, я здесь. Мы были счастливыми и абсолютно преданными друг другу любовниками в течение двух лет, мы собираемся пожениться…

— Я чувствую, что я переменилась.

— Мидж, ты хочешь, чтобы я тебя ударил? Это же целая жизнь. Мы любили друг друга, были верными, нежными, страстными. Мы не смотрели на это как на любовную интрижку. Правда?

— Да. Но что-то случилось…

— Я все же считаю, что дело в Джессе. История со Стюартом — побочное явление, это шок. Вот что это такое: шок. Я даже думал, что это пойдет

тебе на пользу — встреча с Джессом, присутствие Эдварда и Стюарта; хотя хуже этого ничего и не придумаешь, но это могло подвигнуть тебя на признание Томасу. Если бы ты позволила мне сразу поговорить с Томасом! Если бы мне хватило мужества оставить тебя в той квартире, отправиться к Томасу и сказать ему все, не спрашивая твоего согласия! Я разрешал тебе управлять мною только потому, что люблю тебя. Боже милостивый, я был таким трусом! Это ты сделала меня трусом. Если бы я сказал Томасу тогда, у тебя не возникло бы это отношение к Стюарту.

— Нет, я уже была влюблена в Стюарта, только тебе не сказала. Я влюбилась в него в машине, когда он сидел за нами. Он заставил меня сделать это.

— Ты хочешь сказать, что он намеренно… Ты же сказала, что он не пытался…

— Нет, не пытался, ничего такого. Все дело было в его присутствии. Это словно какое-то излучение.

— Это уже мистика. Меня от тебя тошнит, как никогда еще не бывало. Ты губишь все у меня на глазах, всю нашу драгоценную, идеальную любовь. Ты заставляешь себя ненавидеть меня и заставляешь меня ненавидеть тебя. Это какой-то

неживой механизм. Я тебя убить готов.

— Гарри, мне ужасно жаль. Ты ведь понимаешь, что я тоже в ужасе?

— А вот его я точно убью.

— Я стала смелой из-за него. Он заставил меня почувствовать, как все недостойно, отвратительно, непорядочно по отношению к Томасу. И по отношению к тебе.

— Ты хочешь сказать, что никогда не собиралась за меня замуж?

— Я не об этом.

— Ты пребываешь в мазохистском трансе. Томас умеет объяснять такие вещи. Ты два года чувствовала себя виноватой, а теперь, когда Стюарт узнал про нас, это чувство переросло в маниакальный приступ самоунижения. Хорошо, если тебе так нравится — упивайся виной, только не называй это любовью к Стюарту. Да, он это спровоцировал. Но объектом любви ему при этом становиться совершенно необязательно.

— Дело вот в чем, — сказал Мидж, уставшая и побледневшая от долгих попыток объясниться. — Он совсем другой, он обособленный и цельный, и он ни в чем не замешан. Я ничего не могла с собой поделать. Он вдруг стал откровением… нет, не его слова, не то, что он сказал или имел в виду…

сам он. Словно он и есть истина.

— Как Иисус Христос. Меня сейчас вырвет. Неужели ты не видишь, что на самом деле он робкий, претенциозный, высокопарный, кичливый, ненормальный невротик?

— Я его люблю, — ответила Мидж.

— И больше не любишь меня?

— Гарри, я не знаю. Это другое, все изменилось. Меня словно отрезало от тебя. Ты должен был почувствовать это тогда, в квартире.

— Я и почувствовал, но думал, это временно. Я и сейчас думаю, что это временное. Иначе и быть не может. Мы испытывали и проверяли друг друга, мы заслужили друг друга… Или ты хочешь за него замуж?!

— Это не вопрос. Такого вопроса нет, я тебе говорила. Он отверг меня.

— И ты хочешь сказать, что не сошла с ума? Что ты собираешься делать с этой так называемой любовью? Любить безответно всю оставшуюся жизнь?

— Наверное, позднее он позволит мне работать с ним, помогать ему… в его служении людям.

— Мидж, ты говоришь глупости! Я не могу относиться к этому серьезно.

— Ты должен относиться ко мне серьезно, мы

уже не те, что прежде…

— Тебя просто не узнать! Кто это говорит?

— Я рада, что говорю это. Я чувствую, что изменилась. Обрела уверенность, определенность. Могу говорить правду. Я всегда боялась говорить то, что думаю, избегала прямых вопросов, пряталась за полуправдами. И это бесконечное вранье укоренилось во мне, и я уже ни с кем не могла говорить по-настоящему, словно не владела языком правды. Я превратилась в марионетку, в нечто ненастоящее. Мы были ненастоящими, мне часто так казалось.

— А мне никогда так не казалось. Мы — сама реальность мира, а все остальное — пустая видимость. Мидж, мы любим друг друга, мы говорили это тысячу раз. Не искажай прошлого. Наша любовь вечная, она навсегда.

— Да, у меня было такое впечатление. Я и не предполагала, что все изменится так быстро. Теперь я испытала облегчение. Хотя при этом я ужасно несчастна.

— Но это все ложное, неужели ты не понимаешь! Это игра, это сон, это нечистый фантастичный сон. Стюарт — ничто, он видимость, труп, как сказал Джесс, он сама смерть. Ты сама сказала, что он отверг тебя. Если ты уйдешь от

меня теперь, то будешь мертва до конца дней. Ты на коленях приползешь к Томасу. Станешь объектом насмешек и презрения. У тебя совсем нет гордости? Ты хочешь умереть?

— Пожалуй, мне все равно.

— Я никогда не думал, что увижу тебя в роли слабого, сентиментального, лживого и глупого шута. Это глупость! Интересно, что скажет Томас о твоей новой фантазии?

— А если бы Томас узнал, это сразу же убило бы нашу любовь.

— Значит, ты обманывала меня?

— Нет. Понимаешь, я обманывала себя. Я боялась ему говорить.

— Потому что думала, что если признаешься ему и он тебя простит, то ты поймешь, что в конечном счете любишь его. Верно? Я думал иначе. Томас понимал, что это раз и навсегда разорвет твои отношения с ним — они просто распадутся. Если бы он узнал, ты бы мгновенно стала моей. Черт, почему я использую прошедшее время? Когда он узнает, ты будешь моей.

— Почему же ты не сказал ему?

— Лучше не доводи меня до крайности! Ты сама мне запрещала!

— Думаю, ты боишься Томаса. Мы оба его бо-

имся.

Гарри опустил голову к коленям. Он тяжело дышал, стоны вырывались из его груди. Потом, глядя на Мидж самым твердым взглядом, он произнес:

— Ну, теперь ты ему признаешься? Или это сделать мне? Пожалуй, лучше ты сама. Ты сумеешь объяснить ему насчет Стюарта, а для меня это тайна за семью печатями. Или ты скажешь ему только о Стюарте, но не о нас? Или наоборот?

— Теперь я должна сказать ему все.

— Боже мой! Может, ты не будешь ему говорить сейчас, а дашь нам время разобраться с другим? Тебе нужно прийти в себя. А когда мы снова будем вместе, мы и скажем ему.

— Давай не будем мешать все в одну кучу…

— Это самое забавное твое замечание.

— Ты боишься его.

— Факт остается фактом: мы понятия не имеем, как он это воспримет.

— Это все довольно оскорбительно. В конечном счете, ты его лучший друг…

— Тебе это только что пришло в голову, черт тебя возьми? Ты не единственная, кто испытывает чувство вины! Я слишком сильно люблю тебя, чтобы навязывать свои переживания, я глотаю

их в одиночестве.

— Гарри, ты был добр со мной…

— Пожалуй, ты права, так что лучше поскорее покончить с этим, а потом уже собрать обломки кораблекрушения. Я вовсе не боюсь, что он со мной что-то сделает. Ну, превратит меня в жабу. Мне теперь ничего не страшно. Если я потеряю тебя, Мидж, мне конец, я пошел на дно. — Гарри увидел пустую лодку, плывущую саму по себе, медленно, но в то же время слишком быстро. — Ну что ж, когда ты ему скажешь? Сегодня вечером?

— Наверное, да.

— Ты не справишься. Я сам ему скажу.

— Нет.

— А если он захочет развестись? Ты хочешь, чтобы я подождал тебя?

— Нет, я не могу…

— Я, конечно, буду ждать. Когда буря уляжется, ты прибежишь ко мне. Когда ты скажешь Томасу, все будет уничтожено, кроме твоей связи со мной. Мы будем вместе, Мидж. Пойдем к нему вместе.

— Нет.

— Моя дорогая, моя родная, я тебя люблю, ты любишь меня. Ты не можешь уничтожить нашу любовь, мы целиком принадлежим друг другу до конца дней, мы единое целое. Мы испытывали на-

шу любовь, она настоящая, сильная, прекрасная. Теперь я начинаю понимать — Стюарт просто заменяет Томаса, вот почему ты так запуталась. Ты предвосхищаешь потрясение от разговора с Томасом, ты действуешь с опережением. Пойми, когда случится настоящее потрясение, оно будет не таким сильным. Ну, разве не так? Пожалуйста, прекрати сходить с ума, стань прежней Мидж. Посмотри, ведь это я, Гарри, твоя любовь, твой любимый. Не предавай меня, не убивай меня горем! Ты придешь в себя, это просто шок, временное помешательство, ты больна, ты не в себе, ты спишь на ходу. Проснись!

Гарри поднялся и сделал несколько шагов к Мидж. Он приподнял ее, резким движением смяв ее платье в плечах. Грубо встряхнул ее, потом толкнул назад. Послышался звук удара — она ударилась головой о спинку стула.

Мидж приложила руку к затылку, глаза ее наполнились слезами.

— Если бы ты не взял его тогда с нами, — прошептала она, — я бы поехала с тобой в твою квартиру… Но теперь об этом поздно говорить.

Из коридора донесся какой-то шум. Гарри отодвинулся, а Мидж поднялась, поправляя платье и вытирая глаза. Потом кто-то постучал в дверь

гостиной. Мидж подошла к двери, открыла ее, и в комнате появился лысый человек, в котором они не сразу узнали Уилли Брайтуолтона. По совету одного мудрого американца он перестал зачесывать волосы на плешь, коротко подстригся и теперь сверкал лысиной. К тому же он загорел и похудел.

— Уилли! — воскликнула Мидж. — С возвращением!

Уилли подошел и поцеловал ее в щеку, положил свой портфель на стол.

— Привет, Мидж, дорогая, надеюсь, ты не возражаешь. Я думал застать тебя одну, то есть я думал, ты так рано никого не принимаешь. Дверь была открыта, и я вошел. Привет, Гарри, я и к тебе собирался заглянуть. Очень удачно, что ты здесь. Я только вчера вернулся и так странно себя чувствую — на моих биологических часах полночь или что-то в этом роде. Я прямым рейсом из Сан-Франциско, всю ночь не спал, смотрел кино, глаз не сомкнул. Урсула хотела, чтобы я день провел в кровати, но мне не лежится и не сидится.

— Ты рад, что вернулся?

— И да и нет. В Калифорнии было великолепно. Джайлс провез меня по всему побережью, мы видели китов, больших серых китов, они совсем

близко от берега. А еще мы посмотрели на тюленей и морских выдр, вам бы они понравились, и доехали до самой Мексики, видели Гранд-Каньон и пустыни. Там любят пустыни. Мы ненадолго встретились с Урсулой, она была на шикарной конференции в Сан-Диего, но там не задержалась. Она ненавидит Америку. А я должен сказать, что меня там все устраивает. Там человек чувствует себя свободнее. Возможно, потому что это чужой университет и меньше ответственности. Я читал лекции по Прусту и познакомился с несколькими прекрасными исследователями его творчества, преподавателями и студентами. У нас был марафон — мы читали Пруста для сбора пожертвований на нужды экологии. Очень забавно. Это называлось Прустофон…

— Ну и как Джайлс? — спросила Мидж.

— Превосходно! Это слово — часть моего английского образа, чтобы позабавить американцев. Все выходило так естественно. Он в отличной форме. Опубликовал статью, которая наделала много шума. Я из нее ни слова не понял!

— Думаешь, он там останется?

— Боюсь, останется. Я надеялся, он поедет в Оксфорд, но tout casse, tout lasse. Ну, Америка теперь не так уж далеко. Он подумывает купить дом с

пальмами и бассейном. Там у всех есть бассейны, я много плавал…

— Ты хорошо выглядишь, — сказал Гарри.

— Кстати, о Прусте. Как дела у Эдварда?

— Не знаю, — ответил Гарри. — Он со мной не живет. Полагаю, он в порядке.

— Вот как… А Стюарт? Я сказал, чтобы Джайлс ему написал. Боже мой, я стал говорить сплошными американизмами. Так что же Стюарт, бросил свои безумные планы?

— Не думаю.

— Вот беда! У меня есть кое-что для него, Джайлс просил передать. И подарки для всех. Твой я принес. Мидж, дорогая, ты позволишь? Если бы я знал, что Гарри у тебя, я бы и для него принес.

Уилли стал открывать портфель, а Гарри сел рядом у стола. Он смотрел на Мидж, избегавшую его взгляда.

— Это просто конфетки. И бутылка бурбона для Томаса. Он, конечно, не большой любитель выпить, но ему дьявольски трудно найти подарок. Джайлс предлагал купить ему какой-нибудь жуткий американский галстук, но это, конечно, шутка. Вот пара забавных чулочков — там все девушки их носят, очень модно. Хорошенькие девушки, должен сказать, но для меня высо-

коватые. А вот блузочка и два платья; одна из преподавательских жен отвезла меня в магазин и сказала, что это dernier cri[62], ты уж извини, пожалуйста, ее акцент…

— Ах, Уилли… Чудесные вещички! Платье замечательное, а это — идеальные цвета, а эта пушистая блузочка… Как мило с твоей стороны!

— Надеюсь, размер подойдет. Я рад, что тебе понравилось. Они тебе абсолютно к лицу, правда? А вот маленькое ожерелье, обычные стекляшки, но мне оно понравилось.

— Уилли, ты потратил кучу денег! Огромное спасибо.

— Ну, кажется, все. Рад, что тебе нравится. Кстати, какую воскресную газету вы выписываете? Не думаю, что вы видели вот эту, она довольно желтая. Приятель Урсулы оставил для нее, а она снова уехала, все время чему-то учится. Так вот, я посмотрел — вам обоим это должно быть интересно. Здесь статья об отце Эдварда. Тут его фото в молодости, точная копия Эдварда. У меня вообще-то не было времени прочесть, так что не выбрасывайте. И Урсула наверняка захочет посмотреть.

---

[62] Примечания: 62
Последний писк моды *(фр.)*.

Уилли положил газету на стол, и Гарри взял ее.

— Мне скоро нужно уходить, — сказала Мидж. — Уилли, не пропадай! Мы должны встретиться, и ты расскажешь нам о своих приключениях.

— Приключений была целая куча, уж поверь. Меня ограбили!

— Не может быть!

— Ну, не то чтобы ограбили… Один тип с ножом потребовал мой бумажник. Я не стал спорить. А потом мы поехали в Гранд-Каньон…

— Уилли, ты должен уйти; я очень хочу все это услышать, но не могу отложить дела. — Мидж проводила гостя в прихожую. — Надеюсь, ты и для себя что-нибудь купил. Какой прекрасный плащ! Новый? Это что, верблюжья шерсть? Ну, пока. И спасибо тебе.

Дверь закрылась Мидж постояла несколько секунд, глубоко дыша, потом посмотрела на себя в зеркало, висевшее над большим сундуком в стиле Якова — туда гости клали пальто. Лицо у нее светилось матовым блеском, но никто бы не догадался, что это от высохших слез. Платье чуть разошлось на плече, но это было не очень заметно. Она вернулась в гостиную.

— Нам кранты, — сказал Гарри.

— Что ты хочешь сказать?

— Миссис Бэлтрам написала про нас.

— Написала про нас?

— Да. Она собирается опубликовать мемуары и рассказать все о любовной жизни Джесса. Здесь напечатали самый актуальный пассаж из воспоминаний, где действует Эдвард и мы.

— Но… я не понимаю… Что она пишет? Она называет имена?

— Считай, что называет. На-ка, прочитай.

«Я могу привести совсем свежий пример необычайной способности Джесса вызывать совпадения и силой воли притягивать к себе людей. Гениев окружает безумие, а великих людей — электрическое психологическое поле. Эдвард провел у нас уже некоторое время и в чистой естественной атмосфере нашего дома стал понемногу успокаиваться, но тут произошли два удивительных события. Появился его сводный брат Стюарт. Не могу сказать, что его привело к нам — то ли любопытство, то ли желание помочь. Он, впрочем, оказался довольно простым и добросердечным молодым человеком, но если он собирался помочь бедному Эдварду, то у него на это почти не было времени, потому что почти сразу вслед за его приездом произошло

одно драматическое событие. В туманный вечер вдруг раздался стук в дверь и появилась пара — мужчина и женщина, представившиеся как мистер и миссис Бентли. Их машина завязла в болоте — случай довольно обычный, — и они попросили вытащить их, что мы, конечно, согласились сделать; нам часто приходится исполнять роль добрых самаритян. Приблизительно в это же время и произошло одно из вечерних явлений Джесса. Он внезапно вошел в зал, как король во славе, держа палку в руке, как скипетр, и обводя всех властным взглядом. Неожиданный крик: «Хлоя!» — и мой повелитель уже держит в объятиях женщину, оказавшуюся сестрой Хлои. Она бросилась на Джесса, как кошка. Сия героиня, как помнит читатель, уже появлялась на этих страницах в виде школьницы. Я описала, как она однажды приехала вместе с Хлоей и молча сидела за нашим столом, перепуганная столь необычной компанией, глядя на всех с раскрытым ртом. Джесс спросил, кто она такая, но ответа уже не слушал — она была простенькой девочкой. Впоследствии сходство с Хлоей стало более заметным, хотя и незначительным, но Джесс уловил его и перенес назад во времени. Сцена завершилась, когда выяснилось, что «мистер Бентли» на

самом деле родственник Стюарта! Но мы не пали духом, вытащили машину из болота и отправили их восвояси вместе со Стюартом. Джесс, которому такое путешествие во времени ничуть не повредило, отправился спать и на следующее утро совершенно забыл об этом эпизоде».

Мидж положила газету.

— Но может быть, никто не обратит внимания… Ведь она не называет наших имен.

— Без сомнений, внимание на это обратят. Историю будут передавать из уста в уста. Все прочтут газетенку. Какая-то добрая душа уже подбросила ее Урсуле! Это называется «Гарем Джесса Бэлтрама». Джесс внезапно стал знаменитым. А вместе с ним и мы.

— Гарри, я не понимаю… Мы не выписываем эту газету, Томас ее не увидит… К тому же здесь просто сказано о каком-то родственнике Стюарта…

— У Стюарта, кроме меня, нет никаких родственников, которые были бы знакомы с тобой. Или ты хочешь, чтобы мы выдумали кого-нибудь? Боже мой, ну почему это все должно было случиться именно так? Это ужасно, об этом начнут говорить на всех обедах, писать в каждой газетенке. Последствия ясны как божий день. Нам

больше не нужно спорить о том, кто расскажет Томасу. Ему расскажет весь свет.

В этот момент раздался тихий звук ключа, отпирающего замок парадной двери, а затем шаги в коридоре. Томас вошел в гостиную и закрыл дверь. При виде Гарри он остановился, снова открыл дверь и отступил в сторону. Гарри вышел из гостиной и покинул дом.

Томас подошел к столу, увидел раскрытую газету и бросил сверху номер воскресной газеты и еще один — ежедневной.

— Я полагаю, «мистер Бентли» — это Гарри? — спросил он.

— Да.

— У тебя с ним роман?

— Да.

— Ты отправилась туда, чтобы предъявить себя и своего любовника Джессу?

— Нет, это произошло случайно.

— И долго ли длится ваша связь?

— Два года.

— Два года?

— Да.

Мидж подошла к окну, распахнула дверь на балкон и села рядом. Томас последовал за ней.

— Мередит знает?

— Да. Он видел меня и Гарри здесь. Он понял, что мы занимались любовью.

— Ты хочешь сказать, что вы занимались любовью в этом доме?

— Да. В свободной комнате. Мы встречались в доме Гарри, пока туда не переехал Стюарт.

— Ты влюблена в Гарри?

Мидж помедлила.

— Гм… была… да.

— Что значит «была»? Ты хочешь развестись и выйти за него?

— Нет.

— Почему?

— Я не хочу выходить за него, — сказала Мидж.

Она тихонько заплакала, сдерживая себя и отворачиваясь.

— Он тебе нужен в качестве любовника, но не мужа? Он хочет, чтобы ты развелась?

— Да.

— Ты говоришь, что не хочешь развода. Но если, как следует из твоих слов, ты любишь его, а не меня, какой в этом смысл? Пожалуйста, скажи, чего ты хочешь.

— Если ты хочешь развода…

— Ты полагаешь, я должен принять вашу связь,

случайно ставшую достоянием публики? Если у кого-то еще были сомнения, один известный колумнист уже назвал имена. Ты хочешь остаться моей женой и его любовницей, так, что ли?

— Нет. Наши отношения с Гарри закончены. Они закончились еще до того, как я узнала об этой статье. Я собиралась все тебе рассказать. Я надеюсь, ты мне веришь.

— Нет, не верю. Я думаю, ты просто защищаешься, придя в себя после потрясения, поскольку тебя вывели на чистую воду. Когда, ты говоришь, закончились ваши отношения?

— Кажется, несколько дней назад.

— Ты поняла, что не можешь скрывать их дальше, и решила сказать, что они закончились. Чтобы помочь себе пережить трудные времена, а потом начать сначала. Ох, не случайно тебе «кажется», что ваша связь закончилась несколько дней назад! Прошу тебя, будь честной и говори правду.

— Это произошло из-за Стюарта.

— Из-за Стюарта? Конечно, ведь он был там. И Эдвард. И Мередит знал. Ты не боялась, что Мередит скажет мне?

— Я попросила его не делать этого.

Томас стоял рядом с ней, одной рукой касаясь

стены; он помолчал несколько мгновений, потом произнес:

— Ты испоганила все. Ноя хочу понять. Эдвард и Стюарт помалкивали. Мередит тоже… Но ты наверняка понимала, что не можешь вечно полагаться на их молчание. Отсюда перемена тактики. Ты хочешь спасти ваши отношения, сделав вид, будто они порваны?

— Нет-нет… это Стюарт… он сказал, что я должна признаться тебе. Сам он не стал бы говорить. Он сказал, я должна сделать это сама.

— Но что это меняет? Слушай, я не могу поверить, что связь, продлившаяся два года при весьма неудобных обстоятельствах, вдруг ни с того ни с сего оборвалась. Такой обман требует немалых мыслительных и энергетических затрат. И целеустремленности. Судя по всему, это занимало большую часть твоей жизни, было основной твоей заботой. Ты, видимо, чувствовала себя женой Гарри. При чем тут Стюарт?

— Потому что благодаря ему я прозрела. Я почувствовала себя другой. Я полюбила Стюарта. Я и сейчас люблю его.

Томас внимательно посмотрел на нее. Он отошел от стены, снял очки, вытащил платок, потом снова засунул его в карман и водрузил очки на

нос.

— Что это значит? Что это может значить? Ты ему сказала?

— Да. Я люблю его. Я ходила к нему. Я хочу быть с ним. Хочу работать с ним. Хочу изменить свою жизнь.

— Значит, теперь ты не хочешь жить с Гарри, а хочешь жить со Стюартом?

— Да, но… я должна еще встретиться со Стюартом, я должна…

— И ты сказала об этом Гарри?

— Да.

— Ты хочешь, чтобы Стюарт стал твоим любовником? И что об этом думает Стюарт?

— Он отверг меня. Но позже я, возможно, буду помогать ему в его работе. Я хочу измениться, я хочу выполнять свой долг…

— Долг… Ах, моя дорогая Мидж. Как бы там ни было, ты хочешь оставить меня и Мередита?

— Нет, не Мередита.

— Но меня?

— Только потому, что теперь ты не захочешь жить со мной.

— Ты полагаешь, я буду просить тебя остаться? Я не стану этого делать. Это было бы несправедливо по отношению к тебе. Ты сама должна решить,

что тебе делать. Ты вполне способна жить счастливо без меня. Эту историю со Стюартом я просто не понимаю. Вряд ли это преднамеренный обман, но какой-то психологический трюк. Тебе стало лете теперь, когда я все знаю?

— Стало.

— Что и требовалось доказать. Значит, это нервная реакция. Ты пережила потрясение оттого, что Стюарт узнал о твоих похождениях и осмелился тебя судить. Чтобы спастись, ты хочешь обнять своего палача. Стюарт стал препятствием на твоем пути: только что все было хорошо, и вот — на тебе. Ты переболеешь Стюартом и прибежишь назад к Гарри. Он тебя утешит. Разве не так все будет… моя дорогая… жена?

— Нет. Вряд ли. Боже, как ты холоден! Ты никогда не ведешь себя естественно.

Мидж подняла голову, чуть приоткрыв рот. Она уже не плакала.

— А ты бы хотела, чтобы я кричал, бил посуду? Я только что, и часа не прошло, узнал о том, что у тебя не первый год есть любовник. Что моя счастливая жизнь, оказывается, была заблуждением. Я не выплескиваю свои страдания в форме гнева.

— Похоже, тебя это не так уж сильно волнует.

— Как же не волнует — это повредит моей прак-

тике! Кто придет со своими бедами к человеку, не сумевшему понять даже свою жену? Как, по-твоему, я себя чувствую, будучи выставленным на всеобщее посмешище? Столь сомнительная слава меняет людей, а это только самое начало. Скоро начнут названивать журналисты, фотографы соберутся у дверей. Для тебя все будет как в старые времена, но на этот раз тебе не понравится.

— Ты холодный и рассудительный, ты все взвешиваешь, а теперь даже говоришь об этом несерьезно. Тебя ничто не волнует.

— Может быть, я и идиот и, возможно, далекий от идеала муж, но я очень любил тебя и продолжаю любить. Однако теперь ты не можешь ждать, что я открою перед тобой сердце — в этот момент, в этих обстоятельствах. Я застаю тебя с Гарри, он убегает, ему нечего сказать, ты не предлагаешь никаких извинений, да их и быть не может. Передо мной непреложный факт твоей страстной любви к другому мужчине и твое хладнокровное желание скрыть этот факт от меня. Я должен защищаться, и я немедленно начинаю защищаться. Я не позволю тебе и Гарри искалечить мою жизнь. Я глубоко оскорблен. Мое представление о тебе, мои мысли о тебе были самые высокие…

— Ты принимал меня как должное.

— Конечно. Я абсолютно доверял тебе. Мой дом, мой брак — единственное, в чем я был полностью уверен. Моя любовь к тебе была отдохновением. И вот я узнаю, что ты систематически лгала мне, внимательно следила за моим расписанием, чтобы я не помешал тебе, устраивалась так, чтобы оставаться со своим любовником, желала его, думала о нем. Даже когда ты говорила со мной, ты была с ним.

— Нет, я не чувствовала ничего подобного.

— Ты хочешь сказать, что не воспринимала свои поступки как ложь? Тебе казалось, что в его присутствии я словно ухожу в небытие, а значит, повредить мне невозможно! Ты отвергала мое существование, смотрела на него сквозь меня. Ты извиняла себя тем, что твое чувство к нему было живым и настоящим, а ко мне — старым и высохшим.

— Я была влюблена.

— О да, если любовь, то можно все.

— Прости… я не думала, что все так.

— Я не хочу говорить об этом, — заключил Томас. — Скандал ни тебе, ни мне не поможет. Я не хочу устраивать сцены, чтобы потакать твоим эмоциям. Тебе лучше побыть одной и разобраться в себе. Я не буду мешать. Соберу вещи и уеду в Ку-

иттерн. Реши, чего ты хочешь, и дай мне знать.

Я не стану давить на тебя и помогу реализовать тот план, который ты составишь. Ты свободна принимать любые решения. Кроме одного. Если мы расстанемся — или когда мы расстанемся. — Мередит останется со мной.

— Мы придем к цивилизованному соглашению, — сказала Мидж, и у нее снова потекли слезы. — Но пожалуйста, не уходи пока… ты не понял…

— К цивилизованному! Ну, от цивилизации мы далеко ушли! Ах, как жаль, что это Гарри.

— Томас, пожалуйста, не сердись…

— Ты называешь это «сердиться»? Я желаю тебе всех благ. Я желаю тебе счастья.

Томас вышел из комнаты. Мидж посидела немного, всхлипывая. Несколько минут спустя с лестницы донеслись быстрые шаги Томаса, хлопнула входная дверь. Мидж сползла на пол рядом со стулом и отдалась рыданиям.

Брауни пока не ответила Эдварду «да». Но и «нет» она тоже не сказала. Любовью они не занимались. Это было невозможно на кровати, где в наркотической эйфории лежал счастливый Марк, прежде чем встать и улететь в окно. Они сидели и говорили о Марке. Хотя ни Брауни, ни

Эдвард не упоминали об этом, его присутствие в комнате тихо убивало ту радость, какую они могли бы получить друг от друга, но в то же время порождало их странное, двусмысленное взаимное тяготение.

— Это из-за Марка.

— Да, — согласился Эдвард, — но не только из-за него.

— Может быть, в том-то и есть глубокий смысл того, что происходит между нами.

— Ну, если смысл достаточно глубокий… это неплохо, правда?

— Будет плохо, если мы станем заменой Марка друг для друга, вычеркнув его самого.

— Но мы не сможем его вычеркнуть.

— Не сможем. Значит, он всегда будет стоять между нами.

— А что бы он сам нам сказал?

— На такой вопрос нет ответа.

Этот диалог, логика которого ускользала от них, пугал обоих, и они прекратили его. Они заговорили о Марке проще: Эдвард вспоминал колледж, Брауни — детство.

Они собирались увидеться снова, но не хотели встречаться в этой комнате. В дом миссис Уилсден идти было нельзя, как и в дом Элспет Макран, а

привести Брауни к себе Эдвард не мог. Они оба предпочитали не афишировать их болезненные, необходимые, исключительные отношения. Не стоило выставлять эти отношения на всеобщее обозрение, пока они сами во всем не разберутся. Они были тайными бездомными любовниками, но эта бездомность и бесприютность стали частью их связи, их договором, особенностью, делавшей их отношения условными и невинными.

Сегодня они должны были поесть вместе в пабе, который выбрала Брауни, в Бейсуотере, неподалеку (но на безопасном расстоянии) от дома Элспет Макран. Эдвард не хотел ни на чем настаивать. Он готов был идти туда, куда предложит она, и находил какое-то утешительное очарование в мысли о том, что они оба бредут по громадному, безразличному и безликому Лондону к месту встречи, где усядутся в уголке, как невидимки. Идея встретиться в пабе была хороша, она предполагала новую фазу их отношений, терявших напряженность, становившихся более спокойными и обретавших полноту. Эдвард задолго до назначенного времени пришел в Сохо. Он любил долгие прогулки по городу, ходьба отупляла и успокаивала его чрезмерно активный мозг. Он еще не отказался от мысли найти миссис Куэйд,

хотя и считал, что она, скорее всего, просто переехала. Теперь ему не верилось, что тот сеанс происходил в реальности. Это все было похоже на попытку вспомнить сон. Эдвард решил добраться до Бейсуотера узкими улочками к северу от Оксфорд-стрит, неподалеку от Фицрой-сквер.

Эдвард не говорил Брауни о Джессе; вернее, не говорил о той галлюцинации, об исчезновении Джесса и своих лондонских поисках. О времени, проведенном в Сигарде, он рассказал в общих словах. Брауни не проявила на этот счет никакого любопытства. У них имелись другие темы для бесед. Известий от Илоны так и не пришло, и теперь Эдвард уже не ждал ничего. Могла ли Илона написать письмо? Он словно поверил в ее неграмотность. Если бы даже она написала, матушка Мэй подвергла бы письмо цензуре и не допустила к отправке ничего, похожего на сообщение: «Не переживай, он вернулся». И пока Эдвард оставался в неведении относительно судьбы Джесса, он был обязан вернуться в Сигард. Это место представлялось ему теперь гротескным и зловещим, и идея возвращения пугала. Человеческое воображение всегда преувеличивает, думал он, и в его голове творились невообразимые ужасы. Но иногда ему казалось, что жизнь хотя бы отчасти

может измениться к лучшему. Вдруг он найдет Джесса — например, встретит на улице. Это было бы вполне в духе Джесса, это было бы правильно. Поэтому, идя по улице, Эдвард заглядывал в лица прохожих, нередко видел двойников Джесса и ощущал болезненные уколы угасшей надежды. А может быть, Илона все же напишет ему? Сообщит между делом: «Конечно, он здесь» — и передаст привет от Джесса. Или же Эдвард сам вернется в Сигард, прокрадется в башню, откроет дверь, взбежит по лестнице в комнату отца и упадет в его объятия. Ему не хватало Джесса, он тосковал по нему, он жаждал увидеть его. Но потом возвращался страх, чувство вины, и он вспоминал о своей тайне. Возможно ли, что в некоем неопределенном светлом будущем он сядет рядом с Брауни и расскажет ей обо всем? Тогда галлюцинация преобразуется в нечто обыденное, и он сразу поймет, что это была иллюзия. Потом его загнанные мысли снова обращались к Брауни, и он чувствовал: никакого светлого будущего нет. Это все равно что смотреться в зеркало и не видеть там ничего.

Эдвард уже две ночи провел в своей прежней комнате. Как и предполагал Томас, это повлияло на него, но эффект быстро притупился, сработав

только во время встречи с Брауни. Полезных идей у него не прибавилось. Здесь обитали злые духи, призраки вины и ужаса. Больше всего Эдвард боялся, что в конце концов возненавидит Марка, станет видеть в нем демона, сломавшего его жизнь. По ночам этот злобный Марк иногда появлялся в комнате, у кровати Эдварда. Да и как ему не жаждать мести? Он погубил Эдварда, но ведь Эдвард забрал его жизнь. Эту новую страшную мысль породила масса ядовитых пауков, которыми, как он сказал Брауни, была заполнена его голова. Он должен найти себе новое жилье. Он был бы не прочь вернуться домой, но побаивался Гарри. Он воображал, как невыносимо для Гарри видеть его, и для этого было достаточно одной причины: он, Эдвард, знал обо всем. Гарри должен был испытывать горечь и негодование из-за «потери лица» при свидетелях. Порой Эдвард спрашивал себя, хотя особо не углублялся в этот вопрос, что произошло с Мидж и отчимом. Он жил в своем собственном изолированном мирке, не читал газет и не знал о том, что имена названы. Он думал о Мидж, размышлял о том, нужно ли повидаться с ней, но в итоге приходил к выводу, что лучше не попадаться ей на глаза, а то она возненавидит его. Если бы она оттолкнула

Эдварда, он бы разрыдался.

И вот теперь Эдвард шел по улицам, разглядывал прохожих, страдал от фантасмагорического смешения надежды и страха, все быстрее сменявших друг друга в его измученном мозгу. Злые духи не дали ему выспаться. Он видел Джесса в Сигарде, тот сидел на кровати и ждал его. Он видел Брауни в пабе, она говорила, что больше не хочет с ним встречаться, что она не сможет простить его никогда. Он видел Илону, танцующую на листьях травы. Потом — ее мертвое тело в реке, быстро уносившей труп к морю; длинные темные волосы напоминали речные водоросли. Он видел Гарри, который наклонялся вперед и говорил: «Ты болен, это болезнь, ты получишь помощь, ты выздоровеешь». Он видел посверкивавшие очки и аккуратную челку Томаса, слышал его шотландский акцент: «В каждый пылинке праха — бессчетное множество Джессов». Он видел желтые глаза Стюарта, наполненные любовью и осуждением.

Эдвард брел вперед, но вдруг остановился. Он увидел что-то — сначала прошел мимо, не обратив внимания, но мозг его отметил увиденное и теперь вспыхнул, посылая отчаянный сигнал. Он развернулся и медленно пошел назад, погля-

дывая на дома. Потом он заметил ее — совсем маленькая желтая карточка была прикреплена к дверному косяку. «Миссис Д.М. Куэйд, медиум». Ниже еще одна карточка: «ХОТЯТ ЛИ МЕРТВЫЕ ГОВОРИТЬ С ВАМИ?» Эдвард схватился рукой за горло. Да, он искал миссис Куэйд, но теперь испугался, его пробрала дрожь. Неужели его привела сюда судьба, а если да, то с какой целью? Не сойдет ли он с ума, когда увидит миссис Куэйд еще раз? Ему теперь казалось, что он просто забыл, как ужасно, как сверхъестественно неприглядно было в той комнате, забыл, что делала миссис Куэйд и что она собой представляла. Разве ему может помочь новая встреча с ней? Не лучше ли пройти мимо, словно он и не видел маленькой желтой карточки, и бежать? В воображении Эдварда миссис Куэйд представала как инструмент, средство достижения цели, метод обнаружения Джесса. Он живо представлял себе, что она может сказать и сделать, какие ужасные тайны открыть (или сделать вид, будто открывает), какую ложь или жуткий образ навечно поселить в его мозгу. Миссис Куэйд была опасна. Но уйти, конечно, он уже не мог. Эдвард толкнул дверь, которая была открыта, и вошел внутрь.

Он поднялся до квартиры, но дверь оказалась

заперта. Никакой записки он там не увидел. Сегодня миссис Куэйд не устраивала сеанс. Поскольку кнопки звонка нигде не было, Эдвард постучал, поначалу легонько, потом громко. Далеко не сразу дверь приоткрылась на цепочке, кто-то выглянул в щель и спросил:

— Кого вам?

— Я хотел увидеть миссис Куэйд, — ответил Эдвард.

— Ее здесь нет.

Дверь начала закрываться, но Эдвард успел всунуть в щель ногу.

— Миссис Куэйд, пожалуйста, впустите меня. Я ваш клиент. Я пришел на сеанс. Вы как-то раз очень помогли мне. Я знаю, сегодня не тот день, но мне необходимо вас увидеть.

Миссис Куэйд сбросила цепочку, и Эдвард надавил на дверь. Он узнал голос хозяйки с небольшим ирландским акцентом. Миссис Куэйд изменилась, сильно похудела. На ней не было ее тюрбана, спутанные седые волосы лежали на шее и ниспадали на сгорбленные плечи. Она стояла, сутулясь, воротник ее платья был расстегнут, а бусы свободно болтались на груди. Она искоса посмотрела на Эдварда и, шаркая ногами, поплелась по коридору. Эдвард закрыл дверь и прошел

за ней в большую комнату, где в прошлый раз проводился сеанс. Шторы были едва приоткрыты, в комнате царил полумрак. Стулья теперь не стояли полукругом, а рассредоточились по всей комнате, некоторые разместились друг на друге в углу. Два кресла стояли рядом с камином, в котором горела электрическая лампа, а место дров занял электрический обогреватель. Против одного из кресел располагался телевизор, и его экран теперь ничто не прикрывало. Миссис Куэйд горбилась и волочила ноги; она протопала по комнате, как ежик, взяла бутылку с небольшого столика и после недолгих колебаний положила ее в ведерко для угля, потом села в кресло и, уставившись на Эдварда, принялась бесконечно наматывать на палец прядь седых волос. Он взял в другом углу стул, поставил его рядом с хозяйкой и сел. Возможность занять кресло он не рассматривал. Пока он манипулировал со стулом, глаза миссис Куэйд закрылись.

— Миссис Куэйд…

— Ах да… Так что вы хотите?

— Я хочу… — А чего он хотел? Эдвард не подготовил никакой речи. — Когда я был у вас в прошлый раз, вы говорили что-то о человеке с двумя отцами. Так вот, это был я. Вы помните?

— Конечно нет, — ответила миссис Куэйд. — Я всего лишь проводник. Говорит дух, а не я.

— Значит, некий голос говорил со мной, назвал мое имя и сказал, чтобы я отправлялся домой. Я решил, что речь шла о моем отце. Я поехал к нему, поехал домой, но теперь опять потерял его. Я не знаю, где он. Может быть, он мертв, но я в этом не уверен. И вот я подумал, что вы мне поможете.

— На этой неделе сеансов не будет, — сказала миссис Куэйд. — В любом случае, духи говорят только с мертвыми, так что, если ваш отец жив, никакого контакта не выйдет.

— Но контакт уже состоялся, а он был жив. Если бы вы могли опять связаться с ним…

— Я об этом ничего не знаю. Люди много чего воображают. Они слышат то, что хотят услышать, видят то, что хотят увидеть, я тут ни при чем. Не каждый способен понять голоса, доносящиеся с той стороны, не каждый достоин этого.

Эдвард увидел, что миссис Куэйд трясет. Шаль, которой в прошлый раз был закрыт телевизор, теперь лежала на плечах женщины, миссис Куэйд куталась в нее. Лицо ее похудело, сквозь редкие клочковатые седые волосы просвечивала белая кожа черепа (медиум наклонилась вперед, и ее опущенные глаза почти не смотрели на Эдварда),

а голова периодически подергивалась, отчего длинные сверкающие сережки царапали худую шею. Неловким движением она распахнула шаль и вытянула бусы, попавшие ей под платье. После этого снова закуталась в шаль, оставив бусы сверху, попыталась связать уголки узлом, но у нее это не получилось, и она подняла на Эдварда свое старое, сердитое, печальное тонкогубое лицо. Ему пришло в голову, что в прошлый раз он так толком и не разглядел ее лица под большим тюрбаном, украшенным стекляшками, — оно было совершенно невыразительным.

— Вы больны, миссис Куэйд? — спросил Эдвард. — Я могу что-нибудь для вас сделать?

Он встал и приблизился к ней.

— Конечно, я больна. Но это не имеет значения. Моя болезнь не заразна. Так что, вы говорите, вам нужно?

— Мой отец. Я не могу его найти. Он пропал. Его зовут Джесс…

— Я для вас ничего не могу сделать. Я этим не занимаюсь. Вы должны дождаться духов. Они решают. Бесполезно просить их найти отца мальчика.

Эдвард опустился в кресло и попросил:

— Если бы вы могли попробовать… я бы при-

шел на сеанс на следующей неделе…

Миссис Куэйд, закрыв глаза, полулежала в кресле, голова ее чуть покачивалась. Дыхание ее стало слышным.

«Черт, — подумал Эдвард, — она заснула! А лампа такая тусклая — видимо, она чем-то ее прикрыла. И телевизор включен, только я раньше этого не заметил. Картинка есть, а звука нет».

Эдвард откинулся на спинку кресла, вдыхая пыль. Он стал смотреть на экран телевизора. Канал был плохо настроен, что-то двигалось, появлялись неясные очертания, может быть ветви деревьев. Потом яркость усилилась, прибавился ясный серый свет. На экране выделялась черта, которую Эдвард принял за линию горизонта. Он увидел перед собой море. Он решил, что телевизор черно-белый — изображение на таких выглядит ужасно блеклым после цветного; а может быть, просто шел старый фильм. Но света было много, как в дождливый день, когда солнце выходит из-за туч. Кадр переменился, и Эдвард увидел морской берег. Об этот берег бесшумно разбивались волны, неся за собой морскую гальку. Камера двигалась вдоль берега, показывала песчаные дюны со скудной травой, раскачиваемой ветром. Эдварду эта картинка

показалась усыпляющей: медленное движение, бесшумные волны, беззвучно задувающий ветер. Потом на экране появилось устье реки, земля но другую сторону, тополя, тростник, взлетающие птицы. Какие-то большие гуси, с трудом поднимаясь в воздух, били по воде крыльями. «Я бы хотел услышать этот звук», — подумал Эдвард. Камера двигалась в глубь суши, и чем дальше от каменистого взморья, тем уже становилась река. Затем он увидел несколько стройных ив, отражавшихся в тихой воде, и что-то за ними — стена, некое подобие сломанной пристани. Тут камера внезапно замерла, и появился человек. Он стоял чуть поодаль от берега спиной к Эдварду — высокий человек в темной одежде. Вскоре он начал двигаться, повернулся, и камера показала его лицо: молодой человек с прямыми темными волосами, ниспадающими на лоб. Эдвард сидел, не шевелясь, вцепившись пальцами в подлокотник кресла. По мере того как лицо наезжало все более крупным планом, Эдвард укреплялся в мысли, что это он сам. Но вскоре он решил: «Нет, это не я, это Джесс. Что же тут происходит? Наверное, они показывают какой-то старый фильм про Джесса. Какое совпадение, как странно, как ужасно». Джесс, откидывая одной рукой волосы со лба,

уже уходил прочь от камеры в сторону речного берега. Он остановился, посмотрел в воду. Потом повернулся и улыбнулся Эдварду.

Эдвард проснулся. До него доносился какой-то странный размеренный звук. Он лежал в кресле в большой комнате миссис Куэйд, экран телевизора был черен. Напротив него в свете лампы сидя спала миссис Куэйд. Звук, который разбудил его, был ее храп. Эдвард выпрямился в кресле. Перед тем как уснуть, он видел фильм о Джессе. Сейчас телевизор уже выключили. Наверное, все это ему приснилось. Он встал. И тут его обуял страх — жуткий, тошнотворный, удушающий страх, вроде того, что он испытал ночью в Сигарде, в темноте. Он бросился к двери, не сумел сразу ее открыть и дергал ручку, пока дверь не распахнулась. Вышел, проделал то же самое с дверью в квартиру и в несколько прыжков спустился по лестнице. На улице он остановился, ошеломленный спокойствием обычного дня и людей, идущих по своим делам. Он тоже зашагал по тротуару, взглянув на часы. Шел пятый час. Он проспал несколько часов. И тут Эдвард вспомнил: Брауни! От беспомощности он кинулся бегом, понимая, однако, что проку от этого мало — паб уже закрыт. Она ждала его и, не дождавшись,

ушла. Он упустил ее. Он потерял ее.

«В первом отрывке из своих «мемуаров» миссис Бэлтрам предложила нам недавнюю запись из своего увлекательного дневника (на котором, по ее словам, и основаны мемуары) в качестве примера той «электрической ауры», окружающей, как она утверждает, ее мужа. Кто-то может сказать, что события, происходящие в их загородном доме, свидетельствуют всего лишь о беспорядочной жизни. Но миссис Бэлтрам, похоже, полагает, что гениальность извиняет любые крайности, а жене гения не возбраняется поступать бестактно. Тут поневоле начинаешь сочувствовать бедному затворнику, по некоторым свидетельствам, впавшему в старческий маразм и несколько лет назад оставившему работу. Тем не менее он по сей день остается «господином», «королем в полной славе», «волшебником на летящем коне» и т. п. В довольно бесцветной прозе миссис Бэлтрам все же имеются яркие пятна, оживленные гиперболами и приправленные слащавой сентиментальностью.

Она рассказывает нам, как ей «приходилось бороться», намекает, что у нее были «утешения», утверждает, что «брак с гением влечет за собой определенные неудобства». Похоже, и в самом

деле влечет. Во втором опубликованном отрывке довольно подробно рассказывается, как бедняжке Мэй приходилось стоять, потупя взор, когда Джесс «с горящим взором» уносил свою натурщицу Хлою Уорристон наверх, к себе комнату. («Быть натурщицей Джесса — все понимали, что это означало, и к нему вечно стояла бесконечная очередь безвкусно одетых девиц».) Если и дальше пойдет в том же духе, сии «мемуары» обещают стать (нет ни малейших сомнений в том, что цель автора именно такова) оргией бестактности и мести. Каждая страница дышит злобой. Миссис Бэлтрам — большой мастер в искусстве произносить теплые, на первый взгляд, слова и даже похвалы, но при этом подспудно и безжалостно преуменьшать достоинства объекта воспоминаний. Впрочем, этого не чужд ни один биограф. Возможно, нам всем хотелось бы преуменьшить рост тех, кто надменно возвышается над нами, но лишь немногие способны и готовы решиться на такую операцию. Миссис Бэлтрам предстает перед читателем как женщина, одержимая ведением дневников. Эти записи, откуда она черпает материал для своей саги, наверняка представляют собой чтение куда более интересное и даже более привлекательное. Не исключено, что при-

дет время, и мы сподобимся чести прочесть их! Что касается литературных достоинств, то труд миссис Бэлтрам, судя по двум опубликованным отрывкам, их не имеет, но вполне может иметь цену как общественный документ. Велеречивое предисловие сообщает нам: «Мэй Бэлтрам знала всех». Я полагаю, что скандалы и любовные приключения истаскавшихся художников хороши для чтения в поезде. А вот насколько хорош художник Джесс Бэлтрам — вопрос весьма спорный, если учесть полемику, вызванную мемуарами его жены. Она, безусловно, преуспела в рекламе принадлежащего ей сонма картин. Она соблазняет читателей утверждениями о том, что «его поздние эротические работы еще не известны публике». Проницательному знатоку человеческих душ настоящего и будущего эта писанина, несомненно, послужит материалом для изучения психологии женщин, которые считают себя раскрепощенными, но решительно таковыми не являются — такова особенность нашего века. Без сомнений, миссис Бэлтрам вытерпела много мучительных уколов ревности. Она долго ждала своего часа, чтобы отомстить всем хорошеньким натурщицам, согревавшим постель Джесса. (Достаточно прочесть, как во втором отрывке

из мемуаров она обходится с Хлоей Уорристон.) Но еще более тяжкие страдания ей причиняла зависть, пропитавшая весь ее эпос, в чем, впрочем, она никогда не признается. Она была незначительной женщиной, вышедшей замуж за человека (как бы к нему ни относиться) весьма неординарного. Ее месть Джессу за то, что он был знаменит, привлекателен, талантлив, харизматичен (то есть имел все то, чего лишена она), должна быть весьма основательной. Однако нам не следует проникаться сочувствием к миссис Бэлтрам. Удача улыбнулась ей, и она не упустила своего шанса. Еще две газетные публикации, чтобы у публики разгулялся аппетит, — и нам обещают выход в свет первого тома мемуаров. Эта книга (а за ней последуют и другие) станет бестселлером. Поговаривают о переговорах с кинопродюсерами».

Томас Маккаскервиль сидел в своем кабинете в Куиттерне и читал статью Элспет Макран, посвященную мемуарам Мэй Бэлтрам. Кроме этого, он прочел второй отрывок из «писанины» Мэй. Он уже два дня жил в Куиттерне один. В первый день ему позвонил один журналист, после этого Томас отключил телефон. Но он сделал несколько звонков — в клинику, чтобы отменить назна-

ченные встречи с пациентами, и в интернат, куда осенью должен был отправиться Мередит, чтобы узнать, не могут ли они принять мальчика сейчас. (Там сказали, что могут.) Он не писал и не получал писем о случившемся. Он не посылал никаких сигналов. Он спрашивал себя: когда же придет Гарри? Гарри непременно должен был прийти, и Томас внушал ему: «Приди, приди». Ему оставалось лишь хранить обвиняющее молчание, чтобы вынудить Гарри сделать это. Томас хотел встретиться с ним здесь, в Куиттерне. Он хотел, чтобы Гарри явился к нему под влиянием чувств в качестве… кого? Просителя, кающегося грешника, врага? Так или иначе, но терзаемый мучительной неопределенностью Гарри должен прийти, ему необходимо выяснить намерения Томаса. Томас не выработал никакой стратегии для их встречи. Он знал, что сумеет найти нужный тон, нужные слова, соответствующую маску. А до того Томас не собирался предпринимать никаких шагов из-за Мередита. Пока он не выяснит, что к чему, пока Гарри не придет, он будет отсутствовать и молчать. Конечно, и речи быть не может, чтобы поговорить с кем-то еще. Когда Томас получит информацию, он сможет действовать. Он хотел вытащить Мередита из дома. Он хотел,

чтобы Мередит находился где-нибудь в другом месте, на нейтральной территории, где можно общаться с ним, не сталкиваясь с враждебными силами. Было жестоко отправлять Мередита в интернат так сразу. Но все случившееся вообще было жестоко по отношению к Мередиту. Мысль о том, что сын застал Мидж и ее любовника в родном доме, была невыносима. Раненое воображение Томаса возвращалось к этой сцене, пополняя ее каждый раз новыми подробностями, и от этого он проникался уверенностью: чистота мыслей никогда больше не вернется к нему. Он всегда был сдержанно строг с Мередитом. Мидж иногда обвиняла его в том, что он слишком суров, но такие отношения основывались на глубоком интуитивном взаимопонимании между отцом и сыном, который был так похож на него. Томас уважал немногословное достоинство Мередита и его обходившуюся без слов любовь. И против этой связи, против возможности молчать или говорить, было совершено непристойное преступление. Но Томас и помыслить не мог о том, что потеряет мальчика. Что бы ни случилось, они с Мередитом едины.

Теперь Томас был способен думать и о Мередите, и о Гарри, «принимать разные точки зрения».

Он решил пока не учитывать Стюарта, а рассматривать его как аберрацию, которая пройдет, когда право владения останется за Гарри. Он не мог думать о Мидж — тут он испытывал чистое страдание. Его разум не мог осмыслить этого, он распадался на малодушный скептицизм, отчаяние, слезливое детское горе, трагическую позу, холодное жестокое любопытство и бешенство. Он удивился, открыв в себе способность к гневу. Конечно, любой мог бы сказать Томасу, и сам он себе говорил, что вокруг его молодой жены непременно будут виться поклонники. Она была такой красивой, такой живой, так хорошо одевалась, так отличалась от обычной женщины, на которой Томас предполагал жениться. Мидж стала для него самой лучшей женой, чудом, странным счастьем, источником радости и никогда — беспокойства. То, что она влюбилась в него — а она несомненно была влюблена в него когда-то, — служило доказательством щедрого и непредсказуемого богатства жизни с бесплатным приложением в виде удивительного блаженства. Мидж дала ему счастье, которое он считал недостижимым для себя, даже чуждым. Теперь же его любовь и счастье, это витающее в облаках невероятное счастье, мучили его, превративше-

гося в какое-то огромное дрожащее воплощение чувствительности, способное лишь страдать. Ни кончиться, ни уменьшиться эта боль не могла. «Я люблю ее, я люблю ее, — говорил себе Томас, закрывая лицо руками и издавая стоны. — Ну почему этого недостаточно, чтобы создать свою реальность, свободную от всего остального?»

Он винил себя и изобретал все новые способы, чтобы винить себя еще сильнее. Ну почему он не сумел защитить ее, обезопасить? Почему же ему, со всеми его профессиональными знаниями, со множеством удивительных секретов, даже в голову не пришло, что жена может ходить на сторону? Ему было известно, что у Мидж есть друзья, о которых он практически ничего не знает. Он даже не спрашивал о них. Он был невнимателен, поглощен собой, его любовь почивала на лаврах. Он принял как нечто само собой разумеющееся не только Мидж, но и свою любовь к ней. Безусловно, тут играло роль его тщеславие, чувство превосходства над любым соперником, убеждение, что люди немного побаиваются его и никогда не осмелятся рассердить. Но потом в защиту Томаса возопила его любовь, его счастье: ведь он бесконечно доверял Мидж, доверял с детской простотой. Эта простота и доверие царили

здесь, в безупречном здании их брака, и нигде более. А потом его гнев обрушивался на эту ненавистную пару, на его мучителей, разрушивших его радость, отравивших его мозг, истерзавших его болью. Он чувствовал, что мог бы с гораздо большим достоинством вынести честную утрату, расставание без обмана. Все прошло бы гораздо легче, будь это другой мужчина, незнакомый, любой, кто угодно, кроме того, кого он так чистосердечно любил, кому доверял.

Он воображал лицо жены, сияющее и исполненное живого, чувственного довольства, которое он принимал за абсолютно невинную joie de vivre[63]. Неужели его представление о Мидж как о счастливом зависимом ребенке было так далеко от действительности? Чтобы его жена, его дорогая, любящая, принадлежащая только ему Мидж могла замыслить и воплотить в жизнь долгосрочный хладнокровный обман… Томас не отваживался ставить под сомнение страсть, вынудившую ее обманывать мужа в его собственном доме. Два года… Наверное, они вожделели друг к другу. Не успевал Томас выйти из дома, как звучал долгожданный телефонный звонок. Осто-

[63] Примечания: 63
Радость бытия *(фр.).*

рожное, тщательное планирование встреч. Как бы между делом заданные Томасу вопросы: когда он уезжает, куда, надолго ли. Тонкий расчет, безжалостные козни, а на поверхности — знакомые улыбки. А когда он обнимал ее, из-за его плеча выглядывало совсем другое лицо. Ах, какая безжалостная страсть, она уничтожила его. Полнокровный поток другой жизни умудрялся бить ключом в этом тесном пространстве, заполнял его собой. Так что скорее уж он сам, его претензии на нее были той скучной, безрадостной переменой, унылой и ненавистной рутиной, к которой Мидж, преодолевая себя, возвращалась из яркого дворца страсти и нежности с его особенным языком, его роскошной мифологией и секретными кодами любви. Теперь Томас видел его, это другое место — огороженный лагерь, деятельный и суетливый, с плещущими на ветру флагами и высокими шелковыми шатрами, наполненный тревожными звуками труб и барабанов. Все цвета жизни были там, а здесь они выцвели, осталась однообразная серость. Два года. А он ничего не замечал, не видел и не чувствовал, хотя его лишали всего, на что он так доверчиво полагался и что он так сильно любил.

Томас вспомнил, что в последнее время дей-

ствительно замечал «настроения» Мидж, задумывался о них, но в конечном счете решал не беспокоиться. Он подумал, что не стоит теперь перебирать интимные подробности их брака в поисках причин того, что случилось. Причины эти, несомненно, многообразны и, возможно, глубоко скрыты, но в любом случае сейчас не время рассматривать и разбирать их. Не все можно улучшить и прояснить умственными разысканиями. Томас не стал тревожить свою пуританскую скромность. Он ценил целомудренную сдержанность в себе и других, считал ее прямым путем к счастью и упорядоченной страсти настоящей любви. Он всегда думал, что между ним и Мидж существует глубокое и сильное сексуальное чувство, опровергающее вульгарные представления из учебников. Она любила его, он был ей нужен, она посмеивалась над его важностью, держалась за его силу, восхищалась им, ценила его, доверяла ему, дарила ему свою живую красоту и полноту своего физического присутствия. Или так ему только казалось? Сколько страниц нужно теперь пролистать назад, чтобы понять, когда началась эта фальшь?

Томас не привык к страданиям; глубокая скорбь, вызванная смертью его родителей, не

была похожа на нынешние переживания. У него возникло ощущение, что в том месте, где прежде находилась его любовь к Мидж, образовалась огромная пустота. Но как такое могло произойти? Он страдал по-новому, невыносимо, словно специально для него изобрели особую пытку, истинное терзание. Его любовь превратилась в абсолютную боль. Неужели он, Томас, способен так страдать? Он не привык и к бесконтрольному гневу. Теперешний гнев, находивший на него временами и грозивший войти в привычку, был направлен на эту парочку обманщиков; удивление и шок при мысли об их предательстве не проходили, а к Гарри он порой испытывал яростное отвращение, переходящее в ненависть. Томас понимал, что в скором времени он должен будет смирить и свести на нет эти деструктивные эмоции, но у него не было ясного представления о пространстве, что лежало перед ним. Его гордость и достоинство были глубоко ранены, они требовали лечения, перевязки. Принять смиренную позу всепрощения? Но мир истолкует это как слабость. (Значит, мнение мира ему небезразлично?) Или лучше подойдет поза созерцательного и великодушного понимания, которое, видимо, придется растягивать до бесконечности? Или на-

до осуществить холодный, точно рассчитанный план кампании с целью уничтожения соперника? А что потом — восстановить тягостный, невыносимый брак? Нет, хорошего решения не было. Неожиданный приезд в Лондон тоже принесет мало толку. Он решил выжидать, смотреть, как развиваются события, надеяться на чудо и оттачивать свой ум. Его любовь к Мидж, беспокойная и неугомонная, гневная и безумная, время от времени мучила его видениями счастья и радости; его малодушная фантазия предлагала ему иллюзорные утешения: все в конечном счете как-то безболезненно образуется. «Я люблю ее, я хочу ее!» — снова и снова рыдал он. Но не мог получить того, чего так страстно желал, а самое главное: не мог сделать свою любимую жену такой, какой она была когда-то, — нежной и преданной.

Эти навязчивые мысли (уже превращавшиеся в шаблоны — Томас знал их и боялся) были прерваны звуком, донесшимся снаружи через открытое окно. Этого звука он ждал — шорох автомобильных покрышек, катящихся по гравию. Томас поднялся и увидел в окно, как из автомобиля выходит Гарри. Дверь машины захлопнулась с легким щелчком. Томас причесался в ожидании

звонка.

— Я полагаю, тебе все равно, — сказал Гарри.

— Тебе удобно так думать.

— Ты не хочешь развестись?

— Нет, конечно нет.

— Значит, ты не возражаешь?

— Я знаю, что ты бессердечный лгун, — сказал Томас. — Можно мне отметить, что ты еще и дурак?

Для них обоих эмоциональный шок от встречи оказался даже большим, чем они ожидали, отчего первые двадцать минут они говорили почти наобум, чтобы скрыть волнение. Оба были исполнены решимости сохранить спокойствие, не выказать слабости, остаться хозяином положения и одержать победу. Они не предполагали, что ими овладеет неловкое замешательство, которое неожиданно смутило их и вызвало эмоциональный ступор. Сцена, пока лишенная высокого накала, и дальше развивалась без особого драматизма, что делало достижение результата весьма маловероятным. У Томаса было преимущество, поскольку он меньше зависел от алкоголя. Гарри же решил не предлагал выпить, хотя его потребность в выпивке в кризисных ситуациях была очевидной: ее выдавали беспокойные жесты и

лихорадочные взгляды.

— Мы должны поговорить спокойно, — сказал Гарри, — проявить благоразумие и разрушить как можно меньше. Я надеюсь, мы сможем остаться друзьями.

— Разумеется, мы не сможем, — ответил Томас. — Ты, похоже, не способен думать. И вообще, чего ты хочешь?

— Что ты имеешь в виду?

— Ты явился без приглашения, полагаю, чтобы о чем-то мне сказать. Так почему бы тебе не начать говорить?

— Боже милостивый, ты холоден как рыба, — произнес Гарри. — Зачем делать вид, будто ты удивлен моим приходом, разве ты меня не ждал? Разве ты не хочешь услышать какое-то объяснение, рассказ обо всем? Или ты собираешься продолжать работу, будто ничего не случилось?

— С чего ты вдруг прибежал ко мне? Хочешь, чтобы я тебя утешил?

— Нет, черт побери! Я думаю, что в утешении нуждаешься ты.

— Моя жена все мне рассказала, и я ей верю. Она не просит развода. По-моему, это не оставляет тебе иного выбора, как только убраться из нашей жизни. И уж конечно, я не собираюсь

копаться в подробностях вашего благополучно скончавшегося романа. Поскольку тебе нечего мне сказать, убирайся. Не вижу необходимости говорить с тобой и не хочу больше тебя видеть. У нас с тобой все кончено.

Эта речь, исполненная яда, испугала и смутила Гарри. Он понял, какую шутку сыграло с ним собственное лицемерие, теперь казавшееся наивным: он ведь предполагал, что Томас, расстроенный и взбешенный, останется таким, каким был всегда, — ироничным, хладнокровным, любезным, сочувствующим, терпеливым и понимающим. Гарри, как и предполагал Томас, приехал в Куиттерн, потому что не мог иначе; теперь, когда все раскрылось, он испытывал насущнейшую потребность увидеть Томаса, просто побыть в его присутствии. Ему требовалось это утешение, облегчение — увидеть Томаса и удостовериться, что тот если и не прощает, то хотя бы готов к спокойному, разумному разговору. Еще Гарри было необходимо — прежде чем выработать наконец собственную стратегию — выяснить, что сказала Томасу Мидж, причем сделать это так, чтобы Томас не понял, как мало Мидж сообщила ему, Гарри. После их разоблачения Гарри виделся и говорил с ней, но понять ее

так и не смог. Она вела себя как дикий зверек; беспокойная, нервная, она избегала его взгляда и не столько говорила с ним, сколько выкрикивала что-то. Он звонил ей вечером в день, когда все открылось, но никто не снял трубку. Он не отважился подъехать к ее дому из опасения столкнуться с Томасом. На следующий день она ответила на звонок и сказала, что Томас уехал в Куиттерн и что Гарри может прийти и поговорить с ней. Он примчался, окрыленный надеждой, но ему пришлось сидеть с ней в гостиной, словно он был светским визитером или поклонником. Все здесь напоминало о потрясении, которое они испытали при появлении Томаса, — раскрытые газеты на столе, распахнутая дверь. Гарри уже начал жалеть, что не остался и не поговорил с Томасом начистоту сразу же, хотя понимал, что в тот момент он был парализован и — страшно в этом признаться — испытывал чувство стыда. Но если бы он остался, он мог бы получить то, чего ему так не хватало сейчас: ясное представление о ситуации. Когда Гарри снова увидел Мидж, он не знал, сказала она Томасу о Стюарте или нет. Он надеялся, что не сказала. Он был почти уверен, что эта глупость со Стюартом быстро пройдет и все будет так, как он воображал себе прежде,

представляя те времена, «когда Томас все узнает»: потрясенная Мидж плачет от счастья, бежит к нему, к Гарри, остается с ним, и наступают радость и покой. Он с болью смотрел на нее, а она расхаживала по комнате, вздыхала и рассеянно поправляла волосы. Гарри не спрашивал — она сама сказала, что после отъезда Томаса поспешила к Стюарту, но тот уже съехал, комната была пуста, и адреса он не оставил. Когда Гарри позвонил ей утром, она первым делом спросила о Стюарте, не вернулся ли он домой. Когда Гарри приехал к ней, Мидж позволила взять ее за руку, но опять спросила, где искать Стюарта, у кого можно узнать о нем. Она металась из угла в угол, словно не замечала отчаяния Гарри, не обращала внимания на его горе и страх, на то, что он нуждается в утешении. Он не решался сказать об этом из боязни совершенно невыносимого отказа. Лучше пусть она пока принимает его как старого друга, имеющего право находиться здесь хотя бы в качестве доктора. По крайней мере, она не прогнала его и в ходе своего истерического монолога дважды воскликнула: «Ох, Гарри, Гарри!» — словно ждала от него помощи, и это давало ему надежду.

— Томас уехал… Где мне найти Стюарта? Я мог-

ла бы спросить у его друзей… Что же я наделала, господи, что же я наделала! — повторяла она.

Гарри же говорил:

— Успокойся, пожалуйста. Не волнуйся, я найду Стюарта. Не переживай за Томаса. Положись на меня, не забывай меня, все будет хорошо.

Он ничего не сказал о своем намерении встретиться с Томасом. Раз или два он мысленно пытался сформулировать вопрос: «Что тебе сказал Томас? Что он сделал?» Но так и не задал его — это могло совершенно выбить Мидж из колеи. После второго свидания, на следующий день, он пришел к выводу, отчасти утешительному: она действительно пребывает в состоянии временного помешательства. Планируя встречу с Томасом, Гарри включал в нее и некую немыслимую консультацию о здоровье Мидж.

Когда он понял, что пора встретиться с Томасом, и отчаянно гнал машину по шоссе, в голове его родилась еще одна идея: они должны помириться. Гарри будет направлять разговор и выражать сочувствие Томасу, после потери жены очевидно решившемуся бежать от света. Возможно, нужно признать некоторую степень своей вины и даже — нужно только очень тщательно выбрать слова — попросить у Томаса прощения. После этого они

смогут говорить как цивилизованные люди. Но теперь, глядя через стол на Томаса и слушая его голос, Гарри понимал, что подобные жесты просто невозможны. Это была война. Значит, Мидж сказала Томасу, что больше не любит Гарри. Или все-таки не сказала? Томас вполне способен выдумать это сам. А как насчет Стюарта?

— Неправда, что Мидж не любит меня, — произнес Гарри. — Ты все выдумал. И почему ты продолжаешь называть ее женой? Ее зовут Мидж. И почему ты удрал из Лондона, если веришь, что на самом деле она хочет остаться с тобой? Ты противоречишь сам себе. Я имел с ней долгий разговор вчера и сегодня. Конечно, она в шоке, но уже выходит из этого состояния, она по-прежнему любит меня, чего ты никак не можешь осознать. Тебя она никогда не любила, она никогда не была по-настоящему твоей женой. Мы с ней обсудили все это, я знаю, как обстояли дела, я знаю все. Она тебя всегда боялась. Поэтому нам приходилось лгать, что лично у меня вызывало отвращение. Да, в этом мы виноваты и сожалеем, что не сказали правду сразу же. Со мной она становится другим человеком, она счастлива и свободна — ты бы ее не узнал. Ты же психиатр, ты должен понимать, когда человек несчастен,

и ты видел, какая она была беспокойная, обидчивая и неудовлетворенная. Со мной ей уютно. Ты должен понять, что потерял ее. Не ссорься с Мидж, отпусти ее, она все равно не останется с тобой, она уже ушла. Ты убежал и оставил ее, потому что понял — она хочет быть со мной, а тебе это невыносимо. Ты сдался, опустил руки, ты признаешь, что она ушла навсегда. Я не хотел говорить этого, я хотел быть великодушным, я собирался извиниться, но ты сам меня вынудил. Мидж говорила о тебе так, как никогда не говорят о том, кого любят. Она считает, что ты холоден, не способен на нежность, лишен чувства юмора. Она сказала, что ты пренебрегал ею…

— Все это ложь, — ответил Томас, — грязная презренная ложь!

— Отнюдь! Если ты и вправду решил, что она бросила меня, зачем ты уехал? Почему оставил ее и Мередита? Тебя, похоже, даже сын не волнует. Она права — ты холоден, ты не заслуживаешь такой замечательной женщины. Я думаю, по-настоящему она тебе и не нужна. Почему ты не хочешь признать это? Господи милостивый, ведь считается, что ты умеешь разговаривать с людьми, у которых нарушена психика! В данном случае твои таланты тебя подвели. Сейчас ты

оказался жертвой и пациентом. Неужели ты не понимаешь? Тебе нечего сказать.

Томас сидел неподвижно, с багровым лицом, смотрел на Гарри и заметно дрожал. Потом он сжал губы, опустил глаза и снял очки.

«Я выиграл, — подумал Гарри, — я завоевал ее, она моя! Он потерял дар речи от бешенства, но ведь он молчит. Может быть, он и в самом деле хочет избавиться от нее? Только почему он не понял этого раньше, почему я не поверил в это… Я победил, я победил!»

Размеренным, но быстрым движением Томас отодвинулся на стуле и открыл ящик стола. Гарри вскочил на ноги.

В этот момент что-то произошло в комнате. Коричневый комочек пересек ее по диагонали туда и обратно, совершая быстрые зигзагообразные движения. Раздалось тихое щебетание, затем громкий хлопок. Это малиновка влетела в открытое окно, а потом ударилась о стекло.

Томас вскочил со стула и велел Гарри:

— Закрой дверь!

Птица сильно билась крыльями о стекло, а когда Томас попытался открыть окно пошире, раму заело.

— Смотри, смотри! — сказал Гарри.

Малиновка отлетела от окна и принялась нарезать быстрые круги под потолком, ударяясь хрупким тельцем о стены. Гарри пришел на помощь Томасу, и совместными усилиями они подняли раму повыше. Птица металась в углу, пока не упала на пол за кипой книг, где осталась лежать в зловещей неподвижности. Томас огорченно вскрикнул и принялся растаскивать книги, а Гарри повторял:

— Лети, птичка, туда лети, туда.

Когда книги были убраны, птица снова взлетела, ударилась о стену и присела на шкаф, глядя вниз яркими карими глазками. Потом с решительным видом спикировала вниз и вылетела через окно, описала изящный круг в воздухе, вспорхнула и уселась на бук, откуда стала поглядывать в сторону дома.

— Я боялся, как бы она не застряла в окне, — сказал Гарри.

Томас чуть опустил раму, потом до конца закрыл ее. Не глядя на Гарри, он вполголоса произнес:

— Уходи, иди.

— Ты хотел достать пистолет? — спросил Гарри.

— Нет, конечно, — ответил Томас после паузы.

— Томас…

— Уходи.

— Мне жаль.

Томас сделал жест, словно принял его извинение, и открыл дверь. Гарри вышел. Почти сразу же раздался звук его отъезжающей машины. Томас постоял немного, не двигаясь, потом открыл окно и впустил в комнату птичью песню.

Через некоторое время он спустился по лестнице в сад, прошел по неровной серой щебенке на траву, прогулялся до опушки — светло-зеленая дымка оттеняла синеву неба, а рододендроны вдали были подернуты сиреневым и розовым маревом. «Очень в духе Гарри, — подумал Томас. — Решил, будто я полез за пистолетом, когда мне нужен был платок, чтобы протереть очки! Но если он так думает, пускай. Он живет в романтическом мире. В мире романтического насилия». Но мысль о пистолете, размышлял Томас, двигаясь по тропинке между отцветших колокольчиков, была в некотором роде правильной. «В тот момент я вполне мог его убить. Почему? Конечно, он нес абсолютную чушь… а может и нет, не совсем чушь? Поток убийственных и ужасных оскорблений. Но я не мог ответить, я не мог сказать, что вот это и вот это неправда, потому

что… и я не мог прокричать, что люблю мою жену и не отдам ее. Убийство стало бы единственным возможным ответом, но для меня такой ответ невозможен. Он не ошибся — сказать мне было нечего, он переиграл меня. Господи милостивый, я чуть не разрыдался». Томас вдруг осознал, что его трясет от неудержимого гнева. Малиновку послало само провидение. Кроме того (хотя Томас не мог решить, хорошо это или плохо), происшествие с птицей предоставило Гарри возможность извиниться, а Томас, хотя и отмахнулся от этого, принял его слова.

Сквозь зелень уже проглядывал красный кирпич ограды перед домом Шафто, и Томас, как всегда в этом месте, повернул назад. Он начал понимать, как основательно подорвана его жизнь. Сможет ли он когда-нибудь снова предаться чистым, спокойным, свободным мыслям? Он чувствовал глубокое горе. Не отчаяние; слабость и отдохновение отчаяния стали бы для него облегчением. Нет, он чувствовал напряжение, энергию, готовность принимать решения, но при этом непреходящую боль.

В голову ему пришло слово lachete[64], которое

---

[64] Примечания: 64
Трусость, малодушие *(фр.)*.

всегда казалось более выразительным, чем английская «трусость».

«Je suis un lache»[65],— сказал он себе. Почему он бежал от Мидж, оставил дом, бросил Мередита? Гарри не ошибся, когда ударил его в самое слабое место. Теперь Томасу представлялось совершенно очевидным, что он должен был остаться; точно так же, как тогда казалось, что он должен уехать. Для чего он уехал — чтобы сохранить достоинство? Или от страха, что отвращение к предательству Мидж может вызвать ненависть к ней? Мог ли он возненавидеть ее, как возненавидел Гарри? Эта мысль была ужасна. Он убежал от нее, как от вспышки насилия в самом себе, он боялся вдруг обнаружить, что вид Мидж вызывает у него отвращение. А если он вернется назад и не найдет ее, если она ушла? Кого он будет винить, кроме себя? Но Мидж, конечно, не бросит дом, пока там Мередит. Томасу никогда не приходило в голову, что Мередит может занять не его сторону. Он спрашивал себя, каким образом то, что видел Мередит, повлияло на его отношения с отцом, надолго ли это, помешает ли это им. Смогут ли они обсуждать случившееся? Насколько ужасны

---

[65] Примечания: 65
«Я трус» *(фр.).*

будут последствия?

Томас ждал приезда Гарри. Гарри приехал, и что-то произошло, сдвинулось. Следующий ход был за Томасом. «Я должен вернуться в Лондон, — думал он, — и быть с Мидж. Я должен понять, в самом ли деле Стюарт, как она говорила, убил ее любовь к Гарри». Ни с чем подобным этому Томас не сталкивался на практике, но такие вещи были ему знакомы, он понимал их механизм. Он спрашивал себя: может быть, нужно встретиться со Стюартом? Если Стюарт и правда стал причиной временного помешательства Мидж, пожалуй, лучше пока его не трогать. Или же Томас не хотел предстать перед молодым человеком в роли мужа влюбленной в него женщины? Стюарт, несомненно, будет действовать разумно и осмотрительно, он должен уйти с дороги. А если нет? Возможно ли, чтобы он, пусть и непреднамеренно, спровоцировал Мидж?

«Я расчетливый человек, я манипулирую людьми. Я запускаю механизм и отхожу в сторону. Так, например, я отправил Эдварда в прошлое, в его старую комнату. Я небрежный садовник, я сажаю растение и бросаю его. Я произнес правильные слова и оставил Мидж переваривать их».

Когда Томас подходил к своему дому, по дорож-

ке к крыльцу подъезжал большой автомобиль. В первое мгновение он подумал, что это приехала Мидж, что она вернулась, и испытал прилив радости. Потом из машины выбралась знакомая фигура в фетровой шляпе. Это был мистер Блиннет. «Боже, — подумал Томас, — это против всех моих правил». И поспешил вперед.

Эдвард стоял перед Железнодорожным коттеджем. Светило солнце, и над равниной висела легкая дымка — печальная, пыльная, золотистая предвечерняя дымка. Над выемкой железнодорожной колеи неподвижно застыли в безветрии белые соцветия бутеня и лиловые цветки высокой травы. Масса мелких ярко-синих цветов росла под ногами Эдварда. Он вспомнил их название: дубровник. К тису была прикреплена большая табличка с надписью: «Продается». Окно, разбитое Эдвардом в прошлый раз, теперь было распахнуто и немного сошло с петель. Он полез через него внутрь и попал ногой на влажную мягкую поверхность дивана, который придвинули к окну. Тут явно поработали дождь и ветер, постаралось летнее солнце. В комнате пахло плесенью и холодным запустением. Большую часть мебели вывезли, остались только диван, пара сломанных стульев да потрепанный коврик.

Он прошел по дому, слушая звук своих шагов по голому полу, заглянул в спальню, где осталась старая металлическая кровать, на которой когда-то лежали Джесс и Хлоя, упиваясь красотой друг друга, и вернулся в первую комнату — она была пуста, в ней царило разложение. Скоро ее поглотят погода, природа, грибок и настырные зеленые побеги. Эдварду казалось, что он слышит шепоток этой зелени, царапанье ветвей тиса по окну, прорастание плюща сквозь плитки, работу насекомых в глубине дерева. Его пробрала дрожь, и он вышел через дверь, а потом тщательно закрыл ее за собой. Поставил обратно сломанную раму, и ее надежно заклинило на месте. Потом он спустился на железнодорожные пути и зашагал по ним, пытаясь вспомнить карту. Он прошел мимо тропинки, уходящей направо, к Сигарду, — по этой тропинке Сара Плоумейн в тот роковой вечер вела Мидж и Гарри к их судьбе.

Поросшая травой колея чуть заворачивала, заросли крапивы и крупнолистного щавеля становились все гуще. Постепенно колея пошла вверх, и Эдвард почувствовал под ногами твердую каменистую почву, из которой пробивалась трава. Дорога выровнялась, он обернулся и увидел переливающиеся поля красноватого ячменя,

а за ними — необычайную цветную полосу. Ее желтизна отливала такой ядовитой яркостью, что летнее небо за ней по контрасту казалось темным. Видимо, это были поля рапса, о которых говорила Илона. Их цвет напомнил Эдварду до ужаса интенсивную желтизну абстрактных полотен Джесса. Он развернулся и пошел дальше и вскоре увидел за деревьями башню Сигарда. Теперь он забирал направо по вьющейся змеей тропе, чуть поднимавшейся над остальным ландшафтом. По обе стороны от тропы лежало болото — засохшая вязкая земля, заросшая жесткой болотной травой, испещренная трещинами с водой. Невысокие неровные ивы, бузина и орешник все еще закрывали обзор, а в глазах у Эдварда расплывалось марево теплого мерцающего воздуха. Желтоватые соцветия бузины, над которыми жужжали пчелы, источали сильный запах сигардского вина. Эдвард прямо с железнодорожной станции поспешил на автобус, а с автобуса по железнодорожному пути — к коттеджу, держась далеко в стороне от Сигарда. Он почти ничего не ел и теперь чувствовал пустоту в желудке, его пошатывало, а жужжание пчел отдавалось в его пустой голове. Пиджак он нес в руке, но все равно вспотел на послеполуденной жаре. Неожиданно

выйдя за кромку деревьев, слева от себя и довольно близко он увидел воду, спокойную блестящую светло-синюю гладь. Эдвард остановился и в наступившей тишине услышал, как волны тихо перебирают прибрежную гальку. Море дышало прохладой — слишком мягкой, чтобы назвать это ветерком, но приносившей облегчение после знойной равнины. Позже Эдвард подумал, что, если бы в самый первый день доверился чутью и исходил из знания, что железная дорога проложена до моря и потому должна вывести к нему, он не остановился бы у Железнодорожного коттеджа и никогда бы не встретил Брауни. Тогда в день «галлюцинации» он не спешил бы, как безумный, а разобрался в том, что видел; и вообще в тот день с утра мог бы остаться с Джессом, и Джесс не ушел бы из дома и не потерялся… Нет, лучше не думать об этом.

Несмотря на эти мучительные неотвязные мысли, при виде моря Эдвард испытал облегчение. Он шагнул на пустой каменистый берег, на коричневатую ровную гальку, про которую говорила Илона. Прошел по хрустящим камням, потом остановился и некоторое время смотрел, как небольшие волны набегают на берег, любовно лаская сушу, слушал слабое ритмическое

шуршание, когда они накатывали на гальку, и шорох отступления. Черные и белые кулики носились вдоль кромки воды, издавая переливчатые мелодичные крики. Но сегодня Эдвард не мог наслаждаться морем; оно навевало грусть одиночества, наполняло дурными предчувствиями и печалью, а вид ясной излучины горизонта не приносил обычного успокоения. Сегодня магия моря была иной, она казалась нездешней и враждебной, а от синевы вод веяло холодом. Эдвард побрел по берегу — сначала вдоль кромки воды, а потом вернулся на железнодорожную насыпь, идти по которой было легче. Вскоре он увидел впереди каменную стену волнолома и линию бурунов, уходящую в море. Вероятно, это была гавань «рыбарей», о которых говорила матушка Мэй, — их деревня увязла в болоте после сильного шторма и наводнения, погубивших заодно и железную дорогу. Гавань, когда он добрался до нее, оказалась практически целой, два волнолома прямо и под углом замыкали пространство спокойной воды, где ловили рыбу крачки. Эдвард нашел остатки станционной платформы, а вот каких-нибудь следов деревни поначалу не увидел, но, приглядевшись, заметил крупные фрагменты каменных стен, обрушенных под прямым углом,

как на средневековых гравюрах с изображением руин. Развалины были окружены ямами с водой, поросли плющом и дикой буделеей. Но Эдвард не остановился. Он увидел впереди устье реки и побежал туда.

Железнодорожный путь чуть заворачивал в глубь суши, но Эдвард помчался прямо по твердой земле, поросшей травой, перепрыгивая через травянистые кочки. Река, исчезнувшая из поля зрения за высоким тростником и ивами, вдруг возникла у его ног так неожиданно, что он чуть не свалился в нее. Эдвард остановился, оглядывая широкий, необыкновенно спокойный простор целеустремленно текущей воды, в которой отражалось голубое небо и несколько высоких тополей на другой стороне. Его снова охватил страх — ужасный, черный, удушающий страх, уже знакомый, дважды нападавший на него. Он чувствовал себя так, словно его диафрагма пробита и вся нижняя часть тела заполнена чернотой. Ему не хватало воздуха. Глубоко дыша, Эдвард заставлял себя медленно идти вверх по течению, прикидывая расстояние до другого берега, и заглядывал в заросли тростника, образовавшие разного размера островки, соединенные белым окопником, желтыми ирисами и пла-

вучими зарослями водяного лютика. Он искал знакомый строй ив, но их было много, и он не мог определить — те или не те. Потом показалась каменистая отмель, а за ней — каменное сооружение; Эдвард сразу догадался, что это остатки моста или дамбы, по которой железная дорога пересекала реку. Он снова начал задыхаться; держась рукой за горло, прошел несколько шагов и остановился. Голова у него кружилась от бесконечного вглядывания в заросшую тростником бурую воду. «Наверное, я пропустил то место, — подумал он, — и там ничего нет. О господи, пусть там ничего не будет и я смогу уехать домой. Я пытался. Я пытался». Но обретет ли он свободу? Освободится ли он когда-нибудь?

«Пройду еще пятьдесят ярдов, и все», — решил Эдвард. И тут он увидел те самые ивы; по крайней мере, этот ряд ив как-то особо отозвался в его памяти. Он пошел быстрее и наконец добрался до деревьев, встал на колени на кромке берега и пристально вгляделся в воду. Поначалу он видел только свое отражение — темные очертания головы на поверхности воды. Потом он начал различать то, что лежало на глубине среди тростниковых зарослей; потом, не вставая с колен, он сместился чуть вверх по течению. А потом он

увидел Джесса.

Он знал: этот ужас и есть Джесс, потому что — как можно сомневаться? — сам Джесс указал ему это место. А еще, странно всплывая почти до поверхности, раскачивалась опухшая рука с рубиновым перстнем на пальце. То, что находилось ниже, было темнее, — округлый тюк, запутавшийся в водорослях. Подчиняясь мимолетному порыву, Эдвард нагнулся и прикоснулся к руке. Она была мягкой и очень холодной. Он дотронулся до перстня и, словно подчиняясь чужой воле, стащил его с пальца. Перстень сошел легко, свободно, и Эдвард надел его на безымянный палец левой руки, только теперь вспомнив, что именно так носил перстень Джесс. Потом он с трудом поднялся на ноги, отвернулся; рвотные спазмы подступили к горлу, но его так и не вырвало. Эти болезненные звуки разорвали то, что прежде казалось тишиной, а теперь наполнилось щебетом птиц. Он сидел в траве спиной к реке, обхватив голову руками.

Потом поднялся, вернулся к реке и наклонился над камышовыми зарослями. Тело оставалось на месте. Были видны сутулые плечи, склонившаяся вперед большая голова, пряди волос, колышущиеся в воде. Слезы потекли по лицу Эдварда, и он

зарыдал, прислонившись спиной к береговому обрыву. Слезы падали на ростки тростника и прямо в реку. Некоторое время он плакал в голос, громко всхлипывал, словно просил о помощи. Но никто, конечно, не мог его здесь слышать. Наконец он задался вопросом: что теперь нужно делать? Попытаться вытащить мертвое тело? Но хватит ли на это сил? Преодолевая тошнотворное отвращение, Эдвард снова опустился на колени, протянул руки к ссутулившимся плечам и попытался ухватиться за них. Скользнул руками по заилившейся материи, прикоснулся к мертвой плоти и ощутил внезапный страх: вот сейчас утопленник схватит его и утащит на дно. Он чувствовал вес тела Джесса, но не мог сдвинуть его с места, потому что труп запутался в переплетенных камышовых стеблях, корнях и водорослях. Чтобы вытащить его, придется сойти в воду и разорвать путы… Он не мог этого сделать. К тому же, как только тело освободится, его мгновенно подхватит течением и унесет в море.

Эдвард снова сел в траву и, моргая от яркого света, спросил себя: «А может, это тоже обман зрения?» Он встал и встряхнулся всем телом, как собака, ущипнул себя за палец, за руку, оглядел пустынный ландшафт речного устья, ивы,

руины железнодорожного моста. Потом снова перевел взгляд вниз, проверяя свое восприятие и душевное состояние. Конечно, это не сон, и ощущения совсем другие, чем в прошлый раз. Но разве сегодняшнее видение не доказывало, что тот, прошлый образ, когда Джесс смотрел на него сквозь толщу воды и улыбался, не был обманом зрения? Или наоборот, прошлое видение доказывало нереальность нынешнего? «Нет, все это реально, — сказал себе Эдвард. — Что же касается того, другого… я никогда не узнаю точно… И сейчас я не должен об этом думать». Он резко повернулся, потому что ему показалось, будто кто-то стоит у него за спиной. Но топи вокруг были плоские и безлюдные, как и прежде.

Плакать он уже перестал, но лицо было мокрым от слез. Эдвард вытер его тыльной стороной ладони. Нужно пойти в Сигард и сообщить им, подумал он. Господи, как это ужасно! Тут ему в голову пришла другая мысль. «Что, если я приведу их, а здесь ничего не окажется? Если все повторится? Тогда я сойду с ума, брошусь в море и буду искать там Джесса. — Он прижал руку ко рту и отвернулся. — Ну что ж, тогда я как-нибудь помечу это место». Эдвард поднял свой брошенный пиджак и повесил его, словно пугало, на палку,

торчавшую над травой. Потом он пошел вдоль берега реки в сторону от моря и вскоре увидел — ближе, чем предполагал, — башню Сигарда и высокую крышу сарая. В тот же миг он заметил человека: ему навстречу двигался высокий бородатый мужчина.

«Это Джесс, — сказал себе Эдвард, — это определенно Джесс. Значит, снова обман зрения. Уже второй…» Но через секунду надежда развеялась. Когда фигура приблизилась, Эдвард узнал одного из лесовиков, того самого, кто приносил ему письма от Брауни. «Я ничего ему не скажу», — решил Эдвард. Потом подумал о другом: «Люди могут заподозрить меня. Этот человек увидит мою вешку и…»

— Я только что нашел тело Джесса Бэлтрама, — сказал Эдвард человеку. — Он утонул и лежит в камышах. Вон там, за железнодорожным мостом. Я повесил там свой пиджак на палке.

— Хозяина? Вы уверены, что это он? Так значит, он утонул? Я так и подумал, когда сказали, что он исчез.

— Почему вы так подумали? — спросил Эдвард.

— Такая смерть в его духе, он именно так и хотел бы уйти. Пойду посмотрю на него. Вы сообщите в поместье?

Человек казался довольным и возбужденным.

— Это был несчастный случай, — сказал Эдвард.

Когда он подошел к парадным дверям Сигарда, небо заволокло тучами. Вокруг башни с криками носились стрижи. Эдвард открыл дверь и вошел в Атриум — огромный, темный и прохладный после жары под открытым небом. Он вспомнил, какие ощущения вызвал у него этот зал в первый здешний вечер, и на мгновение словно забыл то, что собирался сказать. «Господи, пусть все побыстрее закончится, — подумал он. — Лишь бы все закончилось, пусть будет то, что будет, только поскорее». Он выкрикнул что-то, не сразу осознав, что зовет:

— Илона!

Тишина. Он пошел по холодным плиткам, влажным и скользким, открыл дверь в Переход.

— Эй!

Никого. «Неужели все уехали?» — подумал Эдвард. Он вернулся к дверям Затрапезной. Комната была пуста. Огонь в камине не зажжен, подумал он, но тут же понял: а зачем его зажигать, ведь сейчас лето. Весть, которую он нес, грызла его изнутри, как лиса. Эдвард приблизился к двери в башню, ожидая, что она будет заперта. Но дверь

открылась, и он вошел в большую «выставочную комнату» первого этажа, где царила прозрачная полутьма. Там стояла напряженная тишина. Он собрался снова крикнуть, но тут увидел в дальнем конце две фигуры. Они смотрели на него — Беттина и матушка Мэй. Полотна были переставлены, некоторые прислонены к стене.

— Привет, Эдвард! — сказала матушка Мэй. — Мы проверяем наш каталог картин. Ты как раз вовремя, поможешь нам. С тобой все в порядке? Мы рады тебя видеть. Правда, Беттина? А мы-то все думали, когда же ты вернешься.

Чем ближе подходил к ним Эдвард, тем сильнее перехватывало у него горло, словно в кошмарном сне, когда хочешь крикнуть, но не можешь. Он сел на стул неподалеку от них.

— Что случилось, Эдвард? — воскликнула Беттина.

Повторение его имени звучало угрожающе. Женщины стояли, с любопытством глядя на него.

Эдвард автоматически расстегнул пуговицы рубашки и провел рукой по горлу и груди. Большую часть пути от реки он проделал бегом, вспотел и задыхался, ему не хватало воздуха. Он глубоко вздохнул несколько раз, сотрясаемый эмоциями.

— Эдвард, что случилось? — спросила матушка Мэй, но в голосе ее слышалось скорее любопытство, чем тревога.

— Джесс, — ответил Эдвард.

— Что?

— Он мертв. Утонул.

— Что ты имеешь в виду? — проговорила Беттина.

«Неужели они знают? — подумал Эдвард. — Неужели они знали все это время?»

— Я нашел его тело в устье реки в тростнике. Он мертв.

Матушка Мэй и Беттина обменялись взглядами.

— Давайте-ка выйдем отсюда, — сказала Беттина.

Это звучало, как приглашение на чашку кофе.

Женщины направились к двери. Эдвард, хватая ртом воздух и с идиотским видом таща за собой стул, последовал за ними. Стул он оставил у дверей. Беттина отошла в сторону, пропуская его в Затрапезную, после чего тихо закрыла дверь и заперла ее, а ключ положила на прежнее место на каминной полке. Эдвард плюхнулся в кресло, потом снова вскочил; обе женщины сели, а он встал у камина.

— Ну, так что это все значит? — строго спросила матушка Мэй. — Успокойся.

Сегодня они с Беттиной причесались на один манер, даже шпильки закололи одинаково: длинные тяжелые волосы собраны в пышный пучок на затылке, открывая шею. На них были дневные платья и длинные синие фартуки. На Эдварда смотрели одинаково молодые лица.

— Он мертв, — сказал Эдвард. — Я видел его тело в устье реки. Если вы пойдете со мной, я вам покажу. На сей раз это не сон.

«Конечно, и в прошлый раз это был не сон, — подумал он. — Или все же сон? Ну, пусть они уже поверят мне!»

— Ты, кажется, не в себе, Эдвард, — произнесла матушка Мэй. — Пожалуйста, говори потише. Ты сегодня ел? Ты завтракал? Беттина даст тебе что-нибудь.

Но Беттина не шелохнулась.

«На кой черт я сказал лесовику? — думал Эдвард. — Если Джесса там не окажется, я сойду с ума. Вдруг лесовик не хочет, чтобы Джесса нашли? Может быть, он опасается, как бы его не обвинили».

— Если вы пойдете со мной, я покажу, — повторил Эдвард. — Но лучше, наверное, позвонить в

полицию, вызвать «скорую»… Хотя отсюда позвонить невозможно.

«Боже мой, какой прок от «скорой»? — подумал он. — Разве можно сомневаться, что он мертв? Или это было в прошлый раз?»

И сказал:

— Это точно, это точно, он мертв! Зачем мучить меня притворством?

— Мы не притворяемся, — ответила Беттина.

— Где Илона? Она мне поверит.

— Не спеши, Эдвард, — сказала матушка Мэй. — Ничего не понять, что ты говоришь.

— Где же он, по-вашему, если он не мертв, если не в реке?

— Какой странный вопрос. Мы не знаем, где он, и ты, думаю, тоже этого не знаешь…

— Я видел его только что собственными глазами. Я дотронулся до него, смотрите, смотрите!

Эдвард вытянул левую руку с рубиновым перстнем.

Женщины поднялись и подошли к нему, не сводя глаз с перстня.

— Это перстень Джесса? — спросила Беттина у матушки Мэй.

Матушка Мэй отвернулась.

— Может быть, это не твоя вина, — сказала

она, — но ты принес смерть в наш дом. Ты убил своего друга, ты приехал сюда с окровавленными руками, ты принес с собой смерть. Джесс видел ее, она сидела рядом с тобой за столом.

— А-а-а!..

Эдвард со стоном выбежал из комнаты.

Он пересек Атриум, его каблуки застучали по плиткам пола. Скользнул к двери, ударился об нее, распахнул и выскочил на открытый воздух. В аллее было темно, но солнце освещало желтые поля за падубами. Эдвард промчался в аллею. Он хотел найти кого-нибудь, чтобы сообщить обо всем. Кого угодно, кто наделен властью и поверит ему. Любого человека, способного хоть что-то сделать. Потом Эдвард решил, что сначала должен проверить, не исчезло ли тело. Он повернулся и побежал туда, откуда только что пришел, но теперь все вокруг выглядело иначе, и он не был уверен, в какую сторону бежать. Слезы потекли из его глаз, и он в голос завыл: «Джесс, Джесс, Джесс!» Может быть, нужно просто подняться в башню и проверить — вдруг отец, как обычно, сидит на кровати и улыбается? Может быть, именно поэтому женщины не поверили ему?

Потом Эдвард увидел, как со стороны речного устья по траве приближается чья-то фигура, а

за ней целая группа людей. Они что-то несли. Они несли — он увидел это, когда они приблизились, — тело на носилках. Лицо мертвеца было прикрыто пиджаком Эдварда. На пороге Атриума показались матушка Мэй с Беттиной и тоже увидели похоронную процессию. Лесовики несли Джесса домой. Когда они подошли ближе, матушка Мэй принялась выть. Эдвард видел, как она боролась с Беттиной, которая пыталась увести ее назад в дом.

— От тебя одни неприятности, болячки и раздоры. Вот к чему привели твои добрые намерения. Зачем ты вернулся?

— Извини, па, — сказал Стюарт. — Ты, наверное, видел вечерние газеты?

— Ты имеешь в виду смерть Джесса Бэлтрама? Ну и что?

— Я волнуюсь за Эда. Его здесь нет?

— Я не знаю, где он. Что ты сделал с Мидж? Ты что, вызвал ее, чтобы предъявить обвинения?

— Я ее не вызывал. Она сама пришла.

— Я тебе не верю. Ты ее околдовал. И обвинил.

— Я говорил что-то о лжи… Не помню, что я говорил.

— Ты не помнишь, что говорил! Ты походя уничтожаешь чужие жизни и не помнишь как!

Своим сентиментальным вмешательством ты нанес непоправимый вред Мередиту.

— Это кто говорит?

— Мидж. Он целыми днями плачет. Ребенок в его возрасте не оправится от такого.

— Никакого вреда я ему не причинил. Может, его расстраивают другие вещи.

— А теперь его сумасшедший мстительный папочка отправил его в интернат, чтобы он плакал в другом месте. Тебе доставляет удовольствие знать, что дети плачут по твоей милости?

— Не сердись на меня, па. Что собирается делать Мидж?

— Так вот ты зачем пришел, хочешь все выяснить? Ты на нее глаз положил.

— Да нет, что ты. Я не собираюсь с ней встречаться…

— Твои происки сделали ее абсолютно несчастной, а теперь ты заявляешь, что не собираешься с ней встречаться! Ты к ней вожделеешь.

— Нет…

— Ты пришел сюда говорить о ней…

— Нет… это ты ее вспомнил…

— Ничего подобного, ты меня спросил, что она собирается делать. Я тебе скажу. Она собирается стать затворницей. Будет жить одна в одноком-

натной квартире, оставит секс и начнет служить людям.

— У нее не получится, — сказал Стюарт.

— Она хочет попытаться. Будет ждать твоего прихода. Ты ее изменил, ты заставил ее отказаться от нормальной жизни, и она превратилась в дурацкий автомат.

— Это глупости, — ответил Стюарт. — У нее шок, но только оттого, что Томас обо всем узнал. Дело не во мне, а в том, что ваша ложь открылась. Ничего, она придет в себя.

— Ты считаешь, что все придут в себя, но ты ошибаешься. Ты с ней встречаешься?

— Нет, я же сказал. Разве она не говорила?

— Нет. Значит, ты не ее ищешь? Она в доме Томаса. А Томас за городом.

— Когда она придет в себя после шока, она, наверное, уйдет от Томаса и переедет к тебе.

— Ты попытаешься ее остановить?

— Нет.

— Зачем же ты тогда сел в мою машину, если не хотел вбить клин между нами? Ты немало сделал для разрушения наших отношений. Ты показал свое неодобрение!

— Я не одобряю обман, а помимо этого, ни слова не сказал…

— Нет, сказал. Ты думаешь, будто имеешь влияние на Мидж, и теперь никогда не оставишь ее в покое. Ты ревнуешь. Ты всегда ревновал, потому что она любила Эдварда, а не тебя. Ты ревновал, потому что я любил Эдварда, а не тебя. Признай это.

Стюарт задумался.

— Да, немного…

— Ну вот видишь…

— Но это было давно, в детстве, и я никогда не считал, что ты не любишь меня, ведь ты меня любил. И теперь любишь.

— Это мольба?

— Нет.

— Тебе бы нужно поучиться психологии. Свойство человеческой природы таково, что есть вещи незабываемые. Религия — это ложь, потому что она дает ложную надежду, будто можно начать сначала. Поэтому христианство стало таким популярным…

— Я об этом не знаю, — сказал Стюарт. — Я думаю, что религия имеет дело с добром и злом, с тем, что отделяет одно от другого.

— Эти крайности — вымысел, — заявил Гарри. — Ложные противоположности, порождающие друг друга. Порядочные люди не знают ни

об одном ни о другом. Твои добро и зло — злые собаки, которых лучше не трогать. Зло имеет право существовать себе потихоньку, оно не принесет особого вреда, если его не трогать. Куда бы ты ни пошел, ты всюду будешь чужим. Ты сеешь неприятности, ты опасен.

— Пожалуйста, прекрати.

— В конечном счете ты пожалеешь, и чем раньше это случится, тем лучше. Эти судьбоносные поступки Мидж должны произвести на тебя впечатление. Она полагает, что достойна помогать тебе в твоей работе, и тогда в один прекрасный день ты получишь ее…

— Па, ну пожалуйста, хватит. Зачем ты все время пытаешься вызвать меня на спор?

— Я не пытаюсь вызвать тебя на спор! У нас у всех есть грязные мысли, и у тебя есть мерзкие фантазии, только не отрицай. Ты — скрытый…

— Это нелепое слово, которое я категорически отвергаю.

— Ты злишься.

— Ты стараешься меня разозлить, но тебе это не удастся. Послушай…

— Мидж, конечно, придет в себя, сбросит эту ерунду и вернется ко мне, она моя. Но я просто возмущен твоим вмешательством.

— Послушай, я пришел узнать об Эдварде…

— А что хорошего ты сделал Эдварду? Ты никогда не пытался сблизиться с ним, ты о нем ничего не знаешь. Ты слишком занят собой, ты самоуверен, ты становишься таким неловким, когда пытаешься общаться с кем-нибудь.

— Но я хотел говорить о другом.

— О чем, Христа ради, ты хотел сказать?

— Я хочу вернуться сюда, в твой дом… Можно?

Они встретились в гостиной дома в Блумсбери. Вечернее солнце заглядывало в окна, освещая выцветшие зеленые панели. Стюарт стоял, так и не сняв плаща, — днем шел дождь, а он долго гулял по улице, набираясь решимости перед визитом к отцу. Гарри сидел за своим столом, где писал письмо Мидж при поддержке бутылки виски. Он развернулся к сыну, понимая, что в глазах Стюарта, холодно смотревших на него, выглядит всклокоченным и пьяным. Он был готов расплакаться от бешенства и не находил сил, чтобы заговорить. Наконец он произнес:

— Ведь ты не случайно так мне напакостил…

— Что?

— Нет. Черт тебя возьми, ты не можешь сюда вернуться! Я тебя видеть не могу, вот и весь сказ. Держись от меня подальше! Ад здесь, где-то ря-

дом, а ты — дьявол.

Гарри встал, сделал шаг вперед и, чтобы не потерять равновесия, потащил за собой стул, держась за спинку. Стюарт не шелохнулся.

— Отойди, не стой так близко ко мне…

— Па… пожалуйста, прости меня… я не хотел ничего плохого… позволь попросить у тебя…

— Господи милостивый, ты что, ничего не понял? Ты не знаешь, что причиняешь боль людям? Ты причинил мне такую боль, ты испортил мне жизнь, ты испортил все. Уходи, убирайся!

Гарри метнулся вперед, выставив перед собой руки. Ростом он почти не уступал Стюарту. Одна его ладонь ударила по мокрому плащу Стюарта и соскользнула с него, другая попала по лицу сына. Гарри пошатнулся и чуть не упал, а Стюарт отступил назад.

— Извини. Я ухожу.

Стюарт быстро направился к двери и на секунду остановился; Гарри подавил в себе порыв окликнуть его. Стюарт вышел и закрыл за собой дверь. Гарри схватил стеклянное пресс-папье и швырнул его в дверь. Одна из деревянных панелей треснула. Он сел, чуть не промахнувшись мимо стула, схватил письмо и скомкал его. На некоторое время он утратил способность писать и не

знал, как ему обращаться к Мидж. Ее непонятный уход в сочетании с прежней потребностью в нем, ее приятие его присутствия, ее безумные восклицания о своем душевном состоянии рождали в душе Гарри жуткую невыразимую злость. Его мучили гнев, желание, надежда; он грезил о неожиданном возвращении Мидж, видел, как открывается дверь, как к нему тянутся ее руки, смотрел в ее любящее лицо. Гарри соскользнул со стула, упал на колени, а потом вытянулся на полу лицом вниз. Он громко проговорил в ковер:

— Она должна вернуться ко мне, и она вернется ко мне. Ей больше некуда пойти.

Спускаясь по лестнице, Стюарт услышал, как пресс-папье ударилось об дверь, и истолковал этот звук. Он напомнил ему кое-что. О да, Эдвард швырнул ему вслед Библию. Похоже, он у всех вызывает такие эмоции. Выйдя за дверь, Стюарт приложил платок к лицу — из носа шла кровь. Он зашел в туалет около прихожей, намочил платок холодной водой и протер лицо. Нос болел и, возможно, был сломан, подумал он. Как узнать, сломан ли у тебя нос? Стюарт осторожно потрогал его. Кровь капала в раковину. Он прополоскал платок и вышел на улицу. Он шел, время от времени утирая платком нос. Дошел до Тот-

тенхэм-Корт-роуд, свернул на Оксфорд-стрит. Нос перестал кровоточить и теперь болел меньше. Стюарт выжал влажный красноватый платок над краем тротуара, протер кожу вокруг носа и рта, а потом сунул платок в карман.

Он неловко обходил людей, которые смотрели ему вслед. Непосредственной его целью была одна церковь к северу от Оксфорд-стрит — ему она нравилась, к тому же там можно было спокойно посидеть в тишине. Стюарт вошел в высокий темный храм, где стоял плесневелый и пряный мистический запах, сел, а потом встал на колени. В церкви никого не было. Стюарт стал дышать медленнее, глубже, отвлекаясь от шума машин на улице и позволяя напряженной тишине проникнуть в себя. Сердце его, колотившееся после огорчительной сцены с отцом, успокоилось. Тучи сильных эмоций рассеялись, оставив после себя спокойную печаль. Потом печаль утонула в другом, более горестном чувстве. *Там* не было никого. Стюарт, конечно, никогда и не воображал, что там кто-то есть, никогда ни на мгновение не верил в существование Бога и не считал, что это имеет значение. Нет, в небесах не было никого, с кем ты мог бы поговорить, кто в последнюю минуту протянет тебе бескорыстную руку помощи,

одарит беззаветной любовью. Стюарт особенно не рассчитывал на любовь людей, не полагался на нее. Он любил отца, хотя и знал, что отец больше любит Эдварда. Он не возражал против этого, как думали Гарри, Томас и, наверное, сам Эдвард. Возможно, эта отстраненность, это решительное безразличие объяснялись отсутствием матери как самой первой истины в его жизни. В итоге он получил недостаток бескорыстной любви вместе с навязчивой идеей об этой любви — не реальной, а некоего абстрактного представления, невидимого солнца, дающего свет, но не тепло. Мысль объяснить себя, даже понять себя была чужда Стюарту, и он никогда не формулировал теорий того типа, что был так естествен для Томаса. Напротив, он категорически возражал против такого теоретизирования. Он редко думал о своей матери и старался без раздражения, со скорбной твердостью стереть ее образ.

Но теперь, когда этот образ явился к нему в пустой церкви, он соединил его (осознав, что уже делал это прежде) с представлением о себе самом как о некоем религиозном человеке с особым предназначением: или так, или никак; или это, или разрушение. Значит, именно так, именно это.

Стюарт нахмурился. Ему не очень нравились подобные соединения совершенно разных идей. Что с ним такое, неужели он слабеет? Он решил поразмыслить над тем, имеет ли значение то, что Бога нет. Ему всегда представлялось важным, чтобы Бога не было. Он никогда не искал некоего «Его» или «Тебя», не пытался придать старому божеству какой-то квазиперсональный дух. «Бог» был собственным именем сверхъестественной персоны, в которую Стюарт не верил. Тихая церковь, куда он часто заходил и где после ссоры с отцом надеялся что-то получить, теперь казалась выхолощенной, неправильной. Не то место.

«Может быть, я отступаю и в конечном счете это поражение? Может быть, меня глубоко уязвили и устрашили слова о том, что я не приношу ничего, кроме вреда? Раньше это место успокаивало и воодушевляло меня, потому что оно придавало чистый и невинный вид всему, что мне было нужно. Оно гарантировало существование святости, или доброты, или чего-то в этом роде. Оно связывало меня с ними. Но мне не нужна такая связь. Это разделение, а не связь, это мое романтическое представление о себе самом, словно я представляю себя в белых одеждах. Нет, я вовсе не думал, что я вездесущ или всеведущ,

что люди должны замечать меня. Тем не менее я полагал, будто каким-то образом защищен от совершения зла. Я долго жил со своим собственным представлением обо всем — дольше, чем я кому-нибудь говорил или сам осознавал. Это мое представление не может испортиться, я уверен, не может измениться или замараться. Возможно, я только теперь начал понимать, что если делать хоть что-то, то можно сделать и зло. Если я не умею общаться с людьми, это не просто невинная неловкость — это недостаток, который я должен искоренить, но искоренить по-своему. Я еще не знаю как. Господи, если бы мне только увидеть какой-нибудь знак! Я знаю, ничего такого не будет, но продолжаю приходить сюда и становиться на колени, словно жду чего-то. Может быть, я жду ка-кой-то радости. — Он поднялся с колен и сел на скамью. — Я должен обходиться без этого. Вот что я чувствую, вот моя неразрешенная проблема. Люди считают, что я бессмысленно откладываю ее разрешение. Возможно, так и есть. Сейчас переходный период, когда я могу думать — в некоем идеальном тайном смысле, — что достиг всего, хотя на самом деле не достиг ничего. Я до сих пор гоню от себя мысль, что должен действовать в одиночку. Я один и всегда буду один, но не в

романтическом, а в другом смысле. Возможно, это для меня не подходит, но пока я ничего не знаю. Если так, подвижничество мне по силам. Может быть, я обречен на это и никогда не смогу помогать людям. Я должен научиться пробовать, но, похоже, и это ошибка. Делай все, что можешь, воздерживайся от глупости и драматичности, не будь слабым и тихим, будь ничем, и пусть действия происходят сами по себе. Нет, это бессмысленно… Каким несчастным я вдруг стал, никогда таким не был».

Напуганный своими мыслями, Стюарт вскочил и, не оглядываясь, стремительно покинул церковь. Он услышал за спиной чьи-то шаги: возможно, священник вышел из ризницы. Стюарт поспешил на Оксфорд-стрит в направлении Оксфорд-серкус. Он шел, возвышаясь над толпой прохожих, лавировал и увертывался, чтобы никого не коснуться, смотрел поверх голов, как герой кинофильма. Он вдруг понял это, и представившийся образ ужаснул его: кинозвезда, что вышагивает в одиночестве по многолюдным нью-йоркским (непременно нью-йоркским) улицам, исполненная волшебной значимости своей роли; символ силы и успеха, окруженный другими актерами, по контрасту лишенными сущности; и

все это фальшь. Дойдя до Оксфорд-серкус, Стюарт спустился в метро. Он хотел вернуться в свое новое жилище и закрыть за собой дверь. «Может быть, я болен? — спрашивал он себя. — Может, у меня грипп? Неужели я серьезно болен, неужели я умру молодым, неужели это и есть выход? Что за идиотские мысли! Наверное, я просто проголодался».

Он снова начал восстанавливать в памяти (как делал теперь часто, слишком часто) безумные последние часы в Сигарде. У отца был такой бледный и несчастный вид, он отводил глаза и притворялся спокойным, назвал Стюарта «сынок»; потом появился Джесс с его большой косматой головой и сверкающими глазами, словно шаман в маске; и он закричал: «Этот человек мертв, уберите его!» Стюарт все это время молча сидел за столом, наблюдая за происходящим; нет, он поднялся навстречу Джессу. Он был пассивный, презираемый свидетель, труп, повсюду чужой, как сказал отец. Работа для такого состояния была целебным средством, но сможет ли он на самом деле когда-нибудь начать работать? «Я сидел молча за столом, — думал Стюарт, — и молча сидел на заднем сиденье машины. Чувствовал себя ужасно, казался себе маленьким, как зловредная

бацилла. Нет, тогда я чувствовал не это — я был просто парализован. Я очень испугался Джесса и в машине больше думал о нем, чем о них, словно он и в самом деле был силен и опасен. А теперь он мертв. Бедный Эдвард!»

Стоя на платформе в ожидании поезда, Стюарт ощутил новое и ужасное чувство стыда. Постыдное одиночество, печаль и скорбь, словно он не только изгнан из рода человеческого, но и навечно обречен быть бесполезным и вызывающим отвращение свидетелем людских страданий. Именно это он чувствовал и предвидел, когда нашел ту церковь, заброшенную и пустую. Стюарт подумал об этом и мысленно вернулся к сцене с Гарри, который отверг его, к отчаянию и ненависти Гарри, ударившего его по лицу, чего он теперь никогда не забудет.

Он стоял на платформе, думал об этом и чувствовал легкое, словно от голода, головокружение. Он смотрел вниз на черное пространство, на пустоту над рельсами. Стюарт иногда представлял себе, как кто-то падает вниз, а он прыгает следом и вытаскивает упавшего из-под колес грохочущего поезда. Теперь же он забыл об этом и просто смотрел на черный бетонный низ железнодорожных путей. И вдруг он увидел, что там, внизу, движет-

ся что-то живое. Он наморщил лоб и всмотрелся внимательнее, напрягая глаза. Это была мышь, живая мышь. Она пробежала немного вдоль стены шахты, остановилась и села. Она что-то ела. Потом зигзагами побежала назад. Мышь никуда не спешила, она не была в ловушке. Она жила там.

Откровение вдруг озарило Стюарта. Оно вошло в него, как пуля, взорвалось внутри его. Он почувствовал, что сейчас упадет, и отступил подальше от края платформы. Нашел скамейку, сел, прислонил голову к облицованной плитками стене. Что произошло — неужели с ним случился какой-то припадок? Стюарт хватал ртом воздух и чувствовал, как меняется его тело. Огромная тихая радость пронзила его с головы до ног, все вены и артерии вплоть до тончайших сосудов на кончиках пальцев охватило блаженное ощущение теплоты и ритмичное биение крови. Перед глазами вспыхнул мягкий свет, похожий не на ослепительную молнию, а на солнце в покрывале облаков, разогревшее его тело до такой степени, что оно тоже стало излучать сияние. Стюарт помотал головой, прикрыв глаза и вздыхая от счастья.

— Ты здоров, сынок?

Над ним склонилась дюжая фигура в комбинезоне.

— Да-да, — ответил он.

— У тебя кровь на лице. Упал или что?

— Нет-нет. Спасибо, я в порядке. Правда, я в порядке.

Эдвард вернулся в Лондон. Он дождался, когда тело Джесса вместе с носильщиками и плакальщицами окажется в доме. Рыдающие матушка Мэй и Беттина вошли последними. И тогда он побежал прочь — сначала к выходу из поместья, потом по проселку до самого шоссе. Только добравшись до шоссе, он перешел на шаг и понял, что его пиджак остался в Сигарде. Но теперь женщины, воющие над телом, уже подняли пиджак и открыли лицо Джесса. К счастью, ключи и деньги Эдварда лежали в кармане брюк. Ему стало холодно. Вдали прогремел гром, стал накрапывать дождь. Он двинулся в сторону станции, но не прошел и мили, как его подобрал автобус. Эдвард на мгновение засомневался, не нужно ли позвонить в полицию, но тут же решил, что нет, не надо. Ближайший поезд отменили, и ему пришлось долго сидеть в унылом зале ожидания. Его одежда промокла, а тело ломило от горького отчаяния. Он мучительно долго добирался до Лондона, до

своей комнаты; точнее, до комнаты Марка, как он теперь называл ее. Эдвард хотел вернуться в Блумсбери, но боялся пропустить письмо от Брауни. Но нет, вестей не было. Наступил вечер. Он так ничего и не ел целый день.

Может быть, следовало остаться в Сигарде, говорил он себе. Желание убежать оттуда немедленно было непреодолимым, и позднее Эдвард не мог понять, что его гнало — неужели простой страх? Ему не хотелось снова видеть тело, которое принесли в дом. Он ощущал первобытный страх перед мертвецами, перед жуткой неестественной смертью, перед гниющими трупами, источающими ядовитые миазмы, перед завистливыми покойниками, которые тащат с собой живых и душат их. Эдвард помнил, какой ужас пронзил его, когда он прикоснулся к разбухшему сгорбившемуся телу. Но не только страх заставил его убежать, а еще и странное, мучительное чувство приличия. Он не должен был стоять и смотреть на плачущих женщин. Он был чужим в этой сцене. Он гость в Сигарде, а не часть его. Его утешало лишь то, что он смог сказать последнее «прости» Джессу на реке у ивовых деревьев. Другого прощания не будет. Эдвард выполнил свою миссию, свою последнюю обязанность

перед женщинами Сигарда. Он провел этот ритуал, долг всякого сына перед отцом, он нашел Джесса в его тайном укрытии и сошел бы с ума от горя, если бы остался в Сигарде и увидел, как лесовики и женщины приводят в порядок тело, рассылают уведомления, устраивают похороны, возможно, готовят стол. К тому же он не хотел видеть горе Илоны или того хуже — сообщать ей о случившемся. Но его огорчало то, что они не встретились. Только об этом он и жалел.

Вечером по возвращении Эдвард отправился в паб, съел сэндвичи и выпил много виски, хотя собственный голод казался ему кощунственным. Потом вернулся в комнату, где пахло пустотой и одиночеством, рано лег и провалился в сон. Он проснулся на следующее утро и почувствовал, что погрузился в новую страшную бездну отчаяния. Отец, которого он искал, обрел, потерял и снова искал, был мертв. Теперь Эдвард понял, что во время безумных лондонских поисков он надеялся и верил, что отец жив. Но Джесс умер, и делать было нечего, эта история закончилась. Сначала умер Марк, а теперь и Джесс. Они заключили союз против Эдварда. Он почти с облегчением ощутил старую боль, связанную со смертью Марка, и она отвлекла его от кошмарной новой боли,

связанной с Джессом. «Неужели я привыкаю к тому, что Марк мертв?» — недоумевал он. Потом оглядел комнату, кровать, стул, окно, и прежний ужас вернулся к нему. «Я должен найти Брауни», — подумал Эдвард. Он уехал из Лондона на следующий день после их несостоявшегося свидания. Брауни наверняка напишет или придет, она должна понять, что только какое-то ужасное происшествие могло помешать ему прийти к ней. Он решил весь день ждать ее здесь, но мучительное ожидание было невыносимо. Он вышел на улицу, оставив записку на двери и письмо у домохозяйки.

Эдвард брел по Лондону и невольно снова вглядывался в лица прохожих — не окажется ли среди них Джесса. Он зашел в паб, где должен был встретить Брауни, и оставался там до закрытия, потихоньку напиваясь. Потом направился к дому миссис Уилсден — адрес он запомнил по конвертам ее многочисленных писем. Конечно, он не осмелился позвонить, а ходил вокруг, поглядывая на дверь. Сел в кафе за столик так, чтобы видеть улицу, и смотрел в окно до боли в глазах. Да, Брауни говорила, что остановилась у Сары, но ведь она вполне могла вернуться к матери. Эдвард подумал, не пойти ли ему к дому Сары, но никак

не мог решиться — ему было слишком неловко. Он вернулся в свою комнату, потом сходил в соседний паб, а после лег спать. Хозяйка передала ему записку от Стюарта, который сообщал свой новый адрес. Точно так же прошел следующий день, за ним — еще один. Потом он подумал о миссис Куэйд. Она нашла Джесса. Может быть, она найдет и Брауни?

На этот раз Эдвард отыскал ее дом без труда. Вовсю светило солнце, и день обещал быть теплым — лондонский летний день, светлый и пыльный, с зеленой дымкой деревьев, с городским шумом и буйством красок. В зависимости от настроения он мог показаться веселым и праздничным или же удушающим и гнетущим, полным жуткой ностальгии. Эдвард видел, что деревья уже утратили свежесть, устали, их листья обвисли и закоптились, а улицы полны печальных отголосков. Приближаясь к дому миссис Куэйд, он испытал знакомое ощущение опасности и чего-то подозрительного, неприятного, даже дурного. Парадная дверь была не заперта, он толкнул ее и бесшумно поднялся по лестнице. Дверь в квартиру миссис Куэйд оказалась закрыта, и Эдвард замер перед ней с чувством неожиданного отвращения, не решаясь постучать. Наконец он

все же постучал — тихо, нерешительно. Ответом была долгая тишина. Никто не отозвался. Глядя на потертый пыльный ковер, грязные перила, густое облако пылинок, повисших в воздухе и высвеченных солнцем из окна на площадке, Эдвард ослабел от бессмысленности и одиночества, за которыми терялось его «я». Он испытал страх небытия и осознал зыбкую природу этого «я» — такое иногда случается со здоровыми людьми, ведущими обычную жизнь, когда перед ними вдруг возникает видение безумия и смерти. И поскольку любое его действие не имело значения, он дернул за ручку дверь квартиры миссис Куэйд, обнаружил, что замок не заперт, и переступил порог.

Во внутреннем коридоре было темно, все двери, выходящие в него, закрыты. Свет пробивался только с лестничной площадки, и Эдвард провел рукой по стене, нашаривая выключатель. В это время в дальнем конце открылась дверь большой комнаты, и в проеме появилась нечеткая фигура женщины в шапочке, с ожерельем на шее.

— Миссис Куэйд… — обратился к ней Эдвард.

В тот же миг он понял, что это не может быть миссис Куэйд. Его рука нащупала выключатель. Женщина в дверях шагнула в его сторону и про-

изнесла:

— Эдвард.

Это была Илона.

— Боже мой! — воскликнул Эдвард.

Несколько мгновений ему и в самом деле казалось, что он сошел с ума, что его воображение превратило миссис Куэйд в образ Илоны. Он закрыл дверь и опустился на стул у стены.

— Эдвард, дорогой, как ты меня нашел?

— Нашел? — удивился он. — Я тебя не искал. Тебя здесь не должно быть, это невозможно. Это безумное место, наполненное призраками и галлюцинациями. Это не ты. Ты другая.

— Я подстригла волосы.

То, что Эдвард принял за шапочку, оказалось короткой стрижкой Илоны.

— Ах, Илона, я не могу этого вынести, не могу…

— Того, что я подстриглась? А по-моему, очень даже ничего.

— Нет, я говорю о безумии. Вокруг сплошное безумие.

— Эдвард, я так рада тебя видеть! Что ты сидишь там, как кот? Заходи, иди сюда.

Он встал и пошел за Илоной. Комната выглядела почти точно так, как в прошлый раз: стулья, поставленные друг на друга в углу, кресла у ка-

мина. Стол был передвинут в центр. Плотные ворсистые шторы были отдернуты, и комнату наполнял яркий свет; за окном Эдвард увидел вблизи освещенную солнцем стену, а за ней — дерево.

Илона и в самом деле изменилась. С короткой стрижкой она стала похожа на мальчишку, но выглядела более взрослой и искушенной. Зеленое платье изящно обтягивало ее фигуру, это впечатление усиливалось короткой юбкой. Она надела туфли на высоком каблуке. И только ожерелье, одно из старых ее украшений, казалось странно неуместным и напоминало прежнюю Илону.

— Слушай, давай-ка присядем. Ты можешь взять этот стул, а я — этот. Я не люблю кресла. Садись за стол. Я писала письма.

Илона придвинула стул для него. Они посмотрели друг на друга.

— Илона, ты ушла от них…

— Ты имеешь в виду, от *них,* из Сигарда? Да, ушла.

— Ты не смогла вынести… того, что случилось… Джесс…

— Нет, я ушла раньше. Вскоре после тебя, почти сразу же. Я уже давно в Лондоне.

— Илона! Но ты знаешь… о том, что Джесс

мертв?

— Конечно. Я читала об этом. Все газеты писали.

— Ты читала об этом в газетах?

— Да. Эдвард, пожалуйста, не надо так волноваться.

— Я не понимаю. И тебя не было дома? Я просто не могу поверить, что ты уехала из Сигарда. Мне кажется, ты все еще там, словно ты не можешь его покинуть…

— Ты ждал, что за стенами Сигарда я рассыплюсь на части? Как видишь, не рассыпалась.

— И ты все это время была в Лондоне и не сообщила мне, не связалась со мной?

— Я собиралась… я хотела сначала найти работу.

— И ты сама взяла и приехала в Лондон?

— Да. Я не такая дурочка, как ты думаешь.

— Но почему ты здесь, почему, черт возьми, ты здесь? Ты ждала меня?

— Нет. Уж если на то пошло, то почему ты здесь? Откуда ты узнал, что я здесь?

— Я ничего не узнавал. Здесь живет миссис Куэйд. Я пришел к ней.

— Так ты не знаешь… Она умерла.

— Ох, извини… Это ужасно…

На самом деле известие не показалось Эдварду таким уж ужасным, сверхъестественным или судьбоносным.

— Значит, она тоже умерла, — сказал он так, словно смерть — это инфекция и Джесс заразил миссис Куэйд. — Но этого не может быть. Я видел ее несколько дней назад.

— Она и умерла всего несколько дней назад. Вероятно, вскоре после того, как ты побывал у нее. Похороны состоялись вчера, но я не смогла пойти. У нее давно был рак. Так ты ее знал? Откуда?

— Я приходил сюда на сеанс, еще до моего приезда в Сигард. Я тебе никогда не говорил, потому что это было так странно и необычно, что мне не хотелось рассказывать. Я тогда услышал голос, который сказал: поезжай к отцу.

Илона, новая Илона с короткими волосами, внимательно смотрела на него.

— Ты хочешь сказать, что тебя призвали?

— Да. Похоже, что так. А потом пришло письмо матушки Мэй. Я не рассказал о сеансе, я не хотел ей говорить, что для приезда у меня были и другие причины, помимо ее письма. К тому же мои слова могли показаться безумными.

— Странно. Я не знала, что ты знал Дороти… миссис Куэйд.

— Я видел ее два раза. Во второй раз я… впрочем, бог с ним. Но ты не объяснила, как ты здесь оказалась, в этом доме? Ты тоже хотела получить совет у миссис Куэйд?

— Я здесь живу.

— Ты?

— Я приехала в Лондон и сразу пришла сюда, мне же нужно было где-то остановиться. Дороти Куэйд — старая подружка матушки Мэй, знала ее по художественной школе. Миссис Куэйд раньше преподавала там текстильный дизайн, а потом у нее открылся дар. Именно она продавала в Лондоне нашу бижутерию и все поделки.

— Ты хочешь сказать, она знает вас? Она знала вас всех, знала Джесса? Она бывала в Сигарде?

— Да. Я же сказала, она наш старый друг.

— Это все объясняет… или не объясняет. Мне нужно подумать. И ты все это время была здесь…

— А как ты узнал про Дороти?

— Совершенно случайно… если случайности бывают. Девушка по имени Сара Плоумейн дала мне карточку, она дочь Элспет Макран, которая когда-то знала твою мать. Ах, дорогая, дорогая Илона, я очень рад тебя видеть! Я так жалел, что не увидел тебя в Сигарде в тот день… Но ты, конечно, уехала оттуда раньше.

— В какой день? Ты был в Сигарде?

— Да. А ты не знала? Наверное, они тебе не пишут, а это случилось совсем недавно. Я нашел Джесса.

— Ты хочешь сказать, ты…

— Я нашел его тело. Разве в газетах об этом не сообщили? Я не читал газет, я был довольно…

— Нет, про тебя там не было ни слова.

— Наверное, они не хотели меня впутывать и не сказали. Я нашел его тело в реке. Я…

— Пожалуйста, не рассказывай мне об этом.

— Извини, я не хочу тебя расстраивать.

— Я не расстраиваюсь. То есть, конечно, я расстроена, но я знала, что он мертв. С самого дня его исчезновения я знала, что он мертв.

— Как ты узнала? — спросил Эдвард.

Он смотрел на ее новое, закрытое, повзрослевшее лицо.

— Это интуиция, почти полная уверенность.

— Я увидел его в реке. Что, по-твоему, произошло?

— Мы никогда не узнаем, — ответила Илона, — и лучше об этом не думать.

— Ты ведь не считаешь… Да, ты права. Лучше это оставить. Я чувствую такое ужасное горе и потрясение. Ведь я верил, что он еще жив.

— Я пережила это раньше. Все глаза выплакала. Теперь легче.

Не успела Илона сказать это, как ее глаза наполнились слезами, и она опустила голову, уткнувшись подбородком в свое ожерелье.

Эдвард встал и дотронулся до ее плеча, до мягкой прохладной ткани платья, потом коснулся коротких волос, которые сияли на ярком солнечном свете и были гладкими на ощупь; он ощутил тепло ее кожи и хотел нежно погладить ее по голове, но движение вышло неловким и незавершенным. Илона вздрогнула, потом тоже встала, подняла с пола сумочку, вытащила платок и высморкалась. Они снова сели.

— Что ты подумал о мемуарах моей матери? — спросила Илона.

— Вот как, — удивился Эдвард, — она их опубликовала? Я не видел…

— Отрывок напечатали в газете. Кто-нибудь тебе покажет.

— Меня в последнее время никто не мог найти. Так ты, наверное, скоро вернешься в Сигард?

— Нет. Но из Лондона я уезжаю.

— И куда?

— В Париж.

— В Париж?

— Да. Я там никогда не была.

— Но, Илона, ты не можешь ехать в Париж одна. Я поеду с тобой.

— Я еду не одна.

— Илона… Чем ты занималась после приезда в Лондон? Ты нашла работу?

— Да. Устроилась танцовщицей в Сохо.

— Ты хочешь сказать…

— Да, я стриптизерша.

— Как ты можешь?

— Очень легко. Ты должен прийти и посмотреть на меня. Не надо пугаться. Вот, возьми карточку. Это называется «Мезон карре». Это работа, мне же нужно как-то зарабатывать деньги, я не могла вернуться и сказать, что у меня ничего не получилось. А я только и умею, что танцевать и делать бижутерию.

— Да, танцевать… — Эдвард вспомнил то, что видел в священной роще. — Ты замечательно танцуешь.

— Откуда ты знаешь?

— Ты должна найти настоящую работу, на настоящей сцене, в балете или…

— Для балета уже поздно. Может, потом я найду другую работу. В Сохо много чего случается.

— Но ты специально поехала в Сохо?

— Я вообще-то ничего специально не делала. Я думала, Дороти поможет мне получить работу на каком-нибудь ювелирном производстве. Она всегда меня любила. Но когда я приехала, ей стало хуже. Это так печально… Мы, конечно, знали, что это должно случиться, но я не ожидала.

— Бедная Илона.

— Она была такая милая.

— Не плачь, мне так больно видеть, как ты плачешь.

— О, со мной столько всего случилось…

— Что еще?

— Эдвард, ты знаешь, что притягивает полтергейсты?

— Что? Да, знаю.

— Так вот, я больше не смогу их притягивать.

— Ах, моя дорогая, — сказал Эдвард.

Он все понял.

— Понимаешь… Я просила тебя присмотреть за мной, но ты не захотел… Теперь это сделает кто-то другой.

Из глаз Илоны потекли слезы. Губы ее были влажные, и она вытерла подбородок платком. Выглядела она беззащитным ребенком, как прежде.

Эдвард снова вскочил. К неудержимому желанию прижать ее к себе и защитить приме-

шивалось ужасное безнадежное раскаяние. Он застонал при мысли о том, какие страдания это принесет ему в будущем, и сказал вслух:

— Нет, это слишком, это слишком!

Он стоял рядом с Илоной ломая руки.

— Да не волнуйся, — проговорила Илона. Она уронила на пол мокрый платок и попыталась утереть слезы тыльной стороной ладони. — Я в порядке. На следующей неделе уезжаю в Париж с Рикардо, он тоже из нашего стриптиз-шоу.

— Но там, наверное, ужасные люди.

— Нет, Рикардо не такой, он нежный… Он, вообще-то, театральный человек…

— Видимо, итальянец.

— Нет, он из Манчестера. У него было ужасное детство.

— Илона, мне так горько.

— Не стоит. И там вовсе не ужасные люди. Там всякие люди. Все случилось так, как и должно было случиться, и я довольна тем, как все сложилось.

— А матушка Мэй и Беттина?

— Я им не нужна. Они сильные. Теперь я должна идти своим путем. Конечно, когда-нибудь я навещу их.

— Дорогая Илона, милая сестренка, я бы хотел,

чтобы ты позволила мне помочь тебе сейчас! Я так несчастен. Мне нужно кого-то любить, о ком-то заботиться. Не уезжай с Рикардо, останься со мной.

— Нет-нет, из этого ничего не выйдет. Слушай, мне скоро нужно уходить на репетицию. Я с тобой свяжусь, как только вернусь. Понятия не имею, когда это будет, и мне придется найти какое-то другое жилье, но я тебя найду.

Илона поднялась и двинулась к двери. Эдвард последовал за ней.

— Мне страшно жаль, что ты уезжаешь, — сказал он. — Уезжаешь теперь, когда я тебя нашел! Это невыносимо. Пожалуйста, останься. Я тебя люблю.

Эдвард смотрел на ее красиво подстриженные золотисто-рыжие волосы, напоминающие блестящий мех ухоженного животного; теперь он смог протянуть руку и прикоснуться к Илоне. Он погладил ее волосы, а когда коснулся пальцами затылка девушки, почувствовал, как напряжено все ее тело. Его рука скользнула на шею Илоны, а потом он отступил назад. Они посмотрели друг на друга.

— Я рада тебя видеть, Эдвард. Хочу сказать тебе кое-что. В этих мемуарах — из них опубликован

только небольшой отрывок… Я давно знала, что у матери есть что-то вроде дневника. Она его никогда нам не показывала, но говорила, что у нее были утешения…

— Утешения?

— Романы. У Джесса бывали романы. Она говорила, что и у нее тоже. Наверное, давным-давно.

Илона замолчала, словно это было все, что она собиралась сказать.

— Ну… и что дальше? — спросил Эдвард.

— Больше ничего.

— Не понимаю.

— Ну тогда и не надо, лучше пусть так и останется. Я должна идти. Мне еще нужно умыться и накраситься.

Эдвард смотрел на ее опрокинутое лицо, такое маленькое и худенькое без прежней копны длинных волос.

— О нет… — сказал он.

— Забудь об этом. Заодно с тем, другим.

— Ты хочешь сказать, что Джесс, может быть, тебе не отец?

— Может, и так. Но мы никогда не узнаем. Бесполезно думать об этом.

— Теперь, когда ты об этом сказала, как мы можем не…

— Беттина похожа на Джесса, а я нет, но это, конечно, ничего не доказывает.

— Можно сделать анализ крови… Но, Илона, мы не можем начать это расследование. Это немыслимо.

— Согласна.

— Как странно! Джесс однажды сказал мне, что я женюсь на тебе. Я напомнил ему, что ты моя сестра. Может быть, он считал, что это не так?

Илона покачала головой, но ничего не ответила.

— И у тебя есть предположения, кто мог быть твоим отцом?

Этот разговор был ужасным. «Мы должны прекратить», — подумал Эдвард.

— Нет. Был один человек… Теперь он мертв. По-моему, он был любовником Джесса, а потом матушка Мэй отбила его, но у меня нет никаких оснований считать… Просто я почему-то помню его. Он был художником, его звали Макс Пойнт.

Эдвард чуть не вскрикнул, услышав это имя, но сдержался и закрыл рот рукой. Он должен все обдумать.

— Я думаю… не сейчас, а позднее… мы могли бы спросить у твоей матери, — предложил он.

— Нет, не могли бы. Нет-нет. Она этого не выне-

сет. И что угодно может сказать.

— Ты думаешь, ей нельзя верить? Или она сама не уверена? Или…

— Для нее это невыносимо. Все только еще больше запутается.

— Да, я понимаю, что ты имеешь в виду. Мы ничего не проясним, лучше оставить это.

Они обменялись долгими печальными взглядами.

— К тому же, — добавил Эдвард, — я люблю другую девушку.

Фраза прозвучала странно, да и что значило это «к тому же»?

Илона вздохнула и отвела глаза.

— Я хотела рассказать тебе об этом. Теперь все сказано и ушло. — Она вернулась к столу и взяла свою сумочку. — Я должна идти, много дел. Нужно контактные линзы заказать, купить кое-что из одежды и идти в клуб. Знаешь, Джесс после появления этих мемуаров стал настоящим секс-символом… А ты — его точная копия. Стоит тебе захотеть — и все девушки Лондона твои.

— Илона, не говори так со мной! Мы увидимся до твоего отъезда в Париж?

— Лучше не надо. Я рада, что мы столкнулись здесь. Мы еще встретимся. Я буду лучше чув-

ствовать себя, пусть пройдет время. Ты можешь прийти посмотреть, как я танцую, только не пытайся…

— Нет, вряд ли я приду, — покачал головой Эдвард. — Не хочу видеть, как ты там танцуешь. Я лучше посмотрю, как ты будешь танцевать в «Ковент-Гардене».

— Я никогда не буду танцевать в «Ковент-Гардене». Прощай, дорогой Эдвард.

Они снова посмотрели друг на друга. Потом Эдвард подошел и обнял Илону за талию, словно они собирались танцевать здесь и сейчас. Он поцеловал ее в щеку, потом в губы.

— Ах, Илона, любимая, будь моей сестрой! Мне очень нужна сестра, чем дальше, тем больше.

Илона отстранилась от него и пошла к двери.

— Пойду собираться. Мне через минуту уходить.

— Я пройдусь с тобой…

— Нет, я спешу. Подожди здесь немного, а потом уходи. Дверь не стану запирать — захлопнешь, когда уйдешь.

— Куда тебе написать?

— Некуда. Я сама напишу. Я нашла адрес твоего отца, то есть отчима. Прощай.

— Прощай.

Илона ушла.

«Она боится, что Рикардо увидит нас вместе и не поверит, что я ее брат, — подумал Эдвард. — И наверное, будет прав! Ах, это тоже мучительно — зачем она сказала мне? Она мне очень нужна как сестра, а теперь…»

Он попытался вспомнить Макса Пойнта, но память сохранила лишь красное лицо и лысину. Может быть, снова сходить к нему? Нужно ли было сказать о нем Илоне? Нет, это дикие фантазии, у Илоны и без того хватает проблем.

Эдвард сел в кресло и начал думать о нежном Рикардо с его ужасным детством в Манчестере. Нужно было спросить, сколько лет этому Рикардо. Двадцать? Пятьдесят? И что хуже, двадцать или пятьдесят? Эдвард вдруг понял, что сидит лицом к телевизору, прямо перед его большим слепым гипнотизирующим глазом. Он вскочил. Увидел на столе оставленную Илоной карточку стриптиз-клуба, сунул ее в карман, потом постоял, прислушиваясь. На улице шумели машины, но доносился и какой-то другой звук. Квартира бормотала что-то сама по себе, издавала слабые шипящие звуки: чуть шелестели шторы, потрескивала мебель, падала пыль. Квартира была безлюдной, траурной, пустой. А может, не

пустой? Не исключено, что миссис Куэйд где-то здесь, рядом.

Эдвард вышел из комнаты, выключил свет в коридоре, закрыл за собой дверь квартиры, бегом спустился но лестнице и выскочил на улицу. Он пошел в наб, где было назначено его несостоявшееся свидание с Брауни. Просидел там до закрытия, но она, конечно, не появилась.

Он снова и снова снился ей — этот прекрасный жуткий бесполый взгляд. Она много думала о смерти и утешалась ощущением ее близости, ее вероятностью; смерть тихо, успокаивающе подталкивала ее под бок. Она пересчитала свои таблетки от бессонницы, высыпала их в ладонь. Таблетки дал ей Томас. Может быть, пришло ей в голову, он дал их именно потому, что они абсолютно безопасны? Томас вряд ли опасался, что она покончит с собой, но наверняка прописал ей те же лекарства, что и своим пациентам. Значит, эти таблетки не могут ее убить. Она убрала таблетки. Она все равно не собиралась их принимать.

После того как она сходила к Стюарту и обнаружила, что он переехал, Мидж отказалась от его поисков. Вернее, она пока не придумала способа найти его. Но она почему-то не сомневалась, что

скоро увидит его, она его ждала. Мидж очень хотела быть с ним, чтобы он смотрел на нее и говорил с ней, чтобы она сама говорила с ним о своей новой «лучшей жизни», объяснила ему, какой будет эта жизнь. Она хотела услышать от него хоть какие-то слова, одобряющие ее намерение, укрепляющие его силой реальности. От других она не ждала ничего, кроме презрения, но Стюарт сумеет разглядеть зерно истины в ее запутавшемся и помраченном новом существе. После разрушения ее двойной жизни — такой привычной, так хорошо налаженной, что она казалась реальной и даже исполненной чувства долга, — Мидж переметнулась к новому видению как к единственному выходу. Этот выход открылся на руинах ее мира, уничтоженного Стюартом, самим его существованием и знанием. Она хотела поговорить о том, каким должно быть ее счастливое простое будущее. Все зависело от Стюарта, и, когда он поймет это, он уже не сможет обмануть ее надежды.

Утешая себя болью, Мидж снова и снова перебирала в памяти подробности катастрофы, убеждала себя, что случившееся непоправимо и ужасно, что она виновата и с этой виной ничего не поделать, кроме как оставить ее в прошлом. Ей

представлялось, что в ее прежней жизни до сего дня не было ничего, на что можно опереться, от чего можно оттолкнуться. Вина, предательство, обман, боль и обиды, причиненные другим, — все это было реальностью. Мидж не находила в ней никакой опоры, никакой возможности восстановления, обновления, объяснения, исцеления. Она чувствовала, что произошедший катаклизм не допускал этого, поскольку был окончательным. От возвращения назад, в прежний кошмар, не будет толку, там можно лишь еще сильнее запачкаться, несмотря на все благие намерения. Лучше и проще оставить все позади, как рухнувший дом, уничтоженный пожаром или разрушенный бомбой. А это означало, что сейчас ей нет нужды воображать жуткие подробности будущего. Томас ни по закону, ни по справедливости не мог забрать у нее сына, так что в будущем с нею останется и Мередит. Его сейчас при ней не было, он уехал в новую школу. Мальчик с удивительным, обескураживающим спокойствием организовал собственный отъезд, подчиняясь письменным распоряжениям Томаса. Он оставил список книг и одежды, которые попросил отправить следом за ним, но Мидж до сих пор не набралась духу заглянуть в него. Она

не заводила разговор с Мередитом, а он без слов дал понять, что не хочет никаких разговоров. Долгого прощания не было. После отъезда сына Мидж много плакала, но испытывала облегчение оттого, что его нет дома.

Еще больнее была мысль (она мешала Мидж провести ревизию грехов и заставила вытряхнуть на ладонь таблетки от бессонницы), даже знание, что стоит только написать словечко или подать малейший знак Гарри, как все великолепие их любви восстановится в новой ситуации свободы. Разве не этого, как не раз говорил Гарри, они так хотели, разве не получили они теперь тот шанс, который раньше казался (по крайней мере, ей) невероятным? Томас понимал это и уехал со словами о том, что Мидж «свободна принимать любые решения». Может быть, он и в самом деле, как предполагал Гарри, не возражает против такого оборота событий? Все препятствия внезапно исчезли. Ничто не мешало Мидж убежать в дом в Блумсбери. Теперь не надо постоянно смотреть на часы, рассчитывать, лгать. Все открылось, с ложью покончено. Достаточно шепнуть одно слово, и все, чего она так хотела, возникнет само собой, как волшебный замок или город из цветов, деревьев, поющих птиц и мраморных лестниц,

ведущих прямо к солнцу.

Она просила Гарри не искать встреч с ней некоторое время. Он продолжал относиться к Мидж так, словно она временно сошла с ума, и напускал на себя этакую мягкую жизнерадостность, словно подбадривал больного. Но Мидж видела жуткий страх в его глазах. Гарри сообщил ей, стараясь сохранить спокойствие: возможно, ему придется уехать, но он непременно явится к ней по возвращении и надеется, что ей к тому времени станет лучше. Мидж не стала возражать. Когда гипотетическая возможность расставания стала обретать черты реальности, она вдруг подумала: «И что же — я больше не увижу его, и то, что было между нами, никогда не вернется?» Она чувствовала странное утешение, чуть ли не удовольствие, когда говорила с ним о своих чувствах к Стюарту, словно Гарри уже сделался ее старым другом или наперсником. Но такие встречи были возможны лишь благодаря его притворству, а Мидж выносила их лишь благодаря двойственности своего сознания, не желавшего терять Гарри окончательно. Иногда ее разум вырывался на свободу и метался, прежде чем снова вернуться к спасительным мыслям о Стюарте, и тогда Мидж спрашивала себя: не сошла ли она и вправду с

ума, если больше всего на свете не хочет видеть Гарри и составить его счастье? Возможно, ее болезнь заключалась в полном исчезновении сексуального желания, в чем-то таком, что вызвано сугубо химическими изменениями. Отключилось то электричество, которое всеми мыслями, всеми живыми хищными порывами чувств, всеми вибрациями плоти в течение двух лет притягивало ее к этому человеку, к нему одному. Но нет, ее сексуальные желания не исчезли — они изменились. Мидж жаждала общества Стюарта, ей постоянно мерещилось его лицо, заменившее теперь в ее сознании лицо Гарри. Она зависела от него, как от зыбкого видения, удерживавшего ее от падения в смерть. Она непрерывно представляла себе этот спасительный образ, лелеяла его, нежила, размышляла над ним, рассматривала бледное неулыбчивое лицо и янтарно-желтые глаза, под ее взором таявшие и наполнявшиеся, ах, такой нежностью. Она ласкала его мысленно, но никогда в фантазиях не прикасалась к нему рукой или губами — лишь изредка представляла себе, как целует его рукав или плечо его пиджака, и это ощущение было восхитительным. Да, она позволяла себе слабости, но в них присутствовало что-то абстрактное, и это она тоже ценила, хотя

не могла полностью понять. Она тосковала, томилась, жаждала общества Стюарта. Ей хотелось, чтобы он смотрел на нее, говорил с ней; он был ей нужен такой, как он есть, — со всей его требовательностью, авторитетностью, одиночеством, неприступностью, отдаленностью от других людей, а также ощущением, что он никогда не соединится с ней, но в то же время, не соединяясь, может быть… *будет* с нею. Пусть не только с нею, но целиком с нею.

Конечно, Томас тоже присутствовал в ее мыслях, но его как будто скрывали темные облака. Мидж часто напоминала себе, как холоден он был, когда уезжал от нее. Она наговорила ему жестоких слов, но уже не помнила, каких именно. Она взывала к нему, но теперь перестала понимать, как это делается, и не представляла себе, что он пожелает снова увидеть ее. Если только захочет обсудить условия развода. Она чувствовала, что накопилось слишком много всякой всячины — наслоения прошлого, семейных отношений с Томасом, и в какой-то момент их придется «разгребать», — но и это тоже было далеко не главное. У Томаса оставалось множество возможностей сделать ей больно; когда Мидж подумала об этом, ее пробрала дрожь. Она боялась новой встречи с

ним и предпочитала не думать об этом.

Эдвард сидел в темноте. Он пришел в «Мезон карре». Небольшой зал был переполнен мужчинами, в нем установилась полная тишина. Сосредоточенность этой публики не имела ничего общего с легким нетерпением обычных зрителей и не походила на зачарованное молчание, которое сопутствует кульминационным моментам в театре. Казалось, все жадно, неподвижно, поспешно поедают то, что видят. Бледные лица без выражения, едва видимые в свете со сцены, молча смотрели вперед и в своей решимости остаться безликими, несмотря на хищную целеустремленность, походили друг на друга, как сборище клонов. Вороватые, погруженные в себя — ни единым движением, ни малейшим сокращением мышц они не выдавали в себе личностей. Богохульно копируя самозабвенное созерцание таинств искусства или религии, они сидели в напряженном спокойствии, но внутри каждой из голов беззвучно работала машинка тайных навязчивых фантазий.

Эдвард, поначалу смотревший на действо отстраненно, уже стал частью этого безмолвного сообщества. Он тоже был не в силах пошевелиться или повернуть голову, его лицо подалось

вперед и застыло, его губы чуть надулись от возбуждения. Он нашел место в заднем ряду и волновался, как бы Илона не заметила его. Она сама предложила ему прийти, но он не мог себе представить, что она и в самом деле хочет этого, — она просто хотела показать, что не стыдится своей работы. А если она увидит его и забудет свой «номер», разразится слезами? Несмотря на мерзость этого места, Эдвард быстро позволил себе увлечься предсказуемыми жестами девушек; не все они, с их фальшивыми улыбками и нелепыми провокациями, были молоды. Музыка, то медленная, то шумная, заполняла его мозг, и часть существа Эдварда крепко заснула, а другая затаила дыхание и сосредоточилась. Он почти забыл, зачем пришел сюда, и принялся разглядывать и сравнивать девушек. Никто из них не умел танцевать; только одна или две раздевались с удовольствием, внося чуть-чуть живой реальности в безжизненную атмосферу заведения. «Но Илона… Что будет, когда появится она? Что случится со зрителями, когда они увидят настоящую танцовщицу, торжество грации над гравитацией? Неужели они не проснутся, не посмотрят друг на друга с изумлением, не закричат, не заплачут, не покаются в грехах?»

Ухмыляющаяся девица в серебристом цилиндре и комбинации с блестками извивалась и дергалась, неловко крутила черную шелковую шаль, изображая стыдливость; наконец она уронила шаль и принялась бойко пинать ее ногами в черных туфлях на высоких каблуках, шумно и без всякого ритма притопывая по дощатому полу сцены. Сорочка с блестками упала, обнажив худенькое тело, прикрытое лишь тремя звездочками. Когда девушка взмахнула цилиндром, отбросила его в сторону, а потом прыгнула и повернулась голыми ягодицами к публике, чтобы сорвать с себя звезды, Эдвард вдруг понял: это и есть Илона. Неужели она притворялась? Нет. Она не умела танцевать. Он опустил голову. А когда снова поднял глаза, она скакала по сцене голая, улыбаясь в темноту напряженной, натянутой улыбкой. Нагота Илоны вызывала жалость, как нагота ребенка. Бледная, замерзшая, обнаженная — человеческая плоть во всей своей смешной нелепости. Это выглядело постыдно и трагично. То, что в других девушках было просто уродливым и вульгарным, здесь высвечивалось возвышенно и неприлично, как выставленное напоказ уродство, и в то же время было маленьким, жалким, грязным и детским. Эдвард стал рассматривать

ее тело, длинную тонкую шею, костлявые ноги, маленькие заостренные подрагивающие груди. Он закрыл глаза. Судя по музыке, номер закончился. Сцена опустела. Эдвард быстро встал и вышел на улицу.

— Эдвард, я рада, что ты пришел, — сказала Мидж. — Я так хотела тебя увидеть.

Она почти не вспоминала про Эдварда и не думала о нем, но при виде его испытала радость, словно он был тем особенным, единственным человеком, с кем ей легко разговаривать.

— Мидж, простите меня, — ответил Эдвард. — Я собирался прийти… — Он не сказал, что ему было велено прийти. — Но у меня столько бед… И я думал, что с вами Урсула.

— Почему Урсула? — удивилась Мидж. — Мужчины всегда думают, что женщины в подобных обстоятельствах протягивают друг другу руку помощи. Рядом со мной никого нет, как будто у меня скарлатина. Правда, Урсула сейчас на конференции в Швеции.

Мидж почерпнула эту информацию из длинного, очень осторожного письма от Уилли Брайтуолтона. Он подчеркивал, что остался один. Уилли не писал, что с радостью оставил бы жену и прибежал к Мидж или, будь у него свобода выбора,

сразу предложил бы Мидж руку и сердце. Однако он тактично и красноречиво объяснил, как она ему небезразлична, как он переживает за нее, как сочувствует, как желает — если она осчастливит его и скажет, что от него требуется, — служить ей. Он просил Мидж немедленно сообщить, не хочет ли она его видеть. Он подписался «Твой Уилли». Мидж не ответила, а он — по крайней мере, пока — не появился без приглашения у ее дверей. Уилли был человек робкий и побаивался не только Томаса (которого побаивались многие), но и Гарри. Такой же паралич благовоспитанности обездвижил и других старых знакомых Мидж. Телефон время от времени звонил, но она не отвечала, чтобы не нарваться на Томаса. Она жила затворницей и тем самым усиливала свое разочарование и свой стыд, не подпитываясь энергией, которую могла бы получить, если бы бросила вызов обществу. Она была рада видеть Эдварда.

Эдвард обратил внимание, что Мидж, несмотря на отчаяние, выглядела такой же нарочито небрежной, как и всегда. Какие-то неуловимые особенности ее внешности и светло-синий галстук преображали прямое хлопчатобумажное платье цвета морской волны (оно вполне мог-

ло сойти за форму дорогой частной школы) в головокружительное одеяние шикарно одетой женщины. Чуть тронутое загаром лицо Мидж сияло, и казалось, что оно обязано своей прозрачной гладкостью не многочисленным ухищрениям, а молодости и солнечной погоде. На ней были темные чулки, она сидела, положив ногу на ногу, и время от времени притрагивалась к своим волосам, взбивая их в трогательном беспорядке. Если судить по спокойному голосу и приветливому виду, Мидж вполне держала себя в руках, но ее истинное настроение выдавали опущенные уголки губ и испуганные глаза, со всей очевидностью взывавшие к Эдварду: «Помоги мне, ну помоги же мне, позаботься обо мне!»

— Тебя Томас просил прийти?

— Нет.

— Гарри?

— Нет.

— Я теперь никому не верю, — сказала она. — Ну так чья это идея?

— Я пришел не как посол, — ответил Эдвард, — если вы об этом спрашиваете.

— Ты знаешь, что Джесс Бэлтрам мертв? Ну конечно, знаешь, об этом писали во всех газетах.

— Да.

Ни в одном отчете о смерти Джесса Эдвард не упоминался. В некотором роде он чувствовал себя оскорбленным. Матушка Мэй постаралась, чтобы его больше не было на этой сцене. Он чувствовал ревность, словно было нарушено его право собственности. Но по зрелом размышлении он испытал облегчение. Было бы ужасно, если бы пришлось разговаривать с полицией, с журналистами. Случившееся ни на минуту не отпускало его, но он не хотел, чтобы его принуждали думать об этом. Позднее он, может быть, все расскажет Томасу.

— Ты скорбишь? Для тебя это важно?

— Да, важно, — сказал Эдвард.

— Но ведь ты его не знал. Видел один раз, когда был ребенком.

— Я много времени провел с ним в Сигарде.

— Постой, ты ведь никогда не был в Сигарде…

— Нет, был — я жил там некоторое время. Я там был, когда вы с Гарри появились в тот вечер…

— Ты там был? — переспросила Мидж. — Я, наверное, схожу с ума. Да, теперь я вспомнила. Я просто стерла тебя из памяти.

«Да, — подумал Эдвард, — это все стерлось из памяти, никто не узнает, что я приезжал к Джессу, что я любил его, а он любил меня. Словно этого

не было. Может, я и сам перестану в это верить».

— Это был шок, — продолжала Мидж. — Не ожидаешь, что человек может вот так умереть. Я думала, что еще увижу его. Но я странным образом почувствовала удовлетворение, на мгновение забыла о своих несчастьях. Наверное, это следы старой ревности. Я ревновала к Хлое, потому что он любил ее. Теперь они оба мертвы. Какие бесчувственные речи, правда? Ревность никогда не умирает.

— Вы так думаете?

— Да. Плохая новость для молодых. Хочешь выпить? Нет? Я бросила пить. Ты, наверное, уже слышал обо мне и Стюарте?

— Вы хотите сказать, о вас и Гарри? Когда вы появились вместе в Сигарде, я подумал…

— Нет, я говорю о Стюарте. Я в него влюбилась.

— Послушайте, Мидж, я не совсем в курсе, я был занят своими делами. Я думал, вы и Гарри…

— Да, у меня был роман с Гарри, но совершенно неожиданно, после того случая в Сигарде, я влюбилась в Стюарта. Томасу все известно, он уехал, и я не хочу видеть Гарри, а Стюарт не хочет видеть меня… Я думала, все уже знают об этом. Оказывается, нет.

— Постойте…

— Гарри хотел, чтобы я ушла от Томаса, а потом, когда Стюарт увидел нас вместе, когда всплыла вся эта идиотская ложь про мистера и миссис Бентли, он одним взглядом убил что-то во мне…

— Вы любили Гарри, а теперь любите Стюарта? Но вы не можете его любить только потому, что он что-то там убил…

— Именно поэтому. Я, пожалуй, все же выпью. Ты не хочешь? Я вдруг поняла, насколько все мертво. Словно сама смерть смотрит на меня и убивает все…

— И что, это случилось в один миг? — спросил Эдвард, беря стакан с шерри.

— Не совсем. Началось мгновенно и продолжалось в машине по пути в Лондон. Я чувствовала Стюарта у себя за спиной, как ледяную глыбу. Все, чего я хотела, мгновенно обесценилось, и я уже не хотела ничего. А потом, когда я вернулась, я поняла, что хочу одного — Стюарта. Понимаешь, он создал огромную пустоту, и ничто не может ее заполнить, кроме него. Я должна была увидеться с ним, поговорить… Я предложила себя ему, но не только для секса.

— Что это значит?

— Понимаешь, это трудно объяснить. Я предложила себя как некий абсолютный дар, я хотела

изменить свою жизнь, чтобы работать вместе с ним. Я все еще хочу этого — нести добро людям.

— А что насчет секса? Стюарт отказался от него, но если на сцене появились вы… Признаюсь, я удивлен.

Эдвард чувствовал, как удивление теплотой разливается по его телу. Или это было шерри? Мидж тоже оживилась.

— Он остался холоден. Посоветовал мне прекратить лгать, рассказать Томасу о Гарри. Понимаешь, Томас тогда еще ничего не знал, ему стало известно только из газеты…

— Из какой газеты?

— Мэй Бэлтрам опубликовала статью о Джессе, о самых последних событиях в его жизни. Она описала тот вечер в Сигарде: как мы с Гарри появились там инкогнито, как они узнали, кто мы такие…

— Господи, Мидж, это напечатали в газете?

— А потом все таблоиды это подхватили. Она явно описала свою жизнь в нескольких томах. Все любовные приключения Джесса, все о Хлое, целые страницы пропитанной ядом писанины. И это будет опубликовано. Может быть, вот сейчас она пишет какую-нибудь ложь о тебе.

— Я не верю. Но она описала то, что случилось,

и Томас прочел? Худшего способа узнать об этом не придумаешь…

— Да. Мне очень жаль, что все так получилось. Я собиралась ему сказать.

— А что еще говорил Стюарт? Разве он не почувствовал искушения? Как это странно!

— Искушения? Нет, конечно. Он мне сказал, что это иллюзия.

— Но вы его хотите, вы его желаете? Это называется любовью.

— Да… но так это невозможно… это должно быть иначе…

— Я этого не понимаю. Я думаю, он посоветовал вам остаться с мужем?

— Нет. Он этого не говорил. Он только сказал, что я должна прекратить лгать…

— И оставить его в покое! Что-то не похоже, чтобы он очень заботился о вашем благе.

— Нет-нет, в нем… в нем столько добра… это как откровение…

— Извините, Мидж, я в это не могу поверить… давайте сначала. Вы были сильно влюблены в Гарри?

— Да, очень, и долго. Я хотела выйти за него, только не могла понять, как это сделать.

— Но неужели это могло вот так внезапно

закончиться? Может быть, вы просто решили, что предпочитаете Томаса? То, что вы будто бы влюблены в Стюарта, кажется мне полной нелепицей. Какое-то безумие, фальшь, этого не может быть, тут скрывается что-то другое. А что сказал Томас?

— Он думает, что я по-прежнему люблю Гарри. Что это эпизод моей связи с Гарри. Нечто вроде посттравматического синдрома.

— А с Гарри вы встречались?

— Да, но не так, как прежде.

— Как это ужасно для всех! Господи, какая путаница. Знаете, я думаю, Стюарт — это ложный след.

— Что ты хочешь сказать?

— Он вообще ни при чем. Просто внешний импульс, как удар о стену — вы налетели на него и ударились. Все происходит у вас в голове. Вы думаете, будто влюблены в Стюарта, но на самом деле это последствия того, что у вас открылись глаза. Вы удивлены собственной способностью видеть вещи в ином свете…

— Нет, у меня другие ощущения, — возразила Мидж. — Я хочу быть с ним, а он, наверное, никогда не захочет видеть меня. Я думаю об этом, и мне не хочется жить… и это не позволяет мне

думать о них…

— О ком?

— О них.

Мидж обнаружила, что ей трудно выразить это иначе.

— Вы говорите о Томасе и Гарри, о чем и я говорю. Это бегство от выбора. Вы думаете, будто влюблены в Стюарта, и это дает вам новую энергию. Вы получаете отсрочку, чтобы не решать другую проблему, к которой все равно придется вернуться… Постойте, постойте! Вы сказали, что все, чего вы хотели, обесценилось. Возможно, в этом и было откровение. Вам придется оценить все заново, вам придется увидеть все… Может быть, Стюарт сделал для вас что-то важное.

Эдвард чувствовал нарастающее возбуждение.

— Я не могу, — ответила Мидж. — Не могу оценивать, не могу видеть. Я хочу, чтобы он утешил меня… это ужасно… я ужасна…

Она заплакала так тихо, что прошло несколько секунд, прежде чем Эдвард заметил слезы у нее на щеках.

— Дорогая Мидж, не плачьте! Позвольте мне утешить вас, позвольте взять вас за руку.

Эдвард подвинул свой стул к ней, так что их колени соприкоснулись. Он взял руку Мидж,

и ее голова тяжело упала ему на плечо. Эдвард наклонил голову, и его прямые длинные волосы перемешались с ее волосами, белокурыми и ароматными, в которых он теперь разглядел множество разноцветных прядей. Он обнял Мидж за плечи и принялся убаюкивать, но она вскоре отодвинулась. Он ощутил (чего не было прежде, когда он так восхищался ею, войдя сегодня в гостиную) все ее тело: его массу, его тепло, его мягкость, прикрывающую его одежду.

— Дай мне платок, Эдвард.

— Держите. А теперь попробуем разобраться. Не волнуйтесь по поводу Стюарта. В некотором роде вы принесли ему пользу. Вы его потрясли. Ему придется постараться и найти наилучший образ действий. Конечно, он встретится с вами снова и пожелает стать вашим другом. Между вами есть связь.

— Ты так думаешь?

— Да. Так что это вам обоим пойдет во благо. Но ваша любовь — иллюзия. Это должно было произойти, как мгновенная вспышка. Стюарт — это нечто постороннее, а все ваши чувства — они внутри вас, Стюарт — ничто, он бессилен, он ненастоящий. Я хочу сказать, что он всего лишь случайность, вы его выдумали. Так, как вы это

себе представляете, вы ничем не связаны. А Гарри и Томас — они реальны. И Мередит реален.

— Я могу через суд добиться опеки над Мередитом. Господи, какой кошмар… И Томас, он слишком холоден.

— Это на него похоже. Он так привык скрывать свои чувства, что ему, видимо, пришлось самоустраниться. Бедный старый Томас, как ему досталось! Вы же знаете, что он вас любит, какую бы холодность он ни выказывал. Вы должны знать это. Кстати, а где он?

— В Куиттерне. Он уехал и оставил меня… решать, чего я хочу.

— И чего вы хотите?

— Не знаю… Ты думаешь, Стюарт не будет меня ненавидеть? Я хочу изменить свою жизнь.

— Вы ее уже изменили. Вы разорвали тайную любовную связь. Если Стюарт дал вам почувствовать, что это ужасно, возможно, так оно и есть. Вы можете и дальше менять свою жизнь, вы можете сделать много добра. Что вам мешает, что всем нам мешает творить добро? — Эдвард помолчал несколько мгновений, его потрясли собственные слова. — Конечно, Стюарт не будет ненавидеть вас, у него добрые намерения. Не волнуйтесь за Стюарта. Ему как раз и нужно, чтобы о нем не

беспокоились, словно его здесь нет, и если он что-то сделал вам, то по одной лишь причине: это все равно должно было случиться. Если ваша связь с Гарри в самом деле опостылела вам и если вы понимаете, что Стюарт может быть только другом, вдохновляющим вас, — это немало. С другой стороны, если вы по-прежнему влюблены в Гарри…

Мидж, которая внимательно смотрела на Эдварда и все еще держала его за руку, вдруг встала и закрыла руками лицо. Она услышала, как повернулся ключ в замке парадной двери. Только у двух человек был этот ключ — у Гарри и у Томаса.

— Иди и останови его, — велела она Эдварду. — А потом скажи мне, кто из них пришел.

Эдвард стрелой промчался по гостиной и исчез за дверью. В холле он увидел Томаса.

Тот смотрел на Эдварда со странным выражением — внимательно и испытующе, но в то же время лукаво, словно сегодня у Эдварда был день рождения и Томас принес ему подарок-сюрприз. Похоже, он не удивился, увидев гостя.

— Привет, Эдвард.

— Томас, она там. Она просила меня узнать, кто из вас двоих пришел, и…

— Я сам о себе доложу. Как поживаешь?

— Лучше, — ответил Эдвард.

В самом ли деле он чувствовал себя лучше?

— Хороший мальчик. Приходи ко мне сюда завтра.

— Завтра я еду в Сигард, — сказал Эдвард. Эта мысль только что пришла ему в голову. — Ну, мне пора.

— Приходи, когда вернешься, чем раньше, тем лучше. Ты переехал в свою прежнюю комнату?

— Да. Вы были правы… но теперь хватит.

— Возвращайся к Гарри, возможно, ты ему нужен. Я рад, что ты проведал Мидж. А теперь проваливай.

Когда он проходил мимо Томаса, тот правой рукой пожал его левую руку. Эдвард открыл выходную дверь, и Томас, обернувшись на него, замер на пороге гостиной. Он вышел на улицу и закрыл за собой дверь.

Сигард в ярких лучах предвечернего солнца выглядел по-другому и был похож на высоченную приходскую церковь с мощной башней и неправильной формы нефом. Ласковый свет разглаживал неровности на бетоне башни, благодаря чему грязная поверхность казалась просто старой и приобретала дымчатую золотисто-

коричневую окраску — настоящая патина на покрытой лишайником каменной стене. Желтый рапс поблек, но зацвел ячмень и поднялась сине-зеленая пшеница. «В этом месте я видел перемену сезонов и поворот года», — подумал Эдвард. Вдоль дороги обильно цвели дикие розы, пышные красные или маленькие, почти белые, как клочки бумаги. Бутень уже отцвел — Илона называла его «кружевной купырь».

Эдвард остановился перед входом в аллею, оглянулся и прислушался. Он слышал песню жаворонка и кукушку вдалеке, но эти звуки почти не нарушали, а даже подчеркивали глубокую теплую тишину, повисшую над этой землей и домом. Река текла бесшумно. Он медленно пошел вперед, ступая по плиткам, и наконец добрался до последнего ясеня. Тут он снова остановился. Главная дверь была закрыта. Эдвард посмотрел на окно Селдена, на окно своей комнаты, потом на башню. Мысль о том, что за ним могут тайком наблюдать, встревожила его. Он чувствовал себя виноватым, незваным гостем, которого можно пристрелить на законных основаниях. Он не приготовил никакого объяснения своего приезда даже для себя самого. Он дважды убегал отсюда, не сказав ни слова. Как женщины отнесутся к

нему? А может, их уже и нет в Сигарде? После встречи с Томасом Эдвард понял, что для него крайне важно вернуться сюда. Не выяснять, что случилось, а просто помириться, показать, что он вменяемый и настоящий, а после удалиться — но на этот раз с достоинством и деликатностью. Они должны сделать это для него, проявить к нему доброту, встретить без злобы, принять как скорбящего сына, подвести черту под прошедшим временем, завершить драму, освободить его. После этого вопрос о дальнейшей связи Эдварда с Сигардом и его обитателями станет обычным бытовым вопросом, подлежащим рациональному рассмотрению.

Освободить — но для чего? Чтобы он мог вернуться в начало, к вине и отчаянию после смерти Марка, к своей прежней цели? Начать жизнь, в которой его будет преследовать не имеющий ответа вопрос о Джессе? Он, конечно, приехал в Сигард не для того, чтобы расставить все точки над «i», да этого и быть не могло. Увидеть Мидж и узнать, что она решила? Разговор с ней оставил в итоге приятное впечатление, возможно, потому что он возродил нормальное животное любопытство к миру вокруг Эдварда, так долго не подававшему признаков жизни. Присмотреть за

Гарри, поговорить со Стюартом? Поехать в Париж за Илоной? Мысли об Илоне вызывали отчаяние — а вдруг в Париже с ней произойдет что-то ужасное? Не станет ли это еще одним источником саднящей вины, обреченной сопровождать его по жизни? Эдвард решил не думать об этом слишком много. Найти Брауни — вот что сейчас самое важное, настоящее. Он должен быть с Брауни, окунуться в ее общество, как в целительный источник. Какими слабыми, какими малодушными представлялись ему теперь собственные попытки найти ее! Он слонялся вокруг дома ее матери, не решаясь зайти к Саре. Эдвард чувствовал усталость, страдал от нравственной апатии. Ему не хватало энергии и мужества, но они могут вернуться, если он примирится с Сигардом. Теперь он постучит в дверь ее матери, поговорит с Сарой, найдет ее друзей в Кембридже, поедет за ней в Америку, если потребуется. Ничто не помешает ему найти Брауни и жениться на ней.

Эдвард толкнул дверь Атриума; она оказалась не заперта, и он вошел внутрь. Он предполагал, что испытает потрясение, но и предвидеть не мог электрической волны эмоций, нахлынувших на него, сбивая с ног, когда он вошел в громадную комнату. Он задрожал и поскорее сел на стул.

Тут было два стула, стоявших друг подле друга у двери в необычном месте, и он не сразу понял, что именно здесь сидели, как у позорного столба, Гарри и Мидж в день их злополучного появления в Сигарде. Никто не притронулся к этим стульям. Эдвард встал и, неслышно ступая по плиткам пола, приблизился к столу. Там стопкой стояли несколько тарелок и чашка с какой-то жидкостью. Он подошел к дверям Затрапезной и заглянул внутрь. Комната была пустой, сонной, убогой, неприбранной, и пахло здесь, как всегда, плесневеющими книгами и ветхими грязными подушками. Дверь башни была не заперта, и Эдвард прошел на просторный первый этаж, в «выставочный зал». Эта комната теперь выглядела иначе. Картины Джесса стояли у стен задником наружу. Эдвард поспешно вернулся в холл — у него возникло чувство, будто он ищет Джесса. Теперь он двигался более свободно, но все еще не мог заставить себя нарушить тишину криком: «Эй, кто-нибудь!» или «Где вы?» Направляясь к Переходу, он заметил, что гобелен с девочкой, преследующей летучую рыбку, сняли, свернули и положили у стены. Может быть, его уже купил какой-нибудь американец. Растения в горшках тоже оказались сдвинуты и теперь

стояли тесной группой в углу; ветки переплетались и соединялись, некоторые обломились. Они запылились, пожухли и нуждались в поливке. Эдвард вспомнил, что цветы поливала Илона. Одно из растений, похоже, уже погибло — тот самый цветок, в который он вылил приворотное зелье Илоны и который ухватил его цепкой лапой, когда он собирался покинуть дом во время первого побега. Эдвард остановился, чтобы пожалеть его, а затем поспешил в Переход. В кухне царил беспорядок, в раковине осталась грязная посуда. Большая печь не топилась, но морозилка, «такая большая, что туда поместилось бы человеческое тело», тихо урчала. В прачечной лежала горка чистых полотенец. Эдвард чуть не подобрал их, чтобы отнести в шкаф для проветривания. Если в доме все же кто-то есть, не стоит показывать им, что гость, словно призрак, бродил по дому. Открыв дверь в Селден, Эдвард услышал прерывистый звук и принял его поначалу за щебет ласточки. Потом понял: это стучит пишущая машинка матушки Мэй.

Он быстро миновал западный коридор и вышел на лужайку через дверь со стороны фасада. Звук пишущей машинки напомнил ему рассказ Мидж, и Эдвард понял, что не готов встретиться с

матушкой Мэй. Он не поверил Мидж, но мысль о том, что кто-то пишет о его матери или о нем самом, выводила его равновесия. Эдвард вспомнил, как Мидж говорила о Джессе и Хлое: «Теперь они оба мертвы», и на мгновение призрак мертвой матери, с беззвучным криком простиравшей к нему руки, возник рядом с тропинкой, по которой он шел. Эдвард ускорил шаг. Он хотел увидеть Бет-тину. Но может быть, Беттина тоже убежала отсюда. Он прошел мимо падубов и фруктового сада. Здесь тоже многое изменилось. Тополя были спилены, их ветки аккуратно срублены, и голые длинные стволы лежали в траве. Лесовики уже расчистили место. У реки вдоль берега трава так разрослась, что Эдвард не заметил решетчатый мост, и ему пришлось возвращаться. Он легко перебрался на другой берег над спокойным потоком; уровень воды сильно понизился. В лесу было темновато, а кусты на склоне холма, сквозь которые Эдвард так легко проходил раньше, теперь цеплялись за одежду и ударяли по лицу клейкими ветками. Он нашел маленькую тропку, потерявшуюся в зарослях, и почувствовал под ногами корни деревьев и мелкие деревянные «иконки». Эдвард продирался сквозь чащу, глядя на солнечный свет, и наконец добрался до

дромоса.

Когда он посмотрел в сторону желтого Лингамского камня, лучи солнца ударили ему в лицо, ослепив его. Кто-то сидел на каннелированной колонне, образующей пьедестал. Это была Беттина.

— Привет, — сказал Эдвард. — Я подумал, а вдруг найду тебя здесь.

— Привет, Эдвард, — ответила Беттина. — Я думала, а вдруг ты придешь.

Беттина тоже подстриглась, хотя не так коротко, как Илона. Ее непричесанные и неровные волосы доходили почти до плеч. Наверное, она обкорнала их сама — быстро и с остервенением. Эдвард представил себе Беттину вечером перед зеркалом, со злыми глазами, вооруженную длинными ножницами. Неожиданно для себя самого он спросил:

— Что ты сделала с волосами? С теми, которые отрезала.

— Сожгла.

На ней было одно из ее «хороших» платьев в цветочек, не домотканых, а из легкого хлопка; она сидела, подтянув юбку до колен и обнажив длинные загорелые голые ноги в сандалиях. Когда Беттина наклонялась вперед, ее длинное

ожерелье чуть раскачивалось. Заметив взгляд Эдварда, она приспустила юбку.

После паузы он сказал:

— Те растения — их нужно полить. В холле.

— Да. Нужно.

Подстриженная Беттина выглядела моложе, умнее, привлекательнее, она походила на небрежного модного юношу. Эдвард впервые воспринимал ее вне привычного трио, как отдельную личность с независимой судьбой, и это тронуло его сердце. Он заметил, что Беттина похожа на Джесса, и видел или угадывал собственное зеркальное отображение в ее лице, когда она щурила светло-серые глаза или откидывала назад волосы. Она не улыбалась, а рассматривала Эдварда с недобрым любопытством.

— Ты носишь перстень Джесса, — сказала она.

— Да. Он мой. Джесс дал мне его.

«Это, конечно, неправда», — подумал Эдвард. Но другого ответа не было. Он не собирался отдавать перстень.

— Я вижу, тополей больше нет, — произнес он, хотя собирался сказать: «их спилили».

— Да, мы попросили их спилить.

— Но денег вам теперь, наверное, хватает?

Беттина молча взглянула на него, и вопрос

остался без ответа.

Эдвард сел на траву и почувствовал, что земля теплая.

— Почему трава здесь такая невысокая?

— Лесовики приводят сюда овец.

— Зачем Мэй пригласила меня в Сигард?

— Она считала, что это ее долг, после того как получила письмо Томаса Маккаскервиля.

— Письмо Томаса Маккаскервиля?

— Да. А ты разве не знал? Он рассказал ей, что с тобой случилось, сообщил, что у тебя депрессия и тебе необходимы перемены. Он предложил нам пригласить тебя, вот мы и пригласили.

— Ты хочешь сказать, это была не ваша идея?

— Нет. А ты решил, мы вдруг поняли, что не можем без тебя обойтись?

— Да, — сказал Эдвард. — Я так решил. Но твои слова многое меняют.

Выходит, это все устроил Томас. Может быть, он понял, что Эдвард сбежит, и хотел точно знать куда. А Эдварду тогда, да и теперь, было необходимо найти место, где ему будут рады.

— Не понимаю, что они меняют, — сказала Беттина. — Мы ведь могли отказаться. Но мы тебя пригласили. Мы были рады твоему приезду.

— Были?

— Эдвард, почему ты считаешь меня врагом?

— Я так не считаю. Хотя нет, считаю.

Он боялся ее. Но что она могла сделать ему теперь, когда Джесс умер?

Беттина не стала больше ни о чем спрашивать, как не стала оспаривать, что она его враг. Она вздохнула и отвернулась.

Что ж, по крайней мере, Джессу он был нужен. Этого у него не отнять.

— Джесс хотел меня видеть, очень хотел. Он мне сам сказал.

— Он мог сказать что угодно. Ты, видимо, не понял, насколько Джесс был не в себе. Он даже не знал, кто ты такой. Все время спрашивал: «Кто этот мальчик?» Мы ему говорили, но он опять забывал.

— Нет, — ответил Эдвард. — Он прекрасно знал, кто я такой. Он говорил, что писал мне. Я не получил от него ни одного письма. Думаю, кто-то их уничтожил.

— Джесс просто бредил. Не мог он ничего писать. Он рисовал, но не писал. Единственное, что произвело на него впечатление, — это твое появление с какой-то девицей. Его это расстроило. Он позавидовал.

— Откуда тебе это известно?

— Он сам нам рассказал, откуда же еще. Он нам все говорил. Кстати, а что там была за девица?

— Сестра Марка Уилсдена.

Беттину это не заинтересовало.

— А зачем ты сейчас приехал?

— Увидеть тебя. И узнать о Джессе.

— Что узнать?

— О его смерти. Я не понимаю. Что это было, самоубийство?

— А как ты думаешь?

Беттина забралась на постамент и встала, держась одной рукой за колонну.

— Или убийство?

— Ты хочешь сказать, мы его убили? Эдвард, а почему не ты?!

Эдвард, который тоже начал подниматься с земли, замер на одном колене. Легкий ветерок надувал юбку Беттины, перебирал ее волосы. Солнце садилось за деревья, и воздух становился холоднее. Может быть, спрашивал себя Эдвард, Беттина видела, как он нашел утонувшего Джесса и прошел мимо? Если только так все и было.

— Почему я?

— Ты изменил ситуацию, как опасный пришелец. Долгое время здесь ничего не менялось, и казалось, ничто не может поколебать суще-

ствующее положение вещей. Но когда появился ты, произошло много нового. Может быть, ты не виноват… не более, чем в том случае, когда твой друг выпал из окна. Некоторые люди приносят несчастья.

— Это чепуха, — ответил Эдвард. — Вы хотели его смерти. А я нет.

— Все не так просто. Да, нам было невыносимо видеть, как он дряхлеет на глазах…

— Я вспомнил — Мэй говорила, что она написала мне, так как считала, что я смогу что-то изменить!

— Ты ее теперь называешь просто Мэй, да? Он испортил нам жизнь своим маразмом, и это продолжалось долго. Мы с ужасом смотрели, как он стареет, мы его жалели.

— Может быть, из жалости вы его и убили.

Беттина посмотрела сверху вниз на стоявшего рядом с ней Эдварда.

— В одном ты можешь быть абсолютно уверен. Что бы ни случилось, Джесс хотел, чтобы именно так оно и вышло.

— Ты, похоже, подыскиваешь оправдание.

Но Эдварду и самому хотелось думать так, как сказала Беттина.

— Ты растревожил его, — продолжала Бетти-

на. — Ты сказал, что возьмешь его в Лондон. Он должен был умереть здесь.

— Ты уверена, что вы не помогли ему в этом?

— Как — оставив дверь открытой? Он не мог умереть обычной смертью. Что-то пришло за ним.

— Не понимаю.

— Может быть, и без твоего участия не обошлось. Или твоего брата. Он был знамением, знаком.

— Джесс назвал его мертвецом, трупом.

— Это было столкновение сил.

— Уж не хочешь ли ты сказать, что Стюарт что-то сделал с Джессом?

— Нет-нет, все происходило в мозгу Джесса — предчувствие, чуждая магия. Твой брат был чем-то внешним, бессознательным проявлением. Симптом, а не причина. Случайное совпадение: кажется, будто что-то изгоняет богов, живущих внутри человека, в то время как эти боги уходят сами.

— А полтергейсты все еще здесь?

— Они исчезли. Это были полтергейсты Джесса. Они никак не связаны со мной или Илоной.

— Ты думаешь, что Джесс получил… знак… что ему пора уйти? Это было самоубийством?

— Ты все упрощаешь!

— Может быть, Мэй для того и пригласила Стюарта? Я недостаточно изменил ход вещей, и она позвала его.

— Слишком много всего случилось, — сказала Беттина. — Я думаю, одно вытекало из другого.

Он стоял теперь рядом с ней, смотрел на ее загорелое лицо и шею и испытывал желание ухватиться за ее юбку. Раньше он побаивался Беттины, а теперь страх перешел в нервное возбуждение. Эдвард понимал, что должен использовать этот едва ли не последний шанс, чтобы заставить ее говорить. Несмотря на всю свою неловкость, один горький вопрос, ключевой вопрос он должен был задать и получить ответ. Ответ, которого сам Эдвард найти не мог. Но вместо этого он спросил:

— Вы его сожгли? Так же, как твои волосы?

— Нет, мы его похоронили.

— Где?

— Здесь.

Беттина спрыгнула с постамента и прошествовала мимо Эдварда к двум большим тисам, образовавшим темную арку в конце поляны. Эдвард последовал за ней. Там, где кончалась трава, на земле лежало что-то длинное и темное; точнее

не лежало, а было врыто в землю, так что трава закрывала края этой большой плиты из черного сланца. На ней были вырезаны буквы: ДЖЕСС. Эдвард и Беттина, стоявшие по разные стороны от плиты, посмотрели друг на друга.

— Из этого же сланца сделан пол в Атриуме.

— Он, наверное, тяжелый…

— Его принесли лесовики. Один из них каменщик, он и вырезал надпись. Как видишь, буквы получились не очень ровные. Лесовики и Джесса принесли.

— Значит, он лежит здесь?

— Да.

— В гробу?

— Да. Гроб тоже сделали лесовики. Простой гроб. Они многое умеют.

Беттина и Эдвард посмотрели друг на друга, потом на камень.

— Не могу поверить, что он мертв, — сказал Эдвард. — Я только что искал его в доме.

Камень по краям был уже чуть присыпан землей. Со временем, если никто не будет ухаживать за могилой, он весь уйдет в почву, порастет травой, потеряется.

— А как Мэй, — спросил Эдвард, — она считает Джесса мертвым? А ты? Или вы думаете, что он

лежит в земле, как куколка, а потом оживет и вернется?

— Он не вернется. По крайней мере, на протяжении нашей жизни.

Эдвард глянул на Беттину, а она по-прежнему смотрела вниз; ее печальное лицо было исполнено умиротворенной, спокойной красоты. Обдумывая ее слова, которые казались заимствованными из заупокойной службы, он спрашивал себя: «Уж не сошла ли она с ума? Или это я сошел с ума?» Не найдя нужных слов, Эдвард произнес:

— Может быть, люди кладут на могилу такие камни, чтобы мертвец не встал?

— Если бы Джесс вернулся из могилы, он наверняка стал бы хулиганить.

— Но ему придется подождать?

— Чтобы снова наполнить себя жизнью. Я тоскую по нему ужасно, мучительно. — Это были самые обычные слова, но они звучали странно.

— А Мэй? Как она?

— Ее страдания неизмеримы. Она погрузилась в отчаяние, она от горя совсем забыла о себе.

Эдвард вспомнил звук пишущей машинки. Интересно, что Беттина думает о «мемуарах»? Возможно, она ничего о них не знает.

— Мне не хватает его, — сказал он. — Мне его

всегда будет не хватать. Я всегда буду думать о нем и любить его. Конечно, он знал, кто я такой, думал обо мне, хотел, чтобы я приехал. Он меня любил.

«Значит, они похоронили монстра, — подумал Эдвард. — С какими же ритуалами его проводили в вечный покой?»

Они оба замолчали. Эдвард никак не мог сосредоточиться. Ключевой вопрос, который помог бы решить эту задачу, ускользнул, не был задан даже в завуалированном виде. Эдвард поймал себя на том, что смотрит на свои часы.

— Ну что ж, мне пора. Я должен успеть на лондонский поезд. Мне надо позаботиться об отце.

— Тогда до свидания.

Эдвард сомневался, говорить ли что-то об Илоне, и решил ничего не говорить.

— Спасибо тебе за беседу, — сказал он. — Надеюсь, мы еще встретимся. Конечно, встретимся. Может быть, я вернусь. — Но у него не было ни желания, ни намерения возвращаться. Он никак не мог найти подходящих прощальных слов. — Как вы тут, справитесь?

Беттина улыбнулась.

— Ты сказал Илоне, что мы — девы-волшебницы. Девы-волшебницы сумеют позаботиться

о себе.

Эдвард поднял руку, словно отдал салют в знак почтения. Как только он пошел прочь, Беттина влезла на плиту и повернулась к нему спиной, вглядываясь в ясеневые сумерки. Этот жест казался намеренно святотатственным. Эдвард подумал, что она сейчас запляшет на камне. Если так, он не должен видеть ее танец. Он ускорил шаги и даже перешел на бег, насколько позволяла густая трава.

У него в голове родилась и вызревала одна мысль. Конечно, он должен верить, что Джесс знал и любил его. Но может быть, есть какое-то доказательство этого? Эдвард в несколько прыжков преодолел раскачивающийся мостик и побежал по тополиной роще, перепрыгивая через ровные стволы поваленных деревьев. Обогнул дом сзади и вошел в конюшенный двор, чтобы сразу же попасть в Затрапезную. Он оглянулся в сторону болота и увидел бальзаминовое поле в цвету; там пробивались лютики, белый клевер, кое-где размытыми пятнами вспыхивал красноватый щавель. Он быстро пересек Затрапезную, потом переступил порог башни. Здесь он замедлил шаг и, тяжело дыша, стал подниматься по винтовой лестнице. В студии и «детской» ничто не измени-

лось, разве что «игрушки», прежде лежавшие как попало, теперь были грудой свалены у стены, а в студии одна из тантрических картин, изображавших начало или конец света, была установлена на мольберт. Эдвард не остановился, чтобы осмотреться внимательнее, а поспешил вверх по лестнице в тихую квартиру Джесса с устланным коврами полом; она выглядела совершенно иной, чем прежде. Исполненный решимости превозмочь свою робость, он добрался до спальни. В скважине на сей раз не было ключа. Эдвард взялся за дверь, готовый к тому, что сейчас увидит Джесса, сидящего на кровати и уставившегося на гостя своими студенистыми круглыми глазами. От этой мысли у него закружилась голова. Но спальня, конечно, была пуста: все чисто, прибрано, кровать застлана лоскутным покрывалом. Прежде ее закрывали смятые одеяла, простыни и крупное тело хозяина, а теперь она показалась Эдварду маленькой и узкой. Комната напоминала гостиничный номер, уютный, но обезличенный. Постоялец уехал, от беспорядка не осталось и следа, все готово к прибытию нового.

Эдвард сразу же направился к окну. Да, в окне виднелось море — темная блестящая синева с разбросанными здесь и там изумрудами. Море

было заполнено немыслимым количеством яхт с огромными треугольными парусами самых разных цветов — красные, синие, желтые, зеленые, черные. Все они неторопливо лавировали в разных направлениях, то обгоняя друг друга, то пересекаясь, и в ярком вечернем свете их движения были изящными, как медленный танец. Эдвард решил, что где-то поблизости расположен яхт-клуб и сейчас начнутся гонки. А может, гонки уже закончились. Он вдруг подумал, что люди на яхтах пребывают в совершенно ином мире — смеются, шутят, целуются, мужчины и красивые девушки открывают бутылки шампанского. Эдвард обернулся в комнату, которая теперь представлялась маленькой, тихой, пустой и печальной. Он подумал, что это лоскутное покрывало, наверное, сделали женщины, молча работая рука об руку зимними вечерами. Белый радиатор, на который указывал Джесс, — старомодный металлический прибор, вероятно давно сломанный, без подсоединенных к нему труб — был скобами прикреплен к стене, а пыль с него стерта. За радиатором оставалось узкое свободное пространство, куда Эдвард просунул сверху пальцы. Ничего. Возможно, там никогда ничего и не было, кроме как в воображении Джесса. Он

встал на колени, завел руку за холодный металл снизу, пошарил там из стороны в сторону.

Наконец его пальцы коснулись чего-то, оно подвинулось, но ухватить было невозможно. Эдварду удалось подтолкнуть находку, а потом ухватить двумя пальцами и вытащить наверх. Это был небольшой сложенный лист дешевой линованной писчей бумаги. Он развернул его. «Я, Джесс Эйлвин Бэлтрам, настоящим завещаю все, что в момент моей смерти будет принадлежать мне, моему дорогому любимому сыну Эдварду Бэлтраму». Судя по дате завещания, написанного трясущейся рукой, наклонным почерком, завещание было составлено двумя годами ранее. Свидетелей, оставивших свои корявые подписи, было двое — Том Дики и Боб О'Брайан. Без сомнений, лесовики; наверное, Джесс тайно призвал их к себе в тот день, когда женщины уехали на рынок. А может, встретил в лесу во время одной из своих одиноких прогулок.

Эдвард сел на кровать и принялся разглядывать документ. В нем словно взорвалась бомба, накрывшая его облаком удивления, радости и ужаса или же мученической аурой, отягощенной роком. Как замечательно, как жутко, как необыкновенно важно, как больно; что, черт

возьми, делать с этим? Он прочитал завещание несколько раз, сосредоточиваясь на каждом слове, снова сложил его, сунул в карман и замер, глядя в окно, за которым синева небес приобретала мягкий голубой оттенок. «Что ж, — подумал Эдвард, — это доказывает, что Джесс думал обо мне до моего приезда… и любил меня. Я уверен, что он действительно написал мне, только они перехватили письмо. Но завещание… Он и в самом деле хотел так распорядиться или же это случайный порыв, мимолетный протест от ненависти к тюремщицам?»

— Джесс, — вслух сказал Эдвард, — что мне делать?

Произнося эти слова, он прикоснулся к перстню и задумался. Не написал ли Джесс после этого завещания еще одно, другое? Ответа не было. Он подумал, что Мэй с ее подозрительным характером, конечно же, предполагала, что Джесс способен выкинуть такой фортель, и время от времени заставляла его переписывать «настоящее» завещание. А может быть, она полагала, что столь эксцентричное волеизъявление не будет признано законным, если она его оспорит. Значит, Эдвард будет судиться? Неужели он хочет втереться в наследники и лишить наследства

Мэй и своих сестер? Конечно нет; хотя мысль о возможном богатстве на мгновение мелькнула золотой искрой в его мозгу. Нет, ему не нужны деньги. Он заработает себе на жизнь, и Гарри наверняка оставит ему что-нибудь. Какие отвратительные мысли, все о судах и законах. Конечно, он может проявить щедрость и оставить себе лишь немного, на память, но все это опять было связано с судами и деньгами. Или помахать завещанием перед носом женщин, а потом порвать его? Это поставит их перед нравственным выбором… Хотя вряд Мэй и Беттина придавали значение таким вещам, как нравственный выбор. Нет, это несправедливо, ведь он почти не знал их, они никогда не были с ним откровенны. Лучше уж сразу уничтожить бумагу. Чего хотел Джесс? Видимо, ничего конкретного. Может быть, просто пожелал оставить Эдварду послание, и оно дошло до него. Завещание сделало единственное доброе и важное дело — подтвердило (а он почувствовал все в тот самый момент, когда открыл дверь этой спальни), что отец помнил о нем и любил его.

Эдвард встал, поправил покрывало и пошел к двери, не оглядываясь ни на комнату, ни на окно, где мелькал водоворот цветных корабликов. Он закрыл за собой дверь и быстро, хотя и спокойно,

сбежал по винтовой лестнице. В Затрапезной он нашел коробок спичек на каминной полке и сжег завещание в камине. И сразу же пожалел о том, что совершил непоправимое действие, толком не поразмыслив.

Теперь ему страстно хотелось уйти, больше ни с кем не встречаясь. Он разметал кочергой золу и вдруг заметил фотографию Джесса. Джесс на одно лицо с Эдвардом, Эдвард на одно лицо с Джессом — фотография висела на гвозде, низко вбитом в стену. Он снял ее, осмотрел и решил взять с собой. «Я здесь, не забывайте меня». Он нерешительно остановился в Атриуме, потом направился в угол, где стояли жестокосердно сдвинутые в кучу несчастные растения, и потрогал засохшую землю в горшках. Ему захотелось полить их, но желание бежать было слишком велико. Эдвард взял стоявшую на столе чашку с какой-то жидкостью и понюхал ее. Там оказался один из травяных настоев Мэй. Он полил им свое растение — то, что совсем завяло. Это либо оживит цветок, либо добьет, чтобы не мучился.

Выходя из дома, Эдвард заметил на одном из двух стульев у двери что-то, чего там не было прежде. Это был его пиджак, вычищенный и аккуратно сложенный, тот самый, что закрывал

лицо Джесса. Эдвард взял его и вышел, хлопнув дверью. От удара камень размером с ладонь выпал из стены рядом с ним. Заколдованный замок уже начал разваливаться на части.

«Я сижу на золотой цепи, — думала Мидж. — Меня взяли обратно в историю. Я позволила поймать себя в ловушку нравственности». Тюремщиками стали ее муж и сын.

Лето в Куиттерне было в самом разгаре. Мидж сидела наверху у окна спальни и смотрела, как Томас стрижет газон. Голова опущена, седые волосы упали на лоб, очков на носу нет — казалось, он толкает перед собой эту большую желтую машину (на самом деле она двигалась сама) в ходе какой-то нелегкой игры, вынуждавшей его делать поворот в конце каждого марша. На и без того ровном газоне, куда падала тень бука, появлялись аккуратные темно-зеленые и светло-зеленые полосы. Томас, одетый в старые вельветовые брюки и замызганную синюю рубашку с открытым воротом, выглядел помолодевшим и более раскованным. Время от времени он останавливался, чтобы стереть пот с покрытого красноватым загаром лица. За его спиной в безветренном солнечном воздухе замерли красные и белые розы на фоне высокой мохнатой

живой изгороди, в которой тоже расцветали темно-синие черноглазые дельфиниумы. Томас прервал свои труды, поднял голову и махнул рукой. Мидж помахала ему в ответ. Она приготовила великолепный обед. Вымыла посуду. Отдохнула. Примерила несколько платьев.

Мидж приняла решение. Она приняла решение так быстро, что теперь, оглядываясь назад, она думала, что все произошло случайно. Что было бы, если бы ключ в замке уверенно повернул не Томас, а Гарри? Случай это или, наоборот, обо всем позаботилось провидение? Например, визит Эдварда. Разговор с Эдвардом, такой спокойный, такой разумный, тоже стал необходимым звеном цепи событий. Эдвард был одним из компонентом, медиатором. Никто другой не смог бы этого сделать. Он был самым близким человеком, не запятнавшим себя в этой истории, откровенным, умным, доброжелательным свидетелем, незаменимым старым другом. Когда Мидж беседовала с ним о Стюарте, она как будто впервые рассказывала свою историю. Когда она говорила с Гарри или Томасом, ее объяснение не было и не могло быть правдивым, поскольку представляло собой разновидность военных действий. Эдвард быстро и тонко понял ее душевное состояние, определил

уязвимые, неустойчивые точки его структуры. То, что он назвал любовь Мидж к Стюарту «нелепостью, безумием, фальшью», потрясло ее, словно на тропе войны с боевым кличем появилось пополнение. Она смогла увидеть событие в ином свете и не то чтобы потеряла веру в него, но получила больше пространства для маневра. Стюарт был таким уверенным, таким цельным, в его появлении было что-то убийственное — он обесценил все прежнее существование Мидж и породил жуткую болезненную тоску. Эту боль могло излечить лишь его присутствие, а удаление от него пугало больше, чем сама смерть. Эдвард, который и сам страдал (о чем Мидж вспомнила только потом), выступал на стороне обычного мира, где не было последнего выбора между жизнью и смертью, где разум, мягкость, сострадание, компромисс рождали жизнестойкие модели бытия. Она, конечно, еще встретится со Стюартом, и он, конечно, не отвергнет ее с отвращением. Поэтому Мидж не считала, что ее любовь фальшива, что это какой-то там «психологический механизм». Это было некое безличное событие, оказавшееся не тем, за что она его принимала; оно требовало размышления, доработки, чтобы совместить его с другими явлениями. Мидж, разумеется, никогда

не смогла бы жить со Стюартом, работать с ним, заботиться о нем, как она собиралась вначале; все это было мечтой, но не пустой лживой мечтой, а своего рода указателем. Что ж, она бы сделала немало добрых дел, если бы захотела. И Мидж в своем воображении зашла так далеко, что уже видела Стюарта в роли своего друга, который, может, и посмеивается над ней, но потом… Ведь он не бог, в конце концов. Она испытала безумное облегчение, когда перестала думать о смерти (словно Стюарт, отвергнув ее, тем самым вынес ей приговор), и преисполнилась благодарности к Эдварду, который изменил и очеловечил ее представление о Стюарте, лишив его образ роковых черт. Эдвард сказал, что Стюарт был каким-то внешним препятствием, на которое она налетела. Все это существовало только в ее голове, это она сама сделала с собой. Она могла бы сделать что-то еще… даже использовать во благо то, что случилось.

А на самом деле то, что случилось, было средством расстаться с Гарри и светом, заставившим ее с ужасом оглянуться на последние два года. Но разве эти перемены в образе Стюарта, спасшие ее от мыслей о смерти, не возвращали Мидж туда, откуда все началось, в объятия Гарри? Даже если

сейчас их связь разорвана и вызывает только ужас. Не доказала ли драма со Стюартом правильность и реальность этой открывшейся связи и необходимость их брака с Гарри, позволявшего покончить с уловками и ложью? Может быть, разрыв с Гарри приведет к очищению, после чего она вернется к нему — верная, целеустремленная, избавленная от стыда. Или Гарри остался в прошлом? Неужели Мидж приняли назад, отринув, как случайность, все шокирующее, революционное, абсолютно новое? Такими сложными и приятными, краткими, но ясными были ее мысли, рожденные неловкими словами Эдварда и его обществом. После парализующего отчаяния и страха разум Мидж метался, как птица, рвущаяся на свободу. «Я ищу выгоды? — спрашивала она себя. — Я умею извлекать выгоду? Если я останусь с Томасом, то смогу дружить со Стюартом. Если уйду к Гарри, это будет невозможно. Если я оставлю Томаса, то мне, видимо, придется драться за Мередита. Я никогда по-настоящему не задумывалась о… чувствах Мередита. Гарри всегда говорил, что с ним все будет в порядке. Да, Мередит — абсолютная ценность, а Стюарт — нет. Эдвард сказал, что я должна держаться за реальные вещи. Он имел в виду Мередита и Томаса. Да,

они реальны. Стюарт был мечтой. Гарри был…»

Неужели Стюарт навсегда убил ее любовь к Гарри? А может быть, ее вечные отсрочки и увертки доказывали, что она недостаточно любила его? Могла ли она принести ради Гарри такую жертву — погубить свой дом, свою семью? Нет. И этот долгий роман не разрушил ее дом и ее семью. А Томас… Неужели она не любила его? Да. Господи, теперь она обдумывает, прикидывает, взвешивает и видит все, кроме самого главного: почему она вдруг стала видеть мир в новом свете. Когда дошло до дела (но почему именно теперь?), Гарри, как и Стюарт, превратился в сон, в нечто невозможное. Разве она не знала этого всегда? Два последних жутких года (они в самом деле были жуткими) доказали это. Неужели любовь и радость не были настоящими? Что ж, теперь все прошло. А когда вдруг появился Томас, она поняла, что ждала его — такого нежного, спокойного, совсем не страшного, любящего Томаса. Он тоже много думал, приближаясь к ней в своих мыслях, и эти размышления в нужный момент соединили их. (Так сказал ей позднее Томас.) Он даже попросил прощения, поцеловал ее руку. То, что он поцеловал ее руку, произвело на Мидж сильное впечатление. Они обнялись, и Мидж

заплакала, всплакнул и Томас. А после этого они проговорили несколько часов. И Мидж поняла, что ее решение уже принято.

«Я обманывала мужа, — думала Мидж, — а теперь предала любовника. Я вручила его Томасу, связанного по рукам и по ногам, беспомощного, с кляпом во рту, я не взглянула в его умоляющие глаза. Я рассказала все Томасу, как историю катастрофы, словно я была в плену и вырвалась на свободу (мне и правда казалось, что я выхожу на свободу, я и правда почувствовала себя свободной), словно со мной случилось что-то ужасное, чему он должен сочувствовать — и он посочувствовал. Он сделал больше. Он предусмотрительно защитил меня, чтобы я не могла испытать стыд или негодование из-за того, что пришлось рассказывать. Он заставил меня открыть *все*, но это *все* изменилось, превратилось из черного в белое, как только слова вышли из моего рта. — Перед мысленным взором Мидж возникла картинка: черные шары, появляющиеся из ее рта, превращаются в белые леденцы, белый хлеб, белых мотыльков, голубей. — Я думаю, именно это и происходит, когда человек приходит исповедоваться к священнику. Вот так я и предала Гарри. Я продала его ради собственной выгоды. Но у меня

не было иного выхода, я убедила себя, что другого пути нет, что именно этого я хочу больше всего. Когда я говорила с Томасом, я знала, что люблю его и всегда его любила, а моя нелюбовь к нему была лишь необходимым притворством. А может быть, я просто влюбилась в него заново. Отказ от лжи все изменил, но, конечно, не вернул в прошлое. И если бы я отказалась от этой возможности, я бы переделала себя и дьявол забрал бы меня в ад. Почему я думаю об этом, неужели Томас внедрил эти мысли мне в голову? В ней, помимо этого, есть и другие странные вещи. Неужели они — порождение шотландско-еврейского ума, полного чудовищ? Или это мои собственные монстры? Я больше не должна бояться, но эта боль сильнее всего. Конечно, я рассказала не все, а поскольку мой рассказ превращал случившееся во что-то иное, то, может, я вообще ничего не рассказала. И конечно, Томас и это понимает. Он знает, когда нужно надавить, когда держать железной хваткой, когда ослабить ее, сделать все легким и воздушным, когда отойти на большое расстояние, чтобы он был виден лишь как крохотная фигурка размером со спичечный коробок. Я думаю, что именно за этот ум — или мудрость, не знаю, — я его и люблю. Но он думает, что был

глупцом, потому что не догадался, а мне невмоготу думать об этом… И вот он передо мной, закончил стричь газон и натягивает сетку для бадминтона. Как это случилось? — недоумевала она. — Ведь оно все-таки случилось. Или мне все еще грозит опасность? Должна ли я до конца понять почему и как, и только тогда опасность минует? Неужели в конечном счете все дело в инстинкте? Когда Томас поцеловал мне руку, я уже все знала наперед. Вероятно, объяснить это невозможно, невозможно рассказать кому-то полную правду или увидеть ее самой. Для этого и существует Бог — он преобразует нашу ложь в истину, заглядывая в самое сердце. Но знать этого нам не дано. Ведь я обманула Томаса, я сказала ему все, кроме одного. Это не что-то конкретное, не факт, но я утаила кое-что, спрятала, как драгоценный бриллиант. Я подарила ему ларец, но вытащила оттуда кое-что. Томас знает об этом, но не скажет, он будет просто наблюдать. И я ввела в заблуждение Стюарта, сказав, что больше не люблю Гарри и что Стюарт убил мою любовь к нему, тогда как на самом деле он убил или искалечил мои сексуальные желания. А они возвращаются. Как все странно теперь — словно я вдруг научилась видеть все в моей жизни, не совсем в фокусе,

но довольно ярко. Я могу сидеть здесь сложа руки и рассматривать свою жизнь. Как будто мне больше ничего не надо делать, Томас и Мередит все сделают сами. Я по-прежнему люблю Стюарта, но какой-то субъективной любовью, я не хочу застрелиться и упасть к его ногам. Я испугала его, бедного мальчика. Томас сказал, что Стюарт был «негативной личностью», катализатором. Хороший катализатор — полезная вещь, сказал он. Он сказал, что я сама напялила все это на Стюарта, как ослиную голову[66]. Он сказал, что через какое-то время мне нужно написать ему доброе письмо. Стюарт захочет, чтобы все было хорошо, я ему помогу, и между нами образуется связь».

Такие слова говорила себе Мидж для утешения, чтобы успокоить и очистить ум, пока ее мучила эта ужасная боль. Потому что тайна, которую она все еще несла в своем сердце, состояла в том, что даже сейчас ничто в мире не мешало ей вернуться к Гарри. Его любовь по-прежнему ждала ее, как большой теплый дом, как бескрайний, прекрасный, солнечный ландшафт. Ее любовь тоже была жива, она сжалась в крохотную радиоактивную капсулу, опухоль, драгоценный камень или ка-

[66] Примечания: 66

Видимо, имеется в виду образ из комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», см. акт III, сцена 1.

пельку яда.

Конечно, эта капля будет медленно терять свою энергию, увядать и превратится в ничто или, скорее, в некий узнаваемый, но безобидный кусочек материи. Но сейчас стоит произойти незначительному сдвигу частиц, направляющих события, — и она может оказаться далеко-далеко. Сидеть с Гарри в кафе на юге Франции и смотреть на море, или на каком-нибудь греческом острове, или в необыкновенно белом итальянском городе, раскинувшемся на вершине холма. Банальность собственного воображения заставила ее тяжело вздохнуть. Нет, ее великая любовь была сделана из другой материи, и теперь она целиком превратилась в боль. Когда Мидж сделала выбор, у нее появилось пугающе много свободного времени, чтобы заново открыть свою прежнюю привязанность и пережить ее еще раз, в одиночестве. Томас в этом тайном месте не мог ей помочь, хотя видел ее страдание и был деликатен и мягок, учитывая его. Он понимал, где заключено это страдание, и наблюдал за ним своими холодными голубыми глазами. Стюарт сказал, что, если она перестанет лгать, она осознает, что живет в раю, будто, когда человек прекращает лгать, он возвращается домой и становится счастливым.

Все, однако, было не так просто и происходило не так быстро, хотя Мидж понимала, что в будущем появится некая легкость, отсутствовавшая в ее жизни в течение двух лет. Будь терпелива, сказал ей Томас, будь спокойна, не позволяй несчастью делать тебя несчастной. Пусть оно придет к тебе. Прими его! Иногда несчастье поглощало ее, ее существо пожирало само себя, ее клетки инфицировались и превращались в злокачественные. Она написала Гарри. Она не сказала об этом Томасу, но он знал. Она написала коротенькое письмо — длинных она писать не умела, — где сообщила, что их роман закончился и они должны расстаться, что они уже расстались и ей горько, что это случилось. Пытаться объяснить что-либо было бесполезно. Но когда она перечитала свое письмо, оно оказалось именно таким, как ей хотелось, — абсолютно ясным. Она сразу же получила ответ от Гарри (о чем не сказала Томасу, не знавшему об этом) и спрятала в своем туалетном столике.

Мидж сидела у окна, все ее тело расслабилось. Она была больна и ждала сигнала о выздоровлении, которое происходило постепенно, словно какие-то легкие прикосновения излечивали ее плоть и израненную душу. Что ж, она может подождать, отдышаться, проявить терпение, как

советовал Томас. Она будет готовить и убирать дом, приносить цветы и осознавать, что добрые дела, которые она некогда сочла своим призванием и долгом, в конечном счете обернулись привычными обязанностями перед семьей и домашней рутиной. Она бы не пережила этот разрыв, это дезертирство, это бегство, представлявшиеся ей такими прекрасными прежде, пока их перспектива оставалась туманной; не смогла бы уйти от Томаса, разделить пополам Мередита, покончить с прошлым и зажить новой свободной жизнью с Гарри. Все это казалось возможным только потому, что на самом деле было невероятно. Несбыточная мечта, фантазия, сосуществующая с реальностью, эту самую фантазию не допускавшей. Ну разве могла Мидж так поступить с Мередитом: поставить его перед выбором, кого из родителей предпочесть? Мучительные неловкие посещения, тихо отъезжающая от дверей машина, родители, которые не общаются друг с другом; молчаливое одиночество, это ужасное подчеркнутое безразличие и уход в себя. Порой такой судьбы не избежать, но в данном случае она была бы ничем не оправдана.

«Жаль, что он узнал, — подумала Мидж. — Но он все равно узнал бы об этом, не сейчас, так поз-

же. И он стал таким взрослым, у него такие умные понимающие глаза. Как разумно и дружно они с Томасом стараются окружить меня любовью и (что кажется невероятным) благодарностью. Томас говорит, они ни о чем не договаривались заранее, и я ему верю: они не обменялись ни словом. Как же они похожи!»

И она улыбнулась, потому что не только ради Мередита отказалась от того, чье обаяние и красоту не отваживалась теперь вспоминать, — она сделала это и ради Томаса. Мидж пыталась возненавидеть Томаса, чтобы собраться с силами и бросить его. Она уже не могла вообразить то свое душевное состояние. Теперь она освобождалась и открывала в себе старые чувства к Томасу, точнее, осознавала их по-новому, словно вернулась и увидела, как они выросли, развились, облагородились и окрепли. Неужели она раньше не знала, что Томас лучше, сильнее, привлекательнее, интереснее? Томас выиграл эту игру.

«Я была влюблена, — думала Мидж. — Я сошла с ума, но я была влюблена. Это опыт самопознания, как *он* когда-то говорил; разве не честно называть это мечтой?» Но в жизни не для всего найдется место, и для этого места не нашлось. Неужели долгая ложь отняла у них все шансы? А

если бы они открылись Томасу сразу, как только все началось? Но начало было таким восхитительным, таким всепоглощающим, что говорить о чем-то было невозможно. Одно невыразимо прекрасное настоящее, а будущего не было, настоящее стало будущим. Поэтому они не могли ни думать о чем-то, ни планировать. А потом структура лжи выстроилась, и признание каждый раз оказывалось совершенно невозможным и одновременно желанным. Они оба ждали какого-то знака. Ну вот, наконец знак был дан. Жалела ли Мидж по-прежнему, как эти два года, о том, что не встретила первым Гарри, что вышла за Томаса и жизнь ее сложилась так, а не иначе? Это сожаление, прежде представлявшееся насущным, теперь поражало своей пустотой. Но прошлое неопровержимо, его нельзя уничтожить. Может быть, в один прекрасный день она начнет испытывать к прошлому сентиментальные чувства? Она не забудет, что любила Гарри, и эта любовь со временем станет безобидной. Пока возможность соединения с Гарри сохранялась, она была отвергнута, но активна, как недоброкачественная, но излечимая опухоль. Это звучало пугающе, ведь опухоли иногда убивали тех, на ком паразитировали. «Смерть возможна,

но от этого я не умру», — думала Мидж. Смерть была повсюду, ее лучи падали на нее, и на тех, кого она любила, и на все в мире. Мидж вспомнила свой сон про белого всадника и странное влияние Стюарта, приведшее к разрушению ее привычной жизни, уничтожению естественных желаний, ощущению полной заброшенности и при этом — неземного блаженства. Она поняла, что напряжение чувств прошло, стало далеким и даже нелепым, но уже не забудется никогда.

Солнце садилось, и тень бука закрыла большую часть газона, на котором Мередит и Томас играли в бадминтон — с энтузиазмом, но очень плохо. Вот пес Мередита, очень забавный щенок лабрадора золотистой масти, ухватил волан. Игроки со смехом бросились отнимать его, а Мидж в этот момент заметила какое-то движение на небе. Там летел воздушный шар в сине-желтую полоску; она уже видела его прежде и теперь почувствовала прилив радости, вспомнив, какой несчастной была тогда.

Мидж отошла от окна, выдвинула ящик туалетного столика, вытащила оттуда пару чулок, в которой спрятала письма Гарри. Ей захотелось перечитать его.

Я не могу принять и не приму то, о чем ты

пишешь. Пожалуйста, не предавайся иллюзиям. Я не соглашусь, а ты говоришь несерьезно. Это, как ни странно, мое первое любовное письмо к тебе. С того самого дня, когда на вечеринке у Урсулы мы заглянули друг другу в глаза, отвернулись, потом заглянули снова и все поняли, мы были так близки, так часто встречались, что могли обходиться без писем. Я хотел тебе писать, чтобы смирить боль от твоего отсутствия, но ты слишком боялась Томаса. Теперь это не имеет значения, мне безразлично — пусть Томас прочтет мое письмо. Я тебя люблю, я тебя люблю, ты принадлежишь мне, я тебя никому не отдам. И ты любишь меня, ты не любишь больше никого. Не обманывай себя, моя дорогая, моя королева, не останавливайся, когда дорога для нас открыта. Я люблю тебя, я живу твоей любовью и в твоей любви, вся моя жизнь основана на ней. Мне приходилось ждать тебя день за днем, но когда ты возвращалась, я снова оказывался в раю. Мы оба надеялись, что придет время и мы будем жить в вечности — только мы с тобой, вместе навсегда. Колени у меня подгибаются, когда я думаю о тебе, я лежу, распростершись на полу, как это было в тот первый день. Ты понимаешь, как редко это случается — совершенная взаимная любовь? Я бу-

ду почитать тебя своим телом[67]. Мы знаем то, что дано лишь немногим, — идеальное счастье, идеальное блаженство. Отрицать это было бы злонамеренной ложью, не похожей на ту ложь, к которой прибегали мы, чтобы защитить себя и нашу драгоценную любовь. Та ложь претила нам, она отвращала меня и никогда не исходила от меня. Я должен был остаться с тобой и в тот день, когда появился Томас, когда он узнал обо всем. Я сожалею, что не сделал этого, я виноват, я струсил, страх перед Томасом парализовал нас. Так перестанем же бояться, в этом больше нет нужды. О моя любимая, моя дорогая, единственная, все мое существо стремится к одному — не повредить тебе, я буду сражаться с демонами, с самим Богом, чтобы защитить тебя. Ну я, кажется, обвиняю тебя. Да, я тебя обвиняю — в неверности, вероломстве, недостатке мужества; тебе не хватило мужества в тот момент, когда оно больше всего необходимо, когда оно драгоценно. Мы близки к счастливому концу нашей истории, к достижению того, к чему мы стремились, за что страдали, на что имеем право — это

[67] Примечания: 67

«Этим кольцом беру я тебя в жены, я буду почитать тебя своим телом» — часть традиционной клятвы жениха при венчании в некоторых христианских конфессиях.

наша общая свобода. Ты испытала шок, даже два: один — когда о нас узнал Томас, второй — когда ты немного сошла с ума в отношении Стюарта, но я надеюсь и верю, что все уже прошло. (Я никак не мог тебе поверить, не мог поддержать. И теперь я понимаю, что отнесся к этому слишком серьезно!) Возможно, тебе кажется, что нужно отдохнуть. Но, моя любовь, мой ангел, момент для отдыха сейчас совсем неподходящий. Мы должны работать. Мы должны построить наш дом, где мы будем жить вечно, как боги, где мы поднимем наш непобедимый флаг — ты ведь помнишь о нашем флаге? Мидж, не медли, не предавайся лени, я не могу поверить, что ты сознательно предпочтешь второй сорт, даже десятый — первому! Если ты так сделаешь, то потом горько пожалеешь, ты проведешь годы в пустоте и одиночестве. С Томасом ты быстро состаришься, потому что он уже стар. Не позволяй банальной слабости и бессмысленной привычке (она теперь абсолютно бессмысленна, разве ты не понимаешь?) разделить нас хотя бы на один лишний день. Я жду тебя каждый час, каждую минуту. Мы возьмем к себе Мередита, он будет наш, как мы договорились. Не бойся! Ведь он с радостью предпочтет нас — наше сча-

стье, наше упоение, нашу свободу — аскетизму и тупой грубой шотландской меланхолии того мира, к которому принадлежит Томас. Томас меланхолик. Мы можем поселиться где угодно — в живописных краях, где светит солнце, ты ведь всегда этого хотела. Мы можем поехать на Восток. Ты говорила, что Мередит очень хочет побывать в Индии. Он может поехать в Индию с нами. Мы будем счастливы втроем, мы будем счастливой семьей, мы будем радоваться жизни. Мы не будем жить во мраке. Не откладывай, не лишай себя этих прекрасных вещей — их так много, и ты жаждешь их в глубине души. Послушай меня и следуй своим желаниям, своим собственным желаниям. Не только абсолютная гармония наших сливающихся тел — пусть они говорят за нас, — но и целая вселенная роскошного, благословенного, разнообразного и нескончаемого счастья для нас и для Мередита… Моя прекрасная любовь, я целую твои ноги и умоляю тебя покончить с этой мукой неопределенности. Я чувствую, что умру от боли, умру оттого, что тебя нет со мной. Представь, как это будет, когда ты бросишься в мои объятия и мы наконец сможем уйти вместе, без лжи, не боясь разоблачения. Неужели ты не понимаешь, что нам даровано то,

что мы не могли решиться взять сами? Нам дали нравственное разрешение делать то, чего мы хотим. И не чувствуй себя виноватой по этому поводу. Ты никому не принесешь вреда, разве что amour propre[68] Томаса. Он, как ты сама однажды сказала, умеет глубоко чувствовать, но не тогда, когда дело касается его брака. Но если ты уничтожишь меня… нет, я не убью себя и не умру от горя, я буду жить дальше и, возможно, даже попытаюсь полюбить кого-то еще. Но другая любовь будет лишь тенью, жалким подражанием той реальности, которой мы достигли вместе, этой меняющей мир уверенности, которую мы с тобой разделяли, моя принцесса, моя нежная, моя дорогая возлюбленная, моя единственная и неповторимая. Мидж, никто в мире не сделает тебя такой, какой тебя сделаю я.

Я не должен был отпускать тебя, я на коленях прошу у тебя прощения за эту и за все остальные мои невольные ошибки. Я не должен был оставлять тебя, когда все раскрылось. Это безумие со Стюартом встало между нами, как облако, в самый критический момент, будто какой-то дьявол — может быть, из глубин сознания То-

---

[68] Примечания: 68
Самолюбию *(фр.)*.

маса — явился и запутал нас. Если бы не это, ты бы прибежала ко мне в тот же миг, в ту же секунду, когда Томас все узнал. Твоя сумасшедшая одержимость моим сыном, такая странная и мучительная, выбила меня из колеи. Как я теперь понимаю, она произвела на меня слишком сильное впечатление, я не должен был этому верить. Это была невротическая фантазия, и ты погрузилась в нее, вместо того чтобы сделать все необходимое для расставания с Томасом. Приди ко мне, и мы будем жить так, как ты всегда хотела, — в истине и свете. Боже мой, как я тебя люблю. Во мне нет ничего, кроме этой любви. Не разрушай меня, Мидж.

Г.

Мидж перечитала письмо со слезами на глазах. Оно ужасно ее тронуло. Гарри словно предстал перед нею во всей полноте его нежности, красоты и обаяния, всей требовательности его любви. Он был прав — они идеально подходили друг другу. Но из этого не следовало, что они могли бы быть счастливы всю жизнь, а ведь именно в счастье заключалась суть дела. Да, конечно, еще в правде и доброте, но счастье… оно было самым главным… Даже сейчас, пока Мидж была так больна, она испытывала счастье при виде

радостных Томаса и Мередита. Они с Гарри обманывались относительно их общего будущего, они преуменьшали важность Томаса и Мередита. Между строк этого письма, такого трогательного и взволнованного, она прочитала: Гарри понимал, что их договор разорван, хотя не мог точно определить почему. Мидж тоже точно не знала, как и когда произошел разрыв. Было ли это «облако», связанное со Стюартом? Облако, которое появилось так внезапно и так странно изменило ее. Безусловно, Стюарт был симптомом или знаком, но не причиной. То, что Гарри написал о Мередите, не соответствовало действительности. Это почти ложь, в которую он хотел верить. Слезы полились из глаз Мидж — слезы расставания с чем-то прекрасным, что неизбежно должно было закончиться. Оно ушло в прошлое, теперь оно померкнет и уже не будет вызывать таких чувств, как сейчас. Могла ли Мидж противиться такому любовнику, могла ли она отвергнуть его? Ей повезло: когда все закончилось, она оказалась там, откуда так и не ушла, — в мире невинной любви. Бедный Гарри, он поставил на кон все, что у него было, а она кое-что припрятала. С другой стороны, именно из-за этого она проиграла и привела к проигрышу Гарри. Думать об этом

было нелегко.

Письмо пришло три дня назад, и Мидж поначалу намеревалась сразу же уничтожить его. Но не смогла, хотя и боялась, что Томас найдет послание или у нее возникнет искушение прочитать его еще раз. Теперь она перечитала письмо уже несколько раз. Вчера она с отчаянно бьющимся сердцем побежала на почту, чтобы отправить записку: «Нет, прости меня. Нет». Когда она сделала это, ее пронзила мысль: «Гарри непременно найдет кого-то, и я буду долго страдать от ревности. Мои мучения не кончаются, они только начинаются». Ее собственная рука чуть не взбунтовалась, попытавшись выудить письмо из почтового ящика, когда Мидж представила, как Гарри открывает конверт и какое письмо она могла бы написать вместо этого. Но дело было сделано, и она почувствовала себя лучше, свободнее, как не бывало вот уже два года; она почувствовала себя собой. Письмо Гарри пора уничтожить. Мысль о том, чтобы хранить его и время от времени перечитывать, была невыносима. Это мертвое письмо. Она убила его.

Мидж отнесла письмо вниз и сожгла в камине. Она только закончила растирать пепел подошвой и стояла, глядя на каминную решетку, когда

появился Томас; она тут же отошла в сторону.

Томас, конечно, нашел и прочел письмо вскоре после его прибытия. Он понял, что она сделала, увидел следы слез и посмотрел на нее с особенной нежностью и гордостью.

— Томас…

— Да, дорогая…

— Если ты оставляешь работу, нам хватит денег, чтобы съездить в Индию с Мередитом?

— Не вижу причин, почему бы нам их не хватило.

Томас — возможно, тут дело было в его шотландской крови — на самом деле был гораздо состоятельнее, чем говорил, в том числе и своей жене.

Томас пребывал в необычайном душевном состоянии. Оставаясь один, он смотрел на себя в зеркало и даже корчил гримасы. Он шпионил за женой и, глядя на нее через окно, заметил выражение трогательного животного удовольствия на ее лице, когда она ела творожный пудинг. Он ходил за ней следом, как лесник за больным животным. Он ждал, когда появятся симптомы выздоровления. Он понимал, что его обобщенное представление о человеческой психике не выдержало проверки практикой. Луч науки

освещал очень мало из того, что касалось отдельной личности, а мешанина из ученых теорий, мифологии, литературы, отдельных фактов, сочувствия, интуиции, любви и жажды власти, известная под названием «психоанализ» (иногда все-таки помогавший людям), порой приводила к удивительным ошибкам, если не двигаться проторенным путем. Случайные догадки, подстегиваемые тайными желаниями, могли увести далеко в сторону. Самой непредсказуемой личностью, с какой Томасу доводилось сталкиваться, был он сам. Зачем ему потребовалось убегать из дома после разговора с женой и предъявления доказательств ее неверности? Он произнес несколько холодных слов и бросил ее. Его вдруг озаботила проблема собственного достоинства. Он даже напомнил Мидж об ущербе для своей практики, но не потому, что это волновало его или он думал, будто что-то подобное произойдет, а для того, чтобы возвести между ними барьер иронии и практических соображений. Не только защитить себя, но и причинить боль ей. Томас не в силах был остаться и приступить к выяснению отношений в виде криков, приказов и мольбы; это категорически не соответствовало его характеру, и он не мог измениться под воздействием

обстоятельств. Он не был способен на какую-либо непосредственную реакцию еще и потому, что сразу же провалился в бездну отчаяния. Он испытал потрясение, когда понял, что другой мужчина (менее дисциплинированный, менее доверчивый, менее самоуверенный, менее погруженный в себя) на его месте обнаружил бы измену жены гораздо раньше. Это потрясение было очень сильным и совершенно новым, оно парализовало самые глубокие и неискушенные части его личности. Он чувствовал, что должен побыть один, прийти в себя и обрести способность с достоинством и рациональным спокойствием пережить крах своего брака.

Гарри делал вид, будто считает его холодным, безразличным к жене, готовым расстаться с ней. Мидж вроде бы говорила, что он лишен чувства юмора и нежности, что он скучен. Может быть, она действительно говорила все это, провоцируемая Гарри. Он мог представить себе, как они инстинктивно объединяли усилия и защищались, принижая его. Томас решительно запретил себе воображать подробности этих двух лет. В этом не было никакой необходимости, и он мог, не обманывая себя, сказать: есть непостижимые тайны, которые следует оставить в покое, или,

по старинному выражению, «оставить Господу». Его воображение, даже если он не позволял себе никаких вульгарностей, легко пускалось во все тяжкие и порождало невероятные картины. Это было проявлением доброты по отношению к Мидж — не преследовать ее мысленно, не загонять ее в это пространство, пугающее для него и мучительное для нее. Он, конечно, еще встретится с Гарри. Их жизни связаны посредством других жизней: Эдвард был племянником Мидж и кузеном Мередита. К тому же Томас вовсе не хотел навсегда потерять Гарри. Он представлял себе, как мучительно и невыносимо это для Гарри: узнать, что его любовница увлеклась его сыном. Поможет ли Томас Мидж когда-нибудь — может быть, скоро — установить легкие, дружеские отношения со Стюартом? Будут ли они встречаться все вместе, справятся ли они со своими чувствами? Томас надеялся на это. Будущее, с которым придется смириться, пока лежало во мраке.

Томас не боялся. Он разрешил себе быть счастливым, и порой ему хотелось кричать от счастья. Такое положительное осознанное счастье было в его жизни явлением редким. Терпеливо, без давления и почти без слов, он восстанавливал отношения с Мидж, возрождал свою и ее любовь,

а иногда чувствовал, как ее ищущие пальцы в той же тьме ищут его руку. Он не сомневался, что она вернется, и на какое-то время смирился с ролью тактичного наблюдателя ее горя и медленного выздоровления, позволяя своему счастью направлять ее и заботиться о ней. В этом деле Мередит стал его ближайшим бессловесным телепатическим сообщником. Так они исцелят ее. Мередит чувствовал радость и облегчение, и они отражались в неугомонных играх его щенка, были постоянным источником его уверенности в себе. Мередиту нравилась новая школа, он рос, он отличался умом и мудростью. В этом тоже было будущее. Томас понимал, что избежал страшной катастрофы и теперь мог продолжать плавание, с каждым днем все более безопасное. Его время было заполнено заботами и происшествиями, уже никак не связанными с авралом недавнего прошлого. Таким образом, происходили другие события, продолжалась обычная жизнь. Однако произошло нечто весьма необычное. В иной ситуации это событие целиком поглотило бы мысли Томаса и даже теперь стало поводом для немалых тревог. Оно было связано с мистером Блиннетом.

Непосредственной причиной внепланового приезда мистера Блиннета в Куиттерн стала бес-

прецедентная и внезапная отмена их следующей сессии. Это потрясение основ жизни мистера Блиннета вызвало перемены в его душевном состоянии, которые могли бы случиться сами по себе, а могли бы и никогда не проявиться. Метнувшись к машине пациента, Томас сразу же попытался убедить его уехать обратно в Лондон, обещая через несколько дней встретиться, как обычно. Мистер Блиннет не согласился. Тогда Томас пригласил его в дом и угостил чаем в надежде, что он успокоится и уедет, потому что было очевидно: мистер Блиннет пребывал в весьма расстроенных чувствах. Он даже снял шляпу. Томас тоже пребывал в расстроенных чувствах, отчего был вынужден подняться наверх и причесаться. Потом, поскольку ему захотелось выпить, он предложил выпить и мистеру Блиннету. Вскоре после этого мистер Блиннет начал предаваться воспоминаниям о прожитой жизни на языке, каким не пользовался никогда раньше. Из всего сказанного вытекало — и Томас постепенно уверился в этом, — что мистер Блиннет в самом деле совершил серьезное преступление, а наиболее проработанная часть истории его умственных нарушений была инсценировкой. Томас, словно в кино, видел бледное округлое лицо своего

пациента, оно менялось на глазах, пока мистер Блиннет не стал совершенно иным человеком: умным и преисполненным решимости сколь угодно долго обманывать своего психотерапевта, симулируя душевное заболевание. (Когда Томас выразил удивление, мистер Блиннет нетерпеливо воскликнул: «Да ведь обо всем этом можно прочитать в книгах!») Томаса весьма заинтересовало и спасло от полного смятения одно: мистер Блиннет вкладывал столько душевных сил в свои совершенно здравые фантазии, что они стали для него своего рода наркоманией; в этом чрезвычайно узком смысле мистер Блиннет был искренним. Этот случай стоил того, чтобы заняться его изучением.

В основу была положена идея, давным-давно выдвинутая и отвергнутая Томасом: тщательнейшая проработка юридической защиты, применяемая в том случае, если преступление раскрыто. Это вполне могло сработать, подумал Томас. Присяжные признали бы мистера Блиннета невменяемым. Томас вообразил себя в роли свидетеля, энергично и напористо защищающего своего пациента. Но достаточно ли умен мистер Блиннет, соответствует ли его преступлению та разновидность сумасшествия, которую он си-

мулирует? Психиатр, выступающий на стороне обвинения, мог поймать его на какой-нибудь роковой ошибке, на промахе, выдававшем его с головой. Томас уже пытался представить себе этот промах. Собственная доверчивость поражала его. Какая жалость, размышлял он, что невозможно опубликовать статью, посвященную данному случаю. Так или иначе, но после этого нелегкого сеанса оба ока-запись в затруднительном положении. Проблема состояла не в том, что Томас считал своим долгом позвонить в полицию. Профессиональная этика позволяла ему спать спокойно. Характер преступления мистера Блиннета делал опасность рецидива маловероятной, практически исключал ее. Мистер Блиннет не представлял угрозы для общества, а в карательное правосудие Томас не верил. Проблема была в том, что их доверительные отношения, гарантированные и охраняемые этикой и духом психотерапии, теперь перешли в иную область обыденной жизни, что обусловливало новые обязательства, новые трудности, новые эмоции. Никаких разговоров о «переносе» теперь и быть не могло. Мистер Блиннет был влюблен в Томаса. Томас приобрел нового друга, близкого друга, которого не мог бросить. Маска навязчивого безу-

мия, изначально притворного, а впоследствии вошедшего в плоть, была сброшена, и в глазах мистера Блиннета засветился интеллект. «И что мне с ним делать?» — недоумевал Томас. Сказать, что он выздоровел, и представить обществу? Но мистер Блиннет не планировал избавляться от своего целителя. «И что же мне делать?» — думал Томас. Что ж, это тоже принадлежало будущему и другой истории.

«Нет, это бессмысленно, — думал Эдвард. — Илона сказала, что это телепатия, но телепатией тут ничего не объяснить. Миссис Куэйд могла прочесть мои мысли, мое беспокойство о Джессе… Но я о нем тогда не беспокоился. Значит, это не зависит от времени, так? И она, конечно, знала Сигард, так что тоже думала об этом. Но ее телевизор? Это могло быть простым совпадением — показывали какую-то старую запись с Джессом, или у миссис Куэйд была кассета, а я домыслил фон — море, устье реки, места, о которых я думал и куда собирался, и тут меня сморил сон. Я ведь и в самом деле уснул, правда? Что касается тела Джесса, то устье реки — самое очевидное место для поисков. Этому делу сопутствует какое-то странное чувство. Оно сильное и ясное, но вспоминается с трудом, как сон. Но я не должен об

этом беспокоиться. Я беспокоюсь, поскольку мне хочется думать, что все устроил Джесс, а это уже несусветная чушь».

— Да, кстати, Эд, — сказал Стюарт. — Там для тебя письма наверху. Гарри сунул их в ящик стола в твоей спальне. Извини, мы вчера забыли тебе сказать.

Эдвард и Стюарт снова были дома, снова вместе с Гарри в Блумсбери. Эдвард вернулся предыдущим вечером, открыл дверь своим ключом и тихо вошел. Он услышал разговор Стюарта и Гарри в кухне. Они были рады его видеть и не стали приставать с вопросами. Они покормили его. Он рано улегся и сразу же уснул; сквозь сон смутно почувствовал, как зашел Стюарт, посмотрел на него и выключил свет. Проснувшись утром, он ощутил, что никогда еще не спал так долго и так крепко. Он не запомнил снов, но, судя по всему, ему что-то снилось; он словно провалился в какую-то глубокую черную теплую яму. Радость возвращения домой, совершенно неожиданная, тронула его сердце. Глядя на добрые удивленные лица отца и брата, он с облегчением понял, что они вовсе не сердятся на него, как он боялся. Почему? Потому что он убежал, исчез, отказывался от их помощи, поссорился с ними, убил кого-то.

Он убежал к Томасу, потом к… Но теперь все это было кончено. Он начал сначала, у него не осталось никаких дел, кроме как найти Брауни и быть с ней — рассказать ей все, сбросить груз своих тревог ей под ноги. Он думал об этом, поднимаясь по лестнице в свою комнату, где провалился в яму сна.

После возвращения из Сигарда Эдвард провел еще две ночи в своем прежнем жилище, в той комнате, в ожидании Брауни. От бессмысленной траты времени и из-за отсутствия Брауни он впал в тоску и безумие, а когда стало темно, стал думать о Джессе, который лежит там один под своим камнем между тисами. Он представлял, что Джесс лежит с открытыми глазами и тихо дышит. Потом он вспомнил искалеченное тело Марка Уилсдена, которого кремировали. Эдвард лег в кровать измученный, но уснуть не мог. На следующий день ближе к вечеру он отправился домой. Когда он вошел в знакомый дом и услышал знакомые голоса (отец и старший брат внизу в соседней комнате разговаривали о совершенно других вещах), ему стало спокойно, как в детстве, хотя он все время боролся с этим чувством. Азалия, которую Мидж подарила, чтобы «приободрить его», хотя и отцветшая, снова заняла

свое место в его спальне — маленькое зеленое деревце. По пробуждении Эдвард почувствовал себя сильным и способным принимать решения. Он решил, что пойдет в дом миссис Уилсден и спросит про Брауни. У него не осталось ничего, кроме Брауни, только она напоминала ему о его миссии, его испытании, его наказании, и это стало для него самым главным, потому что от этого зависело все.

— А где Гарри? — спросил Эдвард.

Он приготовил себе кофе на кухне, а потом обнаружил Стюарта, который читал в гостиной. Солнечные лучи проникали в зеленую комнату, выбеливая зеленые панели, которые выцветали на глазах; солнце сверкало на позолоченных купидонах, державших зеркало Ромулы. Стюарт сидел в похожем на короб кресле рядом с роялем и читал книгу. Эта атмосфера сразу же вернула Эдварда в прошлое. Был первый день летних каникул. Свобода, никаких дел.

— Он у себя в кабинете, — ответил Стюарт. — Звонит своему издателю.

— Издателю?

— Да. Здорово, правда? Он написал роман, и его собираются издать! Он звонит в Италию; у издателя вилла на Неаполитанском заливе с видом

на Везувий.

— Я тоже когда-нибудь напишу роман, — сказал Эдвард, — и у меня будет вилла в Италии или, по крайней мере, у меня будет знакомый с виллой в Италии.

— Как ты, Эд? Получше?

— Не знаю еще. Я был в Сигарде.

— Прими мои соболезнования. Жаль Джесса.

— Да. А что с Мидж?

— Она в Куиттерне с Томасом. Похоже, она дала Гарри от ворот поворот.

— Знаешь, я никогда не понимал этой истории. Значит, мы все опять дома. И что ты собираешься делать?

— Я решил — буду школьным учителем.

— Только и всего?

— Но сначала нужно поступить в подготовительный колледж, у меня есть грант и…

— Вот как. Здорово. Ну, я пойду — почитаю, что там за письма.

Эдвард взбежал по лестнице в свою комнату, нашел письма в столе, сел на кровать и разложил их перед собой. Он надеялся увидеть почерк Брауни, но не нашел его и взял в руки неподписанную открытку от Илоны с видом Эйфелевой башни: «Скоро вернусь, надеюсь, увидимся. Твоя

любящая сестра». Рядом лежали несколько конвертов с адресом, напечатанным на машинке, два письма от миссис Уилсден и еще одно. Почерк на конверте показался Эдварду смутно знакомым. Он вскрыл это письмо первым.

Мой дорогой Эдвард!

Я решила написать, как мы все восхищены тем, что ты сделал для Мидж. Она рассказала мне обо всем по телефону. Ты сделал именно то, что требовалось, ты был спокоен и мудр, ты дал ей «пространство для маневра», по ее словам, а это огромный дар для того, кто попал в столь тяжелую ситуацию! Она очень любит тебя, и ты был тем, единственным близким человеком, с кем она могла поговорить. Ты позволил ей разобраться в ее истинных чувствах. Тебе нужно стать психиатром — ты вполне можешь заткнуть за пояс Томаса! Ты сказал: «Послушайте, давайте разберемся вместе» — и разобрался. Когда ты посоветовал ей оставаться с Томасом, Мидж стало ясно, что именно так и нужно поступить. Молодец, Эдвард! Приходи ко мне поскорее, ладно? Мы с грустью узнали про Джесса Бэлтрама. Хотя ты его и не знал, наверное, тебе тяжело. Я надеюсь и верю, что тебе станет лучше. Время лечит, дорогой Эдвард, молодость лечит. Ты уже

достаточно созрел, ты должен понять, что это была не твоя вина, и простить себя. Все остальные давно тебя простили, а вернее, никогда и не винили ни в чем. Ты, наверное, уже знаешь нашу замечательную новость про Джайлса. Мы расскажем подробности при встрече. Уилли шлет наилучшие пожелания и надеется, что ты читаешь Пруста!

С самой нежной любовью к тебе, дорогой Эдвард,

твоя Урсула.

Эдвард бросил письмо на пол. Он не помнил, чтобы советовал оставаться с Томасом. Может быть, Мидж выдумала это потом. Он открыл два конверта с напечатанными адресами. В одном лежало приглашение на вечеринку от какой-то Виктории Ганн, в другом — приглашение на танцы от некой Джулии Карсон-Смит. Эдвард понятия не имел, кто это такие, и эти два письма тоже бросил на пол. Следующее было от Сары Плоумейн.

Дорогой Эдвард!

Прости меня за то ужасное письмо, намекающее на страшные вещи. Мне показалось, что я беременна, я решила сделать аборт и собиралась

написать тебе, что это ты во всем виноват и что теперь ты убил еще одного — нашего первого ребенка. Но тревога оказалась ложной, а ребенка, вызвавшего у меня такие кошмарные мысли, никогда и не было! Хотя с тех прошло немало времени, я до сих пор не могу оправиться от шока. Мои фантазии о ребенке были такими сильными (я даже решила, что мне следует узнать, как пользоваться подгузниками!), но я об этом никому не говорила и даже помыслить не могла, чтобы посоветоваться с тобой. Я считала, что это только мое дело, мое будущее, мой университетский диплом, моя жизнь. И я была сердита на тебя, потому что ты влетел в мою комнату, заварил всю эту кашу, потом с такой же скоростью вылетел и бросил меня. И ты не ответил на мое другое письмо, когда я чувствовала себя покинутой и писала, как я несчастна, но ты и бровью не повел! Конечно, теперь мне легче, потому что никакого ребенка нет, мне грустно — наверное, я бы все же сохранила его. Я тоскую по нему и чувствую себя так, словно он умер. В последнее время жизнь идет как-то наперекосяк, и я завидую тем, у кого все в порядке. Мама постоянно пребывает в возбужденном и негодующем состоянии в связи с мемуарами Мэй

Бэлтрам. (Наверное, и ты тоже! От дальнейших комментариев воздерживаюсь.) Она собирается писать собственные мемуары и большую книгу о феминизме. (Конечно, я ей не сообщала о том, что, как мне казалось, происходило во мне!) Я чувствую такое отчаяние. Я бросила курить. Знаешь, я думаю, это на мне сказывается смерть моего отца. Жаль, что он мне был почти безразличен. Будь я другая, у него могла бы появиться какая-то цель, я бы помогла ему полюбить жизнь. Эдвард, я бы хотела с тобой встретиться. Это не имеет никакого отношения к сексу, я сыта сексом по горло, и мне нужны друзья. Мне недавно пришло в голову, что секс мешает заводить друзей… по крайней мере, это справедливо по отношению к женщинам. Надеюсь, тебе хватит порядочности ответить на мое письмо. Я ведь ничего плохого тебе не сделала. Надеюсь, ты сумел преодолеть эту историю с Марком. Конечно же, я понимаю, что до конца невозможно и т. д. и т. п., но все равно в какой-то степени это преодолевается, как и должно быть.

С любовью,

Сара.

Эдвард перечитал ее письмо, смял и бросил на пол. Он собирался уничтожить, не читая, два

письма от миссис Уилсден, но потом решил, что надо все же взглянуть на них. Первое было привычным — миссис Уилсден начала повторяться. «Убийца… чернота… утрата… вечно…» Эдвард взял второе, вскрыл его, бросил беглый взгляд и уже почти бросил на пол, когда его мозг осознал то, что он успел прочесть.

Я написала вам немало страшных писем. Страшных писем, рожденных моим страшным горем. Я чувствовала, что вы должны в полной мере осознать то, что сделали. Мне сообщили, что вы осознали. Ничто не вернет мне сына. С такими вещами приходится жить каждый день, каждую минуту. Я не могла не писать вам тех писем. Теперь, кажется, необходимости в этом нет. Я знаю, что вы всю жизнь будете помнить случившееся. А я должна собрать свое горе, а не растрачивать его на обвинения. Меня попросили сказать, и вот я говорю искренне и с глубокой печалью, что прощаю вас. Может быть, бессмысленно говорить такие слова, но после всех прошлых писем я, кажется, должна произнести их если не ради вас, то ради кого-то или чего-то другого. Я представляю то состояние, в котором вы пребываете, и сочувствую вам. Как вы, возможно, знаете, я скоро уезжаю,

а когда подводишь итоги своей жизни, какой-то умиротворяющий жест не помешает. А за вас ходатайствовал ангел.

Дженнифер Уилсден.

Визит вашего брата принес некоторую пользу. Передайте ему.

Эдвард никак не мог поверить, что такое замечательное событие произошло на самом деле. Он еще раз внимательно перечитал письмо, изучая и взвешивая каждое слово. Да, это было хорошее письмо, благотворное письмо, приказ об освобождении. Упоминание о Брауни могло быть открытой дверью. Дверь! Теперь он мог прийти туда в любую минуту. Постучать в дверь миссис Уилсден и найти Брауни! Прежде он боялся предстать перед миссис Уилсден, а еще больше боялся, что потерпит поражение, что его выгонят с проклятиями и он ничего не узнает. Теперь же, хотя он и будет чувствовать себя неловко, миссис Уилсден вряд ли откажется сообщить ему о том ангеле, что ходатайствовал за него, или даже предъявить его лично! Да, более вероятно, что Брауни находится там, в этом доме, и ждет его прихода. Наверное, она почувствовала необходимость убедить свою мать простить Эдварда, прежде чем снова увидеться с ним.

Эдвард не мог сдержать радость. Метафора была абсолютно точной: он чувствовал себя так, будто его разрывало от этой самой радости, она струилась из глаз, из ушей, изо рта и со ступней его ног. Он поднялся на ноги, закрыл глаза и лоб руками и крепко держал себя, чтобы эмоции не захлестнули его целиком. Постоял так некоторое время, не двигаясь и глубоко дыша. Потом пошел к раковине и стал тщательно бриться. Рука его дрожала. Растягивая губы под бритву, он посмотрел на свое безумное ухмыляющееся лицо. Не мешало бы помыть голову, но сейчас ему было не до этого. Он протер лицо и откинул назад со лба темные длинные волосы. Какими темными и яркими были его глаза! Он снял хлопчатобумажный джемпер и принялся искать галстук, раскидывая ногой бумаги на полу. Тут он заметил последний лежащий на кровати нераскрытый конверт с адресом печатными буквами и решил, что надо посмотреть и его. Там оказалось письмо от Брауни.

Мой дорогой Эдвард!

Я очень рада, что видела тебя и была с тобой. Это было крайне важно для нас обоих, все произошло так красиво и принесло столько пользы. Я очень благодарна тебе за откровенность и

искренность, за твою любовь к Марку и скорбь по нему, за ту задушевную поддержку, что я получила от тебя. Наверное, ты уже прочитал письмо от моей матери. Я так счастлива за нее, за то, что она сумела преодолеть эту жуткую, безумную боль. Ей во всех смыслах стало лучше. Наш траур по Марку никогда не кончится, но он станет другим, более мягким и мудрым, не таким экстремальным. Ты очень сильно нам помог. Мы должны были встретиться. Очень жаль, что я не дождалась тебя в пабе, когда ты не смог прийти. Я, конечно, понимаю, что тебе могло помешать только что-то чрезвычайное. Пожалуйста, не беспокойся на этот счет. И еще я рада, что мы встретились в той комнате — Томас Маккаскервиль написал мне, что ты будешь там. Мне было необходимо увидеть это окно, и слава богу, что я смогла сделать это вместе с тобой. Я чувствую, что мы вдвоем сделали некий набор дел, которые нужно было сделать как ради Марка, так и ради нас самих, а без тебя я бы никогда не смогла полностью справиться с ними. Я благодарю и благословляю тебя всем сердцем.

Ты, наверное, уже слышал, что я собираюсь замуж за Джайлса Брайтуолтона. Мы уже сто лет знаем и любим, друг друга, но Джайлс думал, что

он гомосексуалист. (Одно время он даже считал, что влюблен в твоего брата... Не знаю, известно ли это твоему брату.) Теперь он определился. (Раньше я ничего о нем не говорила, потому что и говорить было нечего.) Мы поженимся в следующем месяце и будем жить в Америке, где я надеюсь найти научную работу. С нами поедет и моя мать. К тому времени, когда ты получишь это письмо, нас уже не будет в Англии. Похоже, все довольны. В особенности хорошо проявил себя Уилли. Кажется, он встревожился, когда я написала Джайлсу, что познакомилась с тобой! Джайлс тоже встревожился. Моя мать всегда хотела, чтобы я вышла за него, и она очень рада. Полагаю, поэтому она и смогла простить тебя.

Эдвард, я хочу верить, что не причиню тебе боли. Нас свел Марк, и наша взаимная приязнь (надеюсь, что она сохранится) появилась благодаря ему и через него. Джайлс все знает, но больше ни с кем я не буду об этом говорить, это наша с тобой тайна. Вообще-то я испытала облегчение, когда ты не пришел в этот паб. Это было чем-то вроде желанного знака. Мы с матерью будем жить в Новом Свете, не тревожа прах Марка. И я надеюсь, что ты, дорогой Эдвард, обретешь покой, избавишься от чувства вины и разрушительного

отчаяния, связанного с прошлым. Винить некого. Жизнь полна ужасных вещей, но всегда нужно смотреть в будущее и думать о том, какое счастье ты способен создать для себя и для других. Мы можем сделать столько хорошего, но для этого нам нужно много сил. Прими мое сочувствие в связи со смертью твоего отца. Какое счастье, что ты был с ним перед его смертью! Джайлс присоединяется ко мне, посылает тебе привет и наилучшие пожелания. Мы очень надеемся скоро увидеть тебя — здесь или там.

С самыми глубокими и почтительными благодарностями, с любовью,

Брауни.

Эдвард вдруг понял, что, читая письмо, он хватал ртом воздух, выкрикивал какие-то несвязные восклицания, задыхался. Потому что сразу же понял: ждал он вовсе не письма. Он стоял, широко расставив ноги и успокаивая дыхание, а когда снова просмотрел письмо и удостоверился, что понял все до конца, положил его на стол рядом с азалией и лег на кровать. Значит, Брауни уехала. Ее отобрали у него, и она исчезла. Она была сном примирения и любви, и она завершила свою миссию. Эдвард верил в нее страстно, почтительно, она была для него критерием реальности и исти-

ны. Но в каком-то смысле она для него никогда не существовала. Он был ей необходим для ее собственного «ритуала». Он был ей нужен как часть Марка, остаток, реликвия. Она написала о нем Джайлсу. Она вовсе не была частью истории Эдварда, все это выдумки, игра воображения.

Даже ее приход в комнату Марка организовал Томас. А он подвел ее дважды, трижды — и это после того, как она столько сделала для него, прошла такой путь. Она испытала облегчение, когда он не появился, это стало для нее желанным знаком, указанием на то, что она не должна чувствовать себя виноватой из-за любви к нему, хотя на самом деле все это время она любила другого человека. Значит, пока он думал, что его вине и скорби положен целительный конец, исполненный глубокого смысла, на самом деле ему был явлен мираж, который возник лишь в его голове. Нет, это не приказ об освобождении. Свет пал на тех, кто простился с ним, оставив его позади, в темноте; в прежней темноте, полной мучений и призраков, от которых он избавился на короткое время, пока спал. С демонической точностью ко всем другим болям теперь добавилась боль ревности. Ревность не умирает никогда. Плохие новости для молодого человека. И он вспомнил

свой сон о бабочке-душе, что порхала по комнате, никак не могла вылететь в окно, а потом упала замертво на пол. Эдвард безвольно лежал на кровати, сложив руки на груди, и за его закрытыми веками собирались слезы.

Примерно в это самое время Стюарт тоже читал письмо, доставленное с утренней почтой.

Мой дорогой Стюарт!

Извини, что напугала тебя своим курьезным изъявлением любви. Все это теперь кажется очень странным, и я думаю, это один из тех случаев, которые Томас называет психопатическим эпизодом. Конечно, я должна извиниться перед тобой! Пожалуйста, не волнуйся обо мне или о моем душевном состоянии — все это определенно осталось позади. Ты знаешь, что я теперь, как это было всегда, дома с Томасом, а отношения с твоим отцом, которые всегда были нелегкими и мучительными, закончились. Все осталось в прошлом, и я надеюсь, это не повлияет на продолжение отношений между нашими семьями. Я рассчитываю на твою помощь. Пожалуйста, пусть никакие проблемы, связанные со мной, не расстраивают тебя. Ведь ты не сделал мне ничего плохого, все происходило в моем воображении. Ты не был частью того, что я пе-

реживала, ты был лишь внешним импульсом, чем-то вроде толчка или удара. Я думала, что ты как-то повлиял на меня, но на самом деле это не так. Ты был нейтральным элементом, своего рода катализатором. Благодаря твоей духовной отстраненности от мирского я смогла разобраться в своем положении, и ты вызвал к жизни вещи, не имеющие никакого отношения к тебе. Я возложила все это на тебя, как ослиную голову. Я решила, будто влюбилась в тебя, но это просто от удивления — я вдруг поняла, что могу смотреть на вещи иначе. Все это существовало только во мне, и я прошу у тебя прощения. Эдвард вел себя очень мило, спасибо ему за сочувствие и доброту. Пожалуйста, передай ему привет, если он рядом. Мередит тоже посылает привет и загадочно говорит, что «все в порядке». Он утверждает, что ты поймешь, о чем речь. Он ужасно вырос за последнее время и теперь учится в школе-интернате. Томас с пациентом — у него еще осталась пара пациентов. Если бы он был здесь, он тоже передал бы тебе привет. Я надеюсь, мы скоро встретимся.

С наилучшими пожеланиями и любовью,
Мидж.

Стюарт сидел в гостиной в кресле, похожем на

короб, держал на коленях книгу. Он дважды перечитал письмо. Потом поднял голову и посмотрел в окно, где на ставнях шевелились тени листьев. Он задумался и некоторое время оставался неподвижен; его красивые губы вытянулись, а на лбу над удивленными желтыми глазами сошлись морщины. Потом он расслабился и улыбнулся. Он обрадовался за Мередита, и ему понравился пассаж про ослиную голову.

Мышь. И паук. Кто говорил про паука? Томас. Да, паук тоже имел значение. Знаки повсюду, и все вокруг — знаки. Никаких тяжелых испытаний нет, или все вокруг — тяжелое испытание. И нет пути, есть только его конец, как кто-то ему сказал.

Он решил, что нужно пойти наверх и узнать, как там Эдвард.

Когда Стюарт вошел, Эдвард сидел на краю кровати, а у его ног валялись смятые листы бумаги. Вид у него был ужасный.

— У тебя усталый вид, Эд. Вот, я тебе принес кофе и сегодняшнюю «Таймс».

— Спасибо. Оставь это на комоде. Нет, «Таймс» дай мне. Надеюсь, где-нибудь произошло землетрясение с десятком тысяч жертв.

— Боюсь, что нет. Я получил очень милое пись-

мо от Мидж. Она передает тебе привет. Пишет, что ты был добр к ней, что ты был замечателен.

— Ну вот, все считают, что я замечательный. Кроме Гарри. Вряд ли он так думает. Он меня ненавидит? Вчера вечером он был довольно вежлив.

— Конечно нет, он тебя не ненавидит!

— Он был здорово зол на тебя, да?

— Да. Он меня дважды выгонял. Но когда я вернулся как-то вечером… Понимаешь, он сидел в гостиной, и вид у него был безумный: пьяный, небритый, волосы всклокочены, глаза выпучены — ну просто из Бедлама удрал, знаешь, если такие фотографии сумасшедших… Я такими и представлял их себе, когда был маленьким. Я что-то сказал, а он просто не заметил меня, даже не взглянул. Тогда я сел — он у камина, а я рядом, и мы долго сидели молча. Потом он внезапно словно пришел в себя и сказал: «Извини, Стюарт…» А потом мы поговорили немного, и все наладилось.

Я знал, что так оно и будет. И он ужасно рад, что ты вернулся… Так что, понимаешь…

— Какие все милые, — отозвался Эдвард. — Я замечательный, все милые. А ты, значит, собираешься стать учителем.

— Спустись вниз, поговори с Гарри. Когда по-

чувствуешь, что в состоянии…

— Да-да. Значит, мы опять вместе.

— Да, а еще Уилли звонил — говорит, ждет с нетерпением, когда ты вернешься в следующем семестре, и спрашивает, читаешь ли ты что-нибудь. Ты, наверное, уже знаешь, что Джайлс женится на сестре Марка?

— О да, знаю. Я это уже сто лет знаю. Прекрасно, правда.

Эдвард вдруг понял, что о его любовных отношениях с Брауни никому, конечно же, не известно. Брауни об этом не говорила, и он тоже. «Это было нашей тайной». Хорошо, что он никому не сказал. Он обойдется без соболезнующих и сочувственных взглядов… без позора после потери Брауни.

— Я считаю, это здорово, — сказал Стюарт. — Я всегда любил Джайлса, он такой прекрасный парень. А про нее я слышал, что она очень отважная девушка. Ты с ней, наверное, незнаком. Я тоже с ней не встречался.

«А вот и встречался, — подумал Эдвард, — в той комнате, когда я сказал, что она Бетти или кто-то там. Он наверняка забудет эту историю. Когда увидит ее в качестве миссис Джайлс Брайтуолтон, она будет совсем другой, треклятое семейное счастье и США изменят ее. Да, она отважная, вер-

но. Стюарт иногда на удивление точно выбирает слова».

Эдвард за разговором лениво переворачивал страницы «Таймс». Внезапно его внимание что-то привлекло.

— Стюарт, дружище, не мог бы ты пока исчезнуть?

— Да, конечно. Спускайся поскорее.

Стюарт исчез, а Эдвард прочитал маленькое сообщение в колонке некрологов:

«Умерший на прошлой неделе Макс Пойнт был членом кружка Джесса Бэлтрама и другом Бэлтрама. В его ранних картинах заметно влияние «мифологических» героев Бэлтрама, но более всего известны и ценятся его зрелые портреты в стиле Сутина и Мотешицки[69]. Виды Темзы, рядом с которой он жил, принадлежат к самым популярным его работам, их можно встретить в провинциальных собраниях. В галерее Тейт[70] имеется портрет Бэлтрама кисти Пойнта, впрочем, редко выставляемый. Он будет извлечен из

---

[69] Примечания: 69

Сутин Хаим (1893/94-1943) — французский художник. Вторая фамилия — Мотешицки, видимо, вымышленная.

[70] Примечания: 70

Галерея Тейт — самое крупное в мире собрание английского искусства XVI–XX вв.

запасников в связи с обещанной и с нетерпением ожидаемой выставкой Джесса Бэлтрама. В последние годы Макс Пойнт рисовал мало, но был безусловно разносторонним и недооцененным художником. Пора открыть его заново».

Эдвард сидел, глядя на некролог, разбудивший в нем столько глубоких и мучительных чувств. Он вспомнил серебристый северный свет на реке и лицо Макса Пойнта в коричневой темноте, искаженное, как, наверное, лица на его портретах в стиле Сутина. Эдвард вспомнил, как сказал Томасу, что кто-нибудь должен что-то сделать, а Томас ему ответил: а почему не ты? Он собирался вернуться к Пойнту. Потом подумал, что Пойнт, возможно, был отцом Илоны, а он, Эдвард, так и не сказал ей о нем. Может быть, к лучшему. Илона тоже искала отца. Но теперь он был мертв. И Марк мертв, и Джесс мертв, и миссис Куэйд мертва, и первый ребенок Эдварда мертв, вернее, никогда и не существовал.

«И моя Брауни мертва, — подумал он. — Или никогда не существовала. И я тоже мертв. Нет, я не мертв — я жив и страдаю. Я влюблен в двух покойников и в одного потерянного человека. Я больше никогда не буду счастлив, потому что все в мире будет напоминать мне о Марке, и меня все-

гда будет раздирать желание вернуть прошлое и переделать его. Ведь и сделать-то нужно всего ничего, чтобы я мог жить счастливо. Стюарт сказал, нужно дать костру догореть. Вот он горел и горел, а вместе с ним и я сгорал заживо, крича от боли. Не вешай нос, оставь это в прошлом, ничего серьезного нет, Бог не следит за тобой, личная ответственность — фикция, ты просто болен, это болезнь, ты поправишься, думай об этом как о духовном путешествии, твое представление о себе самом нарушено, после смерти есть жизнь, ты будешь процветать на несчастьях, страдай, не прячься ни от чего, живи в боли, протяни руку и прикоснись к чему-нибудь хорошему, раскаяние должно убивать личность, а не учить ее новой лжи, надейся только на истину, душа должна умереть, чтобы жить. Хорошо, хорошо, хорошо».

Но ужасный факт состоял в том, что он не сдвинулся ни на дюйм — все движения, все путешествия были иллюзией, он вернулся к началу, назад к Марку, назад в ад.

«На мне клеймо, — думал Эдвард. — Я замурован, я ползу, как таракан, от меня пахнет отчаянием, во мне не осталось ничего живого, оно все соскоблено. Я весь — открытая гниющая рана. Кажется, что-то происходило, но это я спал,

а теперь вернулся к реальности, я чувствую, как она прикасается ко мне, пока я читаю это письмо, я вернулся туда, откуда начинал. Все это было колдовством: все эти мысли, что были у людей, все слова, сказанные ими, все, на что я надеялся, духовные путешествия, искупительные испытания, целительные сквозняки, примирение, спасение, новая жизнь. Все это галлюцинация, все, что казалось хорошим, обыденным, реальным. Это не для меня. Свет, что я видел, не был светом солнца. Он был отражением адских костров».

Поток этих мыслей был таким стремительным, что Эдвард запыхался; он застонал, потом встал, быстро стащил через голову рубашку. Его рот словно набили серой, и он отправился к раковине прополоскать его. Наклонившись, он почувствовал, как тошнота подступает к горлу. У него потемнело в глазах, как перед обмороком. Он выдвинул один из ящиков комода, чтобы опереться о него, увидел перстень Джесса, который лежал там с тех пор, как Эдвард перестал его носить, и поспешно задвинул ящик. Потом подошел к окну и открыл его. Солнце скрылось, и ветерок шевелил пыльные листья деревьев в окрестных садах. Лето уже успело их утомить. За всем этим лежал заброшенный грязный ужас — Лондон,

обреченный город.

«Вот теперь я и в самом деле болен. Душа, моя душа больна. Душа может умереть. Я видел это во сне».

Он подумал, не побежать ли ему к Стюарту, не попросить ли о помощи.

Гарри мыл посуду на кухне. Он решил справиться с этим без Стюарта. Он думал о своих родителях. Вернее, он постоянно думал о Мидж, но на другом уровне вспоминал о родителях. Были ли они счастливы, случались ли романы у его отца? Это казалось весьма вероятным. И отца не очень пугало, что его амурные похождения могут открыться. Негодовала ли мать — ведь она принесла такие жертвы, вместо пианистки став машинисткой, чтобы служить светловолосому красивому эгоцентрику? Он считала его гением. У Гарри закружилась голова, когда он подумал, насколько далек от их мира. Все объяснялось тем, что Казимир ненавидел музыку. Гарри тоже ненавидел музыку. У него остались детские воспоминания: звук рояля доносится из гостиной, всегда печальный, выражающий бессмысленность, уничтожение, смерть. Как красива была мать с ее нежным смиренным лицом, светлыми пушистыми волосами, зави-

тыми в парикмахерской, маленькими ножками в сверкающих туфельках на высоких каблуках, которые подарили Гарри его первое осознанное эротическое переживание! Лежа на полу под роялем, он наблюдал за тем, как резко, аритмично и мощно эти маленькие ножки ударяют по педалям, прислушивался к мягким механическим звукам движения педалей, производившим на него куда большее впечатление, чем музыка Баха или Моцарта. После смерти Казимира звуки рояля возобновились, но в них уже не было души. Музыка утратила свою власть. И Тереза, «девушка издалека», сидела в гостиной на этом диване, а Гарри смотрел, как его молодая жена наблюдает за его молодой матерью. До свадьбы Тереза играла на флейте, но услышала рояль Ромулы и оставила свой инструмент. Они ладили, хотя Ромула ревновала к невестке. Ромула переехала из дома на квартиру. Но дом не принимал Терезу, она так и не стала в нем настоящей хозяйкой. Когда она появилась, Казимира уже не было. Стал бы он считать ее привлекательной, поддразнивать, называть дикой колониальной девочкой? Она не была дикой. Она была прилежной студенткой, сумевшей накопить денег и приехать в Англию, чтобы получить здесь диплом. Гарри

никогда не видел ее родителей и ее родины, никакой альбатрос не мог заставить его совершить такое путешествие, и теперь он даже не помнил, почему полюбил ее. Это все случилось так давно, а прожила она так мало — он словно убил ее. Она витала в его памяти как нечто целомудренное, принадлежащее к иному миру. Может быть, он был очарован ею, потому что она очень любила его, и такой невинной любовью. Он был ее первым и единственным любовником. Юная и неискушенная, она на несколько коротких мгновений слепила из него идеалиста, материалом для чего послужило то, что до нее было путаницей в его голове, а после нее стало цинизмом. Хлоя появилась, когда Ромула уже умерла, и она была совсем другая. Хлоя была похожа на него. Господи милостивый, почему он не встретил Мидж сразу после смерти Хлои — маленькую Мидж, которая жила тогда в Кенте и которую заметил Джесс, спросивший: «Кто эта девочка?»

Мидж была идеальной женщиной, его женщиной, созданной для него, его товарищем. Ну почему он встретил ее так поздно и почему теперь потерял ее по этим дурным, непонятным причинам? А он ее потерял; Гарри расстался с надеждой. Томас, Стюарт, Эдвард, случай, судьба,

сама Мидж обманули, перехитрили, провели, переиграли, сбили с толку, одурачили его. Но он еще отыграется. Он найдет другую совершенную женщину и женится на ней. Он огорошит Томаса, ошеломит мальчиков, искалечит Мидж ревностью и мучительным раскаянием, отплатит за всю нынешнюю боль. Ведь есть другие женщины. Он даже помнил, что такая мысль приходила ему в голову (словно это одна и та же мысль, вернувшаяся к нему вновь) и после смерти Терезы, и после смерти Хлои. Приходила ли она ему в голову до их смерти? Нет, он был верным мужем. Возможно, потому что в обоих случаях его семейное испытание не длилось слишком долго. Да, в мире есть другие женщины! Возможно, одна из них уже попала в поле его зрения. Но боже, эта боль, тоска, потеря, физическая пытка желания, ставшего таким привычным, таким сильным, таким точным благодаря совершенному его удовлетворению! Гарри знал, что не приспособлен для мученичества. Он не умрет от любви, он со временем повеселеет, найдет новые развлечения и радости. Напишет еще один роман — у него уже есть кое-какие идеи. Он не выпадет из лодки и не будет смотреть, как она удаляется от него быстрее, чем он может плыть. Гарри знал все

это и знал свое будущее. Что за странная вещь — человеческая жизнь. Но знание не облегчало мучений, когда он глядел на тарелку в своей руке и понимал, что ему не быть с Мидж, *его* Мидж, его прекрасной идеальной любовницей. Не быть с ней никогда.

— Па, позволь мне помыть посуду.

— Нет, мне это нравится, мне это помогает.

— Может, сходить за покупками?

— Нет, я сам. Я хочу серьезно заняться приготовлением еды.

— Вот это здорово!

— Вам с Эдвардом нужно хорошо питаться, вы, молодые, никогда не едите толком. Где Эдвард?

— Разговаривает по телефону.

— С кем?

— Не знаю. Когда ты отправляешься в Италию?

— В пятницу. Возможно, задержусь там немного. Хочу поработать над новым романом.

— Это хорошо. Ты будешь жить рядом с морем?

— Да. Из окна моей спальни виден Везувий.

— Есть откуда черпать вдохновение. Что он собой представляет, твой издатель? Это очень мило с его стороны — пригласить тебя…

— Да, очень мило. Только не с его стороны — с ее…

Эдвард набрал номер загородного дома Томаса. К телефону подошел Мередит. Томас и Мидж ушли на обед к каким-то людям по фамилии Шафто. Эдвард поговорил с Мередитом. Его четкий хрипловатый голос по телефону был похож на голос Томаса. Со временем их голоса станут неотличимы. Эдвард вдруг вспомнил тот жуткий ужин у Маккаскервилей, когда он сидел в углу и делал вид, что читает книгу, а Мередит подошел и прикоснулся к нему. Он поговорил с Мередитом о новой школе, о спальнях, об учителях, играх, о том, как ему дается греческий. О собаке Мередита. Потом повесил трубку и вернулся в свою комнату.

Черный приступ безумия прошел, осталось обычное отчаяние. «Наверное, я все же выкарабкаюсь, — подумал он, — наверное, я не всю жизнь буду абсолютно несчастен. Если я могу думать обо всем этом сейчас, то со временем мне станет немного лучше. Интересно, безумие, ужас, страх — они будут возвращаться в разные периоды моей жизни, словно никуда и не уходили, если опять произойдет какое-нибудь кошмарное событие? Возможно, впереди еще немало таких катастроф, какие мне и в голову пока не приходят. Может быть, я обречен быть несчастным всю жизнь. Но

это бессмысленная идея, я ее отвергаю. Тоска по Брауни пройдет. Я никогда не позволял себе полностью поверить в Брауни, я делал вид, что все зависит от нее, но на самом деле ситуация была совершенно иной. Наши отношения всегда были напряженными и принужденными. Мы так и не продвинулись дальше того этапа, на котором использовали друг друга, чтобы задобрить Марка».

Слово «задобрить» вызвало в его воображении образ печального завистливого призрака, который стучит в двери жизни, чтобы завладеть ускользающим вниманием тех, кого он любил и кто когда-то любил его.

— Меня не в чем винить, — сказал Эдвард, обращаясь к Марку, — это была не моя вина, я никогда не желал тебе зла. Теперь мы расстались, ты всегда будешь молодым, а я состарюсь, и я не забуду тебя. Но я не могу позволить тебе уничтожить меня. Моя жизнь принадлежит другим — тем, кто со мной сейчас, и тем, кто еще появится.

Но не Брауни. Милая, дорогая Брауни, чье живое лицо он больше никогда не увидит. Он не занимался с ней любовью в той комнате, это было бы кощунством, но именно этим кощунством он мог бы завоевать ее. Если бы он решился — она бы оставила его? Но это тоже были нелепые мысли,

их следовало пресечь. Брауни все время желала Джайлса, который желал Стюарта.

Эдвард вытащил ящик и посмотрел на перстень Джесса. Он взял его, потом достал из глубины стола набросок портрета Илоны, сделанный рукой Джесса, цепочку, подаренную Илоной, и украденную фотографию Джесса. Поставил фотографию и рисунок на стол, надел цепочку на шею, а потом, хотя и не без опаски, надел перстень. Это было похоже на религиозную церемонию. Он проверял свои чувства. Ни теплоты, ни видений, одни безмолвные реликвии. Ему пришло в голову, что он мог бы продеть перстень в цепочку и носить его на шее, как Фродо[71]. Эта идея показалась забавной. Он убрал свои реликвии — пусть себе лежат — и задумался: сможет ли он когда-нибудь, в чрезвычайной ситуации, питая большие надежды и добившись более ощутимых результатов, носить перстень Джесса? Джесс всегда был скорее другом, чем отцом, и Эдвард еще не расстался с ним. Как женщины в Сигарде, он не мог до конца поверить, что тот умер.

— Я должен выжить, — произнес он вслух.

Эдвард стал собирать с пола бумаги и раскла-

[71] Примечания: 71

Фродо Бэггинс — хоббит, главный герой трилогии «Властелин колец» Джона Р.Р. Толкина.

дывать их на кровати. Письмо Брауни он сунул в карман. Хотелось уничтожить его, поскольку оно стало призрачной материей, чем-то потусторонним и ужасным, на что не хотелось бы случайно наткнуться в будущем. Но сегодня Эдвард не смог его уничтожить и отложил это на завтра. Может быть, он перечитает письмо еще раз и увидит, что оно полно фальши, уверток и оправданий. Он вдруг понял, что ему придется ответить, написать ей: «Все в порядке, не волнуйся, будь счастлива». Он поздравит счастливую пару. Возможно, его поздравления прозвучат неискренно, но они от радости ничего не заметят! Эдвард разорвал первое письмо миссис Уилсден и засунул в карман второе. Теперь оно утратило свою важность. Миссис Уилсден простила его только потому, что радовалась за Брауни и Джайлса. Он посмотрел на письмо Урсулы. Это было приятное письмо, но Эдвард бросил его в мусорную корзину; ведь даже Уилли действовал против него и предупредил Джайлса об опасности, сообщив о сопернике. «Получается, — подумал Эдвард, — что счастье Брауни принес именно я». Он разгладил письмо от Сары, только теперь начиная понимать его. Письмо пахло благовониями и вызвало в памяти маленькую темную комнату, где Сара соблазняла

его, пока завершалась жизнь Марка Уилсдена. Теперь Эдвард в первый раз вспомнил, что тогда ему было приятно. Что ж, он объяснил Марку, что это не совсем его вина, и уж конечно не вина Сары. Может быть, Марк связал его с Сарой, так же как и с Брауни. «Я несу ответственность перед ней, — подумал он. — Она несчастна, я должен к ней пойти». Он почувствовал, как в нем зашевелилось любопытство, которому нередко сопутствовало сочувствие. Потом он просмотрел два других письма, поначалу казавшиеся весьма загадочными. Кто такая эта Виктория Ганн, черт ее побери? Пишет фамильярно, как старая подружка, приглашает на вечеринку — отпраздновать освобождение какого-то Сталки. Адрес — Флад-стрит. Ах да, это та самая безумная американка, с которой он познакомился, пока искал Джесса, а Сталки — ее кот, которого содержали в карантине. А кто такая Джулия Карсон-Смит из Саффолка? Ах да, это та дама, что жила в доме Джесса и знала про Макса Пойнта. К ее письму было приложено официальное приглашение: «Мы устраиваем светский дебют с танцами (довольно старомодно, но будет весело!) для нашей младшей дочери Крессиды и очень надеемся, что вы сможете приехать! Прилагаю инструкции, как

нас найти. Специальный автобус будет встречать поезд, отправляющийся из Кинг-Кросс в 2.45».

«Я поеду, — подумал Эдвард. — Я поговорю с Сарой, выпью с Викторией. Потанцую с Крессидой. В мире много девушек. Как сказала Илона, есть много других людей. Я снова начну заниматься и выучу русский. И напишу роман. Я напишу обо всем, что случилось со мной, или не об этом, а о чем-нибудь ужасном, что выдумаю сам. Во мне столько ужасных вещей — за целую жизнь не перепишешь! А значит, как сказал Томас, буду процветать на несчастьях. Я поумнел или просто стал бесчувственным?»

Картина обычного счастья вдруг предстала перед ним в виде синего моря и множества суденышек с разноцветными парусами. Как это не похоже на слова Томаса о новой жизни и прочем в этом роде! Больше напоминает другие слова — о том, что естественное эго вырастает заново. Еще Томас говорил, что останется какое-то свидетельство. «Нужно будет как-нибудь уточнить у него. Может быть, я так устал, что просто выбрасываю все из головы, и природа сама исцеляет меня! По крайней мере, я попытаюсь сделать что-то доброе для мира; если это не слишком трудно, ничто не может помешать человеку делать это».

Эдвард взял открытку Илоны, и перед его мысленным взором возникло ее лицо, как в тот замечательный первый вечер в Сигарде, когда женщины устроили праздник в честь его прибытия. Он вспомнил вкус вина, не похожий ни на какое другое вино, Илону с ее пышными волосами, ниспадавшими на шею, и озорным робким взглядом. Вместе с этими воспоминаниями к нему вернулись невинность и обаяние Сигарда. Неужели все оказалось иллюзией? Что сделал с ним Сигард? Было ли это неким бесполезным промежутком времени, или порочной тайной, или загадкой, или путешествием в потусторонний мир? Но что бы там ни было, думал Эдвард, оно оказалось огромным, таким огромным, что потребуются годы на его осмысление. Эдварду впервые пришло в голову, что некоторые события продолжаются всю жизнь, постоянно меняются, никогда не исчезают, как, конечно, никогда не исчезнет Марк. И он подумал о собственном долгом-долгом будущем, и о Марке, и о том, как оборвалось будущее Марка. А еще о том, что он сам способствовал концу Сигарда; может быть, именно это имела в виду Беттина: он был главной причиной конца. Он потревожил Джесса, без него не появился бы Стюарт, он разрушил уклад их

жизни, потому что принес туда нечто новое, стал предзнаменованием, зрителем, пришельцем. И тем не менее все случилось так, как хотел Джесс.

«Конечно, можно посмотреть на это с двух совершенно разных точек зрения, — подумал Эдвард. — С одной стороны, это путаница, вызванная несчастным стечением обстоятельств: мой нервный срыв, наркотики, телепатия, болезнь отца, неврастенические женщины-затворницы, неожиданные приезды, всевозможные случайности. Что-нибудь одно могло вдруг пойти по-другому, и остальное тоже изменилось бы. С другой стороны, это единое сложное явление, где все взаимосвязано. Оно похоже на темный шар, темный мир, словно мы живем внутри некоего произведения искусства и являемся частью одной пьесы. Не исключено, что самые важные события в жизни именно так и происходят, и на них можно смотреть с разных сторон. Конечно, мы в своем воображении переосмысляем их, мы не хотим думать, что они не имеют последствий или не имеют значения, что они произошли впустую. Мы предпочитаем считать, что это часть нашей судьбы и внутренней сущности. Может быть, такое переосмысление представляет собой некую магию вроде той, что повлияла на Стюар-

та. Оно опасно, но я не могу себе представить, как бы мы могли обойтись без него».

А Илона — что, черт возьми, происходит с ней в Париже? Эдвард перечитал ее открытку. Все ли с ней в порядке, а если нет, не его ли это вина? Он решил не волноваться. Илона скоро вернется, он встретит ее, новую и необычную, они будут без конца обсуждать свои приключения, а в будущем он позаботится о ней, как и положено старшему брату. И почему он решил, будто Сигарду конец, а он, Эдвард, стал тому причиной? Это просто мания величия. Сигард остался на своем месте, в доме по-прежнему живут люди, там его мать и сестра, и он как-нибудь еще съездит к ним. Он отправится туда с Илоной, и они все вместе устроят праздник. Эдвард пойдет на море, искупается. Они ему не враги, они получили волю, освободились, стали обычными женщинами. Мэй была несчастна, тонула в хаосе отчаяния, и он может ей понадобиться. Эдвард вспомнил ее слова: «Достаточно ли ты любишь меня?» Это был справедливый вопрос. Может быть, Эдвард понадобится и странной, непредсказуемой Беттине. Пройдет немного времени, он успокоится и съездит к ним.

Но Джесс умер, к нему больше нельзя приехать,

сколько ни переосмысливай его, он больше не появится на этой открытой и случайной сцене. «Но все же, — подумал Эдвард, — Джесс трижды встал между мной и Брауни. Даже тогда, когда уже ушел из жизни. Что ж, Джесс был тайной, он относился к тем явлениям, что продолжаются бесконечно и в известном смысле принадлежат вечности. Я все-таки нашел отца, и он был волшебником. Волшебство — неужели это плохо? Стюарт, наверное, сказал бы, что плохо». Вокруг Джесса бушевал шторм, а в самом сердце этого урагана царило спокойствие. И перед взором Эдварда возникло видение: Джесс в центре шторма, уменьшенный до размера крохотной сияющей сферы, внутри которой находится ребенок. «Я его люблю, — подумал Эдвард, — он не сделал мне ничего плохого, только хорошее, и он живет во мне. Я был нужен ему, я несу ответственность за него, и я сохраню его как тайну, загадку. Я буду изучать эту тайну, она не напугает меня. Джесс невинен».

И вдруг перед мысленным взором Эдварда возникла его мать — Хлоя. Она стояла у тропинки, простирала к нему руки и кричала.

«Я поговорю о ней с Гарри, — сказал себе Эдвард, — и все разузнаю о ней. Я никогда не делал

этого. Может быть, я отвечаю и за нее!»

А Брауни? Останется ли она вечным связующим звеном между ними, постепенно переплавляясь в нечто целомудренное и доброе? Смелое абстрактное заявление. Может быть, Брауни тоже станет одной из вечных вещей. Так или иначе, Эдвард не сомневался, что нынешняя неясная глубокая боль, связанная с Брауни, пройдет. Он научился различать страдания — у него их было так много. Это не болезнь всего существа, но чистая рана, и она затянется со временем.

— Значит, мы снова вместе, — сказал Гарри, вытаскивая пробку из бутылки шампанского, — против остального мира.

Они были в гостиной. Стюарт ножницами вскрыл картонную упаковку яблочного сока и осторожно переливал его в стеклянный кувшин.

— Но ведь на самом деле мы не против мира, да? — отозвался Стюарт.

— Я против. Эдвард, выпей, тебе это пойдет на пользу.

— Спасибо.

Эдвард выпил немного шампанского. Вкус был божественный.

— Я хотел сказать тебе кое-что, Эд, — начал Стюарт. — Я видел надпись на стене у Британского

музея: «Джесс жив».

— Я тоже видел, — сказал Гарри. — И еще одну: «Джесс Бэлтрам — король».

— И что это значит? — спросил Эдвард.

— Это значит, что твой отец — секс-символ!

— Мне это показалось довольно трогательным, — ответил Стюарт. — Он кое-что значит для людей.

— Моя сестра сказала, что я очень похож на него и, если захочу, все девушки Лондона будут мои.

— Рад за тебя, Эдвард, — сказал Гарри. — Выпьем за тебя!

— Как называется это место, куда ты едешь? — спросил Эдвард у Стюарта.

— Учительский подготовительный колледж. Мне нужно получить диплом.

— Ты, наверное, будешь учить шестиклассников?

— Нет, маленьких детей.

— Десятилетних, одиннадцатилетних?

— Нет. Восьмилетних, шестилетних и четырехлетних.

— Ты с ума сошел! — воскликнул Гарри.

— Понимаешь, — сказал Стюарт, — нужно все делать правильно с самого начала…

— Ты про компьютеры? Я думал, ты их нена-

видишь.

— Нет, я о мышлении и нравственности.

— Ты говоришь как иезуит. Хочешь запудрить им мозги, пока они маленькие.

— Ну хорошо, компьютеры. Но это дело чисто техническое. Можно преподавать язык и литературу. Рассказывать о том, как использовать слова, чтобы думать. Можно говорить о нравственных ценностях, можно учить медитации, тому, что раньше называлось молитвой, дать им представление о добре и научить их любить добро…

— Значит, Стюарт, ты выбрал власть. Я полагал, что хорошие люди не стремятся к власти. Ты одержим властью. Настоящий маньяк, как я и говорил!

— Вопрос в том, как это делать, — сказал Стюарт. — В этом-то и проблема… Мне нужно научиться. К тому же я хочу работать волонтером с людьми Урсулы.

— Звучит отлично, — заметил Эдвард, — но тебе этого никто не позволит.

— А я думаю, позволят, — не согласился Стюарт. — Конечно, сначала нужно набраться опыта, разработать систему, заинтересовать других людей. Я бы хотел иметь собственную школу.

— Приехали, — сказал Гарри, — Стюарт — босс!

В мире образования ты недолго продержишься. Ты и начать-то не сможешь! Директора школы никогда из тебя не получится, все будут смеяться. Да ты просто мазохист…

— Что ж, пусть смеются. Может, я тоже посмеюсь. Это будет эксперимент, поиск. Мне кажется, основа образования…

— Ты всю жизнь проведешь в поиске, — продолжал Гарри. — Боюсь, ты из этих, «искателей». Я их не выношу, от них одни проблемы. Ты никогда не найдешь своего места, вечно будешь новичком… Эдвард, ты со мной согласен?

— Нет, — ответил Эдвард. — Я думаю, Стюарт больше похож на монумент — он просто есть, и это хорошо. Он двигатель, который не сдвинуть. Но если серьезно, то, по-моему, он может стать великим реформатором системы образования. А нам реформа очень нужна.

— Никто не может избежать заблуждений, — сказал Гарри, — никто не может избежать порчи. Чистая подвижническая жизнь — иллюзия, даже мысль об этом — вредная ложь. Только посмотри, сколько зла приносят священники. Они такие же нечистые, как мы, но договорились скрывать это. Идея добра — романтический опиум, в итоге она убивает. Стюарт опасен, он любит все упрощать,

у него нет воображения, нет чувства драмы…

— Постой, — прервал его Эдвард, — это разные вещи…

— Ты сказал, что он — монумент, он статичен, как эти греческие философы, которые думали, что ничто не двигается, все едино…

— Может, у него нет бессознательного разума, — предположил Эдвард.

— Он имеется у всех, поэтому религия — это иллюзия.

— Но одного у него нет.

— Только не говори, что у него нет сексуальных желаний, — он мой сын, он это преодолеет!

Стюарт расхохотался. Они все расхохотались. Эдвард глядел на двух стоявших рядом высоких мужчин и видел, как они похожи. Стюарт повзрослел. Как ему это удалось, если он ведет жизнь затворника?

— Если ты когда-нибудь воплотишь в жизнь свою теорию образования и откроешь собственную школу, я вложу в нее деньги! — заявил Гарри. — Значит, ты сядешь за парту и будешь учиться? И чему ты будешь учиться? Что ты читал в последнее время?

— «Мэнсфилд-парк» Джейн Остин.

Гарри и Эдвард рассмеялись.

— Понимаете, мне нужно написать работу по английской литературе…

— Ты впадаешь в детство. Ты просто ребенок ростом в шесть футов!

— Не могу оторваться, удивительно хорошая книга…

— Конечно хорошая, дурачок! А ты что читаешь, Эдвард?

— Я… Пруста.

Эдвард по возвращении пытался найти отрывок, так поразивший его в Сигарде, — об Альбертине, которая едет в дождь на велосипеде. Но ему это не удалось, и тогда он стал читать с самого начала. «Longtemps, je me suis couche de bonne heure»[72]. Сколько боли было на этих первых страницах! Сколько боли на каждой странице! Как же так получается, что вся книга в целом лучится чистой радостью? Эдвард был исполнен решимости понять это.

— На следующей неделе в это же время ты будешь любоваться на Везувий из окна своей спальни, — сказал Стюарт.

— Мы приедем к тебе погостить, — добавил Эдвард.

---

[72] Примечания: 72

«Давно уже я привык укладываться рано». Этим предложением открывается роман М. Пруста «В сторону Свана».

— Ну уж нет!

— Там вокруг много богов, — сказал Эдвард. — Там вход в Аид. Или он на Этне?

— Такие входы есть повсюду. Мир битком набит знаками: «В ад».

— Да, мир определенно полон знаков, — произнес Стюарт.

Он подумал про мышь. И про девочек, заплетающих косы по утрам.

— О да, в мире много хороших вещей, — кивнул Эдвард.

— Правда? Что ж, тогда выпьем за них. Эдвард, Стюарт…

— Но что это за вещи? — спросил Стюарт. — Может быть, мы говорим о разном.

— Бог с ним. Давайте выпьем за них. Ну!

Они подняли бокалы.